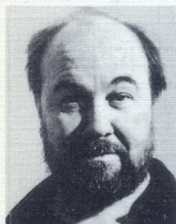


КОНТИНЕНТ

2002

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 113



Передвижники
слишком большую
ставку делали на
политику. У них всё
социальное – даже
пейзажи.

*Анатолий
Слепышев*

Мне все равно,
с какого языка
Тебя перевели...
Манежная
предснежная тоска
От неба до земли...

Марина Кудимова

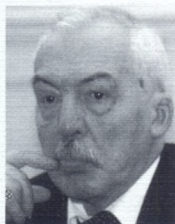


Я представил, что где-то
в море, в исходящую
холодным паром воду
упала пуля, вошла легко
и бесшумно, и единст-
венный маленький круг,
захлебнувшись,
сомкнулся над ней.

Владимир Сотников

Как-то Тамм сказал,
что никогда бы не взял
в аспирантуру
и в младшие сотрудники
тех, кто учится
в университете
на круглые пятерки.

Валерий Сойфер



Очень быстрая была
у нас литература. От
Пушкина до Блока —
за восемьдесят лет!
И в каждой фигуре она
набирала следующий
виток, и невероятно
развивалась...

Андрей Битов

Дорогой друг, пишу
с тою целью, чтобы
сказать Вам нечто
доподлинное:
я Вас люблю.
И люблю я Вас тем
достовернее, что
Вас — нет.

Юрий Малецкий



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Стихи

Ольги Кучкиной
и Сергея Меркульева

Статьи

Алексея Громова-Колли,
Андрея Дмитриева, Евгения
Ермолина, Юрия Каграманова,
Наума Коржавина, Константина
Костюка, Олега Павлова, Марии
Ремизовой, Ильи Смирнова
и Сергея Цебаковского.

А также наш постоянный раздел
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
"КОНТИНЕНТА"



Когда этот номер был уже сверстан,
мы получили печальную весть —
скоропостижно скончался Феликс Светов.
Мы искренне и глубоко скорбим
об уходе из нашей жизни
этого мужественного и мягкого,
непримиримого и доброго,
до последнего дня очень живого,
открытого и любящего талантливого человека.
Поистине – Светлая ему память.

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*

Выходит 4 раза в год

113

2002, № 3
июль — сентябрь

ПАРИЖ • МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

*Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ*

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатель:

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “КОНТИНЕНТ”»**

Адрес редакции: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(095) 924-91-51

Internet: <http://magazines.russ.ru/continent/>

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АВЕРИНЦЕВ
Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНОВ
Юрий АФАНАСЬЕВ
Александр БЛОК
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Георгий ВЛАДИМОВ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Николай ЗЛОБИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР

Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Лариса ПИЯШЕВА
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС

Сергей ЮРСКИЙ

Редакция:

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА,
Виктория ЛАВРЕНТЬЕВА, Александр КЫРЛЕЖЕВ, Светлана ОПАРИНА,
Мария РЕМИЗОВА, Владимир СОТНИКОВ

Представители «Континента»

БОЛГАРИЯ

Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ

Юлия АРОНС
Kaltenhoferstraße 2,
86154 AUGSBURG, BRD
☎ (821) 42-26-58

ИЗРАИЛЬ

Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ

Джулия ФИЛИППЕЛЛИ
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (02) 29-00-88-87

КАНАДА

Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША

Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25. Rosyiski osrodek
nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США

Марина АДАМОВИЧ
217 4th ave.
GARWOOD, N.J. 07027 USA
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ

1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ

Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chaligny, 75116 PARIS,
FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА

26 rue de la Paroisse
78000, VERSAILLES, FRANCE
☎/fax (1) 30-21-64-37

ШВЕЙЦАРИЯ

Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА

15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ

Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Памяти Александра Гинзбурга	9
Сергей МЕРКУЛЬЕВ Я снова «мы» пишу... <i>Стихи</i>	24
Юрий МАЛЕЦКИЙ Физиология духа. <i>Роман в письмах</i>	28
Марина КУДИМОВА Абсурдно было не любить. <i>Стихи</i>	157
Владимир СОТНИКОВ Охотник. <i>Повесть</i>	164
Ольга КУЧКИНА Я сообщаю тебе... <i>Стихи</i>	186

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Юрий КАГРАМАНОВ Кто начал холодную войну?	190
<i>У книжной полки</i>	

Илья СМЕРНОВ Коричневый костюмчик для мальчика-мажора	202
<i>Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»</i>	
Проблемы российской истории и современности в русской периодике. <i>Первый-второй кварталы 2002 г.</i>	207

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Валерий СОЙФЕР Академик и студент	218

РЕЛИГИЯ

Основные события церковной жизни в зеркале прессы (июнь—август 2002 г.)	248
Константин КОСТЮК Три портрета. <i>Социально-этические воззрения в Русской Православной Церкви конца XX века</i>	252

У книжной полки

Алексей ГРОМОВ-КОЛЛИ «Можно ли на одной полке держать и Пушкина и Макария Великого?»	287

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Религиозная мысль в российской периодике. <i>Первый квартал 2002 г.</i>	292

ГНОЗИС

У книжной полки

Сергей ЦЕБАКОВСКИЙ

Автор пятой поправки для планеты земля	300

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Философская, политологическая, культурологическая мысль России в русской периодике. <i>Первый-второй кварталы 2002 г.</i>	323

ПРОЧТЕНИЕ

Наум КОРЖАВИН

Генезис «стиля опережающей гениальности», или Миф о великом Бродском	329

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Мария РЕМИЗОВА

Ведь вы этого достойны... <i>Заметки об Александре Проханове, герое нашего времени</i>	365

Литература — глазами писателей

Андрей ДМИТРИЕВ

Памяти Ганно Будденброка	375

Олег ПАВЛОВ

Остановленное время	382

Беседы в редакции

«Попадание в резонанс». Беседа с Андреем БИТОВЫМ	388

У книжной полки

Евгений ЕРМОЛИН

Человек-Овца и Господь Бог	397

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Художественная литература и критика <i>Второй квартал 2002 г.</i>	409

ИСКУССТВО

Беседы в редакции

Анатолий СЛЕПЫШЕВ

Серьезное искусство — это серьезная вещь	464

Памяти Александра Гинзбурга

12 июля этого года в Париже умер Александр Гинзбург — один из самых отважных наших диссидентов, создатель знаменитого журнала «Синтаксис», член редколлегии «Континента» в 1979 — 1990 гг.

Прощаясь с нашим другом, мы публикуем посвященный ему очерк члена редколлегии «Континента» Валерия Сойфера, только что написанный, и давний репортаж Георгия Владимирова — его отклик на события, связанные с последним судом над Александром Гинзбургом летом 1978 года.

Валерий СОЙФЕР

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ ГИНЗБУРГ

(1936 — 2002)

В первых числах июля, оказавшись в Москве и разговаривая с Игорем Ивановичем Виноградовым, за день до того вернувшимся из Парижа, я задал ему вопрос, который на протяжении последних нескольких лет задавал каждому, приезжавшему оттуда: «Как там Алик Гинзбург?» Игорь Иванович ответил, что видел его два дня назад, что он пока еще вынужден пользоваться кислородным баллоном, но все-таки неплох.

Прошло всего два дня после нашего разговора, и Алика не стало.

Отец Алика Сергей Сергеевич Чижов был архитектором, в годы сталинского террора он был арестован, мать Людмила Ильинична Гинзбург работала экономистом. Много лет в заключении по политической статье провела и бабушка Алика с отцовской стороны — Ольга Николаевна. В свидетельстве о рождении сына мать записала его не Чижовым, а Гинзбургом, и не Александром Сергеевичем, а Александром Ильичом, русским по национальности (видимо, потому, что и в её паспорте в графе пятой стояло, что она — русская). Когда подошло время получать паспорт, Алик, не спрашивая ничего разрешения, записался евреем: он видел, как распространен в СССР антисемитизм и решил хоть в этом вопросе не поддаваться позорным тенденциям (правда, милиционеры заявили, что национальность сына зависит от национальности матери, поэтому Алику пришлось вернуться сначала домой и настоять на том, чтобы и мама переделала запись в графе национальности — перечить сыну мама не стала, и оба стали евреями). Уже тогда он был крепким орешком.

Не знаю, был ли в детстве Алик драчлив или просто умел за себя постоять, но этот отнюдь не богатырский телосложения человек никогда никого не обижал понапрасну, всегда протягивал руку помощи тем, в ком видел друга или кого считал достойным помощи. А таких в его жизни оказалось много. Говоря о его небогатерском сложении, я основываюсь на том впечатлении, которое он произвел на меня, когда мы встретились в 1988 году. Но его жена

Арина мягко меня поправила, когда я прочел ей эти строки по телефону, — она сказала, что в отрочестве Алик профессионально занимался греблей, на одной из фотографий той поры у него такие мощные бицепсы, что скорее надо бы отнести его к богатырям. Но ведь позже, возражал я, накачанность мускулов ушла и богатырем он уже не выглядел. Однако, настаивала жена, могучую силу он сохранял всю жизнь. Например, когда он оказался в лагере в Карелии (на первый раз Гинзбурга запрятали в лагерь с уголовниками), где его прозвали «Саша — журналист», один из «воров в законе» полез на Алика с кулаками, приговаривая обычное для этих случаев: «Никакой ты не журналист, а жидовская морда!» Алик схватил валявшийся рядом здоровенный дрын, легко перебросил его в руках и пошел навстречу обидчику, направляя конец дрына в его грудь. Тот струхнул, затих, и больше уже никогда никто на Гинзбурга с кулаками не лез. Его силу признали. Тем не менее повторяю, что и в детстве, и позже Алик был человеком мягким, не любившим внешние конфликты, а в школе его прозвищем было «Ясно солнышко».

Когда в свои студенческие годы, в 1955 году, я познакомился с известным статистиком Николаем Сергеевичем Четвериковым, отсидевшим в сталинских тюрьмах и лагерях почти четверть века, я был поражен мягкостью манер, негромкостью голоса и удивлявшим меня спокойствием этого бывшего зека. Четвериков происходил из семьи миллионера, владельца золотоканительной мануфактуры, женатого на дочери потомственного дворянина, городского головы Москвы Алексеева (сейчас городского голову называют председателем Городской Думы), и я относил царственные (но не барственные!) манеры Николая Сергеевича к влиянию его семьи — одной из наиболее значительных в истории России (из этой же семьи вышли реформатор театра К. С. Станиславский и великие биологи — Н. К. Кольцов и родной брат Николая Сергеевича — С. С. Четвериков).

Позже — в 1961 году — мне посчастливилось близко узнать еще одного многолетнего зека — Петра Ионовича Якира, сына прославленного в СССР, а потом арестованного и расстрелянного маршала. Вместе со своим другом, а позже зятем — Юлей Кимом, они представляли далеко не тихую пару, но тот же высокий стиль благородства доминировал в их поведении, хотя грубоватые шутки Пети нередко как бы нарочито смазывали это внутреннее благородство, помогая, по-моему, ему самому не забывать, что на нем припечатано клеймо зека и что даже профессиональные занятия историей в академическом институте никогда с него этой меты не смоют.

В рассказах этих знакомых мне зеков иногда приоткрывались поступки, которые могли быть свойственны только людям сильной воли и изрядной смелости. Но в моем присутствии они никаких внешне героических поступков не совершали, а были удивительно интересными, внутренне богатыми людьми, в компании которых очень приятно проводить время, слушать рассказы, учиться жизни, воспринимать уроки нормального поведения *homo sapiens*, а не приниженного «существования советского человека и гражданина», *homo sovieticus*.

В студенческие годы я уже знал о существовании Самиздата, о попытках выпуска в обращение в среде интеллигентов неподцензурных литературных произведений, часто я слышал слово «Синтаксис» не как термин из области

грамматики, а как название самодельного журнала. Его листки были сшиты в тетради, которые давали («по секрету») почитать друзьям. Разумеется, стихи не были просмотрены и одобрены советскими цензорами (Главлитом), хоть и ничего противоправительственного в них не было. Это была литература, творчество, выдумка авторов, конечно, порой язвительная и, может быть, кому-то неприятная, но делом этим занимались во все времена — Шекспир и Рабле, Пушкин и Толстой. Держиморды при всех режимах всегда злились, иногда принимали полицейские меры, но так уж устроены свободномыслящие человеки, homo sapiensы, особенно литераторы и журналисты, что не выражать свои мысли, пусть язвительные, они не могут. Ведь не бомбы же они в подвалах делали и не царей убивали. Такие не прошедшие цензуру стихи были включены в альманах «Синтаксис», который начал выпускать студент факультета журналистики МГУ Александр Гинзбург в 1957 году (на обложке стояли имена двух составителей-редакторов — Александра Гинзбурга и Сергея Чудакова; исключительно важную деталь вспоминают сейчас некоторые из друзей Алика — на всех выпускаемых им неподцензурных журналах и книгах он всегда указывал свои адрес и телефон, дескать, ни от кого не таюсь, вот он я, вот мои координаты). Именно в эти годы я учился на физфаке того же МГУ и о «Синтаксисе» слышал, но познакомиться тогда с Аликом Гинзбургом мне не привелось, а вскоре, после выхода, помоему, третьего выпуска журнала, Алика схватили чекисты. Довольно часто можно читать, что именно за издание журнала его запрятали на пять лет в тюрьму и в лагерь. Однако в официальном архиве КГБ (Ф. 8131, оп. 31, д. 89189а)¹ содержится запись о том, что 11 января 1961 г. его осудили якобы «за подделку документов для того, чтобы получить для знакомого аттестат зрелости», а дело о «Синтаксисе» тем же днем прекратили, разыгрывая постыдную комедию. Это был срок именно за «Синтаксис», а не за аттестат зрелости для друга.

Зачем ему понадобилось собирать стихи и издавать их в виде журнала? Очевиден ответ: Алик и его друзья жили творчеством, писали стихи, журналов, где бы можно было их напечатать, практически не было, всё в стране опутала жестокая цензура, а им хотелось, чтобы их стихи читали, чтобы о них спорили. Ничего предосудительного они не делали, грехов за собой не знали и потому не боялись наказания. Факт сообщения адреса на обложке говорил также о многом — дескать, присылайте нам свои произведения, мы в следующем номере опубликуем, у нас цензуры нет. Жена Алика добавила к этому ответу еще одну деталь: от своей выходки они получали удовольствие, ловили кайф, ведь это были совсем молодые ребята, здоровые, веселые и находчивые. Никакими заговорщиками и подрывателями основ они себя не ощущали, а просто била в них энергия творчества, озорство также составляло не малую часть их тогдашнего (да и более позднего) бытия. Только вот страна, в которой они веселились таким образом, была далеко не здоровой.

Как тогда говорили потихоньку мои друзья, держал себя на суде Алик очень мужественно, никого не выдал, ни на кого ничего не наговорил. Большого шума

¹ см. Аннотированный каталог за 1953-1958 «58¹⁰ Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде», издание Международного фонда «Демократия», М. 1999, стр. 553-554.

в прессе страны в связи с его арестом и осуждением власти поднимать не стали. Впрочем, одна публикация появилась, название было характерным: «Бездельники карабкаются на Парнас». Выпустили его на свободу в 1962-м.

Вторично Алика схватили в мае 1964 года по обвинению в распространении книги югославского коммуниста Милована Джиласа «Новый класс», в которой автор описывал порядки в верхушке коммунистов Югославии и СССР. Дело по этому эпизоду возбудили 25 мая 1964 года, продержали Гинзбурга в заключении несколько месяцев, но набрать достаточно фактов для того, чтобы снова запрятать за решетку на много лет не удалось. Он был выпущен на свободу. Хотя его имя стало известным на Западе, в СССР информацию о смелом борце за свободу совести замалчивали. Вообще о борцах с тиранией коммунисты в основном старались помалкивать. Не дали ему и завершить высшее образование, отказали в работе по специальности. Чтобы хоть впроголодь прожить, он устроился ночным сторожем.

А в 1966 году совершенно другая тактика была применена не к начинающему журналисту, а к уже хорошо известному писателю и переводчику Юлию Марковичу Даниэлю и маститому литературному критику, старшему научному сотруднику Института мировой литературы имени Горького Андрею Донатовичу Синявскому. Они в течение нескольких лет пересылали на Запад свои рукописи и издавали их там под псевдонимами, пока чекистские ищейки не вынюхали, кто такие Николай Аржак и Абрам Терц, и не схватили обоих писателей, скрывавшихся под этими псевдонимами. На сей раз в советских газетах косяком пошли статьи о предательстве идеалов революции выродками из числа интеллигентов-чистоплюев, едящих русское сало, но продавших душу буржуазному дьяволу. Помню название одной из таких изрыгавших злобу статей — «Перевертыши», её автором был Дм. Ерёмин. Но о том, что было сказано на суде над писателями, что пытались возразить обвинителям и судьям два литератора, в печати не сообщалось. Осуждающих писем от военнослужащих и домохозяек было сколько угодно, а вот содержательного рассказа о том, сколько и какого вреда насочиняли «враги», за что же конкретно их осудили и в каких выражениях осуждали — ни слова.

Не все настоящие писатели (в противовес «бойцам идеологического фронта») согласились с судом над Даниэлем и Синявским. Около 60 человек (в их числе был М. Шолохов) направили коллективное письмо с просьбой отдать провинившихся им на поруки. Гораздо меньшая по количеству участников группа писателей направила письмо с просьбой оправдать Даниэля и Синявского вообще. Несколько лет спустя, я узнал, что Владимир Тендряков, Георгий Владимов, Владимир Войнович и их коллеги пытались пробиться на прием к Генеральному Прокурору СССР, а затем обратились с письмом (письмами?) протеста в Прокуратуру СССР по этому вопиющему поводу — преследованию не за дела, а за слова. Но о факте поддержки писателями своих коллег советская пресса молчала.

И вдруг мир и тишину взорвала *Белая книга* о процессе над Даниэлем и Синявским, собранная и пушенная в обращение Александром Гинзбургом (на обложке он снова указал свои координаты). Книга вышла на Западе и показала всему миру, каким преступным, зверским был коммунистический режим в

Советском Союзе, как за чисто литературные произведения в середине 20-го века коммунисты упрятали за решетку талантливых литераторов. Ничего противогосударственного, никаких призывов к свержению существующего строя в литературных произведениях Даниэля и Синявского не было. А поскольку судили их за вещи, опубликованные на Западе, все в мире могли сравнить статьи обвинения со строками из их работ, и сравнение это было убийственным: стало отчетливо видно, что коммунистическая Система рассматривала своих граждан как рабов и обходилась с ними самым садистским образом.

Законопослушные люди на Западе, впрочем, привыкли видеть в суде орган высшей справедливости, независимой от Власти. Кое-кто мог подумать, что в деяниях осужденных все-таки было что-то опасное для государства, раз даже судьи нашли состав преступления. Но какой именно? Этого никто не знал, суд был лишь по названию открытым, но у дверей здания дежурила толпа милиционеров и угрюмых людей в штатском, которые никого из сторонников подсудимых в зал не впускали. В зале сидели специально присланные КГБ статисты. Мужественно вел себя лишь адвокат Борис Золотухин (на несколько десятилетий после этого ему практически закрыли адвокатуру). С неимоверными трудами Гинзбург собрал многие материалы судебных заседаний, сообщил обо всех выступавших, привел отрывки из обвинительного заключения, речи осужденных, приобщенные к делу материалы. Отдельный раздел был посвящен статьям о процессе, появившимся на Западе (как показало время, это была самая полная сводка всего, напечатанного на Западе на разных языках о суде, и в течение всей жизни Арина пыталась добиться от Алика, кто же помог ему разыскать эти разноязычные публикации в газетах и журналах, кто перевел их на русский, но Алик загадочно улыбался, отвечал, что обещал имен не раскрывать, и так и унес с собой в могилу эту тайну). На обложке сборника стояло посвящение: «Светлой памяти Фриды Вигдоровой» (Фрида Абрамовна Вигдорова — известная писательница, издавшая несколькими годами раньше аналогичный сборник материалов о суде над Иосифом Бродским). В целом переданная на Запад и опубликованная там «Белая книга. Дело Синявского и Даниэля» показала, что никакого правосудия в СССР нет.

За этот уже далеко не камерный проступок (как было с поэтическим журналом) Гинзбурга приговорили 17 января 1967 года к пяти годам лагерей за «антисоветскую агитацию и клевету на существующий в СССР строй» (в материалах, распространявшихся органами безопасности, нередко указывались еще несколько человек, которые якобы помогали Гинзбургу в издании «Белой книги» — Юрий Галансков, Алексей Добровольский, Вера Лашкова и Петр Радзиевский, хотя на самом деле Галанскова в это же время осудили за неподцензурный сборник «Феникс», а остальные были знакомыми Гинзбурга, но в создании «Белой книги» участия не принимали, и попытки чекистов представить это дело как групповое были несправедливыми). Отбывать наказание его отправили в Потьму, в лагерь строгого режима для особо опасных преступников — политзаключенных. Теперь имя смелого борца с Системой не удалось скрыть от западных интеллектуалов, попытки оставить его в забвении провалились и в своей стране — Гинзбург стал известен. На Западе началась мощная кампания за его освобождение из заключения, он был признан узником

совести, был создан международный комитет в его поддержку, международная организация Эмнисти Интернейшионал начала систематическую борьбу за свободу Александра Ильича.

В лагере Гинзбург вел себя совершенно бесстрашно. Из тихого интеллектуала Система выковала мужественного борца. Перед самым арестом Алик должен был расписаться в ЗАГСе со своей невестой — Ириной Жолковской. Арест за пять дней до бракосочетания мог разрушить всю последующую жизнь, и, оказавшись в лагере, Алик объявил бессрочную голодовку в знак протеста, что ему не разрешили официально зарегистрировать брак. Голодовка продолжалась почти два месяца, о ней узнал весь мир. Десять других политзеков из того же лагеря в знак солидарности примкнули к Гинзбургу и объявили голодовку в его поддержку (в их числе был Юлий Даниэль, Леонид Бородин и другие). Чтобы снять накал страстей и показать свое «человеческое лицо», власти решили удовлетворить просьбу Гинзбурга о бракосочетании. Их зарегистрировали. Был это первый случай в истории советской пенитенциарной системы, когда находящегося в заключении политзека официально регистрировали как мужа жившей на свободе невесты.

Угмонить этим Гинзбурга не удалось. Дополнительно к прежним трудностям властей у них теперь возникла новая — рядом с мужем (на свободе, но рядом) боролась Арина Гинзбург — столь же бесстрашная и столь же активная. А он вскоре объявил вторую голодовку, теперь уже в защиту своего нового друга, с которым они оказались в том же лагере, — Виктора Калнинша. Голодовка продолжалась 33 дня и снова закончилась победой: Виктору изменили условия содержания.

Сведения об этих голодовках регулярно просачивались на Запад. А затем произошло нечто вообще невообразимое. Умный и рукастый Гинзбург быстро приобрел в лагере соответствующую репутацию, в шутку между собой зеки звали его «Русским народным умельцем Гинзбургом». У одного из главных надзирателей лагеря, лейтенанта по фамилии Кишка, сломался личный магнитофон, и он попросил Гинзбурга посмотреть, нельзя ли устранить поломку. На всякий случай лейтенант вытащил из магнитофона микрофон и мог не опасаться «провокаций». Алик починил магнитофон, но сумел использовать наушники как микрофон для записи выступлений зеков. Один вечер Юлий Даниэль читал серию стихотворений, сочиненных в заключении (эта пленка сейчас хранится в обществе «Мемориал» в Москве), а затем сам Алик надиктовал огромное обращение к мировой общественности, в котором рассказал о том, что собой представляют тюрьмы для политических заключенных (такие, как Владимирская) и лагеря. Он говорил о скотских условиях содержания заключенных, о зверствах надзирателей и следователей. Запись заканчивалась такими словами: «Передача организована по недосмотру администрации лагеря. Вел передачу Александр Гинзбург». Пленки с записями были вырезаны из кассет, свернуты в тоненькие рулончики, и на свидании с женами заключенным удалось передать их в верные руки. В 1971 году эти записи стали передавать все западные радиостанции, вещавшие на русском языке. В силу исключительной яркости, а также литературных и публицистических достоинств рассказ привлек огромное внимание. Имя Александра Гинзбурга стало широко

известным и в СССР: как ни глушили Советы передачи «Радио Свобода/Свободная Европа», «Голоса Америки», «Немецкой Волны», «Би-Би-Си», «Французского радио», но тысячи и тысячи людей в СССР ухитрялись услышать передачи, основанные на рассказе Гинзбурга. Помимо этого ему удалось передать из заключения на свободу, а оттуда на Запад много публицистических и литературных произведений, обращений, просьб. Сразу после того, как западные радиостанции начали передачи рассказов Гинзбурга о советских тюрьмах для политзаключенных, его упрятали во Владимирский централ.

Вышел он на свободу в 1972 году, отсидев весь срок, но этим дело не кончилось, его направили на принудительное поселение в Калужскую область.

В эти годы огромную значимость в мире приобрели работы А. И. Солженицына, в особенности его всеобъемлющий анализ репрессивной системы в СССР, составивший трехтомный труд «Архипелаг ГУЛАГ». То, что удалось собрать в этом труде Солженицыну, оказалось столь доказательным для миллионов людей на Западе, что коренным образом изменило так называемое *левое молодежное движение*. До этого умело подпитывавшееся советскими деньгами левое движение охватывало огромные массы «борцов за мир», «за демократию», «борцов с атомной угрозой» (направленное не против бурного наращивания ядерного оружия в СССР, а лишь против угрозы со стороны американского и других правительств). Марши протестов, прокатывавшиеся по Европе, акты неповиновения студенчества в США, «Всемирные фестивали молодежи и студентов», сотни журнальчиков и маленьких газет, издававшихся молодыми борцами за мир, и многие другие формы «борьбы с капиталистическими извращениями Запада» зачали перед морем фактов, выставленных Солженицыным на всеобщее обозрение. Левое движение сразу потеряло свою мощь, так как стало ясно, сколь аморальны потуги Кремля по сбиванию в одну силу молодых людей, одержимых желанием осуждать, исправлять, противостоять западным ценностям. Огромное влияние оказал на многих в мире сам образ писателя — непоколебимого борца с уродствами коммунистической Системы, образ человека, не сломленного чекистами и не вставшего на колени.

«Архипелаг ГУЛАГ» был издан громадными тиражами, автор получал за него гонорары, и, насколько я знал, именно А. И. Гинзбург подал идею направить эти деньги на помощь политзаключенным. Он перевидал в лагерях огромное число борцов с Системой, знал, как страдают они сами, а иногда еще больше их дети, родители и супруги, уж совсем ни в чем не виновные.

Однако когда я прочел по телефону эту статью Арине Гинзбург, она поведала мне историю, о которой они с мужем долгие годы помалкивали. Оказывается, еще до высылки Солженицыных из СССР, Александр Исаевич как-то приехал тайком в Тарусу и они встретились в овраге на окраине города с Гинзбургом. Солженицын завершил работу над «Архипелагом», но текст еще не был опубликован, и Александр Исаевич рассказал Гинзбургу, что он уже отправил рукопись трехтомника на Запад, где книга должна вскоре выйти в свет. Именно в этой беседе в овраге — с глазу на глаз — они договорились, что Александр Исаевич не возьмет ни копейки из гонорара за эту книгу и что будет создан Фонд помощи политзаключенным. Когда Гинзбург вернулся после той встречи домой, он сказал жене: «Прости меня за самовольство, но я со-

гласился, не переговорив с тобой предварительно, выступить в роли распорядителя фонда, когда книга выйдет в свет». Ни слова осуждения от Арины Алик не услышал.

Идея создания Фонда, как написали в письме в газету «Известия» по поводу смерти Гинзбурга Александр Исаевич и Наталья Дмитриевна Солженицыны, была ими подхвачена. Вскоре их выдворили на Запад. Проехав по Европе, они обосновались в штате Вермонт в США. Деньги за «Архипелаг ГУЛАГ» очень бы им пригодились. У них была большая семья (семь человек), и хоть получил Солженицын за свои первые романы (не за «Архипелаг»!) Нобелевскую премию, но, выгнанный с родины, он должен был купить дом (а поскольку семья большая — не маленький), обзавестись всем хозяйством, платить за учебу детей, за медицинские страховки, страховки на дом, купить машину, купить и на нее страховку, каждый день надо было кормить большую семью и т. д. Тем не менее идея полностью потратить все гонорары за выход книги «Архипелаг ГУЛАГ» на Фонд помощи политическим заключенным в СССР и их семьям была Солженицыными безоговорочно принята. Обязанности Президента Фонда взяла на себя Наталья Дмитриевна. В марте 1974 года на пресс-конференции для западных журналистов Александр Ильич объявил, что назначен семьей Солженицыных Распорядителем Фонда. Из западных радиопередач можно было узнать адрес Распорядителя, проживавшего в Тарусе, и отправлять деньги на поддержку политзаключенных. Можно только поражаться удивительной памяти Гинзбурга, сумевшего вспомнить сотни имен и тут же развернуть систему помощи. Как вспоминают Солженицыны, «Помощь политзаключенным ГУЛАГа и семьям их он осуществлял со справедливостью, настойчивостью, бесстрашием и без всякого различия к политическим убеждениям, к религиозной и национальной принадлежности жертв. (Эту помощь — теперь заключенным бывшим — мы продолжаем и поныне)» (газета «Известия», 22 июля 2002 г., № 126, стр. 1).

Арина Гинзбург рассказала мне о некоторых исключительно важных сторонах организационной схемы, которую разработал Александр Ильич. Разумеется, списки тех, кто получал помощь, ни к коем случае не должны были попасть в руки гебистов. Тогда бы они замучили тех, кто помощь принял. Поэтому каждому, кого поддерживали суммами из Фонда, было повторено, что если кто-то их начнет расспрашивать, откуда взялись средства, они могут спокойно молчать, их имена в руки КГБ не попадут. Но с другой стороны, счет Фонда был открыт в швейцарском банке и Наталья Дмитриевна была обязана раз в год предоставлять в банк, чтобы быть освобожденной от налогов, точные сведения о том, кому поименно и в каком размере помощь оказана. Поэтому Гинзбург должен был позаботиться о том, чтобы хранить в тайнике все списки и записи о всех переведенных суммах, а затем переправлять Солженицыной нужные фамилии, не навлекая на получателей кар властей. И он сумел с этой проблемой справиться. Более того, дважды (по разу в год) Алик устраивал у себя на дому пресс-конференции для западных журналистов, на которых предавал гласности суммы потраченных средств, количество политзеков, которым помогли, число их родителей, детей и супругов, получавших помощь. Выступая распорядителем Фонда Солженицыных, Гинзбург таким образом проявил потрясающие деловые качества. Помимо того, что с детства он был поэтом,

одно время хотел стать актером, позже играл в спектаклях и даже стал режиссером Кимрского драматического театра, Гинзбург был одаренным организатором и менеджером.

Эта чисто благотворительная деятельность, которая в ином обществе была бы расценена очень высоко, возмутила советских чинуш. Конечно, сам Александр Ильич понимал, что ему и на этот раз несдобровать. На руках его и Арины было двое маленьких детей, но это Гинзбургов не остановило.

Вместе с тем в глазах тогдашних властей Гинзбург был опасен не только как распорядитель Солженицынского Фонда. Он часто выступал в защиту всех гонимых в СССР — борцов за религиозные, национальные, профессиональные права, тех, кто пожелал уехать из СССР, но незаконно получал отказы в этом в течение долгих лет. Это создавало нежелательное для властей мировое общественное мнение. Собравшаяся в Хельсинки в 1975 году Европейская Конференция по безопасности и сотрудничеству приняла хартию, в которой была так называемая третья корзина — правила поведения стран по соблюдению прав и свобод человека. Советские лидеры решили, видимо, что, подписавшись под Хельсинкской декларацией, они получат массу выгод в экономическом и политическом планах, а все, что содержится в третьей корзине, постараются выполнять по-своему, дурача весь мир. Хочу заметить, что СССР в то время представлял собой самое репрессивное государство в мире. Советская пропаганда постоянно повторяла, что царская власть была репрессивной и даже палаческой, однако почти за сто лет царского правления в России смертная казнь была применена 894 раза (включая кровавый разгром революции 1905 года). А всего за два года (1918 и 1919-й) одна лишь ВЧК расстреляла 8389 человек и арестовала 87 тысяч человек (сообщивший эти цифры М. И. Лацис добавлял: «ЦИФРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗДЕСЬ, ДАЛЕКО НЕ ПОЛНЫЕ»). С годами масштаб репрессий разросся до огромных размеров. Попытки списать всё на изуверство Сталина неправомерны. Только по одной «политической статье» 58¹⁰ в стране уже после смерти Сталина было арестовано более десяти тысяч человек². Только с 1957 по 1985 годы по данным КГБ при Совете Министров СССР было осуждено по этой статье 8124 человека (Источник, 1957, №6, стр. 151).

Правозащитники, группировавшиеся в 1970-х годах вокруг А. Д. Сахарова, прежде всего Ю. Ф. Орлов, решили создать Комитет по проверке выполнения Хельсинкских соглашений. Одним из инициаторов создания Хельсинкской

² Эта статья гласила: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собой — лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. Те же действия при массовых волнениях, или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях, объявленных на военном положении, влекут за собой меры социальной защиты, указанные в ст. 58¹ настоящего Кодекса (высшую меру социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда...)»

группы стал А. И. Гинзбург. В январе 1977 года почти всю группу схватили на улице Москвы и увезли в Лефортово. Гинзбург, в это время считавшийся секретарем Сахарова (это спасало его от обвинения в тунеядстве), был дома. Его домашний телефон был властями отключен, и ему пришлось выйти к автомату на улице, чтобы позвонить академику Сахарову. Как только он набрал номер сахаровского телефона, шпики КГБ схватили его, и на 17 месяцев он был помещен в следственную тюрьму. Посольство США в Москве запросило информацию по этому аресту, и советский МИД ответил, что Гинзбург, по их понятиям, служит платным агентом одного из профашистских эмигрантских центров. Почти одновременно с этими арестами был схвачен выпускник Московского физтеха Анатолий Щаранский, обвиненный в шпионаже. Волна шпиономании охватила страну.

13 июля 1978 года Калужский городской суд приговорил Гинзбурга к восьми годам лагерей строгого режима. Но нужно рассказать о том, как издевались над Гинзбургом во время следствия и предварительного заключения. В застенках его начали колоть психотропными лекарствами, чтобы заставить выдать сведения, нужные следователю. Из этого ничего не выходило, и дозы вкалываемых нейролептиков все росли и росли. По сути, врачи-изуверы убивали его. Гинзбург поседел, бриться ему не разрешали, и отросшая до пояса борода висела клочьями, он усох и превратился в старика. Видела его в то время лишь адвокат Елена Анисимовна Резникова, которая перед началом суда попросила Арину, чтобы та, если на суд придет мама Алика, принесла с собой валидол. «Зачем? — спросила Арина. — Да вдруг понадобится», — ответила адвокат, отказавшись сообщить что-либо еще.

Когда в зале расселись присланные Органами «зрители», занявшие все места (в зал из близких Гинзбургу допустили только мать и жену), арестованного вдруг ввели не со стороны сцены, а через заднюю дверь. Мать обвиняемого, Людмила Ильинична, плохо видела и не смогла узнать в конвоируемом старике с седой бородой, еле переставлявшем ноги и тащившем в одной руке наволочку с какими-то книгами, своего сына. А Арина узнала, закусив до крови губы, чтобы не закричать от ужаса. Этот плетущийся по проходу усохший старик был её мужем, ему было едва за сорок, но зверские издевательства изменили до неузнаваемости его облик.

Наволочка с книгами, как оказалось, была нужна Гинзбургу для особой цели. Чтобы не навлекать на Резникову неприятностей, он решил отказаться от помощи адвоката и возложить защиту на себя. Он сделал это заявление и начал вынимать книги из наволочки, чтобы использовать их при защите. Но он был слишком слаб, — в какой-то момент пошатнулся и попросил разрешения сесть. Гуманные судьи ему в этом категорически отказали. Держась за перила и раскачиваясь, Гинзбург продолжал стоять и говорить, но всем было видно, что силы оставляют его. Судья решила прервать заседание, объявив перерыв «на ранний обед» и сообщив, что приговор будет зачитан после перерыва.

Однако объявление приговора затягивалось, и задержка казалась многим злоедей. Только после пяти или шести часов ожидания двери открылись, и арестанта ввели в зал, но было видно, что тот пребывает в забытии. Ему зачитали приговор, но вряд ли он был в состоянии понять его. Только спустя не-

сколько месяцев, при первом свидании с Ариной Алик рассказал, что за сценой упал без сознания (отключился, как он сказал ей) и только усилиями врачей был возвращен к жизни.

Когда суд завершился, толпа друзей Гинзбурга ждала его с внутренней стороны здания. Заключенного должны были вывезти в «воронке». Похожий на «воронок» автомобиль появился, и А. Д. Сахаров с друзьями бросились за ним, крича как можно громче, чтобы Гинзбург услышал: и хоть в эту минуту понял, что его друзья здесь, что они не бросили его: «Алик, Алик, Алик...» Неожиданно двери «воронки» открылись, и все увидели ржущие морды гебэшников и какие-то бутылки в кузове. Им удалось обмануть друзей Гинзбурга, и как же было не радоваться, что удалось увлечь толпу правозащитников (а их у здания суда было не менее пятидесяти) за «подставным» автомобилем!

Отбывать наказание Гинзбурга отправили в лагерь политических рецидивистов в Мордовию. Его заставили работать в цехе, где производили зеркала, шлифовали хрусталь и стекло. Работать приходилось в атмосфере, насыщенной испарениями серной кислоты, в воздухе всегда висела стеклянная пыль. Не здесь ли истоки легочной болезни, ставшей причиной преждевременной смерти Александра Ильича?

В конце 1979 года пятерых советских политзаключенных, включая А. И. Гинзбурга, обменяли на двух советских шпионов, пойманных и осужденных в США. Сам Александр Ильич никуда уезжать не собирался и даже публично заявил, что «будь его воля, он бы ни за что не уехал из Советского Союза».

Сначала он поселился с семьей в США, где по личной рекомендации известного в мире борца с нацистами Симона Визенталя (о чем Визенталь говорил мне в 1988 году во время наших встреч в Вене) один из наиболее известных американских организаторов публичных лекций привлек Александра Ильича к чтению лекций о сегодняшнем состоянии с правами человека в СССР. Эти лекции хорошо оплачивались, можно было бы неплохо содержать на гонорары семью и обеспечить себе хорошее будущее, но бесконечные турне изматывали силы, не оставляя времени на творческую работу³. Через какое-то время Гинзбурги перебрались на европейский континент и обосновались в Париже, где стали сотрудниками знаменитого парижского еженедельника «Русская мысль».

За этот период жизни Гинзбург составил бесценное наследство для всех, кто изучает и будет изучать Россию. В каждом номере талантливый журналист помещал свои статьи, обзоры, реплики на злобу дня, а с момента падения советской империи он со своими блестящими организаторскими способнос-

³ На первые гонорары Алик купил дом в пригороде Нью-Йорка. По своей доброте он поселял в нем тех из знакомых, кто оказывался на свободе в США, но без места жительства. Сами Гинзбурги так и не сумели пожить в их доме, хотя десятки людей перебивали в нем, не платя, впрочем, ни за свет, ни за воду, ни за другие удобства. В конце концов, за неуплату дом у Гинзбурга отобрали, он потерял на этом большие деньги, но всегда с юмором вспоминал, как был американским домовладельцем.

Еще одной из первых американских акций стало издание на собственные деньги миниатюрного томика «Архипелага ГУЛАГа». Гинзбург напечатал несколько тысяч этого тиража и всеми возможными путями засылал его в СССР.

тями сумел наладить бесперебойный сбор информации о том, что происходит в стране. Он по полдня проводил у телефона, получая последние новости из всех уголков СССР, и в каждом номере еженедельника одна или две страницы были заняты его аналитическими обзорами положения дел в стране. Обзоры всегда назывались одинаково: «Вести с родины». Я помню, как Наталья Дмитриевна Солженицына говорила мне, что благодаря этим обзорам их семья впервые начала получать представление о том, что творится в СССР.

Однако в начале и в середине 1990-х годов главный редактор «Русской мысли» И. А. Иловайская-Альберти стала получать всё больше средств из советских государственных источников и частных фондов, связанных с советской властью, и, видимо, под ее давлением удалила из редакции чету Гинзбургов и еще нескольких бывших диссидентов. Многие тогда предлагали Гинзбургу — блистательному журналисту и деятельному менеджеру — основать свое собственное издание во Франции. Условия — и материальные, и человеческие — были для этого благоприятными. Но Александр Ильич от этой затеи отказался. «Я не хочу перебежать дорогу тем, кто издает «Русскую мысль», это старый еженедельник, своим журналом я могу окончательно его добить, а это было бы несправедливо», — отвечал он каждый раз, объясняя свою позицию.

Мое личное знакомство с Аликом и Ариной Гинзбургами произошло в конце марта 1988 года. После десяти лет ожидания советские власти разрешили нашей семье выехать на Запад. 13 марта мы оказались в Вене, где американское консульство начало проверку наших документов перед выдачей визы на въезд в США в качестве политических беженцев. До этого в течение нескольких лет я печатал свои работы в парижском журнале «Континент», и один из соредакторов журнала, Галя Аккерман, смогла получить для меня приглашение приехать в Париж для серии публичных выступлений. Приглашение было подписано тогдашним министром по правам человека Франции, и только благодаря такому приглашению, хотя и не без трудностей (никакого паспорта у меня не было, так как советские власти лишили нас гражданства, выдав вместо заграничного паспорта узенькую бумажку с приляпанной фотографией) я приехал поездом в Париж, где на вокзале меня встречали Галя Аккерман и Алик Гинзбург. Поселили меня в редакции «Континента» на верхнем этаже дома, в котором жила семья главного редактора и создателя журнала В. Е. Максимова. Вечером я приходил в редакцию, где уже был разложен диван и постелены простыни, а рано утром вставал, собирал диван, восстанавливая рабочий вид, и отправлялся на встречи и выступления. Как правило, Алик на них присутствовал, он мягко и исключительно деликатно наставлял меня в некоторых случаях, и я снова вспомнил тех политзеков, о которых писал в самом начале статьи. Общие черты исключительной интеллигентности и благородства были присущи этим людям с нелегкой, но не сломанной судьбой.

Ухаживали за мной и Алик и Галя чисто по-русски, с утра до ночи, водили меня в маленькие ресторанчики обедать и ужинать, мы проговорили за тот приезд о многом, иногда спорили, особенно с Аликом, у которого часто был свой взгляд на события и поведение людей, и слушать его было интересно и полезно. В первый же день я спросил его отчество, но он мягко по тону, но строго по форме заявил, чтобы я звал его только по имени, причем сокращен-

но, Аликом. С какой-то необыкновенной скоростью обычная дистанция, разделяющая людей, ранее не встречавшихся лично, испарилась, и я стал чувствовать, что барьера между нами нет. Это удивительное умение сразу заводить открытые и благожелательные отношения с человеком, близким по духу, меня тогда покорило. Годы, проведенные в бесправии в СССР, конечно, отложили своеобразный отпечаток на поведении, осторожность в словах стала нормой (не зря бытовала грустная шутка: «Слово — не воробей: поймают, посадят»), а в общении с Гинзбургом и с Аккерман я почти мгновенно отрешился от осторожности и подозрительности. Переезд на Запад означал приобщение к другой среде, в которой человек мог выражать себя так, как хотел. В Париже я получил сразу несколько гонораров за свои прошлые публикации в разных странах — по тем временам это была довольно приличная сумма. Я попросил Галю, чтобы она помогла мне купить одежду для жены и сына. Мы отправились в один из недорогих, но приличных магазинов (это был, как помнится, не французский, а английский магазин), и у меня в руках оказалось несколько пакетов с вещами, которые надо было во что-то сложить. Со всеми покупателями мы пришли домой к Гинзбургам, и Алик отвел меня в кладовку, где лежала горка одинаковых серых сумок, сложенных вчетверо, а в развернутом виде имевших внушительные размеры. «Я купил два десятка этих сумок для приезжающих из России друзей, — сказал он мне, — вот видишь, несколько штук еще осталось. Бери верхнюю, она твоя. Не вздумай присылать назад, когда эти кончатся, я куплю новую стопку». Эта замечательная сумка до сих пор хранится у меня. Она — единственное вещественное «наследие» от Алика Гинзбурга вместе с горкой газет «Русская мысль» той поры, содержавших его летопись изменения России, повернувшей, наконец-то, к демократии.

27 июля 2002 года. Фэйрфакс (США)

Георгий ВЛАДИМОВ

ЛИК МОЕГО НАРОДА?

С процесса Александра Гинзбурга

— Здесь стоит жена осужденного, — крикнул им Сахаров, — будьте же хоть раз в жизни людьми!..

И этот вскрик, столь страшный по смыслу, нисколько их не ошарашил. Тотчас нашлась с ответом девица — вертящая и с порочным личиком, в лаконичной сверх пределов юбочке, — в калужских кругах известная как «показательная воспитанница детской комнаты милиции».

— Мы-то вот люди, а вы кто? — И далее уже по инструкции: — Нам стыдно за академика Сахарова.

Мы и они стояли по разные стороны ворот, из которых должны были вывести осужденного, и они реготали, ржали тем смехом, какой возникает только

при виде пальца, — над чем же? Как ловко они нас провели. В руках у нас были цветы, мы хотели их бросить под колеса «воронка» с привычным уже скандированием «А-лик! А-лик!»; и эти цветы хранились в прозрачном полиэтиленовом мешке с водой и были розданы в последние минуты — и тут, кстати, выдали себя все примазавшиеся, втесавшиеся, изображавшие «сочувствующих»: от цветов они отказались, этого инструкция то ли не предусмотрела, то ли не могла позволить, даже в целях маскировки. Однако ж и они приготовили свою «новинку».

За три дня мы привыкли, что «воронок» этот (не черный, как в песне поется, а серовато-розовый) вылетает стремительно и тут же скрывается и мчит за ним с прерывистой сиреной оперативный желто-синий газик. Но вылетел — другой какой-то, без сопровождения, с одним лишь водителем в кабине, — у нас не было уверенности, но бросили цветы и под него, все-таки проскандировали. Это и было начало их розыгрыша, а самая кульминация наступила, когда у второго «воронка» так театрально неожиданно распахнулась задняя дверка и подбежавший дружинник показал нам, что в нем везут порожние бутылки из-под кефира.

— А вы — «Алик, Алик»! Вот вы кого с цветами встречали. Подберите ваш мусор.

Уже давно истошились наши с ними дискуссии: кого мы тут чествуем цветами, чем нас не устраивает советская власть и какого нам рожна еще нужно, «борцам справедливости». Уже послышалось — и все чаще раздавалось — слово «стрелять», и вот некто, явно нагрузившийся, ступив с тротуара и выпитив живот, обвел наши ряды блаженным и оценивающим взглядом.

— Эх, хорошо встали! Ищас бы вас всех из автомата — одной очередью.

— В своих попадешь, — сказал ему кто-то из нас. — Тут и ваши стоят, на этой стороне.

— Никогда! — воскликнула страстно «показательная воспитанница». — Никогда мы не встанем на вашу сторону!

Свой фортель с «воронками» они могли проделывать до бесконечности, и мы двинулись восвояси — под накрапывающим дождем, по улице, закрытой для проезда всех машин, кроме оперативных. Двинулись и они — параллельно, по проезжей части, временами приближаясь и все же не смея переступить незримую, но указанную им черту, — и все ржали и выкрикивали свои оскорбления.

Вот эти гогочущие, глумливые, неподдельной злобой исковерканные лица — это он и есть, лик моего народа? Это за него — бороться нужно, внушать ему начатки правосознания, человечности? Это ради него жертвовали профессией, любимым делом Сергей Ковалев, Андрей Твердохлебов, Юрий Орлов, платили свободой, да вот и Александр Гинзбург в третий раз за решетку идет, за проволоку? Стоит ли? Нужна ли противникам нашим другая участь, они так довольны своею?!

А ведь далеким предкам их свойственно было сострадание — даже и к государственному преступнику, — как же отвердели, окаменели потомки! А что стало бы, если бы и впрямь кто-нибудь из них оказался «мягкотелым вырождением»? Когда обращался к публике Сахаров с просьбой кому-нибудь выйти, уступить место жене, а публика смотрела на него из окон второго этажа — тупо, равнодушно, вовсе без всякого выражения, мертвецы, почему-то располо-

жившиеся вертикально, — вдруг бы кто-нибудь ожил, вышел бы, уступил? Вдруг бы комендант суда, предупредительный и непреклонный, презрел свои функции и пропустил бы Арину в зал — хотя бы на время чтения приговора? Да хоть бы один из этих дружинников с выправкой строевых офицеров — нет, не провел бы под свою ответственность, а только вопрос бы задал: «Ну, может, все-таки пропустим, начальник?» Стрясло бы крушение всей системы, миропорядка? Сами бы эти люди — жестоко пострадали? Мы из литературы помним, что стало с купринским дяконом, который не опустил свечу, но поднял ее высоко и вместо анафемы «болярину Льву Толстому» проревел ему «долгая лета» — он лишился службы и сорвал голос. Так, стало быть, анафемствовать — выгоднее, покойнее для души?..

Но вот с этими калужанами, из которых ни одного нет, у кого б хоть один родственник, хоть самый дальний, не пострадал, не загинул на «сталинских курортах», — чего мы не поделили с ними, откуда такая ненависть?

Кончается эта улица, тенистая и короткая, и нам расходиться пора, а пленительное «а вдруг» так и не приходит. Однако ж уходят они — совершенно спокойно, с другими уже заботами на лицах, даже как будто усталые, опустошенные. Сыграв свои роли, сбросивши маски, они уже не дают себе труда ни лишнее бранное слово произнести, ни выглядеть, какими только что были.

А полчаса спустя, на другой улице, я сталкиваюсь с одним из них; мы узнаем друг друга, и я вижу два глаза, глядящих на меня с живым любопытством. А в самом деле — натасканный, надressedированный, он ведь так и не получит ответа: что же нас гнало в эту Калугу, где нас не поселяли ни в одной гостинице — и мы спали по чужим дворам по трое в одной машине, или по семь — по восемь человек в комнатке у знакомых? Что нас заставляло целыми днями выстаивать в затоптанном скверике около суда, откуда заранее, предусмотрительно убраны были скамейки, — без малой надежды хоть на минутку проникнуть в зал? И чем могли мы помочь судимому, который и видеть не мог ни нас самих, ни наших цветов?

Если хоть это ему интересно, то он уже — «выродок». И значит, не потерял для человечества.

Я СНОВА «МЫ» ПИШУ...

* * *

В разгар лихолетья
Мой бог меня встретил,
Позвал появиться,
Начаться на свете,
Очнуться ночами,
Где мир намечали
Салютов зарницы
Сквозь слезы печали.

Где пороха привкус
Был в списках и сысках
Живущих и павших,
Далеких и близких.
Где хлеб стал подручен,
А шепот озвучен,
Где вгорбилась пашня
Под ядерной тучей.

И все же — чтоб ожил,
Чтоб выдалась ноша,
А именно слово
Явилось, но позже, —
Начаться, продлиться,
Тропой ли, страницей,
В отмашке глухого,
В оглядке двуплицей.

**Сергей
МЕРКУЛЬЕВ**

— родился в Иркутске в 1943 году. Член Союза Российских писателей, автор поэтических книг: «Привкус крови» (1990), «Ультразвук» (1993), «Узы» (1995), «Самоклад» (1998), «Избранное» (1999), «Муравский шлях» (2001). Живет в Екатеринбурге.

* * *

Углы ртов округляются: О!
Глаза удлиняются: вспышки сцены
Высвечивают вечернюю смену
И елочные шары и лицу лицо.

Дети, расписанные по дням и часам,
Дрессированные в казармах повторов,
Округляют рты, удлиняют глаза:
В музыку плыть и спастись!
Пусть повинностей ворох,
Но сначала —
Танцы!

Потом:
Коммунизм, уроки,
Картошка, работа, — потом
Режим, щадящий иль строгий;
Молчи иль по фене ботай...

Но сейчас вихрь свободы
Ловить
Округленным
Ртом.

* * *

А губы пухли теплотой,
А рот с невнятицей не спорил,
Бор оборвался с запятой,
Темнее стал и глубже моря.

И сизых крон его прибой
Принес нам дар на гребне страсти —
Отказ от власти над собой,
Как и от всякой прочей власти.

А солнце рсзало стволы
Наискосок, и спектра грани
Дрожали в капельках смолы
И в каждой луже, как в мембране.

* * *

Э.Б.

Опаздывает все, и только мы не смеем,
Мы к месту быть должны и вовремя домчать,
Где прозой, где стихом, а где воздушным змеем.
Опаздывают все. И только мы не смеем
Рассчитывать: что — в стол, что — в подпол, что — в печать.

Я смело Мы пишу, поскольку в сочиненье
Участвуют со мной, над строчкою склонясь,
Хребты уральских гор, стрелецких бухт волнение,
Я смело Мы пишу, поскольку сочиненье
Меж нами и тобой лишь обнажает связь.

Я снова Мы пишу... Подстрочником колючим
По проволоке лет промчится эшелон.
И сам собою вдруг возникнет тост за случай
От имени всего, в чем наша неминуемость,
От имени всего, что мимо нас прошло.

* * *

Хотите
Люди
Родятся
Седыми

Мудрость
За глупостью
Пойдет
Ученицей

Наказанье
Вызовет
Преступление

Слезы и пот
Отольются
Потопом

Хотите
Дети
Родятся
Седыми

* * *

Из дому человек уйдет
Под хлопанье дверями, под
Пустых древес дырявый свод
Направо иль налево,

Под ржавый водостока блеск,
Под шины хлюп и лужи плеск
За правдой иль за хлебом,

Уйдет из дому человек
Походкой легкой, на побег
С намеком неким,

И долго не опустит глаз
На след, пропавший первый раз
В золе и снеге,

Из дому выйдет и уйдет
На час, а может, и на год,
На всю дорогу,

С которой вечно разведен,
С которой вечно виден дом
С теплом и Богом.

* * *

Не иссякает
Старое вино.
Пружинит камень
Под стопою легкой.
Луна к столбу
Притянута веревкой —
Последнею усталостью дневной.

За это же
Полцарства отдают!
Всю жизнь сполна.
И кое-что в придачу.
Кого ты молишь? Отчего ты плачешь?
Всё позади.
А путь обратный крут.

ФИЗИОЛОГИЯ ДУХА

роман в письмах

Никому, Которому обязан всем.

Письмо первое

Все люди всяческого рода, которые сделали что-либо доблестное или похожее на доблесть, должны бы, если они правдивы и честны, своею собственною рукою описать свою жизнь; но не следует начинать столь благого предприятия, прежде нежели минет сорок лет

(Бенвенуто Челлини).

Дорогой друг, пишу с тою целью, чтобы сказать Вам нечто доподлинное: я Вас люблю. И люблю я Вас тем достовернее, что Вас — нет. А любовь, неотделимая от веры, как и та, может быть неповрежденною истовою любовью лишь к тому незримому, пустому, не имеющемуся, во что только и можно сказанные любовь и веру — поместить.

К этому выводу, как Вы понимаете, надо было еще прийти.

Единственное в моей смешной и глупо прожитой жизни, что если не представляется доблестью, то уж по крайней мере сделано честно, производит, при первом ознакомлении с ним, прямо обратное впечатление. Но, по моему убеждению, было и оно, мое по видимости жалкое жительство, не вполне бесполезно.

Поскольку все оно было сплошной попыткой любви — и произвело на свет опыт полной невозможности таковой.

Хочу выразиться посылить точнее о столь важном предмете: небывальщина — отнюдь не всякая любовь вообще.

**Юрий
МАЛЕЦКИЙ**

— родился в 1952 году в г. Куйбышеве (Самара). Окончил филологический факультет Куйбышевского университета. Дебютировал в «Континенте» в 1986 году (№ 47 и № 48) повестью «На очереди» (под псевдонимом Юрий Лапидус). Печатался в «Знамени», «Новом мире», «Со-гласии» и др. журналах. В «Континенте» № 81 был опубликован роман «Убежище», в № 88 — роман «Любью» (шорт-лист Букеровской премии), в № 99 — роман «Проза поэта». С 1996 года живет в Германии в г. Аугсбурге.

Кто не переводил через улицу старушек, кто не объяснял говорливо при-
езжему, как добраться по спрошенному адресу, кто не давал просящему
закурить с тем особенным кратким удовольствием от совершаемого ма-
ленького, но доброго дела, где до братской любви к ближнему, кажется, всего
лишь шаг? Кто не любил своих друзей, иногда даже отрывая ради них — не
без того же особенного удовольствия — что-нибудь от себя? От любви в
этом мире просто некуда деться. Даже бандит мелкой руки, выручающий
товарища в серьезной переделке, как бы уж там ни было, исполняет на
своем месте завет любить «искреннего своего», иногда до положения живо-
та. Не станем мизантропически отрицать действительность любви в
нашем будто бы только своекорыстном, словно уж сплошь негодяйском
мире. Любовь есть, будет — и да будет.

Но так есть **лишь-до-тех-пор**. Пока вы не **заинтересованы**. Пока вы
хотя бы одной ногой остаетесь на позиции внешнего человека, сохраняюще-
го дистанцию по отношению к тому, кого любит. Легче сиюсекундно от-
дать за **кого-то** жизнь, чем насовсем отдать **кому-то** душу. Стоит кому-
то отдаться, поместить другого внутрь себя — всё пропади пропадом.

По счастью, на самом деле человек и не собирается отдаваться до
конца. Чаще всего человек доводит в жизни до конца лишь собственную
жизнь; но это поневоле. Добровольно до конца в своей жизни что-то дово-
дят только небывалые герои Достоевского. Не то живой человек. В пылу
первой страсти он, она рады отдать свое тело. Но за душу он уже тогда
ведет первые — пристрелочные — бои.

По прошествии же времени устало, но цепко торгуется, отнюдь не только
с другим, но сам с собой, за каждое — уже не отдаваемое, но сдаваемое
напрокат движение души, от которой требуется неприятное: считаться
более с желаниями и потребностями другого, чем с собственными.

Чем далее, тем пуще другой начинает **мешать себя любить**. Своею
душевно-телесной плотностью — так, что в него некуда и поместить
м о ю, любящую его душу. Если бы объему душ и весу тел удалось найти
эквивалентную единицу измерения, мы увидели бы, что тело, погруженное в
близость, отторгает от себя столько же душевной близости, сколько ве-
сит погружаемое в физическую — тело.

Зачем же любовь — ведь это была любовь? — звала меня «познать»
своего мужа, жену? неужели затем, чтобы как раз на вершине познания
отказаться от познанного? Чтобы перестать быть собой — именно через
свое осуществление?

Жертвуем частью своей прирожденной Magna Harta для того, чтобы
насладиться обретенной счастливо полнотой, сово-купностью. В пронзи-
тельный миг «последних содроганий» — что мы переживаем? болезненную,
как роды, сладость со-единения. Это и есть, кажется, именно роды нового
существа, когда уже не будет губительного раскола, ни разделения, но, нако-
нец, наступит полнота «всего во всем».

А вот как бы не так.

Сладкое съедено и вызывает оскормину. Он, она, лежит рядом с тобой, говорит с тобой, когда тебе насущнее молчать, сопит в подушку, когда тебе охотнее поговорить по душам, сопит себе — и пусть сопит. Не с ним, не с ней, хочется говорить, и молчать — с другим. С тем, кого — не знаешь.

А почему, спрошу, почему не с ним-то?

И что, еще спрошу я Вас, мой дорогой, что затмевало ум и помрачало чувства? Где были они раньше? Что заставляло желать именно его, ее, видеть именно в них свою недостающую половину, — тогда как отныне ясно вижу: рядом — не тот, совсем другой, другая?

Что заставляло меня желать именно его, ее ныне нежеланного, нежеланную? Только само же чистое, бессодержательное желание. В который раз видишь избранника или избранницу в очередных нем или ней, еще не познанных, не обнаженных=полуреальных, наполняемых **т о б о й** чаемым тобою же содержанием.

И всегда тут как тут, всегда готова к услугам какая-нибудь интимно увлекательная приманка именно-с ним-ней-близости. В 18 — улыбка, жест, походка... в 30 — якобы общность устремлений, со-понимание (все это ты прочтешь в улыбке и жесте...). Но главное, конечно же, ответное желание **тебя как избранника, избранницы**. Оно должно возникнуть одновременно-с-твоим. Как при возждении автомобиля педаль газа и педаль сцепления должны «схватиться» в своем встречном контрдвижении, иначе машина не тронется с места при заведенном моторе, — так и тут должны «схватиться» два желания.

Тогда и возможен Великий Двойной Самообман. Пронизанные токами единого желания, бессознательно настраиваетесь: не — каждый на свою привычную волну, но и не на волну другого, а на одну и ту же в обоих — волну взаимно-желания. Оно заставляет каждого из двоих словно бы органично для себя чувствовать чувствами своего якобы суженого, суженой (суженной до суженой). Вдруг нравится то, что не нравилось никогда. И вовсе не лицемеришь, истолковывая в нем, ней — в хорошем свете то, что во всяком другом человеке истолкуешь в плохом. Просто видишь все по-другому: в ней, нем нравится вовсе не он, она как таковые, а «он», «она»: преображенные светом его, ее желания в а с, вашей необходимости. Иными словами, нравившись себе сам, отраженный в преображающем зеркале влечения-к-тебе. Инвестировав всего себя в это обманное влечение — теперь получаешь отдачу. Прибыль собой же.

Да. Спрашивайте.

Правда ли, что непременно — обманное? Так ли, что эта преображающая сила влечения — непреложно уж и ложь? А что, если как раз — истина? Ведь мы же одного только и хотим от истины: не простого осведомления о ней, но полного преображения нас — и не сталкиваемся ли мы в плотской любви с чем-то столь самоочевидно-блаженным, что отпадает и вопрос: что есть истина? Вот же, вот она. Вот это она и есть.

Нет. Еще раз. Нет.

Нет, говорю, когда снова и снова вижу: желание, оканчивая свой странный, уму непостижимый путь, сходит на нет. Потому ли, что цель его перестает быть манящей тайной — другой уже мой, уже познан, уже давно как усвоен до мозга костей. Почему ли еще, но влечение-эрос, пройдя очередной цикл до конца, истощивает себя. Любовь умирает.

Но ведь любовь «никогда не перестает».

Почему влечение, возжелание духа (вовсе не плоти), по природе своей бесконечное (во всяком случае, нам не дано знать об его скончании; луч, имеющий начало, но не имеющий зримого конца, быть может, рассеивается и гаснет где-то, в далеких-далеких слоях атмосферы, но не мы зрители его угасания);— почему бесконечное должно всякий раз проходить цикл очередной жизни вплоть до умирания, цикл своей конечной жизни на наших глазах? Не знаю. Не верю. Не хочу верить. Всякий раз наново не могу с этим смириться, всякий внезапно-счастливым раз (забыв: этих раз было сорок раз по разу) надеюсь на бесконечность влечения-к-другому.

Но раз уж всякий раз неотменимо проваливаюсь в своих ожиданиях — пора хотя бы назвать это по имени: я переживаю в очередной раз начало чувства, обреченного самим сегодняшним появлением на завтрашнюю смерть. Снова во мне возникает любовь, которая тем самым — умирает. Вещь, достойная внимания.

Внемлю.

Бог есть любовь. Но Бог бессмертен. А любовь умирает.*

Помолчим, мой друг. Помолчим. Ваш бедный друг.

Конечность бесконечного. Как же нам быть? Ведь антиномии тогда уместны, когда относятся к свойствам «чистого разума». Но уж что-то, а только не «чистый разум» мешает нам жить.

Нам мешает жить нечистый разум. (Каламбур. Но, кажется, не бессмысленный.)

И дабы разум не был нечист более, нежели ты это выдержишь, не испытывая последствий его расстройств, его уж совсем ни к чему угощать лишними антиномиями. Как сказано, собираясь что-либо предпринять, сначала исчисли издержки. Подумай о том, выдержит ли твой бедный разум, когда сердце колотится совсем уже рядом с головой. Способен ли ты спать, когда сосед сверху уже всю заколачивает поутру гвоздь-другой в стену над твоей кроватью.

Не знаю, как быть. Всю жизнь только и пытаюсь, что это узнать. А что вышло?

Первая женщина была старше меня лет на пять. У нее была большая голова на маленьком теле и вороньи волосы, вечно немывые и оттого слезавшиеся, как пакля. Один пресловутый литературный персонаж однажды проснулся и вдруг понял, что уже много лет женат на женщине, которая не в его вкусе. Это-то еще бы ничего; но я-то, я-то — с самого начала знал,

твердо знал, что она не в моем вкусе. Но тогда зачем, зачем все это было, друг мой, зачем?

Теперь понимаю: то говорила во мне замаскированная плоть; но тогда-то ведь она была замаскирована — и наилучшим образом: как раз тем, что никуда и не скрывалась, заставляя переживать постоянно — ночью, в школе, где и когда ей бывало угодно, — самое срамное и стыдное, но одновременно с этим (и словно бы совсем отдельно от этого, как бы не имея к этому отношения) во мне роились самые романтические представления о соединении с человеком другого пола, о полной близости с ним (сердечной, но почему-то непременно и телесной — помню вдруг неожиданный сон, будто я проникаю некоей *близкой женщине*, имя не значится, лицо полностью смывто — пальцем (почему пальцем? словно бы указующим перстом — сюда!..) в срамное, чернеющее меховой воронкой, но почему-то самое заветное, самое *чрезвычайное*, самое-для-меня-одного). Да, я был весь пронизан и прекрасным чувством необходимости слияния душ — но теперь-то ясно вижу за этим: дай женское! отверстие — куда излить себя! пещеру — куда себя спрятать! Отдельное от семьи и школы, чем обладаю только я. У нее могла быть еще хоть рота, но *в мое время*, в отдельном от остальной моей жизни углу (она жила с соседями, с подселением, причем каждый считал, что это другого подселили к нему), — в мое время она принадлежала только мне.

В шумящие по весне моей годы никого я не искала. Я ждала, не ожидая. Смешно сказать, но ровно Татьяна Ларина. Как все тогдашние мало-мальски серьезные девчушки, я была уверена, что мне полагается серьезное же чувство (которое приведет и к э т о м у, — как на конце иглы кащеевасмерть, будет и таинственное «интимное», но до него еще надо с жутким интересом добраться, впереди еще заяц, утка, яйцосама игла...). И этому чувству должен соответствовать тот, кого люблю. У него, как с усмешкой видится сейчас, должно было быть по меньшей мере два качества. Первое, на юношеском челе его должно было быть написано какое-то высокое стремление дум. Думы же эти, во-вторых, должны быть устремлены ко мне, и высота их должна еще больше поднять в моих глазах и меня, и то, что имеет между нами произойти.

Первый он пришелся впору (или пора — пришла), помимо наличия указанных двух качеств, тем, что был застенчив: как и он у меня, я у него была первой; нам обоим было сначала стыдновато поровну и поровну сладко от этого стыда, этот-то паритет и позволял воспринимать с большой буквы то, что происходило. Второй подкупил (помимо того, что куда больше первого нравился мне «сам собою») тем, что, имея небезосновательную репутацию любимица женщин, человека опытного и смелого с женщинами, проявил со мной некоторую целомудренную серьезность на грани робости (это позволяло чувствовать себя не просто желанной, но — Женщиной). Третий... это уже другая, «взрос-

лая» история, история совсем других попыток любви. Попыток совсем другой любви.

Беда, что «от юности моя» я относился к любви серьезно. Обречен был наполнять серьезностью своего чувства даже то, что не вмещало его без натуги. Чтобы потом, неизбежно столкнувшись с обнажением правды: это не любовь, — но с обнажением, в свою очередь, замаскированным под «я разлюбил», — обескураженно уходить. Так я ушел от первой — уже зная, какой будет, нет, какой *должна быть* вторая. Во второй я искал того, что вдруг, с ростом самосознания, до разреза мне понадобилось: единственность ее сердечной близости с кем-либо; этим *единственным кем-либо* для нее должен был быть я — и никто другой. Сейчас самому чудно — зародится же в дурьей башке: случайный первый=единственный!..

Случай=возраст помог тому, чего домогалось. Мне стукнуло 18, новой избраннице только подходило к тому. В этом возрасте тогда еще бывали девушки, не влюблявшиеся еще ни в кого, даже в артистов, погруженные в полудрему-полуожидание — и в этом возрасте чья-то случайно выпавшая тебе, чья-то *п о к а - е щ е - д е в с т в е н н о с т ь* воспринимается как девственность-для-тебя. Как единственность тебя-избранника-для нее-избранницы. Все типовые проблемы расставания с девственностью, согласно тогдашним правилам игры, принятым среди серьезных девиц, решаемые длительно, постепенно, с приличествующей искренней стыдливостью, перемежаемой вспышками жертвенности телом (смотри, смотри, любимый! до тебя этого никто не видел, не трогал! смотри же, любимый, трогай, это сегодня *до сей черты* твое!), решаемые при помощи тебя точно так же, разумеется, как решались бы при помощи любого другого-встретившегося-вовремя, — все это воспринималось как единственный, драгоценный дар-любви-тебе-только тебе.

Первый, а особенно второй уходили из меня трудно — теперь, по прошествии немалого времени, трудно сказать: потому ли, что я на самом деле относилась к каждому из них как к мужу, то есть с е г о д н я н а в с е г д а любимому, то ли потому, что д о л ж н а была относиться к ним так, если мыслила себя в единственно достойной роли Жены. Но все же — ушли: жизнь всегда успевает взять свое. Даже у тех, для кого самоубийственно расстаться с высокими представлениями о себе. Потому что еще более самоубийственно расстаться с жизнью.

Тем более, что она помогает все обустроиться комфортом, предлагая безотказную мысль: вы разошлись потому, что он оказался недостойн твоей любви.

Кажется, на втором году жизни с ней, когда я удостоверился окончательно, что она предана мне всецело и добиваться более нечего, незачем более подтверждать то, что и так уже очевидно, я изменил ей с ее же подругой. Изменил

не из подлости... впрочем, от чего же еще? из подлости, конечно... но неожиданной от самого себя. Нахлынуло. Хотя, вспоминая, вижу, *почему* нахлынуло: в подруге сполна представительствовало то, чего была лишена моя... назовем ее — возлюбленная (пусть прозвучит и о ней хорошее слово): подруга не отдавалась чувству вся, без остатка, и этот остаток, ее невреждаемая Самость, горел в темных ее глазах темным же, ужасно интересным вызовом. При этом отношения с прежней возлюбленной оставались для меня прекрасным союзом, неразделимым и вечным; но и к происшедшему с ее подругой в силу непроходимой серьезности не мог же я отнестись как к минутной прихоти природы! Нет, я именно должен был поверить своей серьезности, уговорить себя влюбиться по уши. Так стало сразу две любви — а я даже не задал себе вопроса: а что, если я подделал их обе?

Дорогой, Вы, конечно, уже заметили главную, бросающуюся теперь (почему это теперь всегда бывает потом?) и мне самой в глаза вещь: совершенно разные люди, они объединены одним: они — ушли; и совсем не важно теперь, как — трудно или легко — они уходили. В жизни что всегда важнее того, как. Они прешли. Перестали. А ведь любовь «никогда не перестает». Ну-когда. Слово, так мало могущее, может тем не менее сказать: «Никогда!». «Never!». «Nie! Niemals!». «Jamais!». А что еще, даже музыка, что еще может хоть как-то назвать по имени дыболоволосый ужас перед бездной, куда..?

Да, любовь — что это? проверим себя. Что такое — стол? Что это — любовь? Стол — это стол, все остальные определения подходят и для табурета. Любовь — это то, что никогда не перестанет. Сколько ей ни говори: перестань.

А они — перестали. Значит, это была не любовь? А ведь как я их любила. Я их любила? Помню, что это чувствовала. Но не чувствую того, что помню.

Понимаю вопрос. Почему? почему они ушли — из меня?

Думаю... ах, ничего я на самом деле не думаю, а только все время кажется мне, что это они меня довели. Выдавили из меня всю любовь к ним. Ну да, так и они обо мне сказать могут, слово в слово. А все равно — не могут они так сказать, если честны. Вот что я скажу.

Все отличие женской любви от мужской видно там, где она — умирает. Мужчина перестает любить — сам. Значит, и не любил. Женщина — не сама собой, а только когда он ее к тому вынудит. Дождет.

Отношение каждой из них ко мне меня не устраивало. Первую (не поставленную мною в известность, что у нее есть соперница) устраивало во мне все — при условии, чтобы я давал ей любить всего себя, как всегда. Она же думала — все как всегда. Второй, поневоле осведомленной о том, что она у меня не одна, нужен был такой я, который бы любил только ее —

и доказал это тем, что ушел бы от первой к ней. И ведь это я, я сам подал ей мысль, перешедшую затем в свирепое желание полной моей принадлежности ей. Своим затяжно-страстным увлечением ею я подал ей, а затем усилил мысль о том, что все это может быть и серьезно — да уже серьезно, смотри, серьезней уже и некуда. А раз так... Вторая все более предъясняла на меня права, казалось бы, принадлежавшие первой. Первая же «лишь тенью была, никуда не звала»... Итак, когда вторая окончательно поставила вопрос ребром: или — или, — я, осознав сложность ситуации (того, что уйти ко второй не собираюсь — в ней нет ни малейшей, столь важной и привычной для меня верности и преданности первой, а в отсутствие второй столь замечательные качества первой, влюбленность и преданность, теперь, без контрастирующего вызова, готовности немедленно расстаться со мной и забыть как миленького, будут всегда казаться пресными, недостаточными), решился осуществить свой выбор до конца: уйти от обеих. Со второй это не составило проблемы: самолюбие в ней затмевало все. Одна короткая сцена. Что до первой... долгая сцена. Подробности не делают мне чести.

Я поступил так (как думаю теперь; тогда же думал лишь, как бы это все быстрее кончить) не только из собственной плохости, но и из тоски по настоящему чувству. Оно должно было включать в себя то, что было и в одной, и в другой связи, все, даже взаимоисключающее, соединять в одном. Быть — круглым.

Как бы ни менялось с годами начало очередной любви к нему, как бы по-разному ни разыгрывалась партия в зависимости от опыта, конец всегда один.

Когда появился третий, мне перевалило за двадцать пять.

Ждал ли я прихода настоящего=всеобъемлющего чувства? В смысле: был ли верен этому ожиданию, не сворачивая на случайную боковую ветку? Сказать так было бы правдой лишь наполовину. Я ждал его — вынужденно. И не отказался бы, если бы мог...

Смешно сказать, во всю свою жизнь не имел я ни одной случайной связи. И не оттого, что не хотел — с чего бы? всегда завидовал тем, кто относится к таким вещам просто, а потому столь же просто преуспевает у женщин, которые (не все, не все, но ведь женщин очень много — выходит, многие) страшно просты в обращении (я убеждался в этом не раз, с удивлением глядя на то, какие у моих не всегда казистых, но простых и легких приятелей, интересные и далеко не столь уж *приступные* на вид подруги), если не завышать им цену и не делать их сложнее, нежели они есть, в их же глазах. Это ведь ей я такую серьезную планку ставлю, а она не находит комфортным *слишком большому* соответствовать — или, наоборот, примерив предоставленную ей главную роль на себя, уже не может так просто, за здорово живешь, выйти из роли.

Помню, как-то, когда-то, сидели мы с приятелем в бане, и он: пора разбежаться, а податься некуда — остается пойти к (тут он назвал известную тогда женскую фамилию, чемпионки страны, по теннису, кажется), эта всегда примет, баба веселая и всегда готовая. Я, очень еще молодой, спросил: неужели есть приличные женщины, которые в с е г д а не против? неужели они ну совсем — как мы, совсем н е д р у г и е ? Он посмотрел на меня с удивлением и спросил — у тебя что, мало было баб-на-ночь? Вообще не было, ни одной, признался я вполне простодушно. И даже после сильной пьянки? Да говорю тебе — ни одной. Куда же тебя тянула сильная пьянка? Еще сильнее напиться. А дальше? А дальше смертная тоска. Что я, с этим полезу к сидящей рядом? Ну, старик, воскликнул он с жаром, я просто тебе завидую! Ты еще можешь к *ним* серьезнее относиться, чем к себе.

За двадцать пять. Уже неслышанный весенний шум, затмевающий всякий иной звук в мире. Но и слегка битая жизнью, еще я давала себе немалую цену. Такие, конечно же, не валяются на дороге: на незавершенном исходе первой молодости, недурна собой; интеллигентна и, кажется, «умна впопад» — не чужим умом начитанной барышни. Умным мужчинам интересно было со мной говорить — я это видела — не потому, что мужчинам всегда интересно говорить с интересной женщиной. Им было интересно со мной — как между собой, без дополнительной сексуальной приманки, насколько это у них вообще возможно. Но я уже начинала видеть: таких вот умных и интересных женщин — хватает, как и любых других, как завязывая парикмахерш или закадычных продавщиц колбасного отдела; по-своему я столь же типова. Тот, кому откажу я, найдет, если поищет, другую такую же, что-то «мое» в ней утратив, зато что-то «ее» в ней приобретя, а я... я потеряю — ... Ничего не потеряю, а тоже найду. То, от чего отвыкла, давно уже живя с кем-то, — разное одиночество. Включая телесное.

Какое бы сравнение?.. Пока не куришь, тебе это не то что не надо, а просто не думаешь, что для полноты самоощущения нужна еще и такая штука — втягивать дым и выпускать. Но стоит закурить, привыкнуть быть курящим, а потом бросить — томишься, и не от нехватки никотина (бредни!), а от нового чувства собственной недостаточности, ущербности. Правда же странно, если, прибавив к единице 0,1, а потом вычтя эти 0,1 — получим не ту же единицу, как непреложно должно получиться, а, скажем, 0,576?.. И добавим: пока ты и з в н е курения, ты ясно обоняешь гадкую вонь любой куримой рядом сигареты, будь то «Прима» или «Мальборо», — и никакие глянцевые коробки, никакие ароматы, исходящие из открытой пачки наилучших сигарет, не в состоянии обмануть относительно того, чем запахнет, как только э т о затлется и закоптит. Но стоит оказаться в н у т р и — втягиваясь в игру, пересташь обонять все то, что просто чадило раньше. Как это, ка-

жется, ясно, особенно когда дело касается женщины, существа чуткого к подробностям жизни, запахам цветов и запахам, исходящим из ее жерта... и как это, однако, неукоснительно совершается все новыми нами.

Так точно и я, пока от рождения оставалась девственна, — просто не знала вкуса этого, чтобы страдать от его нехватки; иное дело, я была осведомлена: без этого любовь — не вполне любовь, это — пик любого «романа». Чаемой любви. Но в этом с а м о м п о с е б е, еще не данном в ощущениях, я непосредственно не нуждалась. Я и без того была — полная. Целая.

Он завидовал мне! Знал бы он, что я завидовал ему. Он не ведал комплекса мужнины-отказника. Отказника, у которого было все, чтобы не быть отказником, кроме умения приняться за дело — просто.

Это и было моим спасением. Потому что если бы какая-нибудь случайная она согласилась — а я бы все равно не смог... Это было бы еще хуже во сто раз! А я бы не смог, точно.

Кто сказал, что не имел случайных связей? Я? Не слушайте. Один раз... один раз проклятый мой серьез — случайно попал в точку. Она была, видно, в самой поре поисков, в самом пике желания разрешиться от прозаического бремени девственности. И вот тут-то, когда она была уже мною чутко раздета (на это опыта хватило), когда она уже извивалась, как рыбка на суше, вдруг понимаю: не могу. Не в т о м с м ы с л е, а еще раньше: не могу. — раздеваться; перед мною же раздетой женщиной не могу, когда п о м н ю с е б я. Когда не влюблен. Ее смог охмурить, но не себя. Повернулся я тогда к стенке, как был, в потертых, лысо-голубеющих, как тогда ходили, джинсах «Ли», и плевать хотел, как она там за моей спиной, рядом, дальше трепыхалась, как рыбка без воды. Молчу, как на допросе. А она ждала. А я молчал. И она перестала ждать и ушла. Наверняка возненавидев меня.

Была — извне. Но, породнившись однажды с мужчиной телесно и потом с другим (сколько же у меня некровной родни), оказалась в н у т р и. Или еще так: пока я не лишилась того, что раньше называлось невинностью (а сейчас как называется? ведь если вещь теряет всякую цену, то ее вроде бы и нет, а у того, чего нет, и имени нет; но ведь она есть, хотя бы в медицинском смысле — и должна же как-то называться), я дорожила тем, что дано было мне в при-даное, что было моей драгоценностью, которую я могла кому-то принести в дар любви, а могла отказать в даре. Но попав в ситуацию девственности-обменной-на-женственность и обжившись в ней, я стала смотреть на вещи другими глазами. Глазами наслаждения.

Тогда я понял только одно. Чего так никогда и не понял. Что вообще я почему-то не могу взять и раздеться перед человеком другого пола. А в

частности почему-то могу. Да еще почему-то этого и хочу. В одном частном случае. Когда влюблен.

Наслаждение лишает главного способа самозащиты в этом мире, уважающем только то, что имеет вид. Для того, чтобы не терять вида, нужно постоянно смотреть на себя со стороны — как выглядит любое из моих про-явлений. Этого-то непрерывного, незаметного, как дыхание, самоконтроля — каким-то неуследимо-мгновенным образом лишает человека получаемое удовольствие. Переместившись по эту сторону удовольствия, внутрь его, он перестает видеть себя в 3-м лице.

По мере привыкания к фундаментальной странности мироустройства жизнь перестает представлять странной. По мере обнаружения тотальной парадоксальности жизни хронический парадокс начинает вызывать скуку. Но есть парадоксы, к которым не привыкнуть. Вот один: нет ничего более, может быть, противоестественного, чем наслаждение естества. Я продолжила бы пушкинское «все то, что гибелью грозит... таит неизъяснимы наслажденья» чисто по смыслу: а все, от чего ты получаешь наслаждение, моментально перестает грозить гибелью. Магический кристалл наслаждения меняет все; уверена, если бы наслаждению только нужно было, ну, мало ли для чего, чтобы раб его именно для получения наслаждения сварил собственного младенца живьем, оно, ровно на то время, пока он варил бы и помешивал, пока продолжалось бы наслаждение, давало бы ему чувствовать происходящее... ну, примерно так: «А что такого? Все это делают. Не делают? Ну, значит у них свои вкусы».

Однако плотское наслаждение — в привычном мне слое человечества — нуждается в высшей санкции. Любовное наслаждение без любви — чистый (грязный) блуд. По любви же наслаждаться — достойно. Я наслаждалась любовью только по любви.

Сколько же их было, любимых. И все они, будучи любимы, — были любимы. Неплохо.

Хорошо это или плохо — влюблен? Как посмотреть. Влюбленность противопоставляют любви: первое быстро проходит, второе же нет. С другой стороны — влюбленность любви крайне родственна. Еще не зная любви, с чего бы решили мы, что она так уж важна, что она — хороша и желанна, что лучше ее нет ничего, — с чего, если не по предвестию уже знакомой нам влюбленности? И потом, влюбленный всегда выше самого же себя. Спросить меня, ничего и не нужно от любви, кроме как, чтобы меня-любящая была просто как влюбленная. Вечновлюбленная.

То, от чего сладко, может быть (умозрительно) и дурно, но оно никогда (и ты в собственных глазах, что бы в сладости ни вытворяла)

не будет для тебя ощутимо безобразным. Правда же, если бы тебе показали тебя же на пленке, продельвающую это и так, и этак, в корчах и столах, и ты при этом видела бы себя холодным взглядом, в третьем лице, — ты несомненно сказала бы: «Извините меня, это невозможно. Это спаривающееся животное — не я». Но в том-то и дело, что наслаждение накрывает тебя словно грозовой тучей, вовлекает, втягивает — и никогда не дает тебе передышки, чтобы увидеть себя в третьем лице. Чтобы посмотреть-на-себя.

Точно так же, как прежде я всем естеством сознавала свою высокую себестоимость девственности, точно так же теперь, всем новым естеством своим, я знала обратное: в мою новую цену заложена сексуальная опытность.

Итак, я верно ждал встречи с женщиной, которая бы вызвала у меня целое чувство, — но понять, что это, наконец, я и испытываю, мог только по появлению предвосхищающего, отверзающего ему двери другого чувства. Подлинное чувство (сделаем вид, что говорим о знакомой материи) приходит точно так же, как и неподлинное, — через влюбленность. А влюбленности доверяешься всегда — повинаясь желанию получить наибольшее количество эйфории путем наименьшего усилия. Влюбленность — лучший наркотик из всех: по силе кайфа, который берется мгновенно, словно бы из ничего, влюбленность не знает равных себе разрешенных кайфотворных; ей, как известно, уступает даже «музыка», включая музыку содвинутых бокалов... о прочем что и говорить.

Жизнь подтверждала — стоило мне ответить согласием, дальнейшее означало вовсе не понижение, но повышение: начиналась моя действительная власть над ним, ведь я могла сделать так, чтобы ему было о ч е н ь хорошо со мной, чтобы он чувствовал себя настоящим мужчиной, — а могла заставить его мучиться собственной мужской неполноценностью (справедливости ради, последнего я никогда не делала, с меня довольно было «сего сознания») — и все равно тянуться ко мне, чтобы именно мне доказать свою полноценность. Коль уж скоро я перестала видеть во всем что-то запретно-стыдное, то наработала и в этой области, как в любом нормальном осваиваемом деле, что-то свое, какие-то умения, — и знала, когда они теряют головы... Зрелая женщина — это звучит. Не то, чтобы гордо, но — в этом есть своеобразная сексуальная солидность. Вкус земного лета. Нечто столь же гуманитарно важное и неотъемлемое, как права человека.

Вверяясь влюбленности, я был обречен каждое возникающее чувство принимать за т о с а м о е , за «наконец-то». Я просто диву давался потом иногда, чего только влюбленность ни использовала как повод для

возникновения. Какому только фокусу ее я не поддавался. Будь хоть семи пядей во лбу, а поскользнешься и упадешь, где и все.

Темперамент мой среднестатистичен. Бывали восхитительные мгновения, которые вспоминаешь вдруг... но если изъять мгновения из целого, то в целом — чисто физиологически, думаю, могла без этого обойтись. Чего-то бы мне, конечно, не хватало, — но мало ли без какого еще «чего-то» мы, прикинув все плюсы-минусы, жертвуя усадями (динамикой), но выигрывая спокойствию (статике), обходимся — без истерик. Но вот — психологически... Человек всегда найдет, чем себе гордиться; я знала женщин, волею сложившейся так, а не иначе судьбы попавших в стихию монашества — и тут же начавших гордиться своей неотмирностью. Я попала, напротив, в обычную стихию — и с тою же, скорее всего, усредненной истовостью начала тихопокойно гордиться собой в сексуальном отношении. Есть ли женщина, которая не любила бы себе нравиться? Ненапрцисса. Я такого имени не встречала. В моей квартире три зеркала, но смотрюсь я только в одно. Только в нем я такая, какой должна быть, чтобы нравиться себе.

Но главное, вот слушайте, слышите? — главное, мне нужны были не наслаждение и не гордость собой. Мне нужно было самое простое: близость. Прожив несколько лет сначала с одним им и затем сменив его на второго (неверно; второй как бы и стал первым, первый опыт после второго оказался небывшим, первый стал нулевым, нулевой цикл распечатывания себя для настоящего первого; а совсем, совсем не таким казался, пока мы с ним впервые... ах, какая все глупость в этой жизни... и все казалось, что знала я лишь одного, одну большую любовь к одному, и только на третьем поняла, что вот, смотри, начинается самая настоящая другая любовь... ностранно, потом, после, после, мой второй, даже и разлюбленный, только он, в отличие от остальных никогда не вспоминался как очередной нулевой, но уже и годы спустя — как часть, как избытая часть м е н я самой), — не можешь приноровиться к ветру одиночества. С непривычки он кажется ледяным.

Чтобы погреться (что в этом плохого? пусть скажут те, кто знает, что такое настоящий холод), подойдет первый возникший возлесерьезный человек в твоём вкусе. Ровно настолько, чтобы чувствовать себя приличной женщиной, которую ведь только одно и отличает от, извините великодушно, бляди — не количество любовных связей (кто их нынче считал в жизни самой приличной женщины?), а именно то, что не меня выбирают, но — я.

Конечно же, в первую очередь вынужден был я отдать обычную мужскую дань обольщению зрения. В кого только не звал (и зов никогда не оставался без отклика) меня влюбиться «светильник моего тела». Моё око.

Око-ём. Око-ё-моё. Ладно бы я влюблялся в красавиц — за то, что они не такие, как другие, а красавицы.

Но я мог поддаться на любую приманку ока. Просто: волосы. Длинные распущенные волосы. Помню, когда-то это было, а все помню, одной из них нужно было только приподнять передо мною несколько раз над ушами синхронно двумя руками (Вы, конечно, знаете, как они — все одинаково и все одинаково эффективно — это делают) свои длинные распущенные волосы, задержать их на весу и опустить, чтобы вызвать во мне «порыв чувств». Интересно она это проделывала — так, словно бы никого и не было рядом, словно бы для самой себя, словно бы ей это зачем-то самой нужно было — взвешивать свои волосы. Интересно также, когда я бросился к ней, она отшатнулась от меня с таким первородным испугом, с таким негодующим удивлением, как будто последствия ее тело- и душе-движений, будто бы совсем бесцельных, были ей самой совершенно неясны и совсем уж неожиданны (теперь понимаю, наученный опытом, что она и в самом деле не ожидала т а к о г о их воздействия: когда женщина сама ставит первый акт пьесы, она и проигрывает внутри себя развитие действия только в первом акте, не предвосхищая дальнейшего, чтобы с полным интересом, полной отдачей следить за как можно более естественным, увлекательно-экспромтным и, главное, полным, пятиактным развитием событий, — и тем, что ты торопишь происходящее прямиком к третьему или четвертому акту, ты непоправимо комкаешь все, срываешь пьесу... да уж, чего хорошего можно после этого от нее ждать?).

Волосы... Одна, с редким профилем камен и классической же прической, все пыталась мягко противостоять моим попыткам распустить ее волосы, пока ей это не надоело; и — в сердцах: «На какую же дешевку способна всех вас купить любая баба. Дорогую дешевку. В стиле Степана Щипачева». Что скажешь? За дело.

Да, волосы. А как Вам всякие там глаза? якобы зеркало души? Помню одни такие, где-то в проходном дворе между моими 20-ю и 30-ю. Огромные темные, распахнутые и будто чуть влажные от блеска глаза — в их обладательнице я уже прозревал удивительно открытую к глубокому воздействию (моему, конечно же, чье еще воздействие может быть глубже), внимательную (ко мне, конечно, кто еще достоин внимания) душу, когда выяснилось, что у нее была близорукость минус 7,5, а иные красны девицы не хотят портить себя очками с толстыми линзами, вот она и тарасилась, и глаза слезились.

Одиночество — я видела тому примеры — вполне переносимо, более того, оно может стать потребностью, постепенно начинаешь чувствовать себя целой, как до того, и всякое «восполнение» кажется ненужно-неестественным; но это уже искусство для призванных, требующее дисциплины, приятной лишь тому, кто уже ее познал. «Добротель», как и «грех», затягивает, лишь когда ее долго практикуешь. Я

же — человек слабый. Мне как воздух нужно хотя бы частичное переливание в другого скопившейся, переполняющей меня души — что знакомым и приятным образом делается через тело. И я еще думала о любви, еще ждала ее всякий раз, но уже назначала себе цену приличной взрослой женщины: полноправный серьезный, но свободный союз разной длительности (всегда индивидуальный период времени, пока союз остается свободным, не поработив одного другому, но еще остается союзом, не успев распасться от своей свободы) с приличным взрослым человеком мужского пола. Разумеется: человеком моего (сколь угодно широкого, но моего) круга занятий и понятий.

А само схождение вместе — у переносицы — глаз, бровей и спинки носа (надо, чтобы здесь все сходилось узко, чуть ли не по-волчьи — и нос тонко начинался, нехорошо, по-моему, когда глаза расставлены широко), — не сами по себе глаза, брови и нос, но точка их схода... Случайная удача лица.

Да. Нос Клеопатры. Случайная форма века, легкая поволока — и зауряднейшая мордашка Нормы Джин Бэйкер становится единственным в своем роде лицом Мерилин Монро; нарисованная высокая бровь Марлен Дитрих и рифмующаяся с ней точено-обтянутая, слегка затененная скула... да, легкая тень внизу щеки, которой аккомпанирует более густая тень от ресниц на ее верхней части; по-врубелевски скорбный рисунок припухших губ Жанны Моро... Нас всех подстерегает случай.

Да. Но добро бы только око. Я становился поочередно игральщиком всех органов чувств — и их комбинаций.

Непритворная и неприторная ласковость речи, ненарушимая серьезность, словно бы не от нее, будто бы и впрямь *de profundis* (отсюда власть грудного голоса), отсутствие многозначительных ноток, но и глуповатого задора; равно и сухого учительства, и излишне влажной поэтической грусти... Нота внутреннего изящества... когда она слышна, она делает обладательницу голоса совершенно неотразимой, пусть будет и некрасива, даже и лучше, чтобы некрасива... Об обонянии же и подавно...

Так, значит, вот что такое любовь-когда-тебе-за двадцать пять: конечная серьезная история. Хоть и говорю — свободный союз, однако вовсе не имею в виду какие-нибудь приходяще-уходящие встречи дважды в неделю из гигиенических соображений. Нет, я считаю, что в любом союзе, самом кратковременном (это уж как доведется), должна (хотя и не обязана) отдавать себя всю целиком (сколько уж от меня осталось). В противном случае о какой такой любви..? при чем здесь вообще это слово?

Но они так не считают. Как ни называй сожительство с ним — ко многому обязывающему замужеством или мало к чему обязывающим свободным союзом, — он очертя голову согласен на то и на другое, порознь и

вместе, поначалу он на все согласен, ему всегда н у ж н о вдруг — и позарез, он все поставит на эту карту — и, что интересно, чем больше зарез, тем более он разумен, в том смысле, что согласен с любой разумной постановкой вопроса.... ну, а потом не мытьем так катаньем поставит все на твердую основу медленного и верного пожирания тебя со всеми аннексиями мозга твоих костей. Как анекдотический хохол, все, что сможет, съест, а что не сможет — надкусит. Сам же будет давать себя по частям, чем дальше тем все меньшую часть себя, пока не закончит выдачу совсем.

Запах женщины — не пустое понятие, не киношный навязчивый образ. От влекущей тебя, от тела ее, от пахнущей осенним листом пряди за ушком, от подмышек (я только раз знал женщину с мужским запахом подмышек, и неприятен был не столько сам этот выпуклый запах, сколько его несоответствие ей+ не столько он к ней не шел, сколько она не шла к нему) и, кажется, от души ее (не затмеваемой даже духом духов) исходит чисто женский, непередаваемый аромат; одно могу о нем сказать наверняка — в нем во всяком случае есть что-то горьковатое, не кислящее, как во вкусе хорошо выдержанного белого вина.

Но когда расстаешься с чувством, нехотя (хотел бы продолжать любить именно ее, такую славную), но оно само неумолимо покидает тебя, медленно, но верно расцепляет твои удерживающие пальцы — потом, говорю я, потом, дорогой друг, куда все девается? Все на своих местах, но куда дело оно свою власть над тобой? Этот запах персиковой косточки от ее щек, и горечи иранской хны от волос, и соленого моря от..., эта пересеченная ароматическая местность, сводившая тебя с ума, — почему она столь неприятна теперь? — лучше бы, чтобы теперь она вообще ничем не пахла, разве что чистой хлоркой, как после ванны.

Все исчезает, не исчезая. Приманка действует безотказно, только пока влюбленность гостит в тебе. Но откуда же берется сама влюбленность?

Есть ли здесь хоть малая толика действительной связи с «любимым»? хоть отчасти — излучение *любимогосущества* на меня-любящего? если да, тогда... Кто же не подтвердит, что, когда он жил с законной, а встречался со знакомой, любовь его была тем сильнее, чем запрещенной она была, чем труднее было встречаться... как страстно проводилось время в обледеную зиму в каком-нибудь вонючем, но теплом подъезде, как счастливо любилось на каком-нибудь сеансе глупейшей франко-итальянской комедии, где всего можно-то — держаться за руки (а вам уже — под 30)... казалось, только дай, так век бы и просидели у себя на кухонке, все только болтая уповательно о чем ни на есть; но — кто делал все же этот шаг, кто уходил от законной к знакомой, тот подтвердит — не успевала знакомая стать законной, как все кончалось, начинало зеваться, хотелось бежать с разрешенной кухни к черту на рога, хоть назад к прежней законной, да-да, именно к

ней, она-то и была настоящей... Так что же это, при чем тут *она*, «любимая», когда тут только и есть, что сладость запретного плода? чувство протеста против поражения в праве на свободу от..?

Вот тоже и главный остроумец страны: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Продумай он свое утверждение — увидел бы, как оно само выворачивается наизнанку. Если нельзя — то очень хочется. Но хочется только пока нельзя. А тогда — когда же можно то, что хочется?

Между моей влюбленностью и ее предметом нет не только причинно-следственной связи, но нет вообще ничего общего.

И лучше, когда этот факт ничем не заслонен, как в случае с моей первой: ясно видишь — у нее всего-навсего большая голова на маленьком теле. Понимаешь: спокойно, это не на век, скоро пройдет. Хуже, когда «предмет» чем-то случайным, этим вот глуховатым голосом, какой-нибудь тенью улыбки, осеняющей застенчивый наклон головы и сутуловато-хрупкие плечи, — что-то «заветное» будит в тебе, задевает какие-то «струны». И пошла писать губерния, искренно вешаешь себе лапшу на уши, находишь объяснение влюбленности в нее — в *ней самой*, не можешь от нее мысленно отделаться...

С ним хорошо первые две недели. Пока он, как и ты, только отдает. И оба вы только получаете.

Брачное оперение самца.

Не знаю, откуда берется влюбленность, но уж не из «любимой»; не знаю, откуда приходит и куда уходит; но знаю, что в качестве наживки, топлива, стройматериала влюбленность использует *мою* неполноту, *мое* призывающее ожидание.

Это различие индивидуальной нехватки определяет, почему седовласый профессор, специалист в области политической истории Европы или теории игр, которому, на первый взгляд, нужна такая же, как он, просвещенная собеседница сердца, влюбляется в розовощекую первокурсницу откуда-нибудь из Потьмы, а угреватый девятиклассник со взором горящим, которому по всему следовало бы иметь дело с влюбленной в него уже второй год романтической одноклассницей, вторгается в соседку с пятого этажа, лет 26, добрую женщину без поэтических затей.

Но зачем же тут еще подкарауливает сексуальность? Тебе не хватает материнской любви во взрослом возрасте? Понятно. Но ведь с матерью не хочешь физической близости. От матери — материнского и нужно. Так что бы тебе одного материнского от соседки не хотеть, а сближения желать со своей влюбленной в тебя уже два года ровесницей? Или — пылаешь отеческим чувством к студентке, что моложе тебя лет на 35, не думая: а что это тебя притом тянет? с дочкой — в постель?

Снова и снова — брачное оперение самца.

В прочих отношениях он может быть вполне одухотворен. Может быть доктором математических наук, талантливым пианистом, кем угодно. Но для близкой ему женщины одухотворенности его и простой учтивости — хватает у него ровно до конца брачевания, когда двое стационарно начинают жить под одной крышей.

Как все переслоилось в памяти, уж и не скажешь без усилия, кто и в какой очередности насильовал меня.

Разумею насилие не физическое.

Хотя — его тоже. Ночная компенсация за неудачу, постигшую его днем, сегодня, на протяжении всей жизни. Если ты его любишь, если понимаешь, если сочувствуешь, — желанно ли тебе этосегодня или нет, ты не должна отказываться в женской любви, должна делом, телом доказывать, что любишь, а именно — д а т ь (вот их слово!). Буквально дать им часть себя, поделиться телом — «что тебе, жалко что ли?». Да, жалко; жалко, что ты не брезгуешь такой добычей, пользуясь тем, что мне жалко тебя, бедного, а ты это знаешь и эксплуатируешь. Собственно, они тут противны тем, в первую очередь, что именно нечестны — им именно то и важно, что мне — «жалко», что я — не хочу, но они меня завоевывают «через-не-хочу», побеждают при помощи моей же жалости к ним (значит, понимая насамом деле, что не завоевывают, а получают выпрошенную подачку; но тут еще и обязательная война, он в детстве не доиграл в казаки-разбойники...), используя прекраснейшее из чувств, сострадание, как мою слабость — и еще «заставляют делиться своей пламенью поневоле». Им мало того, что д а й, им еще покажи, что делишь и х пламень. Они ухитряются выпрашивать и это, уже у самой природы вещей, пользуясь тем, что живой человек биологичен и в его самонастраивающейся плоти, вопреки его сознательной воле, в ходе умелых чужих усилий — если ты уже согласилась, предательски по отношению к себе, пусть из «сострадания» им попустительствовать — накапливаются пещеристые тела, и не думая, что психологическая нелегитимность акта согласия ставит под сомнение весь достигнутый результат. Вот тогда они успокоятся — все в порядке, они победители, наверху. Живем. Не беря в толк: можно ли вообще чужим телом заткнуть амбразуру в своей душе?

Мужская сексуальность. Прежде чем привыкнешь к ней в себе как к норме — как она тебя мучит и позорит в твоих же глазах... как долго они идут, твои 15-16. Недаром же и самые простые ребята-парни-мужики говорят о близости «дурную кровь спустить»; и они же (чудо какие противоречивые!) гордятся собой — в каких только подробностях, друг мой, не повествуют они в пивной приятелям, как вчера проводили время «со своей» и каким из способов русской народной камасутры покоряли ее, овладевали ей, заставляли ее признать свою половую власть над собой, как она при этом неистов-

ствовала, себя не помня (побежденная, конечно, им, они и мысли не допускают, что побеждена она была собственной страстной природой, лишь используя его как орудие своего удовлетворения).

Но главное не это. Маленькие ночные кошмары остаются в ночи, уходят с ночью. Каждое утро, умываясь, омываешься; вот — уже новая. Почти от нуля. Почти. Легкая тень неуважения к себе... но и она смывается мыслью: ты сделала это вчера, то была не ты, другая, да и та делала это из жалости и милости. Это подарок, дар ему, с твоего высокого- и велика-душия. И — не всегда же он таков. Его желание обретает иногда вполне светоносную форму... собственно, помня это хорошее, и соглашаешься на его последующие скотские домогательства — думая: это вполне человек, всего-навсего в-срыве-в-скотство, и потом, раз уж ему о ч е н ь надо, значит, он в какой-то своей беде, бездне, и потом, ведь в качестве лекарства, пусть и такого, ему нужна т ы... в некотором роде это даже... лестно? нет, но — эта потребность, когда плохо, горько, потребность именно в тебе, пусть только в твоём теле... не есть ли это с его стороны, при всехотягчающих обстоятельствах, — любовь?

Это бы ладно. Главное — те душевные насилия, что они чинят, не замечая.

Но пусть, пусть сексуальность будет, раз так нужно некоей Природе Вещей. Пусть только ответит — почему, если уж она есть, предает в самый неподходящий момент? Сначала подстегивает э т у мою влюбленность до того, что я делаю решительные, трудно обратимые шаги: обзавожусь семьей, то есть принимаю на себя ряд серьезнейших обязательств, — а затем вдруг уходит, столь же внезапно, как появилась, вместе с влюбленностью?

С чего начинается родина?

С картинки в твоём букваре.

Похвально. Зачем не все ответы столь определённы? Вот я спрашиваю: с чего начинается смерть влечения?

Да. Насилие — форма их жизни.

В этом отношении они совсем слились в моей кровоточащей (сейчас уже сукровицей, а ещё недавно — полной кровью) памяти в одно существо мужского пола, которое все время хочет, хочет, хочет — от меня.

Ему постоянно плохо одному (хотя я тут, рядом), ему нужен сопровождающий сопереживающий. Вот он-то только и есть тот, кто ему нужен, а он, лицемеря (прежде всего сам с собой), называет его любимым человеком. Его не ценят на работе, его не замечает пресса, пресса, наконец, замечает его, но по-прежнему не понимает, пресса же вообще ничего не понимает по определению (а на что тогда жаловаться?), его тема на грани закрытия, за границу опять послали не его, а человека, толком не

владельца английским, а если бы и владел, то ему было бы нечего на нем сказать, он бьется, как пчелка, но не может заработать ни денег, ни имени, его полужакрытую тему тем временем успешно использует другой — и без указания первоисточника, вчера он поссорился с лучшим другом, но мне до этого нет дела, я его не слушаю, всякий раз, когда ему это нужнее всего — чтобы я просто сидела бы и слушала, у меня, конечно же, дела, я не говорю ему ласковых слов, вообще слов поддержки или утешения, а кто же еще, кроме меня, ведь он — неудачник, неудачник, но он — не конченный человек, он — человек, он большой человек, в полном смысле, и кто, если не я, должна это знать и подтверждать ежедневно, если нужно, а нужно всегда, если я не хочу, чтобы он..., но что-то меня взять, когда я и так все это прекрасно знаю, но не хочу отдать ему и частицу души, пишу свою никому не нужную статью в журнал, который читают пять человек, диссертацию, которыми забиты все пыльные архивы всех еще дотируемых институтов, думаю о чем угодно, о ком угодно — о своей маме, подругах, может быть, других мужиках, но только не о нем...

Можно разглядеть, впрочем, что умирание чувства всегда начинается так: о н а становится неинтересна. Между вами больше нет зазора. Нет полюсов — ток останавливается. Вот, кажется, уяснено хоть что-то, пусть самое малое. Но нет же, куда там; тут-то и вопрос: а разве любовь создана всего лишь для интереса? Разве интересно, например, дышать воздухом?

Что такое? Почему? В какой момент все вывернулось наизнанку?

Никто не знает. Дом горит — никто не видит, а кто видит — тот молчит.

Тогда как насамом деле я отдала ему не частицу души. Если бы я и не хотела, он бы высосал ее из меня всю целиком. Но я отдала ему ее всю добровольно, не могла не отдать, ведь я его любила=была настроена без помех на его волну, и на волне этой слышались только: СОС! я несчастен. Несчастен. Роковое слово. Ты его полюбила свободно, ровно настолько, чтобы сойтись с ним, заключив вольный союз, а теперь жалость приневолит тебя полюбить гораздо глубже. Утонуть. Он утопит тебя в своем несчастье.

Пропади ты пропадом, несчастный человек. Чтобы тебя намочило. Чтобы у тебя язык отсох.

Прости, несчастный человек.

Но хотя бы — где самое начало смерти влечения? Да где же, как не в его осуществлении. Тут-то бы, при начале, его и — купировать. И предаваться счастливой беспредельности неосуществленного влечения.

Отсечь. Физическая близость с женщиной, сказал бы я, есть прежде всего тяжелая обязанность, принимать которую на себя не следует без крайней необходимости.

Несчастье, постигшее человека, свято. Удар судьбы, глас Божий. Еще в юности оплакала я судьбу всех Мармеладовых мира, литературных и живых (будто литературные неживые; о ком же тогда плачешь?). И сейчас люблю бедных, а не богатых, хотя уже знаю — это предрассудок 19 века, богатые страдают не меньше бедных: Царство не-Божье так же внутри нас, всех, без различия имущественного состояния, как и его противоположность. Но я — всей своей нынешней ороговевшей душой — против тех несчастных-хроников, которым нужен сопереживающий, а сами они никому не сопереживают. Теперь, когда научилась их различать, я против тех несчастных, которые хотят лишь понижения дозы своего несчастья, не желая расстаться с ним, стать счастливым — ведь это значило бы отказаться от самого себя. Таким несчастным нужен только сопровождающий, дежурный по несчастью, а уж его они сделают из первой же, кто решит его спасти — и разрешит затянуть себя в паучьи сети.

Сейчас я уже достаточно знаю о профессиональных несчастных. Профессиональных нищих. Астранным сказать, еще и в 30 с лишком казалось, что не надо обобщать, выборка, как сказал бы когда-тошний руководитель моей темы, недостаточно репрезентативна, просто мне неудачно попался такой э т о т ... и еще один такой э т о т, все это единичные случаи, в следующий раз мне повезет. Не в том, что следующий он окажется не-несчастливым — это-то я и тогда уже понимала: в России не-несчастливым может быть или дурак, или подлец, или святой. Есть еще тип простого-интеллигентного-хорошего парня-до-шестидесяти-лет — инженера-туриста-альпиниста, завсегда на Грушинского фестивалю; но такие не про меня. Никогда, даже после рюмки-другой в хорошей компании, не могла себя заставить петь вместе со всеми Визбора про Донбай. Или Донбасс? Донбасский вальс или Донбайский? И не упомянешь. Чего-то во мне не хватает простого и душевного, именно что не в душе, а за душой, — и так уж эта недостача со мной и пребывает. Down by Донбай. Now it's time to say good bye. Вот тебе моя Lullaby.

Ведь, вступая в близость, совершаешь нечто чрезвычайное — и за это принимаешь на себя чрезвычайные обязательства. Я, свободный человек, принадлежащий всему человечеству как личность — и никому не принадлежащий как вещь, должен принадлежать ей одной!

Нет, следующий мой тоже окажется несчастным. Но мне непременно повезет в том, что он действительно будет нуждаться именно во мне, в моей помощи, для того, чтобы со мною стать счастливым. Я верила, что и вправду рождена кого-то спасти. Смешно.

Посмеемся.

Любить=спасать=пересотворить.

Что знаю я об этом сегодня? То же, что и вчера: ничего. По-прежнему не знаю, правильное ли это чувство.

Не может не быть правильно, поскольку неизбежно. Инстинкты не лгут.

Не может быть правильно: по плодах их. А кончается плохо. Всегда.

Ей одной. Нонсенс. Но треклятой сексуальности не откажешь в содержательной нагрузке.

Раздеть любимое существо, затем раздвинуть его — собой. Обладать им=подчинить себе. Другого способа подчинить себе женщину, *противоположного человека*, просто нет — только телесно обладаемый мною другой как-то подчиняется моей власти, любой другой другой, друг, сестра, мать — всегда свободен от нее, всегда суверенен, как бы ни любил меня, как бы ни был близок, и потому снова и снова мы прибегаем к одному-единственному доказательству своего высокого места в миропорядке.

И как только подчиним себе окончательно — удовлетворенное, насыщенное, пресыщенное, обьевшееся желание умирает.

Так они говорят. Женщины. Такими эпитетами награждают мужскую жажду обладания. Потребитель-эксплуататор-сексист.

Но заблуждаются.

Всегда одно и то же. Он безошибочно знает: материнское в тебе — твоя ахиллесова пята. КПД использования им знания твоегослабого места — 150%. Твое же желание стать самой Пигмалионом, а его посадить (поставить) на место Галатеи, эта трансвестия никого еще не привела к цели, да к тому же и выявляет в тебе отнюдь не самое лучшее.

По мере того, как пытаюсь спасти его, — все время натываюсь на противодействие (ведь он-то, опять же, хотел от меня совсем не того, он хотел только и г р ы в с п а с е н и е, игры в одни ворота, чтобы я, истово веруя, отдавала все свои силы на его спасение, а он брал бы их и использовал на свои энергетические и психологические нужды, сам оставаясь каким был). Противодействие человека, которого лишают привычного состояния комфорта (статичное и есть собственно комфортное, оставаться собой — это и есть самое комфортное для любого человека, сколь бы ни был он хронически несчастен; комфортно несчастен). И, напарываясь на его противодействие, но продолжая действовать (потому что вправду верю: ему это нужнее всего — ведь он же, подлый, мне ничего не говорит о своих истинных целях, он продолжает лицемерно играть в спасение не как в игру в спасение, а я верю... потому что он верит сам себе... а его странное поведение списываю на неадекватные реакции человека с истощенной нервной системой), — я взламываю линию его обороны, и вот, в самых лучших целях, — вот, уже я, не замечая в пылу сражения, насилую его волю, присваиваю его свободу, пытаюсь управлять им вопреки его естеству.

Незаметно меняемся местами. Теперь уже я, вовсе того не желая, высасываю из него кровь, пью его жизненные соки — раз он сопротивляется мне силой человека, у которого отбирают жизнь, раз уж он тратит на это всю живую кровь, я должна признать: сколь бы цели мои ни были по видимости бескорыстны=противоположны вампирическим, — результат моих действий безусловно вампиричен.

Как они заблуждаются! Я вижу все совсем иначе. Жажда обнажить любимое существо, физически проникнуть в него, обладать им как предметом — те же симптомы чисто мужского стремления к истине как к проанализированной, разъятой на составные в е щ и; то же самое стремление тянет разбирать готовые радиоприемники и собирать новые по схеме. Да, чувство истины как вещи из мира механики — ложно, но все же за ним — пусть искривленное в незапамятные времена — вечное стремление вглубь или ввысь. Материалистическое стремление к небу. Неуемное желание проверить, такова ли под платьем твоя возлюбленная, как положено всему их р о д у ... И сначала — восхищенное удивление, робкое касание нагого — проверка: и вправду такова, смотри, и это есть, и это, ну надо же, из высшего мира — а все как у людей, как у тебя, хоть и по-другому... Да, сначала по видимости целомудренное восхищение, потом — спокойная констатация: как же еще? только так и может быть — и хорошо, и прекрасно; и наконец — привычное: «Ну да, дважды два — четыре; а дальше что?». Этапы небольшого пути. Этапы честного служения лжи. Оказалось, мы открыли лишь то, что знали и так.

Да, стоит только взглядеться в происходящее, чтобы увидеть, нравится мне или нет: вампиризм в сильной степени присущ и мне. Глупо отрицать, взглядевшись, чуть-чуть освоившись с темнотой своей души, что мною в некоторой степени (скажем уж честно, в сильной степени) движет желание самоутверждения.

И, конечно, когда я пытаюсь заставить его отказаться от лишней рюмки, от нытья и вздорных lamentаций, демонстративно выхожу из комнаты, как только он заводит свою бесконечную песню о непонимании и т. д., — я никогда не отделю в себе любовь к нему, исходящую строго из его пользы, любовь врача к пациенту (дурачок, я сама не хочу, чтобы так тяжело, все же повисает здесь, в семье, на мне, но что делать, если тебе может помочь только шоковая терапия!), — от желания поставить на своем (чтобы хоть раз все было по-моему, я тоже человек, с моим голосом тоже нужно хоть когда-то считаться).

Но мы служили лжи честно. И за это, за честность свою, — вознаграждены.

Обнаружение лжи как лжи, в самом умирании псевдоподвига — вот награда за доблестное служение ей.

Так обнаруживает себя, выглядывает из мутных вод и смотрит мне в глаза мое же лицо. Но я вижу, как из болотного зеркала неопределенности возникает рядом с моим лицом и ее, женское. Влюбленность никогда не умирает без вмешательства, без сопутствующей моей вине вины очередной ее.

В первую очередь это само ее отношение к тебе. Я испытал на себе воздействие только двух видов; исходя из своего житейского опыта, подозреваю, что третьего вида не существует вообще.

Первый — от начала до конца безоговорочное приятие меня. От меня ничего не требуют, как только чтобы я — был и позволял ей и только ей любить себя. Вроде бы чего и надо еще: тебя неизменно, преданно любят за то, что ты таков, как есть, ничего от тебя не требуя.

На самом же деле сталкиваешься с чем-то... С одной стороны, тебя просто боготворят, будто бы уж ты и только ты — свет в окошке; с другой же — относятся к тебе едва ли не как к любимой вещи, которая, чтобы ее любили, всегда должна быть всего-навсего под рукой. И только-то. Не они ли говорят без конца, что потребительство в любви, отношение к человеку как к вещи оскорбительно? А что сами? Все то же, выходит: источник любви ко мне — не во мне самом, а в ней, Душечке; в ней текут реки любви, всегда готовой — актуализоваться на любом встречном. Что прикажете думать этому первому попавшемуся из возможных встречных? долго ли он будет еще влюбленным, чувствуя себя случайным-до-гроба-любимым?

Самоутверждение? Что же, когда не самоутверждение. Гордыня? Еще какая гордыня. Но что делать? Важен результат. Не мытьем, так катаньем нужно заставить любимого сдвинуться; пока еще он любим — оставшейся энергией любви сдвинуть его с мертвой точки. Из любви же: завтра не выдержишь боли и гниения этой умирающей, агонизирующей любви, уйдешь, покинешь вахту, — кто ему поможет? Следующая баба, которая будет восхищаться им, пить с ним горько-сладкую, без конца «понимать» его, — и погубит окончательно, по своей глупой дурости?

Но имею ли право? Если не могу отделить в себе самой одно от другого, как сумею отделить в том насилии, которое чиню, насилие необходимое и разумное — от насилия, ломающего грифельный, твердый и хрупкий стержень его личности? Он имеет взрослый опыт самостоянья, худо-бедно, а как-то прожил на своих ногах 30-40 лет до встречи со мной, не чувствует за мной права его учить, а за собой обязанности мне подчиняться. Это безусловное посягательство на суверенитет личности.

Второй вариант — тебя любят требовательно, по нарастающей, шаг за шагом захватывая все большую территорию. Хотят, чтобы ты «стал лучше», и не отстанут, пока ты не изменишься — или не уйдешь. А поскольку измениться гораздо, неизмеримо, несопоставимо труднее, чем уйти (уйти — это одномоментный акт, для него требуется только, чтобы у тебя однажды до-

стало пороку, а измениться — это только сказано, чтобы мягко постелить, в форме совершенного вида, по сути это всегда требует вида несовершенного, это на самом деле и з м е н я т ь с я, это все время, долго, неудобно, миг за мигом многие дни и месяцы отказываться от приросших к себе привычек, удовольствий, отношения к жизни, к женщине, к э т о й женщине, — то выбор предопределен.

Ты уходишь — еще раньше неосознанно подгоняя мысль о необходимости ухода, чтобы мысль, в свою очередь подгоняла чувство: заканчивай, кончай-ся! — так, отлюбив до конца, ты уходишь.

Посягательство на свободу пути, который он должен пройти сам. Я не знаю, как назвать ту силу, которая нас ведет — Бог, Абсолют, творящая Природа, Живой Космос... но меня никто не переубедит — нас нечто или некто ведет... даже когда уходит от собственного пути... я не знаю смысла происходящего, но знаю, что он — есть. И этого достаточно, чтобы уважать смысл пути другого и считаться с его свободой — даже когда она, кажется, разрушительна для него самого, все равно, он должен иметь право пройти свой путь.

Кто я такая, чтобы вставать на его пути? пути обнаружения им — пусть через саморазрушение — смысла-для-него? Что я знаю об этом?

Отвергнув чужую свободу — потеряю право на свою. Не хотелось бы. Но надо же что-то делать! Нельзя же просто так смотреть, когда на твоих глазах пропадает любимый человек... И я вмешиваюсь. Внутрь свободы его отношений с... ну, пусть Природой Вещей — я ввожу толику несвободы его отношений со мной.

А нужно-то — не то и не другое. Нужно, чтобы от тебя не требовали — требовательно. Чтобы тебя принимали со всем темным, постыдным, недоделанным, что в тебе есть, — но принимали бы, а ясно видя, к о г о принимают. Чтобы ты чувствовал: тебя любят не как домашнего кота, а совершенно точно отдавая себе отчет, кто ты. Принимая твою безответственность, эгоизм и жестокосердие — потому, что, взвесив в своем сердце, тебя все же сочли достойным любви, потому что ты как целое оказался милее своих плохих и даже хороших частностей. Тебя полюбили=выдали бессрочно-срочный аванс под дело жизни, нестабильное дело многих лет жизни. Великого ожидания без гарантий; пенелопино дело. Эвристически-любовное отношение, когда тебя целиком приняли в большое сердце — с верой в то, что ты достоин такой любви, но если и окажешься недостойн, тебя не перестанут любить: потому что уже полюбили, любовь же — не перестанет.

Кто сказал, что я отнимаю у него именно т у свободу? Свобода отношений между ним и Природой Вещей и свобода отношений между ним и мной — вещи разные, только называемые одним словом. Очень может

быть, первая не исключает, а включает в себя его человеческую несвободу — от другого, от маленького человеческого звезде в сапоге.

И кроме того, я лишаю его свободы — по любви, а любовь выше всего, даже свободы. Потому что если любовь — свободна, значит, свобода — предикат любви, не наоборот. Свобода для любви, не любовь для свободы.

Увы, ни разу не встретил подобного отношения к себе — и ни о чем в этом роде не слышал ни от одного знакомого (ведь то, что нужно мне, нужно всем, все ждут этого — и если бы кто-то дождался, я бы точно услышал). И то сказать — достоин ли я его? кто я такой, чтобы ожидать именно его? Сократ был не мне чета — а имел Ксантиппу на свою Сократову плешь. Что уж мне после этого?

Но ведь я только о том, почему умирает чувство, — не о том, хорошо это или плохо. Только о том, что вот если бы, дескать, то или то — тогда оно, глядишь, и не умирало бы. А так умирает.

Впрочем, это только сказано так: уйти. Одномоментный акт. Это редко. Чаще всего уход разбивается на многие долгие шаги. А то бывает еще латентный уход: внутри себя давно ушел за угол, а все еще как бы живешь с ней. Потому что они не всегда дают тебе повод или вынуждают уйти. Чаще — отдельными периодическими выкриками, захлестами; в промежутках все тихо. Даже если хотят изменить положение вещей, — до тех пор, пока они тебя любят, пока прикипели к тебе, они не хотят расставаться. Да и тебе от расставания как-то не по себе, муторно, двоится — хочется и колется. Но поскольку в сердце своем ты уже ушел, то при первой же серьезной (не умею несерьезно, я говорил?) возможности — разборчиво, по своему ответственно — изменяешь.

Бог мой, как мы горазды рассуждать — чтобы иметь основание разрушить все до основания. Я нажимаю, человек сопротивляется нажиму. Он нажимает в ответ, чтобы высвободиться. Теперь уже сопротивляюсь я. Иначе остается сломаться — или уйти от греха. Это тоже предусмотрено — меня догонят и начнут объяснять, что вот уходить-то я не имею права. Будут просить, чтобы я осталась, будут брать на болевой прием; милости захотят, но и от жертвы не откажутся.

Не уходи, побудь. Я здесь. Что дальше? Давай поговорим. Хорошо. О чем? О чем ты захочешь. Да что об этом говорить. Как хочешь. Только побудь рядом. Хорошо. Плохо мне, плохо. Бедный мой. И голова болит. Бедный. Сделать тебе массаж головы? Спасибо. Так хорошо. А на душе плохо. Бедный, я понимаю. Тогда почему ты не хочешь со мной поговорить. Да я хочу, но не знаю о чем. О том, о чем бы я хотела, ты и сам говорить не хочешь. Да, не хочу. Все уже переговорено, все позиции выяснены. Как хочешь. Ну, я пошла. Нет. Останься. Хорошо, останусь, как хочешь. Неужели ты осталась только потому, что я просил? Но ты же

просил, я сделала, чего же ты еще хочешь? Ах, ты не понимаешь, чего я хочу. Тогда можешь идти. Хорошо, как скажешь. Нет, не уходи. Не имеешь права. Если я пойду кривой дорожкой, сойбьюсь с пути истинного, умру, покончу с собой, погибну при жизни — во всем будешь виновата ты. Виновато будет то, что ты ушла, не имея ни права, ни совести.

Сначала — останься. Потом — дай жалости и милости. Потом — просто дай. Дай. Дай.

Сам-то — хоть бы раз отдал себя. Хоть бы раз пожалел, послушал, вник, не говорил сам. Погладил бы по голове. Да так, чтобы в глазах его не высветилось тут же — желание дальнейшей койки. Забыл бы себе. Совсем. На целых 15 минут.

Нет, но он говорит: «Возьми». «На». Деньги, когда есть (редко). Стакан воды. Валокоордин — когда сам же и доведет.

На.

Как собаке.

Из-ме-нить... Вот еще странное выражение: описывает несуществующее. Изменить, то есть, любя, имея любимого в сердце, связаться с другим, вложив его в уже полное сердце, — крайне трудно. Уплотнять, расширять (с риском, что шарик лопнет), добавлять к сложной и тяжелой спутанности по рукам и ногам твоего естества с чужим — еще такую же сложность и тяжесть... Не для уставшего человека. Как правило, взрослый мужчина так много на себя и не берет. Не изменяет — потому что некому изменять. Давно и прочно выдвинув ту, с которой живешь, из центра сердца на край (где привычка и привязанность), освобождаешь его для другой.

Можно еще — не сопротивляться и не уходить: «следовать естественному ходу вещей». Я перепробовала, кажется, все; значит, пробовала и это. Тогда я говорила себе: если впрямь любишь, предоставь ему идти, куда его влечет свободный ум, и будь с ним до тех пор, пока сможешь вытерпеть. Может быть, ты успеешь: путь сам приведет его к точке обращения, поворота до того, как ты больше не выдержишь.

Возможно, кому-то повезло дождаться. Искренно рада за нее.

Я дожидалась, предоставив вещи своему естественному ходу, всегда одного: человек, оставаясь, казалось бы, рядом с тобой, на глазах, постепенно весь линял, на твоих глазах же, смывался куда-то, словно бы бесповоротно зайдя за угол; а вместе с ним уходила за угол и любовь к нему. Нет человека — нет и проблемы, сказал один великий и ужасный. Страшные слова; и в особенности страшны они тем, что совершенно правильны.

Насилуешь его волю из любви, предоставляешь ли ему из любви свободу действий, — оказываешься у разбитого корыта. Сидишь и смотришь туда; в недоколотом корыте колышутся остатки воды, в ней мутно

и криво отражается твое лицо, в глазах которого... В глазах которого, дорогой мой, совсем не видно любви. Не потому, что плохое у тебя зеркало, а потому, что и в самом лучшем, венецианском, сколько ни ищи в отражении своих глаз отражения своей любви, не найдешь ее следа. Потому что ее нет. Она умерла. Она всякий раз умирает, всякий раз просто и спокойно умирает на твоих глазах, а ты и не хочешь помешать ей умереть. Быть мертвой — и только. И только до конца. Только бы скорее. Как можно проще и скорее.

А ведь любовь никогда не перестает! Никогда.

С другой стороны, делаешь это — дразнишь, полу-скрывая, полу-открывая — чуть ли не демонстративно. Чуть ли не нарываешься, чуть ли не провоцируешь: ну, узнай же, наконец, о том, что знают все! узнай — и разлюби, и отпусти, расплюйся со мной, выговорись, развяжи, наконец, этот узел — сама. Чтобы не я.

Или, может статься, проверяешь: неужели ты так меня любишь, что и узнав о другой, все равно не перестанешь любить? То есть — любишь любовью, которая не перестает и все милует? То есть — собственно любишь? Тогда твоя любовь, может быть, вовсе не пресна и не насильственна, а она и есть та безусловная любовь, и я все это брошу, эти пионерские провокации, я стану только твой, я... что говорить.

Заметьте, дорогой, мной еще ни слова не произнесено об их ревности. А ведь одно это может свести с ума невозмутимейшую из женщин. Я не против ревности. Хотела бы быть против, но куда же идти против рожна. Раз она существует от века, значит, зачем-то должна существовать, — сколько ни тверди, что это чувство отвратительно (человек есть субъект частной собственности, но не ее объект) и бессмысленно (ревнуй не ревнуй — не поможет, так займись, наконец, делом). Но всякому безобразию есть свое приличие.

Мне нужно только одно: быть внутренне уверенной, что пока он живет со мной, он для меня прозрачен, в сердце его живу только я, без подселения. Моя ревность инструментальна. Она говорит только: чувствуешь? что-то не так, — и только до тех пор, пока действительно что-то не так. Если она будет знать, что его сердце не занято никем, кроме меня (а для этого ей достаточно, чтобы так оно и было, — уж она всегда почувствует, как оно обстоит), я буду жить-поживать, не изводя его подозрениями, спокойно глядя, как он с интересом разговаривает с другой... Меня мало интересуют детали, если дело ясно по существу. И уж подавно мне почти безразлично, кто там у него до меня был — если только вижу, что сейчас ему самому она безразлична.

Что же? Почти всегда мои старания увенчивались успехом. Они принимали сигналы, которые я передавал, и сигнализировали мне, в свою очередь:

сигнал принят. Как именно? Да всегда одинаково; это называется «женщина мстит за свое поруганное достоинство».

Конечно, я нарывался. Но, снова, может быть, была здесь и тайная надежда: все мстят, это дело ясное, но вот ты, лично ты, — ты, может быть, все же не будешь столь тривиальна? и окажешься непредсказуемо великодушна? А если нет, не простишь, то, может быть, просто уйдешь — а мстить не будешь?

Куда там. Все они, кроме разве одной, мстили традиционным способом. А та одна, что не мстила... зачем она этого не сделала? лучше бы уж так, чем...

Ну да. А чего бы я хотел? Если сам первый начал. Конечно. Все так. И, приятно это мне или нет, но другого способа отомстить за поруганную любовь, кроме как самой подставить кому-нибудь, как деликатно говаривал мой покойный отец, пузо, — в женском космосе еще не открыли. Все так, все так.

Не то ревность мужская. Такое впечатление, что он родился с ревностью в сердце — чтобы помереть, а она бы осталась жива. Ее область всеобъемлюща: одновременно прошлое, настоящее и будущее.

А что у тебя все-таки с ним было? А это у тебя с ним тоже было? Так было или не было? Не было? Значит, все-таки помнишь, что было, а чего не было. Значит, ты его еще помнишь. Раз ты это о нем помнишь, значит, ты его вспоминаешь. Так помнишь или нет? Да такая разница. А он тебя видел...? А так — тоже не видел? А как — видел? А это вот — делал? И этого не помнишь? Да как же можно такие вещи не помнить, это значит — тебе все равно так или этак... — да если тебе т а к о е все равно — да ты... ты после этого... знаешь кто ты? (ну да, с тобой я после того же — Любимая Женщина, а с ним — «знаешь кто»)... Как ты могла (с тобой же могу? и вижу — тебе не претит? тебе от себя со мной — несмердит?)? .. Нет, я все понимаю, но скажи, почему он вообще у тебя — был? Да не обязана ты была меня дожидаться до морковкина заговенья, но — ты могла по крайней мере полюбить действительно достойного человека, который уважал бы тебя и никогда не позволил себе так оскорбительно (имела неосторожность ему рассказать, что было и оскорбительное; но ведь оно всегда есть, стоит пожить с кем угодно бок о бок; чего же он хочет? полюби я вместо объекта его сейчасней ревности кого угодно, достойным у него всегда будет именно не тот, кого я полюбила бы, потому что достойным может быть только он! так пусть найдет себе двенадцатилетнюю и пасет ее для себя, терпеливо дожидаясь, пока она войдет в брачный возраст... глупо? тогда остается жить со мной, взрослой, но, значит, неизбежно повидавшей виды? так разберись с собой, не со мной, у тебя претензии не ко мне — к неизбежности)... Где ты сегодня была? Знаю я ваши собеседования. Работу над темой. Спит и видит восне, как бы это молодую аспиранточку... Много ты понимаешь, ты чиста сердцем и ничего не видишь, погоди — нарвешься... А может, ты понимаешь

больше, чем показываешь... Ну, извини, пошутить уже нельзя, ну, извини, я же сказал, ну извини, я же уже просил прощения за неудачную... но ты же сама даешь к ней... ну, ты не так поняла, я имею в виду — ты же сама — типа, что он благородно сед и молод душой. Ну, извини... С кем ты сегодня говорила так долго, знаешь? Ах, он нестандартно мыслит. Да он вообще нестандартен, а в первую очередь нестандартный бабник — и знают об этом все, кроме тебя, а ты больше улыбайся ему приветливо, дольше смотри внимательно в глаза, чаще откидывай прядь со лба, я это твое движение знаю, и знаю, что бы уж ты там в него ни вкладывала... хорошо, ничего не вкладываешь, но я знаю, как мужики на него реагируют, да я посебе знаю! но и не только по себе, уверяю тебя, и если с каждым, кто нестандартно мыслит... ладно, ладно, считай, что я ничего не сказал. Но уж насчет мужиков-то ты мне поверь, что их-то хотя бы я знаю, и будь осторожнее, если не хочешь неожиданных... Если ты сейчас дашь этому интеллигентному человеку с приятной улыбкой мало-мальской повод думать, что он тебе приятен, знаешь, чего ты дождешься через неделю, много две? Не отобьешься! Верь не верь, я уж свово-то брата-мужика-то знаю. Нет, не посебе сужу, но я исключение. Впрочем, если быть честным, то и я не исключение, ухлестнул же за тобой — и добился своего. Не хочешь слушать — поступай как хочешь, но потом не жалуйся, мое дело предупредить.

Мочи нет. Пусть они правы (к несчастью, они еще и часто правы — кому и знать про них, как не им?), нет мочи. В этом жить.

Но зачем же они так спешат мстить? Как-то уж совсем быстро, без пауз... мои бывшие женщины почему-то почти все отличались словоохотливой искренностью — задним числом: встреченные какое-то время спустя после расставания, они с замечательным простодушием рассказывали мне, как, с кем и когда именно они мне мстили. И всегда, кроме разве одного раза, когда мщение наступало не по пятам, когда оно было плодом внезапного крушения веры и потребовало времени на переживание в бездействии, — всегда получалось так, что наказание следовало прямо вслед за преступлением. Такое впечатление... да, такое впечатление, будто они только этого и ждали. Зверь бежал на ловца. Вот эта их готовность — как бы я ни был виноват — удручает. Как будто еще до нападения они уже как следует подготовились — и только ждали повода к вооруженному отпору.

Почему они так всеобъемлюще ревнивы? По той банальной, но действительной причине, что каждый судит по себе? Мужчина=неверный. Гяур. Если он и десяток лет будет верен тебе — не придавай значения, пустяки: занятая жизнь, случайное длительное отсутствие соблазна на горизонте его занятой жизни. Стоит поблазнить — от десяти лет видимой верности вмиг останутся клочки по закоулочкам. Гяур есть гяур, неверный, что возьмешь.

Сдается мне, мстительность эта — чаще всего совсем и не мстительность, а блудливость. Но если у мужчины она хотя бы проста и в этом смысле честна, то женщине требуется разрешение на блуд — под другим именем. Лицензия *праведного мщеника*. Они так привыкли печься о том, как они сами выглядят в чужих и своих же глазах, что признания в простой блудливости от них не дождаться (конечно, мой опыт ограничен — серьезно относясь к женщине, я ведь и связывал всегда свою судьбу с «серьезными» же; так что не мне судить об остальных, простых и честно легких на подъем, без возвышающего их самообмана). Они вообще способны на все, буквально в с е (одно эфирное существо с надменным девическим ртом просто изумило меня — контрастно — каким-то мужским любопытством сладострастия, в сущности, никак не вытекающим из страсти, которой как пришлось само собой, так и ладушки, которой во всецелом восторге не до того, чтобы еще успевать изобретать), — но только чтобы не называть *это* грубыми именами. При этом нельзя сказать и что они — существа из мира, где так уж немотствуют уста. Из несказанного мира. Скорее — из страны переименований. О закомплексованных что и говорить, но и совсем не закомплексованные... Эти любят мир физиологии, липкий мир соития, влажно-горячей телесности, мир жгучей крови и зудящей плоти — совершенно домашнею любовью, им удобно в нем как в шлепанцах и халате (и это понятно, если вспомнить об их биологическом назначении), — но называть его, чтобы не вогнать их в краску, не поругаться, надо словами из мира Любви. Если только они не намеренно «называют лопату лопатой», похлеще нашего брата, — то же самое наизнанку, принятый стиль специально немытого целомудрия. В среде зондеринтеллектуалок.

Удивительна эта совершенно искренняя лживость, которой они, за немногими исключениями (редко, но бывает, не спорю; но редко), проникнуты.

И по той же причине неслишком ревнива женщина. Конечно, женщина не ангел. Но, друг мой, ведь и ангел не женщина. Он ангел — и живет как ангел, не женится и не выходит замуж. Но по-своему ангелы ничуть не лучше людей — они так же способны пасть, если большую их часть Люцифер, сам — падший ангел, сумел увлечь за собой, только в мире бесплотном искушения не имеют отношения к плоти. Говорить о женщинах в этом смысле, что они не ангелы... this isn't correct. У тех свои искушения, у этих свои. Но ведь именно — искушения; говоря, что все женщины — дочери их прародительницы Евы, надо бы помнить, что Ева, хоть и была искушена змием, но сама первая вовсе не искала приключений. Она даже возразила змию, но он ее обманул — и только тогда обольстил. И если самую слабую женщину не искушать, не отвергать в ситуацию п о с т о я н н о й неудовлетворенности (его неверностью, безлюбным, небрежным отношением), если ему самому не плевать себе в суп, не мешать любить себя-любимого — она вряд ли отправится ис-

кать еще чего-то избыточного на стороне. Больше того, если уж ее устраивает собственный муж — и вдруг, внезапно, кто-то еще, по человеческой слабости, кто-то еще и приглянется ей — она отстранит это прельщение, недолго колеблясь.

Хорошо. Она не ангел. Она поддалась бы земному чувству. Но тогда уж — новому чувству, вытесняящему старое. До конца. Она ушла бы от мужа, постаралась бы уйти, если возможно. Если же невозможно (очень трудно — дети, больной муж, я не знаю...), стала бы раздвигаться, таить — но не как мужчина. Она переживала бы происходящее как ненормальную, крайне нежелательную, почти невыносимую ситуацию.

Однажды изменила тому, с кем жила. Лишь однажды.

К тому времени я потеряла всякое прекрасодушие, всякое возвышенное понятие о любви, всякую требовательность к себе и другому. Эта готовность смириться с данностью возникла из смеси причин. Переменных: очередного упадка духа, житейской ситуации. Постоянных: возраст, постоянно накапливающаяся и никогда не разгружаемая усталость от жизни. Мне было уже тридцать с хвостиком. Отношения с мужем становились все несноснее. Он, казалось мне, перестал ставить меня в грош. Думаю, изменял, думаю, по мере продвижения в этой практике — все правомочнее (давность практикисловно бы санкционирует сама себя). Перестал замечать как женщину (что, конечно, перемежалось со вспышками... как у них всегда; это физиологическое, оно в них накапливается — и трансформируется в нежность, но меня уже не обманешь нежностью инстинктивного происхождения, они нежны на 5 минут, им же н а д о, а человеческое в них им дело говорит — п р о с т о т а к, как козы козлам, мало-мальски уважающие себя жены н е д а ю т). Словом, я — уж никак не менее его — была в своем праве. На свободу — с чистой совестью.

Если тебе это необходимо, чтобы почувствовать себя человеком, если нашелся мужчина, которому уважение к тебе не мешает смотреть на тебя как на женщину, и наоборот, — возьми да и сделай. За его отношение ко мне надо было десяток раз изменить ему — спокойно, тихо, как он сам. Нет, на десятый — взять и сказать; то-то взвился бы.

Далеко ходить не надо; вот литературное воплощение, считается, лучшего в них — Татьяна Ларина. Милый идеал. Сам он так сказал. А что, собственно, в ней идеального? Да верность. Она будет век верна мужу, как бы ни любила Онегина. И она будет век верна себе — однажды полюбит Онегина, с тех пор не разлюбила и, похоже, уже не разлюбит его. Между тем, что это значит — для того же мужа? Молодая жена с самого начала живет с ним не любя, хуже того, все время любя другого, больше того — ничего мужу об этом не сообщая. Я понимаю, если бы чувство к Онегину явилось в ней не до того, а потом, вкралось в ее жизнь с уже любимым мужем,

внезапно, стихийным бедствием, роковым увлечением, неожиданной, непрошенной страстью, от чего никто не застрахован... да, в этом случае, если бы она боролась с собой, до конца оставаясь верной мужу, не желая уступать слепой игре страстей, отстаивая свою истинную любовь против преходящего увлечения, ею и впрямь можно было бы восхититься, она была бы достойна высочайшего уважения. Но заранее зная, что любишь другого, зная при этом себя, постоянство своей натуры, своих чувств, — заведомо едва ли не пожизненно любя одного, выйти замуж за другого и заслужить при этом от собственного автора имя «идеал»... Непрерывно обманывая любящего мужа, человека, по всему, любящего и любви достойного, и верящего в любовь своей жены! Эту-то веру Татьяна — думая, что не предаст делом и телом — и предаст душой, преданной другому (и другому, и мужу сразу, мужу так, а Онегину иначе — но кто же захочет делить?). Чего стоит верность без любви? Если бы муж узнал, что она все время любила и любит другого... Если бы я знал, что моя жена все время спит со мной, а думает о другом — утешило ли бы меня то, что она мне верна и будет верна — физически? Конечно, если еще и э т о ..! Но ведь и т о г о хватает, чтобы отравить всю жизнь... а если бы я еще узнал, что она ему все с к а з а л а , что он з н а е т... а эта обманщица мне ни гу-гу, что все сказала ему... Да пусть бы она лучше честно объяснила положение вещей при сватовстве, и я бы решал, как мне быть, перенесу ли я это, так ли я люблю ее, чтобы жить с женой, полной непроходящей (пусть раз навсегда samozапрещенной — это делает честь силе ее духа, но ни на йоту не облегчает моих страданий) любовью к другому. Или, будучи геройским генералом, израненным в сраженьях, уйду да и переживу все это, пока не обрету новую любовь, отвечающую мне той взаимностью, которую я заслуживаю. Но пушкинский «идеал», кажется, не ознакомил жениха, а затем мужа, с истинным положением дел. Не находит нужным. И эта платоническая изменница, эта железная леди, верно спящая с мужем без любви к нему и с любовью к другому — уже без малого двести лет считается идеальным воплощением женской честь-совести.

И такой мужчина нашелся. Я взяла только свое, не чужое. И что же? Я измучилась вся. Боже, как я измучилась, какой это кошмар — чувствовать не душой, а самим телом, где-то внутри его — мутное двоение, чего-то бояться (чего? что тот войдет — и убьет? но мы встречались там, куда тот никак не мог войти), обманывать (я знала, что шанса уйти к любимому нет, а значит, и объявлять мужу, что у меня есть любовник, устраивать всяческую словесную поножовщину, нет смысла, свободе лучше оставаться тайной)... Если бы только могла уйти к тому, с кем «крутила роман», чтобы воссоединиться с собой, обрести сфокусированное, не-астигматическое самоощущение... Но, повторяю, я заранее знала, на что шла, мой любовник был именно любовник, любимый любовник — и априорно не мог быть никем иным, паритетно не требуя ниче-

го и от меня. Но и любовь к мужчине, каких досих пор не встречала, без нитья и женской истеричности, человеку-в состоянии-спокойной силы, — не выдержала давления 1000 атмосфер измены, — в какой-то момент все обрушилось, распалось в прах; раз я не могла уйти к нему, я ушла от него. Я вернулась к мужу (успела уйти и вернуться, а он даже не подозревал ни о том, ни о другом); но и это не принесло покоя. Прекратив ситуативно предавать, прекращаем ли мы быть предателями? Вот вопрос; не знаю ответа. Но я не смогла больше с ним жить; ушла и от него — и только тогда вздохнула с облегчением.

Можно ли говорить о неверности, если неверен тому, кто никогда и не бывал верен? Вздор. Но тогда отчего же я так измучилась? Не знаю.

А вот что я знаю: если бы женщины следовало остерегаться случайных связей! остерегаться следует всяких. И особенно — неслучайных.

Если ты всего-навсего повела себя с ним естественно для любящей, сходящейся с любящим, — для него это звучит вот какой музыкой: он овладел тобой. И теперь — обладает.

Между тем музыканты отчаянно фальшивят. Что такое физическая близость для женщины? Всего-навсего то же, что для мужчины — то, что и не пахнет никаким «обладанием» ею, потому что к ней самой прямого отношения не имеет. Как это не имеет? Да вот так... да, как? Одна из тех вещей, которые все время чувствуешь, но не можешь выразить... Я уже говорила, что в минуты наслаждения переставешь видеть себя со стороны — только это и делает возможным вещи, которые в спокойном, холодном состоянии с посторонним человеком для тебя невозможны. Обычным зрением — переставешь. Но каким-то другим — именно начинаешь.

Даже в самые рабские моменты страсти — порой ловишь себя на странном, но всегда одном и том же, уже знакомом странном ощущении (а после всего, по мере удаления любовных событий, это ощущение в памяти о своем прошлом вообще — всегда): то, что сейчас происходит со мной, ко м н е отношения не имеет. Оно имеет отношение не ко мне. Потому что сладострастия покоряюсь не собственно я, а мое обычное, как у всех, жадное до сладости тело; а г л а в а я я, единственная в мире, словно бы незримое, неповрежденное тонкое тело-душа откуда-то сбоку или сверху только наблюдаю за происходящим — за мною же, но за низшей мной. За «мною» в третьем лице. За «ней». В минуты, казалось бы, полного самозабвения, я отстраняюсь от себя же и наблюдаю, снисходительно, едва ли не иронически, за собой как за «ней»: ну-ка, что она еще самозабвенно вытворит?

Это то, о чем: «В то время я гостила на земле...». Голос живого человека. Почему же столь отстраненно — словно уже из другого мира? А потому, что в человеке два человека, и между одним из другим всегда дистанция — ис этой дистанции (в пространстве: как бы оттуда смот-

рясюда — или во времени: как бы из вечного сего дня смотря во временное (вчера) главный «он» спокойно зрит, не вмешиваясь, давая себе-земному, себе-слабому отдать всему земному дань, поддаться всем положенным смертному страстям, но понимая, что существо его-главного они бессильны затронуть. Помешать себе там, на земле, предаваться страсти, «возвысить» себя до себя — я не в состоянии — моя слабая человечность вполне автономна и управляется в такие минуты своей распаленной кровью... что с нее взять? «Я» не властна над «ней». Но ведь и «она» надо мной-вышей не властна, главная я никогда не *обладаема* — ни очередным *им*, ни собственной страстностью. Я всегда в стороне от себя, от «нее». Что бы ни делали с ней — мне никто не может нанести урон, унижить.

А вот поди ж ты, все равно для них физическое соединение с тобой — всегда «обладание» одушевленным куском мяса; а потом, когда приватизация становится привычной, когда ты морально устареваешь, они еще и начинают относиться к тебе — свое все-таки, не чужое — «любовно»-неуважительно (за то, что ты позволила себя приватизировать — и правильно, по делом), снисходительно похлопывая по мягкому месту. Эти его права на тебя, которые он на каждом шагу предъявляет и которые ты же ему дала, это его отношение к тебе делают твою жизнь нестерпимо самонеуважаемой.

Как сохранить простое «соблюдай дистанцию»? Как сделать это, когда я уже вся — твоя, когда любовь — самоотдача, когда я того и хочу, чтобы быть и впрямь из твоего ребра? Не сходиться? Длительное искусственное, если любишь, положение вещей? А стоить сойтись — уже поздно: вы оба уже внутри ситуации, тогда как дистанция возможна лишь снаружи. Одно — всегда *д о*. К нему не может быть возвращения *п о с л е*. Но оно необходимо, она необходима мне, эта невозможная раздельность-в-слиянии, чтобы жить в любви, а не бороться в ней за самоуважение. Как это сделать? Никак. Не знаю как.

Но кого это остановило?

Лживость. Никто из них, этих мстительниц, не сказал мне прямо: «Я тебе отомстила с другим — вот теперь и поворочайся с мое, как уж на сковородке, для торжества справедливости. А потом будем решать, жить нам вместе или не сможем». Ни разу, друг мой. А ведь, казалось бы, это единственный ответ, если не достойный (впрочем, достойный — того, на что является ответом), то целесообразный. Ведь вся соль возмездия в том, чтобы изменник и предатель понял на своей шкуре ужас и мерзость того, что он содеял. Какое же возмездие совершается втайне от того, кому мстят? В чем его эффективность? В том, что «с меня довольно сего сознания»? Будто бы уж довольно. И какого «сознания»? Что «и я могу не только с одним»? Эка невидаль. Или — «я тоже могу охмурить не только тебя»? Но такой ли уж

секрет для любой из них, что, если у нее есть то, откуда ноги растут, и при этом она не горбата — охотники на нее всегда найдутся, и в немалом числе? Все как-то не вяжется. Цель?

Наверное, наверное, есть авантюристки, есть хищницы-пожирательницы мужчин, и спортивно-гигиенические сексуалки, и еще какие-нибудь пансексуалистки. Есть все; приличные дамы сидят в стрип-клубах для женщин, смотрят на снимающих трусы и вращающих орудиями труда приматов и старательно, искренно доказывают себе, что им этого хочется. И все же, по себе (по кому еще судить?) думаю, сколь бы ни высвобождал феминизм изначально заложенное в женщине, уравненной отныне в своем безобразии с мужчиной, это еще не говорит об ее истинной природе... Все равно в женской половине человечества преобладает тип, тяготеющий к целостности, раздваивающийся только вынужденно — и не ищущий добра от добра. Женщина может изменить, но вопреки заложенной в ней программе. Согласно последней, у нее «влечение к мужу своему», до других ей дела нет: в ее-то жизни место, предназначенное для него, уже занято. И видит таким же его, и боится только его ситуативных измен — в меру, знакомую ей по себе. Боится непредсказуемого и внезапного солнечного удара судьбы. А он — гяур. Запрограммированный неверный. У него зрение, видящее в том, в чем я вижу неверность, — доблесть.

А если все проще? И тут всего лишь такое соображение, что, «если ему сказать, он не простит», уйдет, а так далеко я заходить не собираюсь, я все равно его люблю, я хочу только восстановить справедливость, для себя, чтобы я знала — и тогда, может быть, смогу жить с ним дальше. Вот такого «сознания» с меня и «довольно».

Ничего себе проще. Если так — оно только подтверждает лукавую двойственность женской натуры, с ее какой-то уж очень странной любовью, почему-то достаточно сильной, чтобы пережить и перечеркнуть измену любимого, но недостаточной, чтобы самой не изменить в ответ; и с не менее странными представлениями о какой-то тайной справедливости... Тайной и скрытной справедливости не бывает!

Но предположим, на самом деле наши неуловимые мстительницы преследуют иную цель, нежели та, какую они обналичивают и другим, и себе самим, — и все встает на свои места. Иную цель — вовсе не возмездие, а разрешение на блуд по совести.

При этом гяур еще может тебя любить. Как это нистранно (долго мне казалось, что это чистойшей воды их треп), ни противоестественно для меня, но действительно — может. По всей амплитуде любви — от того, что ты ему мила и желанна, до того, что ты ему дорога и он

испытывает страх за тебя... В моей жизни была однажды ситуация практически смертельная. Спас меня только тогдашний муж. Он не отходил от меня днями и ночами, где-то доставал какие-то недостижимые тогда западные лекарства, добывая откуда-то на них бешеные деньги — мы были бедны, как церковные мыши. В глазах его стояли слезная нежность и ужас меня потерять. И что же? Позже, когда мы разошлись, я узнала от него, между прочим (уже незачем было скрывать и интересно поболтать по-дружески): именно в то время у него была «знакомая» — и, что мило, оставалась «знакомой», когда он уже ушел от меня: он ушел к моей приятельнице, сохранив на вторых ролях «знакомую» (приятельница — с тех пор, как он к ней ушел, ставшая бывшей приятельницей, — по-прежнему не знает о существовании «знакомой», ну, а со мной отчего же доверительно, по-родственному, не поделиться; многие любят делиться такими вещами с бывшими женами, вообще не желая их ранить, совершенно простодушно думая, что те им просто сестры-мамки (сами виноваты, так уж их приучили думать, пока с ними жили).

Да, при этом он может тебя любить. У него какое-то другое чувство любви, не данное мне в ощущениях. Любовь — кажется, что может быть более просто и естественно? — это полная концентрация на любимом. Так или нет? Любовь — это по существу пред-почтение одного всем остальным; дальше — тишина. Все, что делают женщина с мужчиной — как женщина с мужчиной, я хочу делать с тобой. Добавлять после этого: а с другими не хочу, — тавтология.

Не то у них. У них... кто бы объяснил. У них любовь — лишена концентрации. Лишена любви. Которая, тем не менее, есть. Ну конечно, конечно, гений — парадоксов друг, но сдаётся мне, штука с их любовью — не парадокс, а нонсенс. Бедлам без признаков Вифлеема. У них — явное (и искреннее) пред-почтение одной, оставляющее возможность одновременного пред-почтения второй. Да, вижу (как не видеть): без меня он не может; но почему-то может одновременно с другой, а то еще третьей. И я уверена — каждую по-своему он именно пред-почитает, какую-то роль выбор играет-таки в каждом случае (не на каждую же он упадет, у него, будьте уверены, всегда при себе вкус, у него — выбор натуры). Раздвоение, сексуальная шизофрения — норма его душевного здоровья. Группенсекс порознь. Кто бы мне все-таки объяснил — что это? как это возможно? Что это за «природа вещей», согласно которой происходит нечто безобразное, но имеющее все черты формы, культуры, то есть отбора, — и в то же время все черты случайности и хаоса?

Я не утверждаю, что каждая, живя с одним мужчиной, только и думает, как бы попробовать еще и другого, и третьего. Как правило, любящая — на

время своей ничем не омрачаемой любви — моногамна. Сердце ее, в отличие от нас (к чести ее, надо признать), полно любовью к одному. Но измена любимого не только ранит ее — она открывает ей и в ней самой новые возможности, желания, еще вчера ей неведомые и ненужные, не существовавшие в ней вчера, но — странное дело — существовавшие в ней как бы до в ч е р а. И теперь она хочет получить на них разрешение. Хочет полноты права и чистоты совести.

Хорошо. Но для чего бы вообще понадобилось это право, когда бы вдруг не стали вещи, которые оно разрешает, желанными? И почему пользуешься им тайком, когда оно — именно право? Не потому ли, что всего и надо-то — просто, для себя одной, не имея в этом деле никакого интереса посвящать других, разрешить задачу: как, сохраняя самоуважение, перечеркнуть запрет, то, что «колется», чтобы получить то, что «хочется»? Хочется. Всего-навсего хочется..

Тут открываются большие возможности продолжать уважать себя. Так хорошо думать и чувствовать, когда между твоими представлениями о себе (они высоки) и твоими действиями (они — и их цели — на самом деле животны) образуется зазор, и тебе надо его заделать — чтобы нравиться себе. Устраивать себя. И включаются все механизмы их искренней лживости, заложенной в каждой клеточке их стопроцентно-земного, зачинающе-рождающе-кормящего организма-механизма, веками, однако, возрастающего в атмосфере их возвышающего обмана — и теперь не могущего без «эстетики».

Эти создания, увеличивающие тушью и карандашом глаза до степени зазеркалья души и строящие на голове вавилонские башни до неземных небес — и одновременно пользующиеся прокладками и тампонами в периоды очищения — видимо, от нечистоты, вполне земной, — эти создания... кто они, что они такое? сколько их на мою бедную голову?

При этом, что мне особенно нравится, все они еще и оправдываются тем, что-де «с кем не бывает, а люблю-то я тебя, ты же знаешь». Да ведь, помилуй, я только потому и знаю, родной ты мой, что ты м е н я любишь, что у тебя «бывает» только со мной. Не потому, что любящий обязан себя ограничивать в желаниях, а потому, что ему х о ч е т с я только с тем, кого он любит. Предпочитающее желание — и есть предикат любви, без которой она — не она, разве же не ясно?

При этом, что мне всего особеннее нравится, они оправдываются еще и тем, что «ну ты же сама понимаешь, я был пьян, с пьяного что взять, это вообще ничто». Милое дело! и даже в голову не приходит — если бы я подобное сказала, он, вместо того, чтобы «сам понимать», взревел бы от дикой боли, потому что посмотрел бы на меня (секунда боли — как тысяча лет!) вовсе не понимающими глазами=с точки зрения меня самой (а у меня ее и нет, этой точки зрения, я же была пьяна, ничего не помню), а с точки зрения третьего, того, потребляющего готовый, не помнящий себя от пьянства, чего только не вытворяющий живой

кусоч мяса (о котором ты-то думаешь, что она — это Она!)... О, как взвыл бы от унижения, от превращения самого сокровенного в..! Им даже в голову не приходит, что наезд на человека в автомобиле, совершенный в пьяном виде, о т я г о щ а е т состав преступления, а вовсе не облегчает его. Им даже в голову не приходит, что я, вместо того, чтобы в очередной раз «понять» их, будто бы «войти в их положение» и понять — это одно и то же (да я всегда в с в о е м положении, но все ли в нем, в себе, понимаю?), могу задать вопрос, первым приходящий в голову, на душу: «А з а ч е м ты пил — именно с ней? Ведь ты наверняка предчувствовал — что-то между вами уже есть и что-то еще будет, но просто так не произойдет, надо подогреть, надо снять барьер; ты где-то там у себя знал, что смотришь на нее не простым человеческим глазом, как на соседа по лестничной клетке — не то бы не стал с ней пить. Что тебе, чисто по-человечески интереснее с ней выпить по сто пятьдесят и поговорить, чем с друзьями? Нет, ты все знал — ты ждал этого и ты г о т о в и л это именно тем, что стал пьян и напоил ее! и имеешь же совесть, имеешь вкус — этим теперь и оправдываться!».

Ей-богу же, я не женоненавистник. Как не видеть в них тонкость чувств, ум сердца, способность сочувствия и сострадания, слезной жалости и удивительной смены гнева на милость — все то лучшее в мире, которого тупо и толстокоже лишен не я один, но 97 из 100 мужчин? Но как понять в них те вещи, которые... которые мешают мне их всецело... что? вот это самое, главное... — всецело? вещи, которые сводят с ума и поджигают душу, как бумагу? всю жизнь пытаюсь их понять — и не могу.

Да. Пытаюсь понять. И не могу.

Спрашивайте.

Почему занимаюсь ими, а не собой? Почему говорю об «их лживой природе», когда всякий раз причиной их измен была моя изменчивость? Почему говорю о любви, когда сам вперед всего — неверен, а неверный не знает, что такое любовь? Не знает, о чем говорит.

Да, правда.

А как мне ее знать? Вот я и занимаюсь тем, что хоть как-то... Говорил же уже, ведь я не знаю иного пути к любви, кроме того, который ведет через влюбленность. Все остальное просто не дано мне в ощущениях. Все остальное — это знакомство по брачному объявлению. Эрзац.

А влюбленность всегда ведет к своему «увенчанию», а затем к своему здесь-и-сейчас исчерпанию и переключению на новый объект влюбленности. Она подчиняется своим законам существования и мной не управляется. Наоборот, я управляюсь ею — и она, переключая себя, направляет меня к новой любви.

Сколько раз, понимая, что это подло, от этого не должен страдать человек, которого я же побудил к близости, привязал к себе и теперь не могу же

просто так бросить, — сколько раз я пытался задержаться на линии влюбленности, которая — исчерпав себя, уходит за угол. Пытался тянуть себя за уши, нажимая на рычаги привязанности, нежности, ответственности. Ничего не выходит. Ничего не выходит, мой друг. Да. Ничего не выходит, кроме самой плохой и зловредной для обоих тяготины. Подделку не скроешь.

Особь статья в этом деле (в такого рода делишках) — их отношение к бывшим женам, от которых им ушло к тебе.

Он жил-поживал с ней и вот тут-то, встретив тебя, ушел от нее. Он решил. Тут начинается... То есть тут все как раз кончается — жизнь, прогулки при луне и походы в консерваторию. Зато всю дышат почва и судьба.

До какого-то момента, довольно долго, женатый как мужчина для меня вообще не существовал, оставаясь сослуживцем, собеседником, добрым знакомым; задним числом понимаю, что это инстинктивное было единственно правильным. Но в какой-то момент что-то отказало, предохранитель полетел. Как могло случиться, чтобы после первой пробы такого рода я попробовала то же самое еще раз?

Первый ушедший ко мне как к жене от жены — ее не любил. Он ее жалел. Сто раз на дню повторяя, что мужская жалость — не женская и к любви отношения не имеет, он сто раз прибавлял к тому: бедная, она не сможет без него, одна, он воспитал ее для себя (и подсебя), приучил к жизни-для-него — и предательски бросил (но не предательски мне об этом говорит!). Бедная, она не знает, как жить одна — и уже не научится, не тот возраст и характер, она без него зачахнет и сойдет на нет. Любит он — меня, но имеет также совесть — и болеет душой. Он в ответе за тех, кого приручил. От благородства моего маленького принца я чуть было несбрендил. Я всамделишно усовестилась собственной бессовестности — и начала ее активно жалеть, вместе с ним. Бедную. Стала слать ей всякие пустяковые, но заботливые подарки, однажды сдуру послала красивую тряпичную куклу — такую цветную бабу, покрывать заварочный чайник, а потом окольно узнала, что она воткнула ей в «сердце» иголку; между прочим, как раз тогда я захворала, и не простудой, а желтухой, еле встала на ноги, и как знать... вот тебе урок — «побежденных не жалеть»; не зная броду — несуйся в воду. Его же, разумеется, я жалела еще больше ее, и дожалела до того, что совсем забыла о собственных маленьких интересах в этом деле... Короче, дорогой мой, я тронулась не на шутку, а когда остановилась, было поздно, он понял, что жалеть — это я умею делать, и тут уже вцепился в меня, как клещ, уже безо всякой своей бывшей бедной, и давай высасывать что осталось. Он бы и дососал мою бедную (да уж, не богатую, поразоряли довольно) душеньку — но я все же унесла ноги.

«Любовь» и не скрывает того, что поддельна. Сильный может позволить себе быть честным. Глядя тебе в глаза, нагло: «Вот я. Тебе известно, кто я такая. Да, я такая. Все, что я скажу, будет заведомо ложью. Единственная правда, что все равно я тебя оболещу».

То, что «любовь» между мужчиной и женщиной — чувство, в отличие от любви родительской или дружеской, при всей его настоятельности, не настоящее — обнаруживается на каждом шагу. Любовь к родителям, братьям-сестрам, немногим друзьям детства и юности — со мной, во мне до самой смерти. Ну, а по отношению к *ним*? Стоит сменить одну на другую — нам вменено в обязанность все бывшее «забыть», вытеснить память из сердца, предавшись всецело новой любви. Некогда кто-то сказал: женщина никогда не забывает своего первого. Затем кто-то поправил: женщина никогда не забывает ни одного. Со временем последнее (включив первое по закону поглощения меньшего большим) превратилось уже в своего рода аксиому. Сомневаюсь. Видел я женщин с исключительной памятью о какой-то самой серьезной в их жизни встрече; но, во-первых, совершенно необязательно, чтобы этот *он* был первым, он бывает и четвертым... Большинство же их просто нацелено всей остротой желания и полнотой привязанности только на сегодняшнюю жертву-ловца, они не врут, когда говорят; «Никого, кроме тебя, не помню; да никого до тебя и не было». Ну, а потом и я стану бывшим — и вот меня нет для нее, и я вослед предыдущим былым-небывалым отошел в Элизеум теней (и хорошо еще, если оставил, набросил хоть тень на плетень ее дальнейшей жизни), а есть только следующий... О чем говорить, когда в моей памяти на протяжении десятков лет — вдруг, непрошенно остро всплывают воспоминания детства, как я чуть не отморозил пальцы ног, катаясь на лыжах, как они белели и ломили, пока мать растирала их спиртом, — память достаёт до дальних времен; но почему же тогда — никакой живой памяти о потере, например, невинности, никаких вспышек (ведь умом, если напрячься, я тупо, бесчувственно помню — все было тогда чрезвычайно острым, казалось необыкновенно важным, даже когда было разочарованием) или еще от очень многого... со многими... конечно, умом я вспомню многое и многих, но никакой памяти сердца или пусть хоть нервных окончаний, как ни бейся! помню только, что у нее была большая голова на малом теле, волосы паклей, кривоватые японские — короткие вообще, а в нижней, подколенной части особенно — ноги, а вот как она... а, разве все упомнишь... Ничего решительно! А между тем, вспоминаю ли я о своей матери? о своем ребенке? нет, я просто не забываю о них, они растворены в моей повседневной душе, они — во всем мне, они — я. А все эти мордасти... зачем-то сводящие с ума полгода, чтобы затем позабыть все, как и не было. Как и не было!

«Любовь» не проделывает так предсказуемо путь от начала влюбленности к ее самоисчерпанию только тогда, когда встречает затруднения. Трудно добиться взаимности. Все, однако, проходит, стоит ее добиться; не жаль и затраченного труда. Более редкий случай — зато на нем влюбленность-

любовь может держаться иногда очень долго, годами, — когда трудно не только добиться ответной влюбленности, но столь же трудно и удержать ее; когда все время нужно поддерживать огонь, разогревать его, раскалять, нужно все время быть горячей лампой в рефлекторе, где женщина является отражателем, зато многократно усиливающим тепловой эффект лампы. Со мной так было однажды... это надолго.

Тут любовь заканчивается не потому, что истекает влюбленность. Она умирает, обгорая, потому, что больше немогут ее переживать.

Ведь по каким бы причинам такая вот (какая такая? а — редкая) женщина ни вела себя так, главная из них: ей нужна либо тотальная любовь, либо уж ничего не нужно, все меньшее: привычку-привязанность-дом-семью-очаг — она, ни во что не ставя, не дорожа, готова разбить, похерить, отместить еще до создания. Женщина-самоотказница. Но за всяким отказом стоит опыт. Когда сопротивление редкого человеческого материала таково, что от долгого давления жизни он стал только тверже. Вот это-то непереносимое наличие опыта в ней — и не дает жить.

Мне удалось унести ноги потому, что внезапно, отчетливо остро узрев ситуацию и себя в ней со стороны, я увидела, что впуталась в семейное дело и, хотя де юре (что смешно, при юридически неоформленных отношениях) являюсь единственной женой, но де факто ужестала кем-то вроде младшей жены восточного человека — при якобы отсутствующей, а насамом-то деле занимающей свое действительное место старшей (всегда нелюбимой, но всегда старшей) жены. Или, если перевести на язык нашей неопишуемой, но сказуемой цивилизации, превращаюсь в ту самую, невозможную для меня третью-не-лишнюю (настояв пред тем именно на том, чтобы быть первой-и-последней., — удивительное круговращенье вечного идиотического колеса). Ощувив, что от меня опять берется только энергия, подзаряжающее его, от-вращенное от меня же, энергопитающей, внимание, — и остро захотев вдруг, чтобы кто-то, наконец, внял в кои-то веки и мне, я такого «кого-то» как раз и встретила — как нельзя более вовремя.

Вовремя, чтобы унести ноги от предыдущего женатика — и влипнуть с ситуацией с последующим. Из огня да в полымя. Если бы я тогда была в состоянии рассуждать, такой провальной глупости, как связь с еще одним женатым, — такой глупости ни за что бы не произошло. Но я совсем обалдела от жизни втроем; с другой жестороны, думаю я, этот опыт, вместо того, чтобы увести меня вообще от таких опытов подальше, уводил подалше только отсамого единичного виновника опыта, зато подключал вообще — к самому напряжению тока, исходящего от всех несчастливо женатых мужчин, настраивал на всегда одну и ту же (в самых различных вариантах семейного несчастья) волну их позывных: «Спаси! Приди и владей мной!».

Наслышан — большинство мужчин устроены по-другому. Им (если их послушать) безразлично прошлое их женщин — были бы верны в настоящем. Если они и ревнуют к прошлому, то — к болезненному облачку, по временам затемняющему душу, однако не мешающему тотально — жить, работать и отдыхать.

Нет оснований думать, что все «нормальные» лгут, — ведь тогда сама жизнь на земле была бы невозможной — в том виде, в каком идет; сколько сейчас женщин, проживших жизнь только с одним мужчиной? 0,001% — 0,0001%? — следовательно, все человечество, соединенное в пары, где каждый партнер имел связи (и не одну) д о т о г о, не могло бы в своих наличных семьях жить спокойно — ни минуты.

Но по обрывкам фраз вокруг, но по вырывающимся иногда возгласам приятелей, но по чему-то еще я делаю вывод, что на самом деле все же мало кто из мужчин устроен с о в с е м «по-другому»; только то, что у большинства свернуто и достается из комода сердечной памяти, чтобы развернуть и взглянуть, лишь по случаю, кое-когда, — у меня развернуто и усилено до той индивидуальной психопатии, без которой каждый из нас не является вполне — собой, о которой говорится «всяк по-своему с ума сходит». У кого что болит. У меня — это. Но в боли этой выявлено, ей-богу же, то, что и в других сидит — и временами встает в полный рост и доводит до белого каления.

Из-за чего мучаюсь? Из-за того, что молоко белое.

Этот, в отличие от предыдущего, действительно не любил свою жену. Он не любил ее беззаветно. До страсти. И от меня поэтому ждал только одного — чтобы я во всем являла ее противоположность. Собственно, за это он меня и «полюбил» — за то, что именно в моем лице он встретил чаемую Противоположность. Гонимый желанием найдет какие-то милые ему ее приметы (ведь они-то выпуклее всего и бросятся ему в глаза, о ж и д а ю щ и е в с т р е т и т ь) — в чьей-то случайной ч а с т и ч н о й противоположности, по воле страстного желания приняв ее за п о л н у ю противоположность. А затем, познакомившись с человеком детальнее и напоровшись на то, что противоположность неполна, какие-то ненавистные черты родового сходства сохраняются, — что он будет делать? Взрослый человек, он постарается примириться с медицинскими фактами жизни, так ведь? Как мирится с ними любая женщина.

Но он остается ребенком доседых волос. Реальность д о л ж н а быть такой, какая его устроит, — и никаких. Если же не является — должна с т а т ь. От меня постоянно чего-то ждали. Это держит в напряжении. Я все время должна была чему-то соответствовать. Тому, чего нет.

Та была чистоплотна до безумия — я должна была плюнуть на уборку. Та часами смотрела телевизор — я должна была его не выно-

сить, зато любить читать, причем литературу позабористее, прозу Беккета, Пинчона. Та любила слушать Пугачеву и Малинина — я должна была презирать эстраду и слушать цифровую музыку и модальный джаз. Или наоборот.

Считается, мы не дети. Считается, логика так называемого взрослого человека — существует. Половая жизнь есть часть жизни взрослых людей. Неотъемлемая часть нормального целого. Поэтому само собой разумеется, если ты встречаешь женщину, которой сколько-то (больше 13) лет, этот опыт половой жизни как неотъемлемой части жизни вообще, у нее, конечно же, есть — и это не делает ее «лучше» или «хуже». Если тут и имеется вопрос, то он только в том, чтобы она не изменяла тебе, уже сойдясь с тобой. Ее же прошлое, так смиренное умозрением, просто не принимается, не пропускается в сердце.

К несчастью, я устроен по-другому. То есть логика моя та же. Я не сумасшедший. Дважды два четыре. На половой жизни мир держится от века, и если бы она была ненормальным делом, то и весь мир был бы ненормален уже тем, что продолжался бы.

Но пусть она самая нормальная вещь, все равно она — ненормальное дело. Я сумасшедший? Все равно безобразное дело! Когда я вспоминаю о ее прошлом, я не думаю о нем, как другие, но прямо представляю его. Как если бы оно происходило в настоящем и у меня на глазах. Что должно измениться в этом представлении оттого, что это было не сегодня, а вчера? Два месяца тому она ушла от него, теперь встретила меня и говорит: «Есть только ты». Но для меня-то есть — все ! Два месяца назад она была точно такая же (пусть она будет «другая», а «та умерла» и проч. — все это слова, слова! психофизиология ее не могла измениться за два месяца!) — и делала с *тем*, значит, то же самое и точно с тою же повадкой, что и со мной. Так же искренне — ему об его предшественнике: «Не помню его, только тебя». И когда я представляю все ясно, в точности так, как оно наверняка и было, а в представлении моего предшественника до сих пор есть, стоит включить свой мозговой компьютер и войти в нужное окошко, — а это происходит независимо от меня, автоматом — что-то невыразимо-безобразное вспыхивает черным солнцем в мозгу. И я больше не могу жить.

Моя логика и мое чувство — пространства не совмещенные. Изолированные.

Между тем, я родилась и долго жила сама посебе, вне всякой соотнесенности с той, о ком и понятия не имела до встречи с ее бывшим мужем, встречу с которым тоже не заказывала и не жила в ее преддверии. В чем-то я соответствовала его ожиданиям, например, по счастью, не люблю есть=не умею готовить, в чем-то, напротив, напоминала ее, отвергнутую — то есть на этом фронте ожиданий не оправдывала. Я

была не похожа на нее, но и не-непохожа; просто оставалась собой. Так и, казалось бы, чего тебе еще, если ты и любишь меня? Как же как же. Если любишь в человеке свою нелюбовь к другому человеку, «любимый» постоянно подводит твои ожидания и обманывает твою «любовь». Но ты в состоянии ему за это отомстить, переодевая его в одежды, которые тебе нравятся, не глядя на то, что они ему тесны, режут под мышками и в паху. Ты в состоянии это сделать, пока у тебя еще есть кредит, пока любящий еще не отказывает — из любви — дать (опять дать!) себя изнасиловать. Как можно отказать любимому? Я отдала тебе куда больше — ну на еще, возьми и это. Попытаюсь любить, чего не люблю, не любить то, что мне приятно. Не делать то, что надо делать. Изобразю себя большей, чем я есть, — и меньшей, чем я есть. Назовешь меня Гантенбайн? Как скажешь. На. На, возьми. Я Гантенбайн. Госпожа Гантенбайн. Ложь во спасение любви.

Но любовь не спасается ложью. Она вообще ничем не спасается. Она сама спасает — когда она есть; а когда ее нет... Когда ее нет — она рано или поздно дает себе знать. Она дает знать, что ее — нет.

«Женщина имеет такое же право на любовный опыт, такую же свободу в области... и тэдэ, и если мужской опыт только повышает репутацию мужчины, говоря о его сексуальной востребованности, то же следует сказать и о женщине... и тэдэ». Подписываюсь двумя руками. И тэдэ.

Не могу простить ей только одного: она находится рядом и своим присутствием в моей жизни, в моем сердце ежеминутно напоминает мне о том, что бесконечно ранит меня и делает мне больно. Я не могу простить ей того, что она живет со мной, а я с ней, а она живой человек, а значит, до встречи со мной обязательно имела свою, отдельную от меня жизнь, — и теперь какая-то нормальная человеческая составная часть этой жизни, непобедимо и безобразно насильничая, вызывает у меня в воображении картинку, порождающую в душе... Вот как иголкой тронуть открытый зубной нерв.

Изменила — и не ушла к другому. Может быть, вполне может стать, если бы в моей жизни был опыт такого ухода от одного живого к другому, я сердечно поняла бы моих двоих женатиков. Но — сомневаюсь. Почему-то я уверена, я чувствую почему-то: тот, к кому ушла бы я по любви, полностью вытеснил бы в сердце того — от кого. Все тот же эффект концентрации, пред-почтения — упас бы как от псевдожalousности (если бы я его действительно жалела, если бы испытывала к нему такое живое и огромное чувство, как жалость, — никогда бы от него не ушла) к бывшему (пусть мертвые хоронят своих мертвецов), так и от желания видеть в новом любимом противоположность старому ненавидимому — от всего вообще, что о н и способны накрутить в своих мыслесердцах.

Упас бы. А если бы и нет... если бы я и позволила себе вспоминать с живою нежностью одного из своих бывших (чего и кого только не вспоминаешь внезапно с саднящей сердце нежностью — в самые неподходящие минуты), если бы даже кто-то еще постоянно жил в моем сердце (послед уходящего чувства, белая полоса в синем небе — след улетающего, но не до конца скрывшегося из вида самолета; так во мне долго жил мой Второй-оказавшийся Первым, это неправда, что первая любовь не забывается, в памяти сердца забывается все, но она долго живет, это правда, она долго живет, эта первая «настоящая любовь»), — то держала бы все при себе. Человек не властен до конца над памятью своего сердца — в этом едва ли не главная его слабость; но человек достаточно умен, чтобы держать некоторые полупризрачные вещи при себе хотя бы из страха потерять то полновесное, чем он дорожит с его дня, не рискуя отравить собственными призраками и привидениями жизнь и любовь лежащего рядом — и потерять его.

А удалить? Легко сказать. От таких женщин, о которых я говорю, и уйти-то хочешь именно потому, что любишь — и невыносимо страдаешь от ревности к их прошлому. Уйти можно, но семь потов сойдет, семь вод утечет, а ты все там же и тот же, с той же занозой в сердце.

Сколько ни пытался логически обезболить боль, она не ослабевает ни на йоту. На своем опыте (страшное дело — свой опыт) пришел я к знанию, что человек одною своею частью живет в мире логики, а другую — в мире, логику вовсе не отрицающем, но просто не имеющем к ней отношения. И еще — нельзя считать сумасшествие и душевную болезнь синонимами. Человек может быть разумным, не сумасшедшим — и в то же время сошедшим с души. Ясный ум и помраченное сердце.

Ни на йоту, да.

Кто-то из них неправ — или сердце, или ум. Но оба утверждают, что правы. И я верю обоим, не могу не верить, до того убедителен каждый из двух голосов. Оба правы. Может такое быть?

Почему нет. Если посмотреть на происходящее в двойном свете. Что это за вещь, которая представляется совершенно нормальной в свете рассудка — и совершенно, до отвращения ненормальной и безобразной — глазами чувства? Да и глазами чувства-то — представляется двойственной: безобразной и невыразимо гадкой, когда происходит у нее с другими, и прекрасной и чистой, когда происходит у нее же — с тобой. Что это за вещь, на которой свет стоит — а, споткнувшись об нее, кто только не падает?

А однако же, дорогой мой, нет способа лучше насолить им, чем, встретившись, в их сопровождении, в компании (все ведь вращаемся более или менее в одном кругу), на улице с одним из своих бывших, — нет, не броситься ему дружески на шею, но — всего-навсего не отвернуться,

посторонне поздоровавшись, а вступить в товарищески доброжелательную, по-человечески внимательную беседу... Это восхитительно, как они тогда сразу ретируются и прячут шеями — беда только, что восхитительно это лишь при начале, но несносно в продолжении, которому нет конца ниже краю: решительным (то есть таким, которые никогда ничего не в состоянии решить) выяснениям отношений до утра. Разумеется, с предсказуемым до тошноты итоговым требованием **дать**, чтобы доказать, кого я «на самом деле люблю». Ну, на. А так — больше ни с кем? Ни с кем. И с ним? Да. А ты в этом уверена? Уверена. А как я могу знать, что ты не врешь? А никак. Только под мое честное слово. А ты его даешь? Даю (что же делать, даю ... а может быть, и не вру, я ведь не помню, было так или не было, когда любишь, не придаешь значения способу выразить чувство адекватно, это они все помнят, коллекции-онеры). Теперь спи спокойно.

Между тем, встретиться они случайно со своей бывшей — не замедлят тебе потом отчитаться, что встретили ее и говорили с ней, и о чем; им ведь очень интересно, как она там поживает, ну, и они уверены беззаветно, что и тебе жутко интересно все: нейсвязанное в его давние годы, когда они там чушь прекрасную несли... Да, снова и снова, когда-нибудь я спрашивала, наконец, у кого-нибудь: а это у тебя с той или той тоже было? К чему этот мазохизм. Может быть, где-то в глубине души-тела я тоже хотела бы, чтобы все (или хоть что-то) было только со мной; но конечно же, у него было и это, и это тоже, жизнь до меня он прожил не малую, век жил-век учился, а с другой стороны, нового еще ничего не изобрели, ну разве что кто взвошел на вершины тантры, уж там я не знаю, что и творят (и все равно ведь, как и мы: что хотят — то и творят; не более). Все у него было, что у всех, и не в этом дело, а в том, чтобы **отныне и навсегда, пока мы вместе**, все, что желанно из возможного и возможно из желанного, было у него только со мной.

Я доподлинно знаю «про это», что оно гадко.

Знал с семи лет, когда не мог поверить, что все т а к и происходит, что взрослые занимаются э т и м, тычут это свое в это чужое... И поныне уверен — «устаи младенца»-таки глаголет истина, если нынешние борцы за безопасный секс все же считают нужным не говорить об этой хорошей и здоровой вещи маленьким детям пусть до 10 лет — а почему, спрошу я? если это красивая вещь, то почему нельзя-то? разве хорошее нужно скрывать от детей? что вообще тогда значит — «растлевать малолетних»? если это только хорошо, то ничем таким и младенца растлить нельзя, само понятие растления — вздорный исторический предрассудок, — но нет же, детям до... пока еще — ни-ни; выходит, даже просвещенные внуки сексуальной революции признают — это какая-то особая вещь, которая до стольких-то лет — растлевает, а со стольких-то — теряет свою гадость и становится

ся беспорочно-красивой, как роза на рассвете; ну, хорошо, красивой она становится, ну, а почему перестает быть гадкой? куда девается гадость? или еще... но хорошо уже и то, что борцы столь непоследовательны. Пока они не свели концы с концами, имею право задавать вопросы.

Знал позже, когда в период созревания натерпелся от отвращения к самому себе; знаю, как именно здесь мужчины получают (хотя бы в воображении) самое гадкое из человеческих удовольствий — удовольствие от унижения другого человека... знаю много еще такого... и потому всегда, при любой попытке возведения coitus'a на степень обычного дела, как еда или сон, или эстетизации его как мускулистого явления природы вроде прыжка пумы или Ниагарского водопада, — всегда, видя и слыша это, хмыкаю: «Ну, давайте, ребята, мало вы уже отстояли придуманных вещей как действительных, мало вам освобожденных сексуальных меньшинств и «демократических» людоедских сообществ, всего вам мало, скучно жить так просто — давайте и это нарисуем-будем жить согласно новым доктринам... а все же нет бы да посмотреть этот секспросвет на просвет».

Но знаю и обратное: *это* светло и невыразимо прекрасно.

Не так, как роза. Роза красива как *о н а*, на взгляд постороннего. А это безобразие (со стороны, как *о н о*), оставаясь собой=безобразным (куда оно из себя денется?), непонятным образом становится прекрасным. Одновременно. Когда это не *о н* и *о н а* занимаются любовью, а *т ы* и *т ы*, когда *вы* — любите.

Стало быть, *это* не вмещается в один ракурс-дискурс, и может быть описано разве что...

И теперь смотрите, вот что вынесла я из всего опыта любви к нему — в многообразных вариациях. Любовь эта невозможна даже не потому, что «цель творчества — самоотдача» при всем своем бескорыстии вполне человечна — и любит встречное движение самоотдачи; это так, но верно и то, что любовь милует и долготерпит, и я смогла бы, кажется, с грустью, но и с надеждой, век пролюбить человека, не умеющего отдавать, а только брать...

Но хотя бы это-то свое он умел. Весь ужас не в том, что они отдавать не умеют, а в том, что не лучше умеют — и брать.

Если согласиться с тем, что, живя вместе, мы питаемся друг другом, — все они слились в памяти в существо, которое не умеет правильно пользоваться ножом и вилок. «С чем изволите есть спаржу, мсье? — С благоговением!». Ответ человека, ценящего дары жизни. Между тем, ужели же я, моя любовь, меньший дар, чем какая-то спаржа? Я, целый мир, совершенно автономный, могущий полюбить кого угодно, а полюбивший именно его, — чтобы дать ему драгоценные вещи — понимание, сочувствие, ласку... Он мог же быть никому не нужен, это норма, сколько достойных людей мучаются под небесами от неприкаянности. Его

слушают, его гладят по голове, его поддерживают в перманентно трудной ситуации жизни. Верны. Ему. Да кто он такой? один из внешних мира сего, точка в поле зрения, выделенная мною.

Никакой благодарности. Не мне — жизни. Судьбе. Просто — никакой благо-дарности.

Через принцип дополнительности? Через сопряжение взаимоисключающих взглядов? Словом, я как-то смотрел какой-то эротический фильм. Всякий раз во время такого рода смотрин (редко, от случая к случаю) я ловил себя, ничего дурного по-прежнему не находя, на какой-то ерунде... каком-то пустяковом смущении.... каком-то глупом стыде... А тут вдруг соединил эти разорванные во времени ощущения в одно: почему? откуда смущение? *Это* же прекрасно? Да. Тогда почему же красота не может быть показана? Потому что кадр объективирует=отдаляет. Но отдалившись, близость перестает быть собой-близостью и становится безобразным «половым сношением». Попытки его эстетизировать состоят именно в том, чтобы, все обнажив (законы жанра), тут же все и сокрыть (законы красоты): снять в ракурсе, превратить сплетение тел в арабеску, наложив сверху еще стильную решетчатую тень от жалюзи и романтизовав музычкой. Эмманюэль-трень-брень-Эмманюэль. Близость прекрасна только для тех двоих, которые *внутри* близости, видят друг друга внутренними глазами (как слышим запах своего тела внутренним обонянием) в ее преображающем пламени; и только до тех пор, пока внутри. Встречаю женщину, с которой был близок десять лет назад; стоит вспомнить, что с ней проделывал, и только диву даюсь — что упоминательного я мог находить в том, чтобы голым вытворять с заголившейся посторонней неведомо что. Остается поблагодарить свою память за то, что она слаба. Поблагодарить свое восприятие за то, что оно бессильно. Увидеть себя в известные минуты *по-настоящему чужими глазами...* Гадость какая.

Внутри — так, снаружи иначе. Безусловно прекрасна, безусловно безобразна. Так устроена главная вещь в жизни. Зачем? Почему бы самому главному не быть только прекрасным? Не знаю.

Нет, если бы на меня наставили автомат и сказали: «Говори, что думаешь, как если бы знал наверняка, а то нажмем на спусковой крючок», — и если бы я по глазам увидел, что так и будет, — если бы выбора не было, я бы сказал: эта ощутимая двузначность, когда человек чувствует, что только при определенном условии — вспышке «любви» — ему *это* не просто *можно*, но *нравится*, и сам он себе нравится, по крайней мере съедобен, сам у себя хотя бы не вызывает даже легкого омерзения, когда делает это, — эта двузначность «пола» дана людям даже не для того, чтобы они соблюдали нравственный закон (вполне возможно, этот закон подвижен и относителен) и тем самым оставались людьми, не лелея в себе чисто животное начало (возможно, представление о Человеке в человеке не менее относительно, чем формы нравственного закона, и возможно, а ныне кажется чуть ли не акси-

омой, именно лелеяние в себе животного — ведь само-то животное не способно ничего лелеять — и есть один из отличительных признаков чисто человеческого), а просто затем, чтобы оберечь, упасти от ужаснейшего бедствия человеческой жизни: дурной бесконечности, скучнейшей повторяемости, одуряющего до тошноты порочного круга новых и новых однообразно и забвенно происходящих совокуплений постороннего с посторонней, ненужных со-единений чужих друг другу людей. Хотя бы уменьшить число этих сплетений, сетей, пут, в противном случае стремившихся бы к бесконечности. Бесконечности ненужного страдания. Мороки распутывания спутанного. Расхлебывания слишком большого котла заваренной тобою — и не от голода, а по привычке — же каши. Пусть хотя бы почувствуют вспышку, хотя бы подумают горячечно: «Я ее люблю» — и только так откроют ворота самой возможности *этого*. Такие моменты не часты... их не 365 в году....

Но это я скажу только под дулом автомата. А так — я бы вообще не хотел высказываться. Потому что чем больше думаю — тем больше не понимаю этой вещи. Знаю только, что она, эта двузначность, е с т ь, и в ней все дело. Толстой прав, говоря в «Крейцеровой сонате», что «естественные отношения» между людьми — на самом деле неестественны. Если интимные отношения между разнополыми людьми были бы столь же естественны, как между животными, они бы не значили столько в человеческой жизни. Животные не сходят с ума от ревности, не убивают себя и любимых из-за того, что их обманули или не ответили взаимностью.

Присближении благодарность еще присутствует. Пока не произошла диффузия, он еще способен чувствовать мою отдельность. Но по мере слияния-без взаимно-проникновения это чувство смывается. И именно в момент наиполнейшей моей самоотдачи чувство моей отдельности и свободы исчезает внутри пищевода его бесознательного. Он ест и ест, прямо руками, он ест этого все больше, он проглотит все и никогда не скажет: «Я сыт», — не выйдет из-за стола. А пока не выходят из-за стола, не говорят спасибо. Ты любишь — ты должна. Да, правда. Если люблю — значит должна. Но — снова — должна ли я любить? И любить — тебя?

И ведь ни один из них не возьмет того, что плохо лежит. Не возьмет того, что о. Он возьмет только того, что о. Истесняться не будет.

Опять скажете, дорогой друг: когда ждешь чего-то от него, это не любовь. Любовь — это когда сама любишь и не ждешь спасибо.

Все попытки превратить секс в нормальное дело, в «книгу о вкусной и здоровой пище», разбиваются о то, что в наши продвинутые дни обнажаются так, как только могут, предписывают активный секс как лечебную гимнастику, интервьюируют всевозможных знаменитостей (среди них тоже, как ни странно, оказываются вполне приличные люди) на предмет их сексуальной

жизни (и заморочили им голову уже до того, что приличные люди почитают нормальным делом рассуждать о том, что такое настоящий оргазм, а что — его имитация), — а все никуда не могут уйти от *э т о г о*, обнажают именно *э т о*, а не мизинец, обсуждают *э т о*, изо всех сил форсированно не придают значения именно *э т о м у*, то есть ему-то только и придают значение, бессознательно понимая его от века врожденную чрезвычайность, на которой можно играть сколько хочешь — по-прежнему пользоваться спросом.

Все будут пытаться в сотый раз «открыть глаза» на очевидную «естественность» отношений полов и в сотый раз разбивать лбы и сердца об их очевидную «неестественность».

Толстой прав. Пока не говорит, какого рода эта не-естественность. Для него очевидно: самого противо-естественного рода. Блуд и мерзость — и только. А я думаю, *это* не естественно, но и не противоестественно. Был бы верующим, сказал бы: есть вещи естественные, есть противоестественные, а есть — сверхъестественные. И тут как раз противоестественное (нижеестественное) борется со сверхъестественным (вышеестественным). Но происходит эта борьба — на уровне естества, то и другое проявляет себя через естественные «носители».

В акте близости=самоотдачи любимая приносит мне не только свое высокое светлое, но и срамное, стыдное. А точнее, она приносит мне одно в другом, одно только через другое. То, что противоестественно и потому так постыдно и некрасиво, это-то самое как раз и даруется мне в дар как нормальное — со мной можно то, чего вообще нельзя, ни с кем нельзя, а со мной можно; и то, что это стыдно, пока не стирается от повторения, то тем и хорошо, тем и сладко, что стыдно. Этот стыд-по-зор и приносится мне в дар эксклюзивного срама.

Но эксклюзивность по определению не может повторяться! Если этот стыд-позор дарится нескольким, он лишается всей своей исключительности, которая только и наделяет его высотой и красотой, и остается только собой — только стыдом и срамом.

Как пережить эту боль?

Мне известны из наблюдения над другими и собой — три возможности.

Я и не жду спасибо. Но надо же сообразовываться и со своей органикой. Я так любить не могу. Может быть, раньше, пока совокупный он еще не выпил из меня... У меня больше нет на это сил. Я слаба. И надо строить хотя бы по возможности правильную жизнь, исходя из своей слабости, не беря на себя слишком много, чтобы не надорваться.

Больше не стану надеяться на приход «настоящей любви», ждать, что она, наконец, придет и тогда построишь на ней жизнь. Это строительство на песке, на береговом песке набегających и отливающих волн «настоящего чувства».

Я осведомлена, что мой удел — самой любить, а не ждать, что он полюбит. И согласна: именно так только и должно быть. Но, посылно идучи по этому пути, сталкиваюсь с тем, что в действительности дело любви никогда не делается так, а делается всегда прямо обратное.

Если я одна возлюблю, все одна да одна — в деле общей любви это не приведет ни к чему иному, как только: о н съест мою душу поедом, а, увидев, что пищи не осталось, органично слиняет, уйдет за угол, сменит пастбище.

Любовь, которая не перестает, держится на плечах двоих любящих, любовь каждого из которых может перестать — и тогда, рано или поздно, но в конце концов обязательно перестанет и любовь другого. В меру своих сил я делаю, что должна, и не жду справедливости, я бы даже не хотела ее здесь, но она есть, и она в том, что игра в одни ворота заведомо обречена на поражение, а любовь одного без ответной любви другого — на медленное умирание.

Горький мой опыт. Грустная судьба. Мойры мои, мойры, почему шьете всегда — умирание — и всегда на живую нитку?

Первая возможность — путь, по которому идет большинство мужчин: сказать себе: этого нет, это только б ы л о . Это было д о т е б я , значит как если бы не было.

Прекрасно, если родился так чувствующим. Но не всем же везет. Как быть человеку с воображением? Как быть тому, для кого б ы л о и е с т ь — вещи одного порядка: либо все, что б ы л о , тем самым и е с т ь , либо все, что «есть», превращаясь в «было» (а это ждет всякое «есть» уже через мгновение), перестает тем самым — быть, и тогда ничто вообще не наделено реальностью?

Нет такому человеку спасения в мысли: «Было и прошло»! Для него ничто, раз *происшедши*, не проходит. Все, что случилось, в том или ином виде е с т ь . Беда не в том, что время утрачивается. Если бы! я бы его и искать не стал. Беда как раз в обратном. *Есть* прошлое или только *было* — вопрос, но в форме настоящего оно всегда тут как тут. Ее «бывшие» присутствуют в ней сегодня — своим неизбежным влиянием, «уроками любви», уроками чего угодно! она помнит, она несет в себе вкусы, мнения, психофизиологические особенности каждого, ведь с каждым происходила диффузия, все *они* растворены в ней — и в большой мере определили всю ее сегодняшнюю формулу — и все ее способы любить тебя! Все ее интимные ноу-хау открыты и развиты были ею с *ними* — *они* в ней, они и сейчас в ней... Как же тогда?

А так: если некуда бежать от беды — отворить для нее ворота. Принять свою любимую в м е с т е со всеми ее любовями — как с настоящим прошлым. Нечего и пытаться отодвинуть от себя то, что не отодвигается. Надо длительным, не одномоментным, усилием души раздвинуть самое себя — и

вместить вместе с нею в сердце их всех, представимо-непредставимых. Со всеми *их представлениями* о ней... И так с трудом держать свою раздвинутую душу, не позволяя ей сузиться, как привыкла.

Со всем ее стыдом-срамом-унижением перед другими, ее доступностью для других, ее... не могу дальше. Вы же понимаете, дорогой друг, что это значит в полном объеме — в с е , все представить. Глядя на н е е всеми глазами всех *их*.

А ты, вполне отдавая себе отчет, что твоя пассия — женщина как женщина, млекопитающее, ты в то же время неистребимо «трансцендируешь» (хочется своего слова о главном, да что-то у нас своих слов не на все напасешься) ее, воспринимаешь в каком-то ином, отчасти... да, именно, *отчасти-небесном* плане. Можно верить в Бога или не верить — во что-то высшее, что-то небесное веришь всегда. Тут — какая-то параллель, это как-то связано — может быть, по смежности: женщина — *иного* пола и божество *иного* измерения, иного плана. Эта *иность* — в равной степени отличает обоих в твоём восприятии, слегка отождествляя их, оттого-то, может быть, в женщине всегда просвечивает божество. Эта-то поэзия неземного в любви к земному существу (силуэт е е в глазах твоей памяти двоится по контуру, земное словно бы окружено протуберанцами некоего светила) и летит в тартарары — божество, залапанное многими руками, не может оставаться божеством.

В посудомойры отдать вас после этого, вот что, мойры мои.

Наученная горьким опытом, правильно я поступаю, если больше не стану ждать «большого и сильного чувства» ни со своей, ни с его стороны.

Не надо иллюзий. Надо найти... не так. Искать никогда никого и ничего не надо, вообще ничего не «надо», это глупость, а вот если (е с л и ; это уж как доведется), не ожидая ровно ничего, идя своим пожизненным коридорчиком, набредешь, невзначай встретишь (если...) такого человека... Такого человека... просто вызовет у тебя нежную симпатию, а ты — у него (если...). Просто подождать, просто жить. И если глаза, уголки губсами откликаются при его появлении. И если у него все только то же самое... И все ровно идет по накату, но все только нежность, ровно растущая нежность, никакой страсти, никакой романтики, ничего с-большой-буквы... И из него не высовывается другой, мистер Хайд, господин Мужчина, пан Чоловік, по мере того как (может быть, просто боится, чувствуя, что я могу отдавать, а могу и нет, ведь когда я свободна от страсти, эта свобода от-любви-в-любви всегда чувствуется, вот и страх стронуть хрупкие вещи с их мест)...

И если увидишь, неожиданно, но чаянно, что отдавать — из его исходного импульса (возникающего всегда, при начале любой влюбленности, но затем гаснущего, оставляя лишь воспоминание о том, как вначале все было хорошо и легко, потому что вначале все бывает правильно,

так, как и должно быть) становится его привычкой в отношении тебя (ведь на самом деле, я же понимаю, на самом деле они тоже хотят отдавать себя, это входит в формулу человека, наверное, на клеточном уровне, а они все люди, просто у них привычно, инертно другая ориентация, установка: душу отдавать делу или друзьям, а брать у нас и аккумулировать), тогда можно (осторожно, плавно, не совершая неосмотрительно резких движений — каждое может стать необратимым) попробовать построить с ним — семью.

Вот это нестерпимое поругание поэзии, неотделимой от твоей влюбленности, окрашивающей ее всю, — вот эту-то рваную рану — и принять, каким бы диким мясом она ни зарастала. Принять свою любимую как лишенное всякой поэзии естество, весьма прозаическое тело, знакомое не тебе одному; не слишком высокую душу, податливую на обольщения отнюдь не тебе одного; со всеми ее шепотами и вскриками, предназначенными отнюдь не только тебе... принять ее, податливо-телесную, слабо-человечную, ничуть не более благообразную, чем ты сам, — и, отказавшись от двойного зрения, от трансцендирования любимой, принять ее... как себя.

Эти плевочки — жемчужиной.

Мне несказанно, внезапно, незаслуженно повезло. Встретить такого человека. Три года живу с ним... душа в душу? вопрос. Скорее частью души в часть души. Но четвертый (!) год живу с человеком другого пола, с другим человеком — в мире и согласии. В мире и согласии — подумать только; стерпится-слюбится — и слюбилось; только подумать. Счастлива уже этим.

С ним и с его сыном от второго брака. Сыну: не его сыну, а просто — сыну. Не могу скрыть от себя, что люблю его тою любовью, которой любят ребенка, — больше, чем его отца тою любовью, которой любят мужа.

У меня нет своих. Нет, если все говорить, есть. Там. Если там есть, и они там, их двое. Имена их — Выкидыш и Аборт. Апорт. Рекс. В Америке это человеческие имена, почему нет? что мешает имени «царь» быть человеческим? Так и Аборт: человек, стоит ему просто открыть рот, только тем и занимается, что убивает сам и претерпевает убийство себя. О Выкидыше уж не говорю, ничего более жалкого, человеческого, и не вообразить. Те, кто верит, что там ч т о - т о е с т ь (и им-то и дано знать — что именно! но что, если самонадеянность их вдруг да и оправ...), говорят — умершие младенцы автоматом пополняют число ангелов. Хотела бы верить. Одного я узнаю — и обрадуюсь. За второго отвечаю, только узнаю — а уже не обрадуюсь ни ему, ни себе; или все же — и я успею, и он — мне? а потом уж отвечу... но какое может быть т а м «потом»? а как же может быть там такое с р а з у?..).

Но тут у меня своих нет. Это боль моя и облегчение — здесь кажется, что лучше отвечать там (знаю-знаю, но испугаться еще успею — на всю вечность или на большую ее часть; а что это значит — часть вечности? что-нибудь вообще это значит?), чем в наше время... только и думать каждый Божий день, глядя, как он вырастает, каждый вечер думать, что с ним, почему он не пришел домой... ах, достаточно того, что это будет мальчик и ему придется пойти в армию даже не на смерть, того горше — на унижение и слом (если он будет чувствителен; а альтернатива? — бесчувствен? то есть дебил?!). А девочка? Боже ты мой, это еще хуже, сколько всего о н и над ней вытворят...

Плевочки — жемчужиной. Может быть, это и значит принять другого не как свою лучшую половину... Не как образ, икону того, каким должен быть человек.

Все вертится вокруг сказанного: то, что внутри так, снаружи — иначе.

Хорошо, когда и внутри, и с виду женщина — женщина как женщина. От нее ничего и не ждешь, кроме тепла и нежности, а это она тебе даст, именно такая мышка, с накопившейся в теле-душе любовью, она-то и даст (а чего еще тебе на самом деле хотеть? что же большего может дать человек человеку?), — и никакие ключи не возмутятся в твоей душе, сколько ни воображай ее с кем-то. Почему нет? Но нужно несовпадение между внешностью женщины, на лице и в осанке которой так и видится «высшая духовная жизнь», и ее действительным, вполне земнородным поведением (с кем-то, кого ты себе рисуешь по ее поведению с тобой, подставляя, полагая с ней рядом вместо себя) — вот от этого-то перепада в тебе все екнет, вот тогда твое выпученное сердце начнет разрывать грудную клетку. Есть лица, подобные пышным порталам. Плохо, но не беда. Но есть еще более чудные, есть сокровенно значительные лица. И то, что они есть, беда для таких, как я.

Этому лицу не подобает быть искажену половой истомой! Это прямоходящее существо не просто не имеет права быть всхлипывающим животным — по его самоутверждающей воле. Не должно, не может. Разница между нею и нею — провальна.

Между тем для нее все иначе. Как и я, она видит себя — из себя, оттуда, где все ее побуждения для нее органичны, откуда они — вовсе не красивы или уродливы, высоки или низменны, но только — ощутимы, сильны (тогда она им поддается) или слабы (тогда она не следует им). Это слитие с ней побуждения е е природы, это о н а с а м а и есть — и только. Она для себя совершенно целостна — что бы ни делала, в чем бы ни была одета (раздета), что бы ни выражало ее лицо, в каком бы положении ни находилось ее тело.

В моей картине мира она — одна из его предметных, компактных точек (я же незрим, но безусловен, бесконечен и всеобъемлющ; сколько бы я ни понимал умом свою относительность, ощущаю я себя из себя — абсолю-

том). О ее внутреннем я могу лишь догадываться по ее внешнему. В ее картине мира конечен — я, весь я со всем своим компактно вписан в свой силуэт; она же — бесконечна и абсолютна. В отношении к себе для нее, как и для каждого, не существует проблемы тождества внешнего и внутреннего. Она для себя вся — внутренняя, внешнего попросту нет, сколько бы она ни пеклась о своей внешности, но и ее она видит изнутри, даже в зеркале себя видит внутренними глазами, какой себе скорее мнится, представляется с давних пор; она умозрительно смотрится в зеркало, удовлетворенно видя в нем то, что ожидает увидеть, или недовольная тем, что лицо в зеркале после плохой ночи отклоняется от ожидаемого.

Но я же знаю, чувствует она или нет, что это тождество — должно быть! Ее внешний вид — это явленный (вы-явленный вовне) образ ее самой. По смыслу человек должен быть подобен зданию эпохи Ренессанса, где все внутреннее устройство правдиво выявлено на фасаде, а не зданию эпохи рококо, где экстерьер здания скрывает прихотливость интерьера.

Образ ее самой. А кто она сама?

А сама она, в свою очередь, — образ меня.

Всякий другой для меня есть образ. Того, каким должен быть человек — и каким он не должен быть.

Я только не хочу понимать, что послание послано по адресу. Мне.

Я потому так полюбила этого мальчика, что любовь моя не отягощалась, не несла отпечаток никаких упреждающих страхов. Меня, как в воду, бросили в любовь к тому, кто уже был; прежде чем успела испугаться, уже поплыла. Мальчик до сих пор сопротивляется мысли, что я его мать: он не хочет предавать ту, что его родила (я его понимаю — но не ее; странная женщина, отдавшая ребенка отцу, она не то чтобы живет для себя, эгоистически, она просто, по ее словам, никак «не сфокусируется»... рассеянный склероз воли? по-своему она его любит... но уж очень по-своему... ладно). Если подумать, сама жизнь дала мне недостающее в ситуации материнской любви — свободу от изначального и хронического страха недодать, не защитить, страха, портящего любовь почти всякой матери, — и свободу от чувства, что это мой ребенок, что я имею право ждать и требовать от него отдачи любви, что он должен быть не хуже моих представлений о нем. Я от него н и ч е г о н е х о ч у. Даже чтобы он любил меня. Ну, немножко... хочется-перехочется.

Ведь Вы сами знаете, Вы же знаете лучше меня, какую роль выполняет для нас тот из других, которого мы хотя бы в эту минуту называем «любимый». Он для меня — зримый образ *меня самого, каким я должен быть*. Но каким, во-первых, не являюсь (хотя потому-то и тянусь, что это желанно м н е , неотделимо от меня, это должно быть моим, это должен быть я), а во-вторых, каким не вижу себя обычно. Не посмотревшись в другого.

Но понимаю я это ровно настолько, насколько мне это нужно=желанно=удобно. Когда я вижу, в частности, красивую женщину, я хочу сблизиться с ней, чтобы присвоить ее себе — в качестве с в о е й лучшей половины.

Кому охота читать это послание в полном объеме. Себя как в зеркале видеть, да так, чтобы оно не льстило.

Я и мужа люблю — если живу с ним в мире и согласии. Согласие — это согласованность, на той зиждится музыка сфер, а та движет солнце и светила, и имя ей — какое другое, когда не любовь?

Мне нравится в нем, чего никогда не любила даже в любимых: как он ест. Никогда не понимала, почему культурного человека должно отличать, наряду с пониманием литературы и музыки, знание толка в еде. Питие, в том, какие сорта сыра подают к тому-то и тому-то вину, как оны национальные традиции набивания утробы. В чем величие и красота традиции быть животнее животного — животным со вкусом к животности, скотом с тонким пониманием скотства? В таком случае пора уравнять в правах искусство приготовления борща и «Искусство фуги» — если этого еще не сделано, то, видимо, только по человеческому нежеланию доводить что-либо до логического конца.

Мне нравятся, как едят животные и дети, серьезность отношения к жизни, для них тождественной пище. Но жизнь взрослого человека в слишком уж зримой вовлеченности в чистую динамику процесса еды и переваривания — зримо же теряет какое бы то ни было смысловое наполнение.

Когда же мне чается женщина, не обнажившая свой «срам» ни перед кем, кроме меня, я опять-таки хочу без усилий, со всеми удобствами получить уважение к себе за счет своей лучшей половины. Что, по существу, мечтается мне? Что мы соединились с ней — и я как одна часть целого буду творить что хочу, а она как другая часть целого должна являть м о е ч е л о в е ч е с к о е д о с т о и н с т в о. Ее нетронутость и есть икона моего неизменно высокого достоинства.

А что значит, по существу, это возложение на нее высокой роли? Конечно же, удобное для меня освобождение, сложение этой роли с себя.

Но он ест как-то незаметно. Несказать, что мало, съедает все, что ему положишь, но как-то плавно убирая с тарелки. Этот процесс стерт, не воспринимается ни им, ни мной, и я получаю от этой непроявленности, скромности принятия пищи больше удовольствия, чем хорошая хозяйка — от похвал ее кулинарному искусству.

Никогда не замечала (хотя должно же было это быть), чтобы после еды он ковырял в зубах. Подхрапывает он как-то ровно и естественно, не мешая спать. Живет в полноте телесной жизни, но она как-то не

форсирована. Словно бы вынесена за скобки. Странно и непривычно (приятно непривычно) для меня также отсутствие притязаний на мое время, вкусы, на мое желание нравиться себе и уважать себя.

Да, именно: мне нравится в нем то, чего он не делает. Не кто он есть, а кто он — не есть.

И впервые за многие годы не боюсь лечь спать. Лечь в кровать. Прекратить инерцию бодрствования, лишь бы отодвинуть еще одну долгую ночь. Кто бы он ни был, от него исходит что-то, от чего я, наконец, спокойно засыпаю.

А еще нравится мне, как он иногда глядит в монитор. Сидит полчаса, не трогая клавиатуру, смотрит, как в огонь камина. Просто смотрит. Я почти не встречала людей, могущих долго просто смотреть.

Да, в нашем союзе есть любовь. Есть облегченная любовь, как есть облегченные сигареты, есть love lights, и она стоит на том, что облегчает себе задачу, ставя ее так: согласовать только часть души одного человека с союзной ей частью души другого. Два верхних слоя. Решение такой задачи большинству людей, по крайней мере, охлажденных, приуспокоенных жизнью людей — по плечу.

Отказаться! отказаться от комфорта. Отказаться в ней — от иконы тебя, если тебе не по силам соответствовать, — и раз уж не смотришь на свое безобразие со стороны, то и совсем не смотреть со стороны на нее, а только изнутри, из-нее (ведь себя всегда чувствуешь изнутри наружу, а другую, инополую, снаружи вовнутрь — и хорошо, если хоть немного вовнутрь, хорошо, если не застреваешь на линии взгляда).

Раздвинь себе душу. Просто и ясно.

Просто выпей море. Кто вместит? Говорю из опыта — пытался. Каждый раз не выдерживал и соскакивал.

Муж мой уберегает нас обоих от лишних обнажений, скорее всего, по той же причине, что и я: из усталости любить и желания любить сразу. Это двойное чувство выдает себя перед собой же за уважение и бережность. А то и впрямь является бережностью. Бережливостью. В поздней любви хочешь знать о другом (и обнажить свое) тем меньше, чем меньше жаждешь подлинного слияния с ним (вообще ужас кем бы то ни было) — но и чем больше дорожишь им и не хочешь его потерять.

За жизнь человека «много мнут», он становится «мягок» в верхнем слое; остальное же сваливается на дно его души, частью догоревшее, частью живое, но изувеченное, изостренное, сдавленное — чающее то ли распрямиться, то ли домереть, чтобы перестать болеть. Эти две сложносоставные: мертвое, покойно обугленное — и больно живое, остро-нервное, полукричащее (и всегда готовое вырваться, чтобы сорваться в полный крик) — у каждого свои, к тому же состоят из стольких индивидуальных компонентов в своих, индивидуальных пропорциях, что двум

таким душам, каждая со своей неразгребенной плюшкинской кучей мертвого и живого — вместе им несовпасть. А значит — разойтись, стоит им сойтись.

В конце концов доживаешь до спокойного принятия третьего пути. Тебе приятна эта женщина, ты ей — и из вашего романа может выйти серьезный толк. Нужно только, чтобы *она* именно нравилась, вызывала внутреннее согласие быть допущенной близко к сердцу, пусть и внутрь сердца, но на его периферию, не ужалила в самое сердце. Я убедился, что все хорошее, что есть в любви, — без жала влюбленности сохраняется годами, а плохого — не возникает.

Нет влюбленности, полыхающей в сердце, — нет и ревности. Нет подложной трансценденции.

Зато в поверхностном слое души все не слишком молодые люди более-менее совпадают в общем тоне «мягкости». Там, где всех мяли. Здесь можно найти общий язык — и удержать его, не потеряв из-за размашистости, прекрасной ярости юности. Оставаясь здесь, мой дорогой, можно жить и жить — даже с другим. Кто сказал, что ад — это другой? Это так только если взять другого во всю глубину составляющей его ямы. Но к чему этот максимализм? Требуется лишь совпасть в поверхностной тональности (между прочим, поверхностная тональность — понятие относительное, она может быть совсем не такой поверхностной, землянка может быть и в один, и в три наката), — а вероятность этого, повторяю, не столь уж мала. Люди не только живучи, среди них попадают уживчивые.

Тут и образуется белое пятно.

Живешь человеком, рада ему, бережешь его. Есть о ком заботиться. Есть кому руку пожать в что-то уж очень затянувшуюся минуту душевной невзгоды. Просто есть, наконец, с кем отвести душу, сидя вечером у глупого (да что же нужнее глупости? и еще был бы человек сам глуп, так ничего и не надо, ну, а когда он умен — как не хватает ему всебесамом теплого комочка, хомячка животной, живой глупости!) телевизора. Твоя душа отведена в мирное русло разговоров о ком-то или чем-то постороннем. Разгрузочное русло виртуальных тем: уход поп-дивы от поп-дивы, гипотетическая гомосексуальность режиссера М. и актера М., русская идея.

В том-то и дело. Раз уж мы так неистребимо стремимся в иное и запердельное, в дальнюю волюсть и заоблачный плес, — видимо, это заоблачное и впрямь существует. Но тогда и надо называть его собственным именем. Я не знаю его, но это уж точно не то подменное имя, которое нам все время подсовывает обманщица-влюбленность. Не женщина, не вечная женственность. Это вообще не человеческое по происхождению; значит, не имеет

отношения к тому, с чем мы его все время путаем (но как еще имеет — как и путали бы мы кислое с пресным столетиями веков, когда бы кислое не вскисло из пресного! как понять это?..).

Парадокс: стоит убрать элемент «любви» из любовных отношений — все, воспринимаемое как невыразимо прекрасное (если с тобой) и невыразимо безобразное и отвратительное (с другим), становится просто нормальным: нежным, хорошим, простым. Таким, как хотели бы все бесчисленные поборники здорового секса с человеческим лицом. Просвещенного сексуального абсолютизма.

Пока нет «тепла и ночлега», — кажется, ничего нет важнее. Но вот ты ночуешь в тепле — и что же? Понимаешь с каждым днем сильней — это лишь нулевой цикл, есть еще нечто сверх, и этот остаток — огромен. Ты ищешь поместить все свое томление, сила которого распирает, и тяготит, и тяготет...куда?

Союз не по влюбленности, но и не по расчету, а союз по взаимной приязни охлажденных жизнью людей.

Если повезет встретиться. Мне повезло; думаю, если все-таки есть высшая сила, она вознаградила меня за то, что я отдал, наконец, себе маломальски честный отчет в своих действительных желаниях и возможностях.

Четвертый год живу с ней в мире и согласии. Мне симпатичны матовый, зашторенный тембр ее негромкого голоса и манера улыбаться одними глазами. Мне нравится, что она нравится моим приятелям. Ходят к нам и те, кто дружил с ней еще до ее знакомства со мной; среди них есть и мужчины, и я догадываюсь, что некоторые из них не всегда были с ней в чисто дружеских отношениях. Станным образом впервые в жизни мне это почти все равно. Не опаленный адским пламенем влюбленности, ясно смотрю я на жену, мою половину, такую же, что и я сам, — и принимаю со всем приданным ее опыта.

И — она заменила мать моему ребенку. У меня сложный ребенок. В том, что он сложен (мягко говоря) — как и в том, что мать его не стала ему настоящей матерью, виноват я один. Мать его не стала мне мстить, как остальные, не сумела или не захотела, — и отомстила, как никто из них. Сломалась сама, сломав затем и сына — себя ломаешь сразу, в один прием, а близких — уже хроникой слома; и тут, сама того не ведая, подросла моя нынешняя. Я благодарен ей.

Я теперь охотнее просыпаюсь. Давно уже ложился я с мыслью — хорошо бы заснуть и во сне заблудиться так, чтобы завтра — или нового дня не найти, или себя в нем на том же месте. Теперь картина нового дня, начинаясь с дышащей рядом, кажется переносимее. Иногда мне даже нравится просыпаться. Правда.

Куда поместить это небесное тяготение, неместимое никаким «нравится», никаким сдает быть собой», никаким «верным углом ровного тепла»? Куда? И тут появляется белое облако, расширяющаяся точка, куда можно поместить неместимое: бесконечность...

Только вот... только вот, может быть, по самому этому отсутствию ненависти (при ясном представлении, что именно вот этот или тот ее друг когда-то с ней делал) я понимаю, я знаю: хотя я веду себя с ней лучше, чем если бы я любил ее именно так, как она хотела бы, чтобы с ней вел себя любящий, — но я не совсем люблю ее. Или хуже: люблю совсем не ее.

Ведь когда кого-то всего лишь мало любишь, это еще не беда. Это может значить просто, что ты вообще никого не умеешь любить. Зато по отношению к ней ты, по крайней мере, ведешь себя как любящий й. А вот когда ты кого-то уже любишь вместо нее...

Но кого? Я не изменяю ей ни с кем из присутствующих. А отсутствующие — отсутствуют. Их — нет, скажете Вы.

Ну да; а Вы,

... поместить неместимое: бесконечность... Тут появляется Вы, дорогой друг.

Все вертится вокруг белой точки. Точка есть самое странное: то, чего нет в природе — и тем не менее есть, если без нее не в силах обойтись наше сознание. И в ней помещается тот, кого, как и ее, несомненно нет, — и он же тот, кто, как и точка, непременно — е с т ь.

Да, внутри нее никого не должно быть. Потому что, если там кто-то есть — это просто дальний, который всегда нам мерещится, когда нас не устраивает ближний (а когда нас устраивал ближний?). Дальний мне известен. Я знаю, кого окликаю по имени, представляю застенчиво-милую улыбку, коснувшийся меня взгляд искоса. Но есть — смутно, смыто. Бывший, бывшая, роман с кем не исчерпал себя (есть остаток того, что возгорается)... Образ дальнего совершенно прозрачен. Чтобы вместить все твоё неутоленное — полную поглощенность тобой, полное понимание тебя, полное одобрение тебя со всеми потрохами...

Этот дальний-всегда-такой-какого-нам-не-хватает — и не имеющий ничего-сверх-того-чего-нам-не-хватает, этот не сам по себе ч е л о в е к ... Без меня его нет, никогда и нигде, ни в одной точке мира.

В белой же точке нет никого. И не должно быть.

Свято место да пребудет пусто.

Но некто Никто в этой точке быть — должен.

С кем, когда не с ним, говорю одинокими (это неважно, что вдвоем) ночами? кому говорю ими: «Люблю тебя»? Кто отвечает мне слышно-неслышно-слышно: «Люблю; понимаю; прощаю, хотя ты не нуждаешься в прощении; принимаю как есть и люблю-люблю-люблю»?

Ни к кому. В удобную пустоту. Никто. Сам с собой. Сам себе. Чеширский кот — улыбке чеширского кота чеширскому коту.

Так. Соглашаюсь. Скажи мне это, спроси кто другой — так и скажу в ответ: сам себе никто

Да ну а почему же да только я почему-то да
?

почему тогда ну а

кто-то же незримо гладит по голове когда если иногда редко-редко когда мне совсем уже до зарезу когда и впрямь не приголубь меня кто-то-любимый-на-всю-высь-во-всю-глубь впрямь впору сойти с ума перерезать вены по очереди аккуратно одной на другой в теплой ванне соединить свою теплую легкую кровь с теплой водой полной тяжелыми металлами почему тогда-то и чувствую вдруг нежное прикосновение чьей-то ладони к голове легчайшее не существующее оберегающее прикосновение от которого по корням волос идет безжитлетит холодок радости волосы становятся легки пушатся словно слегка поднимаются
неконвертируемый опыт

все равно

кто-то же кроме кто-то же кроме меня? смотрит на меня из зеркала потому что когда я нравлюсь себе я знаю точно не то л ь к о себе а кто-другой моим взглядом смотрит на меня что это он это ты через меня доволен мной одобряешь меня говоришь мне что я хорош хороша есть кто? кто любящий выполняет исподволь медленно но верно через десять лет но те одно-два те главные мои желания? почему когда совсем уже нет мочи переносить но только когда совсем когда совсем когда совсем! тогда

поЯВЛЯЕТСЯ

Субъективное. Ни о чем не говорит, кроме: ты так хочешь видеть. Разумеется. Но ведь уже то, что я так вижу, так чувствую, — хоть о чем-то же говорит. Я знаю, когда я говорю в пустоту или, наоборот, когда как от стенки горох. И если я чувствую, дорогой, что Вас нет, но там, где Вас нет и ничего и никого нет,— оттуда-то Вы со мной и говорите и смотрите на меня и затрагиваетесь до меня, и... мы с Вами знаем, что именно потому, что Вас нет, именно поэтому-то Вы и есть,— если я это чувствую... а они пусть себе говорят, что хотят. Ведь они правы.

И они правы.

Да, Вы есть ровно настолько, насколько Вас нет. Постольку, поскольку Вас нет. Вы есть именно там, где Вас нет. И потому-то отвечаете мне только так, как Ваш ответ может быть дан и услышан.

Неотвечанием.

И в неотвечании

Слышу я:

свято место пусто не бывает.

Письмо второе

Уважаемый господин К.

Прочитала присланное Вами письмо. Вы просили сказать, что я о нем думаю. Скажу.

Первое. Перед нами некий текст, где временами говорится от лица мужчины, временами же — от лица женщины. И мужчина, и женщина пишут неизвестному нам «другу».

Вопрос: один ли и тот же это «друг», или два разных? один ли у обоих адресат, или у них разные адресаты при сходстве обращения?

Позволю себе предположить, что адресат — один и тот же. Это доказывается хотя бы тем, что несколько начальных страниц (и несколько конечных) вообще могут быть приняты за написанные одним человеком, пока текст не начинает «говорить на голоса». Эти два голоса принадлежат, очевидно, мужу и жене.

Содержание письма — нечто вроде развернутой исповеди, временами переходящей в рефлексия более общего характера, — но, несомненно, все время отталкивающейся от личного опыта. Здесь возникает второй вопрос.

Исповедуются оба голоса, разумеется, порознь. Между тем обе исповеди сведены воедино. Перед нами два разных письма, из которых кем-то составлено третье (пользуясь обращением к единому адресату).

Кто мог задать им подобную задачу (а затем составить сводный текст) — и с какой целью? Для чего, если нет особой нужды, идти на риск ознакомить друг друга со своим прошлым во всех подробностях, рассказать ему о жизни, прожитой с другими? Совершенно излишне будоражить своего сегодняшнего партнера подобными рассказами. В этой области мало кто хочет быть одним из многих, так что занятие это чревато возможными серьезными осложнениями в совместной жизни.

Я вижу только одну необходимость так поступить — необходимость самоизлечения или самоубеждения. Проследив по взаимному согласию свой жизненный путь, неслучайно приведший каждого из них к другому, свести текст воедино для пушей наглядности вывода.

Конечно, это мог предложить им сделать и лечащий психотерапевт, общий у обоих, — но зачем бы ему сводить текст, придавая всему вид совместно выработанного и завершенного итогового документа? Нет, скорее всего, это они сами решили быть себе таким врачом, решили, что вылечить их может только этот опыт аналитической исповеди, где рефлексия и крик души соединились бы в единый дискурсивный поток — и привели бы к общему знаменателю.

В любом случае, если не мужество искренности их (не всегда свободной от форсированности на грани эксгибиционизма), то нелегкость усилия взглянуть в себя и назвать по имени, что видишь, — вызывает уважение.

Но... но.

Главная мысль письма: любовь как чувство влюбленности, любовного влечения есть безусловная фикция, самообман. Поэтому союз без

всцелого любовного чувства, подобный их союзу, есть единственная не ложная возможность действительного супружества.

Позволю себе усомниться. Во-первых, этот вывод основан на чисто личном опыте. Экстраполяция его представляется неоправданной.

Я, например, знаю счастливые семьи. Их не много, но они есть, — и это опровергает все построение о фундаментально фиктивном характере любви между мужчиной и женщиной.

Но и применительно к данному случаю — само наличие этого письма, как уже сказано, вызывает сомнения, нашла ли наша пара всамделишное решение своих проблем.

В самом деле, каков общий знаменатель рассуждений и мужчины, и женщины? Он очевиден — и в качестве отправной точки, и в качестве точки конечной. Это адресат, позволяющий свести послание воедино: «дорогой друг».

Мужчина приходит к необходимости «друга», любви к нему — из опыта тщетности самого любовного влечения, всегдашней исчерпываемости его, поскольку оно иллюзорно рождается «само из себя». То есть истоки разочарования «мужчины» — в неподлинности, обманности своего собственного чувства любви (хотя он и упоминает в качестве одной из причин умирания любви «неправильное отношение» к нему разных женщин, а в качестве эффективного средства ее продления — «любовь» к женщине, чьей взаимности добиться трудно, любовь к которой «встречает на своем пути затруднения», но ясно, что и то, и другое опять-таки лишь катализирует (или прекращает) его имманентное влечение или страсть).

Женщина приходит к тому же («друг» как точка приложения губинного, беспредельного стремления духа, истинной любви) из личного же опыта, но прямо противоположного опыту мужчины, — из опыта тщетности любви по внешней, не из нее самой исходящей причине: по вине всех без исключения ее возлюбленных, об эгоизм и потребительство которых разбиваются все ее способности к любви подлинной, отдающей, но обреченной засохнуть без какой-либо «подпитки» встречной любви.

То и другое — в сущности, самый распространенный вариант неудовлетворенности ситуацией «внутри пола». В этом смысле письмо можно назвать даже банальным. Однако банальность жалобы — не повод от нее отмахнуться. Наоборот, банальность потому и банальность, что отмечает наиболее частое, то есть общезначимое, следовательно, первостепенно важное. Для осознания — и действительного избавления от него.

Устав от безвыигрышного опыта повторения своих попыток любви, оба приходят к компромиссному варианту как единственно правильному. При этом — оба в сильнейшей степени испытывают то, что они называют «остатком»: потребность действительной любви;

отсюда необходимость ввода, скажем вслед за Бунюэлем, «смутного объекта желания».

Перейдем к нему.

Главная его характеристика — «его нет». Согласно им, он даже «есть только потому, что его нет».

Парадоксальным образом именно благодаря своему тотальному отсутствию, небытию, он не только есть, но и «есть тот, кто есть», кто всегда присутствует. Он знает все и даже принимает непроверяемое, но безусловное для авторов послания участие в их жизни. Благодаря своей программной неопределенности (неопределенности по определению), он может быть определен как угодно, наполнен чем угодно: явиться абсолютным эхо как мужчины, так и женщины.

Налицо частый случай *переноса*. Вообще говоря, перенос: перенесение на врача качеств, которыми необходимо должен в представлении пациента обладать объект любви (родители или возлюбленный), — может быть плодотворен, так как врач здесь-то и может проанализировать иллюзорность такого решения проблемы пациентом, обнажив перед ним, как на ладони, его действительную проблематику; но когда абсолютно иллюзорен сам объект переноса («друг» вместо реально существующего врача), такой перенос не может быть плодотворен — пустота не предполагает интерактивной связи, а следовательно, и дальнейшей переработки иллюзии в иную реальность.

Таким образом, оба приходят к решению проблемы за счет одновременного понижения потребности в любви к партнеру, редукции (или резекции) чувства — и компенсаторного введения фигуры «друга», на которую проецируется весь «остаток» невостребованного любовного чувства.

В таком, по-своему элегантно, решении за счет своеобразного разнесения в стороны «мух» и «котлет» есть свои плюсы; из них, пожалуй, главный — тот, что «друг» не может «помешать любить себя», а это очень важно как для мужчины, который, кажется, просто ждет любого встречного движения со стороны очередной близкой женщины, чтобы «разлюбить» ее за это всегда раздражающее его движение, так и для женщины, уставшей от бесконечных притязаний со стороны любимых ею мужчин.

Но в самом способе решения кроется и его решающий минус. Думаю, нашей паре, надеющейся — за счет вынесения любви за скобки и нагружения ею все-вместительной (поскольку все-пустой) фигуры «друга» — на комфортабельное совместное существование, вскоре придется столкнуться с тем, что, согласившись пойти по пути программного раздвоения, они сами лишили себя единственной прочной опоры — концентрации чувства.

Конечно, они могут сказать, что как раз от этой-то сосредоточенности на партнере они пострадали в предшествующей жизни — и ее-то хотели бы в первую очередь исключить из теперешнего опыта.

В ответ замечу: если вчитаться, и тот, и другая пострадались от сосредоточенности вовсе не на очередном близком, а на — самом себе.

В случае с мужчиной это яснее ясного; перед нами едва ли не образцовый пример самообмана, относящегося к огромному множеству людей.

Вся мужская часть письма пронизана тем, что, рассказывая о постоянной своей переменчивости, он с тем же постоянством утверждает свою неизбывную серьезность отношения к женщине, — и даже не замечает, что концы с концами не сходятся. Как это может быть, вправе спросить читатель. Тут что-нибудь одно — либо то, либо уж другое. Как ты не видишь этого сам?

А так, отвечаю за своего заочного подопечного: исходя из того понимания любви, которое с какого-то незапамятного момента выработалось и закрепились — как самоочевидное. Предельно четкое его выражение — хабанера из оперы «Кармен»: «У любви как у птицы крылья». Более запетой арии нет ни в оперной музыке, ни в жизни. Мне говорили, во французском оригинале это звучит: «У любви крылья дикой птицы». Оригинал предпочтительней, он дает возможность отнестись к самому утверждению без хихиканья, чисто содержательно.

Именно: любовь — какое-то особое чувство, в отличие от остальных чувств совершенно не зависящее от его носителя, живущее своей собственной жизнью, как ему самому хочется. Это уже не часть внутренней жизни человека, а живой отдельный организм, который только вид делает, что рождается в нас, вскармливается и воспитывается нами, живет по законам нашей души, а на самом деле возникает, живет и умирает, подчиняясь каким-то своим, нами не только не управляемым, но и неведомым нам законам. Это суверенное существо играет нами как хочет: хочет — поселяется в нас и подчиняет себе полностью, а хочет — покидает нас, и прощай любовь, ничего уж тут не поделаешь. Не наше чувство принадлежит нам — мы ему.

Казалось бы, утверждения такого рода должны быть обидны для человека, по крайней мере человека иудеохристианской цивилизации, человека Запада, все равно. Принимать их в качестве основного жизненного закона мы должны были бы только после отчаянных попыток опровергнуть — хотя бы из чувства собственного достоинства. Унизительное рабство какой-то «птишке с крыльями», которую «нельзя никак поймать», но которая сама зато играючи ловит каждого из нас и делает игральным собственная бездумной, но всемогущей воли? сдаться безо всяких попыток сопротивления какой-то летучей Цирцее, в одно касание превращающей нас в свиней — или в кого уж там захочет?

Но нет же. Современный человек, начиная со средневекового англичанина, нервно реагирует на любое лишение его суверенности... любое, но только не это. С готовностью признает он себя «рабом любви» (есть

она — он подчиняется, «кончилась она» — он подчиняется ее окончанию). С готовностью расписывается он в любом своем поражении на любовном фронте (разлюбил — тут уж ничего не поделаешь). Почему? Почему здесь — и только здесь — он так не похож на себя самого, гордеца, чье «самостоянье» — «залог величия его»?

А потому, что это дает ему то, ради чего можно и поступиться самолюбием, потерпеть пару обидных слов: право на осуществление самого настоящего из своих жизненных влечений, самого острого из своих наслаждений — и при этом право, свободное от всякой омрачающей его ответственности за его осуществление. Оправдание по полной форме, позволяющее, ничего с себя не спрашивая и все себе прощая, уважать себя как ни в чем не бывало: еще бы, за тобой огромный ряд твоих предшественников, от малых до самых великих, ибо какой из высоких героев, от Геракла и Ясона, не совершал подлостей и предательств в сердечной сфере, вовсе не считая их таковыми, потому что «это сильнее меня», «это не зависит от человека» (да вот, выиграть Трафальгарское сражение, написать «В поисках утраченного времени», покорить Эверест — зависит от тебя, а кого и как любить — не зависит! не нарочно же Пруст гомосексуален, не произвольно же адмирал Нельсон любит жену лорда Гамильтона, на которой пробы негде ставить), — а коль так, то к высоте или низости человеческой это не имеет равным счетом никакого отношения. Судить человека мы можем только по тому, что от него зависит; следовательно, в отношении своей верности долгу или избранному пути — он вменяем, а в отношении любовной верности, преданности, постоянства — невменяем.

Наш же мужчина еще и дополнительно защищен внутри чувства собственной правоты самым ощущением с е р ь е з н о с т и (мучительное, следовательно, высокое и очищающее чувство) в с я к и й р а з своих чувств и намерений; то же, что эта серьезность ни во что, кроме лишних мучений себя и другого, не воплощается, оставаясь лишь ощущением, — так и быть должно, если изменить ничего в любовной, неподвластной ему сфере человек не может по определению.

При всех нетипичных импонирующих качествах — наш мужчина принадлежит, сказала бы я, к «мягкому», интеллигидельному (и оттого, простите за каламбур, еще больше — гибельному) подвиду основной популяции человечества, главное отношение которой к миру — алчность, желание не быть в мире, «побыть и поиграть с людьми», а владеть или пользоваться ими (когда же желание выдохлось, выбросить ненужную вещь), и вся сфера его любовного попечения — откуда и влечение к «трудно дающимся женщинам» — затормозить амортизацию алчности, сохранить силу желания не выдыхающейся от удовлетворения, что он и считает любовью. Его святая святых, так и не взломанная никакими катастрофами, — эгоцентризм, деформированная по

определению (деформированная до бреда, того общепитовского бреда, который из-за почти поголовной охваченности им не считается бредом) картина мира.

Что касается женщины, тут случай менее однозначный. В «женской» части послания вроде бы ясно читается то, чего в «мужской» нет и в помине: понимание любви как самоотдачи, взятие на себя ответственности за любовь. В этом смысле ее опыт более выстрадан, внушает больше сочувствия... и согласия. Но почему же он тогда оказался столь же неутишитель, привел к той же необходимости «любви без любви» и двоения чувства?

Думаю, потому, что если мужчина и не догадывается об ином понимании любви, кроме нарциссического принесения другого себе в пищу (поэтизируемую «серьезным и возвышенным», дабы искренно отпереться от обвинения в потребительстве), то женщине оно, это иное понимание, хотя и знакомо не понаслышке, но запутывается в один клубок с противоположным («у любви как у птицы...»), от которого никто из нас не свободен. Две противоречащие друг другу установки: любовь это отдать, и любовь это взять — сталкиваются в ее душе; попытка разрешить противоречие выражается в компромиссном «отдавать, чтобы брать» (чувствовать ответную отдачу). Отдание себя (хоть и говорится о полной самоотдаче) становится — при всей серьезной тяжести ее усилий, к тому же хронически невознаграждаемых, — конвенциональным (интересно, что она, понимая, где собака зарыта, оговаривает, что не признает конвенций, «не ждет спасибо», но сама продолжает собаку зарывать и хотела бы надеяться, хотя опять-таки понимая, что напрасно, не дождалась и не дождется, — что кто-то с ней эту конвенцию подпишет и будет соблюдать): отдавать при условии обратной связи, иначе... тут уж не она будет виновата, а сами кармические законы таковы, что иначе все само собой рухнет в прах.

Как получилось, что при такой не-эгоцентрической реалистичности запроса к жизни как запроса к себе — постоянно не складывается, не задается (и притом не задается всегда одинаково) — само течение этой жизни? Думаю, если бы она действительно хоть раз отдала себя кому-то до конца, без остатка, забыв о себе, ситуация могла бы сложиться счастливо или катастрофически, но — она не повторилась бы и не продолжала бы повторяться с печальным однообразием (при всей жизненной неповторимости ее партнеров). В какой-то момент ситуация была бы *исчерпана* — и вылилась во что-либо необратимое, не повторяемое. Повторяется, и повторяется до йоты, только то, где есть что-то, до конца не «прокрученное», есть какое-то невыявленное «так да не так». Думаю, в некотором смысле женщина играет в кошки-мышки с самой собой, лукавит; если мы не имеем дело вообще с тем, что внешне напоминает любовное самоотдание, а на самом деле является

мазохистским вариантом самопожертвования, тем, что еще Фромм называл, и небезосновательно, самокалечением.

Предложенное ими себе решение проблемы — не решение.

Тем не менее работа, проделанная обоими, по выделению из себя и осмыслении всех обманов «любви», всех видов влечения-влюбленности-страсти как псевдолюбви, как *подмены*, — эта работа дорогого стоит.

Проделанная обоими работа — нулевой цикл, у каждого свой. Это уже много: нуль — уже какая-то ясная точка отсчета. Самоотчета.

Если бы только они поняли, что пришли не к ответу, а к нулю. Если бы только они это согласились увидеть.

Ведь, говоря о своем, главном для каждого, каждый из них проговаривается о главном на самом деле, не замечаемом в ходе — в беге! — исповеди, призванной, казалось бы, это главное обнажить. Оно и обнажается, но как-то незаметно для самих исповедающихся.. Это главное: каждый, приходя к итогу, приходит к нему не с обновленной, а со своей прежней формулой души — как с тем, что не нуждается в изменении. Изменить оба хотят ситуацию, создав для себя такую жизнь, в которую вписался бы без натуги уже сложившийся, поживший, не находящий возможным себя менять человек.

А если завтра созданная тобой благоприятная ситуация опять изменится? Менять надо человека, а не ситуацию — чтобы никакая ситуация, за исключением разве что действительно экстремальной, не застигла его врасплох. Не изменив свое бытие, рискуем всегда нарваться на непредвиденное событие. Представим себе в нашем случае, что с таким неизрасходованным запасом любовного стремления, которое отличает обоих, кто-нибудь из двоих возьмет да посреди нынешнего «счастливого» брака и влюбится неожиданно для самого себя по уши в невесту кого из-за угла, как они говорят... Что тогда? Все треснет по швам — ведь пустота их душ, якобы занятая «другом», не занята совсем и только ждет повода...

Надо изменить формулу души. Сохраненную обоими как верная. Не требующая изменения.

Если бы они согласились, что лечение еще и не начиналось.

Не согласятся. Как же, проделать такую работу — а тебе говорят, что ты зашел в тупик.

Но если бы — позволю себе пофантазировать — если бы они все же прорвались сквозь себя, свое желание быть правыми (ведь нарыв все равно болит — и вот-вот его прорвет), и попросили меня «вести» их с «нулевой точки исповеди» (поняв, что искренность — неременное условие честности, но до честности, до подлинности еще надо добираться и добраться; где там, они искренно продолжают считать, что их «опыт любви — единственное, что было ими сделано честно»), я бы, пожалуй, взялась. Ведя каждого из них его путем.

Поскольку женщина, с моей точки зрения, подошла к истине, во всяком случае, ближе, чем мужчина, постольку проблема ее излечения упрощается до одного решительного шага. Ее установку на самоотдание надо всего-навсего очистить от противоположной установки на получение. Одно движение, один ход. Нужно только сместить акцент — на то, о чем Бог в Библии устами одного из пророков говорит: «Милости хочу, а не жертвы».

Стоит лишь выйти из плоскости «жертвования», в самом искреннем случае сохраняющего память о себе, жертвующем, всегда *ожидающего*, а значит, всегда несчастного (ибо ожидания никогда не сбываются — или сбываются не так, как ты ждал): «вот, я и этим пожертвовала», «и вот это из любви оторвала от себя и принесла ему», «наконец, я пожертвовала последним — а когда же он, наконец, оценит и откликнется?», — и погрузиться на глубину «милости», поднырнуть, сделав начальное усилие, в плотные, но раздвигающиеся воды «милования», чтобы, растворившись в его теплом подводном течении, перестать чувствовать собственные очертания и до незаметности просто уйти от половинчатости, которой не терпит само неостановимое движение со скоростью потока. Понимание любви как «милости, а не жертвы», имеющей начало не в чувстве долга (вообще не в каких-либо установках нашего супер-эго), а в естественном, свободном от цензуры «должного» истечении энергии сердца, струении ее на милуемого, позволяющее забыть о себе, не ждать результата, а раствориться в потоке, делает чувство мало уязвимым, практически не-истощаемым — разумеется, при исходной установке отдавать, а не брать в любви; но наш разговор вообще имеет смысл, только если мы примем эту установку — в противном случае, каковы бы ни были вариации, при всех попытках выхода, я убеждена (и показывает опыт) — сознание любящего человека (что бы мы ни понимали под словом «любящий») останется несчастным сознанием.

Фундаментом же любви как милования может быть только полное — не умозраительное только, но всем естеством — осознание реальности *другого* как *реальности* другого. Одно из главных уродств наличной жизни, приводящее ко всевозможным бедам от любовных трагедий до этнических войн, в том и состоит, что детское сознание нереальности другого самого по себе, сознание его существования только пока он не «ушел за угол», у большинства длится до могилы. Ощутить же другого как столь же бесконечную и полновесную реальность, что и ты, может помочь только серьезная практика видения другого-из-другого, а не из-себя, опыт «выведения себя за скобки себя». «Ему надлежит (в тебе) расти, а тебе (в себе) умаляться». Опыт переживания «единичности» и единственности другого немислим без опыта переживания своей нулевости. Умиление не мыслится без умаления. Вам это может показаться ни к чему не обязывающей игрой слов, но это не так. Любовь есть полно-

та самоотдания, но правильно еще в начале «письма» говорится, что «на самом деле никто никому и не собирается отдаваться». И не соберется, добавлю, пока не обретет чувства реальности другого. Потому что отдаваться можно только тому, кто — есть, есть — не ты; а отдаваться только лишь образу, тобою же рисуемому, некоей выделенной точке в поле *твоего* вожделения, — это отдаваться самому себе.

Назовите меня прожектершей, но мне видится новое направление терапии, которое синтезировало бы достижения западной мысли по всей линии «от Фрейда к Фромму» (линии наращивания целостно-духовного подхода взамен рационалистического интеллектуализма) и невыученные уроки восточнохристианской мистики. Здесь не место останавливаться на этом подробно; но применительно к «науке любви» я говорила бы о школе или пути «милования» или «умиления через умаление» (эту мысль прекрасно иллюстрирует любая из православных икон Богоматери типа «Умиление», будь то Владимирская или Феодоровская, где мать приникает щекой к щеке младенца, не глядя на него, но — перед собой и ним, в их будущее; момент соприкосновения — это момент полного проникновения, и в то же время каждый остается собой и следует своим путем; мать знает наперед путь своего сына, знает, что путь этот — страдальческий, страдает от этого сама, но, умалаясь, не препятствует ему идти его путем, а только милует его наперед, отказываясь от своего эгоцентрически-материнского «я» и только давая ему тепло материнской любви с собой в дорогу). Этот опыт предельной реальности «я» при предельном отсутствии индивидуализма — есть искомая золотая середина между слишком «западным» культивируемым «я» и слишком «восточным» утверждением его иллюзорности.

Опорная мысль Фромма, что надо не лечить, а спасать, и что врач не может спасти пациента вместо него самого, но не должен ослабевать в своих попытках помочь ему спастись самому, что врач должен быть наблюдающим участником (со-участником), который, лечя пациента, лечится сам (делая это только более зряче, чем пациент), здесь подкреплялась бы самым способом любить больного. Назовем это «умиление-до»: одной из практик, «методик» любви, пограничной между ничего не меняющим чувством-эмоцией и бесчувственной, суровой «деятельной любовью», которая спасительна только для людей сильных или продвинуто-духовных. Умиление, милование, милость — это особый характер отношения к другому, особый характер отношения между двумя — милующим и милуемым; в этом, наконец, есть особый оттенок чувства, не передаваемый словесно, но отчетливо чувствуемый любым, кого хоть раз в жизни что-то (или кто-то) умиляло, кто хоть раз кого-то миловал, кому-то оказывал милость. Такой человек отчетливо чувствует разницу между прощением (отпущением греха) и помилованием (по любви, как любимого сына). Это предельный настрой

на другого — полное стремление к нему при полном отсутствии эротического влечения (стремление без влечения — нонсенс? или парадокс — друг гения любви?). Поток чувства, где человек ясно чувствует свое «я» — и вместе с тем растворяется в милующем потоке, потоке частиц умиления, где он предельно трезво и просто видит того, кого милует, но это не мешает ему радоваться даже и нашкодившему ребенку, где, наконец, сама теплота, приятность милования, умиления вытесняет из него все остальное, например, мешающую нам избыточную, сверхконцентрированную память о себе, о том, что «вот, я его еще раз прощаю, сколько же можно..?».

Впрочем, не буду садиться на своего конька. Добавлю одно: в описанном случае сам собой отпадет и излишний объект любви — «неизвестный друг». Не могу выразить, как рада была бы я отпадению пятого колеса от телеги.

Труднее избавиться от химеры «друга», как и от прочих химер, в случае с мужчиной. Тут вообще требуется куда более многоступенчатая работа. Его установку надо еще прояснить ему самому, добиться от него согласия в том, что она ложна, и только затем попробовать ее изменить. Первое, учитывая его способность к самоотчету, представляется вполне достижимым. Второе, пожалуй, тоже. Третье же под вопросом.

Одной из главных трудностей на этом пути самоизменения — если он все же встал бы на этот путь и мы столкнулись бы с ней практически, то оценили бы объем трудности — была бы необходимость его отказа от духовно-психологической **в е р т и к а л и**.

Если умиление (как и многое другое) является неоченимым вкладом восточного христианства (православия) в строительство личности (вкладом или кладом, который мы, устремляясь за духовным обогащением в Индию или Китай, проглядели у себя под носом), то наличие духовной вертикали, неотделимой от представления о «личном», персонифицированном Боге, является, на мой взгляд, слабой стороной не только православия и христианства вообще, но всех монотеистических религий. На территории своего исторического распространения оно генетически порождает в людях, пусть даже далеких от конфессионально-религиозного мировоззрения, ложную картину мира, задает фальшивый «скрипичный ключ» восприятия реальности.

Хорошо уже, что «мужчина» своими умом и сердцем дошел до того, что «трансцендировать» очередной увлекший его женский образ, то есть именно считать его *образом* чего-то иного, высшего, нежели он сам, носителем этого высшего, сказала бы я, «по доверенности», — неправильно и вредно. Однако от мысли о самом существовании этого высшего, **о т д е л ь н о г о** от нас, стоящего **н а д** нами, более того, от необходимости именно это высшее где-то вовне отыскать и в него «поместить свою любовь», — он не только не отказался, но настаивает

на ней, и в обретении этого высшего в «неизвестном друге» видит для себя решение задачи любви. Отказываясь утвердить в качестве реальности одну распространенную и губительную иллюзию, он воздвигает на ее место другую.

Это ведет, я сказала уже, к раздвоению чувства, что всегда чревато трещиной, а потом и изломом. «Держать деньги в разных банках» уместно где угодно, но только не в сфере любовной. Не говоря о том, о чем уже говорилось: «помещение» любви в «неизвестного друга» бесплодно, непродуктивно в отличие от переноса чувства на лечащего врача, вполне определенной и сполна присутствующей индивидуальной фигуры.

В сущности, что происходит? Ту силу любви, которая есть в каждом из нас, которая нуждается в объекте-любимом человеке, оба автора письма — по разным причинам — считают невозможным и ненужным направить на другого человека, а считают возможным и необходимым для себя «поместить» в несуществующего-существующего Друга. Направить ему. Такой точкой может быть — почему не назвать вещи своим собственными именами — только Бог. И это традиционный Бог монотеизма, некое верховно-личностное Существо. Сверхличность, которую можно любить и быть Ею любимым в ответ. Что ж, вообще это не по моей части (позже еще скажу об этом пару слов). Но если бы Бог и существовал как «Бог Авраама, Исаака и Иакова», то и тогда, я уверена, это не выход из положения. Потому что тогда чисто духовная любовь к Нему и плотская любовь к себе подобным — необходимо были даны нам как разные виды любви. И вряд ли плодотворно «смешивать два этих ремесла».

По всему по этому нетрудно предсказать, что вся эта мечтательная «любовь» однажды кончится — и хорошо еще, если просто ничем.

Что же надо, чтобы решить проблему? На мой взгляд, следующее: елико возможно — и невозможно — полностью, без прокламируемого «остатка», сполна «вложиться» в сполна присутствующего рядом. В начале письма говорится (совместно), что любовь возможна только тогда, когда человек не заинтересован. Как раз наоборот — любовь невозможна тогда, когда человек недостаточно заинтересован. Но не собой, а другим. Если ты заинтересован *в нем*, ты должен быть бесконечно заинтересован им. Можно ли это сделать? Почему же нет.

Надо только отказаться от любезной сердцу псевдоаксиомы, согласно которой наше чувство от нас не зависит и нами не управляется, у него непременно должен быть конец, и это совершенно естественно: чувство, как все живое, умирает. Хватит уже мифологем. Наши чувства в наших же руках — во всяком случае, в достаточно большой степени; и они, конечно, смертны, но только вместе с нами — и кто мешает чувству жить ровно столько, сколько живет его носитель? Никто, кроме

нас самих; так, может быть, мы просто не хотим, чтобы наше чувство не прошло, не умерло — и тем самым освободило нас для нового «чувства», нового увлекательного переживания взамен привычного и стершегося? Но если мы уже рискнули любить всерьез, то есть необратимо, то есть поняли, что перед нами жизненно важная вещь, не обретаемая, как все важное, без отказа ото всего, кроме выбранного, тогда сразу уясняется то простое (хотя и нелегкое), что любовь, если мы строим не на песке, не на нуле, если есть исходный, зародышевый элемент действительного эроса между двумя, любовное чувство может быть разработано, умножено, выращено, как угодно, точно так же, как разрабатывается любой дар, способность, талант, который ничто без работы, без возгревания (и почему-то никого из художников эти слова не шокируют; так почему они должны шокировать или вызывать к себе снисходительное отношение художника своей жизни?), — а может быть заброшено, оставлено без ухода над ним, и тогда действительно обречено рано или поздно завянуть и умереть. Но ведь и балетный танцовщик, прекратив заниматься каждый день у станка и оттого неизбежно потеряв рано или поздно способность танцевать на высокопрофессиональном уровне, скажет (если честен перед собой), что это естественно, в том смысле, что иначе и быть не могло, когда не занимаешься. Однако странно было бы, если бы этот «естественный факт» был бы для него нормальным, воспринимался бы им не катастрофически. Так работай! Не сваливай на «у любви как у птицы...». Через не-могу и не-хочу — качай свои душевные мускулы.

Разумеется, каждая работа предполагает условия, без которых она невыполнима. Одно из них — в нашем случае, для нашего мужчины, — чтобы возгораемое, возделываемое чувство не сопровождалось бы непереносимо, до непоправимого слома личности, болезненными переживаниями (или не привело бы к ним), связанными с тем, что настоящее, полное соединение с женщиной (очевидно же, его нынешнее слияние с женой — неполно, оно все — по типу «соблюдай дистанцию», что только — согласитесь — и позволяет ему не ревновать ее к ее «бывшим») для него чревато болью ревности к ее прошлому. Ревность же, по его собственному наблюдению, связана именно с двойственным восприятием женщины, с ее «трансцендированием» и — в конечном счете — с наличием духовной в е р т и к а л и, иерархии «земного» и «небесного».

Вообще-то это еще вопрос — не обманывает ли он себя. Не проще ли все на самом деле, чем ему лестно видеть. Может быть, в отношении достаточно распространенной мужской ревности к прошлому — безысключительно прав Толстой: в начале его «Воскресения» князь Нехлюдов почти уже сватался к одной особе, но ему не нравилось, что ей уже двадцать шесть, кажется, следовательно, она не могла ни в кого

до него не влюбляться, а это оскорбляло его самолюбие. Толстой всегда ищет простое решение — и, может быть, прав, может быть, ничего иного мы и в нашем случае, за всеми красивыми наворотами, не найдем, копни мы нашего мужчину глубже. Но, может быть, в нем говорит не только самолюбие, а еще и впрямь то, на чем он настаивает.

Очень возможно. Не надо думать, что наш мужчина нетипичен; свойство «трансценденции» такого рода, то есть перевода инополого в иномирное, вообще говоря, даже слишком распространено. Другое дело, что не каждый склонен это свое восприятие другого (не всегда инополого — достаточно, если этот человек наделен какими-то вообще и н ы м и, высшими, например, властными функциями) формулировать, — но вообще такое восприятие другого к а к и н о г о свойственно отнюдь не только людям «сложным». Мне доводилось году в 78-м, в какой-то случайной компании, слушать пьяные откровения одного начфина воинской части, циника без каких бы то ни было предрассудков, — так вот он говорил: «А Вы на самом деле представляете, что Брежнев ходит в туалет? Я — нет».

Такого рода «трансцендирование» (со всеми вариантами) составило личную драму не только Блока, но и множества «обычных» людей, которые только не делятся этим, но имеют в душе такие же незаживающие раны из-за своих «прекрасных дам»... Когда мужчина говорит кому-то: «Моя богиня», «обожаемая моя», — это вовсе не только слова сомнительного вкуса; нет, в какой-то степени они всегда называют буквально то, что е с т ь: о-божаю, то есть отношусь к тебе как к божеству, в твоём лице для меня «отобразился Лик», сквозь тебя, посредством тебя со мной говорит божество. Это «иконное» отношение к любимому есть уже в платонизме (если не раньше, в «Песни Песней»), но прямо, в том сгущенном до чистого яда виде, который затем отравил непосредственно, или опосредованно, или уже чисто генетически, тьмы и тьмы мужчин бесчисленных поколений, прошедших с тех пор, — прямо оно появляется у всех этих трубадуров и труверов, у незадачливых «рыцарей бедных», и выдумавших на свое и чужое несчастье «прекрасную даму», утверждающих ношением цветов своей госпожи на доспехах — *прямое* восхождение от человеческого к божественному через все эти символы, отсылы, через держание человеком духовного божественного феода, через якобы-просвечивание сквозь худосочное личико жены сюзерена — лика Девы Марии. Ну, а уж потом пошла вся эта морока, «Вечная Женственность», вплоть до русской «софиологии», то есть, на самом деле, воспаленно-сублимированной эротики Владимира Соловьёва, попутавшего человек пять гениальных «русских мальчиков», во вдохновенном порыве захотевших соединить несоединимое — православие и «рыцаря бедного» (судя по Вашему письму, Вам не надо все это разжевывать).

А я вот не хочу быть прекрасной дамой, не хочу быть воплощением вечной женственности, не хочу всего этого высокохудожественного бреда (Вы ведь знаете, что такое бред в собственно медицинском смысле слова? на всякий случай: это «ложные суждения, возникающие на болезненной основе и не поддающиеся переубеждению») в отношении себя, и знаю, что этого не хочет ни одна женщина, как ни один мужчина не захотел бы быть воплощением «вечной мужественности» — со всеми возложенными на него ожиданиями...

Причем, как видим, отказ мужчины «трансцендировать» женщину без отказа от вертикального мировидения вообще — ведет только к созданию иллюзорно-трансцендентного образа «друга», то есть к псевдорешению задачи. И что интересно, это тогда, когда задача почти уже решена правильно. В сущности, он и сам уже говорит о том, о чем и я, — о необходимости замены вертикали горизонталью. «Отказаться от комфорта!» — совершенно правильно восклицает мужчина — и совершенно закономерно остается на ступени чистых восклицаний.

Почему? Думаю, не столько потому, что он в самом деле «развращен комфортом» (хотя и это тоже), сколько потому, что он полубессознательно не хочет — неприятно, понимаю, ведь речь идет об изменении себя или по крайней мере отношения к себе, а кому приятно этим заниматься серьезно? — внимательно проследить всю цепочку. Он пишет: «Следует принять свою любимую как лишенное всякой поэзии естество из мяса, кожи, костей и волос... как не слишком высокую душу, податливую на обольщения... со всеми ее безобразно-прекрасными сторонами и вскриками... ничуть не более благообразную, чем ты сам, столь же низменно-животную... столь же лишенную ореола иного мира, как ты сам для себя, — и, отказавшись от двойного зрения, от трансцендирования любимой, все равно принять ее, уже не по-прежнему высоко... но все равно любя». И потом еще: «Примириться с ней, прозаически любя, как, обыденно (но и как еще поэтически) любя и невысоко (но и как еще высоко!) ставя с е б я , примиряешься с малопривлекательными отправлениями своего тела и проявлениями жалкой своей души», — и не видит, что примириться с данностью, с миром, с ближним по-настоящему именно и нельзя, пока будешь «невысоко, но еще как высоко ставить себя», пока будешь «любить обыденно, но еще как поэтически», пока что угодно, пусть хоть телесность, будет оцениваться в категориях «низменности» и «возвышенности», «безобразно-прекрасного». Пока не будет понято, что *настоящая* прозаичность вовсе не лишает вещи поэзии, а как раз только и делает их подлинно поэтичными.

Ставя себе правильную задачу, он хочет решать ее негодными средствами, вливает новое вино в старые мехи — и не будет в состоянии достичь поставленной цели, пока не перестанет путать то и другое, пока до конца не откажется от «возвышенного» в женщине (именно уни-

жение другим этого якобы возвышенного не дает ему покоя, но зато и какое наслаждение, когда это «возвышенное» унижает он сам, возвышаясь над возвышенным!), для чего надо забыть само слово «возвышенное» вообще — пока, словом, не перестанет заниматься духовным альпинизмом и не обретет горизонталь. А ее он сможет обрести, только когда на самом деле перестанет хоть сколько-нибудь высоко ставить себя. Нуль собственной вертикали — вот что ему необходимо. Обретение горизонтальной шкалы ценностей, вообще не предполагающей оценки, дзенское «человек-собака», снимающее все эти «высокие обманы» и «низкие истины», — вот противоядие для таких, как он, позволяющее увидеть вещи такими как они есть и принять женщину вне всяких ее оценок, просто как любимое, милуемое живое существо.

Не думайте, что я вообще против трансцендирующей способности человека и его потребности в *и н о м*. Когда бы так, святость перестала бы быть для него святостью. Это самое страшное, что может случиться с человеком, что с ним ежеминутно происходит сотни и тысячи лет, а все никак не произойдет до конца — и, значит, сколько бы мы над собой ни издевались, до конца не произойдет никогда...

Божественность всего сущего. Кто с этим спорит? «Чистый» материализм — такая же закрытая страница серьезного человеческого опыта, как «чистый» капитализм XIX столетия. Весь вопрос только в том, что для человека — божественное сущее. Когда над сущим ставят Единого Сущего... вот тогда понятие божественности отождествляется с понятием вертикали. А я — за горизонтальную трансценденцию. Для героя Пруста (следуя Мамардашвили — думаю, и здесь мы говорим о том, о чем осведомлены оба) за возлюбленной тоже стоит «богиня», разговаривая с дорогими людьми, человек на самом деле говорит «с богинями», через связь с человеком человек выходит к божественному, *divinité*. Но это божество, через которое человек воссоединяется с собой. Это не что-то Высшее, стоящее над человеком и приказывающее ему, карающее и награждающее его (раболепство монотеизма, неотделимое от корысти монотеизма), это — абсолютное, присутствующее в любом относительном, вечное внутри любого смертного, это столкновение человека с абсолютными, неизменными *инстанциями в самом себе*, столь, казалось бы, относительном и текучем, это высвечивание *divinité* в себе. Когда человек открывает *иномирность этого мира*, абсолют, располагающийся не над миром, а — внутри него, в нем. И поэтому герой Пруста, тоже ведь страдающий от ревности к своей «богине», но сполна наделенный горизонтально-божественным чувством бесконечной красоты и святости мира и потому неисчерпаемой драгоценности другого, даже обманывающей его бисексуалки, — трансцендирует продуктивно, а не редуктивно. Он созидает себя, тогда как наш мужчина принимает за медитацию — галлюцинацию.

Вот почему я за отмену вертикали. Точнее, не за отмену — мы живем в таком здесь-и-теперь, когда отменять или запрещать что-либо *уже поздно*, а тем более глупо отменять то, что есть, что пока еще сидит в человеке, — но за постепенную замену, незаметно-медленное ее замещение.

Чувство духовной вертикали опасно для мужчин, во всяком случае, куда больше, чем для женщин — во-первых, женщин, возможно, охраняет от излишнего «вертикализма» материнское чувство к мужчине, заменяющее любовь к бесконечному — бесконечной любовью, простой материнской любовью, не позволяющей видеть в своем ребенке божество; во-вторых, если «трансцендирующие» женщины и есть (а они есть, и их немало), то — женское восприятие мужчины как некоего держателя божественности, по крайней мере, не двоится. Женщина такого типа, с восприятием любимого как «младшего бога», по натуре не склонна к захвату; она сама охвачена чувством любви-служения любимому, она не дерзает посягать на овладение божеством, а отдается ему, чувствуя, что это не унижает, но возвышает ее до него. Считаю ли я «вертикаль» истинной интуицией Бога или нет, но женщину она, по крайней мере, ведет к целостному, интегрирующему личность взгляду и чувству. Это ее опыт не-двойственности, ее житейская адвайта-веданта (хотя наша женщина с ее «возвышенным» гнушением любовью поест в внушает опасения ... можно ли уравнивать борщ и «Искусство фуги»?.. А мне кажется, сам Бах мог бы отнестись к сравнению всерьез... и чем «медитация борща» хуже медитации чайного церемониала? «Когда я ем борщ — для меня все умерли», — не то же ли самое, что: «— В чем твое Дао? — Когда мне хочется есть — ем, когда хочется спать — сплю»...). Иное дело — такого типа мужчина. В нем «восходящая вертикаль» в отношении к возлюбленной как женской ипостаси божества сосуществует (а точнее, именно не может мирно сосуществовать) с инстинктом покорения, овладения самкой (в интеллигентском слое мужчин этот инстинкт сохраняет силу лишь частично — зато сублимируется в якобы оплодотворение якобы недосознательного существа женщины якобы мужским логосом; эта невыносимая претензия играет большую роль в том, что в среде интеллигенции неуживчивость особенно велика); ясно, что два эти противоположно направленных потока энергии, восходящий и низводящий, не имея возможности спокойно ужиться, будут раздирать на части их носителя. Таким образом, если женщину психология и аксиология вертикали ведет к интеграции личности, то мужчину — к фрустрации.

Обретение горизонтали позволит ему выйти из «любви с оглядкой», зависящей от оценки своей любимой, чужой или своей, уйти от боли, возникающей, когда «богиню» в нашем представлении сладострастно «унижают» в близости с ней — самыми разными способами (которые мы же в своем воображении домываем, посыпая раны, может быть,

чрезмерной, небывалой в действительности солью); жизнь по ту сторону «высокого» и «низкого», «достойного» и «похабного», «грязного» и «чистого», «прекрасного» и «безобразного», словом, «хорошего» и «плохого», жизнь в прямом смысле слова по ту сторону добра и зла, жизнь полная — вместо этого всего наносного за тьму веков оценочного хозяйства — любовью и умилением перед любимой просто потому, что она чудесным образом е с т ь (ведь не у каждого, совсем не у каждого есть любимая, есть тысячи людей, у которых есть все, а любимой нету... и почему она обязана быть? а у тебя она — есть!), — такая жизнь делает его свободным от боли ревности, а заодно и от сексопатологии, увидев это так как оно есть — не-двойственное, не прекрасно-безобразное, сверхъестественно-противоестественное — нормальное чудо жизни.

Между прочим, духовная вертикаль неотделима от вертикального понимания человеческого тела, согласно которому в человеке — существе, стоящем на перекрестке ангельского и животного, есть чело, глядящее в небо, несущее на себе высокий отпечаток лика Божьего, а есть нижние и низменные «срамные части», которые следует скрывать и которые не только русские, но все народы (что и отмечает наш мужчина) вертикальной духовной ориентации называют оскорбительными, недопустимыми для человека словами (а не было бы «высокого», не было бы и «низкого», значит, не было бы и посылка к возникновению такого действительно срамного и гадкого отношения к себе и другому), — такое понимание одною своей иерархической вертикальностью неизбежно ведет мужчину к болезненному отношению к проблеме пола, полового акта. Обнажение тела любимой женщиной перед другим мужчиной, не говоря уже о соитии, всегда есть для него обнажение того стыдного и срамно-безобразного, что не может нормально, не-мерзко быть обнажено ни перед кем, кроме него (он поймет, оценит эту страшную жертву — ради него пошли на такую мерзость, на такое унижение, но пойти на т а к о е , крайнее — ради еще кого-то?! если единственная настоящая жертва уже совершена для кого-то, что же тогда останется ему? объедки). О каком же нормальном отношении к женщине (если ей не 14 лет, как справедливо замечает наш мужчина) можно в таком случае говорить? А ведь такое болезненно-вертикальное отношение к телу, выработанное веками христианства, закономерно вытекает из «духовной вертикали»; без отмены последней нечего и думать о преодолении первого.

Но эту горизонталь он पहले всего должен обрести в отношении к себе. Наша ревность начинается не в том, к кому мы ревнуем. Не в ревнивом отношении к нему. Она начинается в ревнивом отношении к себе. Это себя я числю достойным самой высокой участи, это своего унижения не могу перенести — и только проецирую на любимую. Она должна быть Прекрасной Дамой, чтобы я был Властелин Прекрасной Дамы.

«Возвышая» свою избранницу до богини (пусть только через символическую отсылку к «женской ипостаси божества»), я тем самым — через дальнейшее овладение своей избранницей — возвышу до божества — себя, покоряю себе божество.

Если бы я верила в бога в авраамическом смысле, в верховно-личностного единого Бога, стоящего над нами, то сказала бы, что наш мужчина хочет дешевой ценой купить свою божественность, а дешево в этой системе мышления можно только продать свое первородство.

Причем все, о чем я говорю, он видит сам. Видит — и не видит. Он весьма дельно — в умозрительной самокритичности ему вообще не откажешь — замечает, что ему потому и необходима «нетронутая» возлюбленная, что «ее нетронутость и есть икона его неизменно высокого достоинства» — и что «по существу, это возложение на нее высокой роли» есть не что иное, как освобождение от высокой и тяжелой, некомфортабельной, но желанной роли — себя самого, труднодостижимое убийство сразу двух зайцев: отказ от роли-сохранение роли (за ее счет).

Но он не видит (для этого он слишком «слит с собой», как каждый из нас), что *еще* читается в этом «возложении на нее высокой роли» «жены Цезаря». А читается тут: человек, настолько любящий самого себя, что ему непременно надо быть Цезарем, тем самым открывает как раз то, что любит самого себя — недостаточно. Не настолько, чтобы, при всей обычной для каждого самовлюбленности, принять себя как себя, а не как Цезаря. Если я себя приемлю, то должен принять, полюбить себя — в нашем случае — и в совокуплении с другим, не подозревая в этом акте ни возвышения над другим существом, ни унижения перед ним и надругательства с его стороны (ведь если себе нравишься, то и не подозреваешь — в крайнем случае, чисто умозрительно и очень спокойно допускаешь, — что кто-то глядит на тебя другими глазами); а увидев дело так, так почувствовав его, должен принять и ее не как «жену Цезаря». Должен почувствовать в ней что-то стократ более важное для меня, нежели то, была она с кем-то, как со мной. близка или нет. Когда же я чувствую как чувствую сейчас, то это значит в действительности, на глубине — я не ее, а себя в ней не принимаю: если она видится мне в совокуплении безобразной, и я не могу перенести, что безобразие ее видит другой, то, значит, таким себе кажусь и я сам — когда вижу себя в ней со стороны. Я не выдерживаю в ней разрушения, перечеркивания, надругательства над иконой меня самого. М о е г о надругательства над моей иконой.

Повторяю, кому-то иконное, вертикальное мышление пойдет на пользу (нужно считать хотя бы с традиционным, уже генетическим монотеизмом), промежуточно подготовив его к истине — трансценденции горизонтального типа. Но для нашего мужчины это губительно. Ему прежде всего нужно отказаться от иконного мышления всякого рода —

по всем трем линиям отношений: к Богу, к другому и к самому себе. Причем непременно от всех трех сразу: задействование любой из точек треугольника неминуемо приведет к задействованию всех трех.

Он будет несчастен до тех пор, пока не помножит себя на нуль и не станет нулем. Пока не примет, не полюбит себя таким, каков он есть, — нуль так нуль, просто — любимый нуль.

Но чтобы к этому прийти — надо к этому идти, через «обломы». Какой дурак, однако, будет призывать к самодеятельному сотворению собственных катастроф? То, что было органичным для Блока, для всех остальных может оказаться искусственным.

Если же жизнь и сама собой сложится для нашего «мужчины» катастрофически — сомнительно, чтобы, при всем его уме, он нашел в себе силы оставить комфортабельную раздвоенность, в которой пребывает, и забыть «красивые уюты» ради сомнительного, жалкого «счастья нуля».

Ума не приложу, что делать. А цель совсем рядом. Все как на ладони.

Я знаю мальчика, которому купили маленькую водяную черепашку. А он и не просил об этом. Он поместил ее в аквариум и долго наблюдал за ней; изо дня в день он видел подтверждение тому, что прочел о ней в прилагаемой к покупке в зоомагазине брошюре: водяные черепашки — абсолютные индивидуалисты, не то что не признающие, но даже не знающие хозяина. Они не привязываются ни к кому — им просто не дано знать, что к кому-то можно привязаться, кого-то полюбить. У них есть уши, они даже называются «черепаха красноухая», но почти нет слуха, и они не слышат подызывающего голоса человека, который принес им корм. Они знают только сам корм — и быстро, в отличие от обычных черепах, плывут к нему, заглатывают его и спокойно чешут дальше, не глядя на кормящего. Они живут своей и только своей жизнью, эти совсем не домашние, немые и глухие маленькие животные; и он все думал — зачем тогда ему это создание, если оно по природе своей никогда его не полюбит, не нуждается именно в нем; выходит, она не-для-него, это — *не его* черепашка; а если не его, чего ее и любить — подрастающему человеку для любви всегда нужно что-то свое и только свое, сокровенное. Но раз уж она у него была, то куда от нее деться, надо кормить ее, менять ей воду, мама смешивала ему воду нужной температуры, очень теплой, потому что эти черепашки теплолюбивые, они родом из Миссисипи. Но однажды, пока мамы не было, он сам налил в аквариум воды, на улице было холодно, и он решил ее как следует согреть — и подлил горячей воды прямо из чайника... В общем, оказалось, он сварил ее. Он пытался ее оживить, но она умерла по-настоящему. И когда он понял, что ее больше нет, он заплакал. Он понял, что теперь не за кем больше наблюдать, как она хищно заглатывает кусочки пищи, как грациозно высовывает свою длинную шею, чтобы высунуть голову из воды и дышать; не о ком будет думать,

как и почему она — амфибия, и должна по очереди долгое время дышать то под водой, то над водой — воздухом. И когда он понял, что она была интересна ему и без того, чтобы отвечать ему взаимностью или признавать за хозяина, что жизнь его неполна без того, чтобы просто смотреть, как она живет для себя: ест, и плавает, и дышит, он понял, зачем ему она была — всего-навсего чтобы любить ее. Чтобы держать ее в своем сердце, совсем отдельную от него, не присвоенную и все равно — у-своенную им. Никогда не его, но уже навсегда его черепашку. Вынеся за скобки какую бы то ни было взаимность, он не лишился любви, и ему пришлось понять, что вся любовь — внутри него.

Правда его: черепашка — целое живое существо — разве не достойна того, чтобы ее любить? Но ведь и человек, хоть он и не амфибия, имеет столько не менее удивительных качеств, наблюдай за ним хоть всю жизнь... — а пришло ли бы нам в голову не любить ту из-за того, например, что кто-то ее уже любил и держал в своих руках «обнаженной», вылезшей из панциря, если бы могла? Легло бы нам на душу ревновать к тому, страдать из-за того, что кто-то, кроме нас, любил ее такой, какова она есть? А каким же еще знать живое? Теряет ли *другое* свою действительную таинственность из-за того, что только видимо обнажено для всех и разгадывается не только нами?

Если бы можно было, — через все невозможности, — чтобы мужчина полюбил женщину — целого живого человека, целого *другого* — пусть не больше, но и не меньше, чем этот мальчик любил черепашку, если бы он до конца *осуществил свою полноту* (скажу, полемически обострив: все равно по отношению к кому — если можно к любому, купленному случайно вот этому попугаю, то можно и к любой, вот этой, «случайно подвернувшейся» женщине), думаю, ни ему, ни ей не понадобился бы «неизвестный друг». Полнота не знает недостаточности; ей попросту не знакомо чувство «остатка».

Увы, все это не более чем мнение, которое Вы просили высказать.

С огорчением,

Искренно ваша,

Н.Н.

P.S. Да, но мне все не дает покоя одно странное ощущение. Под всем, что сказано выше, я могла бы подписаться двумя руками... если только письмо действительно принадлежит тем, за кого они себя выдают. Я имею в виду, если мужской голос в самом деле принадлежит мужчине, а женский — женщине.

Что я хочу сказать? То, что временами при чтении письма мои впечатления начинают двоиться.

С одной стороны — голоса столь жарки, что, очевидно, каждый говорит о глубоко своем, наболевшем. С другой стороны — то и дело ка-

жется, что каждый из двоих всего-навсего старательно выполняет задание. Местами возникает сильное ощущение того, что женщину попросили, насколько это для нее представимо, высказаться на заданную тему от лица мужчины, а мужчину, соответственно, от лица женщины.

Чтобы не говорить долго, ограничусь парой примеров, только чтобы быть понятой. Рассуждения о курящей женщине... а тем более о безобразии полового акта (и себя в нем) своей сторонней наблюдательностью и болезненностью восприятия, хотя и приписаны женщине, с головой выдают — для меня — мужской взгляд на вещи. Женщине в принципе не свойственно мнимо-объективистски, до форсированно спокойного самоомерзения, смотреть на себя в любви; она органически воспринимает себя созданной для физического восприятия мужчины и дальнейшего воспроизведения потомства, и холодное, чисто объектное восприятие сферы интимной жизни как некоего физического малопривлекательного акта — это не ее восприятие. У женщины другая оптика, а точнее, она в сфере сексуального вообще не «оптична», а скорее «музыкальна», не смотрит сбоку, а настраивается на музыкальную волну изнутри, где всякое «извне», если б оно и было извне-безобразным, переплавляется во внутренне-прекрасное и в любовном расплавлении исчезает всякое субъектно-объектное разделение, всякая неслиянность. Вот почему — мой ответ на один из вопросов письма — вот почему женщины и не ревнуют к прошлому так, как мужчины: потому что вообще воспринимают сферу половой жизни (стало быть, и прошлые связи своих мужчин) как нормальную и достойную, не выделенную чем-то гадко-непереносимым. Эта норма отношения к сексуальному может у них быть и достаточно строгой, и достаточно либеральной, но сама психофизиология видения «этого» (как выражаются авторы письма) далека от демонстрируемой здесь болезненной цепкости, «технической» подробности вглядывания в безобразный для субъекта высказывания акт «продельвания того и этого» в «корчах и столах» «двух спаривающихся животных». Если что-то в этом роде (исхожу из своего опыта общения с пациентами) бывает у женщин, то именно как сексуальное расстройство — для обычной женщины восприятие всего связанного с половым актом как противостественного нехарактерно. Между тем женщина, выступающая в этом письме, имеет, по ее же словам, достаточно богатый и в целом нормальный сексуальный опыт. Сфера сексуальности ей знакома с лестной для нее самой стороны, она здесь нравится самой себе — и ее претензии к мужчинам связаны вовсе не с сексуальностью как таковой, а с мужским общим, в том числе и сексуальным потребительством. Это совсем другая история.

В «мужской части» письма тоже многое настораживает. Один пример. Разумеется, есть не только масса мужчин с прекрасно развитым

зрением, слухом или осязанием, но и мужчины с повышенной развитостью всего перцептивного аппарата. Однако сам факт того, что к ним часто относятся, например, писатели, мужчины пограничного типа, который стоит на грани... не скажу гомосексуального, но — расширенного, почти андрогинного, такого, кому доступно и женское восприятие мира, — наводит на размышление. Но и просто демонстрируемый в письме от лица мужчины вкус к столь пристальному рассматриванию поволоки женского века и столь дробному внюхиванию в «легкий запах осеннего листа от волос» и т.п. о д н о в р е м е н н о, столь конкретное, детальное «ощупывание» мира мелочей... не то чтобы характерно только для женского восприятия, мне встречались самые разные случаи... но именно после этих встреч, из этого опыта — мне интуитивно слышится здесь какой-то женский обертон, и он как-то выпадает из преобладающего у «мужского голоса» в письме логико-аналитического дискурса, желания «уяснить мысль», а не зафиксировать все тонкости «падения густой тени от ресниц на верхнюю часть щеки, по контрасту с затененной лишь слегка скулой».

Вообще же в порой чрезмерной исповедальности обоих есть привкус некоторой пережатости, форсированности, умозрительной игры. Впрочем, может быть, мне так кажется — если хочешь найти, отыскиваешь улики во всем, приписываешь вещам то, чего в них нет.

И все же можно предположить здесь желание — как «по заданию», так и по велению сердца, перевоплотиться в другого, понять его изнутри (достаточная осведомленность об обстоятельствах мужской или женской судьбы объясняется в этом случае тем, что супруги «в подготовительной фазе» опасно много рассказывали друг другу о себе; трудно тогда сказать определенно, что именно поведано, а что — после этого домыслено, развито). Если это так, то взаимоперевоплощение временами даже слишком сильно, доходя до отрицания в себе собственного пола. Такого рода «интеллектуальное актерство» говорит о двух незаурядных натурах... может быть, слишком однородно незаурядных, чтобы ужиться вместе.

Хотя незаурядность их — именно в расширенной способности к пониманию; казалось бы, наличие этого качества является главной составляющей прочного супружества, столь часто недостающей. Но все на свете индивидуально; бывает и так, когда именно *избыточное* понимание другого, именно выход за пределы собственного не зря заданного, не только в плохом, но в конструктивном смысле о-граниченного «я», становится деструктивной, деформирующей силой.

Во всяком случае (если я права, и «мужчина» на самом деле — женщина, а «женщина» — мужчина), тогда то, о чем я говорила в начале: попытка самолечения как опыт «аналитической исповеди», — нужно исправить на: опыт «понимания чужого», вживания в «другое», по-н-

имания как в-н-имания через во-ображение. Но результат тот же: все сошлось. Все просто обречено на симметрию. Наверное, это было им очень нужно, раз они рискнули всем, чем рискнули, и проделали то, что проделали. Что опять же выдает с головой — союз не назовешь ни счастливым, ни слишком прочным, коль скоро его нужно чем-то подпирать.

Но теперь, когда они нашли точку опоры, столп и утверждение истины — их союз таким для них станет. Сведя воедино свой опыт переживания *другого*, убедившись, что местами они понимают друг друга до буквального употребления одних и тех же слов, даже «своих» знаков препинания для обозначения одних и тех же состояний, они закольцуются друг на друге, как однойцевые близнецы. Как те, они станут псевдовзаимодостаточны. Пробить оборону каждого из них, все видящего, все понимающего, но плавно перетекающего в другого и уходящего тем от действительного ответа — изменения себя, — будет невозможно.

Это происходит уже на наших глазах, в ходе «опыта». Временами действительно есть ощущение, что голоса звучат словно из одного ствола говорящего дерева, которое говорит из разных дупел голосами разных, но иногда сливающихся тембров. И тогда чуть ли не начинаешь верить, что полное слияние и без полной любви — возможно. Но тут же убеждаешься, что это не так — это именно не слияние, а самозакольцовка, да и в той зазор на зазоре.

Вот — навскидку. В тексте письма жена говорит о муже, что он нравится ей «не тем, кто он есть, а тем, кто он не есть». Если и в самом деле я права, и этот пассаж на самом деле принадлежит не жене, а мужу, говорящему, таким образом, в 3-м лице о самом себе, продумавшему себя в третьем лице до того, кем он не является — и до того, что другому он таким и нравится, — то перед нами — тотальный ироник, до самоутверждения через самоотрицание. А тотальная ирония — единственная броня, которую нельзя пробить (ее нагляднейший образец — вовсе не хваленая еврейская ирония, в которой слышен закомплексованный серьез, а русское невозмутимое «по кочану», от которого отскакивает любое «почему?»). Если сначала мы представляли себе мужчину, в лучшем случае лишь догадывающимся об ином понимании любви, кроме эгоцентрически-пользовательского — но в таком случае на него можно было подействовать, его можно было «пробить» открытием ему глаз на вещи (повторяю, перед нами чуткий и обостренно-умный человек, которого, кажется, стоит лишь развернуть навстречу истине...), то теперь перед нами — человек, в с е продумавший, видящий все «из жены», да еще и додумавший за нее логику иного понимания любви до логического конца, — и тем не менее спокойно остающийся собой. Теперь он закрыт своим все-пониманием-без-изменения — окончательно и бесповоротно.

Именно так — они совершили страшное дело перевоплощения. Написав все это, пройдя все это один за другого, из-другого, они наверняка решили, что это и есть истинное понимание (во всяком случае, человеку больше не дано — разве лишь «неведомому другу»). Сойдясь и в жизни, и в воображении — в одну и ту же точку схода, решили, что уже отыскивали то, что более всего нужно человеку: свое «второе я».

А это неправда. Давняя человеческая неправда. Я хочу сказать, человек постоянно находит не то, чего искал, потому, что ищет не то, что ему на самом деле нужно. Человеку нужно не второе «я» (второго «я» вообще не бывает — есть только миллиарды первых-и-последних). Человеку нужно настоящее, полноценное «ты». Думаю, здесь не нужна оговорка, что я не претендую на новаторство, а только подписываюсь решительно под словами Вам-известно-кого. Я позволила бы себе только такую экспликацию, если не популяризаторство: человека, выступающего в качестве нашего «второго я», мы присваиваем как свою законную часть. Человека, выступающего для нас как «он», просто используем, насколько он может быть использован. Первое не расширяет объем нашей души и не меняет ее содержания. Второе питает и укрепляет нашу душу в формульной неизменности ее кристаллической сетки. Но когда человек выступает для нас как «ты», он, приближаясь, занимает собой все большее поле нашего сознания и, наконец, не уместаясь в его раме, выходит за ее пределы, подключая нас к просвечивающей сквозь него беспредельности мира, являясь перешейком, полупрозрачным мостом, алмазным путем, соединяющим с целым бесконечности, частицей которой он является. Но в бесконечности часть равна целому. Следовательно, «ты», соединяя нас с бесконечностью, и само является ею...

Мальчик полюбил черепашку, конечно же, не как свое второе «я». И не как «ее». Он говорил ей «ты», хоть и знал, что она его не слышит. Но он слышал ее ответ в себе. Он освоил целое мира, не присваивая его, через любовь к его живой частице. Какой-то немой и глухой эгоистической амфибии.

«Я» нужно «ты». Но для этого оно само должно стать способным быть-навстречу — не самодостаточным, но и не ущербным. Быть собой — с вымытым из себя «собой». И главное препятствие, главная опасность для «я» на пути к «ты» — встретить того, кто нужен тебе на самом деле — и принять его за свое второе «я». Того, кто в чем-то совпал с тобой, настолько, что теперь его в своем воображении — или, если он позволит, в действительности — можно подделать или подмять, словом, как-то вылепить и «заполировать» под «мое второе я». *Самое большое счастье, но и самая большая опасность — встретить понимающего тебя человека.*

Когда слишком близко подходишь к истине (не на расстояние ста тысяч шагов, как остальные, а всего тысячи шагов), когда она уже виднеется, — кажется, что уже обрел ее, и теперь, здесь, где ее уже все рав-

но не потеряешь из виду, самое время обустроиться поудобнее. С комфортом. Устроить все «себе к покою». Последнее иногда удается. Тогда пиши пропало. Что с нашими супругами, кажется, и произошло. А жаль. Пройденный ими путь понимания продвинул их к цели почти вплотную — но стоит поддаться мысли, что истина отделима от предельности усилий по соприкосновению с ней и, не движимая вместе с ними, не ускользая, стоит на месте, позволяя разглядеть себя со всеми удобствами... Все остальное не беда.

А вот это письмо — уже беда.

Потому что, когда кругом говорят и говорят, на все лады, что «главное — любить», они даже не догадываются, насколько тотально правы. Это знал апостол Павел (пусть приверженный чуждой мне идее вертикали): «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий». Но сколько бы ни повторяли все кругом эти слова, кто и когда видел, чтобы руководствовались ими? Руководствуются чем придется: тем, что некие мудрые политические, экономические и другие решения, вовремя принятые, некая «добрая воля» и «политическое здравомыслие», вовремя проявленные, могут сами по себе изменить ситуацию к лучшему, решить или «урегулировать» проблему — всем, только не тем, о чем сами же больше всего и говорят: любовью. Между тем дело лишь по видимости в том, что арабы не могут ужиться с евреями, чечены с русскими; в том, что нам угрожает генная инженерия; в криминалитете Восточной Европы; в глобалистских амбициях Америки; в... в... в... Все это лишь следствие того, что мир состоит из миллиардов людей нелюбящих и нелюбимых. Недолюбленных, реже перелюбленных, но всегда не так любленных, пока они становились тем, кем стали. Других нет — не любили (не так любили) нас такие же, как мы сами, как мы не так любили и любим их. Не наученные, именно что *понятия* не имеющие о любви. Называющие этим словом, словом *о другом*, свои смутные порывы, случайные симпатии и привязанности, эгоцентрические влечения — сексуальные, родственные, приятельские, этнические. Процесс разъедания тела раковой опухолью нельзя урегулировать — это смешное слово; разве только в смысле — сделать процесс дальнейшей раковой экспансии более регулярным, правильным, чтобы помереть в предсказуемый день под утро. Перерожденные раком клетки нужно перепере-родить; можно это или нет — но нужно только это.

Если на одной чаше весов будут лучшие экономические, политические, нравственные и технические идеи лучших умов человечества, воплощаемые лучшими практиками — но, как всегда, в мире людей, не любящих и не умеющих любить друг друга, а на другой — мир, лишенный учителей и гениальных практиков экономики, политики и нравственности, но всего-навсего на каждом месте под солнцем, где нахо-

дятся два-три человека, эти двое-трое будут связаны отношениями действительной, не деформированной, не подмененной любви, — второе перевесит. Его одного вполне было бы достаточно, чтобы человечество наладило все остальное наилучшим способом. Первому же понадобится для того же еще хотя бы одно, крайне дефицитное: любовь. Без которой всякая «добрая воля» — не добрая, а если случайно сегодня и добрая, то завтра же вывернется наизнанку — да так, что опять никто и не заметит, когда добро вывернулось во зло — и опять откажется признавать, что сам все сделал для того, сам шел к тому по мебиусовой петле.

Вот почему печально становится, когда на твоих глазах люди, неожиданно подошедшие к пониманию любви ближе, чем многие и многие, пропускают нужный поворот и на твоих глазах уходят от истины за угол, искренно думая, что идут напрямиком к ней...

Письмо третье.

Уважаемый господин К.К.!

Мы с Вами видимся чуть не каждый день, но все равно я решил написать Вам письмо. А то — только начну говорить, как Вы меня перебьете взглядом (потому что Вы думаете, что Вы как умный врач — а Вы и вправду врач хороший, во всяком случае, я к Вам привык, а неправда, что ко всему привыкаешь, — не перебиваете и даете выговориться, это, я так понимаю, часть техники Вашего дела; но Вы так умно смотрите, что перебиваете взглядом, в том смысле — путаете меня, сами того не зная). Так что лучше я напишу.

Можно, я спрошу: это что — все, на что способны ваши самые лучшие? имею в виду — самые умные? В смысле — Вы говорили, в вашем деле из всех, кого Вы знаете, госпожа Н.Н. — из самых. Я и подумал — с чьей точкой зрения еще считаться, если не с Вашей, когда не знаешь другой? — и, значит, решил: ей и покажу бумаги. Вы знаете, о чем я. О моих покойных родителях. Об этом тексте. Раздобыл ее адрес. Не так просто, между прочим. А Вы думаете, я не способен на решение сложных жизненных задач. Шучу, кроме шуток.

Я не к тому, что она плохая. Когда я говорю: это, по-Вашему, и есть самая хорошая? — то совсем не то имею в виду, что нехорошая это плохая. Она согласилась сделать, о чем я ее просил, хотя не всякий будет читать такую кипу писанины, присланную посторонним человеком, тем более отвечать. Вы и то, я считаю, их только поглядели, одним глазом (извините). А она, видно по ее ответу, прочла по-честному. Да еще подробно ответила; памятник ей за это поставить. Еще был бы я ее больным, а то она вообще не знает, больной я или здоровый, и тогда вообще не по ее части — нечего и отвечать. А если больной, то тоже —

могла бы ответить, но как у вас больному отвечают. А она серьезно. Не знаю, со всеми она так, нет ли, но ко мне отнеслась, как человек к человеку. В полном смысле — как в полном смысле.

Но только что она пишет? Вы говорите умная. Да, она не дура. Куда там. Она правильно выходит на главное: научить любить — и больше ничего не надо, все само устроится. Но именно в таком случае, когда умный человек выходит на главное, — где элементарная последовательность мысли? Она же мешает, как все вы, сколько я вас видел и читал (не все, не все, Вы — нет; шучу, если, как всегда, неудачно, простите, кроме шуток), кислое с пресным — и сама этого не видит; у нее такая стройная мысль, и, наверное, сама она стройная, да? и чувствует-ся, как она видит свою мысль — такой же стройной, как сама.

Вот она пишет о школе «милования», как она изящно выражается, об «умилении-до». Прекрасно. Взял бы портфель и сам бы бегом в ее школу. Сообщает, что западные прошли мимо такого неоценимого клада, как восточные отцы-мистики. Памятник ей поставить, если она введет Авву Дорофея, Иоанна Лествичника, Максима Исповедника и Симеона Нового Богослова в вашу науку. Хотя какая это наука, если так-то говорить? когда кого из отцов-основателей ни возьми — один оперирует «эдиповым комплексом», другой орудует «анимой» и «персоной», третий подавно — «бегством от свободы» и «целостным человеком», который почему-то «должен отвечать на вызов жизни всем собой»? Наука занимается не каким-то там «целостным человеком», а клоном, гемоглином и гаммаглобулином. По науке человек ничего не «должен», кроме как быть изучен (и этот свой долг отдаст, будьте уверены; куда он денется — не станет одного, возьмут другого, нас в запасе — будь здоров). Так что все они (хорошо бы если бы и Вы, но Вас я знаю хуже, чем Фрейда, потому что мертвого и незнакомого всегда легче узнать целиком) вовсе не ученые, а художники жизни; так ведь и святые же отцы называли свой путь «художеством», а «сердечную» или «умную» молитву — «художеством художеств»; уже то, что сердечная, по их, это и есть умственная, что надо «свести ум в сердце», говорит о них, конечно, как о поэтах, а по-Вашему говоря, творческих личностях художественного типа; и уж, конечно, они как никакие чаньцы-дзенцы могли бы прийти на помощь психоведам Запада. Возьмите египетского отшельника первых веков, а то какого-нибудь авву Герасима. Сидит он себе тихо на берегу Иордана и, хоть имеет ручного льва — да, ручного льва, мне бы такого! — и мог бы напугать, никогда не высунет в ответ язык, не заорет на вошедшего: «Убей Будду!», — а о том, что не вломит тебе палкой по балде, чтобы ты отведал полновесного сатори, про то и говорить нечего... или вот наш отечественный преподобный Серафим — говорит себе ласково: «Радость, — говорит, — ты моя», «Ваше, — называет любого, — боголюбие», — от такого милого, светлого человека

просветление само входит в душу без масла — хоть и не менее безумно, чем надо, чтобы быть гениальным, в смысле — истинным. Тертуллиан по части достаточного безумия своим: верую ровно в ту силу, в какую это абсурдно, — устроил бы Нильса Бора; это сто двадцать пять процентов. А Пелевина не устраивает. Я к тому, что Вы меня прошлый раз спрашивали, как я к Пелевину. Я не знал, кто это. Ну, взял прочел. Не только его сочинения, еще и интервью с ним посмотрел в интернете. Чего, он талантливый сводник, не в том смысле, что сводничает, а в том, что сводит — компактно-суммарно — самые параллельные вещи, о которых его занятые делом читатели знают хорошо если понаслышке, берет буддизм и Кастанеду — и выдает их заодно... или за одно, как правильно пишется? словом, за одного — самого себя. И понятно, почему все его читают — времени мало. Времени мало, жизнь коротка, а успеть хочется много серьезного, но неплохо бы и много узнать, только заодно, без напряжения, легко как по радио, а серьезно, как будто не так и легко, а как когда можно себя уважать за знания, тут тебе сразу и Будда, и мухоморов поесть, и я бы так же на их месте, в смысле, если бы занимался делом, а не книжками и грибами (я эти грибы немного, но едал, имею небольшой опыт, и берусь даже из тех колес, что можно у вас тут получить, составить такой коктейль «Молотофф», что и дон Хуан Карлос Кастанеда не отказался бы... шучу, не бойтесь). У него много есть сразу над чем подумать и остроумно, кроме шуток: да, говорит, всё в сознании Будды, да только сознание-то Будды — само в руках Аллаха; или, говорит, человеку, не отличающему Канта от Шопенгауэра, нельзя доверить дивизию, это точно, тут которые в соседнем бесплатном отделении лежат, которые из армии, я когда им рассказывал — двумя руками за, смотрите, что творится в нашей армии, а все потому, что от начальника Генштаба до прапорщика все с бодуна перестали отличать Канта от Шопенгауэра, войдет к прапорцу Артур Шопенгауэр, без знаков отличия, — тот и не икнет: видит же, после третьего стакана, вошел к нему всего-навсего безобидный калининградский профессор Кант; а войдет к генералу Иммануил Кант — генерал, после четвертого: «Кто-пустил Шопенгауэра без доклада, мать твою вволю и в представление?»; точно говорю, он прав, все дело в этом; вообще мне понравилось, как изложено, в смысле, когда раз — и ты в мире мудрых мыслей, а не всякие там образы излишних людей; я же говорю, он читателя любит, чтобы тому самому «Чжуанцзы» не читать, он трудные мысли популярно, с чувством юмора пополам, иллюстрирует, я бы так не сумел, только иногда забывает сказать, что про бабочку это он не сам придумал, а оттуда взял, но, во-первых, он знает, что все равно никто его поправит из товарища маузера, как его же Чапаев, а потом, это не грех, если делаешь общее дело всенародного освобождения от «я», какая разница, истина высказала себя устами одного Цзы или другого,

или оба иллюзорных Цзы высказали себя устами истины, нечего и закавычивать, все равно и они, и мы, и Чапаев — герои сна Котовского из сна Пелевина (я его понять могу, не знаю, как он — меня, тем более, что, если он прав, то кто — «он»? если его «я» иллюзорно, то о ком мы говорим, говоря о «нем»? Пелевин — это только сон «Пелевина», а «Пелевин» — опять сон «Пелевина» (как говорил один Цзы другому: «То, что одно — одно; то, что не одно, — говорит, — тоже одно»), но и этого утверждать нельзя наверняка, не разобравшись: а что такое — сон? правильно? а тут вообще труба: мало того, что я без сновидных не засыпаю, так еще и понять не могу, зачем — сон? что это вообще такое? почему так задумано, что без него нельзя? почему, если нам отведено каких-то несколько десятков лет, так нельзя было, дав нам этот жалкий мизер, по крайней мере дать его без введения всеобщей сонной повинности, чтобы сократить выданное еще на треть? почему такие, как я, которые сами не засыпают, зачем-то должны, не отоспав свои 7-8 часов, мало что мучиться бессонницей, так и еще и потом доходить с недосыпа? кто ответит? восточные — мастера только загадки загадывать, а западных или наших копни — эти кто в лес, кто по дрова. Один: сон — это смерть и какие сны в том смертном сне приснятся? другой прямо наоборот: сон есть не смерть, а жизнь; третий про жизнь ничего не сообщает, сон она или нет, но уж что она «кругом объята снами» — это как дважды два; и когда перемножишь одного на другого-третьего, прочтешь их всех сразу вместе — приторчишь качественно, безо всяких мухоморов, и тут тебе еще четвертый навесит по рогам, на сладкое, что лично он вообще хотел бы забыться и заснуть, притом навеки, но не холодным сном могилы; вот Вы скажите — как это заснуть навеки, но сном не могилы, заснуть навеки, но не умереть — это что за штука? сразу видно — русский, умом не понять, объясните, если понимаете, а то как начну вдумываться — голова как закружится, бывает, до утра не сплю, так и захочешь — не забудешься, задумаешься — и забудешь заснуть навеки... Короче, спит Пелевин, когда «Пелевин» просыпается, или наоборот, но компакт-литература оба делают заодно — и классно. Как Ильф, приснившийся Петрову, приснившемуся Ильфу. Да, так вот. Он (они) в одном интервью на вопрос, какое отношение у него к христианству, так и говорит (ят), буквально, что «еще недостаточно ошизел, чтобы иметь хоть какое-то отношение к христианству», конец цитаты; выходит, и он (они) понимает (ют), что буддизм, даже кастанидизированный, даже такой «поцелуй тети Клавы» (тоже Вы мне советовали прочесть, спасибо огромное, и вот такой пьющий ангел напишет за 50 лет одну тонкую книжку и всё, хочешь с ним поговорить, а он уже десять лет как мертвый, Вас это не наводит... ладно, после), — всего-навсего благоразумен, а где н а с т о я щ е е безумие — это в христианстве. Но ему (им) еще до этого — шизеть и шизеть, если сам

это понимает (ют), и дай ему (им обоим) Бог когда-нибудь понять это прямо как есть, и дошизеть, что до неба очень просто пешком; кроме шуток. Дай всем нам Бог дошизеть *как следует* — до неба пешком.

И вот, возвращаясь к нашим баранам, точнее, к одному из них, еще точнее, еще даже не барану, а барашку, беленькому агнцу, — в таком мирном виде, без высовываемого языка и палки, без уводящей от дела в сторону экзотики истина может быть усвоена западным человеком скорее и вернее. Могла бы; не набреди американцы, и первый Эрих Фромм, на дзенского пропагандиста профессора Судзуки, не сунься они в поисках нового-плохо известного-старого на Дальний Восток, по дороге промахнув Ближний. Ну, пусть. Значит, им пока не нужно. Значит, рано еще. А тем временем возникает госпожа Н.Н., а с нею новая школа психотерапии, на основе православного богословия иконы и так далее.

Ну, а теперь заходим туда, к Вашей Н.Н. Всех там милуют самих и учат, как миловать других. Вот заладилась у них любовь — такая, что все исцеляются. И я тоже хочу, кроме шуток. Серьезно, кроме шуток. Но. Как же я могу пойти в такую школу, когда все здание, весь «православный ашрам» госпожи Н.Н. — строится на песке?

Ведь она что пишет? С одной стороны, «умиление» — это великое сокровище, доставшееся нам от святых «художников трезвения», то есть самоконтроля=самопознания, и вот на него-то и хорошо бы опереться, а мы его у себя проглядели. Этот «опыт предельной реальности «я» при предельном отсутствии индивидуализма, — говорит Н.Н., — есть искомая золотая середина между слишком «западным» культивируемым «я» и слишком «восточным» утверждением его иллюзорности». Браво. Поставить памятник. Труднее всего увидеть что-то драгоценное не в далеком красивом сухом саду камней, а у себя под мокрым носом. Наконец-то — наука тоже. И я с ней: человеку, имеющему «Добротолубие», зачем практиковать дзадзен и долго ломать голову над вопросом: «Как звучит хлопок одной ладони?». Он в ответ по-простому хлопнет одной ладонью по столу: «Ответ слышал?».

Ну, а дальше? А дальше, вдруг утверждает госпожа Н.Н., — никакой, как она выражается, «вертикальной трансценденции» (а обещала обойтись без ученых слов; но буду считать, что понял). Никакого такого Высшего — значит, и никакого низшего. Понятие Единого Бога вместо Абсолюта, соприродного личности и потому содержащегося в ней имманентно (я тоже могу писать умными словами, хотя умнее от этого не становлюсь), Верховного Владыки, поставленного над человеком, могущего при-частить его себе, со-единить его с собой, но при этом — отделенного от него такой же пропастью, какой глина отделена от горшечника, ее лепящего, наделенного властью карать и награждать, — такое представление кажется ей духовно раблепным и корыстным. В

отличие от духовного аристократизма Дальнего Востока ближневосточный монотеизм представляется ей духовным плебейством; и если уж начать понимать всех других, то отчего ж и ее не понять? Она ничего такого вздорного не говорит, чего нельзя было бы понять.

Но тогда как понимать ее слова о «сокровищнице православия», о «многом драгоценном», чего нигде нет, как только там (и точно, нигде нет, проиллюстрирую от себя госпожу Н.Н., на случай, если вдруг не задумывались, о чем она конкретно, — нигде нет практики совершенствования по мере покаяния= лестницы в небо как рытья шахты=восхождения в рай при помощи спуска в ад своей души), — если оно, это драгоценное, рождается из заведомо ложной идеи? Как насчет того, чтобы узнавать «их по плодам их»? Может ли плохое дерево приносить хорошие плоды?

Конечно, это слова основателя одной из 3-х религий, стоящих на «вертикальной трансценденции», поэтому слова такого сомнительного мыслителя госпоже Н.Н. не указ. И ладно. Не доверяешь корыстно-раболопному монотеизму — на здоровье. Но только честно. Не нравится мне — практикую дзадзен без никаких. Коан сдал — мантру принял. А то всё: монотеизм — насилие над человеческим достоинством, его «вертикальная трансценденция» неизбежно деформирует людей, «особенно мужчин», и тыры-пыры — и вдруг: она же, вертикаль, родила глубоко истинное учение — коли, опираясь на него, можно вытащить человека из трясины смертельной болезни. Мышь родила гору?

Как это может быть, уважаемая госпожа? Всё вместе ложно, но «многое истинное» можно использовать. «Уникальный и драгоценный опыт» стоит на ложном основании. Так не пойдет. Откуда в таком плохом завестись столь хорошему? Почему это в губительной лжи так много целительной правды?

Вот она отлично говорит, Ваша Н.Н., о том, как все идут по пути добра без любви прямо ко злу по духовной ленте Мебиуса; а сама заплела другую такую же.

А почему? Сейчас скажу. Это не оттого, как я сначала сгоряча написал, что госпожа Н. Н. (и все господа и госпожи, которые каких только жгутов не плетут) не умеет логически мыслить. Я, пока это писал, успел передумать (и хочу, чтобы Вы признали и ей сказали: я не упертый и всегда готов посмотреть на вещи не своими глазами, потому что если смотреть на все только своими глазами, то какой смысл вообще имеют слова «смотреть на все»? своими глазами никогда не увидишь всего, а только то, что увидишь с в о и м и глазами). И понял: она мыслит еще как последовательно.

Просто у нас логики разные. Притом обе логичные.

Один человек сначала верит в Бога, а уже из этого выводит все остальное.

Например, если верит во Христа, то, значит, верит, что человек Иисус в то же время есть Христос. То есть помазанник Божий, посланник Его. Но может ли Божий посланник лгать? А Он Сам говорит, что Он не просто посланник, но и — Его Сын. Раз говорит, значит, так оно и есть. А может ли Сын Божий сам не быть Богом? Когда на земле-то единственный сын короля может не быть королем, только если откажется. Не послушается и женится на особе некоролевской крови. А Он не отказывается ни разу. Он все время говорит, что пришел выполнить волю не Свою, но Отца — вот хоть перед арестом Он так и говорит, что, если бы можно было, то есть была бы Его воля, Он не хотел бы умереть такой страшной смертью, но даже и тут Он не отказывается, а говорит — если так надо, если так Тебе угодно, то да будет воля Твоя, а не моя. Значит, все так, как Он говорит, и Он есть Бог, и слова Его непреложны, а если кто их не принимает или не понимает, или не хочет понимать или принимать, потому что толком не слышал или, наоборот, услышал толком, вник и понял — без них куда веселее, — то все равно ведь от этого ни одна звезда не отклонится от Им же предначертанного пути, и ни один неверующий в Него не проживет без Него и минуты. Так вот, Он Бог — так рассуждает верующий и продолжает: а если Бог его повторяет ему раз за разом, что слова Его непреложны, то уж так оно и есть, кроме шуток, и все, значит, что Он имеет сказать, все то так и есть, — и вот это и есть отправная точка. И тогда, если он встретится с тем, что учение Бога его ведет к «раболепию и корысти», то будет отталиваться не от себя, типа «мне противны раболепие и корысть, следовательно, учение, их насаждающее, ложно», — а: «Если это учение Бога моего, а учение Бога не может быть ложным, — если учение это ведет, среди прочего, к раболепию и корысти, то значит, не поленюсь въехать, что это за «раболепие» такое и что за «корысть». Может, если вдуматься, такая корысть бескорыстнее иного бессребренничества».

А второй человек, тоже вроде бы верующий, но независимо (ни от чего независимо, подозреваю, даже от своей веры, до того то есть верующий, что вера его несводима к его вере — интересно, да?), думает так: все религии мира есть только приближение к истине, потому что я же вот — ясно вижу: в одной религии не хватает того, а в другой другого, зато вот в этой религии совершенно точно сказано вот об этом, а в этой об этом. Именно так, как я это вижу и чувствую. Значит, из того, что тут эти правы, а там те, можно вывести, что часть истины содержится и тут, и там. А из того, что тут неправы те, а там эти, заключаем, что полноты истины нет ни там, ни тут.

Это логика не собственного страха и риска, как они сами думают (потому что если чего здесь и нет, так это страха, и не от бесстрашия тут нет страха, а от недостатка воображения, я бы сказал Пелевину, он в одном месте меня-таки зацепил за живое, там, где конец света насту-

пит так, что его никто и не заметит, потому что он наступит как теле-передача, я бы сказал ему, что, когда он окажется на передаче «Конец света», она совсем не покажется ему похожей на передачу «Вокруг смеха», а наступит полный конец смеха вокруг всего света, да он мне ответит, что я остряк-самоучка, а кому это нравится, я и сам знаю, что не остроумный, — да, а риска хоть здесь и много, но опять же за отсутствием страха сам рискующий не больно-то думает, что рискует, про что и говорит Пелевин, да только он сам из тех, о которых говорит, — хотя делает вид, что не из тех, а из других, но для тех, в смысле — других, кем он и еще этот рок-бард с серьгой, который грозитя сесть — и вправду ведь сядет, чтобы мне не встать! — в позе лотоса посередине Кремля, — для тех д р у г и х, кем они себя считают, для тех они слишком ловкие на слова и легкие на подъем), — а это логика «собственного вкуса» в области веры. Логична ли эта логика? А то. Дураков нет.

Бог на землю не приходил прямо, а только косвенно его посещает. Создав человека, ему Себя явить решил только краешком, но и этот краешек показал только людям особо мистически одаренным. Но всего-навсего людям. Эти люди — пророки, мистики, просветленные мудрецы, — увидев краешек, по своей человеческой ограниченности приняли часть за целое, каждый увидел в краешке это целое по-своему, дорисовал его по части — и в по-своему дорисованном виде преподнес людям. А теперь другие умные люди, вроде госпожи Н.Н., должны исправлять ситуацию, отделяя семена от плевел, и соединяя их в правильных пропорциях в правильное целое.

Логично. Но уж будь добра быть до конца логичной и скажи тогда: я не простой дипломированный специалист, а создатель нового учения, синтезированного мною по собственной вере из учений бывших до меня учителей. Только я исторически более прогрессивна, потому что живу позже них, и мне ясно видно то, чего не было видно им: минусы каждой из религий=одной из глубоких, но человечески несовершенных интуиций Бога, и глубочайшие достоинства каждой, которые я и отобрала в состав своего учения. Я пришла в мир возгласить новую веру как синтез старых, а это такое же новое слово, как у тех, хотя по отдельности взять — в нем нет ни одного нового словечка, которое те не сказали бы, но сама композиция старых слов совершенно нова, и перегруппированные, как одни и те же фигуры в шахматах, старые слова получают совершенно новое значение.

Вот так честно пусть и скажет Ваша Н.Н. Тогда и я смогу честно сказать в ответ: не пойду я к тебе. Волк ты, а не коза наша мама, хотя, в отличие от волка, голос перековала не чтобы съест, зачем лишнего наговаривать, а искренно желая мне помочь. За это спасибо, а к тебе не хочу.

Чего-то мне как-то не по себе. Страшно чего-то. Мне иногда кажется... хотя такие вещи вслух не говорят, но все равно... мне кажется,

что если я смотрю на все не только своими глазами, то, значит, и Его глазами тоже... хотя когда только своими смотрю, тоже получается — насколько я действительно ими с м о т р ю , настолько — Его глазами... Смотрю и... Нет, ей-богу, мне это все — не кажется. И Ему, мне кажется, все это не показалось бы! Что такое, турецкий бог, японский перец? Чему-то там по частям у Него кто-то учится, а целиком все находит ложным. А потом, находя ложным, все же соединяет «лучшее» в нем с «лучшим» в дзен-буддизме (потому что должно быть там и худшее, а то бы тогда дзен был совершенен и не нуждался в дополнениях даже лучшим из другого учения) — и так лоскутами сшивают в истину.

Даже если Он не Бог, а гениальный человек. Берем лучшие страницы гения Достоевского, отделяем от худших и сшиваем с лучшими страницами гения Толстого. Также отделенными от. Давайте вот в стык напечатаем так. Один герой грохает старуху топором, и это плохо, а другой герой тем же орудием труда рубит себе палец, и это хорошо. Если подряд это поместить, то можно подумать, что топор плох для того, чтобы других убивать, но хорош, чтобы себя калечить. И если типа того всех лучших друг с другом сшить, выйдет еще лучше, чем по отдельности, — или читать будет невпроворот? Кроме шуток.

А тем более, если Он — не просто Он, а Сын Божий и Бог.

Если не просто — вот есть такое учение, оно неведомо как, но как-то уж там когда-то где-то давно и постепенно укомплектовалось, а мы со склада мудрых мыслей чего нам нужно, то и берем (потому что там много всего на все случаи жизни), если не просто... а есть Живой Бог, который специально приходил на землю, чтобы за нас, вместо нас, страшной смертью умереть; и вот Он теперь 2000 лет смотрит, он просто не может не смотреть теперь уже 2000 лет, что люди с Ним и Его учением делают — и Он терпит, у него тысяча лет как один день, но ведь чего только Он не терпел, как только Его ни распинали, из любви к Нему же, — но нравится ли это Ему? когда Он умалился до человека, жил на земле и умер — Бог умер! это знали все еще до Ницше — Бог умер (а Ницше, пока сходил с ума, стал многое забывать, например, забыл продолжить: и воскрес)... ради того, чтобы любая госпожа или господин с самыми лучшими намерениями с Его учением что хотели — то и воротили из любви к истине. С учением Того, Кто один только и был человеком в полном смысле слова, а сам из любви к неполным людям добровольно полностью умер. Громко возгласив напоследок — так плохо Ему было. Вместо них. Чтобы им больше не умирать насовсем. А нет бы самим умереть за себя, по справедливости, — и насовсем. Тогда и некому было бы заниматься художественной самодеятельностью под видом научной селекции. Сепарировать на свой вкус Его «лучшее» от «худшего» и подвигать Его к дзен-буддизму, как будто дело в скрещивании, а не в крещении. И это кроме шуток?

Нет, дорогая моя хорошая Н.Н., Вы очень хорошая и очень умная, но мне-дураку сдается, Ему это как-то даже показывать — не того. Ему эта мелочевка вряд ли покажется. Он ради нас не мелочился. А я не хочу Ему не нравиться. Я если кого люблю, хочу тому нравиться — хоть ты что.

Я хочу держать с Ним связь. Быть в контакте. Ну да, боюсь Его потерять. Корысть, конечно. А какой любящий не корыстен-то? Что ему остается-то, кроме любимого? Он и думает, как бы сначала его любовь завоевать, а потом не потерять. А с Ним страшнее, чем с кем другим: с одной стороны, точно знаешь, что Он тебя любит как никто, что бы ты ни творил, — ведь Он же и за тебя умер, а с другой, — сколько ни старайся Ему понравиться — до самой смерти неизвестно, понравишься или нет.

Если я кого совсем люблю, я, может, и сам не хочу перед ним «держатъ лицо»; а хочу упасть перед ним на колени. И тем полететь вверх. Это наступает такой неизбежный момент — и он самый лучший миг всякой любви, а не всякие там оргазмы. В смысле, и оргазмы без него не оргазмы, если уж они нужны, они по идее из него должны состоять и только телесно оформляться как сокращение каких-то сосудов; надо так надо, я не спорю). И я готов за это самое-самое платить рабством... там после разберусь, подобает оно мне или нет.

Какое к этому имеет отношение «горизонталь»? Когда преклоняются, то всегда снизу вверх (хотя голову при этом и опускают сверху вниз — но говорят этим по смыслу всегда прямо обратное). Всегда — вверх; это преклонение никого не втоптывает в землю, а, наоборот, всегда вытгибает тебя из низины самого себя.

И вот еще тоже умная чепуха — «вертикаль монотеизма, поделив человеческое тело на высокий верх и низкий низ, привела ко гнушению телом». Да еще Завет Бога Аврааму состоял в обрезании крайней плоти — где же здесь низкий низ и какое гнушение? И Господь наш, вочеловечившись, младенцем на 8-й день, как положено, претерпел обрезание, чтобы исполнить закон, и мы теперь это Святое Обрезание празднуем. А что это значит, если так-то подумать? что в человеке Господь в с е освятил, вплоть (в плоть!) до этого самого, но только до тех пор, пока оно для самого человека свято. А если человек себя опять срамит, то все опять срамным и становится. А для того, чтобы что-то не-срамным стало, надо сначала, чтобы *вообще* существовало в мозгах и сердцах — срамное и не-срамное. Вот это то, а вот это — другое, и никаких. Правда в том, что говорит другой Иисус, сын Сирахов: есть стыд ко спасению, а есть стыд к гибели; вот это и надо различать. А «горизонталь» ничего не различает. Ей всё по фигу. И всё ей свято. В том смысле, что ей всё — Божья роса. А как может быть все свято, если нет ничего не-святого, все высоко, если нет ничего низкого? Убери одно — не то что другого, самого *понятия о другом* не будет.

Учиться горизонтали — это учиться неумению преклоняться. Зачем учиться неумению, если уж хоть что-то умеешь? Ваши дзенцы хотят научить благоговению без преклонения. Может быть, им это дом родной; а ну как мне — тюрьма? Если я лично перестану преклоняться, то перестану и любить, а вовсе не, как по-вашему, только тогда и научусь. Нет, кроме шуток, зачем мне этому учиться? Чтобы вылечиться — от чего?

От вертикали, которая деформирует мою душу, да?

А что, дорогая госпожа Н.Н., если она, де-формирует *уже деформированное*, то есть тем-то как раз — формирует? А что, если болезнь... я ничего такого не говорю, типа — побольше бы нам таких больных Ван Гогов, я же не зову никого резать себе уши, хотя, считаю, одно отрезал, так уж режь и второе, подожди до следующего солнца, вспыхнется в мозгу — и режь, для симметрии, а то некрасиво, вообще без этих оттопыренных клапанов человек лучше смотрится, но я к этому не призываю, не мне решать, Богу виднее, с ушами мне лучше или без, или зачем у мужчины на теле волосы, как у обезьяны, а у женщины оно чистое, вроде как и не обезьяна вовсе, вот и смотришь снизу вверх, как на статую, как вдруг в каких-то местах — еще какая обезьяна-то! как я! только что — была нагая, а стала — голая, как я... но Ему виднее, зачем так делать, а не целиком как мраморных, и про уши Ему, конечно, виднее; а только — вдруг эта *непроходящая* боль к чему-то вообще иному, чем болезнь или здоровье, к чему-то *вообще* имеет отношение, и впрямь о *чем-то* сигналист, что есть, хоть мы его и не видим, как боль есть и стыд есть, хоть мы их не видим? А что, если мое душевное здоровье, которое мне предстоит обрести в школе госпожи Н.Н., — что, если оно еще более нездорово, чем любой душевный вывих? Кругом же — болезнь и болезнь, и, может, если я мало что могу для других больных сделать, так — хотя бы не попру чужую болезнь своим выздоровлением.

В принципе я имею право хотеть вылечиться *духовно* — но я не уверен, что для этого обязательно надо (и имею ли право, если мне болезнь дана в удел? точнее, не так, а — если я имею право на болезнь? и не так, а — если болезнь имеет право на меня?) вылечиться от *душевной* болезни. Иногда, смотрю, это вроде как одно и то же. А иногда так посмотришь, это вещи до того разные, что им вместе делать нечего. Можно стать душевно здоровым до полной бессовестности.

И вообще, пусть госпожа Н.Н. сама сначала на себе это попробует, в смысле — любить без «возвышенного» и «низкого», на постоянном, как она хочет, нуле вертикальной шкалы. А то пару раз, пока читаешь, возникает... не «голос», успокойтесь, так, подголосок, что у нее самой чего-то с кем-то не вышло по учению (где-то в том месте, что ли, где она «не хочет быть прекрасной дамой», и еще где-то, мне отчаянно мерещится о н а с а м а, а не как врач), или, наоборот, она учение начала создавать после того, как у нее не вышло... хотя, может, ощущение мое врет, Вы же

все время хотите мне доказать (ну правда же, что, не так, что ли?), что мои самые верные и главные ощущения — врут, а Вам лучше знать, со стороны, тем более Вы такого добра, как я, навидались; тем более тогда это мое насчет нее — вообще *нипочему* возникло, может, она Мастер любви, потому что у женщин все не так, они... я, когда к нам еще гости приходили, пару раз слышал, как они между собой о своих мужьях говорят, снисходительно, точно как о маленьких, о детях, с которых что взять (тут Н.Н., выходит права, «инстинкт материнства мешает обожествлению любимого»); мужчины так не умеют... ну, может быть, кто-нибудь, я мало про это знаю, но в себе это хорошо чувствую, да, я это в себе несую: нельзя, любя женщину до зарезу, воспринимать ее снисходительно, не всерьез, типа «горизонтально» (как вот говорит Н.Н. — пришло ли бы кому-нибудь, дескать, в голову не любить черепаху из-за того, что кто-то ее уже любил обнаженной, ревновать там черепаху? — нет, не пришло бы, отвечаю, но ведь сравнение хромает, черепаха одетая в панцирь или голая — равна себе, а голый человек себе не равен, он — *другой*, в страсти он, совсем распахнутый, растянутый, сняв с себя все вертикальное, верхнее и исподнее, может быть до того *непереносимо* другим, чем за что ты его уважаешь, немного даже благоговеешь, проникаешься чувством его первородства, неотделимого от владения собой, от благородства сдержанности и достоинства дистанции... это тебе не черепаха, да вот, ее всякую можно без малейшего мучения любить, потому что она всегда черепаха, а человека — только когда... когда он не всхлип... всхлюп... свои ноги не задира... когда он человек! Царь! не лишаящий себя по чужой или своей потливости-похотливости царского достоинства!), нельзя не возвышать ее до небес и не скрипеть зубами от боли, когда ее роняют в грязь (или она сама себя с кем-то), эта боль **н и к о г д а н е п р о х о д и т**, не получается ухмыльнуться и продолжать спокойно жить, когда маляр негодный тебе пачкает Мадонну Рафаэля, это нельзя, как жить с вывихнутой шеей; и отец все правильно через меня про это сказал — про «залапанность божества», и что прекрасное — это эксклюзивное безобразное, «эксклюзивность срама», памятник ему поставить; и главное — он, может, того и не зная, правильно обозначил (иначе я не въезжаю) единственное настоящее решение проблемы: не вычеркнуть *ее* прошлое и *ее* прошлых, но и не раскатывать «вертикаль в горизонталь», в «нуль оценки», а взять всех на себя и в себя в-местить, расширить душу. Вос-принять. И *ими* всеми, их глазами смотреть на нее — и не отрываться, пока не почувствуешь, что ты и **э т о** о-своил. И с этой болью в силах жить. И когда они станут — ты, хоть на какую-то часть (потому что это правда, мы все — это мы все, и значит, никаких «их» в каком-то серьезном смысле нет, «они» и «мы» — совсем одно, хоть и совсем другое... запутался, как всегда, но только это не как у Харрисона в «I, Me, Mine», что-де «я» вообще нет, это фикция, хотя совсем рядом с

этим, но совсем по-другому: «Я» есть, а «я» — фикция). И правильно он говорит, что ему это не по зубам. И никому не по силам. А должно стать по силам. Или не решать вообще эту проблему — кому повезло родиться без этого (а скорее просто без воображения), — или решать ее именно так, по-христиански. Что значит — по-христиански, если он не был до того христианином, а говорит как раз о своем земном опыте, опыте до того? А это значит: решать ее правильно. А как правильно? А правильно всегда одно: когда невозможно так ее решить — и когда только так и можно ее решить. Когда «человекам это невозможно, Богу же все возможно». Не мне судить, но скорее всего, думаю, будешь всю жизнь мучиться, вмещая всех ее бывших в себя. А кто сказал, что ты не должен всю жизнь мучиться — и радоваться: это и есть — ты любишь. Это ты вос-принимает. Роды нового человека, который в тебе же рождается. Только обычный человек родился — и родовым мукам конец. А новый человек рождается в старом до смерти, значит, и родовые муки — до смерти. Но это я так умом думаю. Я не практик. Мой отец был практик — и не мог выдерживать. Ну, и не учит. А Н.Н. берется научить, и еще отца обзывает «интеллигибельным подвидом основной популяции человечества», это я вообще не понимаю что, приписывает ему «алчность», а он совсем не был жадный, покупал все, что попросишь, кроме мороженого, и даже когда не просишь, покупал то то, то это, только мороженого у него не проси, но это у каждого свой пунтик, а она про него говорит «центростремительный эгоцентрик», когда он не то что центр-, он вообще стремительным не был, ни таким уж эгоцентриком, потому что старался, как он говорил, себя видеть в третьем лице, а других — в первом. Как раз тут, где в лице отца Н.Н. вообще выступает против мужчин, тут-то и видно, что у нее самой что-то где-то не в порядке со своей, женской жизнью.

А спорим еще раз, я все-таки знаю, почему они вообще это изобретают? Что *мир иной есть, но в этом мире* (тем более, что это правда, но не вся, она так только начинается). То есть почему так падки на всякий дзен. Потому что люди чуткие *чувствуют* то, что люди умом умные типа академика Лосева — умом и понимали: нельзя мыслить не парами. Нет одного горячего, без холодного. Нельзя мыслить действительность этого мира, если играть по правилам, — без необходимой действительности мира иного. Или мыслишь и то, и это, или — ни того, ни другого, а пару пустяков. Так вот эти люди остро чувствуют парниковую тонкость пленки этого мира и как она так и продырявливается во всех местах ветками и острыми листьями из мира иного. Но чувство иного мира у них есть, а опыта связи с Высшим нет; вот они и уверены, что его вообще нет ни у кого и ни у чего — этого опыта Высшего. А есть то, что им известно по себе: у высших натур (таких, как они) есть горизонтальное «благоговение перед жизнью». Это такая *мистика без веры*.

Вот и неправда то, что я сейчас сказал (заметили, чтобы за собой неправду обнаружить, ее только надо сначала назвать, в смысле, пишешь то, что считаешь правдой, — и сразу обнаруживаешь — вранье; хороший способ, в нем одно плохо — всегда задним числом, всегда *уже поздно*; некоторым этот способ не подходит, потому что им нравится себя уважать, но мне в самый раз, потому что я не держусь за *свою* правду и не уважаю себя за то, что правду всегда говорю, и не презираю себя за то, что вру, это я только решил про себя, что вертикаль будет поважнее и понужнее горизонтали, в главном, а что я там несу — это совсем не главная вещь, потому я и легко сам с собою соглашаюсь, что опять неправду сказал — если ясно это вижу, правды ради... а то бы, честно говоря по неправде, я бы самым лучшим пациентом был у госпожи Н.Н; шучу, кроме шуток). Вот и неправда: они изобретают это как раз, наоборот, потому, что у них е с т ь этот опыт связи. Только с кем? Я не про Н.Н. говорю, я про нее ничего не знаю, а вспомнить госпожу Блаватскую, вспомнить госпожу Рерих, так чего напраслину возводить: они с л ы ш а л и г о л о с а . «Есть» учитель Мори или «нет», но они его слышали — и в *этом* смысле он есть. А кто будет говорить, что они или страдали глюками, или вообще специально злонамеренные, то лучше тому помолчать, чтобы самого тем же не огрели в ответ.

Я этому почему верю — но не доверяю? Потому что я тоже слышал г о л о с, но он мне о б р а т н о е говорил.

Я о чем? То письмо, которое я ей послал и над которым она голову ломала, и написала, что обоих, и мужчину, и женщину, надо лечить, — а потом и припиши: да, все бы хорошо, но вот только — упорно слышится мне в мужчине женщина, а в женщине мужчина; и если это так — а поверьте мне (это в смысле — я ей должен поверить) — это так, то тогда, мол, лечить их бесполезно — они не дадутся, они в самом виду истины свернули за угол, решили, что исцелены и тем самым отказались от лечения и теперь неизлечимы, потому как лечить можно только истиной, а истина несовместима с комфортом, который они оба выбрали, приняв его за истину. Да, примерно этим сложноподчиненным предложением мне ответила Ваша госпожа (не в смысле наша Госпожа, как говорят Нотр Дам, или Либфрау, или Ауэ Леди, а просто — госпожа и госпожа)... так вот, то письмо от лица мужчины и женщины, которое я ей послал, это письмо моих покойных родителей, то есть, точнее, моего отца и его последней жены, которую я считаю матерью, которая заменила мне ту, что, родив меня, матерью не была. Об этом письме, составленном ими незадолго перед внезапною их смертью (которую оба, видимо, предчувствовали, а то бы не написали такую длинную бумагу, которую я рассматриваю как духовное завещание), Вы знаете, я Вам говорил и даже показывал, хотя Вы только проглядели. Но я не говорил Вам, что на самом деле никакого письма не

было. То есть оно было, но п е р е д смертью они его не писали и мне не оставляли.

Но вот вскорости п о с л е их ухода я почувствовал неудержимое желание написать это письмо от их имени. Сначала я не мог понять своего желания: как я могу писать от имени обоих? Но оно не проходило, не давало мне покоя, ну, тогда я и начал, просто чтобы только от него отделаться. И вдруг они внутри-снаружи меня как заговорят, так что все время я вообще не думал, а просто попеременно слышал в себе то его, то ее. Я как слышал, как оно то поочередно, то вместе шло, так и записал, не всегда и разбирая, кто говорит; да и до сих пор совсем не все разбираю.

А теперь она и говорит: мужчина *перевоплощается временами в женщину, а женщина в мужчину*. До общности слов, выражений и знаков препинания.

А потом и говорит: беда в том, что оба сохраняют каждый свою формулу души как не требующую изменений. И это оттого, утверждает она, что оба расположились в жизни с комфортом, со всеми удобствами, для чего изобрели фигуру «неизвестного друга». Которого нет, и потому интерактивная связь с ним невозможна, а значит — перед нами пустой и бесплодный «перенос» и «проекция» «остатка чувств». И это вместо того, чтобы полюбить друг друга без дураков. В смысле — без «остатка».

Она понимает вообще, Ваша Н.Н., что говорит? Она головой — думает?

Я вот, когда прочел, что записал, — подумал.

Думал-думал и ничего другого не удумал, кроме как — да ведь если Ваша Н.Н. права, т а к а я общность людей совершенно разных (я-то же знаю и отца, и «мать»), сошедшихся к тому же во второй половине жизни, когда уж поздно меняться, — такая со-общаемость, до взаимоперевоплощения, как раз и говорит, вопреки Н.Н., не о сохранении, а об изменении формулы души! А само это изменение безо всякого желания изменять и изменяться — говорит о появлении в их жизни *чего-то*, которого раньше, до их соединения, не было. О присутствии, а вовсе не об отсутствии в их жизни главного для них обоих: «неведомого друга». «Неведомого», но не «пустого» места на святом месте! И не из-обрили они его, а просто обрели.

Тут Вы, конечно, скажете, Вы просто должны сказать, я на Вашем месте просто обязательно бы сказал: именно-именно, дорогой К. Они его обрели. Уже обрели. Ведь если они на самом деле диктуют тебе письмо после своей смерти, то могут диктовать его только оттуда, где после смерти люди только и могут быть живы: с того света. А если он есть, и они там, то уж, конечно, только потому, что есть Тот, кто их оживил, и они его, значит, тут и узрели, обрели в прямом смысле, правильно

ты говоришь. А вот теперь и объясни — почему же они с того света по-прежнему говорят о нем так, как будто еще на земле, еще не знают: не как об узренном Боге, а как о «неведомом Друге»? Почему «она» говорит в одном месте, что не знает, кто Он — Бог, Абсолют, Космос, Природа Вещей? Может ли «она» уже и там не знать, как оно на самом деле? Или уж Он есть, или его нет; а по письму — это им и там неясно.

И думаете: теперь-то я поставил его в тупик. Теперь он поддастся на мою врачебную провокацию с лучшими целями — и должен будет как-то нестандартно проявиться, а я его проявление проанализирую. Видя Ваши истинные, излишне хорошие намерения, отвечу нестандартно спокойно. Спокойно отвечаю: а — из снисхождения так говорят. Не из снисходительности, а из снисхождения. Потому что — с земным человеком. Стронуть его бояться, чтобы он совсем не тронулся. Передают знание в том виде, в котором они его сами на земле предчувствовали и по себе знают: в этом, приговорительном виде его принять — можно. Потому что мыслящему человеку весть подают. А мыслящий человек мыслям не доверяет, он с ними на слишком короткой ноге — ему весть подать лучше в форме чувства; а еще лучше — в форме предчувствия. Что Вы хотите, чтобы они мне сказали? «Сынок, мы на небесах. Все в порядке. Бог есть, Он тут рядом и передает тебе привет»?

Ладно. Тут Вы подходите к делу с другого бока и, конечно, говорите: ладно. Пусть так. Ну, а ты не допускаешь, что как раз то, что оба не желали ни от себя, ни от другого изменений — а вовсе не какой-то там «друг» — органически изменило обоих, незаметно для них самих слило воедино? То есть произошло то, чего раньше они оба так хотели всегда от другого, но это-то диктаторство и вело их к прямой противоположности цели, а вот теперь, как бы нехотя... как только и происходят самые важные вещи... как ты засыпаешь только когда не думаешь, что должен как можно быстрее заснуть... И не надо никаких неопознанных объектов, когда все опознано субъективно.

Я все допускаю, даже недопустимое. Вы даже не представляете, какие недопустимые вещи. Допустим и это. Это-то еще куда ни шло. Вполне правдоподобно. Но спрошу и я Вас.

Ну, а я? ведь это не они сами, это я записал за ними их текст. Откуда бы, если это всего-навсего и х субъективное дело, взялся он во м н е ?

Галлюцинация.

Правильно.

Крестившиеся три тысячи народа в Иерусалиме на Пятидесятницу после проповеди апостолов — массово галлюцинировали (слухово), что к каждому из них эти малограмотные рыбаки обращаются на языке тех стран диаспоры, откуда понаехали все эти люди на праздник. Ученый фарисей Савл на пути в Дамаск, где собирался от полноты идейного сердца пересажать всех христиан, обратился тоже под влиянием

галлюцинации. Мохаммед у вас тоже эпилептик, но это ладно, с этим спорить не собираюсь, хотя лишнего на себя брать и утверждать наверняка тоже не стану. В общем, памятник нам поставить: в центре фонтана стоим мы, в своем уме. В высоких струях своего ума. А вокруг — клумба. Цветочки на прахе колумбария бедных безумцев. Всяких блэйков, сведенборгов, андреевых. То, что он видит как розу мира, на самом деле анютины глазки. Душистый такой табак.

Почему нет? Кроме шуток, почему нет.

Имейте только в виду, между прочим, на минуточку: это всего-навсего события, на которых всего-навсего стоит вся дальнейшая история. Которая и привела к нам. К тому, что мы — это мы, такие, как есть, и видим всё так, как видим. И смешнее всего, что всерьез объявляем все это, именно это и только это, приведшее к нам, галлюцинацией и вздором — *мы же сами*. Опираясь на что? на заключения *нашего* ума. Да ведь серьезно к нему относиться и можно-то только, пока он сам серьезно относится к тому, на чем стоит. Пока не объявит себя порождением галлюцинации. Вы же согласны, что «менталитет» наш порожден *нашей* цивилизацией. Вот мы всё видим в прямой перспективе, прямо перед собой вдаль. А китайский «пейзаж гор и вод» писал человек, который то же самое видит совсем по-другому: сверху вниз. Потому что сама его оптика порождена другим навыком смотрения. Его так его цивилизация вышколила. А нас — наша. У конфуцианца добро — это подчиняться властям и законам безоговорочно. А у нас — только если власти и законы не противоречат нашей совести. А сама эта совесть — откуда взялась такая, а не другая? Да и совесть эта, и наша цивилизация, и все было бы другим, если бы не ничем, кроме чуда — или галлюцинации — не объяснимое обращение гонителя христиан Савла во всемирного апостола Христова Павла. Выбираем чудо — продолжаем относиться к себе серьезно. Выбираем галлюцинаторный бред — тогда мы дети бреда и так в бреду 2000 лет бредем. И даже не знаем в бреду, взаправду ли бредим, или в бреду «правду» за «бред» принимаем, до того сбрендили.

А я заявляю — никакая не галлюцинация то, что я записал. И это не как шум в ушах, как в последнее время, я Вам говорил, он все чаще и все усиливается, страшный шум во мне и вокруг. А это связный текст о том, о чем я мало знаю. Как мне об этом знать? Мой мужской опыт... о нем чего и сказать-то, все, что можно и нельзя, я Вам уже рассказал, и больше Вы ничего не добьетесь, потому что больше ничего и не было. Вот и выходит, скажите Вашей Н.Н. Хотел бы я, чтобы все было иначе, и я был бы хотя бы таким любимцем женщин, как отец (он жалуется, что у него не было случайных связей — у меня почти не было *и к а к и х*).

Нет, это *они сами* через меня мне же подали *голос*. Голос из двух голосов, и тут Ваша Н.Н. как раз это почувствовала (памятник ей поставить) — одно дерево с разными дуплами, и из них оно говорит —

на голоса (но не думает: а что бы это значило? рано ей ставить памятник). *Оно ими говорит*, я ясно говорю?

А почему — еще раз — почему — вот что ее спросите — почему они срослись в одно? я настаиваю, что это никакая не «закольцованность», а если близнецы и есть, то не однойцевые, как она говорит, а сиамские, о которых не скажешь даже — при двух головах у них две души или одна на двоих; и я никакой «тотальной иронии», как ей слышится, не слышу, сколько ни напрягаюсь, в словах «жены» о том, что «муж нравится ей не тем, кто он есть, а тем, кто он не есть»; даже если это отец как бы сам о себе говорил во мне от лица «матери», перевоплотившись, как Н.Н. предполагает (это может быть, я ведь не знаю, кто из них на самом деле через меня что говорил, может, какую-то часть каждый говорил сам от себя, какую — то — от другого, а может, там вообще нет «себя» и «другого», а каждый чувствует другого в себе и себя в другом и еще тысячи других в себе и говорит от всякого лица, всеми голосами); ну, говорит он о себе в 3-м лице и хвалит сам себя от имени другого, ну, и почему это ирония? что уж, себя и похвалить серьезно нельзя? если я к себе спокойно отношусь как к другому и ясно вижу, что во мне хорошего? Тем более его не так уж много, глаза не разбегаются. Нет, они именно срослись, я в жизни ничего от лица другого от них не слышал, так ей и передайте от лица компетентного лица. Вот пусть она и объяснит почему. А не может, так я сам объясню.

Потому, что именно не поверили рассказам о «настоящей любви», а послушались своего чутья и поверили только в Неведомого Друга. Не в «неизвестного», как она выражается, а — неведомого. Не в химеру, а в реальность. Вы, может, и не знаете, а вот госпожа Н.Н., начитанная в таких вещах, конечно, помнит, что в Афинах, по словам апостола Павла, тамошние жители поставили алтарь «неведомому Богу». Вот Его-то, Того, на ком только и могут сойтись все люди — на вере в единого (но только *до имени*, именованя Его; после называния Его по имени все всегда расходятся в вере — и они правы) Бога, — Его, а вовсе не пустое святое место, не призрак, не проекцию их неудовлетворенного чувства любви (как Ваша Н.Н. безапелляционно пишет), почувствовали и полюбили отец и «мать».

И это Он их надо-умил, что, если Он выше всякого определения, Он — неназываем; если Он больше всякого определения, то больше даже и того, что Он — «есть» (хоть Он Сам о себе и сказал, что он есть Сущий, то есть Он есть Тот, кто — есть, но Он выше даже собственного определения). Он *должен быть и не быть — одновременно*.

И дальше, надоумленные, любили друг друга не напрямую (думаю; а то бы не вышло того, что вышло), а окольно — через Него. Только эта тяга к Нему и была в них — общей, только Его они и чувствовали — одинаково. Только в Нем, значит, и были — едино.

И не о том они вовсе говорят, чтобы, как Н.Н. поняла, любовь, предназначенную человеку, спутать — и подменной любовью полюбить Бога, а о том они говорят, что у кого не получается, мало ли почему, любить настоящей полной любовью человека, тому все равно дана еще любовь, к Богу, и вот ее-то они и путают всю жизнь с влечением к инополоым людям, и страстно «трансцендируют», а потом, набив себе кучу шишек, понимают, в чем дело, и направляют по адресу, и ничего больше не хотят, как предложить Ему свою любовь. И он по одному этому, по соединенности с Ним, Он их, хотя они о том не просили, их — то ли еще тут, то ли уже там, не пойму, а спросить некого, но, насколько я их помню, все-таки уже *там* — соединил Собой между собой. Вы скажете, что-то уж больно жирно будет. Так каждый будет любить друг друга опосредованно, а получится — непосредственно. Может быть, я не знаю. Только знаю, что они всегда были очень сдержанны друг с другом, и если срослись в один ствол, то потому что нашли простой способ полюбить друг друга как-то *в обход* своей сдержанности; они тянулись к Нему, а когда притянулись, оказались совсем рядом и друг от друга. Но, думаю, я ошибся (хотя могу, конечно, ошибаться, что ошибся), думаю, не настолько они все же притянулись к Нему, чтобы в Нем и соединиться. Тут мало одних тяготений и всяких там порывов, это Вы правы (хоть Вы этого и не говорили, но я вижу, что Вы так думаете), что тогда больно жирно будет. И все равно — уже так близко, что их нельзя было не, их как-то надо было уже совсем соединить. Но Собой Он не мог их еще соединить, и Он их соединил — мной. Понятно, да? Ну, я не знаю. Понятнее не умею.

Потому что она и вправду меня любила больше родного, может, даже больше чем он, она не стеснялась говорить мне ласковые слова перед сном, хотя я был уже взрослый — и всегда, с рождения, был ей чужой ребенок, но она не стеснялась меня любить, ведь ласковые слова надо еще уметь говорить, я на дешевку с детства не покупаюсь, для этого еще надо на самом деле захотеть их сказать, чужому взрослому сыну, который не может вовремя заснуть и злится на себя и весь мир, и на нее, да, ведь я уже не лапушка, у меня уже ноги пахнут не детским молочком, чужие ноги не как у родного пахнут, когда ничто плохое не мешает, а вот она меня любила как совсем своего, я бы сразу почуял, если не совсем; но и он, отец, он меня любил. Когда я понял, что самое интересное это огонь, и нет ничего лучше, чем самому поджигать огонь и всматриваться, как он делится на три слоя красно-желтого-белого света, три языка в одном, и я подумал, зачем мыть руки, если огнем еще чище, это самое чистое, и поставил руки, и после больницы все только и ахали, что в моем возрасте нельзя подпускать близко к огню, а тем более давать в руки, — а он один говорил тогда, что теперь это совершенно безопасно, что я умный, мне на все достаточно одного раза,

одного опыта, и мне показывал, как работает зажигалка, и я понял, что ничего интереснее на свете нет, и тогда он начал мне их дарить, отовсюду привозить, и никогда не боялся, что я себя или хоть что подожгу, и я так никого и не поджег, а в итоге собрал сорок семь, даже одну зажигалку-пистолет. И к тому же он терпеть не мог даже домашних животных, потому что из-за них нельзя в отпуск спокойно поехать, не на кого оставить, а меня водил в зоопарк, когда я узнал, что гепард самое быстрое животное в мире, но боится огня, а я не боюсь, и мне захотелось посмотреть на огонь их глазами. И мы пошли, и я поглядел, их глазами, и испугался, потому что огонь вдруг стал страшный, но только пока я как они, а когда я опять я, мне он не страшен. Если к нему не приставать и руками его не трогать, то и он тебя не тронет. Он же живой. Вообще-то я все это Вам рассказывал, но ведь Вы сами просите, чтобы я рассказывал даже старое, если оно вспомнится, потому что вспоминается всегда по-другому, чем до того, с другими деталями, может, Вам пригодится. Например, я вспомнил, что мой отец летом ходил всегда в белых брюках и сам их всегда отглаживал, чтобы стрелка была как отточенная, даже на пляже сидел в белых штанах и летнем белом пиджаке и не раздевался. И еще он, когда я ему вечером что-нибудь рассказывал, никогда не перебивал, хоть час говори, а только ложился на диван, я у него в ногах, и он слушал-слушал, а потом скажет: «Ты рассказывай, рассказывай, а я помолчу, это очень интересно, это я потому молчу, что интересно слушать», — и я еще час говорю, а иногда вдруг смотрю — он уж спит, и улыбается во сне, тихо так, что никогда и не усмотришь когда, хоть специально следи, может, две минуты назад, а так и не перебил ни разу, вот это была психотерапия, столько давать говорить и спать так сладко, что самому за себя приятно, что так хорошо с интересом его усыпил, всем бы такую. А один раз отец мне сказал, что французы умеют поджигать мороженое, а потом есть в обожженном виде, кроме шуток, я потом узнавал и запомнил на всю жизнь, это называется *фламбировать*, представляете — м о р о ж е н о е г о р и т, самое вкусное горит как самое красивое, самое холодное как самое горячее, а один раз к нам на пришел отцов приятель, и он мне говорит: «А больше всего в жизни я люблю мороженое. Я за раз могу съесть килограмм мороженого», — и я не поверил, мороженое же страшно вредное, даже в малых дозах от него страшный диабет, поэтому мне его редко давали и немного, а отец потом сказал — это правда, он так же любит мороженое, как ты, только ему нельзя запретить, он взрослый и может съесть сколько захочет, а через неделю отец пришел грустный и сказал, что тот человек вдруг сегодня ночью умер, и я подумал — сколько же он съел мороженого? и как же все-таки они были правы, что не часто мне его давали. И тогда я расхотел быть взрослым, если от того, чего никто не может тебе запретить, только и можно, что помереть. И

он иногда читал мне на ночь взрослые книги, даже такие, которые не развивают, я долго не мог понять, зачем пишут книжки, которые не развивают, не сообщают нужных знаний, так называемую художественную литературу, но однажды он мне зачитал из одной (американской, кажется, но это все равно чужей, всякая книга — даже не того, кто ее написал, а только того, кому она интересна) про одного дурачка типа дауна, который сам не знал, сколько ему лет, то ли три, то ли тридцать, и я тоже не понял, сложно написано, не то что у Канта, у него только кажется, что сложно, а на самом деле только напрягись — и все четко выводится из предыдущего, а здесь все из-под пятницы суббота, но этот дурачок зато лучше моего понимал огонь, и когда огонь уходил, он плакал, а потом огонь опять на месте, и он говорит — позади меня огонь пришел, или — огонь вырос, а то еще — огонь пахнет болезнью (а сестра у него пахнет деревьями; а я так никогда и не узнаю, чем пахла моя сестра, потому что у меня ее нет; у меня ее вообще все время никогда не было). И тогда я понял, эти книги как раз самые полезные, потому что ни химия, ни физика про огонь не говорит самое важное, что он пахнет болезнью; я понял, даже стихи бывают полезные, а не только люблю грозу в начале мая, и позже много прочитал всяких стихов и прозы, но всегда удивлялся — почему это один человек может написать такую неотложную книжку, как «Крейцера соната», до такой степени правильную, что с ней никак нельзя согласиться, — и этому же человеку не лень накатать совершенно необязательную книгу вроде «Анны Карениной», не лень семьсот страниц рассказывать про всякие вещи, которых уже сто лет как нет, да и не надо, вроде ручного сенокоса или скачек... зачем? Зачем нам знать, как сено косили? Любит кто грозу в начале мая или в конце октября, мне какое дело? Книга должна быть такая, чтобы людям глаза открыть на то, чем они всегда живут (а не видят), что всегда при них (а не знают), даже когда все сено скошено. Вот возьмите — «Идиот». Во-первых, уже название кле-вое. Не захочешь — прочтешь. А как прочтешь, поймешь, что не зря. Кто-то же должен хотя бы раз в тысячу лет напоминать, что слабый сильнее всех сильных. Особенно сейчас это забыли начисто, а ведь нарвутся — поздно будет. И до какой степени в больном человеке приятного мало, не как у Диккенса тихо-мирно, съедобно умирают, нормальные больные, а как он может быть нормальным-то, когда он — больной? в смысле — съедобным-то? а все равно пора уже и его полюбить — других-то уже все расхватали, разобрали нормальных, по интересам, любить-то всем хочется, но всегда того, кого нравится, а всем нравится любить по интересам... и вообще кто-то должен был на весь мир сказать, что вся штука в том, чтобы понять не только себя, но и не «другую точку зрения», а просто — всякого, самого ехидного и нахального, а то у нас умные люди вроде ученого дьякона Андрея Кураева

упражняются только в умении быть сами-правыми, всегда правыми, всю логику на то бросают, чтобы доказать одно: в чем все остальные, кроме них, неправы. А какой интерес доказывать то, в чем ты заранее, и без доказательств уверен? Ты докажи то, чего ты еще не знаешь, как оно выйдет, когда ты его докажешь, — и вот тогда это и будет настоящее, непредвзятое доказательство. А то берутся доказывать, что настоящая, правильная любовь к Богу — только у них, а сами по дороге раздают оплеухи направо-налево, так что видно — им бы сначала просто полюбить, хоть кого, чтобы понять, о чем они вообще говорят, что такое любовь, а то ведь никогошеньки не любят, не обучены, как и Ваша Н.Н. говорит, или вот как в «Идиоте» эта Аглая говорит: нет там правды, говорит, где одна правда, а любви нет, — хотя и сама никого не любит. И все пекутся только о своей правоте, как будто на самом деле есть «свое» и «чужое», пора хоть кому-нибудь и вора тактично не обидеть, и убийцу погладить по голове. Брошенную Аглаю там все жалеют, а Рогожина никто, кроме князя. А я бы даже и ее пожалел, но только после Рогожина. Кому из них хуже? Ведь она никого так и не убила. А он эту Настасью не зарезал, а заклал, как на алтаре, считай, она сама его просила, чтобы она через это невинная воскресла, но все равно, хоть и из высоких чувств, — он убил. Ты попробуй сначала убей, кого любишь, даже для его же пользы... Кроме шуток, я считаю, если бы на любого, даже безнадёжного хроника типа Ленина, нашелся бы Лев Мышкин... правда, он профилактически ничего не может, он только *после* убийства гладит по голове, но все-таки... если бы сразу после *первого* раза, когда Ленин как врежет кому-то первому по башке, его бы в ответ по башке погладить, не нарочно, а любя, и не бросать любить от отвращения (потому что когда привыкнешь людей изводить списками, сразу остановиться трудно) и гладить (он опять грохнет по списку человек пятьсот, а ты его гладишь, не программно, а просто любишь, хоть убей), он может, тогда не вошел бы во вкус — необратимо. Может, он вообще образумился бы и бросил это дело.

Да, и отец разговаривал со мной обо всем «взрослом», вообще про это все... а один раз он сказал, я помню, самое странное во всем этом, говорил он, что мы придаем такое значение любви, о которой толком мало что знаем, и стремимся к ней, к которой совершенно не готовы, что делать с ней — не в курсе, не можем ни жить в ней, ни сохранить ее, — так что для нас на самом деле гораздо лучше, что мы чаще всего никого не любим, и нас — никто. Иначе только и происходили бы, что настоящие трагедии, а так они все же происходят среди ненастоящих, только через два раза на третий.

Да, так они *мной* и слепились, я собой их связал, это я уже говорил, хотя связал и не сам (и не собирался!), а по Его воле (почему отец, понятно, но почему она-то так меня любила, все же никак не возьму в

толк? текст, продиктованный ею, что-то разъяснил мне... но не совсем, совсем не совсем...). Хотя Вы делаете вид, что не верите (я понимаю, мне же легче будет, если и я перестану верить), но я еще раз скажу: я знаю, что они и умерли из-за меня... за меня. Они хотели, чтобы меня было на что... чтобы мне было хорошо по крайней мере у Вас, чтобы Вы меня слышали и не перебивали, а такой Вы, у которого хватает времени каждого такого, как я, слушать и не перебивать, стоит денег, и они их достали, а сами влипли и погибли. Ведь так же было? В смысле — он влип в историю (Вы, конечно, знаете, в какую — только не говорите мне), а она с ним заодно, ведь они уж не могли быть — не заодно. После того, как Он их слепил опять вместе, как будто до сотворения Евы. Понимаете, о чем я? Что Ева уже в Адаме — была, Он ее только — отлепил, вывел вовне, чтобы Адаму было виднее, потому что «адаму» всегда надо все показать и з в н е , глазами, а то он — не увидит. Ведь так же было, как я думаю? правильно? Я не про Еву теперь, а про родителей. Так? Вы потому и не можете убедить меня в обратном, что сами знаете — я прав. Они умерли, чтобы я жил по-человечески (раз уж я такой человек): у Вас, а не в Кашенко.

Но я не хочу больше у Вас. Я хочу к ним. Они все время меня отдавали лечить, думали, мне рано или поздно станет хорошо. Они всё не могли понять, что мне уже хорошо. Мне только с ними и хорошо. Когда зимой греют батареи и можно ногами уткнуться в батарею и даже ни о чем их не спрашивать, да их и дома не было, а я знал, что они и так меня любят, когда их нет, а тем более когда они есть, а мне и так хорошо, потому что тепло, и целый стакан каленых семечек, и книжка о Шерлоке Холмсе. Терпеть всегда не мог всякой фантастики, всяких межзвездных пространств, всяких подземных гобблинов. Это все выдумки. Нигде нет ничего, кроме Него и нас, а если и Его нет, то и нас нет, просто нет ничего, а есть только «остальное», про которое и сказать-то толком ничего нельзя по определению, да и неохота. Но Он есть, потому есть и теплая батарея, и Шерлок Холмс, и течет время, как вода по батарее, а иногда батареи забиваются черным мазутом и время останавливается, и наступает самое сладкое провисшее время грызть семечки, а кожурки складывать в блюдечко, читать про пеструю ленту и думать, она раньше приползет или они придут раньше, а она их побоится; а придет время, и время кончится. И я попаду, где мы все были дома навсегда, все и навсегда, даже когда у нас не все дома.

Я хочу к ним, и знаю, они хотят, чтобы я был с ними, чтобы где они, там и я. Настало время, когда у нас в России все окончательно, уже совсем по-настоящему захотели к своим. Я раньше думал, почему Россия себя так не как все ведет во все времена среди всех народов. Почему мы такие самоубийственные, погибельные люди? и самоубийственные-то глупо, погибельные-то тупо? другие для разнообразия хоть из

интереса чему-то учатся, глядь, а немцы уже совсем не как при Гитлере, и американцы уже другие, чем парни времен Вудстока, и японцы уже никакие не камикадзе, а мы всё как плевали себе в бороду, а другому в суп, так и остаемся плевать, тем же макарон, и никому отчета не даем, как будто никто кроме нас не человек — а мы и подавно. Потому что себе-то отчета не отдаем в первую очередь. Вот что не давало мне покоя, кроме шуток. Или мы вправду Богом ушибленные? Тогда почему Он нас совсем не приберет? Все же люди как люди, а мы не — как. Мы как из Заира (или где — всегда гражданская война?). А сами белые, как Тюдоры. И Монморанси. Зачем мы белые, когда нас все другие белые за белых не считают и имеют на то основания? Но мы и не как желтые и не как черные. Мы народ совсем особый. Тогда что бы Ему нас не отметить отдельно, как никого? Зеленым или оранжевым? Вот что меня донимало, Вы знаете.

А не помню, знаете ли Вы — хоть я не говорил Вам, но я понял. В смысле второго вопроса. Насчет почему мы белые, этого никто из нас не понимает, не то что из них; это только если Бог Сам захочет, тогда Он и скажет. Но я понял, почему мы так себя ведем. И когда понял, то перестал стыдиться своего народа, а начал уважать его как Йорка и Ланкастера. Кроме шуток. Мы, как и все другие, не ниже всех других. У нас тоже есть *свое*. Иначе и быть не могло: Бог не создал целый большущий народ напрасно — или только в поучение другим. Бог нас не забыл и не ушиб. Он сполна снабдил нас *своим*. Но только это вовсе не идея, никакой «русской идеи» нет, и не нужно, идеи могут быть только у недостаточных народов, которым нужно еще идею осуществить, идея — это лестница в будущее на пути к недостающему в настоящем, по которой надо еще с трудом подняться. А недостаточных народов нет, иначе бы этих народов вообще не было, поэтому нет и никаких национальных идей, их только выдумывают, а есть чувства. Так и мы. У нас тоже всего недостает в настоящем, у нас тоже вместо выдуманной идеи — прямое чувство, простое видение сути дела, когда уже и делать ничего не надо, просто жить своим чувством. Другие народы пусть каждый показывает по-своему, как надо жить; а мы вовсе — не как не надо. Мы вообще *о другом*: всею своею Не-путевостью мы говорим: э т о т путь только для жизни на земле. А нам чего на этой вонючей земле делать-то? Не в том смысле, что жить не нравится. Наоборот, даже слишком нравится. Поэтому хочется, чтобы еще сильнее, хочется усилить и разогнать до степени рая. Потому что как можно определить человека? Человек — это кто создан, чтобы жить в раю. И мы, таким образом, люди в наиболее полном смысле слова. Нам хочется в рай сильнее других. В смысле — если не радоваться, так и нечего жить. До того, чтобы уже сейчас в рай. Однажды все разом как ухнут в этот земной рай, а там ад. И теперь говорят — нечего было лезть. А я скажу — спокойно, все к

лучшему в этом худшем из миров, этот опыт был необходим, чтобы теперь мы в основном опомнились, вспомнили, на каком мы свете, а на каком — рай. Мы потому всё и делаем якобы во вред себе, что *не земля нам дом*. Это есть наш основной инстинкт, а не в койку, не эрос как танатос, а танатос как эрос, смерть как обретение полноценной жизни. Понимаете, да? Некоторые наши на земле в гостях, где хорошо, но дома лучше. А другим нашим земля — штрафная зона, а Богу полигон, Свои замыслы-воплощения=нас — испытывать. А мы хотим побыстрее освоиться, сокращенно срок отмотать — и домой. В вечный общий дом. Где хорошо без никаких, а не *при условии и до тех пор, пока*.

Потому-то Господь и не попускает нас повергнуть в прах окончательно, как Германию и Японию, потому что без этого им было не научиться правильно жить на земле. Это их задача. А у нас такой задачи нет, а прямо противоположная задача, и мы ее всегда выполняли и выполнять будем; мы и без разрушений до основания все равно всегда опоминаемся и выходим на свой путь. Когда мы вдруг ни с того ни с сего начинаем процветать, в смысле земное начинает в себя затягивать, мы вовремя себя укорачиваем через что-нибудь такое, чтобы жизнь медом не казалась. А когда уж совсем карачун — слегка вылезаем из удавки, слегка поднимаемся, слегка освобождаем пояса, чтобы не через силу мучиться, чтобы умирание могло идти своим спокойным чередом. На самом деле мы действуем не во вред себе, а на пользу — не из жизнеотрицания, а как раз наоборот — ради жизни *не на земле*. И саботируем людоедский, тленный земный порядок жизни самым органичным, естественным, ежедневным способом — живем так, чтобы побыстрее остальных умереть. Зря только, опять говорю, некоторые наши думают — где *свое*, там тебе и идея, а где идея, там и миссия, а где миссия, там и мессия.

Мы свое дело — помирать — делаем по-настоящему. А все, что человек делает по-настоящему, он делает не для поучения кого-то, а для себя самого. Это ему так хочется. Не наше это дело учить тех, кто не спешит из гостей, кто чувствует себя здесь как дома, кто не соскучился, как мы, по небесной родине, а потому готов на небо хоть через преисподнюю, лишь бы быстрее. Но напоминать им всем мы имеем право, и это наше назначение, если его выполнять тактично, то есть юродиво, то есть именно себя выставляя дураками, а не их; и в основном мы свое главное дело так и делаем: как деликатная, цивилизованная нация. Чем меньше они понимают, до какой степени мы деликатны, чем больше принимают нас за дураков, тем, значит, тоньше делаем мы свое дело.

А то — учить. Безумный русский гений Федоров хотел воскресить всех отцов навсегда. Хорошо умный русский человек, простой русский народ его жизнью поправил: перепутал ты, батя. Перемудрил. Проще надо, отец. То же самое, но проще. Истина же проста: они все и без тебя, и так воскрешенные — и ждут тебя, а это тебе надо воскреснуть — и

попадешь куда всю жизнь мечтал. А чтобы воскреснуть и надо-то только что? умереть.

Западные тут будут долго домирать, думая, что продолжительно живут (а сами только вялотекуще гибнут, за металл — а против чего гибнут, Бог один знает, а я врать не буду), а мы уже там, где — как оживем навсегда! как заживем полной жизнью!

Все приличные люди давно уже ожили. Кто домирует здесь — и кто уже дома? Вспомним, кого мы знаем, всех, кто живет и кто уже помер, — сравним их и подумаем: где, с кем нам лучше? и кого где больше из тех, с кем нам лучше? с кем хотя бы в три недели раз хотелось, по-настоящему интересно было бы поговорить? А? Вот и я о том.

Я хочу, чтобы всякому было хорошо, ну, и мне как всякому. Пора нам всем домой, к своим. Домой, братья и сестры, домой! пора, пора, летят перелетные птицы. Шумят крыльями во мне и вокруг. Засиделись мы здесь, на земной чужбине, вдали от родины. В разлуке. Зачем это разлучить меня с родителями и святыми, а свести с соседом по лестничной клетке? И даже у кого еще остались родители... ведь у каждого, кроме родителей, есть и другие свои, а где они здесь? Хорошо, когда человек за «жизнь» приобретет и удержит двух-трех друзей, а у многих — при мне многие жаловались — и того нет. И не знают, где их взять. А там? Там каждый попадет в общество знакомых ему, желанных лично ему собеседников. Нужно старца Силуана — первым делом увидишь старца Силуана. Потому что «времени больше не будет». А где нет времени, там какое же может быть пространство? Если нет времени перейти из точки «а» в точку «б», то и самого этого расстояния между точками — нет. Значит, нет такого места, где не было бы старца Силуана, потому что там вообще нет м е с т а. А кому нужно Достоевского — не сможешь найти места, где не было бы Достоевского. А не нужно тебе Достоевского — и нет его как не было. Не будет такого места, где бы он был. Опять же потому, что там нет м е с т а.

Пора нам, пора. И мы, вещие птицы, стремимся домой быстрее других; но все равно это выходит медленно, даже при помощи многой водки не выходит раньше, чем эту «жизнь» прожить. Надо бы ускорить процесс. Но как? если не водкой, чтобы не грешить самоубийством. Не хочется возвращаться домой с грехом пополам. Как?

Я знаю, как. Не знаю только, получится или нет. Но попробовать надо. Моя мысль в том, что кто-то должен начать, и начать непременно с себя. А то так и просидишь, ковыряя в носу, до конца света — а он все не придет.

А нужен именно конец света при жизни. При нашей жизни. Тогда и произойдет все быстрее, чем от водки, а без греха.

Смотрите. По предсказаниям старцев, по пророчествам святых отец знаем мы, что конец света не наступит раньше, чем евреи восстановят

Храм на храмовой горе. Но как только они это сделают, тут вскорости наступят и конец света, и второе пришествие Христово.

И евреи считают так же — а как иначе, когда у нас пророки одни и те же? Они думают так же, в смысле неперменности восстановления полного Израиля в конце времен. А какая полнота Израиля без Храма? Так они и говорят, воевременные-то евреи, что Храм необходимо должен быть восстановлен, и он обязательно будет восстановлен... когда-нибудь; но *сейчас* это невозможно: чтобы построить Храм, как Вы знаете не хуже меня, нужно снести стоящую на его месте мечеть Скалы — третью по главности святыню ислама. Всякая попытка строительства третьего Храма приведет к неминуемой войне со всем исламским миром — до бесконечной победы. До беспобедного конца.

И все время было это *сейчас-невозможно*.

А сейчас — сейчас *все возможно*. Сейчас, похоже, евреи понесут арабов из Иерусалима только так; доведенные их героическим хулиганством до ручки, они не посмотрят на возможность войны. Война все равно уже идет, уже шумит в ушах от клекота огненных птиц; а во что она превратится — в то уж теперь и превратится. Теперь уже — покатило.

Вот тут мы должны напомнить о святой цели настоящего еврейства, настоящего Израиля. О восстановлении Храма, под сенью которого соберутся, по их же пророкам, все народы, и лань возляжет со львом, и все по-писаному. Это ли должна быть не главная, не величайшая миссия евреев — в глазах самих евреев?

Так и призвать построить его возможно скорее.

Подготовить стройматериалы и технику, подвезти все уже сейчас — и начать, как только всех этих геройских камнетателей, Голиафов, перенявших оружие Давида против самого же Давида, уберут из восточного Иерусалима. По крайней мере, очистят от них места, прилегающие к Горе. Летят, летят стальные птицы, я с ними, одна из них, я смотрю сверху вниз ее глазами.

Я написал об этом письмо-призыв — и разослал в нескольких экземплярах: в кнессет, израильской правящей партии, в квартал ортодоксов и в Нью-Йорк в «Хабад Любавич». Пока что под письмом стоят только две подписи: моя и моего приятеля, чающего узреть Христа во втором пришествии, в силе и славе, еще при своей земной жизни. У него тоже ни сил, ни желания больше дожидаться, пока своим ходом кончится все это безобразие, в смысле мир, а то же — лежит себе весь во зле и лежит, и хоть бы кто моргнул. Некому памятник ставить.

Две подписи — это немного. Но сейчас я готовлю второе послание, где мотивированно, со всею посильной продуманностью излагаю, почему необходимо восстановить Храм — и почему именно сегодня, сейчас или никогда. Я не посмотрю на самого себя, что сам говорил — никого не учить. Объективность важнее самоуважения. С кем ты — с

Платоном или с истиной? вот вопрос (я не говорю, что Платон дешевле, а только что истина дороже). Я собираюсь послать послание многим известным людям; верю, что они прислушаются к голосу русской общечеловеческой совести и подпишутся. Такое письмо, за подписью сотен лучших граждан России, являющих миру — в поддержке идеи необходимости Храма для недругов христиан, жестоковых иудеев — русского кроткого Христа, милосердного, но неумолимого, — такое письмо, отправленное по тем же адресам, я верю, не могу не верить, произведет свое действие. Храм будет построен; конец света наступит при нашей жизни; победа будет за нами.

И тогда я встречаюсь с отцом, и мать снова обнимет меня... может быть, даже две, та мать, что меня родила, и та, которая была мне матерью; они обе обнимут меня — и уже не разнимут рук. Я никогда больше не буду один, а только с ними и с Господом нашим. Всегда вместе, все всегда вместе, и все всегда меня любят. В золоте и лазури небесного Иерусалима, под сенью вещих птиц. Все, кого я люблю: Бог, Пресвятая Владычица моя Богородица, самый святой святой, такой, что имени его ни я не знаю, никто (потому что он так хотел совсем-совсем остаться в неизвестности, что Господь его от нас по его великому смирению — на земле утаил), отец, обе матери, старый Рембрандт (он никогда не станет моложе), Лев Мышкин (думаю, если Господь «из камней сих может создать детей Авраама», то и если Он создал писателя, а тот — героя, и Ему понравилось, то потом Он может взять этого героя, раз тот Ему понравился, к Себе и оживить полностью), одна девушка из моего бывшего 10 «б» (про это я Вам все рассказывал, что у нас было, а больше ничего не было, устал говорить) — все, кого я люблю, все всегда меня любят. И Билли Дженис Джоплин-Холлидей (когда мы ее вымолим из ада по дерзновению, и Джима Моррисона, и Джими Хендрикса, и Джимми Джойса, всех, кто серьезно думал найти в аду рай, всех, кто горит там дотла, бескорыстно и пламенно, кто погиб до конца), избавившись от вредных привычек, став двумя голосами одной поющей души, поет нам псалом 136, как на реках вавилонских сидели мы и плакали, только мы-то уже на самом деле не плачем, а радуемся, что потеряли только земной Иерусалим, с арабами да евреями, а обрели настоящий, где всякий араб во Христе-еврей, а еврей во Христе не еврей и не еллин, а — одно. Где я, и все «я», и общее «я» — без никаких дурацких «мы» — вечно счастлив, счастлива, счастливо.

Чего и Вам желаю, дорогой (не в смысле — не дешевый, не подумайте; памятник Вам поставить, кроме шуток) доктор.

Искренно Ваш пациент,
К.

А как Вы думаете, это правда правда, что можно умереть от мороженого? Если да, сколько надо съесть? Если честно.

Письмо четвертое

Дорогая Н.

От моего пациента К. узнал, что он послал тебе на прочтение и, так сказать, отзыв, один документ (назовем его «письмо»). К своему письму (извини за тавтологию, с этим К. поневоле запутаешься) мне об этом — он приложил твое, ответное. Надеюсь, прочитав его (оно априорно не могло носить личного характера), я не совершил ничего такого, что тебе как-то не понравилось бы.

Его письмо (опять; просто беда) мне — реплику на твое письмо (опять!..) — на всякий случай тоже прилагаю — может быть, оно будет тебе любопытно. Но, может статься, тебе будет небезынтересно и что я обо всем этом думаю, уже просто потому, что я по необходимости осведомлен о некоторых фактах, тебе неизвестных.

По всему, ты решила, что письмо (ну ладно, слово и слово, нечем заменить, не обращай внимания. в конце концов) тебе послали его авторы, муж и жена, выработавшие некий общий меморандум, некое *singculus vitae*, но в силу его, так сказать, некоторой необычности сомневающиеся в его правильности и застенчиво, завуалированно спрашивающие твоего «мнения» по поводу «чьего-то найденного письма». И ты, приняв правила игры, говоришь с его авторами в третьем лице: это позволяет тебе высказаться о них не как «о присутствующих», то есть достаточно жестко, то есть по существу. Категорически не соглашаясь с ними, ты позволяешь себе *вмешаться* — с благой целью, думая, что для них это вопрос жизни, нуждающийся в компетентном вмешательстве.

Ты почуяла тут какой-то подвох (то, что ты назвала «перевоплощением») — но мысль, что тебя просят о помощи, безоглядно увела тебя в сторону: ты сочла, что речь идет о «перевоплощении» авторов письма друг в друга.

В действительности же мы имеем дело с чисто виртуальным фактом: авторов этого письма в том виде, в каком они здесь предстают, попросту нет. Поэтому помочь им нельзя ничем, да и не надо.

«Перевоплощение», однако, существует. Существует автор, который написал тебе письмо с просьбой прочесть другое, большее, которое он же сам и написал. Он убежден, что не написал это письмо, а только записал его под диктовку своих родителей, как он уверен, покойных (заметь, он и сам понимает странность такого рода письма и раньше, по крайней мере, говорил, что составили его они сами, это что-то вроде предсмертного саммита их жизненной встречи; теперь же, выведенный тобой из себя, «открыл свою тайну»: оказывается, это он записал под их посмертную диктовку). Записал их «голоса». Зовут его К., он уже довольно долгое время в числе моих постоянных пациентов; помочь

ему с помощью советов несуществующим героям (а вовсе не авторам) его произведения, само собой, нельзя... Впрочем, спасибо за мысль, можно попробовать и такой путь, подобраться к нему через «голоса» его «героев» (я бы не стал только утверждать сразу, что это персонажи, маски его «я», с ним как-то все не так, как у людей, я имею в виду — у наших больных... хотя у кого из них все так, у кого классический случай?); помочь очень молодому человеку, почти мальчику, пишущему такие письма от лица людей не очень молодых и бывалых, людей, которых и вообще нет (но которые, как он совершенно убежден, были и есть на небесах, и ждут его там), и при этом убежден, что пишет все это вовсе не он, а они сами, — помочь ему вообще очень трудно. Хотя и хочется (а раньше очень хотелось, даже просто по-человечески, он вообще какой-то человеческий... и все время задирается, как молодой бычок... задирается от «большой духовности», а сам ждет помощи от «бездуховной» медицины... но все стирается, к несчастью, общечеловеческие свойства психики распространяются и на тех, кто должен бы быть от них свободен хотя бы по роду работы).

Чего он хотел от тебя? Думаю, одного: ни минуты не сомневаясь, что запись *продиктована* ему, он (полагая, что из-за отсутствия взрослого опыта не может компетентно судить о многом, что здесь — не им, но только через него — сказано) усомнился в ней как в *подлинном свидетельстве* (ведь, не забывая, он христианин и верит, что и «сатана может явиться в образе ангела света», что голоса могут быть и *оттуда*, но они и *там* могут быть подделаны) и решил послать его тебе, так сказать, на экспертизу — не на духовную, разумеется, но хотя бы на психологическую: достоверно ли звучат «голоса», похожи ли на «покойных» как он их себе представляет.

Таким образом, твой ответ был расценен им двояко: обрадовал и «укрепил в вере» (компетентный человек отнесся к «голосам» как к совершенно живым, осязаемым, психологически достоверным, даже если они играют каждый роль другого) — и раздосадовал своим резким несогласием с «ними», «их» позицией — т.е. с ним самим. Отсюда весь дальнейший тон.

Теперь ты в курсе, в общих чертах. Но если некоторые вещи теперь для тебя сами собой станут очевидны, то другие нуждаются в чисто фактическом дополнении.

Например, лезущая изо всех щелей не только «мужских», но и «женских» признаний моего подопечного сексопатология... да, пожалуй, единственное в исходном «письме», что меня не удивляет, это всестороннее (хотя в одном узком диапазоне) продуманная, навязчиво отрефлексированная сексуальная тема, сублимируемая в область тонких материй «высокого эроса» — и неумолимо «соскальзывающая» снова и снова в область сексуального расстройства. Тут надо даже не знать, а просто

видеть моего подопечного. Ты сразу поняла бы, откуда в «письме» что берется, — так трудно носить тонкую душу в болезненно тучном и неприятно-рыхлом теле, иметь такое, знаешь, резиново-губчатое, такое, что ли, растопыренное, растерянное во все стороны лицо с красными пятнами... При этом К. чрезвычайно склонен к пониманию *противоположного*: собеседника, утверждения, пола — и ему горько, что желающих понять его в ответ находилось до сих пор крайне мало. Вообрази, он совершенно взрослый — и почти без какого бы то ни было сексуального опыта, если не считать... впрочем, это врачебная тайна, нарушать которую в данном случае не обязательно (если бы это было принципиально важно, какие у меня могли бы быть от тебя тайны?); и главное — при этом он считает, что он-то, умея глядеть на себя женскими глазами, ясно видит законность, так сказать, женской неприязни к нему, неприязни до отвращения. Отсюда — брезгливое отношение к своему телу, дисморфобия (думаю, затем экстраполированная на тело вообще и женское в частности, — тема, отданная им «мужскому голосу»; но отсюда и его раздвоенное осознание тела вообще: он спорит с тобой, говоря, что христианство не поделило тело на «зоны» высокого и низкого, но осватило тело и все срамное в нем, а сам презирует тело, потому что презирует с в о е тело), цепкость внимания к его подробностям, кажущимся ему отвратительными, как все излишне животное, земное: «обезьяноподобное уродство» сосков груди и лобковых волос (особенно навязчиво преследующие его зрительные образы, на которые он постоянно «соскальзывает» в наших беседах) — и ненависть к себе за то, что его влечет животнo-низменное, недостойное высокого человека; временами — длительная анорексия почти до полного голода с целью похудеть (трансформировавшаяся в программно-негативное отношение к пище у его «женского голоса»... кстати, про «медитацию борща» — это ты остроумно, небесмысленная шутка), постоянное мытье якобы всегда потных рук... Словом, полный компот.

Кстати, не знаю, заметно ли во вступительном письме (с просьбой прочесть второе, главное), которое он тебе прислал от *своего* имени, то, что просто бросается в глаза, когда читаешь присланное им мне (по твоему поводу): расслоение речи как минимум на два потока: один — с тяготением к аналитической последовательности мысли при обостренной до драчливости «полемичности» ее изложения (парень для его возраста недюжинно начитан в литературе, в основном философской и религиозной всех мастей), и другой — без умничанья, не заботящийся о выборе «взрослых» слов, эмоционально захлебывающийся, временами вязко и несуразно детский даже по оборотам речи, какой-то «бодящейся». Одно это расслоение речи, временами сплывающей, сплетающейся в третий, «синтетический» поток (а если считать, что пресловутое «письмо» — тоже им самим написано... ты скажешь — а кем

же? да-да, конечно, им самим, не боясь, я пока еще в своем уме... так вот, там перед нами третье-четвертый его, так сказать, дискурсивный стиль, разительно отличающийся от тех двух видов его «собственной речи»... ну, «письмо» ты читала), позволяет говорить сама понимаешь о чем.

Да, все знакомо как пять пальцев.

Но, во-первых, что с того, что тебе что-то знакомо, когда сделать с ним ничего не можешь? Не для того же мы существуем, чтобы подшивать прецеденты в папочку и сортировать анамнезы по подвидам. Острая шизофрения или вяло протекающая, параноидная, гебоидная, гебефреническая или кататоническая. К. прав: мы с тобой — не «научные работники». Наше дело превращать больного — по крайней мере в больного человека со здоровой доминантой. Все люди чем-то больны, не то бы не умирали. Здоровый человек — это больной, который живет как здоровый. Наша задача — наблюдение с целью вмешательства; наша цель — не установление частного, а превращение целого — способом, не всегда предсказуемым для нас самих; его, мы не ученые. Мы алхимики. Художники жизни. Во времена культа науки это могло быть непонятно Фрейду, навязавшего себе и всем убеждение, что он — прежде всего ученый, а породившего целую новую область художничества — потому и оцениваемого нерелевантно — прав-заблуждается (ученый) вместо талантлив-воздействует (художник). Но уже с Юнга все стало совершенно прозрачно (впрочем, это я сам с собой, как будто мы с тобой не переговаривали об этом раз сто).

А на К. я не могу воздействовать. Не получается. Значит, в его случае я не художник. Все, что я с ним могу — не быть художником от слова «худо». Обидно мало.

Тем более, что, в силу своей органической склонности глядеть на вещь с двух сторон, на себя глазами собеседника, он соглашается с 80% того, что я говорю, — но чем больше соглашается, тем больше я «его теряю». Словно борец айкидо, он «поддается, чтобы победить». С той только разницей, что «победить» он совсем не хочет, а вроде бы хочет вылечиться. Он охотно сотрудничает, напрягается изо всех сил, но как только дойдет до главного, до «ядра» (триада «Бог-родители-смерть») — упирается, и ни шагу. Я разными способами пытаюсь добиться его согласия в том, что его состояние, путь, который он избрал, регрессивны и деструктивны, за ними стоит желание вернуться в утробу матери, но взрослому человеку нет дороги назад — этот путь не ведет никуда. А он мне на это — что хочет не в материнскую утробу, а ко Христу за пазуху (другое, мол, дело, что там он заодно окажется и рядом с родителями): «К Богу же прийти можно любым путем, иди к Нему «вперед» или «назад», но если идешь к Нему, «а не к Другому», то все равно к Нему придешь, значит, любой путь, и мой тоже, конструктивен». Тут мы и забуксовываем. Полный невпротык. Тем более, что он хочет вылечиться

«духовно, но вовсе не уверен, что хочет выздороветь и душевно». Если я понимаю его правильно, то в таком случае ему нужен вообще не я, а терапевт с «духовным уклоном» (ты, например... я, честно говоря, не без этой мысли, извини, ему упомянул о тебе весьма комплиментарно, и он «клянул»; не я забыл, что вы люди с разной духовной окраской — и не можете совпасть, а только пересечься, как ось абсцисс с осью ординат), а не то хороший, просвещенный священник. Я слышал, у католиков будущие священники должны проходить, помимо прочего, курс психологии и чуть ли не психоанализа. Когда бы так, нашим бы тоже не помешало. Вот такой ему и был бы нужен.

Я же, чем дальше с ним работаю, тем меньше чувствую, что мне его болезнь — знакома. Что это, так сказать, классика (включая классическое исключение из классического правила). И даже больше тебе скажу, по мере возни с ним я начал думать, что и «классика»-то мне на самом деле знакома только в смысле: *как это выглядит*. Как это проявляет себя симптоматически. А *что это* на самом деле.... Может, тебе покажется диким, что я, как-никак прошедший школу нашего любимого С., «бога диагностики», говорившего, что точный диагноз — 90% дела, а точный диагноз можно поставить всякому, — что я все это теперь говорю. И все равно скажу: *ничего мы про это не знаем*.

Я, во всяком случае.

Это во-вторых.

Сама видишь, К. очень легко поставить диагноз. Паранойальный бред, перерастающий в бред парафренный, расщепление личности («перевоплощение»), аутизм, психический автоматизм (диктующий «голос» = синдром Кандинского-Клерамбо), и т.д., и т.д. — допиши за меня до еще строк пять-шесть-семь анамнеза. Итак, 90% дела налицо, а дело не сдвигается... Ты скажешь, что шизофрения вообще крайне трудно поддается психотерапии, а уж если больной хочет остаться больным, то тут и говорить нечего, как ни жаль, надо отдавать парня психиатрам, а уж они медикаментозно его дожмут, чтобы он по крайней мере угомонился и доставлял меньше переживаний родителям... Но я чувствую, что я бы м о г. Потому что мы — где-то, в чем-то — в контакте. Я бы мог — не надо трифтазина, этаперазина, галоперидола... Если бы только понял, *что это* на самом деле. *Как это происходит*. На самом деле, понимаешь? без умных, замещающих понимание слов.

Каким образом человек в парафренном бреде фантастического содержания может столь продолжительно трезво рефлексировать на два голоса (ты читала этот текст и согласишься, что мы имеем дело с болезненно-невротичным, навязчивым, но при этом ясно организованным сознанием) — и каким образом человек, временами демонстрирующий «резкий, охлажденный ум», демонстрирует его внутри бредовой картины мира? Руководствуясь абсолютно бредовой идеей. Ведь он не

может не знать, что его родители не умерли, а живы! И никакой мачехи у него нет, есть только мать.

В том-то и дело, что его родители живы-здоровы. Они тяжело крутятся, чтобы неплохо зарабатывать — по нынешним временам. Поэтому лишены возможности (скажем, не лукавя — и желания тоже) отдать своему ребенку в с е время, всю душу, всю любовь, в которой тот нуждается. Но их нельзя назвать и людьми, лишенными чувства родительской любви, — хотя бы уж потому, что большая часть их заработка предназначается именно на содержание и лечение сына, большая часть их усилий употребляется именно ради него. Короче, это распространеннейшая популяция по-своему любящих родителей, платящих родительский долг так, как им это проще, потому что понятнее — деньгами, а не душой.

Словом, нормальные, неглупые и не бессердечные люди. Часто появляются здесь, беседуют со мной и пытаются общаться с ним с учетом моих рекомендаций. На общем фоне с ними приятно иметь дело.

Но он не видит их в упор. Не отказывается встретиться с ними, разговаривает, спокойно, иногда подолгу, он понимает, что они люди не посторонние — раз уж дает им поручения сделать то-то, иногда сложные вещи, разыскать, например, специальную книжку, вышедшую и разошедшуюся пять лет назад. И тем не менее сразу же, как за ними закрывается дверь, он опять уходит в свой мир, где он живет полной сиротой, без родителей, погибших, случайно или нет (это темная для меня, потому что темная для него самого история, — но он думает, я знаю обстоятельства гибели его родителей в подробностях, только ему не говорю), из-за какой-то крупной суммы денег, полученных ими каким-то криминальным путем — и полностью отданных мне, чтобы обеспечить ему здесь спокойное существование и лечение на годы и годы вперед. Смешно, правда? сочинить целую историю, где самые близкие тебе люди повинны в темных махинациях, и только одному герою этой истории — врачу, мне, приписать просто патологическую по нашему времени честность. Я беру деньги людей, которых уже нет, и вместо того, чтобы присвоить их безнаказанно себе, а К. выпиннуть на улицу или отправить в бесплатное отделение с топорными, но эффективными средствами воздействия, продолжаю лечить его как ни в чем не бывало, по всей честности неписанного договора с мертвыми людьми. Мне должно бы льстить такое его представление обо мне (может быть, и льстит).

Спрашивается — как мыслящая личность (и не так плохо мыслящая местами, правда ведь? конечно, временами он несет жуткую чушь, а внутри этой чуши ухитряется нести чушь еще большую — в его смешном раю сразу после второго пришествия Христа еще при жизни К., раю христианском, который он вроде бы последовательно отстаи-

вает от твоих «синтезаторских» покушений на чистоту учения, почему-то находится место, мягко говоря, сомнительным фигурам; чем же они лучше отвергаемой им Елены Ивановны Рерих, женщины, смею думать, все же куда более высокодуховной, чем алкоголик и психопат Мориссон, почему от нее христианство надо защищать, а таким, как Мориссон, наркоман Хендрикс, издеватель над церковью и всем вообще Джойс — зеленая улица? где тут логика?), как человек, отдающий себе некоторый отчет в происходящем, может уйти от действительности так далеко, чтобы живых родителей, каждую неделю видящихся с ним, счесть мертвыми, придумать, уверовав затем, что «так оно и было», причины их смерти и т.д.? Чтобы слышать их голоса (это-то ладно, на то и синдром) — как голоса с того света? Чтобы продумать за них *именно в качестве умерших, но живых*, детально все то, что тут, в «письме», высказано на десятках страниц? Чтобы придумать себе еще и хорошую мачеху, кроме плохой матери, — тогда как на самом деле никакой мачехи нет, есть только мать, и вовсе не «расфокусированная», куда там, напротив, я бы еще занял у нее. И уйдя туда, откуда назад и дороги не найти, — там-то и не потеряться, а именно там-то и мыслить, и продумывать детально, что происходит в душе несуществующей мачехи! И так серьезно захотеть «к ним туда при жизни», чтобы начать акцию по «ускорению конца света» (ты увидишь в прилагаемом письме ко мне; дивная мысль, ничего не скажешь!): только мы решили, что перед нами не простой сумасшедший, только задумались — а безумен ли он, не криволинейнее ли мир, чем мы представляем даже в конце криволинейнейшего из веков, не может ли быть так, что все действительно безумно, а все разумное недействительно, — как можно с облегчением вздохнуть: все-таки все в порядке, все путем, все-таки у парня самым нормальным образом едет крыша!

Разумеется, подобие ответа у меня припасено. Именно же: он испытывает сильнейшую потребность любви к родителям (в особенности усугубленную тем, что его в уже давно требующем своего возрасте не любит ни одна женщина, так что вся энергия его любви сошлась в одной точке), но любить их без сильнейших помех со стороны самоуважения, чувства собственного достоинства, болезненно сильного в нем, любить с тою серьезностью отношения к любви, которая отразилась в каждой строчке знакомого тебе «письма», — он может только в ответ на столь же сильную любовь с их стороны. А поскольку такой любви с их стороны он не встречает с детства, но она ему крайне необходима, она **д о л ж н а б ы т ь**, наш К. вынужден выдумать (или вообразить, если это точнее, поскольку мы имеем дело с по-своему художественным актом) себе **д р у г и х** родителей, таких, какими они, по его представлениям, должны быть. Заметь, они должны быть не кем-то и кем-то (по профессии, хотя бы как-то соответствующей самой возможности полу-

чения и, допустим, утайки криминальных денег; или степени известности; или состоятельности; или даже хотя бы «хорошести»; это он не продумал, могу тебе сказать, он об этом не говорит вообще, а если спросить, кто они были и как выглядели, отделяется самыми общими ответами типа: «Лысины и не намечалось»; хороший также ответ: «Ночью у отца глаза не загорались», — как тебе?), они должны только одно: его любить. Д р у г и е... но где же они? и кто тогда э т и ? Хороший вопрос. Отвечаем... те — умерли (и по той же причине, что и жили в «очах души его»: из любви к нему, они пошли на этот темно-криминальный, смертельный шаг из-за озабоченности его будущим). А эти — эти... а они — усыновили. С чего бы? С бухты-барухты — чужого взрослого больного парня? Н-да... а вот и нет. Мать (плохая — согласно его восприятию ее в действительной жизни) осталась, а это с ней к Вам сюда приходит отчим (что с него взять? для отчима он еще хорошо ко мне относится), который меня и усыновил. А вот настоящий отец — погиб, и с ним — «настоящая» (такая, которая любит как надо), хорошая «мать». Откуда же взялась вторая мать? А она... она была — мачеха, но лучше родной матери. То есть отец ушел от твоей матери к другой женщине, а твоя мать добровольно отдала тебя отцу? редкий случай. Или по суду? Она была лишена материнских прав? Нет. Сама. Потому что она... ей всегда было не до меня. Но не потому... поймите, не потому, что она плохая... моя мать не может быть плохая... а просто она больная... и мне передала болезнь (так, складывается карточный домик), вот откуда все это... просто она раньше никогда не могла сфокусироваться, собраться, у нее все валилось из рук, а тем более растить и воспитывать... и она сама понимала. А теперь почему она у тебя фокусируется? А потому... потому, что отец ей изменил, и она заболела, а потом была одна, и все сильнее болела; а потом, не так давно, встретила моего отчима, и он своей любовью и верностью, ее-то он любит, как всем бы всех бы любить, и своей любовью он ее медленно, но верно ставит на ноги. Ну, и так далее. До небывалого — до полной убежденности в смерти отца при постоянно обнаруживающем себя наличии живого отца. Небывалого для кого-кого, но не для таких, как мы. Мы и не то видали-слышали, и чего только не «поймем», почесывая в затылке между двумя затылками.

Но что нам это «понимание» — дает? Вот я только что «расписал по трафарету» механизм возникновения бреда. Как-то объяснил его причину.

А на самом деле я же ничего не понимаю! Тут только видимость выяснения, а куда ни ткни — одни белые пятна. Нет, я бы хотел — на минуту, только на минуту — сам сойти с ума и «перевоплотиться», чтобы только увидеть все его глазами, именно у в и д е т ь, как оно у него происходит!

И главное из белых пятен — *как же все-таки появился этот текст?* Все предыдущее объяснение не объясняет того, что в нем написано. То есть частично объясняет — эти объяснения я уже приводил. Есть еще ряд текстуальных подтверждений того, кто стоит за фигурами «мужа» и «жены» (думаю, сама найдешь без труда, если будет желание сличить оба письма).

Значит, автор — К.? «А кто же еще? — скажешь ты. — Ты что, в самом деле думаешь...?» И я замолкаю. Ничего я такого не думаю.

Но все же, все же... возьми хотя бы: это чистая правда, что у него самого-таки нет почти никакого опыта отношений с женщинами. Об обратном «женском» опыте отношений с мужчинами — и говорить нечего (это я отвечаю на твой немой вопрос; совсем никаких признаков бисексуальности). Допустим, «мужская часть» раздумий в «письме» имеет отправной точкой и материалом беседы с ним отца, чтение книг, вглядывание в собственную созревающую сексуальность. Хотя и тут слишком... но это еще как-то объяснимо. Ну, а «женский голос»? Я говорил с его матерью — как и следовало ожидать, она на эту тему при нем особенно не распространялась; да он ее и не спрашивал. Так, могла, конечно, обмолвиться словом о чем-то или поднять тему в разговоре с отцом, в общем виде («все вы, мужчины, хороши»), а он слушал и запоминал, но в такие дебри... ты помнишь текст?... И ведь не стала же бы она в разговоре с мужем, да еще при сыне — перебирать все случаи из своего женского прошлого. Откуда он это-то он взял? Ты можешь сказать, что женская часть письма как раз менее психологически достоверна. Не буду спорить. Но насколько-то... насколько-то, я вижу по твоему письму (извини еще раз, что прочел), она даже у тебя вызвала *женское* сочувствие... Это откуда? Прочитанные романы или стихи тут мало помогут; все эти коленца, этот змеевик мысли... за этим должен, должен стоять какой-то жизненный опыт. И выходит, его уверения, что этот текст — не от него, а — запись *объективно не его голоса*, — не беспочвенны (а наша любовь списывать всякие такие вещи на синдром Кандинского получает по крайней мере легкий щелчок по носу); глупая какая-то мистика, но приходится признать, что она мотивирована.

Ладно. Еще объяснение. Нарушим-таки — ради него же — врачебную тайну. Слегка приподнимем краешек. В биографии самого К. было нечто такое... скажем, у него был опыт ревности к прошлому своей девушки (довольно невинный, по нынешним временам, но для него серьезный, непереносимый), опыт ревности к прошлому. Как К. мне объяснял, он решил сам вылечить себя, а для этого доказать себе, что половая жизнь — вещь самая обыденная, нормальная: в этом случае переживать из-за того, что любимому тобою человеку не чуждо ничто человеческое, — глупо и смешно. И в целях самолечения К. решил посмотреть на «это» глазами своей подружки: перевоплотиться и по-

чувствовать, так сказать, изнутри женщины, что для нее «это» столь же «мало значит», как и для мужчины. Он стал представлять себя женщиной, попытался представить н а с е б е мужские руки, представить мужское тело как влекущее, и т.п. С переменным успехом он решал раз за разом трудную, неорганичную для него как для нормального в смысле ориентации представителя мужского пола задачу. Подробности в сторону; разумеется, он не вылечился, а еще больше увяз... Но, конечно, такой нестандартный опыт мог послужить импульсом для дальнейших рефлексий и опытов «глазами женщины».

Тогда многие места «письма» опять же находят естественное объяснение. Но другие... Детали, детали! как хочешь, за ними стоит действительный опыт...

Но более всего — сам стиль «письма», сам слог. Может ли он быть признан просто «третьим видом» его расслаивающейся речи? Может ли К. с а м выдержать так долго столь размеренный, итоговый слог, не скатываясь ни в свою инфантильную и вязкую размазю, ни в полемическую юношескую драчливость? Сомневаюсь.

Конечно, можно еще говорить о некоей самонастройке под влиянием внутреннего голоса, вхождении под самогипнозом в состояние, когда становишься «выше себя». Но для этого текст неимоверно длинен. Чтобы его записать... речь идет о многих часах, может быть, не об одном дне. Значит, внутренний голос прерывался на сон — и тем же тоном начинал говорить опять, прямо с того места, где кончил вчера? Шуточки!..

Но ты скажешь, что ровно то же можно вменить в вину и концепции о внешнем источнике текста. Помимо ее фантастичности, сама временная длительность диктовки, необходимость прерываться на сон — и снова... Да, история не имеет внятного объяснения.

Цитрамона мне, пенталгина, доктора Юнга сюда с профессорами Ференчи и Салливаном — и пусть они снимут мою головную боль!..

Устал от того, что ломаешь голову, напрягаешь душу, вертишь-вертишь «проблемку» (как там, кстати, поживает Р. с его вечным, еще только входя, а уже блестя глазами: «Ну что, поспорим темку?») — а у самого то и дело просверкивает: ты его хочешь вылечить, а он едва ли не лучше видит тебя, чем ты его, едва ли меньше тебя в с е понимает, аутист несчастный, ханурик с прищелпывающими губами. Если он все это, все вот это, продумал, прочувствовал за взрослых мужчину и женщину — как я буду склонять его к тому, что все это — порождения больной психики и, будь добр теперь с моей чуткой помощью от этого медленно, но верно избавляться? Как, когда я с его помощью в некоторые из этих окошек в с в о ю жизнь чуть ли не впервые заглянул, то есть я еще только набрел на них (он за меня набрел! да, о чем это... иногда мне кажется, что он — младший я, мое порождение, чуть ли не

мой и.., а вовсе не их, что все это, вплоть до «письма» — плод моего... но когда кажется, тогда крестятся, не напрасно на нашего брата думают, что мы сами первые психи и есть, обо всех не скажу, но человек по призванию в нашем деле, ты же согласна, и должен быть профессиональным душевнобольным, так сказать, широкого спектра — иначе как возможна настройка на волну больного?), — а уже буду решать, болезнь это или не болезнь? Просто по долгу службы. Ахинея.

Это если он «из себя» написал. А если — хотя бы частично — не «из себя»... тогда остаются и вправду только некие «голоса», неизвестно чьи, но не его внутренний, и они... откуда? А?

Но и уходя от всякой такой мистики... по чести сказать, то, что ты ему возражаешь, — и то, на что ты ему возражаешь... и то, что он отвечает в письме ко мне на твои возражения... пойми меня правильно. Разве не то же самое говорил тебе тогда и я? не в том же ли была и моя боль? только он выразил все это лучше, полнее... он (или «голос») сказал все за меня, вместо меня, от меня — тогдашней тебе, но, пожалуй, и от сегодняшнего, от *всегдашнего* «него» — *всегдашней* «ей», — как же я буду его лечить от того, от чего сам... Нет, сам я вылечился, вылечился, я здоров, здоров. Это должно быть так, и так оно и будет, так оно и есть.

Но вот какой бы я задал — совсем не от лица вчерашнего себя — вопрос.

К. (авторы «письма», как угодно) говорит о чувстве в связи с его свойством *проходить*. Из чего выводит фундаментальную неподлинность, поддельность любовного влечения. Ты же в ответ говоришь, что возникающее скоропреходящее, если пустить его на самотек, чувство есть залог и предвестие любви непреходящей, если, творчески работая, развить это онтическое (говоря по-хайдеггеровски) чувство — до любви как онтологического, бытийственного, так сказать, начала, лежащего в основе отношения между всем живым.

А вот возьму и выверну ваши рассуждения наизнанку. Именно: есть ситуация, обратная взятой вами: когда любовное чувство упорно *не проходит* — а надо, чтобы оно прошло, поскольку именно в его непроходящести (скажем, когда тебе не отвечают взаимностью, или ты просто не имеешь право на это чувство, ну, любишь жену своего друга, мужа своей подруги) — источник жизненного несчастья. Болезни. Само существование такой ситуации (не столь уж редкой) удостоверяет, что авторы письма (или сам К.) в своих рассуждениях говорят как о единственной лишь об одной ситуации из нескольких возможных. Тогда — если по К. скоропреходящесть есть указание на фиктивность любовного чувства — является ли здесь, наоборот, то, что оно *не проходит*, критерием ее подлинности? Или нет?

Я лично считаю... там, в пресловутом письме, сказано не только, что влюбленность от любви отличается скоропреходящестью, но что она

только этим от нее и отличается. Так вот я считаю, и то, и другое сомнительно. И влюбленность может долго не проходить, развившись мимо любви в поддельную, подменную хроническую страсть, болезнь, разновидность алкоголизма. Поэтому их и надо различить — и влюбленность, не считаясь с ее стажем, изгнать, вытеснить из себя, а любви не препятствовать. Различить же то и другое *качественно* как раз можно. Я лично предлагаю различать их просто, на ощупь: влюбленность сначала ударяет в голову и оттуда завладевает сердцем. Когда мы думаем о человеке, в которого страстно влюблены, стремление к нему сначала словно распирает мозг — и струится вниз, в душу. Чувство же к любимому не в шальной голове, а в тихом сердце берет начало — и нисходит под диафрагму, в живот, выдыхающий жизнь. В первом случае — опьянение, иногда пьяный угар, лихорадка. Во втором — ровное тепло. Влюбленность в известных обстоятельствах сопровождается чувством вины или неправомочности и нуждается в разрешении, «отмене запрета по совести». Любовь ни о чем подобном не ведает, она всегда в своем праве — и даже не догадывается по простоте своей, что она в каком-то «праве».

А ты — как рассудишь? Это уже камешек в твой огород — почему ты не предложила К. рассмотреть и такую ситуацию, хотя бы в качестве поправки к его одноаспектной «интуиции любви»? И кстати, я и сам просил бы твоего совета — я знаю один такой «случай первого рода». Хотелось бы знать — что делать конкретно? Если нужно как можно скорее изжить деформирующее личность чувство, а — ни в какую? Нужно ли в этом случае довериться жизни, как учил всех здоровых один великий душевнобольной, просто жить и ждать, — или, если все разумные сроки ожидания уже вышли, а чувство все не проходит, становясь все более деструктивным, такое доверие жизни может привести только к... как звали этого тургеневского героя, который совсем «раскис» и пропал из-за женщины? В этом случае — не применить ли все же какое-нибудь сильнодействующее лекарство, чтобы как-то вывести это чувство за скобки? Понятно, что натуральнее и быстрее всего страсть можно вытеснить только другой страстью. Но не по заказу же. Да и из огня в полымя... Нет ли другого клина, выбивающего клин?

Но все это в сторону. Вернусь к предмету разговора. В отличие от К., я не вижу ничего плохого в том, чтобы соединить христианство и дзен, и готов приплюсовать любого Гурджиева — лишь бы «вытащило» больного; но, как и он, не верю, что, в случае ли с К., или только что описанном случае, — нас радикально вытащит и «вставит» искомая тобой горизонталь.

Еще когда, помнишь... словом, когда еще мы о чем-то спорили... тогда еще ты утверждала, что западное сексуальное воспитание, со всеми его минусами стоящее на фундаменте душевного здоровья и уважения

к свободе другого, все же лучше нашего дворового «просвещения», а затем, по мере взросления, поляризованного, возвышенно—подзаборного «идеала Мадонны» и «идеала содома» в одном флаконе, прежде всего невротичного и этой патологической подростковой поляризованностью души пропитывающего «свободный союз» или «венчанный брак» — все, к чему прикасается. Ты еще тогда тяготела к горизонтальной поведенческой доминанте. Говоря, что вот и Америка, формально (и искренне) оставаясь христианской, вертикально-ценностной страной, по существу, шаг за шагом незаметно (и правильно) замещает вертикаль горизонталью. Нет высоких и низких материй. Есть только правильное и неправильное поведение, ведущее соответственно к счастью и несчастью.

А я тогда еще, соглашаясь с тобой, сомневался в своем же согласии. Так и по сей день.

Ты стопроцентно права — кому, если не нам, знать, каким самоубийственным ужасом оборачивается в действительности, по всем клиникам страны, это «высокое» понимание любви с удивительнейшим свинством пополам.

Мне и возразить-то нечего. И все равно — я подписываюсь под словами «письма»: неизвестно почему, но человеческая сексуальность двузначна, эта двузначность может быть упразднена (сколько действительных вещей на нашей памяти были упразднены терпеливой работой по их ликвидации как исторические предрассудки), но она е с т ь, и в этой прекрасно-безобразной двузначности «все дело». Добавлю: для меня тот, кто выдержал высоковольтное напряжение этой полярности, кого оно пережгло, кто пережил эту полярность в себе до ее смерти-преображения в нем, — тот и человек; тот же, кто, плюнув, ее отверг и заменил безопасным сексом — скотина, с человеческой изобретательностью защищающаяся от последствий собственного скотства. Можно спокойно относиться к этому (скотство лучше зверства, ласковый теленок, как известно... и все такое), можно, будучи в своем уме и сообразовавшись со статистикой аборт, душевных болезней, убийств и самоубийств, относиться к нему как к наименьшему из зол, — но, прости, поверить, что на скотстве может возрасти что-то одухотворенное и подлинное, поверить в такое «одухотворение горизонтали» я бессилён. Просто не хватает воображения.

Гвардия умирает, так сказать, но не сдаётся. Впрочем, если гвардия и не желает умирать, ей все равно остается только то же самое. Потому что если гвардия сдаётся, её уничтожают.

Я верю не в продвинутое горизонтальное, а в раздвинутое вертикальное сознание. Расширенное болью, чреватое сном, зато и беременное радостью. Я продолжаю верить, сколько бы ты ни утверждала обратное, что именно из низкой грязи (куда нас так роняет все время) выходят в высокие князи; не принадлежа ни к кому конфессионально

и не испытывая такой потребности, я утверждаю все равно, просто по логике смысла, что небесная радость — вещь иного порядка, чем земная гармония, и потому вертикаль не может трансформироваться в горизонталь, а лишь отчасти и не без потерь может быть ею замещена...

Все это, однако, не доводы. И умом я полностью на твоей стороне.

А сердцем, глупым сердцем — со своим нелепым К.

Моя логика не совпадает с моим непосредственным чувством.

(... и прости, прости, пожалуйста... но ведь он, того не зная, попал-таки в точку: у тебя, у нас с тобой, но, значит, и у тебя, не только у меня, — *тогда* действительно «у самой не получилось»... и после, после — разве хоть раз получалось? все же очень просто: как только *получится* — так никаких других раз не будет... Впрочем, я давно уже о тебе в этом плане почти ничего не слышу. Вполне может стать, сейчас, наконец, ты знаешь любовь, а не только о ней. В любом случае все это не мое дело.

А все-таки как подумаешь... только не напрягайся, я давно уже не наркозависим, спокойно могу себе позволить на мгновение впустить эту мысль — и выпустить, как дым, без остатка... как подумаешь, если бы мы тогда... Стоит разжать руки — и сжимается душа. Понять же что-либо можно только разъятой душой. Забредшей в самый центр непонимания. Заблудившейся в себе и вокруг. Как у моего подопечного К. Непонятно, правда?..)

Но я тебя утомил сверх всякой меры, противу всякого права. В сотый раз извини. Как-нибудь черкну пару строк, через эон-другой, так сказать; если что-то изменится. С ним, я имею в виду.

Искренне не твой,
К.К.

Аугсбург, осень 2000 — зима 2001.

АБСУРДНО БЫЛО НЕ ЛЮБИТЬ

* * *

О, виталище, жизнище — не превзойти
Этой степени, ибо не степень,
Но — как «кладбище», «капище»... Жилой хрусти,
Сердцевину высасывай, цепень!

Как в заросшую мочку не вденешь серьги,
Не пробив каплевидную мякоть, —
Алой выступи каплей, на ноготь сбеги,
Запекись — не разваживай слякоть.

Уж и так твоя влага смочила постель
И межгрудие вдоль оросила...
Черным горлом руладу кати, свиристель,
Щекочи хохолком что есть силы.

* * *

И колебалось устройство мировое,
И колыхалась фантомная ветла
Над самой жизнью, над самой головою,
И крыша ехала и мультики везла.

А кто и в непогодь лежит неколебимый,
Неколыхаемый, кому порукой дождь,
Что греза сбудется, свершится сон любимый,
Еще побегает амурной Коломбиной,
Еще изверится и в почте голубиной,
Еще удавится, докукою горбимый
За сына пьяного, за похотную дочь!

Марина
КУДИМОВА

— родилась в Тамбове. Окончила Тамбовский пединститут. Автор стихотворных сборников «Перечень причин», «Чуть что», «Стихотворения», «Арысь-поле», «Область». Живет в Москве.

* * *

Как на запах кошачьей мочи муравей —
И как кошка за муравьем,
За цепною реакцией жизни моей
Я спешу, как спешила вдвоем

С тем, кто путал порядок на каждом шагу —
Лево-право, продай и купи, —
И кого я никем заменить не могу
В разошедшейся рыхлой цепи.

* * *

Мне все равно, с какого языка
Тебя перевели...
Манежная предснежная тоска
От неба до земли.

Ноябрьская сажевая плоть,
И лишь душа с мыска
Белеет, как посоленный ломоть
В котомке бедняка.

Она одна и зрячим не видна,
И плачет, ё-мое.
Неужто плесень — или седина —
Пробила и ее?

Простим брыкуню за последний бзик,
Дадим перегореть.
Мне все равно, и на какой язык
Перетолмачат впредь...

Вот-вот занижут край над этой мглой,
Над бездною курной
Метельною, нательною иглой,
Поземкою свивной.

* * *

Нам не хватало на такси,
И мы в окно слетались к чаю.
Скучала ль ты? — меня спроси,
И я отвечу: и скучаю, —

Но вряд ли по тебе, мой друг,
Опившись зельем забытым...
Я шлю благословенье ждущим
И чающим! Таких наук

Не превзошла — не обессудь.
Но тою мутною зимою
С глициниевой бахромою
На скользкий путь, трамвайный путь,

На узкий заглубленный рельс,
На подколесник маслянистый
Легко вставала, сноровисто...
И разве я из умных эльз,

Чтобы толкать беду плечом
И наперед будить немилость?
Мне полной мерой обломилось,
И молодость тут ни при чем.

Скучаю только по руке —
Еще с обводкою объятья,
Уже парящей налегке,
На реактивном сквозняке,
На грани счастья и проклятья.

* * *

Не называй своего имени, когда звонишь.
Или, если ты думаешь, что я могу обознаться
И воркнуть светски: «Кто это?», —

тогда, малыш,
Дело плохо, и нам пора закругляться.

По тому же, что мы заострили, судя,
пришла весна, —
Не дожидаться ей Сретенья,
равноденствия не достигнуть,
И нетрезвая данность дана нам с тобой сполна.
Тут ни дать и ни взять. Тут не выскочить —
только спрыгнуть.

Да и разве зовут по имени в этом бреду?
Лишь по уровню тайной влажности различают.
И прощения здесь не ждут, и души не чают,
Но бегут по-щенячьи, разлапясь на поводу.

Никогда, никогда не бери от меня кольцо
С моим знаком двухвостым, с сомнениями двойными!
От всего отпереться могу, не признать в лицо.
Но по голосу...Больше не смей называть мне имя!

* * *

Окошки вымыты, синь осени густеет,
Стекло тончайше изнутри потеет,
Слезу наружную выдавливает злей.
Заготсогрев — и так вот зиму зимски:
Задвижка резкая и рамы профиль римский,
Бумага липкая и тряпки для щелей.

И кисть вылезлива, и вязок жизни клейстер...
Все неотчетливей, как чеховский почтмейстер,
Себя в ней чувствуешь, едва осознаешь
Средь дум полуночных и бесов полудённых,
А упасаешься от сквозняков студёных,
Стремянкой стукаешь и на весу поешь.

* * *

От прибрежной своей полосы,
От косы, что от уха до уха
Улыбается влажно и глухо,
Наберись неподъёмного духа —
Никогда не смотри на часы.

Ты, как прежде, не здесь и нигде —
Блазнишь, дразнишь и дашься едва ли.
Ты все ближе, все ближе к воде, —
Шаг еще — поминайте, как звали!

Ну как знаешь: не хочешь — не снись.
Все проходит, и это не вечно...
Не смотри, не смотри — отвернись:
Там идет запрещенное нечто.

Там в артельный большой котелок
С пенным супом чужих суеверий
Брошен пряностью наш каталог
Предыдущих прохватистых серий.

И, к слиянию с небом гребя,
Где вода как расплавленный барий,
Не смотри, умоляю тебя, —
Скуден кадр, и бездарен сценарий.

Это чтобы управить тоской,
Плетью щелкает высокомерье.
Это ветер сугубо морской, —
Я нечаянно хлопнула дверью.

* * *

Рук в мольбе тиарой не складывала,
Не поплеывала через плечо,
Но на каждый пустяк загадывала,
Что увижу тебя еще.

Я в себе, как в лавке посудной,
Тщила вечное не побить.
Я любила, ибо абсурдно
Было видеть — и не любить.

Я тебя по углам не скрадывала,
Но в безвылазной меледе
Я на темной воде загадывала
И на огненной на воде.

А когда только тень покачивалась,
Только зыбка — или ладья —
Лунным стоном твоим просачивалась,
На него я не оборачивалась —
На него отзывалась я.

Знаешь, сколько разобиделись,
Этим эхом соблазнены?
Что за жертвы принесены,
Чтобы мы с тобой не увиделись?

Ведь по нашей однокоренности
В обезумевшем казино
Ставки делались... Но о ревности
Ничего мне знать не дано.

Лишь вцеплялась в рукав репейником
Благовещенская ветла...
Рыбья кровь твоих европейнок
По сусалам моим текла.

* * *

Устами нанесенный алыми,
Ожог засох — тавро осталось.
Ведь знаешь ты, что ритуалами
Я никогда не соблазнялась.

И все же зарекаюсь вздрагивать
При встречах, бороздами лоб свой
Пластать... Примусь волынку тягивать,
Не причиняя неудобства

Тебе... Но если, Кто заведует,
Нас без плацкарты на вокзале
Не бросил, попрошу как следует,
Чтобы не сильно наказали

Тебя: чтоб призраком являться я
Не смела в перекрестье рамы;
Чтоб жертвы или спекуляции
Нам не извлечь из этой драмы...

А ты ответно в осень охряную —
Хоть это и не очень срочно —
Не приходи ко мне на похороны
И не оплакивай заочно.

* * *

Я ни с чьим не спутаю этот рот
На кону последнего целованья,
Сколь ни втянет общий водоворот
В круговое улово расставанья.

И когда с последним лязгом засов
Отсечет от времени сикось-накось,
Я ни с чем не спутаю этот зов,
Тонкий сон, сиамский био-танатос.

* * *

Я снова усну на молитве,
На имени четном твоём,
И снова в душевной ловитве
Мы порознь ночь проведем.

И слез моих ветер не вытер,
Преемник не выжег, пока
Ты носишь мой теннисный свитер,
Чья ткань и тонка, и крепка.

А я все твое износила
На долгие годы вперед...
Мою окаянную силу
Мне утро с лихвою вернет.

Я в коробе стану копать,ся,
Где жизни накопленный лом...
Бессчетно я ранила пальцы
Тобой возвращенным кольцом.

ОХОТНИК

Повесть

Время здесь шло, как круги от брошенного в воду камня. Вечерами я сидел у моря, бросал в воду камешки и смотрел на незаходящее северное солнце.

А может, время шло так, как это солнце. Или летело — при каком-нибудь неожиданном воспоминании, — как порывистый ветер из-за дальних сопок?

Когда перед глазами бесконечный простор, то все становится похожим друг на друга: небо похоже на белесое море, чайки — на ветер, и сам себе скоро начинаешь казаться частью пейзажа. Чем больше пространство, окружающее тебя, и глубже покой, в который погружаешься, тем меньше причин и следствий в прошедшей и настоящей жизни.

Я представлял огромный материк на карте и сверху, ближе к Северу — маленький остров, на берегу которого я сейчас и сидел. В сущности, я обо всем так и думал — видел что-то большое плюс маленькую часть. Материк плюс маленький остров. Я сам — и всегда ко мне добавлялось какое-то отдельное чувство, или радость, или боль. Всегда мои чувства были чуть-чуть отдельно от меня, как этот остров — от материка. Всем явлениям, всем предметам в мире недостает маленькой их части, которая, кажется, есть где-то рядом. И в этой части вся разгадка. Чего? Я не знаю. Какой-то тайны, которая есть во всех крупных частях жизни. Почему я решил, что разгадку той жизни, которая осталась далеко на материке, я пойму здесь, на острове? Все время я гоняюсь за маленькой частичкой, недостающей целому. Все время я прислушиваюсь не к себе, а к своим чувствам, каждое из которых — совсем рядом.

За моей спиной на склоне холма стояла охотничья избушка. Когда-то охотники долгими полярными зимами охотились здесь на песцов. Я попытался представить, как выглядело зимовье: в загоне дышали паром олени, повизгивали в сенях собаки, охотники спали в жарко натопленной избушке. Наверное, горела лампадка — единственная точка света кроме тлеющих углей в печке.

**Владимир
СОТНИКОВ**

— родился в 1960 г. в Белоруссии. Закончил Литературный институт. Автор ряда публикаций в центральной периодике, а также пятнадцати книг для детей. Живет в Москве.

Нет, не мог я это представить. Не видел я никогда этой жизни — зачем же тогда вытаскивать из памяти какие-то обрывки из фильмов и прочитанных книг? Избушка хранила свою вековую тайну, и у меня не было разгадки к ней. Только молчаливое уважение к чужому прошлому, какое бывает на заброшенных кладбищах, чувствовал я, когда открывал обитую оленьими шкурами дверь, смотрел на крепкие стол и нары, крупинки соли на полке, зуб мамонта, который так никто и не взял в качестве сувенира за долгие годы, — сколько еще мелких подробностей прошлой жизни мог я выудить из этого жилища? Это прошлое я и представлял как некое огромное целое, к которому пытался присоединиться настоящий день. Это и было моим слабым ощущением непрерывности жизни.

В маленьком оконце виднелось море, накатывались и накатывались на отмель волны — вот так идет время, думалось мне. Я выходил из избушки, оглядывался вокруг, смотрел в сторону лагеря, где сейчас отдыхали после работы такие же люди, как и те давние охотники. Я вспоминал, как впервые увидел этих людей из иллюминатора вертолета, на котором прилетел сюда. Первым ощущением от этих новых лиц была их привычность — к месту, воздуху, общему настроению. И я, сходя по лесенке, щурясь от яркого солнца и неутихающего ветра от винта, уже старался перенять это чувство, без которого нельзя жить на новом месте. Самым странным казалось мне то, что именно от этого чувства я и убежал с большой земли.

После работы я всегда уходил вдоль берега далеко от лагеря, к этой избушке. Почему-то здесь я с каждым днем все больше ощущал в себе покой и ту легкость мысленной опустошенности, которую испытывает человек после разрешения какого-нибудь важного для него вопроса. Например, я замечал в людях, которые вдруг приходили к вере, потухнувший внутренний огонь — как будто в лампе прикрутили фитиль и он стал гореть слабым, но ровным пламенем. Или, например, мой друг, несколько лет лихорадочно изводивший меня ночными разговорами об отъезде в другую страну, подав, наконец, документы на выезд, потерял ко мне интерес — да и в любом разговоре предпочитал уже отмачиваться.

Но что же случилось со мной, что успокоило меня здесь? — вспоминал я свой каждодневный вопрос, неторопливо вышагивая вдоль отмели. Те два примера, которые пришли мне в голову, не имели ко мне никакого отношения. Мой приезд на этот остров не мог сравниться по значительности с отъездом из страны: я же знал, что через несколько месяцев вернусь на большую землю, к привычной жизни. Моя вера тоже оставалась такой же — наполненной сомнениями, я не выдерживал вопросов на эту тему, которые задавал себе, и терялся, замирая в неподвижности, как водоросль, вынесенная сильной волной на отлогий песок.

Разве что здесь, на острове, появилась одна кощунственная — по отношению к обычной вере — мысль. Я стал видеть то главное разрешение, которое таилось раньше во всех моих вопросах и ответах о вере. Это разрешение было передо мной — в небе, море, линии горизонта. Вот это — Бог, думал я и пугался своего утверждения, как Моисей, увидевший горящую купину.

Но даже эти мои мысли были легки, невесомы, повторялись каждый день неторопливо по дороге вдоль моря, и я называл их странным словом — немногочисленные.

Прошлой жизни, которая казалась каким-то большим объемом позади меня, недоставало маленькой части. И я спокойно ее вышагивал изо дня в день по одной и той же дороге вдоль моря в направлении к избушке, в которой когда-то жили охотники. Охотники на снегу — назвал я их про себя, потому что жили они здесь зимними полярными ночами, окруженные бескрайними снегами.

Сейчас здесь стоял полярный день, с незаходящим солнцем, и люди, среди которых я жил, почему-то представлялись мне отражением, противоположностью тем охотникам, на снегу. И дорога от лагеря к избушке казалась мне — с неназойливой и легкой мыслью это приходило в голову — соединением прошлого и настоящего.

Несколько дней назад пошла вдоль берега рыба, омуль, и рабочие нашей партии готовили свои прошлогодние сети и вытягивали их в море. У всех были свои заветные места. Подойдя к избушке, я увидел на берегу резиновую лодку. От камня, на котором я обычно сидел, в море тянулся шнур сети с частыми поплавками. Они вздрагивали — в сеть попадалась рыба. Над головой повисали, вглядываясь в воду, бакланы — рыбины, застрявшие в сети у самой поверхности, становились их добычей. Я понял, что скоро сюда должен прийти и хозяин сети, и пожалел о потере пустынности «своего» места. Не пойти ли дальше по берегу — мелькнула мысль, — но какая-то сила не пускала меня.

Скоро я увидел идущего от лагеря человека. Издали я узнал его. Мне показалось, я даже обрадовался, что это он, а не кто-то другой. В любой группе людей, среди которых я оказывался, я всегда почему-то выделял одного человека. Всегда находился непохожий на остальных. Я даже думал, что это один и тот же человек под разными личинами встречается мне в разных ситуациях. Все в нем выдавало живую жизнь, редко вспыхивающую в остальных людях — и во мне тоже. Словно свежий излом металлической пластинки, отношение к жизни у этого человека не тускло от обстоятельств, от настроения. Радовался и расстраивался он всегда с одинаковым запалом, словно говорил всем своим видом: вот оно все перед вами, держите спокойно, и никуда не уйдет. Ладно скроен, крепко сшит, здоров, умен с той быстрой одинаковой реакцией, которая освобождает от запоздалых переживаний за

свои слова и поступки. Словом, я чувствовал в этом человеке будто своего близнеца, которому больше, чем мне, повезло от рождения, но все же и ему недоставало чего-то моего. Чего, я не знал — мне все же казалось, что он полон под завязку жизнью.

Вот он и сейчас приближался ко мне вдоль берега, и волны, идущие наискосок, гасли одна за другой у его ног. В памяти у меня побежали имена — глядя на его ладно сидящую одежду, с собственным почерком отвернутые болотные сапоги, я вспомнил армейского Геру. Прапорщик, одевавший нас в карантине, присвистнул от удивления после того, как Гера быстро надел форму, смешно висевшую на всех остальных новобранцах. «Готовый дембель», — гоготнул прапорщик, радостно оживившись.

Идущий берегом человек правой рукой отмахивал чуть-чуть назад, разворачивая плечо — я вспомнил Валеру, который на походку перенес свою боксерскую привычку вместе с шагом метнуть вперед и руку.

Этого звали Константин. Все в партии обращались к нему коротко — Кость, а Кость, и я слышал почему-то в этом обращении не уменьшенное имя, а значение самого слова, короткого и острого. А когда говорили о нем, то употребляли полное имя — Константин.

— А я тебя искал в лагере, — он бросил к моим ногам пустой мешок. — Сейчас сеть выберу, скажу, зачем. Хочешь, помоги.

Стоя в лодке, он перебирал сеть руками, вытаскивая рыбу. Я сидел на корме и отгребал веслами. «Табань легонько», — сказал он. Вспомнилась частушка Высоцкого: «Эх, табань, табань, табань, а то в берег врежемся...» Я подумал: если повторять это странное слово несколько раз, то обязательно появится Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России.

На берегу он переложил из лодки рыбу в мешок, весело ругнувшись, что улов оказался велик.

— Пошли? — сказал он и закинул мешок за спину.

Почему-то не хотелось так сразу оказываться с ним вместе. Но что я скажу — посижу еще? Погуляю?

Пройдя метров сто, он бросил две рыбины с расклеванными головами, которые нес до этого в руке, летевшим за нами бакланам: «От, обжоры!».

— Мужики стреляют бакланов, отпугивают, чтоб не клевали. А по мне, так это неизбежный процент потери. Все питаются как могут.

— А если головы отрезать — нельзя эту рыбу есть? — спросил я.

Он посмотрел на меня, чуть-чуть задержал взгляд.

— Да наверное, можно. А чего ты ходишь сюда? Я раза два тебя видел возле зимовья.

Я удивился: мне казалось, что я всегда здесь находился в полном одиночестве.

— Так. Отдыхаю.

— Ты брось. Место нехорошее. Когда сюда первая партия приехала, рассказывают, в леднике возле избушки вместе с мороженой рыбой стрелянный труп нашли. На материк отвезли, закопали неопознанного. А как его опознаешь — неизвестно, сколько лет он пролежал.

Я вспомнил зуб мамонта, все предметы в избушке — вот в чем была разгадка их нетронутости. Как на могиле, нельзя было ничего трогать. Морозец пробежал по спине при воспоминании о моих долгих посиделках внутри избушки.

— А к тебе бабы липнут? — вдруг спросил он.

Я помолчал, поняв, что в разговоре с ним надо не удивляться неожиданным, а привыкнуть к ним.

— Нет.

Он хохотнул:

— Коротко и ясно.

— Помнишь, как Остап Бендер спросил, есть ли в городе невесты, дворник ответил — кому и кобыла невеста? Все относительно.

Он махнул рукой:

— Да ничего не относительно. Какой-то умник придумал, и все повторяют, как попки: относительно, относительно... Я же, например, не буду сравнивать этот мешок, — он дернул плечом, — с тем, что на Клязьме ловлю. Там одно — здесь другое.

— Но вот же — сравнил.

— Да где ж я сравнил? Я ж не буду там сеть ставить, а здесь с удочкой сидеть. А удовольствие от рыбалки — одно и то же. Понимаешь? Не количество этой долбаной рыбы...

— Я понимаю. Только не пойму, при чем тут бабы.

— При том же. Один всю жизнь увлекается, слюни пускает, на поплавок смотрит, а у другого и без наживки клюет.

— И ты хотел узнать, слюни я пускаю или закидываю раз за разом.

Про себя я усмехнулся и чуть было не сказал, что и это — относительно, но раздражать его еще больше не хотелось.

И странно — я почувствовал, будто рядом дунул легкий, уже спокойный ветерок. Константин сказал:

— Ты уже и обиделся. Слюни — это я так сказал, не про тебя.

Мы некоторое время шли молча. Лагерь был уже совсем близко.

— А вообще-то я тебя на охоту хотел позвать. На вездеходе. А то ходишь один вокруг зимовья, как... всадник без головы!

Мне стало и смешно и жутковато от этого сравнения.

В своем вагончике я стал жарить рыбу, которую мне дал Константин, и думал о нашем странном разговоре. Я понял, что Константин въехал в разговор по своей привычке внезапно, но почему-то растерялся. Со мной часто такое бывало, когда я писал дневник — первая

фраза вводила меня в оцепенение, вставляла костью в горле, и в конце концов я оставлял в покое начатую страницу. Константин хотел со мной поговорить, что-то его во мне интересовало — а мы лишь перекидывались какими-то глупыми фразами. Почему он спросил, «липнут» ли ко мне бабы?

Я представил его там, на большой земле, перед поездкой на Север. Жил своей обычной жизнью, уверенный в себе, не чувствующий жизненных порогов, через которые многие лишь кое-как переползают. К нему и «липли» женщины, безошибочно чувствуя его силу, безоглядность. Он отвечал им спокойно, меняя их потому, что прежняя уже была, а новая — вот она, опять под рукой. И вот та, к которой он вдруг привык, перестает его замечать, а уходит — к странному задумчивому типу, сидящему в компаниях где-нибудь в уголке. И Константин впервые растерян.

Я сам не заметил, как сочинил эту быструю ситуацию. Засыпая, я дополнял ее подробностями и видел себя, сидящего в кругу знакомых Константина на какой-то вечеринке — почему-то я был в очках... Снились мне олени, легко бегущие по снегу. Сон втягивал меня в этот бег, как в метель.

Назавтра была суббота, короткий рабочий день. Я работал промывальщиком — промывал образцы породы, которые бурильщики доставали откуда-то из глубин острова. Мне говорили, что на эту работу принято брать новичков: считается, что при поиске новых месторождений новичкам может повезти. Обучил меня старый якут и с первых дней, довольный моими успехами, доверил мне всю промывку. «За живца меня держат, — иногда усмехался я, — как при игре в рулетку».

К обеду я просушил шлихи — то, что остается в лотке после промывки породы, сыпал их в пакетики и понес в лабораторию — маленький вагончик посреди лагеря. Навстречу мне шел Константин.

— Как торт, — кивнул он на мою коробку, — только цветов не хватает.

— И шампанского.

— Ничего, Майка спирта нальет.

Мы разминулись. Я вспомнил, что по дороге в лабораторию частенько срывал где-нибудь маленький северный цветок и клал его в коробку со шлихами. Когда Майя, техник-лаборант, принимая коробку, удивлялась и говорила — ой, а это что? — я подыгрывал ее удивлению. Я внимательно рассматривал цветок — надо же, и какими ветрами его сюда занесло, ведь это незабудка иссыккульская. Или, в другой раз, — шехерезада персидская. А ты знаешь все цветы? — спрашивала, улыбаясь, Майя. Здешние — нет, а вот которые прилетают, знаю, отвечал я. Так я шутил и уходил, оставив цветок в какой-нибудь колбочке на столе.

Сейчас цветка в коробке не было. Наверное, я задумался по дороге. Майя стрельнула глазами в коробку, поставила ее на стол.

— Ого, тяжелая. Наверное, золото.
— Какое-то оно слишком черное.
— Так это хорошо. Черный тяжелый шлик доказывает большое содержание олова в породе.

Я усмехнулся — так весело, с улыбкой, Майя прошептала эту фразу из какого-нибудь учебника по минералогии. Она не умела шутить, но всегда была веселой. И могла лишь или повторять бородатые шутки вроде этой, про золото — я слышал их за день десятки раз, — или весело говорить серьезные вещи. Я часто ловил себя на том, что слушаю ее со снисходительной улыбкой, с какой взрослые слушают лепет ребенка.

Еще не зная друг друга, мы летели с ней в одном самолете из Москвы. Познакомились, когда одновременно подошли к встречающему нас бородатому парню, державшему в руке листок с названием экспедиции. Потом еще неделю ждали на базе вертолета, чтобы вылететь на остров. Поселили нас в одном вагончике, через перегородку. Я сразу почему-то решил, что едет эта девушка на край света или к своему мужу, или к жениху, просто не мог подумать, что она одна, настроение у меня в те дни было мрачное — словом, никаких ухаживаний с моей стороны не было. Так и сложились наши отношения: я слушал ее разговоры о романтике, иногда отшучивался, Майя, наверное, оценила мое спокойное поведение — с ее личиком, она, вероятно, натерпелась мгновенных, с ходу, приставаний.

У меня странная натура: то отношение к девушке, которое возникает сразу, с первых минут знакомства, не может уже измениться. Даже узнав, что Майя «свободна», я общался с ней так же, как и раньше.

На острове никто не считал нас с Майей парой, потому что вертолет привез с материка человек десять — людей с разных концов страны — и кто с кем был знаком раньше или позже, никого не интересовало. С Майей мы даже «расстались» — в лагере, как ни странно, каждый жил отдельной жизнью. Я замечал, что к ней в вагончик зачастили работяги, но суровый начальник партии отпугивал их, оберегая не столько Майю, сколько запасы спирта, хранящиеся в лаборатории.

Про этот спирт и говорил мне Константин. Вспомнив, как встретил его, мрачного, по дороге сюда, я вдруг почувствовал возникновение слабой, еще бессловесной догадки — будто, глядя на поплавок, ждал, что вот-вот он обязательно дернется. Почему-то мне захотелось вот сейчас произнести его имя.

— Меня Константин позвал на охоту.

Я смотрел на Майю. Почему я ожидал ее реакции на мои слова? В ту минуту я этого не знал — просто подчинялся интуиции, иногда вспыхивающей во мне нехорошим огнем и помимо моей воли заставляющей наблюдать за людьми.

— Правда? — встрепенулась она. — Охоту я всегда представляла по фильмам — борзые, лошади. А тут — на вездеходе по тундре, посмотреть остров... Ты поедешь?

Я кивнул, и она сразу улыбнулась.

— Майя, — уж этого говорить я точно не хотел, просто вспомнил слова Константина, — я сегодня топлю баню, можно немножко спирту? — Я показал двумя пальцами, сколько бы я хотел спирту.

— В тазике? — повторила она стопудовую шутку. — Ладно, только немного. Начальник следит. И так уже приходится пробы промывать бензином.

Она говорила уже из-за занавески, отделяющей ее топчан, слышалось бульканье невесомой жидкости. Откуда-то из прошлой жизни прилетела мысль, что я мог бы сейчас обнять ее через занавеску, и она бы ойкнула, уронила бы склянку... Майя вышла, словно натолкнулась на мой взгляд:

— Что ты так смотришь?

— На звук определяю, сколько.

— Четыре бульки, как говорят работяги. Даю только потому что видела, как ты из бани в море окунаешься. Для растирания.

Я поспешил выйти, пробормотав спасибо и совсем забыв о том, что темную бутылочку надо спрятать в карман еще в вагончике.

Баня в лагере была шикарной. Строили ее настоящие знатоки банного дела. Просторная, с печкой, в которую можно подбрасывать поленья, как в паровозную топку, с парилкой, где высилась до потолка грудa камней. С одной стороны к бане подступало ледяное море, с другой — ручей. Кто-нибудь из работяг, закончив пораньше работу, а то и с самого утра в субботу, накачивал насосом воду из ручья, растапливал печку, и через два часа начинался чистый праздник, продолжавшийся и ночь, и все воскресенье. Народу в лагере было десятка три, и расслабиться, отогреться, не спешить отдохнуть — любили все.

Вода быстро нагрелась, в бане стало жарко. Никто больше не подходил — лагерь словно вымер. Наверное, все ушли проверять сети. Я разделся, выстирал всю одежду, кроме бушлата, и развесил ее в парилке. Жар там был сухой, и одежда сохла в считанные минуты. Однажды пожилой буровик, застав меня за этим занятием, сказал: «Это парилка, а не вошебоя». Я собрал невысохшую одежду, но он остановил меня — доведи, мол, дело до конца.

Сейчас я был один. Растянулся на горячем полке и смотрел, как от одежды струится и сразу гаснет видимый пар. Как удобна эта жизнь, кажущаяся с большой земли временной, переживаемой, — думал я, — каждое удобство, каждую жизненную необходимость создаешь сам, не успевая оглядываться, и прошедшие минуты гаснут, как этот пар, не допуская глупых мыслей. Время идет навстречу, и впереди — легкость каждого будущего мгновения.

Стукнула дверь предбанника. Через минуту в парилку вошел Константин. Я сел на полке, освобождая место.

— А я думал, ты к зимовью пойдешь. Я там сеть выбирал.

— Ты же сказал — плохое место.

Он хмыкнул:

— Все относительно. Рыба же хорошо идет. — Он кивнул на дверь. — Там у тебя из бушлата пузырек чуть не вывалился. А для тебя старались, наливали.

— Почему для меня? И для тебя тоже. Я Майе сказал, что с тобой хочу выпить. Потому и дала.

Константин зевал — зевок застрял у него в горле.

— Выпить-то я выпью — после бани. А что ты ей еще про меня сказал?

— Что едем с тобой на охоту и хорошо бы после баньки посидеть, выпить, поговорить.

— И она согласилась ехать?

Тут уж я удивился:

— Кто? Майя?

Он повел головой:

— Вот девка! Неужели опять капризничать будет? Понимаешь, я ее уже месяц на охоту зову. А она боится. Потом начала намекать — если б еще кто-то, и тебя назвала. Я и подумал — почему бы и нет? Значит, завтра и поедем. Если она не передумает.

— А без нее? — не удержался я от вопроса.

— А, и без нее, — махнул Константин рукой.

Жар становился все нестерпимее. Я почему-то вспомнил фразу «мороз крепчал» и понял, что мы с Константином начнем соперничать, как любые два мужика, засевающие в парилке. Вынося высохшую одежду, я глотнул холодного воздуха и опять вернулся в пекло. Когда уже потрескивали волосы, я решил, что сдаться мне будет совсем не обидно.

— Все, к черту, — я рванул к спасительному морю.

Как я ни был раскален, вода оглушила холодом. Обратно я шел медленно. Константин плескался в ручье.

— Здесь вода мягче, — улыбался он.

Мы еще на минуту зашли в парилку, согрелись.

— Ну что, по глоточку, пока никого нет? — предложил он.

Разбавив спирт в ковшике, Константин протянул его мне:

— Ну давай, за охоту.

— На кого?

— На оленей, — ответил он спокойно.

Вместе с обжигающей жидкостью я проглотил обратно и свой намек: мне казалось, что я довольно прозрачно ввернул про охоту на Майю. Обида засела во мне. Ну хорошо, раз ты такой неразговорчивый, — думал я про Константина, — раз не успел вовремя сказать, для чего зо-

вешь меня на охоту, то почему сейчас так спокойно разъяснил мою роль живца?

— За удачную охоту, — я протянул ковшик Константину.

— Нет, второй тост — за баб. За женщин. — Он дунул в ковшик и сделал большой глоток.

Издевается, подумал я, он решил, что я имею виды на Майю и хочет просто унизить. Отказаться? Улыбнуться, сказать — спасибо, Костя, не хочу я для тебя девушку из дома вызывать. Он заторопится — что ты, что ты, и начнет объяснять все сначала?

Я взял ковшик.

— Ладно. За женщин. Только Майя совсем не в моем вкусе.

— Ну и что? Дело не в этом.

Я выпил и никак не мог спросить: а в чем дело? Потому что знал ответ Константина. При чем тут вкус? Глупое слово для ленивых. Ты, ты должен нравиться. Не надо выбирать по вкусу, пусть тебя выбирают. Все вместе и каждая в отдельности.

Внутри стало тепло — совсем не так, как от парилки. Я захмелел — пили большими глотками, а в ковшике оставалось еще много. Постаралась Майя. Хмель гасил мою обиду, и я вдруг потихоньку начал ощущать что-то вроде великодушия.

— Вот ты говоришь — липнут. — Я забыл, что сейчас этого Константин не говорил. — Потому что тебе надо — раз и готово. Не привык возиться. А ты попробуй понять, что ей нравится, притворись, завоюй.

Наверное, я попал в больное место. Константин хлебнул из ковшика, задохнулся, поводит им вокруг себя, будто собираясь выплеснуть, но поставил на скамейку.

— Тебе нравится, ты и воюй. По своему вкусу. А это не для меня, студент.

Я усмехнулся и понял: так вот как, наверное, называют меня в лагере за глаза. Студент — хотя мое студенчество было в сравнительно далеком прошлом.

— Я не студент, а промывальщик четвертого разряда. Ты — вездеходчик, я — промывальщик. И вместе мы делаем общее дело. — Мне казалось, что я пошутил.

— Станный ты тип. Вроде похож на тех, кого я недолюбливаю. И — не похож. Не злись. Давай допьем. А если не хочешь ехать, не едь. Или Майку брать не будем. Вдвоем поохотимся.

— Да нет. Поехали. Все скопом. — Я разудало махнул рукой, и мы пошли мыться.

Я тихонько затанул: он сказал, пое-ехали... Константин молча улыбался.

В предбаннике раздевался начальник партии, потягивал носом воздух:

— Пили.

В лагере формально существовал сухой закон, означавший, что выпивать все должны тайком.

Константин искренне удивился:

— До бани? Вот сейчас бы — самый раз! Михалыч, я завтра на охоту еду. Выходной. Но если сразу не повезет, я задержусь до первой удачи, ладно?

— А ночевать где будешь?

— На старой буровой, там вагончик с печкой мы оставили. Вот его беру, — Константин кивнул на меня, — и Майку. Посмотреть хотят.

— А промывать кто будет?

— Я все промыл, а следующие пробы буровики только к вечеру в понедельник привезут, — сказал я.

— Да тут и буровики не нужны — бери лопатой на берегу пробы и промывай. Ладно, езжайте. Осторожно с оружием. И с Майей поаккуратней, без всяких там... — Последние слова своего краткого инструктажа начальник проговорил уже из бани.

По дороге мы зашли к Майе.

— Не хватило, да? Больше не дам. — Она была готова к уговорам.

— Да нет, ты лучше с собой возьми. Поедем же завтра на охоту, — сказал Константин, и я заметил, как хитро он произнес последнюю фразу: то ли спрашивая, то ли утверждая.

Он смотрел на Майю, она — на меня.

— На охоту завтра поедем, — весело перетасовал я слова и даже чуть-чуть продирижировал рукой.

Майя улыбнулась.

— Когда?

— В шесть. Оденься потеплее, — сказал Константин.

— В шесть, — повторил и я, — в шесть часов после войны. И соли, Майя, не забудь, соли, крупинками.

Я вышел. Пусть поговорят, подумал я, пусть. Наверное, и там, на старой буровой, подамся куда-нибудь в тундру, оставлю их наедине. А сам буду цветочки собирать. Чушь собачья.

Константин догнал меня.

— Про какую соль ты плел?

— Про каменную. Да это я так спьяну шучу. А чего ты вылетел? Остался бы — подобрать одежду для охоты.

Константин словно не слышал последних слов.

— Спьяну. Сколько там выпили. Как-то ты заводишься непонятно. С полоборота. Все нормально, а ты в каждом слове подвох ищешь. Говорю — едем на охоту, а ты — да, на охоту, на кого? И так говоришь, как будто я тебе должен. — Константин выругался, впрочем, беззлобно, словно злился не на меня, а на себя самого.

— Ладно, — я протянул руку для прощания. В лагере никто ни с кем ни здоровался, ни, тем более, не прощался — за руку.

Я всегда перед сном думаю. Однажды во время бессонницы произнес я вслух эту фразу, и она мне назойливо запомнилась. И каждый вечер я повторял ее про себя, словно перекидывал временной мостик и ко вчерашнему дню, и к позавчерашнему, и ко всем прошедшим.

В этот вечер, засыпая, я думал как-то странно. Между словами не было связи, они носились вокруг меня, как блики света от зеркального шара под куполом цирка. Константин, Майя, охотники, крупинки соли, зуб мамонта, на живца, шлихи, шлихи, на вездеходе — этих слов было много, как ударов сердца. И я был уверен, что вижу во сне ту маленькую часть жизни, которой мне недоставало раньше, но я все так же был в стороне, внизу — я запрокидывал голову под купол, и голова тяжелела, валилась навзничь...

В шесть утра Константин ждал нас, сидя в кабине вездехода. Прогреваемый мотор работал ровно, его звук напоминал бульканье кипящей смолы в огромном котле. Подошла Майя. Я подумал, что впервые вижу ее обычное лицо — сонное, неулыбчивое. Правая дверца кабины была неисправна, и Константин сказал, чтобы мы залезли сверху через люк. Смешно мы усаживались. Майя залезла первой, и я, опуская ноги в кабину, понял, что она хочет сидеть крайней, у дверцы. А я сверху втискивался как раз между ней и дверцей, всей своей тяжестью отодвигая ее на середину. «В тес-но-те, да не в би-де», — бормотал я, сползая, как клин, вдоль Майи. «Фу», — оценила она шутку, отодвигаясь.

Почему вездеход, поравнявшись с охотничьей избушкой, вдруг повернул и объехал ее вокруг? Сразу я подумал, что Константин хочет проверить сеть или просто поворачивает к лагерю — забыл что-нибудь. Но он молча смотрел вперед, потягивая на себя один рычаг, — и вездеход опять выехал на свою колею, словно затянув петлю.

Я уже давно отвык от скорости — те километров сорок в час, которые выжимал Константин из вездехода, казались мне полетом. Мы взлетали на небольшие холмики и опадали вниз, и вода из луж-оконцов окатывала ветровое стекло, Майя охала, а я улыбался от удовольствия мягкого, как на качелях, падения. Да и не только от скорости я отвык. Чем жестче давила справа дверца, тем приятнее слева я чувствовал Майю, прижатость ко мне ее бедра, бока — ту самую тесноту, которая и где-нибудь в такси вдруг обратит на себя все внимание, как будто больше и думать не о чем.

Мчались мы так долго. Майя встала и высунулась из люка, как танкист, и что-то восхитенно вскрикивала, когда видела вспархивающих перепелок или уток.

Константин сбавил скорость и остановил вездеход.

— За тем перешейком могут быть олени, — сказал он.

Механизм охоты был прост, борзых и лошадей, о которых говорила Майя, заменял вездеход. На равнине олени не подпускали вездеход близко — лишь издали мы видели серые пятнышки, словно уносимые от нас сильным ветром. И с подветренной стороны мы на малой скорости приближались к какому-нибудь холму, который закрывал нас и гасил звук мотора. У подножья Константин врубал повышенную передачу — и в несколько секунд мы взмывали на вершину. Если в низине за холмом оказывались олени, они сразу же начинали убегать, но расстояние до них все-таки было достаточным для прицельного выстрела.

Мы с Майей поменялись местами — уже я стоял в люке, держа перед собой карабин, а ствол Константина торчал из левого окна. Уже несколько раз мы взмывали на гребни холмов, оглядывали открывшиеся распадки, но они были пусты. Лишь однажды мы застигли врасплох отставшего от стада оленя, но он сиганул в сторону и скрылся за боковой неровностью холма.

Подготовка к новому подъему занимала несколько километров, и у меня появилось время думать. О том, что я по сути своей — охотник, но меня сейчас больше занимает не желание обнаружить и настичь оленей, а назойливое ощущение вмешательства в чужое пространство, в котором легко растворялась и висела в воздухе, как осенняя паутина, живая жизнь.

Иногда мы видели облезлых от линьки песцов, петляющих между кочками. Я показал карабином на одного из них, и Константин, наверное, решил, что я хочу выстрелить:

— Не надо, сейчас они никому не нужны. И надо ж, мерзавцы, чувствуют это. Летом даже по лагерю шляются, а вот зимой, когда мех хороший, и близко не подпускают.

Через час мы остановились на привал — после того как погонялись за стаей куропаток. Они выпорхнули прямо из-под вездехода и приземлились метрах в ста. Константин достал из-за брезентовой перегородки, отделяющей кабину от кузовного отсека, ружье. Когда стая села в очередной раз, он почти не целясь выстрелил. Три куропатки уже не взлетели. Я сбегал за ними и бросил их в кузов. Подождав несколько минут, мы опять догнали и спугнули ту же стаю. Теперь стрелял я и подбил двух. Влет я выстрелил напрасно — не попал. Майя сразу же отказалась стрелять — она и так при каждом выстреле опускала голову и потом смотрела в сторону, в окно.

— Если покатаемся впустую, хоть куропатки будут на ужин, — сказал Константин.

Мы поели, попили чаю — заваренный на небольшой чайник целой пачкой, он не показался чрезмерно крепким.

— Сидим, как три охотника на картине, — сказала Майя.

Я поглядывал на Константина — мне непонятно было его спокойствие. Наверное, я ожидал, что он будет перед Майей ходить петухом, выставляться с лучшей стороны. Но он, казалось, был еще более сдержан, чем всегда. Ну, покатался лихо — но так он, наверное, ездит всегда. Все было обычно, и обычность эта так спокойно воспринималась Константином, что нам с Майей передавалась радость его спокойствия. Он показывал рукой в разные стороны острова, рассказывал, что где находится, какие там красивые места, и горы, закрытые пока дымкой, и ручей с водопадом, и мы туда обязательно заедем. Мы крутили головой, и казалось, уже видели все это перед собой.

После обеда мы уже не искали оленей — может, сами попадутся, сказал Константин, — и поехали к южному окончанию острова. Здесь берег был высоким и крутым, внизу мощно набегали и бились в мерзлоту волны. Они подмыли берег, и прямо под нашими ногами Константин заметил выступающий бивень мамонта. Он торчал, будто кто-то огромным острым суком заткнул птичью нору. Константин размотал трос, сделал петлю и накинул ее на бивень. Взревел мотор, трос натянулся, врезался в берег — внизу раздался треск. Мы с Майей стояли сбоку и смотрели, как бивень сломался, взметнулся вверх, от него полетели вниз щепки.

— Старый, — сказал Константин, разглядывая бивень. — Потому так легко и выдернулся. Но ничего, разрежу на три части — на память.

Когда он нес к вездеходу бивень, от него отпала маленькая продольная щепка. Я поднял ее и положил в карман.

— Там, за проливом — материк, — показал рукой Константин. — А один раз я видел на горизонте корабль. Интересно было — плывет себе один — на тысячи километров.

— Может, и мы увидим? — Майя повернулась и пошла обратно к берегу. Мы остались стоять у вездехода. Я заметил, как Константин поднял что-то с земли, повертел в руке и выбросил шелчком, как окуроч. Это был маленький желтый цветок.

— Надо было здесь привал делать. Место хорошее, — сказал я.

— Там хорошо, где нас нет, — ответил Константин.

Я взглянул на него. Какая-то глубокая грусть, непривычная для него, была на его лице. Словно на нем отражалось это холодное море и дымчатое небо с растворенным светом слабого солнца.

А ведь мы никогда не видим своего лица, подумал я, никогда. В зеркале мы меняемся. Вот эта тень, нашедшая на лицо Константина, есть и во мне. И мы сейчас так похожи.

— Все-таки хорошее место, — сказал я. — У меня в таких местах — озноб по спине. И в такие минуты почему-то мне кажется, что я жду наказания. За прошлую жизнь.

Константин взглянул удивленно:

— В чем же ты так сильно виноват?

Я пожал плечами:

— Знаешь, подробностей этой вины как будто и нет.

Константин хмыкнул:

— Значит, тебе кажется. Креститься надо, если кажется. Я как-то раз тоже думал, что виноват, попросил прощения — так на меня посмотрели, как на дурака. А другой раз считают тебя подлецом, а ты-то знаешь, что это не так. Так что, брат, всем не угодишь. Не бери в голову. А то — тебя послушать, так жить не хочется. Наказание, наказание! Какое наказание? Посмотри вокруг — ничего нет!

— Ну да, ну да, — ухмыльнулся я, глядя под ноги.

— Да что ты насмеяешься надо мной! Я утром на тебя глянул и понял — всё, не даст покоя этот умник. Ты ж все придумываешь! Про нас с Майкой...

— Про вас с Майкой придумал ты, — тихо перебил я его, — ты же решил не наскоком брать, а видишь как — с моей помощью. Сам же вчера сказал.

Я думал, Константин сейчас взорвется. Но он тихо и спокойно произнес:

— Всё. Это как-то не по-моему. Позвал девку на охоту, а ты вон что наворотел. Поехали. А то сейчас тебя молнией с неба как шандарахнет. Наказание.

Подошла Майя:

— Вы что, поссорились?

— Подружились, — ответил Константин. — Поехали дальше.

Я был уверен, что мы возвращаемся в лагерь. Мне уже было стыдно: я жалел не о своей роли, а о своем поведении. Казалось, что я и вправду все усложнил и помешал этим Константину жить своей нормальной жизнью. «И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов?» — с улыбкой я вспомнил фразу.

Но, наверное, Константин был таким же отходчивым, как и я. Через некоторое время, искоса поглядывая на него, я увидел, что лицо его посветлело и успокоилось. Вдруг, поддав газу, мы взлетели на холм и остановились.

— Вот же они! — крикнул Константин, отбросил дверцу и выпрыгнул из кабины.

Целился он долго. Олени бежали не быстро, словно ожидая проявления настигшей их беды. Грохнул выстрел, и из бока переднего оленя в противоположную от нас сторону вырвалось фонтаном белесое облачко. Пробежав несколько шагов, олень упал, а стадо, одновременно ударенное током, метнулось в другую сторону.

— Не торопись, целься с опережением! — крикнул мне Константин.

Я выбрал самые ветвистые рога, взял чуть вперед и выстрелил. Вскрикнула Майя, рога зашатались и медленно завалились набок.

— Все, хватит! — услышал я, и мне показалось, что это Майя крикнула голосом Константина. — Хватит, — повторил Константин.

Стадо летело прочь — разогнавшись, взметая веером водяные брызги, олени бежали плавно, как жирафы. Оглядываясь, почему-то отстал один — и вдруг повернул обратно. Он то останавливался, оглядываясь на стадо, то большими прыжками приближался к лежащему оленю.

— Самка, — сказал Константин и показал карабином в ту сторону, где уже скрывалось из вида стадо. — А вон олененок.

Отставший и от стада, и от матери, олененок стоял на пустом месте в неподвижности. Олениха подошла к лежащему оленю, наклонив голову, словно на ходу пила воду.

Только этого мне не хватало, — подумал я и посмотрел на Константина. Он пожал плечами:

— Странно — такие семьи обычно отдельно от стада пасутся.

Наверное, он хотел меня успокоить — на случай, если я переживаю. Как раз на этот самый случай. Он прицелился и выстрелил. Пуля ударила у самых ног оленихи, обдав ее фонтаном воды. Я понял, что Константин отгоняет ее. Она отпрыгнула в сторону и побежала к олененку.

Он меня успокаивал — это я прочел в его глазах. После нашего разговора о моем чувстве вины. И я понял, что сейчас на меня накинется злость — на эту охоту, на Константина, на себя самого и всю мою жизнь, которую я «придумываю».

Мы втроем молчали и курили. Через люк кабины, где сидела Майя, поднимался дымок, сразу уносимый ветром.

— Мы же на охоте, — почему-то сказал я, очень сильно ожидая, что же скажет на это Константин. А он промолчал.

Потом мы съехали с холма, долго разделявали оленей, после чего прикрыли их останки шкурами. Я подумал, что сверху, с вертолета, будет казаться, что олени просто застыли на месте.

Мы ехали прямо на солнце, и я не сразу заметил впереди старую буровую — покосившуюся вышку и маленький вагончик.

Своей одинокостью и безжизненностью среди бескрайней тундры этот вагончик напомнил мне охотничью избушку.

Вездеход, качнувшись, остановился, Константин заглушил мотор. Это была не тишина. Ветер свистел в перекладах вышки, терзал воздух, и казалось, что ветер борется со временем, накопившим здесь свою силу, пытаясь сдвинуть его с места и захватить с собой.

Куда? — подумал я, — вперед или обратно?

Все предметы вокруг были мертвы — бочки, тряпки, разбитые ящики являли собой такое раскидистое безобразие, что я сразу подумал: их мертвенность как раз и заключается в разобщенности, непохожести друг на друга.

Опять придумываю, — опомнился я от гулкого удара Константина в дверь, которая, оказывается, была открыта и покачивалась от ветра, словно что-то бесконечно отрицая.

— Паша и Вася были здесь, — зло проговорил Константин. — Тоже охотились. Ну ладно, сейчас маленько приберемся — не спать же вездеhode.

Мы смели мусор с нар и стола старой робой. Константин принес ведро воды из лужи, окатил все пространство вагончика, сбив пыль.

— Затопим печку, все высохнет.

Я стал разжигать печь. Такие печи, работающие на солярке, были во всех вагончиках экспедиции. Открыл ventиль, увидел, как по днищу растекается темное пятно солярки — бросил туда спичку. Мне всегда нравилось смотреть, как слабенькое пламя от спички все шире и шире расходилось по лужице — «а лисички взяли спички, море синее зажгли» — всегда вспоминал я при этом.

Потом мы с Константином вышли и долго звали Майю. Это было смешно, мы переглядывались и улыбались: два мужика стоят у вагончика и орут из всех сил, зовут девушку, которая гуляет по тундре. Майя отошла далеко, наверное, собирая редкие, растущие поодиночке цветочки. Она иногда наклонялась, и ветер не давал долететь до нее нашим крикам.

— Вот и в Москве так, — сказал Константин, — только вывезешь девушку на природу, она сразу начинает бродить кругами, будто что ищет.

Наконец Майя оглянулась и помахала рукой.

Маленький букетик — он бы провалился в кружку — Майя положила прямо на стол и достала из рюкзака темную бутылочку. «Не была», — переглянулись мы с Константином. Гудела ровно печка, мы сидели за столом, по очереди отпивая из кружки разведенный спирт — «аперитив», как я это назвал.

— Подождали бы, — улыбалась Майя и подхватывалась к печке, где уже шипела на сковороде оленина.

Я смотрел на букетик и думал о том, что вот так, как эти цветы, собиралась из подробностей нескольких дней эта минута. «Как спокойно Константин взял в себя и растворил все мои выдумки, — думал я, встречаясь с ним взглядом, — и мало ли что он ожидал от этой охоты, но вот сидим здесь уютно, как близкие давно люди, и Константин ведет нас куда-то за собой».

— Как меняется все со временем, — сказал я, почему-то кивнув на печку, — раньше охотники оставляли после себя дрова, еду, соль, а сейчас, наоборот, убирать за ними надо.

Константин улыбнулся:

— Раньше и сахар слаще был.

— А по-моему, — быстро заговорила Майя, — и раньше разные люди были, и сейчас. Вот Костю, например, я могу совершенно ясно представить в то время, когда здесь на собаках ездили, — таким добрым и сильным охотником.

Константин посмотрел на меня — мол, что тут скажешь на этот лепет?

А я понял вдруг, что эти слова Майи — ее первое, осторожное признание Косте. И при мне ей было легче так сказать. Как бы невзначай, в разговоре, при свидетеле. Она и смутилась, заметно покраснела.

Самое время мне было выйти, покурить. За мной вышел и Константин:

— Чего ты вышмыгнул? Или смотришь — опять хорошее место нашел?

Я улыбнулся:

— А ты чего такой невеселый?

— Да какой-то день непонятный. С утра. Еду и считаю: сколько же сезонов я сюда приезжаю? Как будто завязывать с этим решил.

— А разве сможешь?

— Не знаю. Слушай, а я ведь думал, что Майка к тебе подбивается. Ничего не пойму. Какая-то она — как ребенок. Намучаюсь я с ней — точно это чувствую.

— Так ты ж сам хотел...

Константин бросил окуроч:

— Да ничего я не хотел. Хотел одно, а получилось другое. Не во время все. Никогда о своей жизни не думал, не вспоминал, а тут... И эта Майка. Раньше бы ее и не заметил. Тут бы с собой разобраться.

Странно было слышать от него эти слова. Я увидел, что Константин изменился за один день. Мне даже показалось, что мы с ним поменялись местами, или, по крайней мере, он стал похож на меня больше, чем я на него. А может, я опять «придумываю»? Каждый человек — сам по себе.

Мы вернулись в вагончик. «Все мысль да мысль! Художник бедный слова...» — подумалось мне, как только я представил, что будем сейчас разговаривать, наверное, шутить, а я совсем не хочу говорить. Мне хотелось молчать и думать о Константине, о себе, о Майе — обо всем, что в мыслях оставалось живее и понятнее, чем в сказанных словах.

Но странно — нам всем было хорошо молчать. Каждый думал о своем. Понемногу пили, ели, улыбались слегка, если встречались взглядами. Потом улеглись спать. Мне не спалось, и через какое-то время, пробормотав, что здесь душно от печки, я перешел в вездеход. Завел мотор и, когда в кабине стало тепло, заглушил. Мой сон был таким же неуютным, как и короткое сиденье кабины. «Все мысль да мысль», — проносились в голове слова, как только я выплывал из сна. Мне казалось, я слышал негромкий говорок в вагончике. Наверное, Константин рас-

сказывал о своей жизни, пытаюсь показать, какой он плохой. А Майя все равно думала по-другому.

Утром я проснулся от холода. Вылез из кабины. На крылечке стоял Константин и крутил у виска пальцем. Красноречивый жест. Мы пошли умываться к дальней, чистой луже.

— Молодец, оставил нас вдвоем, — зло сказал Константин, — всю ночь пришлось сказки рассказывать. Чтоб заснула. А ты что подумал?

— Ничего, — ответил я, улыбаясь. — Ты меня совсем за дурака держишь.

Мы вернулись. Майя поставила чайник и пыталась разжечь печку.

— Вот, погасла почему-то, — радостно сообщила она Константину и вышла, стесняясь своего заспанного вида.

У нас тоже ничего не получилось: видно, в печке кончилась солярка. В маленьких сенях стояла другая, ржавая печка — я взял спички и подошел к ней. Константин сказал:

— Я ее посмотрю. А ты принеси из вездехода канистру.

Я вышел. И запомнил навсегда все звуки, которые раздавались в эти мгновения за моей спиной. Несколько шагов Константина за мной — до сеней. Звяканье чугунных колец, которые он снимал со старой печки. Чирк спички. И упругий, громкий взрыв, будто лопнул огромный воздушный шар.

Меня толкнуло к вездеходу. Оглядываясь, я увидел, как падает дверь вагончика, из проема рвутся багрово-черные клубы пламени. На мгновение я увидел на полу сапоги, обращенные ко мне подошвами — почему они лежат? — мелькнула мысль, и я понял, что взрывом Константина отбросило внутрь вагончика. Между нами бушевало пламя — я вскочил на крыльцо и сразу отпрыгнул назад. Как я потом жалел об этих потерянных секундах! Ноги Константина шевелились — он пытался перевернуться на живот — но я видел только ноги. Натянув бушлат на голову, я нырнул пониже — туда, где огонь только начинался, — и дотянулся до ног. Я боялся их отпустить — так горячо было рукам. Бушлат сползал с головы, я почувствовал, что у меня есть только мгновение — повторения его не будет. Повернувшись спиной к огню, я изо всех сил потащил Константина. Я чувствовал, как его тело скользнуло по мокрому — и упало позади меня с крыльца. Он горел весь — извиваясь и обхватывая голову руками. Дымился и мой бушлат — я сдернул его с себя и начал сбивать пламя с Константина, но казалось, этими ударами я только вздымаю пламя еще выше. Я набросил бушлат ему на голову, и, отворачивая лицо от пламени, потащил Константина к ближайшей луже. Мы упали в воду — я подхватился и сразу руками плеснул воду на оставшиеся пятна огня.

Как долго, как долго, — стучало у меня в голове, когда я вытаскивал его обратно из воды.

Я попытался расцепить руки Константина, но не смог — из-под рук доносилось страшное, утробное мычание.

Подбежала Майя, вскрикивая вздохами, упала возле нас на колени — тоже старалась разжать руки Константина. Он медленно, словно прислушиваясь к себе, отпустил их. Волосы на голове спеклись, прилипли к коже, лицо было красным — я увидел, как медленно приподнимается, как от водянки, кожа щек и лба — Константин стонал и мотал головой.

Масло, масло, — подумал я и взглянул на вагончик. В нем гудело пламя, вырываясь из двери. Я подбежал к вездеходу, надеясь в кабине найти аптечку, какую-нибудь сумку. Там было пусто.

— Чем смазать? — крикнул я Майе.

Она смотрела на меня распахнутыми глазами и мелко-мелко мотала головой.

Константин громко выдохнул — я различил его слова:

— Мочой... надо.

Майя протянула мне платок. Я отошел к вездеходу. Когда я осторожно прикоснулся мокрым платком к ожогам, Константин скрипнул зубами и произнес:

— Уже не поможет... Сильно?

— Да... нет. Заживет. Надо в лагерь ехать. Давай, Костя, потихоньку в вездеход.

Он, наверное, не слышал. Часто дышал, казалось, только выдыхал воздух. Мы помогли ему подняться, уложили на пол грузового отсека, Майя села рядом.

Я никогда не водил вездеход — он рванул с места, как прыгнул, и стал петлять то вправо, то влево. Я съехал с колеи и поехал рядом с ней прямо по тундре. Ветер, обгоняя нас, еще долго доносил дым от горящего вагончика.

Что это было? — думал я, глядя на свои вздувшиеся от волдырей руки, и видел вместо них обгоревшее лицо Константина. — Почему он, тысячи раз разжигавший такие печки, не посмотрел ее, не понюхал хотя бы — какая-то сволочь ведь залила туда вместо солярки бензин. И вентиль, наверное, открыт был, если рвануло так — значит, в печку просто налито было, как в бочку. И ведь я хотел поджигать, а Константин, наверное, машинально, вместо меня довел все до конца.

До конца — повторились во мне эти слова.

Повернуть бы время, закрыть, как тот вентиль в печке, чтобы не несло так вперед, не обгоняло, как летящий огненный змей.

Черт знает что проносилось в моей голове, пока я трогал все рычаги и педали, на пробу изучая нехитрое управление!

Что будет дальше? — нажимал я газ, и вездеход рвался вперед, словно спешил открыть поскорее это невыносимое — дальше...

Мы выехали к морю далеко от лагеря, и я не знал, в какую сторону поворачивать. Я ехал вдоль берега и боялся, что удаляюсь от лагеря. Но вот показалась впереди охотничья избушка, и я вспомнил, как вчера утром Константин вдруг объехал ее вокруг — зачем? Во всех подробностях прошедших дней я буду видеть намеки на то, что в конце концов случилось.

Я остановился у вагончика начальника. Он выскочил вслед за мной к вездеходу, взглянул на Константина и — растерялся. Этот человек, повидавший всякое, не мог поверить, что такое могло случиться именно с Константином. Я вывел его из оцепенения, дернув за руку, — вертолет, надо вызвать вертолет, — сказал я. Начальник побежал в радиорубку. Майя сбегала за врачом, подходили рабочие — на их лицах я видел непонимание, недоумение. Они готовы были видеть на месте Константина любого другого — мало ли что случается в экспедиции, — но сейчас выглядели как школьники, впервые увидевшие аварию. Они спрашивали меня, я отвечал — про печку, кем-то заправленную бензином, — и чувствовал, что мои слова ничего не объясняют. Не мог же я говорить о том, что Константин изменился за один день, стал другим, и сам мне сказал о конце своей прошлой жизни, что он наконец стал похож на меня? Эти объяснения останутся со мной и, наверное, с Константином.

Врач густо смазывал его лицо какой-то мазью. Я никогда не видел, как снимают маску с умершего, но эта параллель заставила меня вздрогнуть. Я словно отдернулся от этой мысли.

Вертолет прилетел через несколько часов. Майя улетела вместе с Константином.

Она вернулась через неделю — тихая, поникшая. На расспросы отвечала, что Константину сделали пересадку кожи и что врач обещал через месяц его выписать. После своей работы я заходил к ней, помогал разбирать накопившиеся пробы. Работали мы молча, как в читальном зале. Лишь однажды Майя не выдержала и отчетливо мне сказала:

— Он меня прогнал. Я уеду отсюда до его возвращения.

— Вы встретитесь потом, в Москве, — сказал я.

Майя невесело улыбнулась.

Она и правда уехала, как только закончилась промывка.

Начальник уговорил меня работать вездеходчиком — не хватало людей.

Константин вернулся осенью, когда уже выпал снег. Он вышел из вертолета в темных очках, с красным, словно прорезиненным лицом, на котором застыла кривая ухмылка-оскал. Все поняли, что надо будет привыкать к этому лицу, еще долго вспоминая прежнее.

Вечером мы сидели у него и пили водку.

— Да сними ты эти очки, — сказал я.

— Ничего, пока надо привыкнуть. Прячусь от самого себя.

Я не выдержал и начал говорить о том, что ведь это я хотел зажечь ту печку, и уже подходил к ней со спичками...

Константин оборвал меня:

— Я так и знал. Вину свою будешь придумывать. Было бы еще хуже — мы же там вдвоем оставались. Кто бы нас из огня выдерживал?

Он помолчал и вдруг спросил:

— Ходишь на свое место, к зимовью?

— Да нет. Сходил раз, сеть твою снял. Ты же говорил — плохое место.

Он улыбнулся:

— А я вот остаться хочу здесь на зиму. Сторожить. Не хочу пока возвращаться в ту жизнь. Начальник не против — понятливый мужик.

— Да что тут сторожить?

Он посмотрел в окно:

— Ничего. Разве только себя.

— А давай вдвоем?

— Нет, зимой здесь вдвоем нельзя. Совсем разругаемся.

Это «совсем» заставило меня замолчать. Мы допили бутылку, и я ушел спать.

Я улетаю последним вертолетом. Радист, закрывая дверь, кивнул на стоящего у своего вагончика Константина:

— А этого забыли?

— Такого не забудешь, — ответил начальник.

Все мужики, прильнувшие к иллюминаторам, заулыбались: им понравилась интонация, с которой были сказаны эти слова.

Лопасты со свистом завертели, поднимая вокруг вертолета снежную бурю. Я увидел, как Константин снял очки. Не спеша поднялся по ступенькам в вагончик, вынес оттуда карабин и выстрелил вверх.

Я представил, как где-то в море, в исходящую холодным паром воду упала пуля, вошла легко и бесшумно, и единственный маленький круг, захлебнувшись, сомкнулся над ней.

Ночью, сидя уже в самолете, повисшем над светлым полем облаков, я засыпал, думая легко и свободно, как можно думать только во сне: маленький остров, на котором остался одинокий охотник, похожий на меня, плывет где-то рядом, на одинаковом расстоянии.

Я уснул, и слова исчезли, оставив мне свои немеркнущие тени.

Читатели России знают Ольгу Кучкину как острого журналиста, вдумчивого эссеиста, добросовестного прозаика. Менее известна она — во всяком случае читателям «Континента» — как своеобразный лирический поэт. Поэзия наших дней колеблется в амплитуде от эклектики до постмодернизма, но настоящий поэтический голос живет своей жизнью, не присоединяясь к литературным тусовкам. Он дышит воздухом творчества, а не соображениями эстетической конъюнктуры. Это требует культурного мужества, но окупается независимым результатом — который в случае Кучкиной налицо.

Юрий Кублановский

Ольга КУЧКИНА

Я СООБЩАЮ ТЕБЕ...

* * *

Я сообщаю тебе: ничего не в порядке,
зубы болят, и по дому проносятся крысы,
в том, что пишу, издеваясь, торчат опечатки
и не приходят прекрасные детские мысли.
Левой рукой погружаюсь в бумагу как влагу,
буквы на ней расползутся, как мокрые черви,
чтоб осушить, словно флаг, подниму свою флягу,
а из нее пересохшие выпрыгнут черти.
Пальцем о палец ударив, щелчок выбиваю,
фокус старинный, чтоб дело переиначить,
пальцем о палец, реальность на вкус выбираю,
пусть, кто захочет, над ней засмеется-заплачет.

**Ольга
КУЧКИНА**

— родилась и живет в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Работает в «Комсомольской правде». Стихи публиковались в «Новом мире», «Октябре», «Знамени», «Звезде», «Дружбе народов».

Мы засиделись опять дотемна,
вечер натекает синевою густой,
ты открываешь бутылку вина,
я приготовила ужин простой.

Тонкий серебряный перезвон,
что-то мерцает в вине, как в окне,
ты — снова не ты, а таинственный он,
что ночью, как прежде, приходит ко мне.

Я, волнуясь, молча стелю постель,
ты по-мальчишески обнимешь едва.
Я пишу маленькую синюю пастель —
эротический портрет два на два.

В испанском городе

Пропала в городе чужом
и не успела даже вскрикнуть,
как масло в партии с ножом,
без звука дал в себя проникнуть.
Раскрыл ковры, фаянс, шелка,
вид улиц в палец шириною,
азартом плавилась щека,
оставив объяснения зною.
Домов представил изразцы
средневековых и нарядных,
и кавалеров образцы,
на дам глядящих ненаглядных.
А там дома, как корабли
поплыли, белые на белом,
кармина каменной земли
и море.

Средиземье, в целом.
Собой кромсая на куски
чужое пламенное тело,
я пропадала от тоски
и возвращаться не хотела.

В интернате

Девочка-имбецилка,
пораженная в мозг,
где из последнего цикла
вырастает Босх.
Вялые санитары,
сборщики нечистот,
трогают лобик старый,
плечи и живот.
Такая врачебная помощь,
где у немощи боль,
в полдень или полночь,
где время всегда ноль.
Девочка боль рисует,
время и поваров,
рисовую пустую
кашу сваривших воров.
Девочке нету дела
до жалкого воровства,
а что как смерть похудела,
воду не пить с лица.
Лица своего не знает,
рисую с чужого лица,
а кисточка девочки злая
выводит на свет подлеца.
А подлость их безотчетна.
Похожие на нее,
клюют где попало, точно
черное воронье.
А девочка проникает
туда, где нам ходу нет,
и знает, мыча и икая,
на вечный вопрос ответ.

* * *

Какого размера душа — у кого бы узнать?
Европу с Америкой, скажем, она покрывает?
Какие пространства в годах и веках прорывает,
готова, как мальчик весной, в заповедные угнать?

Душа — это опыт, на нитку из нервов и жил
нанизанный жизнью, кромешной и странной?
Одна ли на всех, как звоночек глухой, постоянный,
кто насмерть прожился и кто еще вовсе не жил?
Душа — это ценность, как жемчуг, алмаз и рубин,
иль нечто, обернуто в облако света и тени,
и можно ль ее посадить, как дитя, на колени
и нежно лелеять средь крови, беды и руин?
Душа — это мысль или это нисколько не мысль,
грибок из подполья, из бездны, едва различимый,
когда мы не знаем, ни кто мы, ни чьи мы,
и кто не заплесневел, тот безнадежно прокис?
Душа — это форма иль что ни на есть существо,
присущее нам либо вовсе не нам, самоедам,
и как восстановится, если ведут саморезом
миллионы по ней, сокрушая ее естество?
О, если бы знать, дорогие, о, если бы знать,
какого размера душа и какого состава!
Но замкнута вечным замком та граница и эта застава,
и выброшен ключ в океан мировой. Не поднять.

Юрий КАГРАМАНОВ

КТО НАЧАЛ ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ?*

...Да сподобят нас чистой душою
Правду блюсти: ведь оно ж и легче.

А.С. Пушкин

О начале союзнической операции в Афганистане я услышал от одного своего знакомого, хорошего человека, который сообщил мне о ней в двух словах: «американцы бомбят», — вложив в них столько негодования, сколько был способен вложить. Знакомый ждал от меня, что я разделю его реакцию, казавшуюся ему естественной: раз *американцы* кого-то *бомбят*, можно ли реагировать иначе? Даже не вдаваясь в рассмотрение, кого бомбят и за что.

Поистине в трудное положение поставил себя президент, решительно и целиком поддержав Соединенные Штаты в драматический для них день. Слишком глубоко сидит еще в нашем народе недоверие к американцам. Откуда оно? Конечно, это результат долговременной холодной войны и сопровождавшей ее целенаправленной пропаганды. В одном из рассказов Дино Буццати некое царство столь продолжительное время воюет с другим царством, что никто из воюющих, с той и другой стороны, не помнит уже, из-за чего началась война. Что-то подобное произошло и с холодной войной, с тем отличием, что она, слава Богу, оставалась только психологической (правда, в двух «горячих» войнах, в Корее и во Вьетнаме, соперники боком заделали-таки друг друга). Из-за чего она началась, сейчас (как и десять или двадцать лет назад) уже «никто не помнит». Но если все-таки спросить об этом «человека с улицы», он скорее всего ответит, что ее начали американцы.

* Статья Ю. Каграманова продолжает тему, которая была поднята в 105-м номере «Континента» статьей Николая Злобина «Америка и Россия на пороге XXI века: новая холодная война?», и в какой-то мере полемична по отношению к позиции Н. Злобина. Полагая, что установление исторической истины и адекватная оценка и понимание феномена «холодной войны» в контексте сегодняшней геополитики — одна из очень важных задач современной политологии, мы намерены продолжить дискуссию на эту тему и приглашаем принять в ней участие как наших, так и американских ученых, публицистов и политиков. — Редакция «Континента».

**Юрий
КАГРАМАНОВ**

— родился в 1934 году в г. Баку. Окончил исторический факультет МГУ. Автор книг и статей по западной и русской культуре и философии. Публиковался в журналах «Вопросы философии», «Иностранная литература», «Новый мир», «Континент» и др. Живет в Москве.

Увы, так же отвечают многие из тех, кому положено знать факты — историки, специально занимающиеся данным вопросом. Если мы откроем соответствующие исследования, вышедшие за последние годы (когда на официальном уровне отношения с Соединенными Штатами были как будто дружескими), то в лучшем случае узнаем, что в возникновении холодной войны виноваты обе стороны, в худшем — что ее начала Америка, якобы испытывающая утробную враждебность к России. В этом отношении — как и в некоторых других — произошел откат от времен «перестройки», когда страна была ближе к правде, чем сейчас.

Кто-кто, а историки не могут не знать факты. И если они трактуют их так, как они их трактуют, то это говорит о том, что им не хватает интеллектуальной честности. И, видимо, такова атмосфера в нашем академическом сообществе (точнее, в кругу историков, занимающихся вопросами советско-американских отношений), что она такой честности не очень благоприятствует. В истории было и есть великое множество фактов, допускающих различные толкования, но только не в данном случае: здесь они ясно и недвусмысленно свидетельствуют о том, что ответственность за возникновение холодной войны несет СССР. Или, по крайней мере, главным образом он.

Попробуем воспроизвести атмосферу военных и первых послевоенных лет. В 1942-1943 гг. Соединенные Штаты и СССР — союзники в войне с державами «оси», и уже одно это обстоятельство располагает американцев в пользу советских людей. В психологическом плане важно еще и другое: *как* протекает война на Восточном фронте. Ее драматическая интрига — отступление вглубь страны с неслышанными в мировой истории потерями и последующий переход в наступление — производит сильнейшее впечатление на американцев, большинство которых проникается искренней симпатией и уважением к союзнику. Неприятие атеизма и коммунистической диктатуры, до того определявшее их отношение к СССР, отходит на второй план. К тому же укрепляется надежда, что после войны все в СССР будет иначе и режим эволюционирует в лучшую сторону (и у нас в стране, как известно, многие думали так же).

Что особенно существенно: во главе Соединенных Штатов стоит человек, по-видимому, искренно благорасположенный к «России» (как упорно называют американцы Советский Союз) и, с момента их первой встречи в Тегеране (ноябрь-декабрь 1943 года), лично к Иосифу Сталину. Как и подавляющее большинство его соотечественников, президент Франклин Д. Рузвельт смутно представляет себе, что происходит в нашей стране, — в чем фактически сам признается, когда говорит, что способен отличить «хорошего француза» от «плохого», но не знает, кто «хороший» и кто «плохой русский». О главном, впрочем, он судит верно: после революции на территории бывшей Российской империи произошел откат к варварству, но теперь, с его точки зрения, страна развивается в направлении большей цивилизованности и надо всячески ей в этом способствовать.

А так как успехи союзных войск на всех фронтах заставляют думать о послевоенном устройстве мира, Рузвельт делает ставку на доверительные отношения с советским руководством. Сталин планирует разделить мир на сферы влияния — Рузвельт готов идти ему навстречу, хотя идея раздела мира на сферы влияния американцам, в отличие от англичан, всегда была скорее антипатична. Им ближе идея открытого мира, в котором свободно циркулировали бы люди,

товары, принципы и т.д. Отчасти потому, что они рассчитывали и рассчитыва-
ют в нем первенствовать, но отчасти и потому, что так, как они считали и
продолжают считать, будет лучше для мира.

Идя навстречу Сталину, Рузвельт готов отдать ему едва ли не все, что тот
потребуется. Своим более осмотрительным советникам, лучше знающим, что по-
чем в Кремле — таким, как А. Гарриман, Дж. Кеннан или Ч. Болен (все трое в
разное время занимали пост американского посла в Москве), — он говорил:
«Я полагаю, что ему (Сталину) следует отдать все, что можно, и ничего не
просить взамен: *poblesse oblige*, и он станет скромнее в своих притязаниях, и
мы сможем вместе работать ради мира и демократии»¹. Конечно, благородство
обязывает — но лишь в том случае, когда оно наличествует.

Сейчас кажется невероятным, что в своем видении послевоенного мира
Рузвельт больше уповал на сотрудничество с Советским Союзом, чем с Вели-
кобританией; за минувшие десятилетия мы уже слишком привыкли к тому, что
две англосаксонские «сестры», Америка и Англия, практически всегда и во всем
выступают заодно. Тем не менее, факт: Рузвельт даже допускал дальнейшее сбли-
жение с «Россией» — против Великобритании, несмотря на теснейшие связи,
установившиеся за время войны с британским союзником, и несмотря на то,
что лично ему, выходящу из нью-йоркской патрицианской семьи и выпускнику
Гарварда, английский аристократ Черчилль был несопоставимо ближе и понят-
нее, чем экзотический «дядя Джо». Но Великобритания оставалась «империали-
стической» страной (не забудем, что в то время более чем четвертая часть суши
еще была окрашена «британским» цветом), и потому дружить с нею на постоян-
ной основе было негже; так считали большинство американцев, и Рузвельт
просто разделял их точку зрения. Что же касается Советского Союза, то с ним
еще многое казалось неясным; это была глина на гончарном кругу, о которой
трудно было сказать, какое изделие из нее получится, пока не замедлится вер-
чение. Рузвельт улавливал у советских некоторую простоту нравов, каковая пред-
ставлялась ему залогом того, что страна движется по демократическому пути.
Парадоксально, но под углом зрения «демократической перспективы» Советс-
кий Союз, на взгляд Рузвельта, подавал больше надежд, чем Великобритания.
Ошибка, которую часто допускают американцы со времен так называемой джек-
сонской (по имени президента Э. Джексона) революции XIX века: связы-
вать демократию с культом «простого человека».

Даже весной 1945 года, когда становится ясно, что Сталин нарушает при-
нятые ранее договоренности, Рузвельт в своем кругу пытается как-то его оп-
равдать: у него, де, «четыреста лет стяжательского инстинкта в крови», и надо
дать ему время изжить в себе этот неприятный атавизм. Незадолго до смерти
(он умер 12 апреля 1945 года) в разговоре с нью-йоркским кардиналом Спел-
лманом Рузвельт говорил, что европейцам придется «потерпеть господство рус-
ских в надежде, что лет этак через десять-двадцать под влиянием Европы они
уже не будут такими варварами, как сейчас»². Как видит читатель, я привожу

¹ Цит. по: *Nisbet R. Roosevelt and Stalin/ The Failed Courtship*. Washington (D.C.), 1988, p. 6.

² *Ibid.*, pp 95, 11.

высказывания Рузвельта, изначально не предназначавшиеся к огласке и потому не дающие оснований усомниться в их искренности.

Впоследствии его назовут «доверчивой вороной» из басни. Рузвельт, действительно, не разглядел своего vis-à-vis, который был не только и, может быть, даже не столько варваром, сколько человеком Ренессанса — в наилучшем смысле этого понятия: недаром Троцкий называл его «Сверхборджиа в Кремле»³. Сочетавший в себе ограниченность и коварство, Сталин, со своей стороны, не в состоянии был понять Рузвельта, который оставался для него глубоко чуждым человеком; гораздо ближе и понятнее ему был Гитлер.

Гарри С. Трумен, сменивший Рузвельта на посту президента, поначалу слабо разбирался в вопросах внешней политики. У нас часто цитируют высказанное им однажды пожелание, чтобы русские и немцы уничтожали друг друга как можно больше. Но это циничное заявление он сделал в самом начале советско-германской войны, понятой им как столкновение двух тоталитарных режимов, каждый из которых представлял собою опасность для Америки. В дальнейшем, когда война приобрела оборонительный для Советского Союза характер и сама Америка оказалась на его стороне, ничего такого Трумен повторить уже не мог бы. Во всяком случае, никакой изначальной враждебности к «России» он не испытывал. Напротив, при встрече со Сталиным в Потсдаме (июль-август 1945 года) он, в свою очередь, обманулся на его счет: советский диктатор показался ему типом «честного торговца лошадьми», которому можно доверять. А множасьщие факты невыполнения советскими взятых на себя обязательств (в Восточной Европе, Иране и на Дальнем Востоке) Трумен объяснял тем, что Сталин будто бы не всемогущ: за его плечами «твердокаменное Политбюро» и, особенно, страшный Молотов, контролирующий каждый его шаг (вероятно, хитрый Сталин нарочито создавал такое впечатление в разговорах с президентом США). Трумен был уверен, что «этот старый сукин сын», то есть Молотов, при первой возможности «перережет Сталину глотку», а «Сталин это знает, но ничего поделать не может»⁴. Как видим, *характер* отношений внутри кремлевской верхушки американский президент угадал более или менее правильно и ошибся только в части *распределения ролей*.

У нас многие продолжают считать, что холодную войну объявил Черчилль своим известным выступлением в Фултоне (5 марта 1946 года). Но, во-первых, выступление Черчилля последовало за выступлением Сталина (месяцем ранее), исполненным враждебности по отношению к «капиталистическому окружению». А во-вторых и в главных, Черчилль был всего лишь отставным премьером и не мог говорить даже от имени Англии, не говоря уже о других странах. Участие Трумена в его «акции» выразилось в том, что он всего лишь выслушал гостя и вполне условно поаплодировал. Официальная реакция на речь Черчилля была крайне сдержанной, реакция прессы — по большей части негативной. Амери-

³ Зиновьев и Каменев передавали Троцкому, что Сталин еще в 1924 году предлагал покончить с ним «флорентийским способом»; то есть в какой-то степени даже субъективно Сталин ощущал себя человеком Ренессанса.

⁴ Цит. по: *Liebovich L. The Press and the Origin of the Cold War, 1944-1947. N.Y., 1988, p. 72.*

канцы еще не были готовы дружить с англичанами против «России». Наиболее влиятельный журналист, пишущий на международные темы, Уолтер Липпман еще твердо держался установки военных лет: не мешать советским самим разобраться в признанных за ними сферах влияния. Хотя уже множились признаки того, что этот, вынесенный из времен старомодных империалистов со стоячими воротничками, термин «сферы влияния» в Кремле понимают по-своему — как изолированные от остального мира зоны, где позволено, если воспользоваться словами А.К.Толстого, «Тискать // В московский облик всех»; к тому же никто здесь не сомневался, что эти зоны, или сферы, будут расширяться и дальше.

Примечательно, что главный оппонент Липпмана Дж. Кеннан, призвавший тогда же, в 1946-м, проводить «политику сдерживания» СССР по всему миру, считал, тем не менее, что Соединенные Штаты не должны брать на себя слишком большие обязательства и таким образом вживаться в роль мирового гремона. «Как институционально, так и по своему темпераменту, — писал Кеннан, — мы не годимся быть имперской державой большого стиля»⁵. И Липпман, и Кеннан, при всех расхождениях между ними, были убеждены, что мир должен оставаться многополярным, поддерживающим баланс между различными «центрами силы».

К сведению нынешних поборников многополярного мира, выступающих против гегемонизма США: счастье было так возможно! И зависело оно от действий Москвы.

Убедительным свидетельством неготовности Америки к постоянному военному противостоянию с Советским Союзом является тот факт, что намеченная сразу после окончания войны программа разоружения осуществлялась до 1948 года. Впоследствии Д. Эйзенхауэр назовет проведенное разоружение «истерическим». Но в 1945-1947 годах он сам, как и другие высшие военные руководители, полагал, что Советский Союз не представляет угрозы для Америки. Как обычно, генералы оставались под впечатлением последней войны и думали, что в будущем угроза будет исходить все от тех же Германии и Японии.

Помимо всего прочего американцы трезво, казалось бы, рассудили, что измученный войной СССР долго еще будет не способен к каким-то серьезным военным акциям. Увы, они недооценили волю кремлевского руководства, направленную к тому, чтобы держать собственный народ в черном теле. Страна-победительница оставалась сплошной деревней Недоедово, продолжая кормить едва ли не пятимиллионную армию.

Лишь в 1948-1949 годах в сознании американцев наступил перелом. Стало очевидно: где Советский Союз наступил сапогом, оттуда он уже не уйдет (за редчайшими, сделанными из тактических соображений исключениями — таковыми, как Иран и Финляндия) и давление своего сапога не ослабит. И будет готовиться к новой войне, на сей раз уже со своими вчерашними союзниками, не откладывая ее в долгий ящик, что очень скоро подтвердилось в Корее, где в 1950 году северокорейские марионетки напали на своих южных соседей — как минимум, при поддержке Москвы, а скорее всего по ее прямой указке

⁵ Цит. по: *Gadis F. The Long Reace*. N.Y., 1987, p. 70.

(зная даже в самых общих чертах характер отношений между Северной Кореей и СССР, невозможно допустить противное).

В последней из отечественных работ о холодной войне, попавшейся мне на глаза, читаю: «Истоки «холодной войны» лежат в принципиально различных национальных интересах СССР и стран Запада, оформившихся еще на заключительном этапе второй мировой войны»⁶. Оценка, как видим, относится к числу «сбалансированных», претендующих на объективность: дескать, что тут было поделывать, если национальные интересы той и другой стороны далеко развели их друг от друга?

Подобные оценки рождаются из боязни взглянуть в глаза правде. Не было в СССР руководящих кругов, способных более или менее правильно определить национальные интересы своей страны. Их место занимали головотяпы (любимое словечко Сталина и сталинцев). Подлинная причина холодной войны — в специфической ментальности советского правящего слоя, сформировавшегося на протяжении 20-х — 30-х годов. Подавляющая его часть вышла из крестьян (притом частично люмпенизированных), практически не получивших образования (даже к концу 30-х годов две трети верхнего слоя номенклатуры — на уровне первых секретарей обкомов и райкомов — имели лишь начальное и неоконченное начальное образование), и они привнесли в большую политику вполне архаичные представления о том, как должно строиться царство и как ему подобает вести себя в мире. В части внешней политики пробил себе дорогу элементарный хватательный инстинкт: «это мое, и то тоже мое». Но древний инстинкт хотя бы умеривался здравым смыслом. А у наших руководителей здравый смысл был, хотя бы частично, атрофирован их революционным прошлым. «Сырье» архаических представлений в данном случае было обожжено огненной новизной большевизма, ставившего своей целью мировую революцию. Но что такое мировая революция, могли себе представить только большевики ленинско-троцкистской складки, а не их номенклатурные выкормыши. Для последних имела смысл только та революция, которую они уже совершили и которая привела их к власти. Вместе с тем заложенная в них программа мировой революции никуда не исчезла, а лишь трансформировалась в некий «драйв»: подчинить своей воле все окольные, а потом и дальние народы.

«Большой мир» был им непонятен и уже поэтому казался враждебным, хотя та же Америка в 40-е годы выглядела гораздо более понятной страной, чем сейчас. В ней еще не появилось сегодняшних примет декаданса — одержимых дьяволом душегубов с «артистическими» наклонностями, мальчиков с ароматическими палочками и чудными прическами, «унисекса» и всего прочего, чем нас теперь каждодневно угощает телевизор. Напротив, в бытовом смысле это была «соматически здоровая» (выражение Александра Гольштейна) страна, довольно близкая или, во всяком случае, совсем не чуждая советскому бытовому идеалу (каким он сложился во второй половине 30-х годов), что, между прочим, подспудно внушала советскому читателю популярная в те годы книжка И.Ильфа и Е.Петрова «Одноэтажная Америка». Добавим к тому же, что в годы

⁶ Данилов А., Пыжиков А. Рождение сверхдержавы. М., 2001, с. 9.

рузвельтовского Нового курса Америка так «порозовела», как этого никогда больше с нею не случалось ни до, ни после, и данное обстоятельство, казалось бы, должно было еще больше приблизить ее к уровню понимания советского руководства. Но тщетно было бы искать подтверждений этому — даже такую Америку в Кремле предпочитали видеть сквозь прорезь прицела.

Даже союзнические отношения не сделали возможными проявления каких-то живых симпатий к американцам и англичанам. Мы, например, фактически не знали, как они воюют; только слышали из официальных уст произнесенные сквозь зубы слова о «наших доблестных союзниках». В позднесоветское время у нас был снят, специально для американцев, фильм «Неизвестная война», само название которого содержало упрек в их адрес: вот, дескать, вы ничего о нашей великой войне не знаете. На самом деле американцы к тому времени о ней подзабыли, но в годы, когда она велась, они получали с Восточного фронта достаточно обильную информацию, за отдельными исключениями пронизанную симпатией к советской стороне. А вот их (англичан и американцев) война у нас действительно оставалась неизвестной. Я тогда только начинал читать и хорошо помню, что, например, о боях под Эль-Аламейном (октябрь 1942 года) в газетах было помещено всего несколько строк, хотя это была, на тот момент, крупнейшая в истории танковая битва и вторая, после битвы под Москвой, крупная победа над войсками стран «оси». И в годы войны, и после всячески занижалось значение огромной помощи, которую американцы оказывали нам по ленд-лизу. Дело представлялось таким образом, что мы, де, несем основную тяжесть войны, поэтому, даже помогая нам материально, американцы еще как бы остаются нашими должниками. Спору нет, основную тяжесть войны вынесла на себе наша страна, но ведь и напали-то немцы на нас, а американцам они непосредственно даже не угрожали; и даже Великобританию угрожали в гораздо меньшей степени.

По всему по этому психологический переход от формально дружеских отношений с Америкой к откровенно враждебным совершился у нас относительно легко и быстро.

Сознание советских людей (а точнее, управленческой страты) того времени называют оборонным, но таковым оно было в культурном смысле, а в военном смысле оно было скорее наступательным. Характерный штрих находим в романе П. Павленко «На востоке» (1937), написанном по прямому заказу Сталина. Военный инженер рассуждает о нашей готовности к войне, то есть как будто к обороне: «Можем обороняться до самого Шанхая, — сказал он со значением и захохотал своей остроте». Это на восточном направлении. На западном — мог бы сказать: до самого Парижа, или Лондона (Новый Свет тогда еще оставался для «непобедимой и легендарной» практически недоступным). Доля шутки в *этой* шутке совсем невелика.

Говоря без обиняков, это было чисто угрюм-бурчеевское «идиотство, не нашедшее себе границ»; и оно сохраняло силу до самого конца советской эпохи. Что это было именно идиотство, мешал, да и сейчас мешает разглядеть тот факт, что люди, поводившие его в жизнь, порою были совсем не глупыми; иные из них «блистали» образованием и даже знали «довольно по-латыни» (сталинский мининдел А.Я.Вышинский, получивший дореволюционное образование,

в своих выступлениях особенно любил употреблять латинские афоризмы). Но тут, очевидно, применима русская пословица: «ум выставлен на крыльцо, а в палатах пусто» (сравним с другим русским выражением: «ума палата»).

В нынешние времена Сталина у нас почитает незначительное (если брать не в абсолютных цифрах, но в процентном отношении) меньшинство; его канальские дела слишком известны. Но когда речь идет о его внешней политике, критическое отношение к нему большинства во многих случаях гложет и сходит на нет. И потому, что «успехи» его в этой части впечатляют, и потому, что «своего» корить перед «чужими» не хочется. Ну, жил в доме такой зверонравный дядюшка, о котором в иных случаях лучше не вспоминать, но — чего, дескать, нельзя у него отнять — с иностранцами был крут и хитер, умел настоять на своем и кому угодно на свете дать хорошего леща.

Даже если бы внешняя политика Сталина была действительно успешной (чего в принципе быть не могло), то и в этом случае она не могла бы избежать в глазах потомства нравственного приговора, который для нее не может не быть весьма и весьма суровым. Но она была абсолютно провальной — если судить о ней по ее конечным результатам. Идиотизм внешнеполитического курса, заданный правящей стратой, которой он умел «соответствовать», Сталин дополнил, обогатил, так сказать, своей личной хитростью и коварством, но они лишь сделали его, идиотизм то есть, более выпуклым. Близорукий в историческом смысле, Сталин способен был видеть только «подножные» цели, а его уровень понимания «большого мира» был не намного выше, чем у его малограмотного окружения.

Поведение советского руководства в первые годы холодной войны — верх неосмотрительности и головотяпства. Никакой реальной угрозы Соединенные Штаты тогда для нас не представляли: достаточно сказать, что к 1948 году, после проведенного разоружения, их сухопутная армия, по разным данным, в восемь или десять раз уступала по численности советской. При таком соотношении сил ни о какой агрессии с их стороны не могло быть и речи; атомная бомба, тем более тогдашнего малого «калибра», им тут не помогла бы, ибо для вторжения на территорию противника нужны сухопутные войска. Агрессивность демонстрировала другая сторона. Советский пока-еще-гигант вместо того, чтобы залечивать свои раны, задирает американского гиганта всюду, где только мог, грубо вызывая его помериться силами. Американец старался не отвечать, покуда это было возможно. Отвержение к постоянным военным усилиям исторически глубоко заложено в сознании американского народа; даже сейчас оно еще не до конца изжито. Участие в двух мировых войнах было вызвано, как считалось, экстраординарными обстоятельствами (во втором случае — прямым нападением Японии) и не должно было повести к милитаризации страны. После Первой мировой войны Соединенные Штаты едва ли не полностью разоружились (сохранив лишь сильный флот) и замкнулись в себе, почти не принимая участия в мировых делах. После Второй мировой возвращение к прежней политике изоляционизма было уже невозможно, и тем не менее преобладавшее в американском народе общее мнение было таково, что не следует слишком «увязать» в чужих делах и, во всяком случае, не следует держать чересчур мощные вооруженные силы.

Рассуждая умозрительно, сразу после войны у нашей страны был великолепный шанс обеспечить свое место в мире на целое столетие вперед. Никогда — ни до, ни после — образ СССР в глазах окружающих не был в такой степени позитивным. Никогда Америка не была настроена так дружелюбно по отношению к нам и не проявляла такую готовность к сотрудничеству. Мир мог стать надолго биполярным, тяготеющим к Москве и Вашингтону (Великобритания неизбежно утрачивала прежнее значение мировой державы), — только совсем не в том смысле, в каком он стал им на годы холодной войны. Не ради постоянного хождения на грани войны «горячей», от которой сотряслись бы своды мира, не ради разжигания конфликтов во всех уголках земли. Напротив, две державы могли бы гасить любые конфликты и, по возможности, предупреждать их — в два ума и четыре руки.

Всего-то надо было: соблюдать договоренности — уважать народное волеизъявление в тех странах, где советских солдат встречали, как освободителей. Такое уважение вернулось бы к нам сторицей: по сию пору освобожденные народы, да и вся Европа, чувствовали бы себя нам обязанными.

Но это, повторяю, чисто умозрительное рассуждение. Не могло советское руководство вести себя иначе, чем оно себя вело. Точно так же, как не могло оно само поднять себя за волосы.

Всячески стремясь «растолкать» Америку, Сталин в конце концов добился своего, но в итоге он перехитрил самого себя. Точнее — страну, которой он, на ее несчастье, руководил. Выведенная из прежнего состояния равновесия, Америка пустилась бежать с нами наперегонки и в итоге обставила нас по всем статьям, продемонстрировав всему миру превосходство своего внутреннего устройства и покуда еще стойкого (при всех его нынешних изъянах) национального духа.

Это Сталин (как «представитель» тогдашней номенклатуры) виноват в том, что Россия по всем признакам превращается сейчас в третьеразрядное государство. И что НАТО, изначально неагрессивная, а сейчас в некотором роде даже союзная организация, вплотную приблизилась к нашим и без того сузившимся границам. Все ж лучше было бы, если бы этого не было. И что в чисто военном отношении мы сейчас отстали от Соединенных Штатов, как говорят специалисты, на целых два десятилетия.

Ирония истории: страна, бывшая Третьим Римом, скатилась на путь Ассирии и в итоге повторила ее судьбу, не выдержав бремени собственного дубоголового милитаризма.

Печально, что у нас до сих пор есть множество людей, у которых, как у гетевского Мефистофеля, в «душе стоят морозы» и которые по-прежнему способны помыслить Америку лишь в понятиях холодной войны. И еще мечтают о том, чтобы ее, войну то есть, возобновить и даже перевести ее при первой возможности в горячую. Оцените, например, крик души одного из авторов газеты «Завтра»: «Я так страстно хочу, чтобы у нас строились новые ракетноносцы, запускались спутники, множились станции слежения, расширялась сеть военных баз...» Для борьбы все с той же Америкой. Ради чего? Бороться надо в первую очередь с собственной, унаследованной от советских времен, бессмыслицей.

А как характеризует та же газета «Завтра» (увы, до сих пор пользующаяся влиянием в военных кругах) Соединенные Штаты? «Глобальная техно-магическая диктатура грядущего лжебога и вселенского обольстителя», «зарвавшиеся глобалисты», «система тотального обезличивания и контроля» — ведь это все СССР! То есть в каком-то ограниченном (другими, совсем иного рода характеристиками) смысле можно, наверное, так сказать и о Соединенных Штатах, но в «чистом», законченном виде — это СССР. Привычное свое переносится на чужое. Только в соответствии с известной готтентотской моралью (хорошо — это когда я украду чужую жену, плохо — когда жену крадут у меня), то, что у нас — хорошо, у них — плохо.

У многих наших соотечественников за годы холодной войны был поврежден даже здравый смысл, который требует недвусмысленно признать свое поражение. И сделать из него выводы. И испытать элементарный стыд за головотяпов, что привели нашу страну к невиданному в ее истории (по крайней мере, за последние несколько столетий) провалу. Я уже не говорю о более высоком стыде, который не считается с такими понятиями, как поражение или победа, и на религиозном языке называется покаянием. Вопрос исторического покаяния приходится пока отложить: ныне живущие поколения явно до него не дозрели⁷.

Даже в смысле текущей политики покаянное движение, если бы оно у нас было, существенно облегчило бы наши отношения с западными странами; точнее, со всеми странами, что расположены к западу от наших границ, включая сюда восточноевропейские страны.

И все же покаяние покаянием, а политика политикой. Довлеет днєви злєба єго. Сегодня мы можем поздравить себя с тем, что Америка достигла такого могущества, каким ни одно государство до сих пор не обладало. Поблагодарим Бога, что это страна с сильными демократическими традициями, к тому же изначально скорее интровертная и к агрессии не склонная (редкие исключения подтверждают правило). И тем не менее указанный факт не означает, что можно безоглядно ей доверять. Этого нельзя было делать даже в 1945-м. А с тех пор она во много изменилась — и к худшему. Прежде всего, вырос гигантский военно-промышленный комплекс, у которого появился собственный «норов»,

⁷ Покаяние, которое нерелигиозные люди склонны считать неким эмоциональным излишеством, имеет, между прочим, огромный *практический* смысл (хотя, разумеется, совершается *не ради него*): усмотрев причину постигших его бед в самом себе, человек (resp. нация) перестает ощущать себя простым объектом действия враждебных ему внешних сил и тем самым заново обретает уверенность в себе. Лучше других об этом сказал Арнольд Тойнби: «И по сути и по духу чувство греха и чувство неконтролируемой жизни резко контрастны, ибо если осознание неконтролируемости вызывает в душе болезненное ощущение, так как наказание приходит извне и действует с неотвратимой неизбежностью, то чувство греха дает душе стимул. Полагающий себя грешником знает, что зло в нем самом, а не вне его. И если он посвятит себя выполнению божественных предначертаний, то тем самым сделает себя более доступным для Божьей благодати. Здесь-то и кроется различие между глубокой депрессией и верой, способной сдвигать горы». (Тойнби А. Постигание истории. М., 1991, с. 376.)

собственные интересы, в чем-то отличные от интересов американского народа в целом. Мы знаем, например, что решение об отмене ПРО было принято под давлением ВПК, заинтересованного в продвижении новых технологий, — независимо от того, будут ли они иметь практическое применение или нет. Однажды встав на ноги, Голем тянется в сторону, куда они его сами «несут».

Серьезным противовесом этого опасного для всего мира — и для Америки тоже — самодвижения может служить общественное мнение Соединенных Штатов. Демократический инстинкт подсказывает американцам, что в потаенных недрах Пентагона и различных спецслужб могут сидеть люди, преследующие какие-то свои «специальные интересы», расходящиеся с интересами американского народа в целом. Отсюда постоянный контроль, который осуществляют СМИ и различные общественные организации за кабинетными деятелями всех профессий и рангов, вынужденными соблюдать такую меру открытости, которая в некоторых случаях способна даже повредить национальным интересам.

С другой стороны, растущая зависимость американской внешней политики от общественного мнения (фиксируемого в чуть ли не каждодневных опросах) может оказаться и негативным фактором. Как пишет американский политолог Томас Бейли в своей ставшей классической книге «Человек с улицы» (1948), демократия Соединенных Штатов представляет собою систему, «где невежды пользуются наибольшим влиянием и где их выслушивают с наибольшим уважением»⁸. Но есть ли область, в которой рядовой американец проявил бы себя большим невеждой, чем внешнеполитические реальности? Конечно, существуют СМИ, где сидят более осведомленные люди, в какой-то степени формирующие взгляды «простого человека» на международные дела. Но в то же самое время они подлаживаются под взгляды «простого человека», и кто кого формирует в большей степени, еще вопрос.

Надо принять во внимание также переменчивость общественных настроений. Эта черта была подмечена в американцах еще Токвилем: общество, в котором отсутствует достаточно сильное интеллектуальное руководство, подвержено эмоциональным «приливам» и «отливам», причинами коих могут стать какие-то третьестепенные факторы. Из наблюдений Токвиля выросла концепция цикличности в американской истории, разработанная, в частности, А. Шлесинджером-младшим (см. его работу «Циклы американской истории»). В плане внешней политики цикличность, согласно Шлесинджеру, выражается в постоянных колебаниях от интровертных настроений к экстравертным и обратно; хотя первые все-таки преобладают.

Обладать силой, превышающей силу всех остальных держав, вместе взятых, — это серьезное искушение, перед которым возглавляющие Америку люди будут поставлены в предстоящие десятилетия. Есть надежда — но нет никаких гарантий, — что они, как говорится, с честью выйдут из этого испытания.

Еще одна опасность: в современной Америке немало признаков начавшегося упадка (наряду с признаками дальнейшего роста, подъема) — прежде всего в сфере культуры, в субливных и все же достаточно уловимых явлениях

⁸ Bailey Th. The Man in the Street. Glvuchester (Mass), 1964, p. 13.

духа. Исподволь меняется самоощущение народа, некогда волевого и безоблачно-оптимистичного, всякого пессимиста приравнивавшего к предателю, — все больше чувствует он себя «игралищем таинственной судьбы», если воспользоваться выражением Пушкина. Если упадок станет явным, если прежние стереотипы перестанут «держаться» души, то может произойти опасный психологический срыв в масштабе целого народа. Вряд ли это случится скоро, но когда-нибудь очень даже может случиться. И тогда Соединенные Штаты станут на международной арене гигантской неизвестной величиной в непредсказуемом поведении.

Так что речь идет, повторю, не о том, чтобы безоглядно доверять «дяде Сэму», но о том лишь, чтобы трезво оценивать все его положительное и отрицательное.

А наследие холодной войны надо изживать; чем скорее удастся его изжить, тем лучше будет для нас. Ибо этого настоятельно требует сейчас внешнеполитическая практика. Реальная угроза для нашей страны исходит с юга; на данный момент — со стороны исламского террористического интернационала. Самый характер угрозы радикально поменялся. Между тем, немалое число генералов, как им и «положено», готовится к последней войне — точнее, той «горячей» войне, к которой они готовились в продолжении долгих лет холодной войны. Должно быть, в иных головах с трудом вмещается представление, что в новых условиях многочисленные (или даже немногочисленные, но высокоэффективные) диверсионные группы могут быть не менее опасны, чем авиационные и танковые армады.

Так ведь можно попасть в положение таежного охотника, что, привыкнув ходить на крупного зверя, бывал съедает до кости комарами или каким-то другим кровососущим гнусом.

КОРИЧНЕВЫЙ КОСТЮМЧИК ДЛЯ МАЛЬЧИКА-МАЖОРА

Модест Колеров. Новый режим.

Дом интеллектуальной книги and Модест Колеров, 2001, серия «новыйязык».

Премия «Национальный бестселлер» редактору черносотенного листка «Завтра» Александру Проханову презентовало жюри под председательством банкира В. Когана, в качестве конференсье выступал бывший рок-деятель А. Троицкий, а рекламную кампанию обеспечивала «независимая» газета Б. Березовского. Тем, кто поперхнулся этой окрошкой (см., например: Немзер А. Гексоген с вами — Время новостей, 3.06.2002), можно было бы напомнить двухгодичной давности кампанию по канонизации Николая Второго. Рекламные функции выполняли тогда НТВ и «Время новостей» (см.: Смирнов И. «Какое время на дворе...» — www.screen.ru/Smirnov/messiah.htm). А десятью годами раньше первое публичное отправление императорского культа в России устроило небезызвестное общество «Память» — фракция, связанная неформальными узами со Свердловским РК КПСС. В годовщину царевубийства у стен Донского монастыря «дети Шарикова» отслужили панихиду, потом переехали к памятнику Свердлову для коллективного оплевывания «палача царской семьи Якова Мойшевича» и топтания ногами красного флага. («Коммерсант», 1990, № 28). Тогда, в 1990 г., это шоу вызывало у интеллигенции такое же чувство безгласности, как и все остальные инициативы, исходившие из общества «Память».

Теперь, видимо, безгласность прошла. Да и в чем, скажите на милость, принципиальное отличие прохановской беллетристики от того, что издательство «Ад Маргинем» изливало на книжные прилавки до Проханова? Особь, тупо и похабно «стебавшаяся» над жертвами концлагеря Дахау, над памятью Анны Ахматовой и Варлэма Шаламова и за это произведенная в «писатели» — неужели она представляла собой что-то более достойное в этическом или эстетическом плане? Или литературой нужно было считать порнографоманию с уклоном в первитин — один из самых разрушительных «тяжелых» наркотиков,

**Илья
СМЕРНОВ**

— родился в 1958 г. в Москве. Историк, закончил МГПИ им. Ленина. В 80-х гг. принимал участие в работе самиздатских журналов «Зеркало», «Ухо», «Урлайт». Автор книг «Время колокольчиков: жизнь и смерть русского рока», «Прекрасный дилетант», «Либерастия». Статьи публиковались в журналах «Знание-сила», «Театр», «Интеллектуальный форум», «Русский журнал» и др. Живет в Москве.

который за пару лет превращает здорового молодого человека в развалину с полным набором старческих болезней?

Так что удивляться нечему.

Тем не менее проблема дрейфа отечественного «бомонда» в направлении газеты «Завтра» перед исследователями поставлена. И ее решению может способствовать очень интересный источник по «ментальности» того социального слоя, который выдвинулся при Б.Н. Ельцине — книга «Новый режим».

Постараемся побольше цитировать, ибо никто не скажет о человеке лучше, чем он скажет сам о себе.

Герои-соавторы книги подобраны в основном из сферы общественных наук (т.е. идеологии) и массовой информации (т.е. пропаганды).

Составитель — **М. Колеров** — занимался «изобразительным искусством» в газете «Сегодня», потом его выдвинули на руководящую должность в «ОНЭК-СИМ-банк». Не всякого журналиста или искусствоведа возьмут на такую ответственную работу. Раньше на партийную работу тоже не всякого брали.

И вот теперь, пройдя большой жизненный путь, он беседует с людьми своего круга о судьбе России: «*вопросы я планировал задать тем «производителям смыслов», чье фактическое влияние является результатом не моды, но собственных самозаконных усилий*» (с. 6).

Кто же эти эксперты?

Е. Деготь представлена как «историк искусства, художественный критик, куратор». Открываем ее интервью и натываемся... на старого знакомого — человека, который — в качестве экспоната! — бегаёт по картинным галереям без штанов. Он, оказывается, «очень важная фигура позиционирования России на международной арене, человек, который использовал массу возможностей экспортной репрезентации России» (с. 95).

И язык-то как хорош и поэтичен у «самозаконных кураторов» русской культуры: «экспортная репрезентация России!» Но проблемы с новизной. Который год «позиционируются» одни и те же «важные фигуры» — экспозиционисты («Бренер, Осмоловский, Кулик»). Хоть бы ассортимент разнообразили. Или в Москве так мало желающих раздеваться за деньги?

Еще один «художественный критик» — **В. Мизано**. На первой же странице его интервью... Правильно! Те же самые «важные фигуры» (с. 119). Обмен мнениями с г. Мизано об искусстве разрешите не продолжать.

Б. Кузьминский — бывший зав. отделом искусства газеты «Сегодня», где «*аки лев и агнец, бок о бок работали Андрей Немзер — и Вячеслав Курицын, Марина Зайонц — и Максим Андреев*» и «*в рефлексиях о культуре создавали поле объективности*» (с. 76). Можно подумать, что перечисляются Нобелевские лауреаты. У меня (читателя) сложилось другое, менее возвышенное представление об отделе искусства газеты «Сегодня». Я мог бы его подтвердить — источниками, то есть конкретными материалами. Но не обязан. Зачем опровергать бездоказательные утверждения? Если для кого-то отдел искусства газеты «Сегодня» — значительное явление в истории русской культуры, то для начала следовало бы представить аргументы: в чем его значение? какие конкретно выдающиеся произведения были созданы при его содействии? И т.д. Ждите ответа. После «Сегодня» г-н Кузьминский руководил книжным отделом «Русского Журнала»,

где компания тусовщиков (ограниченная во всех смыслах слова) под предлогом литературы рекламировала себя любимых, свои кормушки и места «увеселений». Потом в карьере видного искусствоведа случился сбой, но всерьез он не пострадал — пересел в другое руководящее кресло. Точь-в-точь как персонаж Райкина.

Для определения путей развития России в XXI веке г-н Кузьминский — едва ли не идеальный эксперт.

Тех, кто помнит раннего А. Архангельского, может удивить, что нынешний зам. главного «Известий» оказался в этой компании. Может быть случайно? Хотелось бы думать. Но из песни слова не выкинешь, и вот как известинский руководитель жалеет не бандитов, садистов и террористов, а своих ни в чем не повинных соотечественников, пострадавших от «реформ»: *«Иногда полезно, чтобы весной огонь прошел по старой траве — почва очищается. Что касается крупных советских издательств, то от них ничего не осталось — и очень хорошо, значит ясно, что в них настоящей жизни не было»* (с. 27). Где «не было жизни»? В «Науке»? В «Мире»? Если считать «жизнью» право написать о Е. М. Примакове: *«вставил морду, но морда не вмещалась»* (с. 43) — тогда жизни и впрямь не было. Потому что в «крупных советских издательствах» работали интеллигентные люди.

Кстати. Вот что пишет Колеров на тему интеллигенции: *«шестидесятник — это социалистический КСП»* (с. 21), *«влияние пятой колонны, или интернационалистов ... всего-навсего советские шестидесятники, КСП полоумный»* (с. 43). А Архангельский? — *«Выражение «эта страна», которое меня тогда уже страшно бесило, было введено именно этой интернациональной русской интеллигенцией»* (с. 35).

Обмен мнениями в связи с фильмом «Брат — 2»: *«Потому что в основе этого националистического возрождения гораздо более взрослые люди» — «И даже более конкретные, чем кажется» — «И могу сказать, что я гораздо больше на их стороне»* (с. 31).

Обновленную издательскую отрасль в сборнике представляет А. Иванов, директор издательства «Ад маргинем». Того самого. Дословная цитата из интервью А. Иванова: *«Когда в середине 1990-х приезжали мои знакомые американцы, они говорили: «да у вас же настоящий мир «Домби и сына». Люди просто физически страдают на улицах. Эти женщины, продающие хлеб в метро,— это просто диккенсовский мир, это просто классический капитализм, которого нигде уже в мире нет. Это чудовищно болезненно для людей, для общества, но это чудовищно продуктивно для культуры»* (с. 139).

То есть культура существует опрично от людей и от общества. Скрупулезно подмечено. Не хватает только малости. Извините за назойливость — конкретных примеров «чудовищной продуктивности» нашей культуры в середине 90-х годов.

Вместо этого — отсылка к «Вите Мизиано». Продукт г-на Мизиано известен. Эстетический круг замкнулся.

С этикой А. Иванова перекликается, увы, и А. Козырев (не дипломат, а «философ»): *«Ощущение свободы, которое подарено нам 1990-ми годами,— не негативной свободы, но именно свободы позитивной, свободы ответственности, самосознания»* (с. 160). Кто эти «мы»? Тысячи убитых за «неправильную» наци-

ональность или за прописку не в том районе? Беженцы? Молдавские и украинские «гастербайтеры», лишенные в Москве каких бы то ни было прав? «Челноки»? Марийский учитель, которому, чтобы купить компьютер, нужно было к моменту выхода книги 15 месяцев работать, не тратя ни копейки на еду или одежду? (см. <http://www.screen.ru/Smirnov/twosides.htm>).

Волей-неволей вспоминается фильм... Нет, не «Брат», а «Гибель богов». Лукино Висконти показал, что «нравственное одиичание» верхов — важнейший «источник и составная часть» коричневого перерождения.

Продолжаем изучать источник.

Колеров: *«Простая человеческая апелляция Ельцина к теме Победы в 1995 году вызвала подлинный отклик. Тогда почувствовали, что это начало какого-то нового дыхания».* Кто почувствовал? Какое «новое дыхание»? «Голосуй, а то проиграешь»? Коробка из-под ксерокса? Хасавюртовское соглашение как «апелляция к теме Победы»? Наши герои такими вопросами не задаются. Они заранее согласны: «Да, это было так. А экономически, несомненно, было благо августа 1998 года» (с. 35).

Согласно Д. Шушарину (еще один эксперт: религиозный мыслитель газеты «Сегодня» и реформатор канала «ТВ-центр»), в октябре 1993 г. «способность к действиям, целенаправленным, достаточно решительным, проявила власть. Власть, направившая военную силу против реального воплощения тоталитарного типа мышления, против Советов. Против той безликой массы, которая досталась в наследство от прежнего режима. Строго говоря, двоевластие 1917 года закончилось в октябре 1993-го» (с. 64).

То есть Ельцин — не выдвигенец того самого Верховного Совета РСФСР, с которым он потом не поделил власть, а реинкарнация Керенского? А может быть, если сказать еще «строже», то в октябре 1993 года закончилась Крымская война?

К. Рогов («филолог, политический журналист»): «Всегда было очевидно, что советская власть состояла из двух элементов: властвующего плебса, который олицетворялся в управдоме, и идеологического, собственно — советско-партийного. И для меня Лужков всегда был выдвигенцем властвующего плебса. Идиосинкразия к Лужкову тоже была продолжением антикоммунистической линии. Очень важен приход администрации Юмашева, которая, как она декларировала всегда, отменила чубайсовскую политическую модель, опиравшуюся на идеологемы антикоммунизма. Они начали выстраивать другую, менеджерскую схему, деидеологизированную» (с. 182). То есть Юмашев — антагонист Чубайса. И «деидеологизированный менеджер» — в противоположность коммунисту Лужкову. Фамилии политиков можно менять местами без малейшего ущерба для смысла, который отсутствует.

Необыкновенная легкость в мыслях у этих «экспертов» просто умиляет. Оказывается, во всех бедах нашего образования виновата Советская власть. Например: «Ситуация неразрешимая, потому что тех, кого надо было выгнать в начале 1990-х годов — не выгнали» Или: «Как можно на полном серьезе преподавать историю, если львиная доля учебников продолжает оставаться советскими?» (с. 27–28).

С 1997 г. ваш покорный слуга отслеживает и рецензирует для газеты «Первое сентября» (заметьте: не коммунистической, а вполне либеральной) новинки

учебного книгоиздания по общественным наукам. Я могу с фактами в руках показать, как историю перелопачивали под новую (ту самую, которую представляют гг. Рогов и Шушарин) непогрешимую идеологию (см. обзор: Смирнов И. Многоголосый хаос — Первое сентября, 18.09.2001) — и в результате повалила такая откровенная халтура, на фоне которой выражение «советский учебник» звучит как комплимент.

Представлены ли в сборнике иные специалисты? Да. Наверное, я должен извиниться перед некоторыми его участниками за обобщенный заголовок рецензии. Но, с другой стороны, специалистов никто силой не принуждал к сосуществованию с популяризаторами В. Сорокина и А. Проханова под одной обложкой, в одном контексте.

...там, где без суда все наказаны,
там, где все одним жиром мазаны,
там, где все одним миром травлены,
да какой там мир — сплошь окраина.

(Башлачев А. Егоркина былина — Стихи, М, 1997, с. 94).

Там, на интеллектуальной окраине, понимают друг друга с полуслова. И как на хорошем партийном собрании, ответы известны еще до того, как задан вопрос. Отдел искусства «Сегодня» — это по определению хорошо, журнал «Столица» — тоже хорошо (с. 104). Колеров: «Я хорошо отношусь к Олегу Кулику и слежу за ним с 1987 года» Деготь: «Возможно, Кулик создал России большую рекламу, чем весь оркестр Спивакова вместе взятый» (с. 95).

На этой оптимистичной ноте — Кулик важнее Спивакова — обзор «Нового режима» разрешите закончить.

Птенцы гнезда Борисова — в котором никогда «не хватало денег» на образование, медицину и настоящую науку, — по-прежнему претендуют на звание интеллектуальной элиты. Ни этика, ни эстетика при этом не меняются. Но вырабатывается «новый язык». В лексиконе появился термин «пятая колонна», а слова «интернациональный» и «интеллигенция» стали ругательными.

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ В РУССКОЙ ПЕРИОДИКЕ

Первый-второй кварталы 2002 г.

Конец века стал для России временем глубочайшего социального и духовно-психологического кризиса. Фактически перед россиянами заново встал вопрос о смысле жизни, смысле собственного существования в новом мире. Смысл существованию народа, по мнению автора статьи **«Россия в поисках национальной идеи» А.Кузнец**а (*«Вопросы философии»*, №1), придает **национальная идея**. Травматический опыт российской истории показал, что не стоит путать родину с режимом. Такие формы правления и национально-государственного устройства, как монархия или тоталитарная диктатура и империя, вовсе не являются чем-то истинно русским и единственно возможным для нас. Напротив, как раз жесткое сосредоточение на этих конкретных исторических формах и их неспособность к внутреннему реформированию привели страну к краху. Гражданам России необходимо освободиться от мании величия и от комплекса неполноценности и обрести подлинное чувство собственного достоинства. Власть должна предложить ясную стратегию развития, которая могла бы быть принята обществом. Тогда национальную идею не придется «изобретать».

А. Дугин в статье **«Эволюция национальной идеи Руси (России)»** (*«Отечественные записки»* № 4) выясняет сущность национальной идеи, по его собственному признанию, в духе близкой ему славянофильско-евразийской школы. Эволюция русской идентичности представлена в таком историческом ряду: Киевский период — Русь Монгольская — Московское Царство — Романогерманское иго — Советский период — Демократическая Россия.

Киевская Русь после крещения представляла собой геополитически слабо централизованное восточноевропейское государство с православно-византийской идеологией и сильным евразийским элементом. В этот период россы начали осознавать свою цивилизационную субъективность.

Русь Монгольская приобретает ярко выраженный геополитический и цивилизационный характер. Монголо-русский симбиоз дал глубинные культурные, административные, геополитические и хозяйственные навыки; этническое смешение создало новую этническую единицу — «восточных русских», после Куликова поля осознавших себя великороссами. В теле Золотой Орды стал вызревать политический субъект нового типа — Московское княжество — с евразийскими чертами (традиционный уклад, воинская этика, религиозная самобытность, осознание важности единства и дисциплины, подчинения и централистской организации). Завоевание монголами восточных территорий привело к осознанию русскими очевидной политической несвободы (как платы за раздробленность и разобщенность) и укреплению религиозной идентичности.

Московское царство (начало XV в.) — образ Руси, пропитанный «евразийскими энергиями». Это радикально новый исторический субъект. Падение

Византии для русских имело колоссальный историософский и метафизический смысл. С этого момента сакрализуется не столько церковь, сколько русское государство и русский народ. «Новый Рим» — Москва — сотериологический полис духовно-политической целостности, новый субъект христиански понятой священной истории, имеющей эсхатологические пределы. С этого момента новая национальная идея приобретает отчетливые черты «сакрального государства», призванного в апокалиптической истории совершить великие подвиги. Однако в XVII в. происходит расслоение национальной идеи. Реформы Никона, отказ от древнего русского обряда осознаются как отступничество от московской эсхатологической миссии, как лишение нации уникальной субъективности.

Романо-германское иго: славянская Русь меняется на латинское *Rossia* и осознает себя убудочным фрагментом Европы. Появляется антитеза Санкт-Петербург — Москва. Народ остается в Москве, элита уходит в Санкт-Петербург. Отныне Россия — могучая восточно-христианская держава, хранящая фундаментальные ценности, утерянные Западом. Правящей элите самобытность России кажется совокупностью цивилизационных дефектов. В бесправном народе зреет протест, удивительно сочетающий старообрядческий пессимизм и хлыстовский энтузиазм, иррациональную апокалиптику и прогрессистскую и позитивистскую рациональность. Особенно явно это проявляется в идеологии народников; и в этом, по мнению автора, ключ к советскому сознанию.

Советский период автор понимает как исторический реванш народа над аристократией, победу московского начала над санкт-петербургским. Революция трактуется как хилястическое апокалиптическое движение, вызревшее в народной среде, в сектантских и старообрядческих кругах, но оформленное с помощью радикальной марксистской доктрины. Национальная идея, образ Советской России мыслится как мессианская реальность, советский народ занимает место народа-богоносца, он призван нести человечеству весть о «социальном спасении». СССР — новый этап византийско-монгольского геополитического утверждения.

Демократическая Россия. Ее образ для автора смутен, и хотя в поисках национальной идеи власть остается в рамках западничества, состояние общественного сознания таково, что большинство населения мировоззренчески ориентировано на продуктивную национальную идею евразийского типа.

«Россия как историософская проблема» — заседание на эту тему не так давно состоялось в клубе «Свободное слово». Такое же название получил обзор этого заседания, подписанный таинственным псевдонимом Б-Г («Вестник Российского философского общества», № 1(21)). Главным докладчиком был здесь А.Дугин, видимо, устно воспроизведший идеи, изложенные выше. Вот реакция присутствующих.

А.Фурсов выказал собственное убеждение относительно того, что структура власти на Руси сложилась в Золотой Орде. Не случайно Александр Невский был первым русским князем, который, служа татарам, резал своим еди-

ноплеменникам носы, уши и т.д. Суть этой власти — опричнина, а форма — чрезвычайные комиссии разного рода.

А.Руткевич, в числе прочего, напомнил присутствующим, что историософская идея России в основание всех политических проектов кладет Промысел Божий. Сегодня у России два пути — универсализм (с православной атрибутикой) и партикуляризм (Запад сам по себе, а Россия сама по себе). Евразийство — вариант партикуляризма. У России сегодня нет сил представить чаемый докладчиком хоть какой-нибудь вариант универсализма.

На психоаналитический манер комментируя роль Золотой Орды в становлении нашего самосознания, **Ю.Бородай** предлагает считать российскую национальную идею следствием сублимации, т.е. переноса эротической энергии на объекты, не связанные с основным инстинктом. Озадачивает вопрос: при чем тут Орда? Оказывается, благодаря ей монастыри получили массу привилегий, и в итоге молодое население, спасаясь от гнета в миру, шло в монахи и служило идее.

В.Сироткин считает, что при всем нашем евразийстве мы, русские, все-таки европейцы (т.е. белые) и не должны забывать о «желтой опасности».

В.Межуев сетует на то, что в России нет правильного контакта между церковью и страной, не решена проблема взаимоотношений между небом и землей. Именно поэтому власть делает то, что должна делать церковь. Русский тоталитаризм в таком ракурсе выглядит не как власть ради власти, а как власть ради морали и воспитания людей. Отсюда демократия видится россиянам как политическая свобода без морали, а самодержавие, например, как мораль без политической свободы.

Б.Режабек проследил развитие идей А.Дугина и, хотя нашел в них позитивные тенденции, все-таки предостерег Россию от следования им. По его мнению, евразийство Дугина слишком специфично и сильно отличается от идей основателей этого течения.

И.Чубайс (не путать с его многоизвестным братом) усомнился в справедливости тезиса о том, что Россия якобы не раз меняла сущностные характеристики. Возражая Дугину, он привел следующий аргумент. Если мужчина сменит сущностную характеристику (пол), он перестанет быть мужчиной. Так и с Россией. Она перестала быть таковой, когда стала советским государством. Выход здесь в «самовоссоединении» с исторической Россией.

В заключении заседания А.Дугин со многими согласился, всех благодарил и призвал «мыслить пространством», т.е. указал на философский потенциал геополитического взгляда на мир.

Применительно к *русской геополитике* употребляет понятие мифа автор статьи «Бескрайняя равнина конца времен» **Т. Лерсарян** («Отечественные записки», № 3(4)). Такой миф как бы примиряет геополитический субъект с собственным действием, выстраивает вокруг него полуиллюзорную реальность, в которой все происходящее не просто «понятно» или «правильно», а еще и психологически комфортно. В геополитических мифах устойчивость государства приписывается, скажем, тому обстоятельству, что оно «вечная империя», а

долговременные неудачи объясняются постоянными «поисками врага». Крушение геополитических иллюзий смягчается надеждой на возрождение, а экспансия обосновывается «наследием предков», «религиозным долгом», «естественными границами», «жизненными интересами» или «общечеловеческими ценностями». В случае с Россией автор предпочитает говорить о «навязанной» или, осторожнее, «транслированной» геополитической субъективности. Это значит, что на Россию, хотела она того или нет, был перенесен очень древний геополитический комплекс. Ее геополитическое поведение стало описываться не только в рамках внутрирусской идеологии, но и внешними наблюдателями как реализация этого комплекса — вне зависимости от реальных мотивов, которыми русские руководствовались. Это идеология «Третьего Рима» — ведущая идея русской геополитики. Как историческое явление Рим завершается в Русском царстве, после которого уже ничего не будет, а будет конец света. Еще со времен Филофея повелось, что Россия выступает внутренним и внешним гарантом европейского мира. Так было во Второй мировой войне, так обстоит и сегодня, когда мы приобретаем образ главного антитеррориста, противостоящего злу. Правда, автор допускает и противоположную интерпретацию той же геополитической позиции. Русь может восприниматься не как препятствие, а как союзник и проводник апокалиптических орд. Но как бы то ни было, Россия это пространство-ключ и пространство-препятствие, контроль над которым только и может придать целостность и устойчивость любой глобальной геополитической конфигурации. Русские оказываются хранителями этого пространства, вечной жертвой посягательств тех, кто хочет подчинить себе мир.

Автор статьи **«Россия и глобальный апартеид» Р.Хестанов** («Отечественные записки», № 3(4)) пытается найти достойные *место и роль России в процессе глобализации*. По его мнению, одной из ключевых проблем организации глобального сообщества стало преобразование привычной в традиционных социумах любви к ближнему в доверие к дальнему. Такое преобразование требует совпадения многих факторов, и столь сложную систему опосредования при нынешнем состоянии национального и расового неравенства в мире (автор называет это глобальным апартеидом) реализовать невозможно. Задача усовершенствования модели глобализации во многом совпадает с интересами ряда развивающихся государств и требованиями антиглобалистов. В этом смысле некий социальный идеал воплощает в себе идея равенства глобализации. Россия не является центром политического и экономического процветания, поэтому в модели глобализации ее заботит не столько свобода реализации своих потенций, сколько справедливое распределение реальных ценностей. Отказ от глобализации, изоляция и превращение в островную культуру были бы фактическим отказом от преследования собственных интересов. При этом игнорировались бы естественные союзники, т.е. государства, обойденные при разделе общего пирога. Выработка соответствующей моменту идеологии равенства, выраженной языком права, — важная задача, стоящая сегодня перед Россией.

В. Малахов назвал свою статью «Осуществим ли в России русский проект?» («Отечественные записки», №3(4)). «Русским проектом» автор называет попытку нынешних идеологов освободить понятие «русский» от этнического смысла и называть русским все, принадлежащее России как государству: русский капитал, русский стиль, русский флот, русская поэзия и т.п. Автор сомневается в осуществлении подобного проекта. Во-первых, в России резко увеличивается количество нерусского (и неправославного) населения, что ведет к языковой и конфессиональной пестроте нашей жизни. Во-вторых, в правовом демократическом государстве, каким Россия силится себя считать, граждане вправе сами определять как свою национальность, так и вероисповедание. В-третьих, на международном культурном рынке этнографические культурные характеристики пользуются куда большим спросом, чем унифицированная безликость либерально-гражданской идентичности. Например, в системе интернациональных символических обменов образ Евразии — многоэтнической и многоконфессиональной — внушает больше симпатий и доверия, чем образ «православно-славянской» цивилизации. К тому же европейские католики и протестанты не очень щедры на братскую любовь к православным, да и последние платят тем же. Наконец, в-четвертых, стремление придать России русское лицо неизбежно натолкнется на неприятие со стороны национальных меньшинств. Все приведенные соображения подсказывают автору, что надо разрабатывать проект и называть его не русским, а все-таки российским.

Строгий научный подход дает возможность **И. Чернышевскому** хладнокровно судить *о русском национализме* («Русский национализм: несостоявшееся пришествие» — «Отечественные записки», № 3(4)). Автор считает очевидным фактом, что русского национализма — ни как массового движения, ни как массового настроения — нет. Есть недовольство, есть национальная обίδα, ощущение унижения, отчаяние. Есть отдельные националисты, но национализма как такового — нет. Национализм же — это такое социальное явление, когда народ осознает себя нацией и начинает совершать поступки, нужные не только и не столько конкретным людям, сколько народу в целом. Что же касается России, то до осознания сложившегося положения, до возникновения «массового чувства», до всеобщей озабоченности положением русских в России, т.е. до того, что автор называет национализмом, дело не дошло.

Существует ли европейская идентичность и в какой мере она присуща России, пытались выяснить на **Т. Артемьева** и **М. Микешин** в статье «Европейская идентичность и российская ментальность» («Вопросы философии», № 2), подводя итоги Четвертой летней школы по истории идей, проходившей в Петербурге в июле прошлого года. Культура Европы есть уникальный синтез классической греческой «*paideia*» (образованность), римского права, христианского коллективизма и германского индивидуализма. Ни один из этих базовых принципов не может рассматриваться в отрыве от других. Основание культуры континента — европейское единство. Европейцы могут говорить, читать и писать на разных языках, но у них один способ мышления, одни и те же идеи. В XVIII в. к этому сообществу присоединилась и Россия. Однако русские для Европы всегда были и есть «другие». Россия — специфическая, особенная, «полукоткры-

тая» или «полузакрытая» культура. Именно специфику нашей страны с обеих точек зрения — и европейской, и русской — обсуждали участники этого любопытного междисциплинарного мероприятия.

Специфику русского национального характера с точки зрения этнопсихолога рассматривает С. Лурье («В поисках русского национального характера» — «Отечественные записки», № 4). Бессмысленно искать национальный характер в статике, эффективно только динамическое изучение этноса. Особенности того или иного народа, его поведение четко улавливается в разыгрывании исторических сценариев. Русские пережили в своей истории немало драматических перемен, но в любых условиях сохраняли определенные качества — этнические константы, которые проявляются и в самосознании. Русский образ себя всегда связан с образом носителя добра. Поле действия хранителей и возделывателей добра, миссионеров, просветителей и воинов-защитников мыслится без границ и препятствий, однако имеет неоднородную иерархическую структуру (до недавнего прошлого это союзные республики, далее страны «социалистического содружества», затем страны «социалистического выбора» и, наконец, миролюбивые и демократические страны). Образ действия — защита себя и многочисленных подопечных. Условия действия — сознание себя как могущественной и самой справедливой силы. Способ действия — служение, т.е. выполнение нравственного долга перед высшим добром. Образ врага ситуативен — тот, кто против русских. Образ покровителя — по пушкинской метафоре — «русский Бог». Он дает возможность дразнить счастье, играть наудачу, на «авось». Центральная культурная тема — «комплекс третьего Рима». Для устойчивости этнической системы необходима фигура суверена. В прошлом России — это царь, сейчас — президент. К началу третьего тысячелетия русские вступили в полосу тяжелейшего кризиса идентичности, однако в борьбе внутриэтнических альтернатив идет спонтанное самоструктурирование этноса. Автор предполагает, что скоро оформится новое, приемлемое для нынешнего русского общества понимание русской миссии, и она, разумеется, будет невыполнима. Других миссий у народов не бывает.

Кстати, о фигуре суверена. **Механизмы массовой поддержки президента Путина** и тайну ее стабильности в статье «**Центр и вертикаль: политическая природа путинского президентства**» пытается разгадать С. Каспэ («Полития», № 4). Одна из возможных версий разгадки — удачно занятая позиция в политическом центре. Главной особенностью этого центра является то, что он вынесен за пределы партийно-политического поля, но организует его и даже легитимизирует. Все сколько-нибудь заметные партийные фигуры жестко соотнесены с центральной властью и существуют постольку, поскольку они властью признаны. Большинство партий оправдывает свое существование прежде всего той или иной формой участия в персонификации государственной власти в образе Путина. Девиз нового правления — образ «властной вертикали». Образ этот сложнее и глубже узкого смысла, непосредственно связанного с федеральной реформой. Автор ассоциирует его с архетипами центра и вертикали, хранящимися в коллективном бессознательном, с представлениями, выраженными символом Мирового Древа как вертикали, космической

колонны, соединяющей небо и землю. Автор не игнорирует и (квази)эротические ассоциации во фрейдистском духе, возникающие при анализе образа «властной вертикали» и ее укрепления.

Специфика менталитета просвещенного населения России занимает Л. Гудкова, автора статьи «Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам» («Отечественные записки», № 3(4)). Неотрадиционализмом автор называет ностальгию по советскому прошлому и его идеализацию. Наиболее тяжким последствием коммунистического режима он считает почти полную «импотенцию» образованных слоев российского общества. Эта элита не в состоянии задать ни цели, ни ориентиров общественного развития, ни тем более на практике осуществить нормы правового общества, соответствующие реалиям рыночной экономики. Автор делает вывод, что характер сегодняшней ситуации определяется не столько политической волей руководства, сколько тем, что общество и его элита не понимают происходящего. Неспособная к социальному творчеству интеллигенция вдохновляется образами массовой культуры Запада или исповедует советскую идеологию, уже лишенную какой бы то ни было связи с марксизмом-ленинизмом, но зато наполненную риторикой великодержавности и былого величия. Эта ориентация блокирует интерес к ценностям мирового опыта, к более глубоким представлениям о человеке. Причины такого состояния интеллигенции автор объясняет функциями, которые выполняли «образованные» в прошлом. Это была обслуживающая тоталитарный режим бюрократия, она обеспечивала систему научными и техническими кадрами и мобилизовывала общественные ресурсы для поддержки патерналистской власти. Ничего другого, как оказалось сегодня, она делать не может.

С вышеприведенным приговором вряд ли согласился бы Г. Хазагеров, автор материала «Персоносфера русской культуры» («Новый мир», № 1). «Персоносфера» — это сфера персоналий, образов, литературных, исторических, фольклорных, религиозных персонажей. Персоносфера, в представлении автора, — живое, одушевленное население планеты концептов (не очень удачная экспликация и обоснование термина через другой, также нуждающийся в экспликации и обосновании). Национальное видение мира определяется характером персоносферы, которая является при этом самой изменчивой частью картины мира. Герои персоносферы дают нам образцы речи, образцы поступков, образцы всей жизни. Оплот русской персоносферы — русская литература, ее хранитель — интеллигенция. В персоносфере, созданной русским словом, русская интеллигенция жила, считая ее исходной реальностью, мерилом жизни. За годы советской власти в русской персоносфере отразилась череда идеологических кампаний и призрачных персонажей. Ныне изменилась и сама носительница персоносферы интеллигенция. В постсоветское время общенациональная персоносфера поддерживается телесериалами. Расцвела субкультура убийственных для интеллигенции тусовок. Спасение видится автору в конструктивном вмешательстве власти. Ей нужно поддерживать русское Слово, обратиться к образцам русской персоносферы.

Воспользуюсь концепцией персоносферы и внесу в нее, с легкой руки К. Сапегина, еще один персонаж («Культурные запреты интеллигента-шестидесят-

ника (актер Сергей Юрский) — «Полигнозис», № 1). Опыт социальной борьбы 1960-х годов автор называет проектами жизнестроительства. Объединяет их феномен «интеллектуальности», т.е. социально оформленное бытие творческой личности, направленное на поиск ценностных оснований действительности. Модификация бытия творческой личности — интеллектуальный герой. Через образ интеллектуального героя-шестидесятника автор пытается «прочсть текст» современной культуры. Выбранный герой — Сергей Юрский — определен автором как ренессансный тип, в условиях тоталитаризма возродивший веру в человека как участника и продолжателя Творения. Юрский в качестве «недиссидента» вместо внекультурных (внешних по отношению к культуре) социальных скандалов вел нравственную борьбу, преодолевал тоталитарное сознание посредством жизнетворчества. Судьбу шестидесятников (Юрского в том числе) автор трактует как героико-романтическую трагедию: они, дескать, утверждали гуманитарные ценности революции (свободу, равенство, братство), отчетливо сознавая себя творцами утопии. Но это было единственным способом жить в «мифологическом» времени, когда жест воспринимался как художественное явление, а поступок — как общественное событие. Понимая, что свобода — это утопия, шестидесятники вместо сражений с ветряными мельницами занимались созиданием культуры. А культура — это ограничение в человеке и обществе всего дурного, разрушительного, т.е. в определенной степени ограничение свободы. Уже в 90-х годах Юрский говорит: «Свобода не цель жизни, а ее условие. Можно ли бороться за то, что дается от рождения? Свобода — инструмент, не более. Свобода — ощущение границ... Это право беспрепятственно идти по мосту, а не сжигать, взрывать или загаживать его».

Прочтение текста современной культуры через опыт жизнетворчества Юрского приводит автора к выводу: «... в несвободной среде творческой личности живет и работает куда свободней, чем в современной системе вседозволенности. Так избыток кислорода лишает культуру разумности, равновесия, кружит голову и заставляет играть в жизнь, а не строить ее».

Редакция журнала «Знамя» (**«Раскол в либералах»** — № 1) толкует историю русской интеллигенции как вереницу ее расколов, а родовыми свойствами думающего сословия считает интеллектуальную нетерпимость и моральный ригоризм. Полемика здесь (и в прошлом, и в настоящем) неизменно перерастает во вражду, в противоборство, в пренебрежение чужим мнением. Нынче для либеральной интеллигенции время испытания веры — веры в абсолютную и безусловную ценность свободы. Возникают споры о российской государственности, о выборе цивилизационного маршрута (западная ориентация) и, конечно, о проблеме сословного (для интеллигенции в целом) и личного (для каждого в частности) выбора: с кем быть, какую занять позицию, как ответить на очередное испытание временем. Редакция журнала «Знамя» попросила высказаться на эту тему авторитетных представителей испытываемого сословия.

А.Алеев считает либеральную интеллигенцию институционально пассивным образованием. Повод для расколов приходит к ней исключительно извне — как результат действий других, активных общественных сил. Все попытки интел-

лигенции стать реальной силой, с которой считаются, провалились, потому что она не выдвинула ни новых идей, ни новых моральных и политических лидеров. Она была и остается источником отрицательной энергии критицизма. Алеев полагает, что свобода в применении к реальной жизни общества представляет собою нечто многосоставное: это личные права и свободы человека, свобода слова, свобода предпринимательства, неприкосновенность частной жизни, собственности и т.д. Это очень жесткая система, где ни одно звено не лишнее, ни одна свобода без другой действовать не может. К тому же кто-то большой и сильный должен все эти свободы гарантировать. Если этого не делает Бог, тогда это делает (или не делает) государство.

Р. Гальцева считает, что раскол произошел в интеллигенции в целом, поделив ее на либеральную и так называемую патриотическую. Водораздел между ними проходит по линии Россия и свобода. Сочетаются ли они друг с другом? Для нынешних патриотов — категорически не сочетаются, и либерализм им ненавистен как душа «торгашески-спекулятивного социума». Для либералов Россия и свобода тоже антиподы. Ничто не так мешает шестистию всеобщей мировой свободы, как «эта страна», «Российская держава» с ее угнетательскими привычками и имперскими амбициями. После падения Советской России выяснилось, что либералы испытывали неприязнь не к коммунистическому режиму, а к России как таковой. Следуя их мысли, приходим к выводу, что Россия — изгой, вывести ее из тупика возможно, лишь подчистую искоренив все, что здесь было. По мнению Гальцевой, либерализм должен находиться в оппозиции, но не к государству, ведь сама оппозиция есть часть государственной структуры. Противостояние должно заключаться в партийной деятельности тех, кто не согласен с текущим курсом избранной народом власти. Нынешние же поборники либерализма (т.е. правового государства и парламентаризма) непримиримы к власти. Этот новый либерализм отмежеввался от классического или консервативного, основой которого были свобода и истина. Сегодняшний русский либерализм претендует на деидеологизированность и исповедует «мировоззренческий плюрализм» (последний Гальцева понимает как веру в то, что истины нет), однако он постепенно превращается во всеохватывающую идеологию, характеризующуюся проективизмом, утопизмом и нетерпимостью к инакомыслящим. Его идеи распространяются сегодня во все сферы духа и становятся своеобразной формой секулярной религии. Такая религия свободы утверждается за счет отмены общечеловеческих истин и традиционных устоев, за счет отмены морали, культуры (попросту стыда и совести), причем это преподносится как прогрессивный процесс раскрепощения человеческого духа и тела.

Д. Драгунский полагает, что вечные расколы и нелюбовь к властям — два базовых греха, в которых несправедливо обвиняют российскую интеллигенцию. Несправедливость состоит в том, что в грехах этих повинны сами власти, ибо не создавали рынка интеллектуалов. Теперь одумались и создают. Рынок обеспечивает мягкий переход протестующих интеллигентов в состояние лояльно-равнодушных интеллектуалов. С рынком пришла специализация и дифференциация интеллектуалов, кастовые ценности интеллигенции уже не ра-

ботаю. Рынок оценивает человека не по потенциям, а по продукту. Среди значительной части интеллигенции (такие люди называют себя государственниками) сильна тоска по статусно-распределительному обществу. Свобода томит необходимостью каждодневного выбора, поэтому в свободное государство интеллектуалы интегрируются легко и продуктивно, а интеллигенция-каста чахнет.

На доводы об абсолютной ценности свободы **Л.Сараскина** отвечает пушкинской строкой: «Ты для себя лишь ищешь воли». Когда либералы говорят о свободе личности, хочется спросить, о ком конкретно они пекутся. Дело в том, что круг этих личностей очень избирателен и узок. Цивилизационный маршрут, который предлагают либералы, — т.е. следование по стопам Запада — кажется Сараскиной нелепым. Так, каждая страна действует в целях собственной безопасности, либералы же призывают исходить из доктрины, скажем, американской национальной безопасности. Между тем, двойные подходы, которые демонстрирует политика западного мира, вопиюще несправедливы, а псевдолиберальная корректность требует чеченского боевика называть сепаратистом, албанского — повстанцем и только палестинского — террористом. Роковая черта русского радикального либерализма — нежелание признавать собственные заблуждения и органическая неспособность к раскаянию, поэтому раскол в среде либералов кажется симптомом отрезвления.

С.Файбисович главную линию раскола усматривает в отношении либералов к государству. Для одних («приватники») приоритетны частная жизнь и свобода, ограниченная равным для всех законом; для других («государственники») — государство, обеспечивающее эти права и свободы. Причем, благодаря особенностям русского менталитета, «государственники» считают «приватников» антипатриотами, а те и вовсе не относят оппонентов к либералам.

Не входя в подробности обсуждения несовершенств самих либералов, в статье **«Второе дыхание российского либерализма» А. Кара-Мурза** («Неприкосновенный запас», № 6(20)) говорит о либерализме вообще, считая, что последний может стать действительно прочным, лишь укоренившись в традиции. Стадный социалистический инстинкт, якобы свойственный России, — необоснованный миф. Страну скорее характеризует индивидуальное своеволие людей — как наверху (самодурство царей), так и внизу («бунт бессмысленный и беспощадный»). Это качество автор считает серьезной либеральной традицией. Собственную же версию либерализма он называет либеральным консерватизмом.

Либерализм и демократия есть формы порядка. Россия сможет превратиться в нормальную либеральную страну только в том случае, если объединит их в политической практике. Либерализм — это не только свободный рынок, это в первую очередь плюрализм и толерантность, готовность принять чужого как равного. Социальная база либералов России (почти треть населения) — средний класс, люди новых профессий и молодежь.

Статья **В. Сендерова «Просуществовать ли российское образование до 2004 года?»** («Новый мир», №4) повествует *о трагической судьбе образования в России*. Уже одно то, как ведутся сегодня споры об образовании, рождает у автора мысль о его скорой гибели. И главная беда не в халтурности предложенного образо-

вательного проекта, а в том, что реформа в существе своем и ориентирована на идеологические принципы Запада.

Предполагаемое резкое уменьшение объема математики и физики на практике будет означать их полное уничтожение. Реформу преподавания русского языка, ведущую к неграмотности, уже осуществили. На место фундаментальных предметов поставлены экономика, право, английский язык, компьютер. Автор не понимает, как в обществе, члены которого убеждены в своем моральном праве не платить налоги, можно учить экономике и праву. Обучение компьютерам при одновременном изъятии логико-математической базы — труд, превращающий человека в обезьяну. Приоритет английского языка над русским не только неприличен, но и бессмыслен. В результате российская школа теряет уникальное фундаментальное образование. Идеология Запада, положенная в основу реформы, ведет к безликой одинаковости, к расслабленному и агрессивному самодовольству, ко всемирному торжеству хама.

Обзор подготовил Александр Денискин

АКАДЕМИК И СТУДЕНТ

В мои студенческие годы, в течение нескольких лет, я довольно часто встречался с академиком Таммом. Мы обсуждали темы, связанные с генетикой и в целом с биологией, которой Игорь Евгеньевич начал интересоваться, видимо, очень давно, еще со времени его работы в Таврическом университете в Симферополе в 1920-е годы. Например, он несколько раз говорил о том, что уже тогда его интересовали физические процессы, совершающиеся в живых организмах, и неизменно с большим уважением вспоминал о своих добрых взаимоотношениях с Александром Гавриловичем Гурвичем¹.

¹ Александр Гаврилович Гурвич (1874—1954) — цитолог, эмбриолог и биофизик. Окончил Мюнхенский университет (1897), до 1906 г. работал в европейских университетах (Страсбург и Берн). В 1907-1918 — профессор Высших Женских Курсов в Петербурге, затем Таврического университета в Симферополе (с 1918 г.),

Валерий СОЙФЕР

— родился в 1936 году в Горьком. Окончил Московскую сельскохозяйственную Академию им. К.А. Тимирязева и 4 курса физического факультета МГУ. Работал в Институте атомной энергии им. Курчатова, Институте общей генетики АН СССР, создал в Москве Всесоюзный НИИ прикладной молекулярной биологии и генетики, основные работы посвящены изучению действия радиации и химических веществ на генные структуры, открытию репарации ДНК у растений, физико-химической структуре нуклеиновых кислот. Доктор физико-математических наук, профессор и директор лаборатории молекулярной генетики Университета им. Джорджа Мейсона (США), иностранный член Национальной Академии наук Украины, академик Российской Академии естественных наук и ряда других академий, почетный профессор Иерусалимского и Казанского университетов, награжден Международной медалью Грегора Менделя за «выдающиеся открытия в биологии». Автор более двадцати книг, в том числе «Арифметика наследственности» (Москва, Детгиз, 1969), «Молекулярные механизмы мутагенеза» (Москва, «Наука», 1969; переведена на немецкий и английский языки), «Власть и наука. История разгрома генетики в СССР» («Эрмитаж», Тенафлай, США, 1989 и изд-во «Радуга», Москва, 1993) и др., изданных в России, США, Германии, Франции, Англии, Эстонии, Вьетнаме, Румынии. Живет в пригороде Вашингтона, США.

Познакомились мы при следующих обстоятельствах. В 1954 году я закончил среднюю школу в городе Горьком и отправился в Москву — поступать на биолого-почвенный факультет Московского университета. Первые четыре экзамена я сдал на пятерки, однако на экзамене по физике знаменитый тогда своими антисемитскими выходками доцент Бендриков² поставил всем мальчикам с фамилий, вроде моей, тройки. Секретарю приемной комиссии биофака МГУ О. В. Вальцевой³, очевидно, хотелось видеть меня в числе студентов (я представил при сдаче документов несколько грамот, которыми меня награждали за юннатскую работу, и показал также медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, присужденную за самый высокий в стране урожай картофеля, который я выращивал четыре года подряд на опытном поле Горьковской станции юных натуралистов), поэтому сразу после экзамена, когда я закрыл за собой дверь экзаменационного класса и стоял, опустошенный, с листком, в котором красовался тройка, она взяла меня за руку и поняла, что у меня подскочила температура. Без лишних слов Ольга Владимировна повела меня в медицинский кабинет, располагавшийся в том же здании на Моховой, врач поставила градусник, убедилась, что у меня действительно высокая температура и выдала Вальцевой соответствующую справку. После этого мне было сказано, что через два дня я должен подойти к секретарю приемной комиссии университе-

где познакомился и подружился с И. Е. Таммом, с 1925 г. — профессор Московского университета, с 1930 по 1948 — зав. лабораторией и затем директор Всесоюзного института экспериментальной медицины в Москве. В 1923 г. опубликовал гипотезу об особых лучах, испускаемых делящимися клетками, якобы стимулирующих деление соседних клеток. По мнению Гурвича, сигнал к делению связан с возникновением этого излучения (названного Гурвичем митогенетическим). Гурвич развивал также представление об особом биологическом поле, создаваемом живыми клетками и организмами. Был убежденным сторонником идей витализма. Будучи одновременно блестящим теоретиком и экспериментатором, он оказал огромное влияние на воспитание многих биологов и биофизиков в СССР, часто формально с ним не связанных, но воспринимавших его взгляды о роли физико-химических процессов в упорядоченном развитии и функционировании организмов (Сталинская премия, 1941). Сразу после Августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. был по распоряжению Политбюро ЦК ВКП(б) снят руководством Академии меднаук СССР с поста директора института и уволен с работы, а его лаборатория разгромлена.

² Григорий Арсентьевич Бендриков — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теории колебаний физфака МГУ, занимался устойчивостью сложных систем, но за много лет так и не получил сколько-нибудь серьезных научных результатов, за что его многократно критиковал за заседаниях кафедры ее заведующий. Однако Бендриков удерживался на своем месте, закрывая дорогу талантливой молодежи, благодаря тому, что был одним из активнейших членов партийной организации физфака и многолетним членом парткома факультета.

³ Ольга Владимировна Вальцева — доцент кафедры высших растений биолого-почвенного факультета МГУ, много лет работавшая в приемной комиссии этого факультета и всеми силами старавшаяся помочь поступлению на факультет тех девочек и мальчиков, в ком она видела интерес к биологии.

та, к доценту-физику Рему Викторовичу Хохлову⁴. Тот поговорил со мной, поздравив спокойствием и уважительным тоном, выписал мне направление на переэкзаменовку по физике. На мое несчастье я попал опять к Бендрикову. Тот саркастически улыбнулся, увидев направление на повторную сдачу экзамена, и стал расспрашивать, кто мои родители (с употреблением слов «что же это за мохнатая лапа так тебя в университет продавливают?»). Я сказал, что папа мой умер от туберкулеза, а мама работает уборщицей в Домах Коммуны, в которых мы живем в Горьком, но объяснения не помогли, тройка была поставлена мне снова. Оставался последний шанс: пойти в Центральную приемную комиссию Министерства высшего образования. Там посмотрели мои отметки, перелистнули грамоты и вынесли вердикт — по оценкам, полученным в МГУ, я был зачислен студентом Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве.

С первого курса обучения в Тимирязевке я занялся научной работой, пропал в лаборатории частенько до утра, опубликовал две научных статьи и стал постепенно интересоваться запрещенной тогда генетикой и только что зарождавшейся биофизикой.

Начиная с третьего курса, я проводил вечерние часы в лаборатории радиационной генетики, только что сформированной под руководством Н. П. Дубинина⁵ при Институте биофизики АН СССР⁶. Как-то, когда я уже был на четвертом курсе Тимирязевки, мы сидели с Дубининым поздно вечером, и я посетовал вслух на недостаток физического образования, так как некоторые вещи трудно понять без соответствующей подготовки. Неожиданно Николай Петрович задал мне вопрос: «А если бы я, Лера, договорился, чтобы вас перевели на первый курс физфака, вы бы согласились потерять три года?» Я радостно закивал головой, и это решило мою судьбу.

Как я вскоре узнал, Дубинин решил переговорить обо мне с академиком Таммом, который приобрел в кругах биологов огромный авторитет именно в то время. В 1955 году почти 300 биологов подписались под письмом руководству страны, в котором указывали на катастрофические для страны последствия лысенковщины⁷. Тамм стал закоперщиком подписания аналогичного

⁴ Рем Викторович Хохлов (1926-1977) — советский физик, специалист по нелинейной оптике, академик АН СССР (с 1974 г.), член Президиума и и. о. вице-президента АН СССР, депутат Верховного Совета СССР, с 1965 года зав. каф. волновых процессов физфака МГУ, с 1973 г. ректор МГУ, альпинист, погиб в горах.

⁵ Николай Петрович Дубинин (4.01.1907 — 27.03.1998), генетик, академик АН СССР (с 1966 г.), директор Института общей генетики АН СССР имени Н. И. Вавилова в 60-80-е годы.

⁶ Институт биофизики был создан в АН СССР в 1957 году.

⁷ В 1955 году ленинградские генетики Д. В. Лебедев, Н. А. Чуксанова и Ю. М. Оленов написали большое письмо (на 21-й странице) Н. С. Хрущеву, в котором сообщали о крупных недостатках в советской науке, вызванных многолетним владычеством необразованного и лживого агробиолога Т. Д. Лысенко. Это письмо подписали около 250 биологов из крупных городов. Несколько десятков человек направили вдогонку этому письму свои индивидуальные обращения. Эта акция получила название «Письмо 300-х».

письма от физиков⁸, затем он принял активное участие в провале выборов в академики Нухдина — заместителя Лысенко на посту директора Института генетики⁹. В Физическом институте АН СССР Тамм организовал биологический семинар для физиков. В то время генетика была категорически запрещена как буржуазное извращение, генетикам не давали выступать нигде, и предостережение Таммом возможности обсуждать запрещенные проблемы имело колоссальное значение. Семинар Тамма в короткое время приобрел огромную популярность. Знал об этих действиях и Лысенко. Во время одной из бесед со мной в его кабинете на кафедре генетики и селекции зерновых культур Тимирязевской академии Лысенко начал вдруг раздраженно говорить о том, что Тамм вовсе никакой не крупный физик, а ничтожество¹⁰.

— Вон в «Правде», — хрипел своим сдавленным голосом «колхозный академик», — недавно рассекретили список лиц, принимавших участие в создании Обнинской атомной станции. Все крупные физики участие в этом принимали, а фамилии Тамма среди них нет! Никакого Тамма среди лучших ученых нет! Никакой он не крупный физик! Он никто! Просто никто! Интриган и больше никто! Только нападка на меня и знаменит. Я скоро на Тамма и Дубинина в суд подам! — кричал мне Лысенко, распаляясь всё более. Он вообще умел себя разогреть и превращаться в неистового Трофима Денисовича, про которого многие думали, что он психопат и параноик, каковым он по моему не был, а просто был умелым актером, принимавшим вид неистового в зависимости от обстоятельств.

В ту встречу с Лысенко, я уже знал о выдающихся достижениях в физике академика Тамма и ясно осознавал абсурдность лысенковской тирады.

Через непродолжительное время Дубинин дал мне домашний телефон Тамма и сказал, когда я должен ему позвонить. Игорь Евгеньевич предложил

⁸ Под этим письмом подписались 24 крупнейших физика и математика: И. Е. Тамм, Л. Д. Ландау, П. Л. Капица, А. Д. Сахаров, Я. Б. Зельдович, И. Б. Харитон, Д. А. Франк-Каменецкий и другие. Курчатов и Несмеянов как члены ЦК КПСС отказались поставить свою подпись, но переговорили лично с Хрущевым. Тот, однако, охарактеризовал письмо 300 и обращение 24-х как возмутительные.

⁹ Перед избранием новых членов АН СССР в июле 1964 года, по просьбе Лысенко, на Секретариате ЦК КПСС кандидатура Н. И. Нухдина была утверждена. Однако на общем собрании АН СССР Тамм, Сахаров и Энгельгардт выступили против кандидатуры Нухдина в академики, и в тайном голосовании он получил только 20 голосов, а 120 академиков проголосовали против такого избрания.

¹⁰ В 1956-1957 годах я ходил слушать курс мичуринской генетики, который Лысенко читал на его кафедре генетики и селекции зерновых культур в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. Лысенко был информирован, что на его лекции ходит студент не из его группы (я учился тогда на плодовоовощном факультете), и он на меня косился и никогда мне никаких вопросов не задавал, хотя остальных студентов (их было около 25-ти) постоянно доминимал вопросами. По окончании последней лекции я решил задать Лысенко вопрос о замеченных мною очевидных логических несурзностях в его объяснениях, он схватил меня за руку и буквально поволок в свой кабинет. Так начались наши с ним многочасовые беседы, закончившиеся после того, как я отказался от его предложения пойти к нему в аспирантуру после окончания Тимирязевки.

мне прийти к нему, и с этого начались наши беседы по вечерам в его огромной, как мне казалось, квартире на улице Осипенко.

Переход на первый курс физического факультета МГУ

Вопрос о переходе на физфак возник не в первую нашу встречу. Сначала Тамм расспрашивал меня о моих интересах и, видимо, проверял, что я знал хорошо, а чего не знал вовсе. После ухода от Тамма я на несколько дней плотно усаживался в библиотеке, стараясь понять вопросы, интересовавшие его. В следующий раз мы начинали беседы с этих вопросов. Наконец, Тамм сказал, что надо переговорить с ректором МГУ Иваном Георгиевичем Петровским, и мы поехали на машине на Ленинский проспект к нему на квартиру¹¹. У меня не было с собой ни зачетки, ни каких-то других документов, мы просто поговорили, а я стал просить, чтобы вместе со мной на физфак перевели еще двоих моих приятелей из Тимирязевки. Петровский попросил меня прийти к нему на официальный прием в кабинет на Моховой вместе с зачетками моих приятелей, что я вскоре и сделал. Я опушу рассказ о том, как Петровский удивительно уважительно и мягко себя вел, какой замечательной была его секретарь в приемной на Моховой, хотя память обо всем этом живет в моей душе как одно из ярчайших в жизни воспоминаний. Уже после ухода из МГУ в аспирантуру (я пишу об этом кратко ниже) я несколько раз с ним встречался, получая каждый раз примеры того, как должен вести себя по-настоящему интеллигентный человек. Петровский попросил Тамма и Дубинина написать письма в Министерство высшего образования и ректору Тимирязевки Г. М. Лоза, чтобы он не препятствовал такому переводу¹². Конечным результатом переговоров Тамма с Петровским стало то, что 20 декабря 1957 года замести-

¹¹ Иван Георгиевич Петровский (1901-1973) — выдающийся математик, специалист в области теории дифференциальных уравнений в частных производных, изучения эллиптических, гиперболических и параболических систем, теории вероятностей и случайных процессов, академик АН СССР (с 1946 года), многолетний ректор МГУ (с 1951 г. до своей трагической смерти, наступившей сразу после выхода из подъезда здания ЦК КПСС, где в этот день Петровскому пришлось услышать от партийных чинуш грубые и несправедливые выговоры), член Президиума АН СССР, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического труда, член многих академий мира.

¹² В письме, в частности, было сказано:

«Современное состояние биологии требует кадров, владеющих методами физико-математических наук. Студенты В. Н. Сойфер, А. Д. Морозкин и А. Я. Егоров зарекомендовали себя способными к научной работе и выражают желание овладеть физическими методами для развития в дальнейшем их применения в биологии. Учитывая серьезность высказанного ими желания, считаем, что им должна быть открыта дорога в область, развитие которой в ближайшие годы будет иметь громадное значение для развития естественных наук в нашей стране...

*Академик И. Е. Тамм
Член-корреспондент АН СССР Н. П. Дубинин
26/XI-1957 г.»*

тель министра образования СССР М. А. Прокофьев¹³ издал приказ о переводе нас на первый курс физического факультета МГУ — на вновь открывшуюся кафедру биофизики.

Начав учиться на физфаке, я не перестал встречаться с Таммом у него дома. Мы обсуждали тогда две главные проблемы, которыми Тамм интересовался, — как четыре нуклеотида ДНК могут кодировать двадцать аминокислот (иными словами, каковы общие принципы генетического кода) и какова стабильность ДНК на большом протяжении, если лишь слабые водородные связи удерживают комплементарные основания в составе двух нитей двуспиральной молекулы ДНК. Конечно, я должен сразу же сказать, что никакого собственного творческого вклада в эти беседы я не мог внести по принципиальным причинам недостаточности знаний и несоответствия мыслительных способностей Тамма и моих. Все, на что я годился, это понимать смысл говоримого Таммом, потом, после сидения в библиотеках и чтения работ на затрагивавшиеся темы являться с последующим рассказом Тамму о прочитанном. Он мгновенно заражался услышанным, начинал фонтанировать на новую тему, выдвигал не одну, а сразу несколько смелых гипотез, я опять отправлялся в библиотеки, читал там всякую всячину, и потом иногда спорил с Таммом по вопросам, которые уже понимал.

Создание Радиобиологического отдела Института атомной энергии имени И. В. Курчатова

В это время Игорь Евгеньевич сделал еще одно великое для биологов дело. Он задался целью создать биофизический отдел в составе Института атомной энергии (тогда еще в разговорах между собой физики называли его ЛИПАН-ОМ, сокращение от Лаборатория Измерительных Приборов АН СССР¹⁴). С помощью Владимира Александровича Энгельгардта¹⁵, Глеба Михайловича

¹³ Михаил Алексеевич Прокофьев (1901–1999) — член-корреспондент АН СССР (с 1966), действительный член АПН СССР (1967), специалист в области химии биополимеров и других природных соединений. В 1959–1965 гг. первый заместитель министра высшего и среднего специального образования СССР, с мая 1966 г. — министр просвещения РСФСР, с декабря того же года — министр просвещения СССР, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР.

¹⁴ Радиобиологический Отдел (РБО) был создан уже после переименования ЛИПАНа в ИАЭ, но неофициальное название ЛИПАН по-прежнему было в ходу.

¹⁵ Владимир Александрович Энгельгардт (1894–1992?) — крупный биохимик, академик АН СССР (с 1953 г.), открывший ресинтез аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в процессе клеточного дыхания (дыхательное фосфорилирование), совместно с женой, М. Н. Любимовой, обнаружил, что белок мышц — миозин — выполняет функцию фермента, использующего энергию АТФ для своей работы, академик-секретарь Отделения биологических наук АН СССР в 1955–1959 годах, создатель и директор Института физико-химической и радиационной биологии (1959), позже переименованного в Институт молекулярной биологии.

Франка¹⁶, вышедшего на свободу из заключения Льва Абрамовича Туммермана¹⁷, по-моему, не без консультаций с Астауровым¹⁸ и Дубининым, был подготовлен проект создания такой лаборатории¹⁹. Игорь Евгеньевич постоянно советовался по этому вопросу с человеком, которого он называл правой рукой Курчатова, — Виктором Юлиановичем Гавриловым²⁰. Тамм много раз при-

¹⁶ Глеб Михайлович Франк (брат Ильи Михайловича Франка, удостоенного одновременно с Таммом Нобелевской премии) (1904-1976) — окончил Крымский (Симферопольский) университет, изучал митогенетические лучи, пытаясь впервые создать физические методы регистрации этих лучей, затем переключился на исследование действия ионизирующих излучений на клетки, организатор и первый директор Института биофизики АМН СССР (1948-1951) и Института биофизики АН СССР (с 1957 г. до смерти), а также один из создателей и первый директор Пушкинского центра биологических исследований АН СССР под Серпуховом (город Пушино-на Оке).

¹⁷ Лев Абрамович Туммерман (1900-1986) — биофизик, после многолетнего пребывания в заключении вернулся в середине 50-х годов к активной научной деятельности, работал в Институте молекулярной биологии, заведывая там лабораторией. После того, как его сын подал заявление о желании эмигрировать из СССР, Туммерман был уволен с работы. С 1964 года жил и работал в Израиле.

¹⁸ Борис Львович Астауров (1904-1970?) — цитолог, генетик, эмбриолог. Ученик Н. К. Кольцова, выпускник МГУ (1927), работал в Институте Экспериментальной Биологии у Кольцова, в 1930-1935 годах в Средней Азии, а затем вернулся в Москву, избран членом-корреспондентом АН СССР (1958) и академиком (1966), в 1967 году возглавил Институт биологии развития АН СССР (сейчас носит имя Кольцова).

¹⁹ В августе 1958 г. появилось постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О работах в области биологии и радиобиологии, связанных с проблемами атомной техники». Организация этих работ была поручена В. Ю. Гаврилову (см. след. ссылку).

²⁰ Виктор Юлианович Гаврилов (1918-1974) — физик, трижды лауреат Сталинской премии, видный участник советского атомного проекта, ближайший сотрудник Курчатова в организации научных исследований по созданию атомной и водородной бомб (работал в Центре по производству ядерного оружия «Арзамас-16», руководимом академиком Ю. Б. Харитоном). Позже Гаврилов увлекся проблемой молекулярной биологии. Он был искренне увлечен идеей построения физической картины биологических процессов, видел огромные перспективы этой области науки и считал свою задачу делом государственной важности. По поручению и во взаимодействии с Курчатовым, а после его смерти с преемником Курчатова на посту директора ИАЭ А. П. Александровым, разворачивал молекулярно-генетические и биофизические исследования в ИАЭ, стал первым начальником отдела, получившего название Радиобиологический, или РБО. В короткий срок Гаврилов собрал в РБО выдающихся исследователей в этих науках, начал руководить еженедельным семинаром, на котором биологи учили физиков их науке, а физики помогали биологам осваивать новые физические методы исследований и методологии точных наук. Виктор Юлианович во многих вопросах умел разобратся быстрее других и быть реальным, а не формальным лидером. В 1960-е годы был заместителем председателя Совета по молекулярной биологии АН СССР (председатель В. А. Энгельгардт). Гаврилов был самостоятельным художником и прекрасным копиистом работ выдающихся мастеров.

водил в пример Гаврилова как непревзойденного организатора и редкостного умницу. Проект Радиобиологического отдела был подготовлен основательно, и с ним Тамм отправился к Курчатову. Сохранилась знаменитая фотография сидящих на скамейке Тамма и Курчатова в момент обсуждения проекта создания Радиобиологического отдела ЛИПАНА. Гаврилов возглавил Отдел и руководил им многие годы, пока на это место при живом Викторе Юлиановиче не сел Т. Н. Зубарев²¹.

Учреждение Радиобиологического отдела стало важнейшим шагом на пути преодоления монополии Лысенко. Дотянуться до атомного центра и задушить своими мозолистыми ладонями очередное научное учреждение в области генетики Лысенко было не под силу. Нейтральное на слух Лысенко и Хрущева название «Радиобиологический» было дано для прикрытия истинных целей. На самом деле отдел был институтом молекулярной генетики (в 1978 году за ним закрепили это название официально, окончательно отделив отдел от ИАЭ). Вместе с институтом Энгельгардта, который также лишь для видимости носил название Института радиационной и физико-химической биологии (позднее переименован в Институт молекулярной биологии) и Лабораторией радиационной генетики Дубинина, позже ставшей Институтом общей генетики, новое детище Тамма укрепило фундамент направления, противостоявшего лысенковщине, и это хоть в какой-то степени позволило преодолеть трагические для советской науки последствия партийного вмешательства в науку. Этим важнейшим в своей многогранной деятельности шагом Игорь Евгеньевич, воспринимавший вроде бы вполне искренне идеи социалистического переустройства общества, объективно помог своей стране переломить четвертьвековое владычество политиканствующих шарлатанов и мракобесов.

Поездка Тамма в Китай

Хочу отметить, что помимо всего прочего Игорь Евгеньевич (возможно, не осознавая этого) учил меня более общим вещам, помогал развитию моего характера и умонастроений. Наши встречи с Таммом продолжались, по крайней мере, четыре года. Сейчас я уже не могу вспомнить всех событий того времени и позволю ограничиться только несколькими застрявшими в памяти воспоминаниями.

Как-то он заговорил о своих аспирантах и сказал, что никогда бы не взял в аспирантуру и в младшие сотрудники тех, кто учился в университете на круглые пятерки. «Человек, индифферентно относящийся ко всем предметам, мне не нужен. Если студент с одинаковым равнодушием учит историю партии, военное дело, философию марксизма и теоретическую физику с математикой, то это — ходячий автомат. Такие мне не подходят. А вот молодой человек, у

²¹ В 1964 г. Гаврилов оставляет пост начальника отдела, и это место с 1964 по 1970 г. занимает его заместитель Т. Н. Зубарев (специалист по физике ядерных реакторов, лауреат Ленинской премии). В этот период вместо фундаментальных вопросов молекулярной генетики приоритет был отдан прикладным физико-техническим работам, в частности, разработке измерительных методик на основе цифровой техники и конструированию разных лазерных приборов.

которого по моим предметам одни пятерки, а по названным выше и сходным дисциплинам тройки — этот мне по душе».

Другой эпизод был связан с вырвавшимся как-то у меня сожалением, что в голове звучит навязчивая мелодия, от которой я никак не могу отделаться. «Ну, это просто, — заявил, улыбаясь, Игорь Евгеньевич. — Есть универсальное правило. Надо пойти к соседу и как будто невзначай пару раз напеть назолую мелодию. Как только сосед ее запоет, вы свободны».

В какой-то момент по совету врачей Игорь Евгеньевич бросил курить. Теперь корзина для бумаг, спрятанная у его ног под столом, перекочевала в угол комнаты и была зажата между стеной и крышкой слегка отодвинутого от стены массивного письменного стола. Игорь Евгеньевич поудобнее усаживался спиной к столу в кожаном кресле, выдвинутом почти на центр комнаты (иногда он перекидывал ноги через высокий подлокотник кресла, а сам утопал в кресле, опираясь спиной на другой подлокотник), я приставлялся на противоположном от стола конце дивана, мы говорили, а Игорь Евгеньевич доставал из кармана ириски или леденцы, разворачивал обертку, ириску отправлял в рот, а обертку сминал в шарик. В какой-то момент в его глазах загорелась искорка усмешки, и, продолжая смотреть мне в лицо, он выщелкивал пальцами, не глядя, шарик — назад, за себя, норовя попасть в корзину. Следовал молниеносный взгляд за спину, и, если шарик на самом деле попадал в цель, было видно, как удовлетворение разливалось по телу крахмального крепыша.

Однажды зимой мы пошли гулять вечером с Игорем Евгеньевичем от их дома к Москве-реке, потом направились вдоль реки, и Тамм рассказал мне о впечатлениях от недавней поездки в Китай, когда он увидел воочию, как коммунисты третировали даже крупных своих физиков. Один из рассказов был о том, как он однажды увидел на стене длинного коридора ряд листков с чем-то вроде дацзыбао²², вбитый гвоздь и висящий на нем фотоаппарат «Смена» — самую дешевую из тогдашних советских фотокамер.

— Я спросил, — говорил Игорь Евгеньевич, — свою переводчицу-китайку, бывшую когда-то аспиранткой в ФИАНе, что это значит, и она объяснила, что выдающийся китайский физик, недавно побывавший в Москве, сэкономил небольшую сумму денег благодаря тому, что московские коллеги по очереди приглашали его обедать и ужинать к себе домой. Денег хватило только на эту примитивную фотокамеру. Но по возвращении в Китай кто-то донес на него. Переводчица пояснила мне, что вчера прошло собрание, на котором уважаемого профессора заклеямили, и вот утром он сам вбил гвоздь, сам вывесил аппарат на всеобщее обозрение и написал под ним, что сделал правильно, когда накопил денег на фотоаппарат, но допустил серьезную политическую ошибку, что не отдал народу сразу же по приезде этот предмет роскоши, а попытался использовать его для своих целей, в чем он искренне раскаивается и просит его простить.

Рассказ Тамма меня потряс. В те годы советская пропаганда захваливала порядки в «младшем брате» СССР — Китае. В МГУ с нами учились тысячи китайцев, и по воскресеньям в столовой в зоне «Б» специальная бригада пова-

²² Дацзыбао — рукописный плакат, призыв к покаянию или обещание исправиться, вывешенный в публичном месте. Основное оружие пропаганды в годы китайской «культурной революции».

ров (видимо из китайского посольства) готовила для китайцев особое меню, с утра толпы китайских студентов устремлялись туда и очень организованно, сменяя друг друга, работали палочками, явно радуясь возможности насладиться блюдами родной кухни. Китайский путь к коммунизму пока еще прославляли, и случаев, подобных рассказанному Таммом, в средствах массовой информации в СССР не сообщали. Примерно в это же время в Китай съездил профессор Б. Л. Астауров, который поведал мне нечто похожее, и я вспомнил при этом еще один рассказ Тамма, уже из его альпинистской жизни, когда на восхождение в горы с ними пошла группа китайских спортсменов. На большой высоте одна из хрупких китайенок полностью обессилела, почувствовала себя плохо, опустилась на камень и беззвучно плакала, так как не могла подыматься дальше.

— Все члены китайской группы прошли мимо нее, несчастной и сжавшейся в комочек, как мимо чего-то непристойного, даже головы не обернули. Как же! Она нарушила приказ Мао! — проговорил Игорь Евгеньевич и рассказал, как они организовали бригаду для спуска девушки вниз для первой врачебной помощи.

Вспоминаю также, как однажды пришел к Тамму летом, в жаркую пору. Игорь Евгеньевич был в одних трусах, очень красивый и мощный, и стал мне рассказывать, что всю жизнь он занимался теоретической физикой, а теперь вот придется заниматься физикой дипломатической. Он готовился к своей первой поездке на Пагуошскую конференцию²³.

Лекции Тамма о генетическом коде

Во второй половине 1950-х годов многие теоретики, вдохновленные примером Георгия Антоновича Гамова²⁴, занялись обдумыванием проблемы генетического кода. В «Nature» и «Science» стали часто появляться статьи о воз-

²³ Пагуошские конференции (от названия городка Pugwash, где состоялась первая конференция в 1957 г.) — ежегодные международные встречи ученых, на которых рассматривают шаги к мирному развитию стран и кооперацию научных исследований. Пагуошское движение было инициировано А. Эйнштейном, Ф. Жолио-Кюри, Б. Расселом и др. Тамм принял участие во встрече 1959 года в Бадене (Австрия).

²⁴ Георгий Антонович Гамов (1904-1968) — крупнейший физик 20-го столетия, давший квантово-механическое объяснение альфа-распаду и сформулировавший (вместе с венгерским эмигрантом, позже ставшим отцом американской водородной бомбы, Эдвардом Теллером) теорию бета-распада, плодотворно работавший в области астрофизики. Гамов окончил в 1926 году Ленинградский университет, был взят научным сотрудником в Иоффовский Физико-Технический институт, дружил с Л. Д. Ландау и М. П. Бронштейном (арестован в 1937 г., расстрелян в 1938 г.), в 1928-1931 годах работал в Гёттингене, Копенгагене и Лондоне, а с 1933 года остался жить на Западе (сначала в Европе, а затем в США). Сразу после публикации статьи Уотсона и Крика о двойной спирали ДНК в «Nature» в мае 1953 года, Гамов послал им письмо, и в конце концов им была разработана гипотеза о триплетном генетическом коде (см. недавно опубликованную книгу: J. D. Watson. 2002. Genes, Girls and Gamow (After Double Helix), Alfred Knopf, New York, 259 pp).

можной общей природе генетического кода и схемы предположительного строения троек нуклеотидов, кодирующих отдельные аминокислоты. Игорь Евгеньевич также задумывался над этим, но его интересовал несколько иной вопрос: как устроены отдельные «слова» в генетических записях — в частности, как они следуют друг за другом, могут ли слова перекрываться, так что в недрах одного слова, на некотором отдалении от начала, могло бы начинаться следующее слово, а также вопрос о том, что собой должно представлять окончание записи генетической информации.

Тамм не раз заводил разговор об этих возможных свойствах кода во время наших вечерних бесед, и постепенно у него выкристаллизовалось представление о том, что элементы информации (слова в лингвистическом понимании) не должны сливаться в генетической записи (во фразе) друг с другом, а должны быть разделены пробелами.

Примерно в это время (году в 1958-м) произошел курьезный случай, который показался ему особенно значимым. Тамм в то время почти истопленно работал над общей теорией поля, исписывая килограммы бумаги формулами, причем без видимого продвижения вперед. В один из дней (по-моему в пятницу, но может быть и днем ранее, я уже точно не помню) почтальон принесла Игорю Евгеньевичу телеграмму, отправленную из Киева, которая содержала четыре слова: «Дело не идет субботу». Возмущившись тем, что кто-то из друзей (конкретно подозревался Дау) решил подшутить над отсутствием прогресса в этом изматывавшем ученого борении страстей вокруг теории поля, Игорь Евгеньевич телеграмму скомкал и выбросил. В воскресенье утром раздался телефонный звонок, и недовольным голосом Б. Н. Делоне²⁵ спросил, почему Игорь Евгеньевич не встретил его на вокзале, хотя заранее была отбита телеграмма, что «Делоне едет субботу»! Только тогда Тамм понял, что никто его не разыгрывал, а просто телеграфистка изменила смысл текста, разбив непонятное ей слово «Делоне» на два попроще — «дело не» и изменив слово «едет», на требуемое по новому смыслу «идет».

На основании этого примера Тамм утверждал, что генетический код должен содержать инструкции о кодировке букв, знаки пробелов, запятых и точек. (Забегая вперед на четыре года, нужно отметить, что два предположения Тамма оказались отвергнутыми, когда в 1961 году команда под руководством Фрэнсиса Крика доказала непрерывность чтения, отсутствие пробелов между словами и запятых между фразами²⁶).

Стройность идей о природе генетического кода показала Тамму столь интригующе важной, что он несколько раз выступил с лекциями о природе кода в Коммунистической аудитории МГУ на Моховой, в новом здании Горьковского университета, на семинаре Капицы в Институте физпроблем 7 февраля 1956 года и в Ленинграде. В 1959 году он выступил также на общемосковском семинаре по кибернетике, организованном А. А. Ляпуновым — профессором кафедры вычислительной математики МГУ.

²⁵ Борис Николаевич Делоне (1890–1980), математик, член-корреспондент АН СССР (с 1929 г.), работал в Москве, Ленинграде и Киеве, известный альпинист, друг Тамма.

²⁶ См.: F. Crick, S. Brenner, L. Barnett, R. J. Watts-Tobin. 1961. General nature of the genetic code for proteins. *Nature* (Lond.), vol. 192, 1227–1232.

Эти лекции Тамма, по-моему, зверски злили Лысенко и доводили его до бешенства. Известно, что Лысенко даже жаловался Суслову, пытаясь сорвать выступление Тамма и Тимофеева-Ресовского на Капишнике по этому вопросу. Из секретариата почти что всеильного идеолога партии Суслова позвонили в секретариат Капицы и предложили назначенный семинар отменить. Эффекта этот звонок не принес. Тогда Суслов вроде бы сам позвонил Капице. По другим слухам, Капица, решив «подстелить соломку», набрал со своей «вертушки» — телефона прямой кремлевской связи — телефон Суслова и спросил Михаила Андреевича, почему тот решил помешать чисто научному семинару. На прямой вопрос прямого ответа, как водится, дано не было, а было сказано, что это дело ученых, как проводить семинары. При огромном стечении народа, заполонившего все коридоры и лестницы здания на Воробьевском шоссе, куда вывели динамики, семинар состоялся.

«Всё новое, если хорошенько поискать, уже было кем-то открыто»

В начале 1950-х годов в Тимирязевке обострилась борьба большинства преподавателей с членом Ученого Совета Академии и завкафедрой той же Тимирязевки Т. Д. Лысенко. На лекциях и семинарах такие профессора Академии, как В. И. Эдельштейн, И. И. Гунар, П. Н. Константинов, открыто и достаточно резко высказывались против лысенковщины, им следовали многие доценты и ассистенты, что отличало академию от биофака МГУ, где лысенковцы сумели почти всех критиков подавить. Неудивительно, что студенты, как могли, старались узнать хоть что-то о генетике классической, а не об эрзаце, который лысенковцы называли советской мичуринской генетикой или советским творческим дарвинизмом, и, разумеется, это заставляло студентов задумываться над тем, как же это произошло, что руководство страны, поддержав Лысенко и запретив в стране занятие генетикой как буржуазной и враждебной советскому строю наукой, продолжало пестовать Лысенко.

Однажды я спросил Игоря Евгеньевича, а почему физика, где также были споры о том, идеалистичны ли представления Эйнштейна о теории относительности, не испытала политических запретов. Тамм мне объяснил, что и перед войной, и сразу после сессии ВАСХНИЛ группа политиканов-физиков (я запомнил тогда только фамилию сына выдающегося физиолога растений К. А. Тимирязева) пыталась добиться и в их науке тех же безумных драконовских мер против «идеалистов», как и в биологии. Но, как сказал Тамм, физики добились огромных успехов во многих направлениях, важных для промышленности и обороны страны, особенно в создании атомной бомбы, и смогли убедить Берия и Сталина, что без «идеалистических» теорий их успех не состоялся бы. Это и спасло физику от погрома.

Спустя много лет я задал тот же вопрос Юлию Борисовичу Харитону, особо упомянув фамилию Берии. Харитон, во-первых, несколько раз во время наших встреч повторял, что контакты физиков с Берией были в целом плодотворными: он помогал своим авторитетом добывать нужные средства, руками зеков строить быстро и качественно все, что надо было физикам, и т. п. (все-таки после Молотова руководить атомным проектом стал именно Берия, и он старался в

это время сам себе репрессиями не навредить), а во-вторых, у физиков было огромное преимущество перед биологами и агрономами в том отношении, что их практические успехи были неоспоримы, и к их мнению руководство страны прислушивалось. Харитон сказал мне, что большую роль в прекращении идеологических споров по вопросу о том, идеалистичны ли основы квантовой физики и теории релятивизма, сыграл И. В. Курчатов, который умел твердо отстаивать эту позицию в разговорах с Берией, а тот уже повторял услышанное при встречах со Сталиным. Примерно те же суждения я услышал однажды в беседе с Яковом Борисовичем Зельдовичем незадолго до его внезапной кончины.

Еще одна интересная тема, сохранившаяся в моей памяти, была связана с тем, как сочетать теоретические поиски с практическими разработками. В то время я старался читать как можно больше о митогенетических лучах и способах их обнаружения. А. Г. Гурвич пытался выявлять митогенетическое излучение опосредованно: он считал, что делящиеся клетки (проходящие через стадию деления — митоз) испускают лучи, понуждающие делиться соседние клетки (отсюда им и был выведен термин «митогенетические», то есть рождающие деление лучи). Гурвич клал рядышком с активно делящимися корешками или проростками проростки неделящихся растений, а затем утверждал, что рост неделящихся образцов резко ускорялся. Мне хотелось понять, нельзя ли заменить неточный метод измерения роста корешков или проростков более точными физическими методами, например, с использованием фотометров.

Неожиданно я наткнулся в реферативном биологическом журнале на изложение статьи двух итальянских физиков, опубликованной в журнале «Нуово Чименто». Эти физики якобы смогли наблюдать свечение проростков во время их интенсивного роста и деления клеток. Свечение происходило в ультрафиолетовом диапазоне. Игорь Евгеньевич, оказывается, получал этот журнал, и он стоял у него в шкафу на полках. Нужную статью мы тут же нашли и принялись читать. Вскоре я обнаружил, что примерно десятью годами раньше в СССР Г. М. Франк также пытался измерять ультрафиолетовое свечение, связанное с митогенетическими лучами. Когда я рассказал об этом при очередной встрече Тамму, он очень обрадовался. Тема, касавшаяся того, что чаще всего новое — это хорошо забытое старое, стала от случая к случаю повторяться в наших разговорах.

Однажды во время прогулки Тамм заговорил о том, что, по его мнению, вообще все, что сегодня мы ищем, уже было кем-то ранее открыто, и вопрос в том, что дешевле — тратить время в библиотеках и архивах на поиск уже состоявшихся раньше решений и открытий, или же тратить время и средства на проведение экспериментов в желательном направлении. Тамм при этом с улыбкой сообщил мне парадоксальную вещь (с улыбкой и таинственным понижением голоса, как он это замечательно умел делать), что у них принято считать так: если на добывание уже открытой кем-то истины требуется меньше миллиона, то стоит поискать это открытие, если же больше миллиона, лучше не терять время на поиски, а начать опыты. Тогда я поразился только масштабу средств, отпускаемых на их опыты. Спустя несколько десятилетий, когда стало известно, что советские разведчики в свое время смогли «разыскать» информацию об устройстве и деталях конструкции американской атомной бомбы и передать их на родину, я вспомнил этот рассказ Тамма и подумал,

что, может быть, он тогда имел ввиду не просто чтение литературы в библиотеках, а нечто более интересное (разумеется, я не думаю, что он намеренно приоткрывал мне строжайший государственный секрет, возможно он и сам не был в него посвящен, но, будучи человеком удивительной проницательности и догадливости, мог кое-что подозревать).

В 1994-1995 годах я пытался узнать, как происходило добывание секретов в 1940-е годы, у того, кто принимал участие в обретении американских секретов прямо в США — выдающегося советского разведчика Владимира Борисовича Барковского (настоящего советского Джеймса Бонда — крепкого, четкого, собранного, испускавшего «флюиды» супермена и в свои 70 лет). Никаких деталей он мне, конечно, не сообщил, но то, что все, вплоть до чертежей, советские физики получили из рук разведчиков, подтвердил.

Однако, когда я задал вопрос о роли украденных у американцев, а еще раньше у англичан атомных секретов руководителю этих работ в СССР Харитону, он с горечью рассказывал о том, что у советских физиков уже в то время были собственные, оригинальные разработки, превосходившие американские рецепты, но Сталин настоял, чтобы первая советская бомба была репликой американской (уже взорванной, а значит работающей!) бомбы. Зато вторая советская бомба была уже в два раза легче и в четыре раза мощнее американской (см. мою статью «Мифы о «краже века» — Кому выгодны обвинения в адрес советских физиков?» в газете «Известия» 7 октября 1994 г., № 193, стр. 4).

Ликование на физфаке после извещения о присуждении советским физикам Нобелевских премий и связи Тамма с физфаком

Весть о присуждении Тамму, Франку и Черенкову Нобелевской премии²⁷ в октябре 1958 г. пришла в Университет около пяти часов вечера. Пора была осенняя, сыкатная, находиться на улице было неприятно, поэтому «народ» сконцентрировался в общежитии на Ленинских горах. Эффект от известия о присуждении премии был ошеломляющим: весть разнеслась в мгновение ока, предвосхищая присказку андроповской поры «Скорость распространения стука быстрее скорости распространения звука». С этажа на этаж перебегали гонцы, люди высыпали из комнат общежития в коридоры и рекреации, откуда-то в бедном студенческом братстве появилось невиданное количество бутылок шампанского, эмоции били через край, все приплясывали, радостные восклицания и крики «Ура!» перекатывались с этажа на этаж.

Поскольку я знал домашний телефон Тамма, меня потащили к телефонной будке, я набрал номер Игоря Евгеньевича, он сам подошел к телефону, после моего поздравления наверное с десятков ребят, вырывая трубку из рук друг друга, говорили радостные слова «нашему лауреату». Я не знаю, как это

²⁷ За открытие и объяснение так называемого эффекта Черенкова (в советской литературе часто называли эффектом Вавилова-Черенкова) — излучения света электрически заряженными частицами. Работы в этом направлении были начаты по поручению С. И. Вавилова, и сам эффект наблюдал П. С. Черенков. Механизм явления был объяснен в 1937 году И. Е. Таммом и И. М. Франком.

получилось, ведь Игорь Евгеньевич лекций на физфаке не читал, но почти у каждого из студентов была его книга о теории электричества, и он воспринимался как совершенно свой, родной профессор физфака.

Такой же всеобщий взрыв энтузиазма я видел в свои студенческие годы только еще один раз, когда Гагарин облетел Землю.

Вскоре после присуждения премии мы с ребятами решили пригласить Тамма²⁸ выступить в общезитии на Ленинских горах. Я договорился о дне выступления, поехал заранее на квартиру к Тамму, и вместе с ним мы приехали на 14-й этаж зоны «Б» общежития, в рекреацию, вмещавшую порядка сотни студентов, которые не могли уже сидеть, а стояли, прижавшись друг к другу, буквально как сельди в бочке. Со школьных лет я пребывал в уверенности, что хорошо пишу гуашью плакаты и лозунги, и я частенько этому занятию предавался. Поэтому еще утром, вооружившись куском ватмана длиной с полтора метра, кисточкой и краской, я написал большими буквами художественное произведение из трех слов: «Вон там — Тамм», а снизу пририсовал жирную стрелу. Этот шедевр был приконопачен к стене перед рекреацией. Когда встреча в общежитии Тамма завершилась, он попросил меня снять со стены плакат, свернул его и отнес домой. Я видел какое-то время этот плакат в прихожей квартиры Тамма. Видимо, лозунг ему понравился.

По окончании выступления мы пригласили Игоря Евгеньевича отужинать с нами. Девочки на этаже напекли хрустящих оладий, нажарили картошки хворостом, человек пятнадцать уселось в тесноте, но в такой дружественной компании, что чувство радости переполняло всех присутствующих. Конечно, тон задавал герой торжества. Игорь Евгеньевич шутил, рассказывал забавные истории из альпинистской жизни. Когда поздней ночью гурьбой мы вышли на площадь перед университетом ловить такси для Тамма, лица всех светились радостью, если не безграничным восторгом.

В те же дни, будучи у Тамма дома, я стал свидетелем его телефонного разговора с какой-то дамой — журналисткой из Эстонии. Дама утверждала, что слово «тамм» на ее родном языке значит «дуб» и просила подтвердить, что род Таммов уходит корнями в ее народ. Игорь Евгеньевич это предположение отмел как домысел, указав на то, что предки переехали в Россию из Германии.

Через несколько месяцев на физфаке случилось несчастье. Студент нашего курса Слава Цуцков, буквально затравленный инспектором деканата В. А., покончил с собой²⁹. Условия студенческой жизни на физфаке, надо сказать от-

²⁸ Игорь Евгеньевич Тамм неоднократно и по разным поводам непосредственно общался со студентами. Известно, что в 1957 г. он поддержал инициативу студентов физфака Татьяны Шальниковой, Виктора Липиса и Кувакина посетить ректора МГУ и ходатайствовать об организации на физфаке группы по изучению биофизики (сообщение В. И. Иванова). В 1958 г. Тамм встречался с участниками постановки оперы физфака «Серый камень» — Ю. В. Гапоновым, С. И. Солюяном, Л. Беспаловой, В. Сойфером и др. в общежитии МГУ (сообщение Ю. В. Гапонова).

²⁹ Наряду с личными неурядицами Слава Цуцков, по рассказам тогдашних студентов, тяжело пережил отказ в приеме в группу биофизиков, обоснованный его якобы недисциплинированностью (необходимость заработка не позволяла Цуцкову посещать все занятия). Слава застрелился из имевшегося в семье охотничьего ружья.

кровенно, отличались удивительным бессердечием и неуважением к личности студентов. Перейдя из Тимирязевки на физфак, я был неприятно поражен тем, насколько группа инспекторов (по одной на каждый курс), подстрекаемая заместителем декана И. И. Ольховским³⁰, терроризировала студентов, вечно подозревая их в том, что они прогуливают лекции, ведут себя плохо и прочее и прочее. На физфаке царил атмосфера не просто неуважения к студентам, а вполне открытого подозрения их в преступном поведении.

Мы съездили в редакцию «Известий», рассказали о случившемся. Мать одного из студентов нашего курса, Юры Чайковского, работала в этой газете, она напечатала большую статью о гибели Славы, в обсуждение дел на физфаке включилась известная писательница Фрида Абрамовна Вигдорова. Я побывал у неё дома, выслушал много дельных советов, один из которых сводился к тому, что надо студентам самим постараться найти достойного кандидата на место декана физфака В. С. Фурсова³¹ — в прошлом ставленника Курчатова. Декан не смог противостоять столь отвратительным взаимоотношениям деканата с подопечными студентами. Тем временем делом занялись вплотную деятели из разных ведомств, а нам казалось, что настала пора искать самим нового декана³². Меня уговорили поехать к Игорю Евгеньевичу упрасивать его занять эту должность. Я приехал в воскресенье в первой половине дня и стал подробно рассказывать о случившемся. Игорь Евгеньевич не сразу дал отрицательный ответ. Сначала он порассуждал на тему о том, что за сила — декан.

— Если под каким-то письмом подпишется председатель профсоюзной организации студентов физфака, — начал говорить Игорь Евгеньевич, — то этой подписи еще мало. Надо, чтобы выше поставил свою подпись секретарь

³⁰ Игорь Иванович Ольховский (1923-1979) — кандидат наук, доцент кафедры квантовой статистики, зам. декана физфака МГУ по учебной работе.

³¹ Василий Степанович Фурсов (1910—1998) — доктор физико-математических наук, неоднократный лауреат Сталинской премии, работавший долгое время в команде И. В. Курчатова на административных должностях, затем декан физфака МГУ с 1954 по 1989 годы.

³² На физфаке было собрано комсомольское собрание, на котором деятели деканата и представители парткома (прежде всего Бендриков) вместе с подхалимствующими активистами-студентами стали добиваться, чтобы всякие нападки на деканат и походы «по инстанциям» были прекращены. Некоторые студенты возражали, но всё было отлично срежиссировано. С полгода назад я получил письмо от моего сокурсника Льва Александровича Саврова, с которым мы не переписывались более 40 лет и который написал следующее:

«А с тобой связаны воспоминания весьма специфические — когда мы на нашем уровне пытались драться с системой; ведь это я с тобой ходил в редакцию «Известий» к Аджубею, и мы бились рядом, дискутируя на приснопамятном комсомольском собрании курса, которое проиграли из-за инертности большинства наших однокурсников (я все отчетливо помню, как вчера). Тогда деканат якобы уволил инспектрису Веру Александровну, но ее просто спрятали (будучи выпускником, я обнаружил ее на третьем этаже в заткнутой лаборатории в углу за шкафами, где она обреталась в качестве лаборанта).

Отыгравшись на тебе, партком и деканат нас остальных почему-то не тронули...»

комсомольской организации студентов. Но и этого мало. Надо, чтобы над ним подписался секретарь парторганизации студентов. Выше должна появиться подпись председателя месткома факультета, над ней — секретаря комсомольского бюро, потом секретаря партийной организации всего факультета. И все равно этих подписей недостаточно. Нужна еще одна, последняя подпись — декана. Он подписал — и бумага готова. Всё. Без его подписи остальные подписи стоят немного. А вот если появилась подпись одного человека — декана, то остальные подписи даже не нужны. Это я хорошо понимаю. Но деканом я к вам, ребята, не пойду. Не хочу. Я иногда люблю поспать подольше, иногда мне надо дома работать, особенно, если что-то важное наклеивается. А тут едешь на физфак: хочешь — не хочешь. Нет, я этого не хочу. Я, кстати, поэтому уже много лет как курсов лекций на физфаке не читаю. Не хочу себя связывать обязательством, которое мне будет не под силу³³. А к этому есть и причина посложнее. Московский физфак был окончательно и навсегда испорчен, когда в 1906 году министр Кассо издал реакционные постановления в отношении свободы университетов, и все сильные физики во главе с П. Н. Лебедевым из Московского университета ушли. Так с тех пор университет и не смог оправиться. Вот откуда идут эти ваши беды, — закончил Игорь Евгеньевич.

Фурсов остался еще на много лет деканом физфака, хотя Игоря Ивановича Ольховского вскоре с так ему полюбившегося места замдекана сняли. «Я паренек таковский, я — Игорек Ольховский», пели мы в своих шуточных песенках, но веселья на самом деле было мало.

Кстати, с песнями на физфаке было в годы моего ученья замечательно. Саша Кессених³⁴, Степан Солуян³⁵ и еще несколько энтузиастов сочинили первую «физическую оперу» — «Дубинушка», затем «Серый камень». Многие студенты с упоением участвовали в подготовке спектаклей и их представлени-

³³ Лишь много лет спустя я узнал еще одну возможную причину такого отношения Тамма к возвращению на физфак. В советские времена добавилось новое долго действовавшее обстоятельство: именно на физфаке осели и сгруппировались политиканствующие приспособленцы к советским идеологическим порядкам (А. К. Тимирязев, А. А. Соколов, Д. Д. Иваненко, Н. С. Акулов, А. А. Власов, В. Ф. Ноздрев и другие). Их совместными усилиями в 1944 году партийцы добились снятия Тамма с должности зав. каф. теорфизики (см. об этом в прекрасной книге А. С. Сониной «Физический идеализм». История одной идеологической кампании. М., Изд. фирма Физ-мат. лит-ра, 1994). В 1949 году эта группа обвинила Тамма и других крупнейших физиков СССР в антипатриотизме, пресмыкательстве перед Западом, преследовании ученых чисто русской национальности. Один из нападавших на Тамма доцент Ноздрев, в прошлом секретарь парткома МГУ, предлагал лишить слова Тамма на одном из совещаний, где должны были расписать советскую физику на манер генетики — на том основании, что «в ряде своих работ он (Тамм — В. С.) отражал идеологические взгляды копенгагенской школы» (цитир. по Сониной, стр. 152).

³⁴ Кессених А. В. Выпускник физфака 1954 г. В описываемые годы аспирант физфака. Сейчас сотрудник Института истории естествознания и техники.

³⁵ Степан Солуян — тогда был студентом Физфака. Впоследствии защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Преподавал в ряде вузов Москвы. См. ВИЕТ, 1993, №2 «Воспоминание об опере».

ях. Арии, дуэты, трио, хоры из обеих опер были на слуху у всех студентов, и их часто распевали просто на вечеринках. На наши представления собиралась вся театральная Москва, и достать билеты на спектакли было совсем не просто. Помню, как то ли Бендриков, то ли даже всеильный Ольховский спрашивал Степана Солуяна: «Степа! А мне можно прийти на спектакль с женой? Там ничего такого против меня лично не будет?»

Во время одного из представлений Миша Коренченко, Володя Труш, я и еще кто-то орали с самого края рампы гимн физфака «Тот, кто физиком стал, тот грустить перестал, на физфаке не жизнь, а малина, только физики — соль, остальные все — моль, и биолог и химик — дубина...»³⁶. В первом ряду под нами сидел наш любимый лектор Лев Давидович Ландау, а рядом с ним с непроницаемым угрюмым лицом декан Фурсов. Когда мы дошли до куплета о деканате, который «весь кричит, и декан говорит: «Неприглядна ученья картина», я увидел, как Ландау весь напрягся, вытянул свою и без того не маленькую шею, а потом, после слов, что мы «плюем на декана», потому как «и сам он — большая дубина», Дау хлопнул Фурсова звонко ладонью по колену и закричал ему: «Фурсов! Вы слышите! Это народ говорит!»

«Нильс Бор с Оге Бором прочтут лекцию хором»

Весной 1961 года в Москве в среде физиков царило необычайное возбуждение: в столицу СССР приезжал великий Нильс Бор с женой Маргарет, сыном Оге и невесткой³⁷. Ответственным за встречу Бора в Москве, как вспоминает Б. М. Болотовский, был утвержден именно Игорь Евгеньевич. Нобелевский лауреат Тамм и еще не-нобелевский лауреат Ландау отлично знали датского физика-теоретика, бывали у него в гостях и, конечно, им хотелось и в этот приезд Бора в Москву доставить своему знаменитому коллеге побольше удовольствий разного рода. Договорились и о том, что они привезут Бора на физфак, где студенты могли его встретить по-особому, чтобы такая встреча навсегда Бору запомнилась. Я был в тот год председателем культмассовой комиссии физфака, и как раз на воскресенье 7 мая мы планировали провести на физфаке второй раз празднование Дня физика, который мы сами и придумали годом раньше, назвав этот праздник по предложению тогдашнего студента физфака Валеры Канера³⁸ «Днем Архимеда». Годом раньше (в 1960 году) такое празднование уже состоялось, два Валеры — Канер и Миляев³⁹ написали текст новой физи-

³⁶ «Дубинушка» — гимн физфака на мелодию одноименной народной песни написан в 1947 году Б. М. Болотовским, см. «Вспоминая годы молодые», ВИЕТ, 1992, №4

³⁷ См. также сборник «Нильс Бор и наука XX века».

³⁸ Валерий Викторович Канер (1940-1999) — кандидат физико-математических наук, доцент, специалист в области нелинейной акустики, известный поэт и самодеятельный композитор-песенник. Например, он написал слова и напел мелодию песни «А всё кончается, кончается, кончается! Едва качаются перрон и фонари...».

³⁹ Валерий Александрович Миляев — доктор физ.-мат. наук, сотрудник Института Общей Физики РАН, а также автор текстов нескольких песен, популярных среди физиков.

ческой оперы «Архимед», поставленной на сцене Дома Культуры МГУ. Теперь мы хотели повторить праздник Дня Архимеда, начав его массовой на гранитных ступеньках перед входом в здание физфака, а вечером в Доме Культуры МГУ должно было состояться представление оперы «Архимед». План был дополнен новой волнующей идеей, которую Игорь Евгеньевич сразу же оценил и одобрил. Было решено, что он уговорит Бора с семьей приехать на физфак утром и с их участием начать День Архимеда. Договорились, что Бора встретит на гранитных ступеньках толпа студентов физфака, один из них будет исполнять роль Архимеда, другие ему подыграют, прозвучат слова приветствия, потом хор студентов исполнит гимн физфака МГУ «Тот, кто физиком стал...», Бора попросят также сказать несколько слов, потом Бор прочтет лекцию в Большой Физической аудитории, потом Тамм, Ландау и другие гости пройдут в кабинет к ректору Ивану Георгиевичу Петровскому, а потом к вечеру все пройдут в Дом Культуры МГУ, где теперь уже главным образом для Бора будет исполнена опера «Архимед» и отрывки из физических опер — лучшее из богатого арсенала физических песен. Позже план несколько изменился, так как сначала Бор не хотел читать никакой лекции на физфаке, все-таки ему шел 82-й год, график визитов также был изменен, но то, как Бора встретили студенты физфака, изменило его первоначальные намерения.

Со своей тягой к написанию плакатов я раздобыл большой рулон ватманской бумаги, толстую кисть, ребята помогли мне раскатать ватман на верхней площадке перед входом на физфак, и я постарался огромными буквами ровными рядами написать объявление, что сегодня на физфаке «Нильс Бор с Оге Бором прочтут лекцию хором». Полосы ватмана предварительно склеили между собой, я рассчитал так, чтобы плакат тянулся по стене между окнами физфака над входом от третьего до первого этажа. С каким-то невероятным количеством силикатного клея мы ухитрились укрепить эту афишу на стене. Я очень опасался, что под собственным весом моя стряпня рухнет, но, к счастью, все обошлось, плакат прилип почти намертво (позже его не так просто оказалось от стенки оторвать и стенку зачистить).

Перед физфаком собралась огромная толпа, тянувшаяся почти до памятника Ломоносова и до клубной части МГУ — наверное, более тысячи человек. Когда кортеж машин пробрался к ступеням физфака, все замерли. Игорь Евгеньевич и Лев Давидович с другими гостями выбрались из ЗИЛов, задрали головы, содержание плаката было переведено Бору, он заулыбался, сделал несколько шагов навстречу ступеням, и тогда сверху раздался усиленный динамиками голос Архимеда. Торжественная встреча началась.

Отвлекаясь на минуту, хочу заметить, что в годы моего учения между физфаком и химфаком шло нескрываемое соревнование по всем видам, подлежащим сравнению — и в учебе, и в спорте, и в самодейтельности. Здания физфака и химфака были построены параллельно друг другу и тянулись от дороги перед клубной частью МГУ в сторону Ломоносовского проспекта, а между ними стоял памятник Ломоносову. Статуя этого превозносившегося в годы Сталина самородка смотрела на Главное здание МГУ. Отголоски традиционной конкуренции между двумя важнейшими факультетами МГУ просочились и в студенческий фольклор. Бытовала, например, такая поговорка: «Надо по-

вернуть Ломоносова лицом к физфаку». Подразумевалось, что при этом великий ученый (и физик, и химик, и математик, и поэт, и реформатор русского языка, и художник, и инженер — каждый может дописать от себя еще много определений, которые вполне укладывались в тогдашний портрет Ломоносова), повернувшись лицом к физфаку, как к факультету самому главному, окажется задом к химфаку, что и требовалось доказать. Шутка эта повторялась нередко, и в тот день приобрела воплощение в словах Архимеда. В какой-то момент своего приветствия «более молодому коллеге — Бору», Архимед торжественно протянул свою длань перед грудью, сделал надлежащую паузу, толпа замерла, и прозвучали слова: «Поглядите, в этот знаменательный день даже Ломоносов повернулся лицом к физфаку». Вся толпа немедленно оглянулась назад, конечно, памятник стоял, как и раньше, но эффект был оглушительный, визг и аплодисменты, наверное, заставили содрогнуться даже чугунного Ломоноса.

А вечером в Клубной части МГУ творилось что-то невообразимое, набилось так много желающих попасть в зал, что и фойе клубной части, и лестницы, и все балконы, и амфитеатр, не говоря уж о партере, были забиты неминуемо. С огромным трудом нам удалось проложить путь для Тамма, Ландау и группы академиков, окруживших семью Боров, чтобы провести их на первый ряд. Мы с несколькими друзьями уселись позади Тамма, Боров и Ландау, разложили по коленям листочки с текстами отрывков из опер и песен, которые предстояло исполнить, и в нужный момент передавали соответствующий листочек или Игорю Евгеньевичу, или Льву Давидовичу, а те по очереди старались перевести содержание песен своему датскому коллеге.

Я видел, что Бор все более и более разогревался и веселел. Он уже буквально покрикивал на Тамма и Ландау, если они задерживались с переводом или мямлили что-то несуслазное. Перед окончанием концерта, даже не сговариваясь, а чисто спонтанно, человек пять или семь выскочили из нашего ряда на сцену и спели Бору две любимые физические песни, написанные Кессенихом: «Электрон вокруг протона обращается, эта штука атом Бора называется» и «Жил-был на свете электрон, он в атом Бора был включен».

Время было позднее, но Бор так воодушевился, что поднялся на сцену и произнес своим глуховатым и басовитым голосом короткую речь, в которой сказал, что он сегодня узнал много нового о физике и физиках, благодарил за столь памятный день. Много лет спустя от одного своего приятеля, часто встречавшегося с Бором, я слышал, что тот день действительно врезался в память великого физика.

На следующий день Бор, изменив свои планы, снова появился в Университете, сначала он посетил И. Г. Петровского, затем решил все-таки прочесть лекцию студентам и в самом начале сказал, что его вдохновила вчерашняя опера, а также «официально» признал в Архимеде великого предшественника современных физиков. Из-за дефекта зубов, стоящих не вертикально, а под углом и слегка выпирающих изо рта, он шепелявил и проглатывал некоторые звуки. Переводить его на русский было непросто. Говорил Бор о том, как трудно исследовать процессы на атомарном и субатомарном уровнях, как используемые для измерений приборы могут коренным образом менять картину физических процессов, почему собственно получаемые результаты нередко стано-

ваются результатами, наведенными процессом измерения. Тема была и теоретической и философской одновременно.

Эстафета помощи

В студенческие годы — и в Тимирязевке, и на физфаке МГУ — мне было довольно трудно материально. После смерти папы (члена партии большевиков с февраля 1917 года) Совет Министров РСФСР установил маме и мне персональную пенсию республиканского значения как вдове и несовершеннолетнему сыну одного из старейших коммунистов (как тогда говорили «с дооктябрьским стажем»). Титул был очень высокий, но в денежном выражении пенсия была минимальной — 300 рублей (в 1961 году из-за обмена денег размер её сократился до 30 рублей). Протянуть на такую сумму мама могла только, перебиваясь с хлеба на воду, а я должен был жить на стипендию (280 рублей по тогдашнему исчислению), что я и делал. Однако в первый год на физфаке усилиями инспектрис деканата мне было отказано в стипендии по той причине, что, дескать, я её уже получал на первых трех курсах Тимирязевки, страна у нас одна, и теперь нечего на еще одну стипендию рассчитывать. Наша инспектриса почему-то решила, что я сыночек какого-то влиятельного в стране человека, раз сумел устроиться на физфак, минуя ее контроль. Пришлось мне начать работать дворником по утрам. Но денег все равно не хватало, и ходил я, по правде сказать, в шитой-перешитой одежке, буквально рассыпавшейся на куски. Особенно плохо приходилось зимой. Мои полурезиновые боты вконец развалились, купить новые ботинки было не на что, я мучился от того, что снег вечно залезал в дыры между подметкой и верхом бот. Появляясь в таком виде у Тамма дома, я всегда боялся оставить следы на паркете в кабинете Игоря Евгеньевича. Однажды, пока я шел от остановки трамвая до подъезда таммовского дома, я нахватав много снега и сколько ни пытался выбить снег из пазов, топчась и припрыгивая на площадке нижнего этажа перед лифтом, весь снег выбить не удалось. Предательская влага, образовавшаяся от таяния комка снега внутри бота, почувствовалась мною вскоре. Тогда я решил, что есть способ уйти от позора: постараться засунуть ноги под диван как можно дальше, чтобы лужа не была хотя бы видна. Я стал протискивать ноги под диван, но расстояние между диваном и полом было небольшим, ступни пришлось развернуть параллельно полу, однако просунуть их далеко, как мне хотелось, не удалось, потом ноги стали затекать, я старательно шевелил пальцами в ботах, чтобы разогнать кровь. Видимо, делал я это не очень искусно, Игорь Евгеньевич заметил мои маневры, и поступил совершенно для меня неожиданным образом. Он повернул кресло к столу, открыл средний ящик, просунул руку в дальний угол и извлек оттуда толстую пачку денег. Отсчитав 550 рублей (моя почти двухмесячная «стипуха»), он протянул их мне и сказал:

— Валера! Ваши ботинки никуда не годятся. Вы сейчас не теряйте времени, выйдите на Осипенко, пойдите не к трамвайной остановке налево, а заверните из двора направо, дойдите до следующего угла, увидите там обувной магазин. Зайдите в магазин (у Вас еще есть минут двадцать до закрытия), и прямо перед Вами на средней полке витрины увидите красивые желтые ботинки на белой каучуковой подошве. Они стоят 550 рублей, купите их и возвращайтесь назад. Потом и договорим.

Я стал решительно отказываться, покраснел и набычился, стараясь объяснить, что отдать мне долг будет нечем еще долгое время.

— Ничего отдавать не надо, — ответил Игорь Евгеньевич. — Да я у Вас и не возьму этих денег. Мы устроим все иначе. Видите ли, когда я был студентом, я дважды проиграл большие деньги в преферанс. Спас меня мой учитель (и Игорь Евгеньевич показал рукой на большой портрет, висевший над его столом справа) — Леонид Исаакович Мандельштам. Он оба раза давал мне деньги, чтобы я просуществовал, а назад их не брал, говоря, что когда я стану профессором, я должен буду таким же образом поддерживать моих студентов, объясняя им цепочку в этой эстафете помощи. Так что, когда, Валера, Вы станете профессором, Вы будете помогать своим студентам, рассказывая, откуда взялась эта помощь. Берите деньги и бегом в магазин.

Подумать в те годы, что когда-то я смогу стать профессором, я просто не смел, до такой степени нахальства мои мечты не доходили, но тон речей Игоря Евгеньевича был решительным, и мне пришлось и деньги взять и ботинки купить. Все оказалось точно так, как говорил Тамм — на средней полке, по центру, стояли ботинки стоимостью в 550 рублей, мой размер нашелся, хотя одно унижение пришлось перенести: когда я снял боты, предательская дыра на пятке одного из мокрых носков заблестала, магазинчик был малюсеньким, я своим видом заслужить доверия у продавца не мог, и он презрительно усмехнулся, увидя мое смущение. Но так или иначе первая шикарная вещь в моей жизни появилась. Забегая вперед, надо заметить, что сноса этим ботинкам не было. Я носил их лет 15, и лишь каучуковая подошва как-то расплющилась и почернела. Но на этом примере я понял, что иногда не грех уплатить больше, но получить качественную вещь, которая прослужит много дольше, чем какие-нибудь «скороходы на рыбьем меху», которые через год нужно будет выбрасывать и заменять новыми.

Второй раз Тамм помог мне деньгами через три года. Я постарался завершить заочно Тимирязевку, не бросая учебы на физфаке. Заниматься теперь пришлось уже не только днем, но и по ночам. Я сумел и дипломную сделать и государственные экзамены сдать, при этом умудрившись не завалить ни одного экзамена на двух сессиях на физфаке, но это напряжение сказалось на здоровье. Начались мучительные головные боли, глаза все время болели, при ярком свете их буквально жгла режущая боль. Игорь Евгеньевич это заметил и потребовал, чтобы я отправился к врачу в университетскую поликлинику. Диагноз «переутомление» и что-то вроде дистонии был немедленно поставлен. Игорь Евгеньевич, конечно, не позабыл поинтересоваться результатами походов к врачу. Услышав про переутомление, он отправил меня, буквально силком, к своей знакомой, врачу из академической поликлиники — сдать анализы крови. Какие-то изменения нашли в формуле крови. Врачи рекомендовали прервать учебу на год.

Зная о том, что еще в Тимирязевке я вел по вечерам научную работу — изучал анатомические структуры оболочек семян семейства тыквенных, причем обнаружил, что структуры эти сильно разнятся у представителей нескольких родов этого весьма вариабельного семейства, Игорь Евгеньевич предложил мне такой план. Я ухожу в академический отпуск, причем свободное время трачу на две вещи: начинаю самостоятельно учить квантовую механику и читать книги по данному им списку, а параллельно довожу работу по анато-

мии семян тыквенных до конца. Чтобы сделать последнее, потребовалось нехитрое оборудование, которое я быстро договорился заполучить в моем родном городе Горьком в местном университете. Я списался с доцентом этого университета Петром Андреевичем Суворовым. Тамм ему позвонил, проверил, что я на самом деле смогу работать в лаборатории кафедры ботаники Горьковского университета, и тут Игорь Евгеньевич огорошил меня новой идеей.

— Я узнал, что профком МГУ выделит Вам путевку в санаторий в Алушту бесплатно, как успевающему студенту, которому нужен академический отпуск, а деньги на дорогу и на жительство я Вам дам, — сообщил он мне. — С этими деньгами Вам надлежит поступить так же, как было и раньше: раздадите позже своим студентам, — категорическим тоном сообщил мне академик, я поспорил, поспорил, но оказалось, что уже все договорено, даже известно, когда мне надо выезжать, и в декабре 1960 года я оказался в санатории «Дружба» в Алуште.

В процессе споров по поводу денежных субсидий и невозможности брать бесконечно деньги у академика, я услышал такое объяснение:

— Поймите, я человек не бедный. Деньги у меня есть в трех местах. Гоноары я складываю вот сюда, в ящик стола. Это мои личные деньги, которые я могу тратить на мои собственные нужды, когда захочу. Моя зарплата и академическое вознаграждение идут на сберкнижку, которой распоряжается моя жена, и откуда покрываются расходы семьи⁴⁰. Помимо этого, у меня есть в банке открытый счет: правительство открыло его для нескольких физиков, и я могу брать с него, сколько хочу. Я редко им пользуюсь, но всё это я рассказываю для того, чтобы Вы поняли раз и навсегда — когда я даю Вам деньги, я, во-первых, себя не обделяю, а во-вторых, у меня и мысли нет Вас баловать. Я уверен, что потом Вы всё поймете, а сейчас Вам нужна помощь. Так что перестаньте дергаться. Деньги потом раздадите своим ученикам

Надо заметить, что разработанный Таммом план я выполнил. За зиму и весну я закончил анализ эволюции семейства тыквенных, на следующую весну (в 1961 году) съездил на курсовую практику с физфака в Ленинград в Ботанический институт АН СССР к профессору Армену Леоновичу Тахтаджяну⁴¹. Через три года я защитил по этой работе диссертацию на соискание

⁴⁰ В семье, кроме Игоря Евгеньевича и жены, были дочь и сын, который жил со своей семьей в соседней квартире на том же этаже, иногда я встречал статного и спортивно подтянутого Евгения Игоревича в квартире отца, а пару раз Евгений Игоревич затаскивал меня к себе на беседы по поводу того, как надо мерить ультраслабое свечение, которое должно испускаться живыми клетками в виде митогенетических лучей; по этому случаю Евгений Игоревич даже однажды достал из под дивана какую-то коробку, вынул оттуда мощный фотоумножитель и вручил мне. Уже было сказано, что Тамм-старший с огромным уважением вспоминал о создателе гипотезы о митогенетических лучах А. Г. Гурвиче.

⁴¹ Армен Леонович Тахтаджян (р. 1910) — крупнейший ботаник, специалист по изучению происхождения растений и их эволюции, палеоботанике и геоботанике, академик АН СССР (с 1972 г.), несколько лет был директором Ботанического института АН СССР, президент Всесоюзного ботанического общества, член Национальной Академии наук США (с 1971 г.) и ряда других национальных академий.

ученой степени кандидата биологических наук, так что ни время растрчено попусту не было, ни ритм жизни из-за академического отпуска утерян не был.

В последний раз финансовая поддержка была оказана уже не мне одному, а сразу двум студентам. Весной 1960 года живший в Горьком Сергей Сергеевич Четвериков⁴², с которым мы несколько лет дружили, предложил мне провести лето на летней базе лаборатории его ученика Н. В. Тимофеева-Ресовского. Четвериков сказал мне, что напишет Тимофееву письмо, в котором попросит Николая Владимировича принять меня летом на месяц-два для какой угодно генетической работы на летней станции, располагавшейся на берегу озера Миасово в самом центре Ильменского заповедника на Южном Урале⁴³.

⁴² Сергей Сергеевич Четвериков (1880-1959) — крупнейший генетик, заложивший основы новой научной дисциплины — популяционной генетики. В 1905 году закончил Московский университет, был приват-доцентом этого университета. С 1909 года начал там читать курс по энтомологии, в рамках которого ввел первые лекции по генетике, затем в начале 1920-х годов создал первый самостоятельный курс лекций по генетике в МГУ, создал школу отечественной генетики (его ближайшие ученики — Н. В. и Е. Е. Тимофеевы-Ресовские / Н. В. был арестован и провел несколько лет сначала в лагере, а затем в «шарашке»/, Б. Л. Астауров, Н. К. Беляев /расстрелян по ложному обвинению/, Д. Д. Ромашов /провел много лет в заключении по ложному обвинению/, П. Ф. Рокицкий, Н. П. Дубинин, В. П. Эфроимсон /дважды был арестован по ложным обвинениям и провел много лет в тюрьмах и лагерях/ и др.). В 1920 году создал и возглавил генетическую лабораторию в кольцовском Институте экспериментальной биологии НКЗ. В 1926 году впервые предложил теоретическое объяснение эволюции живых организмов за счет накопления мутаций в геноме организмов. В 1927 году он вместе с учениками получил экспериментальные доказательства верности своего представления о зависимости эволюции от накопления мутаций и доложил сводную работу на эту тему на V Международном генетическом конгрессе в Берлине. В 1929 году был арестован, а затем сослан на Урал, вернуться в Москву ему не разрешили, и с 1935 года он стал заведовать кафедрой генетики и селекции Горьковского университета, а в 1948 году его лишили работы в соответствии с распоряжением Секретариата ЦК ВКП(б) от 11 августа 1948 г. (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. >63, д. 1514, лл. 39-42).

⁴³ Станция «Миасово» на берегу Ильменского озера находилась внутри заповедника того же названия и была летней базой лаборатории биофизики Института биологии Уральского филиала АН СССР, которой руководил в Свердловске Тимофеев-Ресовский. Лаборатория возникла из группы заключенных, работавших в так называемой «шарашке» (руководил «шарашкой» профессор Серeda). Там же работали арестованные при занятии Берлина Советской армией немецкие ученые. Один из них, Карл Циммер позже (в книге «Проблемы количественной радиобиологии», переведенной на русский язык /М., Атомиздат, 1962/) вспоминал время, когда из окон его комнаты были видны горы Урала. По недосмотру советской цензуры эти слова остались и в русском переводе книги. Главная научная задача, которую разрабатывала Лаборатория биофизики, заключалась в анализе действия ионизирующих излучений на живые организмы, накопления в организмах радиоактивных изотопов из внешней среды. В 1957 году неподалеку, в хранилище высокоактивных отходов плутониевого завода (Челябинск-40, позже Челябинск-65, сейчас Комбинат «Маяк») произошел мощный взрыв («Кыштымская авария»), и огромная территория вокруг была

Я попросил Четверикова, чтобы он походатайствовал не за меня одного, а за нескольких человек из нашей биофизической группы. Тимофеев-Ресовский долго не отвечал Четверикову, Сергей Сергеевич даже начал сердиться и писал мне в Москву о том, что его бывший ученик загордился, но в самом начале лета ответ с Урала пришел. Нам выделяли отдельную палатку на биостанции, мы должны были внести деньги в коллективную столовую за харчи (над входом на помост, который и был «столовой», была прибита доска с объяснением, что это за столовая: «У гробового входа») и прослушать курс лекций по популяционной генетике, который Тимофеев-Ресовский брался прочесть специально нам. Я быстро сговорился с тремя моими друзьями из МГУ — Валерой Ивановым, Андреем Морозкиным, Андреем Маленковым и нашим с Морозкиным товарищем по Тимирязевке — Сашей Егоровым, что мы поедем к Тимофееву на Урал вместе. У Маленкова и Иванова деньги на дорогу были, у остальных дело было похуже. Еще Андрею Морозкину на дорогу денег родители наскребли, а у нас Сашей Егоровым ни на дорогу, ни на жизнь ни копейки не было. Игорь Евгеньевич опять всё о наших бедах разузнал и без всякой лишней аффектации вручил мне деньги. Мы отправились в Миасово, провели почти два месяца у Тимофеева-Ресовского и договорились, что зимой он придет в Москву и выступит с лекцией на физфаке МГУ. Этот приезд опального ученого был для него очень важным: впервые после его возвращения в СССР по окончании 2-й Мировой войны, ареста и многолетнего пребывания в заключениях Тимофеев с Таммом пришли к Президенту АН СССР А. Н. Несмеянову, у них состоялась интересная и долгая беседа (главным образом даже не о генетике, а об охране природы — этим вопросом Тимофеев тогда буквально бредил), и лед политического недоверия к бывшему зeku был сломан.

Моя женитьба и рекомендация Тамма для поступления в аспирантуру в Институт атомной энергии

Во время весенних экзаменов, завершавших 3-ий курс физфака, произошло самое важное в моей жизни событие — я встретил в центральной библиотеке Москвы (называвшейся тогда Ленинской) девушку, с которой через пять дней после знакомства мы решили бракосочетаться. Она в это время сдавала выпускные экзамены в мединституте, у меня были экзамены за 3-й курс физфака. Итак, во время сессии я пришел заниматься в Ленинскую библиотеку. Хотя я был студентом физфака, но пропуск в библиотеку мне был выдан в зал №4 для биологов и медиков, а не в зал №3 для технарей и физиков, так как у меня был уже диплом об окончании сельскохозяйственного вуза. В тот день вечером я за-

заражена радиоактивными изотопами (в эту зону попал и Ильменский заповедник). Лаборатория Тимофеева-Ресовского активно включилась в исследование загрязнения среды (см. «Сборник работ Лаборатории биофизики», Труды Института биологии Уральского филиала АН СССР, Свердловск, вып. 9, 1957, 292 стр.). В связи с заражением территории радиоактивными изотопами доступ в заповедник официально был закрыт, почему и требовалось разрешение властей на наш проезд на станцию.

шел, как всегда, в четвертый зал, время было позднее, народу в нем было немного, и я увидел, что через стол от меня сидит одиноко очень красивая девушка. В силу сковывавшей меня всегда в общении с девушками робости я даже и подумать не посмел, что неплохо было бы с ней познакомиться, да и времени было в обрез: все-таки сессия есть сессия. На следующий день я пришел в библиотеку уже в начале дня, залы были забиты битком, я пошел между столами в надежде найти свободное место и вдруг увидел, что одно место действительно пустует, а соседнее место занимает та же самая красивая девушка, которую я узрел вчера. Я занял пустующее место, раскрыл учебник уравнений математической физики и углубился в штудирование непростого материала. Прошло часа два, когда я оторвался от текста и моих записей, наши взгляды с соседкой скрестились, и вдруг она меня первая спросила:

— Как вы можете это понимать?

— Что это? — переспросил я, не совсем понимая, к чему она клонит. Тогда она указала мне пальцем на тройной интеграл, и я понял, что ее так поразило. Эта фраза открыла мне простор для разглагольствований. Мы просидели вместе до вечера в библиотеке, вместе пообедали, потом попили вечером чаю, потом уже в одиннадцать ночи, когда библиотека закрылась, я пошел ее провожать. Мы расстались уже далеко за полночь, а наутро я летел в библиотеку так, как никогда еще не летал в жизни.

Вскоре Нина получила распределение в ее родной город на Урале, я уехал на месяц в Ленинград к Тахтаджану на курсовую практику. В конце июля я оказался у мамы в Горьком, туда же прилетела Нина, 12 августа 1961 года мы расписались в ЗАГСе Советского района города Горького. Работница ЗАГСа, проставлявшая штампы в наших паспортах, проговорила: «Теперь вы замужем». А мне больше ничего и не нужно было. Я понял, что поспособствовал мне уйти в физику, чтобы учить такие привлекательные на взгляд хороших (и умных!) девушек формулы, Тамм предопределил мое счастье на всю жизнь!

Но надо было еще чем-то кормиться и где-то жить. Насчет этого у меня пока идей не было. Мы поехали к Игорю Евгеньевичу, которого я предупредил, что приеду с женой.

— Ну и где и на какие шиши вы собираетесь жить и вообще, что ты на эту тему думаешь? — спросил меня он, а я ничего, кроме несдерживаемой улыбки, выжать из себя не мог.

— Ну вот что, — вдруг решительно своей особой скороговоркой проговорил Тамм, — у меня есть давняя привилегия: я имею право направлять в аспирантуру в Атомный институт ребят, которых я считаю нужным направлять, никого не спрашивая. Диплом агронома у тебя уже есть, формально ты имеешь право поступать в аспирантуру, а в Атомном платят хорошую аспирантскую стипендию — 1300 рублей в месяц. Так что приходи завтра утром, я напишу тебе рекомендацию, а там уж тебе надо будет искать место, где жить, как-то все устроится. Поздравляю вас обоих и будьте счастливы.

На следующее утро я приехал к Игорю Евгеньевичу, который уже успел переговорить с Гавриловым (тот уже меня знал лично). Гаврилов согласился зачислить меня по таммовской рекомендации в Радиобиологический отдел

Института атомной энергии. Тамм сел писать рекомендацию⁴⁴, потом я с ней поехал в Отдел кадров на Площадь Курчатова, а уже через пару недель был зачислен в сектор С. Н. Ардашникова⁴⁵ и стал работать над изучением высоких доз облучения на бесклеточные бактериофаги.

Повезло нам и еще в одном отношении. На втором курсе в университете меня избрали культоргом физического факультета, а затем и председателем культмассовой комиссии Дома Культуры МГУ. Культурная жизнь университета была ключом. Я много времени отдавал общественной деятельности, приглашал многих выдающихся артистов, режиссеров, художников выступить в университете, организовывал встречи с писателями и поэтами. В университете работали замечательные театральные труппы — Студенческий театр МГУ под руководством Сергея Юткевича и Марка Захарова и Студенческий эстрадный

⁴⁴ Игорь Евгеньевич произносил фразы всегда очень быстро (видимо язык не успевал за скоростью соображения, и потому надо было выпаливать продуманное споро и без провалов между фразами). Также быстро он и писал довольно крупными буквами и цифрами. Особенно быстро он подписывался, выводя под небольшим углом палки, долженствующие обозначать буквы ИТАММ. Еще буква А была слегка округлой, а остальные представляли собой одинаково выведенные палки с закруглениями в основании. Если ему казалось, что подпись короче, чем должна быть, то кончиком пера он еще быстрее начинал считать палки вслух: одна, две, три, четыре, пять, шесть..., и если в подписи не хватало до 14-ти нужных палок, то он добавлял недостающие.

Интересно отметить, что в день, когда он писал мне письмо-рекомендацию для поступления в аспирантуру, он, как и всегда, одновременно с выведением букв на листке бумаги, проговаривал текст вслух. В то утро он написал: «Директору Института атомной энергии АН СССР», затем повернул лицо в мою сторону и спросил: «Надо написать, имени Курчатова, или не стоит???» Я, разумеется, ничего ответить на этот риторический вопрос не мог, но мой ответ и не требовался. Отвернув лицо от меня и подумав менее секунды, он проговорил (снова быстро-быстро): «Ох, и не любил я его», после чего произнес «Имени Игоря Васильевича Курчатова» и соответствующие слова появились на письме.

⁴⁵ Соломон Наумович Ардашников (1908-1963) — врач по образованию, закончил аспирантуру и защитил диссертацию в Медико-генетическом институте в Москве в 1935 году под руководством создателя и директора института С. Г. Левита. После ареста Левита Ардашников руководил его лабораторией, но затем институт (первый в мире институт такого профиля) был полностью разогнан, и Соломон Наумович перешел во Всесоюзный институт экспериментальной медицины, а затем был вынужден уйти и оттуда и с трудом сумел устроиться в Онкологический институт. С 1944 года он заведовал радиологическим отделом НИИ в Москве.

В 1949 году он был направлен руководителем отдела комбината «Маяк» (Челябинск-40). За короткий срок ему удалось определить направление работы и обучить коллектив отдела, однако, вскоре он был отстранен от работы как представитель «реакционной генетики».

После двух с половиной лет отсутствия работы Ардашников был принят, наконец, в Центральный институт курортологии старшим научным сотрудником физиотерапевтического отделения, а потом радиологической лаборатории.

В Радиобиологический отдел ИАЭ Ардашников был приглашен Курчатовым.

театр «Наш дом» под руководством студентов Марика Розовского, Илюши Рутберга и Алика Аксельрода⁴⁶. Поженившись и поселившись на время с Ниной в общежитии МГУ, мы частенько проводили вечера в клубе МГУ и буквально через неделю на одном из таких вечеров администратор Дома культуры Надежда Николаевна Корытова познакомила нас с приехавшей на этот же вечер врачом-хирургом из горбольницы подмосковного города Ивanteevka. Мы разговорились во время перерыва и, узнав от Нины, что она дипломированный врач, эта женщина сообщила, что у них в больнице ищут срочно врача-терапевта. Через неделю Нина была принята туда на работу, ей предоставили 7-метровую комнату в одноэтажном бараке, только что выстроенном рядом с моргом, и мы начали счастливую жизнь, продолжающуюся уже более 40 лет.

«Вот кто во всем виноват»

В это время в Москве состоялось выдающееся событие в культурной жизни: Студенческий театр МГУ поставил «Дракона» по пьесе Е. Шварца. Вообще Студенческий театр МГУ уже был прославлен постановкой пьесы «А если это любовь?» Павла Когоута, главную роль в которой исполняла Ия Савина — тогда еще аспирантка МГУ, в будущем известная актриса. Очевидный всем вызов молодежи устоявшимся в советские времена извращениям морали и безоговорочного подчинения личности мнению руководителей, прикрывавшихся демагогией так называемого «общественного мнения», столь ярко прозвучал в этом спектакле, что сразу же вывел Студенческий театр в число лидеров в театральной сфере. В «Драконе» был сделан еще шаг вперед — игравший дракона артист выходил на сцену в сталинском френче темно-зеленого цвета, каждая фраза воспринималась совершенно иносказательно и очень современно, за каждым жестом зрители угадывали намеки на существующие порядки и укorenившуюся мораль.

Пользуясь своими связями, я уговорил руководителей студенческого театра сыграть выездной спектакль в Доме Культуры Института атомной энергии. Предложение было принято, мы начали готовиться к спектаклю и позвали много гостей из разных слоев московской интеллигенции. Несколько раз я звонил писателю Виктору Платоновичу Некрасову⁴⁷ в Киев, мы уговорились, что он приедет в этот день в Москву, чтобы посмотреть спектакль.

Конечно, приехал и Игорь Евгеньевич Тамм, как мне помнится, с женой и дочкой, принял мое приглашение и Лен Карпинский, тогдашний 2-й секретарь

⁴⁶ Розовский был студентом факультета журналистики МГУ, Рутберг студентом одного из инженерных вузов, а Аксельрод — 1-го Московского медицинского института.

⁴⁷ Виктор Платонович Некрасов был автором пользовавшейся огромной популярностью повести «В окопах Сталинграда» — до сих пор самой правдивой книги о героизме советских солдат в годы Второй мировой войны. Ему же принадлежали замечательные очерки о поездке в США, публиковавшиеся в «Новом мире» и вызвавшие за их правдивость и симпатию к американцам бурную негативную реакцию официальных литературных и партийных держиморд. Я познакомился с ним в Москве (Виктор Платонович жил в Киеве) за несколько лет до этого и иногда презванивался с ним.

ЦК комсомола. Всех их я усадил рядом с Некрасовым. Наблюдать за Таммом во время спектакля было очень интересно. Он прекрасно воспринимал эзоповский язык пьесы, громко смеялся над любой шуткой, мрачнел в те моменты, когда на сцене переживали и мучились герои пьесы. Живое и выразительное лицо Игоря Евгеньевича так однозначно выражало внутренние чувства этого выдающегося человека, что я жалел, что у меня не было возможности записать на кинокамеру переливы настроений и эмоции Тамма (те, кто видели документальный фильм М. И. Таврог «Один Тамм», понимают, о чем я говорю).

По окончании пьесы Тамм и Некрасов попросили меня отвести их за сцену, чтобы встретиться с актерами. Тамм тут же подошел к здоровяку Бургомистру, приставил свой указательный палец правой руки к его мощному животу и начал его буравить пальцем, быстро приговаривая: «Вот кто во всем виноват, вот кто во всем виноват!»

«Я один раз ошибся в определении будущей судьбы студента»

Закончить свои воспоминания я хочу рассказом, который однажды услышал от Игоря Евгеньевича во время прогулки с ним по заснеженной дорожке вдоль Москвы-реки неподалеку от его дома. Имя А. Д. Сахарова тогда не было так широко известно (разнузданные нападки на него начались десятью годами позже, после 1968 года, когда вышла его работа «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»). Тогда оно еще было окружено тайной, и знали его немногие. Естественно, я решил, оставшись с Таммом вдали от стен и потолков, в которые, как я подозревал, могли вставить «жучки» для подслушивания, расспросить Игоря Евгеньевича о его коллеге и ученике.

Я тогда Сахарова лично не знал, но слышал о нем от брата-ядерщика, от некоторых друзей. Игорь Евгеньевич моему вопросу, как мне показалось, даже обрадовался. Он стал мне рассказывать, что привел к нему Сахарова-студента Лев Давидович Ландау⁴⁸. Они поговорили, и Игорь Евгеньевич решил, что из Сахарова не может получиться успешно работающий физик-теоретик.

— Я сказал ему тогда, что скорее из него получится гуманитарий, потому что мне показалось, что направление мышления этого студента более гуманитарное, чем естественнонаучное. Я никогда так грубо не ошибался в определении наклонностей студентов. Как правило, мои прогнозы сбывались, — сказал мне тогда Тамм, а потом добавил:

— А буквально через несколько лет мы делали с Сахаровым водородную бомбу.

О роли Тамма в решении проблем, возникших при создании советской водородной бомбы, от него самого я никогда ничего не слышал. Много лет после кончины Игоря Евгеньевича с огромной теплотой о роли Тамма в колонии физиков, поселившихся в Арзамасе-16 (нынешнем Сарове) мне рассказывала жена другого выдающегося участника этих работ, Елена Ефимовна Франк-Каменецкая. Ее муж — Давид Альбертович Франк-Каменецкий был

⁴⁸ Андрей Дмитриевич позже уверял меня, что это было aberrацией памяти Тамма, так как Сахаров считал, что он сам познакомился с Таммом без помощи Ландау, а с последним установил личные взаимоотношения много позднее.

завоდიлой во многих научных делах в теоротделе в Арзамасе, а Елена Ефимовна была душой компании, в их доме часто, по несколько раз в неделю собирались друзья, кто-то усаживался за пианино, кто-то устраивался за шахматной партией, всегда слышались шутки, не обходилось без дружеских розыгрышей, и Елена Ефимовна рассказывала мне, как был хорош на этих вечерних посиделках Тамм, сколь искрометными были его остроты, как заразительно смеялся, как он был благороден и возвышенно галантен. Яков Борисович Зельдович мог иногда на что-то надуться и вообще был раним, Юлий Борисович Харитон держался несколько отстраненно, потому что был облечен огромной властью и ощущал свою ответственность, а вот у Тамма этой отстраненности не было ничуть. Атмосфера легкости во взаимоотношениях отличала этого великого человека, и о ней с любовью вспоминали все, кто знал Тамма.

Когда я слушал Елену Ефимовну, мне очень по душе пришлась именно эта мысль о таланте академика Тамма быть самим собой, сохранять простоту и легкость во взаимоотношениях. Таким он был и со мной, зеленым студентом, который ничего, кроме лишних хлопот, ему не приносил. Я знаю и знал это очень хорошо, меня, конечно, тянуло к Игорю Евгеньевичу, а он вел себя изумительно, истинно демократично, заботливо, по-отцовски. Оглядываясь назад на уже немало прожитых лет, я все яснее ощущаю, что именно он внес в мою жизнь так много решающих изменений и привел к таким существенным, краеугольным сдвигам в моем образовании, что, не будучи в формальном смысле учеником академика Тамма, я тем не менее считаю его своим самым главным учителем. Еще в школьные годы мой интерес к биологии укрепил доцент Горьковского университета Петр Андреевич Суворов⁴⁹, в первый и второй год студенческой поры меня втянул в настоящую научную работу доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии Владимир Николаевич Исаин⁵⁰, затем исключительное значение сыграли годы близких взаимоотношений с Сергеем Сергеевичем Четвериковым, который называл меня в письмах своим генетическим внуком, а вот наиболее решающие шаги в изменении направления моего обучения, в укоренении интереса к новым направлениям науки сыграл Игорь Евгеньевич Тамм. Не было бы его мудрого наставничества, жизнь моя сложилась бы совершенно иначе, и скорее всего не так интересно, почему я и решился написать эти воспоминания.

Ноябрь 1995 — апрель 2002 года

⁴⁹ Петр Андреевич Суворов закончил Московский университет по специальности «микология», работал в Горьковском государственном университете имени Лобачевского, крупнейший специалист по биологии дереворазрушающих грибов, разработал уникальный метод выращивания генетически чистого мицелия из спор грибов и создал коллекцию большого числа видов, доктор биологических наук. Много лет Петр Андреевич помогал мне и знаниями и материально, мы с ним часто встречались и в Горьком и в Москве.

⁵⁰ Владимир Николаевич Исаин — доцент кафедры ботаники Тимирязевской с.-х. академии, лауреат Сталинской премии, автор популярного учебника «Основы ботаники». Был научным руководителем моей первой научной работы по изучению кожуры семян семейства тыквенных как индикатора эволюционного развития этого семейства.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ в зеркале прессы (июнь – август 2002 г.)

(Краткий обзор)

1. К вопросу о создании католической митрополии в России

Конфликт между Русской Православной Церковью и Ватиканом, разгоревшийся после учреждения в России четырех епархий Католической Церкви, продолжал оставаться в центре общественного внимания. СМИ неоднократно обращали внимание на политическую и экономическую составляющие спора.

В частности, в «Общей газете» (30 мая) священник **Владимир Кожин** высказал мысль, «что спор идет не о вере, а о политике, вечная цель которой власть и деньги». «Смехотворно в нашем одичавшем в пустыне коммунизма обществе, среди погрязшего в языческом невежестве народа, которому нужно проповедовать христианство заново, — призывать на помощь силу государства для того, чтобы приватизировать право на утверждение “единственно верного учения”», — пишет он.

Политический обозреватель Радио «Свобода» **Джованни Бенси** в газете «НГ-Религии» (5 июня) оперативно отреагировал на слова патриарха Алексия II, заявившего, что «намерение открыть католические епархии в России равнозначно стремлению открыть структуры одного государства в составе другого». Публицист обратил внимание на то обстоятельство, что в международно-правовом отношении Ватикан нельзя путать с Католической Церковью: «Территории католических епархий — составная часть территорий государств, на которых они находятся. Святой Престол осуществляет над ними лишь духовную и церковно-административную, а не политическую или территориальную власть».

5 июля в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата прошел брифинг, на котором представители РПЦ высказали свои претензии к деятельности католиков в России. Немного раньше глава этого ведомства **митрополит Кирилл (Гундяев)** направил кардиналу Вальтеру Касперу письмо с изложением фактов, которые православные считают доказательством прозелитической деятельности католиков в России.

По мнению газеты «Время новостей», «ничего нового с мирской точки зрения в письме митрополита Кирилла не содержится». «Новое обвинение добавил заместитель председателя ОВЦС **протоиерей Всеволод Чаплин**, прокомментировавший заявление митрополита Кирилла. Оказывается, руководство РПЦ возмущено тем, что Ватикан предлагает строить отношения сугубо по капиталистически».

Возможность диалога с Папским престолом о. Всеволод поставил в зависимость от того, какое «крыло» католических епископов возьмет верх при слабеющем Папе Иоанне Павле II — приверженцы, как выразился о. Всеволод, политики экспансии любой ценой или сторонники межхристианских отноше-

ний, основанных на взаимном уважении. Тот факт, что патриарх Алексей II отказал в приеме руководству Ватикана, но демонстративно принял оппозиционеров из Вероны во главе с архиепископом Брессаном, дает представление о том, какую сторону намерена поддерживать РПЦ.

«Визит архиепископа Брессана ни к каким особым результатам не привел, но он не был и бесполезен», — прокомментировал это событие **Джованни Бенси** («Возможен ли диалог?» — «НГ-Религии», 17 июля), выразив скромную надежду: «Быть может, инициатива епархии, находящейся в итальянской провинции, поможет преодолеть трудности, появившиеся между Церквями в феврале».

Проблема взаимоотношений двух церквей вызвала серьезное беспокойство у российской светской власти. Именно этим и нужно объяснить состоявшуюся 5 июля встречу главы Администрации Президента РФ Александра Волошина и католического митрополита Тадеуша Кондрусевича. Комментируя ее, сайт «Религия» в «Русском Журнале» (<http://religion.russ.ru>) обратил внимание на определенную «таинственность», которая сопутствовала этой встрече. По мнению аналитика сайта **Натальи Демченко**, «президент Путин в своей политике в данном вопросе вынужден лавировать — его социальной опорой являются не только безусловные либералы и западники, но и мощный православно-державнический пласт российской элиты, — бизнесмены и чиновники. Эти структуры наверняка без всякого удовольствия примут как сам факт встречи, так и сделанные на нем намеки на руководство РПЦ от кремлевских структур — замирились с католиками. Именно этим нужно объяснить не афишируемый характер встречи — подальше от гнева православной общественности, но с пользой для дела».

Однако эта встреча диалог не продвинула. Тем более, что появился дополнительный повод к замораживанию отношений. Таким поводом стало решение Ватикана о создании двух новых епархий на Украине и поставлении туда новых епископов. В «Заявлении» Священного Синода (опубликовано в газете «Московский Церковный Вестник», № 14-15) подчеркивается, что «Русская Православная Церковь, уважая потребность украинских католиков в пастырском окормлении, не выступала против создания Римом епархий в регионах их исторического проживания. Но вновь созданные епископские кафедры возникли там, где их никогда не было, причем количество католиков в этих регионах весьма незначительно».

Похоже, улучшения ситуации в ближайшее время не предвидится. И все-таки, как пишет **Виктор Еленский** («НГ-Религии», 21 августа), «отношения между епархиями и приходами, наверное, будут продолжаться». «Фонд «Церковь в нужде» продолжит свой труд, немецкие католики так же добросовестно будут собирать гуманитарную помощь, которую православные волонтеры Киева, Минска и Питера так же добросовестно будут распределять среди беспризорных, и католический благотворительный фонд «Каритас» из Украины тоже не уедет».

2. Проблема реституции церковных земель

Интерес СМИ к вопросу о возвращении Церкви земель, конфискованных в XX столетии, был связан с выступлением группы сенаторов, обсудивших проблему в конце июля во время встречи с Патриархом Алексием II. Первые сообщения об этой инициативе появились за неделю до встречи: 23 июля в «Газете» под заголовком «Сколько вернуть? Сколько Церковь пожелает» было опубликовано

ликовано интервью с председателем аграрного комитета Совета Федерации **Иваном Стариковым**. «Раньше не было системного земельного законодательства — только куча прецедентов и противоречащих друг другу подзаконных актов. А теперь мы будем скоро отмечать годовщину принятия Земельного кодекса. На днях СФ одобрил также закон об обороте земель сельхозназначения. То есть поддержал земельную реформу президента. Эти два базовых закона позволили сейчас вернуться к церковным землям. Парадоксально, что РПЦ и другие традиционные конфессии остаются без земли» — пояснил он свою позицию. На вопрос об объеме возврата имущества Стариков ответил так: «Как правило, при церкви было порядка 50 га земли, по 40 га — при монастыре. Всего же речь идет о 2,8 млн. десятин. Это 3 млн. га в нынешнем исчислении». Из интервью стало ясно, что инициатива пока не подкреплена ничем: «Вопрос: Вы обсуждали свои идеи с Патриархом, председателем правительства и президентом? — Ответ: Закона пока нет — мы его пишем. С президентом и правительством мы этот вопрос не обсуждали. Я жду встречи с Патриархом. От нее будет зависеть очень многое, но мне кажется, что вернуть землю Церкви необходимо».

30 июля патриарх **Алексий II** встретился с первым заместителем председателя палаты Совета Федерации **Валерием Гореглядом** и уже упоминавшимся **Иваном Стариковым** и обсудил с ними вопрос о передаче земель Церкви. Эту встречу прокомментировали практически все средства массовой информации — **«Известия»**, **«Коммерсантъ»**, **«Независимая газета»**. За сухим, намеренно отстраненным комментарием в большинстве случаев легко прочитывается неприятие идеи реституции. Типична с этой точки зрения информация, распространенная агентством **РБК**: «Большинство опрошенных ИА «РосБизнесКонсалтинг» считают, что предложение Совета Федерации передать в собственность Русской Православной Церкви земли сельскохозяйственного назначения, принадлежавшие ей до 1917 г., вызовет много конфликтов. В ходе электронного опроса 2 тыс. 304 человека (55%) отметили, что, по их мнению, такое решение может привести к разногласиям между РПЦ, другими религиозными конфессиями и государственными институтами. 13% респондентов (593 чел.) считают, что передача земель РПЦ положительно скажется на их благоустройстве и развитии сельского хозяйства. 11% опрошенных (507 чел.) называют передачу РПЦ земель сельхозназначения правильным политическим решением, укрепляющим позиции доминирующей в России религиозной конфессии».

К середине августа начали появляться пространные комментарии в изданиях, специализирующихся на религиозной тематике.

Официальную позицию РПЦ представил **«Московский церковный вестник»** (№ 14-15), прямо заявив в статье «Прошлое и будущее церковных земель», что «для Церкви вопрос о земле очень важен». «Оппоненты Церкви прямо высказывают следующее опасение: если монастыри получат возможность обрабатывать землю, сдавать ее в аренду и продавать сельхозпродукцию, экономическое положение Церкви укрепитя. В чем конкретно заключается вред такого укрепления положения Церкви, сказать никто не может». В статье затрагивается и предыстория дискуссии: «В конце прошлого года Церковь впервые высказала серьезную озабоченность в связи с изменениями в законодательстве о землепользовании. Тогда это было связано с принятием Земельного кодекса. Церковь, как известно,

не была привлечена к разработке этого законопроекта, и вопрос о землях, на которых расположены храмы и прилегающие к ним территории, выпал из поля зрения законодателей. Ситуация осложнилась в июле 2002 года после вступления в силу закона «Об обороте сельскохозяйственных земель». Этот закон оставляет для Церкви лишь два механизма землепользования: либо аренда, и вероятнее всего по коммерческим ценам, либо выкуп земли в собственность. И то, и другое невозможно — приходы не располагают необходимыми средствами».

Мысль о пиаровской подоплеке шумного обсуждения вопроса о реституции высказали 7 августа **авторы портала «Credo.ru»** (www.portal-credo.ru) в статье «Маленькое дело о большой земле — РПЦ МП стала жертвой чужого пиара»: «Патриарх Алексей II и высшие иерархи РПЦ МП наверное не раз и не два за последние недели вспоминали свои грехи, пытались понять, за что на них обрушилось наказание в виде инициативы решивших поднять свой рейтинг сенаторов по передаче Церкви принадлежавших ей до революции земель. Сейчас уже очевидно, что речь идет прежде всего (если не исключительно) о пиар-кампании Ивана Старикова, выбравшего, казалось бы, почти беспроигрышную тему для своей раскрутки. Тема, однако, оказалась неожиданно взрывоопасной — либеральничая пресса выступила с единодушным осуждением «жадности церковников».

Фактически, сам того не желая, сенатор стал инициатором самой мощной антиклерикальной кампании в СМИ, несравнимой даже со знаменитым «сигаретным скандалом» середины 1990-х. Тогдашняя кампания разоблачений церковного табачного и алкогольного импорта, бывшая по РПЦ МП и, прежде всего, лично по митрополиту Кириллу, имела вполне конкретных заказчиков (прежде всего — в тогдашнем правительстве), заинтересованных в лишении МП этой привилегии и вообще в том, чтобы приструнить заявлявших слишком внушительные имущественные претензии иерархов».

Интересно, что газета «НГ-Религии» (21 августа) в статье **Даниила Шипкова** «Нужна ли церкви земля?» тоже расценила поднятый шум как удачный пиаровский ход, но не сенаторов, а патриархии: «Очевидно, что в первую очередь Церковь заинтересована в той земле, которая у нее уже есть и которую по новому законодательству ей придется либо арендовать у государства, либо выкупать по рыночным ценам, что для нее нелегко. Та земля, которой сейчас распоряжается Церковь, — это монастырские хозяйства, подчас не очень большие, а также земля под храмами и прихрамовая территория в городах. Последняя категория должна особенно интересовать РПЦ как хороший источник дохода».

Поэтому, не делая резких заявлений против идеи сенаторов о полной реституции церковных земель, Церковь использовала тактику «ложной мишени», направив основное внимание прессы и общества на число 3 млн. гектаров. Даже заместитель руководителя аппарата кабинета министров Алексей Волин был вынужден выступить с критикой этой идеи. Теперь, когда РПЦ заявила о том, что поднятая шумиха прессы неадекватна ситуации, так как никто столько земли не просил, она может лоббировать внесение поправок в принятые законы или добиваться принятия специального закона о земле, чтобы получить, по оценкам некоторых экспертов, примерно десятую часть от заявленного первоначально».

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

ТРИ ПОРТРЕТА

Социально-этические воззрения в Русской Православной Церкви конца XX века

Двухтысячелетие Рождества Христова — дата, задающая масштаб для исторической оценки. В его перспективе последнее десятилетие XX века — не более, чем историческая точка. Тем не менее возможно, именно это десятилетие определит для российской Церкви профиль следующей исторической эпохи — полной независимости Церкви от государства в условиях постиндустриального общества.

В этой статье мы обратимся к одному из важнейших результатов прошедшего постсоветского десятилетия — к развитию социально-этических воззрений Церкви. В частности — к социальным концепциям трех едва ли не самых заметных фигур этой эпохи: митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) († 1995), протоиерея Александра Меня († 1990) и митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяева).

По общепринятому мнению, Церковь оказалась неподготовленной к постсоветской эпохе: она не смогла ответить на актуальные общественные вопросы и не использовала шанса, данного высоким доверием к ней со стороны общества в начале 90-х гг., погрузившись во внутренние расколы. Но люди знающие отдадут себе отчет в том, сколь пагубен был период «советского отката» для Церкви, готовой в начале века (более точная дата — Поместный Собор 1917-1918 гг.) радикально сменить свой социальный курс и философию в ответ на вызовы современности. Эти семьдесят лет не дали церковному организму развиваться, прервали муки рождения новой эпохи в истории Церкви. Организм Церкви был ослаблен, комплекс созданных ко времени Поместного Собора предпосылок и ориентиров — разрушен. Церковь оказалась выбитой из руслу истории в гораздо большей степени, чем это произошло с

Константин КОСТЮК

— родился в 1967 г. в Москве. Окончил философский факультет МГУ, в 1994-1998 гг. преподавал социологию политики на социологическом факультете МГУ. В 1998-2002 гг. — аспирант Католического университета Айхштетт (ФРГ). Кандидат политических наук, член Международной ассоциации христианского социального учения (Брюссель). Автор ряда статей по проблемам социального учения христианских церквей, истории философии, социологии, социальной этики, социологии религии. В настоящее время научный сотрудник Фонда им. Конрада Аденауэра. Живет в Москве.

Россией в целом. Не очевидно даже и то, что после пережитой Церковью катастрофы вообще можно встать на ноги и возобновить прежнее движение!¹ ...

Как со стороны церковных иерархов, так и со стороны светских властей не раз выражалась уверенность о том, что Церковь служит для нации ее совестью, нравственным голосом. Этот голос способен быть нравственно авторитетным не просто в силу того, что он исходит от Церкви, но прежде всего потому, что именно Церковь призвана быть способной к «различению духов», способной *прозревать нравственные проблемы и нравственный идеал именно того исторического общества*, к которому этот нравственный голос обращен.

Но вот мы читаем: «Согласно соответствующим богодухновенным пророчествам столпов Церкви, приход лжемессии-Антихриста близок. Глобальные масоно-демократические группировки готовят наступление лжемессианской эры... Тем не менее возможность воссоздания единой, неделимой, могучей Православно-самодержавной Монархии воспринимается уже не в качестве утопии, а как реальность ближайшего будущего»².

Можно ли эти тезисы считать тем нравственным голосом Церкви, в котором испытывает потребность общество? Или скорее здесь следует видеть угрозу конституционному строю, от которого любое общество должно и будет защищаться? Вопрос, как нам кажется, риторический.

Надо признать, что ситуация мировоззренческого хаоса, допускающего декларации и еще более безответственные, после трехпоколенного «вавилонского пленения» Церкви была неизбежна. Геттоизация Церкви с необходимостью включала ее маргинализацию, хотя в условиях «советского мировоззрения» любое диссидентство было в то же время и глотком свободы. Мировоззренческий хаос касался, безусловно, не столько истин веры, сколько социально-политических ориентиров, с этими истинами связанных. Гетто, отрывающее от социальных корней и связей, воссоздает самостоятельный мифологический мир, критерием истины в котором служит сама альтернативность окружающему миру.

¹ Представление о естественном историческом развитии можно почерпнуть из истории Католической Церкви, не пережившей подобных катаклизмов. В конце XIX в. она сумела распознать «знаки времени» и ответила на них созданием социального учения, которое позволило Церкви, ориентированной на двухтысячелетнюю традицию, избежать конфликта с новым обществом, ориентированным на прогресс. Первый шаг сделал возможным подготовить следующий — II Ватиканский Собор (1963-1965). В результате этих шагов Католическая Церковь хотя и потеряла от процессов секуляризации и была вынуждена менять тысячелетние привычки церковной жизни, но избежала опасности насильственного уничтожения, с которой Православной Церкви пришлось столкнуться непосредственно. Западная Церковь не порождает сегодня фундаменталистской угрозы для общества, и современная история в ее глазах не окрашивается в катастрофические цвета, как это имеет место в православии.

² Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев). Одоление смуты. СПб., 1996, с. 123. В этом, отчасти, причина парадокса и ответ на вопрос, почему самые «воцерковленные» церковные круги такой неблагодарностью ответили «демократам», вернувшим Церкви общественную свободу.

Изоляция и презрение служат той собственной «Истиной» гетто, которая позволяет ему выживать. Гетто проклянет спасителя, который откроет ему ворота в мир.

Отсюда понятно, что уже первое десятилетие вслед за выходом из социального гетто поставило Церковь перед новыми для нее сложнейшими задачами адаптации, обретения ориентации в и без того дезинтегрированном обществе. И надо признать, что в конце концов Церковь ответила на исторический вызов, что нашло выражение в принятии «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» Архиерейским Собором в Юбилейном 2000 году. Кроме того, к концу века российская Церковь выдвинула несколько незаурядных церковных деятелей, попытавшихся «на выходе из гетто» обобщить имеющийся опыт и структурировать дальнейшую дискуссию. Настал момент, когда можно оценить их историческую заслугу и дать развернутый анализ их взглядам.

Речь идет прежде всего о митрополите Иоанне (Снычеве), протоиерее Александре Мене и митрополите Кирилле (Гундяеве).

Двое из них — митрополит Иоанн и о. Александр Мень — уже ушли из жизни, но вместе с митрополитом Кириллом они продолжают тем не менее восприниматься как символы различных направлений в современной церковной жизни. Кроме своего политического значения, особенно высокого у митрополита Кирилла, все трое — серьезные социальные мыслители и именно в этом статусе и будут предметом внимания автора настоящей статьи. Мы попытаемся воспроизвести основные черты их социального мировоззрения и проанализировать основные их ответы на современные вопросы. При этом мы попытаемся показать, что, несмотря на большие споры вокруг их личностей (в отношении о. Александра Мень и митрополита Иоанна речь заходит как о канонизации, так и о церковном осуждении), они в равной степени представляют лицо — вернее, три лица — современного российского православия и в вопросах социальной этики создают предпосылки скорее для диалога, чем для конфронтации.

Несколько слов об истоках воззрений этих авторов и об их «партийном» значении. Эти истоки следует искать в «гетто», где каждый был диссидентом по-своему.

Отец Александр Мень принадлежал узкому интеллигентскому кругу христианских диссидентов, которые — в силу их близости к «защитникам прав человека» — были уже в советское время известны на Западе. Относясь к кругу христиан-евреев и используя в своих работах мало знакомый в православной традиции язык современного научного богословия, он был вынужден и внутри Церкви находиться в некотором «гетто» и быть своего рода «диссидентом».

В похожей ситуации находился и его антипод — митрополит Иоанн. Будучи монархистом и не признавая душой «реальность» советской власти, он тоже был социальным диссидентом. Обладая авторитетом в широких церковных кругах, он оставался при этом диссидентом и по отношению к «официальной линии», что приводило к одергиваниям со стороны высшей церковной власти.

Наконец, лишь по видимости отличается ситуация у митрополита Кирилла. Представляя на официальном уровне «чуждую» для советского общества идеологию, по отношению к власти он опять же был «диссидентом». И вполне

диссидентскую жизнь, далекую от жизни «простых советских христиан», приходилось вести иерархам в качестве представителей церковной власти, в значительной части этой власти лишенных. Последующая внутрицерковная критика «никодимовской школы» лишь обнажила эту «маргинальность власти».

Это «советское» прошлое каждого из этих церковных деятелей и определило в очень большой степени их позиции в постсоветский период. Так, если митрополит Иоанн придал современный облик политической позиции «рецензителей благочестия», а о. Александр Мень стал выразителем интенций православной «либеральной интеллигенции», то задача митрополита Кирилла и стоящей за ним церковной власти оказалась в том, чтобы сформулировать позицию официальной «золотой середины». Образуя три основных идейных крыла в российском православии, они определили главный сюжет церковной жизни 90-х годов, заключающийся в балансировании на грани церковного раскола.

Нужно, впрочем, отдать себе отчет в том, что эта угроза раскола была структурно задана Церкви извне опять-таки еще в советский период: власть, не имеющая возможности управлять, неизбежно окажется «чуждой» всем живым силам; стороны, не имеющие возможности к дискуссии и консенсусу, неизбежно будут рассматривать друг друга как противников. В этой целенаправленно дезинтегрированной структуре одни добросовестно защищали традицию, другие столь же добросовестно стремились свидетельствовать в современном мире, третьи в рамках возможного пытались интегрировать Церковь в общественные процессы.

Но тем самым все, в конечном счете, делали общее дело. Потому что в переходный период задача заключалась в том, чтобы синтезировать и сформулировать этот наличный, но еще не рационализированный опыт — то есть групповую идеологию. Каждой группе требовалось первоначально изложить «свою истину» — этим и диктовалась потребность в лидере. Только после этого этапа возникала возможность действительно продуктивного *диалога* и *синтеза* внутри Церкви. Поэтому задачи «последователей» всех троих видятся сегодня уже принципиально иными, чем задачи этих «пионеров».

Но подчеркнем: речь пойдет все же не столько об «идеологиях», сколько о *лично окрашенной* творческой позиции каждого из авторов. Взгляды творческой личности всегда оказываются богаче тысячи последователей и систематизаторов.

Митрополит Иоанн (Снычев)

Вплоть до начала 90-х гг. социально-этические взгляды митрополита Иоанна не находили выражения. Последующие многочисленные книги и выступления — плод всего нескольких лет работы церковного иерарха, ослабленного болезнью сердца. Но, разумеется, позиция архиерея (хиротонисан в 1965 г.) была сформирована и выстрадана раньше. А научно-богословская и преподавательская работа в юности (гомилетика, церковная история) объясняют серьезную эрудицию и выразительный литературный стиль владыки. Равнодушным его выступления не оставляли никого: в них хлопотала энергия высокого духовного накала, обнаруживалась многомерность и глубина сложной внут-

ренной борьбы. Искренность и творческий дух владыки не могли не вызывать симпатию даже у тех, кто не разделял его взглядов.

Христианская антропология

Истоки антропологических взглядов митр. Иоанна следует искать в ощущении величия и *глубины духовной брани за истину*, совершающейся в сердце каждого человека³. Призванность к спасению и возможность гибели помещают человека в центр противостояния двух миров, где не существует «середины» или покоя, но всегда — борьба, последний выбор. Понятие компромисса чуждо владыке. Между истиной и ложью, добром и злом пролегает пропасть, которая не покрывается человеческими расстояниями. Задача заключается лишь в том, чтобы узреть первое и четко отделить его от второго.

На постоянную духовную борьбу человека обрекает *свобода*, которая — не убежище произвола и самолюбия, но задача самоопределения и внутреннего самопреодоления: «Человеческая свобода, понимаемая как свобода нравственного выбора, — вот первопричина всех исторических хитросплетений! Драгоценнейшее свойство нашего духа, венчающее человеческое богоподобие, искра Божия, которая, несмотря ни на что, мерцает и сегодня во мраке духовного невежества и религиозной дикости, давая надежду на возрождение, — свобода выбора между добром и злом определяла, определяет и до скончания века будет определять течение нашей жизни» (1, 122).

Из сказанного ясно, почему понятия *веры* и *православия* становятся у митр. Иоанна центральными *политическими* категориями. «Стояние в вере» — не просто приватная религиозная жизнь. Это — всецелый модус жизни, поглощающий человека без остатка. Православие — в первую очередь страшная ответственность стояния в Истине перед Богом. Лучше умереть, чем отступить от истины. Поэтому понятно, что все остальные стороны жизни — и государственная, и общественная — должны быть лишь другими формами защиты православия, особыми проявлениями церковной жизни.

Уже в этом кратком изложении христианской антропологии митр. Иоанна обнаруживаются детали, которые станут определяющими для его социальной концепции: отсутствие «нейтрального» жизненного пространства и автономности социальных сфер, отрицание компромисса и «права на ошибку». Подобное мирозерцание целиком теоцентрично; смысл жизни определен в нем сугубо по вертикали, а не по горизонтали. Интересно, как владыка Иоанн трактует столь определяющее для христианства понятие *любви*: «Любовь, без которой теряет смысл человеческая жизнь, есть прежде всего любовь к Богу, к тем Божественным Истинам и благодатным Откровениям, которые позволяют человеку победить грех». Разъясняя смысл любви, он ограни-

³ «Две силы действуют в сердце человеческом. Сила первая — Закон Божий, незримо начертанный всемогущим перстом Его на скрижалях нашей души... Сила вторая — мятежные порывы разрушительных страстей: гордыни и властолюбия, тщеславия и алчности, похоти и злобы, зависти и лицемерия» (1, 123). *Здесь и далее при ссылках на цитируемые тексты первая цифра обозначает порядковый номер в списке литературы, приведенном в конце статьи, вторая — страницу.*

чивается первой заповедью Христа (Мф 22:37-38), даже не вспоминая о второй — о любви к ближнему. «Такая любовь не терпит никаких посягательств на истины веры, такая любовь беспощадно, до последней капли крови, до последнего издыхания борется с ересями, посягающими на чистоту Божественных заповедей... Настоящее христианство, исполненное живой веры, бесконечно далеко от смутных «гуманистических» верований околоцерковных интеллигентов» (5, 68).

Основания социальности

Основой и ядром социального бытия, по митрополиту Иоанну, является *Церковь*. Церковь, «столп и утверждение Истины», способна снабжать общество высоким духовным идеалом, а государство — верной идеологией, без которых социальная жизнь немыслима. Церковь образует нравственную основу общества и служит основным общественным воспитателем: священника митрополит прямо называет главным специалистом по душам⁴. И Церковь не просто является «умиротворителем» общества — она держит в руках духовный меч, очищающий общество от лжи и ереси: «Церковь земная, по определению святых отцов, есть Церковь воинствующая, а поприще нашей земной жизни — место брани и подвига» (2, 30).

Следующее ключевое понятие, которое определяет социальные построения митр. Иоанна, — *православная державность*. В данном случае державность не стоит трактовать в империалистическом ключе. Как к чистым «государственникам», так и к «евразийцам» владыка относился критически, обнаруживая в их концепциях секулярные интенции. Его державность имеет сугубо религиозный, сакральный смысл — это лишь качество «социального бытия» православия: «Державность — это государственное самосознание народа, принявшего на себя церковное послушание «удерживающего» (по слову апостола Павла; см.: 2 Сол 2: 7), стоящего насмерть на пути рвущегося в мир сатанинского зла» (3, 12). Державность — синтетическое понятие, обозначающее всю полноту религиозной, нравственной и политической жизни.

Хотя митр. Иоанн подчеркивает единство православия и державности как идеала и его воплощения, бросается в глаза, что этот идеал не определяет внутренние структуры социальной организации. Православное государство — это государство, главной функцией которого является защита православия от внешних угроз. Поэтому следование православному идеалу начинается и заканчивается задачей охранения истин веры в их неприкосновенности и «чистоте», то есть «незамутненности» мирскими влияниями и проблемами. Это

⁴ «Кто на протяжении тысячи лет ковал и пестовал негнбимый державный дух русского патриотизма? — Церковь Православная! Кто вдохновлял отважных и укреплял малодушных, освящая дело защиты Отечества как личный религиозный долг каждого, способного носить оружие? Кто научил русского человека быть верным — без лести, мужественным — без жестокости, щедрым — без расточительства, стойким — без фанатизма, сильным — без гордости, милосердным — без тщеславия, ревностным — без гнева и злобы? — Церковь Православная!» (2, 32).

серьезный изъян в построениях митрополита, ибо здесь налицо противоречие с утверждением о Церкви как носительнице *национального* идеала и государственной идеологии. По этой причине возможна только простая двучленная социальная структура, определяемая функцией веры и ее защиты⁵. Основной атрибутом державности — внешняя мощь, поставленная на службу идеалу.

Далее: убеждение в том, что Истина уже «готовая» и существует лишь альтернатива ее взять или отвергнуть, лишает концепцию митр. Иоанна персоналистического измерения — при всей, казалось бы, схожести его антропологии с диалектикой веры у Достоевского. У владыки Иоанна нет места ни личности, ни персоналистической социальности. Хотя автор часто апеллирует к народу и соборности, оба эти понятия являются лишь атрибутами державности.

Соборность отражает подобие общества церковному организму, она есть выражение единства в вере, сплоченности в действии⁶. Подобно славянофилам, соборность и единовластие не противопоставляются, а олицетворяют единство народа и власти в совете.

Народ — особая тема у митр. Иоанна, смыкающаяся с темой России и патриотизма. В голом национализме или этноцентризме владыка видел лишь «соблазн крови». Вслед за Достоевским он говорил о «всемирности» и открытости русского человека⁷. Народ — особое духовное единство и индивидуальность. Тем не менее будет справедливым заметить в этом пункте у митр. Иоанна определенный параллелизм антропологии и этнологии: как человек бесконечно возвышается тем, что является носителем духа⁸, так и народ, как соборная личность, является исконным носителем духа. Для владыки бесспорно, что верность своим традициям и здоровый нравственный характер придают особую ценность народу как социальной категории. Но решающей для него все же является не идея традиционализма, а то, какой дух хранит народ в своих традициях, причастен ли он к Божественной истине. Русский народ отличает то, что он хранит святое Православие и поставил себя ему на службу. Поэтому вера в этом случае непосредственно соединяется с патриотизмом. Более того, на первый план выступает не просто причастность к православию, но космическая миссия защиты его в исторической духовной брани, так что иные православные народы даже не упоминаются в текстах владыки: названная мис-

⁵ К этим двум простым началам — православному и сильной государственности, сводил византийскую традицию К. Леонтьев. См. *Леонтьев К.* Византизм и славянство. // Он же, Избранное, М., 1994.

⁶ «Русская соборность — это сознание духовной общности народа, корнящейся в общем служении, общем долге. Смысл этой общности — в служении вечной правде, той Истине, которая возгласила о Себе словами Евангелия: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6). Это осмысленность жизни как служения и самопожертвования, имеющих конкретную цель — посылить приблизиться к Богу и воплотить в себе нравственный идеал Православия» (3, 11).

⁷ «Открытость эта — отрицание фальшивой национальной спеси, отрицание самоценности национальной принадлежности» (3, 12).

⁸ «Дух ... есть искра богоподобия, горящая в душе человеческой, возвышая ее безмерно надо всякой земной тварью» (4, 54).

сия возложена только на русский народ, что и объясняет его избранность⁹. «Неисповедимы пути Господни — недомыслимому промыслу Его угодно было соделать Русь ковчегом Своих святынь, их хранителем, стражем и усердным защитником... Сознавая себя благодатной хранительницей истин веры, религиозно-нравственных ценностей Православия, Россия неизбежно стала средоточием, узловым пунктом вселенской борьбы добра и зла, притязающего на бессмертную душу человека» (1, 124).

В истории русской мысли митр. Иоанн, бесспорно, займет место мыслителя, с наибольшей последовательностью воплотившего теократический идеал в политике и создавшего православный вариант политической теологии. Впрочем, нельзя не отметить элементы непоследовательности, которые затеяют основную интенцию мыслителя и даже вытесняют ее обыденным традиционализмом, национализмом и милитаризмом. Происходит это там, где не проводятся важные разграничительные линии, без которых богословская картина получает опасные искажения. В первую очередь, не улавливается граница между понятиями Церкви и государства, так что последнее оказывается словно продолжением святой Церкви. Точно так же не проблематизируется граница святого и «профанного», так что святыми оказываются и русская держава, и весь русский народ. В силу этого добро и зло отождествляются с определенными институтами, и граница между добром и злом совпадает с политическими границами. Нож острой критики лишь отсекает внешнее, не касаясь внутреннего¹⁰. Митр. Иоанну хватает внутренней деликатности, чтобы не проводить в этой картине мира окончательные линии, оставляя место для оговорок, но эти линии вполне правомерно его последователи проводят до конца. По мере того, как владыка Иоанн спускается с высоты идеала и ценностей к политической конкретике, его выводы и заключения становятся все более сомнительными.

Православная политика

Митрополит Иоанн решительно отвергает представление об «аполитичности» христианства. Политика — воплощение веры, и поэтому державные начала государственной жизни неотделимы от духа православия. Владыка выдвигает три принципа политической жизни¹¹.

1. *Единство политики и нравственности (теономия)*. Власть на Руси всегда осознавалась не как предмет тщеславных воцелений, но как религиозное служение заповедям справедливости и добра, как «Божье тягло». Власть принадлежит не людям, но самим основополагающим принципам нравственности.

⁹ Следует заметить, что миссию у митр. Иоанна составляет защита, но вовсе не свидетельство о православии в мире: «Никаких дополнительных «свидетельств» истины Откровения Божия не требуют. Для их усвоения от человека требуется лишь раскаяние в грехах и добрая воля» (5, 71).

¹⁰ Хотя на русском богоносном народе «лежит тяжелейшая ответственность», создается впечатление, что он не подлежит греху, и его отпадение — результат коварства врагов по отношению к доверчивому народу.

¹¹ Митр. Санкт-Петербургский и Ладозжский Иоанн (Снычев). Державное строительство. // Он же, Одоление смуты. Спб., 1996, с. 36.

У власти может быть только один источник — Божья воля, поэтому в основу законодательства и права в государстве должен быть положен данный самим Богом Божий Закон.

2. *Единство народа и власти (самодержавие)*. Как за свою душу отвечает только сам человек, так и за весь народ держит ответ перед самим же Богом один человек — самодержец. Власть, данную от Бога, воплощает в своем лице Помазанник Божий — Русский Царь. Народ не может ни претендовать на власть, ни требовать за нее отчета, но это не значит, что он не имеет отношения к власти: именно его верой держится самодержавие, в этой вере оно и находит свою крепость и силу. «Русское Самодержавие — система не столько политическая, сколько религиозная, свидетельствующая о высоте нравственных воззрений народа на природу и цель власти» (2, 36).

3. *Межнациональное единство (Империя)*. «Всечеловечность» русской души позволяет ей понимать и уважать самобытность других народов. Это и позволило русскому народу построить многонациональную империю, «не унизив, — по мнению владыки, — ни один из встретившихся на его пути народов, пусть самых малых, но всех приняв как братьев, покаяя прежде сердца, а не крепости» (1, 124). Россия — государство русских, подчеркивает митр. Иоанн. Православная империя — выражение политической миссии русского народа вести остальные народы к спасению (2, 32). О воле самих народов речь не заходит. Вместе с тем, в возможности междоусобной войны он видит самую опасную угрозу и считает нерациональным восстановление российской империи в ее прежних размерах.

Получив «богословскую» санкцию для осящения традиции, митр. Иоанн вовлекает ее в свою программтику в таких объемах, которые зачастую с трудом позволяют отличить ее от «советских норм жизни». Так, несмотря на принципиальное принятие частной собственности, ей оставляется в экономике не более места, чем в коммунистической системе¹². Хотя мировоззрение митр. Иоанна в высшей степени партийно, ему не следует отводить места ни среди националистов, ни среди коммунистов: скорее он закладывает основы православного фундаментализма с его специфической игрой монархической, националистической и коммунистической идей¹³.

Враги России

Вследствие отождествления религии и политики, политическое оказывается столь же расколотым в себе, как сам мир духа. В этом следует искать корни ката-

¹² Так выглядят предлагаемые принципы экономики:

- признание безоговорочного приоритета за производительной сферой экономического механизма;
- вторичность кредитно-финансовой политики как средства управления экономикой;
- значительная «идеологизированность» экономики, предполагающая наличие высших нравственно-религиозных целей хозяйственной деятельности;
- мощное государственное регулирование экономики.

¹³ См. Костюк К. Православный фундаментализм: социальный портрет и истоки // Полис, 2000, № 5.

строфического восприятия мира и истории митр. Иоанном. Сколь однозначна субстанциальная Истина, столь же однозначно враждебное ей субстанциальное Зло. Как первой соответствует социальная организация — российское православное государство, так и последнее имеет свою организацию. Организация темных сил вполне позволяет обнаружить себя в своих делах, в заговоре против сил света.

Митрополит Иоанн называет имена врагов православной веры.

Во-первых, это тайные масонские организации, религия и деятельность которых направлена против Господа и на разрушение России.

Во-вторых, это евреи, «творцы катаклизмов», как их называет владыка. Он подчеркивает не националистический, а религиозный смысл антисемитизма: антисемитизм восходит к указанию на духовное заблуждение иудаизма и вытекающего из этого проклятия евреев Господом. Большевики-безбожники являются лишь одним историческим проявлением этих темных сил; другое проявление — «либерал-демократы», цель которых — внести либеральную смуту и в новых условиях подчинить Россию богоборческой власти.

Врага России владыка видит и в западном христианстве как отпавшем и полностью извратившем Истину и, соответственно, в Западе как таковом, уже порабощенном лжи.

Наиболее очевидным олицетворением всех этих темных сил он считает «Высший Планетарный Капитал», аккумулирующий в себе все названные элементы.

В этой связи митр. Иоанн призывает видеть две главные опасности, угрожающие России.

Во-первых, это экуменизм — учение об объединении всех вероисповеданий, «дьявольский суррогат, пролагающий путь грядущему антихристу, готовящий объединение обезверившегося мира... под игом «человека греха, сына погибели» (2 Сол 2:3);

Во-вторых, это политическая форма мирового объединения — глобализация, «лжеучение о неизбежности грядущего объединения человечества в единое сверхгосударство с общим Мировым Правительством во главе» (5, 64). Сверхправительство, которое должно сосредоточить в своих руках колоссальную идеологическую, политическую и экономическую власть над «мировым сообществом» (его начальные формы автор видит в ООН), является материальным условием пришествия Антихриста, духовной подготовкой чего служит экуменизм. Во всем мире этим планам противостоит практически только Россия¹⁴.

Учитывая силу вызовов и величину опасностей для России, понятно, почему *армия* и *воин* занимают важнейшее место в построениях митр. Иоанна. Не только функция защитника, но и образ духа — героика — придают воину такую ценность. Воин олицетворяет собой твердость, силу, чистоту духа, готовность

¹⁴ «Россия, исторически сформировавшаяся как главный носитель христианских ценностей, является основным препятствием на пути осуществления подобных планов. Ни одна религиозная конфессия, за исключением Православия, не обладает необходимой духовной мощью для успешного сопротивления. Ни одна страна, кроме Руси, не имеет достаточного культурного, научного, экономического и военного потенциала для успешного противодействия гегемонистским вожделям архитекторов «нового мирового порядка» (1, 128).

пожертвовать своей жизнью ради высших ценностей. Воинский дух представляет прямую противоположность пропагандируемым западной культурой потребительства, индивидуализму, разврату, он нравственен по самому своему существу и поэтому близок православию. «Духовное возрождение армии решит ныне судьбу Отечества», — заключает митр. Иоанн. Так, крепкое воинство парадоксальным образом является обратной стороной покаяния и молитвы, которые всегда спасали Россию в годину испытаний¹⁵.

Хотя представления о русофобах, врагах России и мировом заговоре являются наиболее одиозным разделом в воззрениях владыки Иоанна, они позволяют понять, с каким острым переживанием тревоги за Россию связан весь комплекс его идей. Теория мирового заговора — логически предсказуемая психологическая реакция патриотического сознания на процесс обрушения социальной системы, возникающая в контексте теоцентрической утопической картины мира.

Исторический образ России

Для полноты представления о социально-этических воззрениях митрополита Иоанна важно напомнить его интерпретацию истории России. Здесь умозрительные историософские концепции получают более или менее удовлетворительное эмпирическое подтверждение. История России представляется автором как постоянный освободительный и самопожертвенный подвиг русского народа в противостоянии силам зла. Будучи практически профессиональным историком, автор дает оригинальный, цельный и яркий образ российской истории, хотя мифологизация истории и самостийные выкладки в истолковании неудобных фактов едва ли создают ей доверие¹⁶. Тем не менее не многим публицистам удавалось с подобной образной силой передавать страдания, падения и возвышения в российской истории.

Конкретизация политической теологии в политической программе лишь с трудом позволяет обнаружить черты социального учения Русской Право-

¹⁵ «Военная мощь, соединенная с высотой духовной, — сила необоримая, не подверженная никаким политическим шатаниям и авантюрам внутри страны и способная противостоять нападениям извне» (8, 35).

¹⁶ Внимание читателя вызывают, прежде всего, факты, наиболее одиозно интерпретирующиеся автором. Так, полному переосмыслению подвергается фигура царя Иоанна Грозного, — по мнению Л.Тихомирова, автора наиболее последовательной теоретической концепции русского самодержавия и одновременно человека, скомпрометировавшего, как никто другой, ее на практике. Митр. Иоанн — в отличие от множества своих предшественников — идет по пути радикального оправдания царя, даже в таких делах, как опричнина или дело митр. Филиппа. Не менее крепким орешком для митр. Иоанна является интерпретация политики Петра I, строившего «державность», но разрушавшего церковность. Исторически эпизодом, наиболее отвечающим интенциям иоанновской историософии, является царствование Николая II, искупившего своей смертью, подобно Спасителю, грехи предавшего его народа. К сомнительным историческим конструкциям владыки следует причислить осторожную попытку «обеления» гитлеровского режима, который якобы имел на ранних фазах развития шанс принять христианское направление (см. *Митр. Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский* Самодержавие духа, Спб., 1995).

славной Церкви, которое нам знакомо по церковным документам. И дело не только в том, что митр. Иоанн не останавливается перед нарушениями православной догматики¹⁷, но и в том, что у него искажается весь облик христианства, которое приобретает черты какого-то исламского «джихада», религии «священной ненависти», постмодернистского «нового средневековья». Тем не менее видимость абсурда исчезнет, если найти фокус, заложенный в этой картине.

Отсутствие необходимых границ — и прежде всего между «царством Бога и царством кесаря» — значительно искажает, как уже было сказано, привычные черты реальности. Так, в концепции владыки вообще нет измерения универсальности, поэтому не появляется и уникальности: *Россия становится центром космоса, потому что нет самого космоса*. Речь здесь идет не о реальной России, а о корреляте «России небесной» (аналогично «небесному Иерусалиму»). Поэтому земные реалии — лишь некоторая проекция Священной Истории, битвы духов. Организованные «темные силы» — лишь метафора подлинных «духов злобы». Если мы на минуту задумаемся над изложенной в книге Даниила историей битвы ангелов добра и зла и попытаемся развернуть ее в цельное мировоззрение, мы получим примерно ту же картину, в которой Бог выступает всемогущим и карающим и не остается места любви к ближнему и миру. Разница лишь в том, что место действия перенесено на Землю (в Россию) и божественные реальности получили вполне земные имена.

Несмотря на то, что взгляды митр. Иоанна являются весьма неудововариемыми для современного светского образованного человека, важно подчеркнуть, что их следует рассматривать не просто как некритическое восприятие темных отживших мифов, но как последовательную рациональную конструкцию православного фундаментализма, в которой дается обоснование и систематизация соответствующей картины мира¹⁸. Обращает на себя внимание то, что православная социальная этика, славящаяся своей асоциальностью, получает здесь яркие и резкие черты политической теологии и метафизики, так что понятия мирского социального порядка — государство, политический строй, армия, демократия и т.д. — получают значение богословских понятий¹⁹.

¹⁷ Кроме названной сакрализации и «искупительной жертвы царя» среди догматически сомнительных можно назвать концепцию богоизбранности русского народа, подобное исламскому вознесение павших воинов в борьбе с неверными и т.д. («Каждого доблестно павшего на поле брани ожидает несказанная награда — вечная радость общения с Богом в Его светлом Царствии» — 8, 56).

¹⁸ То, что эта картина часто противоречива, только подчеркивает ее характер рациональной конструкции. Так, не совсем понятно, почему среди подлинных врагов России не оказывается тех, с которыми ей в действительности чаще всего приходилось воевать — например, татаро-монголы, приверженцы воинственного ислама или даже немецкие нацисты. В картину митр. Иоанна почти не попадают факты, которые могли бы «угрожать теории»: факты дружественных отношений с Западом или, например, такие интерпретации экуменизма, которые исключают зловещую однозначность уничтожения веры.

¹⁹ Интересно, что традиционно близкие Церкви социальные темы семьи, общины, прихода и пр., митр. Иоанном почти не рассматриваются.

Но без подобной четкой формулировки этих понятий, пусть даже в одностороннем и несколько презревшем виде, было бы невозможно ожидать от православия готовности и способности к социально-этическому дискурсу.

Протоиерей Александр Мень

Протоиерей Александр Мень во многом являлся антиподом митрополита Иоанна: простой сельский священник, далекий от политики интеллигент-ученый, обращавшийся с проповедью к совсем другим людям и с совсем иными напоминаниями, чем владыка. Его научная и богословская эрудиция поражает воображение, но литературный стиль — словно продолжение пастырской беседы — прост, лишен пафоса и риторической отточенности. Тем не менее связывает обоих не просто принадлежность к православию, но время — поиск ответов на вызовы современности.

Социально-этические вопросы не находились в центре внимания о. Александра, и это была не только сознательная позиция «не-включения в политику», но и следствие мировоззренческого подхода, в котором социальные вопросы принадлежат сфере светского знания. Тем не менее никто не осознавал острее, чем он, что мир жаждет от Церкви ответов на нравственные проблемы современности. И по мере возможности о. Александр пытался их дать. Известно, что отношение к наследию о. А. Менья внутри Православной Церкви очень осторожное, и тому есть причины²⁰. Но тем не менее вовсе не случайно и то, что его социально-этические взгляды оказываются гораздо более «каноническими» с точки зрения православной социальной доктрины, а следовательно, и более церковными, чем у митр. Иоанна.

Взгляды о. Александра будет трудно уложить в систему, если не понять главной интенции и проблемы христианства, которую он формулировал следующим образом: «христианин в мире». Как и для Христа, для христианина встреча с миром и бытие в мире являются ключевым моментом его судьбы. Говоря о христианине как о «страннике в этом мире», о. Александр имел в виду не только наличие иной духовной родины, но и то, что шанс искать и обрести ее существует только в настоящем мире. К каждому — атеисту или сектанту — он обращается как к ищущему. Именно такие люди все время окружали его, и с ними он искал общий язык. Его взгляды не понять, если не помнить, что объектом его миссии стали большое общество и заблудившийся советский человек. Тем не менее, в отличие от многих других, о. Александр не паниковал, говоря о секуляризации, сектах и соблазнах мира, поскольку во Христе черпал силу, достаточную не только для противостояния, но и для подлинного изменения мира.

Чувствуя приближение момента освобождения общества, о. Александр со все большим беспокойством думал о том, способна ли будет Церковь сказать свое слово в тот момент, когда все общество вдруг обратит к ней взор. Относительно этого он имел вполне оправданные сомнения. Поэтому его творчество нужно

²⁰ Его расхождение с традицией в большей мере затрагивают вопросы вероучения и благочестия, чем в случае митр. Иоанна. Это касается вопросов взаимоотношения церквей; толкования природы души, интерпретации Библии и т.д.

рассматривать как подготовку к такому историческому моменту. Попытаемся систематизировать социально-этические воззрения о. Александра Меня.

Человек

«Человек имеет два отечества. Одно отечество — это наша земля и та точка земли, где ты родился и вырос. А второе отечество — это тот сокровенный мир духа, который око не может увидеть и ухо не может услышать, но которому мы принадлежим по природе своей» (19, 4). Уже в этой фразе бросается в глаза расстановка совершенно иных акцентов, чем у митр. Иоанна: не так, что миру Бога противостоит мир Дьявола, но так, что миру природы противостоит высший горний мир духа. Дух — прорыв из природы и тот истинно Божий дар, которым владеет человек. Отсюда возникает основная антропологическая проблема, занимающая о. Александра: как природный процесс эволюции сопрягается с обретением непостижимого дара духа?²¹ Интерес к духовному началу в человеке лежит также в основании его интереса к истории религий и к различным формам духовной деятельности. Научное религиоведение оказало, безусловно, огромное влияние на работы автора, в которых богословие стремится не противостоять, а восполнять науку²².

Духовность, присущая исключительно человеческому бытию, становится источником *персоналистичности* всего мировоззрения о. Александра. Смысл христианства раскрывается у него в свете Божественного кеносиса, то есть пришествия Бога как Сына Человеческого, и тех следствий, которые вытекают из этого для человека. Личность и ее высшее достоинство становятся главным предметом его социально-этических размышлений.

Личностное бытие человека наиболее наглядно проявляется в способности к *любви*, откровением которой является Новый Завет. В любви — суть отношения человека к Богу и к другому человеку, причем о. Александр не выносит здесь за скобки отношения между мужчиной и женщиной. Образ религии, в которой Бог открывается в любви, он противопоставляет архаическим религиям с суровым карающим Богом. Столь же персоналистично он понимает *свободу* — способность личности к выбору, сопряженную с ответственностью человека перед Богом и ближним. «Бог — свобода, дух — свобода, духовность — свобода, любовь — свобода» (19, 17), — вот в чем источник универсализма свободы. Эта свобода однозначно должна выражаться в комплексе юридических и социальных прав и свобод человека²³. Через свободу и любовь — трудный

²¹ Возможно, недоумение вызывает то, как легко и как глубоко Меня включает в христианскую антропологию научное знание о человеке и тем более едва ли сопряжимую с христианством теорию эволюции. Тем не менее доверие к науке позволяет ему не только компетентно указывать на недостаточность одной научной концепции человека, но и гораздо ярче высветить то начало в человеке, которое не принадлежит природе.

²² Нельзя не заметить, что эта попытка нередко приводит к сомнительным результатам, например, при толковании библейских чудес.

²³ «Несвобода. Людям хочется несвободного христианства, люди тянутся именно к рабству — это страшно и встречается каждодневно» (17, 605).

путь движения к истине. «Истина — не та вещь, которая дается легко в руки, она действительно похожа на высокую гору, куда надо восходить: тяжело дыша, карабкаясь по уступам, порой оглядываясь назад, на пройденный путь, и чувствуя, что впереди еще крутой подъем» (14, 11-12). Причастность к духовности и истине о. Александр не отрицает не только у нехристианских религий и сект, но и у атеистов и параллельных движений²⁴. Истина требует не защиты, а познания; это познание в высшей степени лично, и здесь не существует «институциональных» гарантий.

Религия и Церковь

Религия есть путь к постижению истины. «Религии вырастают вместе с порывом человеческого духа к вечности, к непреходящим ценностям» (14, 19). Это понимание, конечно, разительно контрастирует со взглядами митрополита Иоанна, в которых все религии предстают как служение Лжи. Христианство выделяется у о. Александра лишь тем, что оно подводит к истине во всей ее полноте, которая не может быть достигнута в других религиях. Причем различия в конфессиях для него совершенно несущественны. Православие — лишь особый культурный путь в христианстве, обогащенный, по сравнению с протестантизмом, таинствами и культурной традицией. Отец Александр глубоко переживал разделение Церкви, и препятствие к объединению христианских церквей он видел лишь в гордыне людей. Эта ясная экуменическая позиция стала объектом наиболее жесткой критики его противников.

Церковь утверждена в мире и призвана служить миру. В рамках этого служения — Проповеди, Присутствия, в особенности же Свидетельства; она продолжает дело Христа и осуществляет этическую задачу христианства: «Свидетельство означает, что мы должны решить жизненную задачу, найти свою позицию в жизни, свое место... свое отношение ко всем жизненным проблемам» (18, 632). Поэтому Церковь не может замкнуться от мира, ибо это означало бы *иметь любовь, никого не любя*. Открытость — вызов Церкви и ее задача.

Отец Александр весьма критично оценивал историческое и современное состояние Церкви, открыто говорил о существующих недостатках²⁵. Граница между добром и злом проходит для него не по внешней границе между Церковью и миром, но внутри — как мира, так и Церкви. Он обращает внимание на особенно уничтожительное состояние Восточной Церкви в ее истории, на неудачную традицию отношений со светской властью, на излишний ритуализм и присутствие быта в Церкви. Как проявление язычества, архаической культуры о. Александр осуждает монархизм, национализм и интегрзм в Цер-

²⁴ Так, о. Александр вполне терпимо относился к таким именам, как Блаватская, Рерих, Кашпировский, за одно соприкосновение с которыми в свое время требовалось упоминание на исповеди. Тем не менее, он всегда дистанцировался от всех возможных отклонений.

²⁵ «Я специально говорил сейчас только о теневых сторонах, потому что только они могут нас побудить задуматься, а не заниматься ностальгическими восторгами о старине... Мне бы хотелось, чтобы мы решили прежде всего свои внутренние проблемы, чтобы мы могли быть готовы к свидетельству перед миром» (17, 603).

кви²⁶. Ввиду еврейского происхождения, ему было особенно тяжело мириться с распространением антисемитизма в Церкви. Оценивая непростую внутрицерковную атмосферу, он был лишен иллюзий. Поэтому он относился скорее одобрительно, чем негативно к тому, что в православии в его время не было какой-то обязывающей социальной доктрины. Тем не менее свою верность и самоотверженное служение Церкви ему не приходилось доказывать аргументами — они обнаруживаются его жизнью и смертью.

Действительную полноту жизни Церкви он видел не в прошлом и не в традициях, но в ее вечном бытии: «Многие слова Христа нам до сих пор не постижимы, потому что мы еще неандертальцы духа и нравственности, потому что евангельская стрела нацелена в вечность, потому что история христианства только начинается и то, что было раньше, то, что мы сейчас исторически называем историей христианства, — это наполовину неумелые и неудачные попытки реализовать его» (14, 15).

Мир и общество

Если для антропологии Александра Меня ключевым становится явление Бога как Сына Человеческого, то для мирологии таким фундаментальным фактом является любовь к миру: «Евангелие учит нас, что любовь Предвечного к этому миру столь велика, что Он отдает Себя, силу Свою отдает, чтобы мир был спасен» (17, 601). Для о. Александра понятие *мира* — не просто богословская категория, но структура задач христианства. *Без мира нет и Церкви*. Все вопросы, которые возникают в мире, должны находить ответ в Церкви. Каких-то собственных, не касающихся мира проблем, у Церкви нет. Поэтому так остро переживается им неспособность Церкви к ответу. «Если мы, положиа руку на сердце, спросим, является ли присутствие христиан подобным присутствию Христа в мире, то ответ будет, конечно, отрицательным: ...на запросы, которые существуют в обществе, Церковь, т.е. мы, христиане, не отвечаем в достаточной мере» (18, 625).

Важно отметить, что объектом воздействия Церкви в глазах о. Александра является общество — и никоим образом не государство и даже не политика²⁷. Власть и воля к власти в системе его взглядов считаются глубочайшим проявлением падеши человеческой природы. Хотя вместе с апостолом Павлом за задачу власти в ограждении от социального хаоса он признает легитимной, речь никоим образом не может идти об обожествлении или благословении власти. Сотрудничество с государством (союз алтаря и трона) имело исторический шанс «христианизации власти», однако государи использовали его лишь для подчинения Церкви и укрепления собственной власти. Средневековье — столь романтически окрашенное у митр. Иоанна — для о. Александра (в этом он

²⁶ Причиной он называл искусную политику советских властей, поддерживавших крайне правые и пассивные силы и заинтересованных в архаичном, «музейном» образе православия.

²⁷ К политике отношение отца Александра однозначно: «Там полно лжи неизбежной, недаром говорится, что политика — грязная вещь. Политика страшно прагматична... По существу, политика аморальна» (11).

един с Вл. Соловьевым) является одной из самых неудачных страниц христианской истории²⁸. В ситуации духовного ослепления приход атеизма оказался для христиан величайшим благом, который заставил встряхнуться и задуматься о своем христианском бытии. Во всех катастрофах Церкви о. Александр призывает увидеть и ее собственную вину, допущенное ею искажение христианского идеала.

В отличие от государства — бездуховного института — общество является местом, где совершается жизнь людей, присутствует любовь и жажда истины, где проповедуется Слово Божие. Личностное измерение делает сообщество людей общиной и обществом. Противоположностью общества является толпа, в которой вместо личностного начала воцаряется хаос и животный инстинкт: «Воистину все демоны, гнездящиеся в больном человеческом подсознании, вырываются на свободу, когда господствует “дух толпы”» (12, 182). Стихия толпы перекликается с устремлениями тирана: и та, и другой деспотичны и выступают против индивидуальности. Именно власть толпы является почвой для возникновения тоталитаризма. О. Александр Мень подчеркивает значение элиты как персоналистического элемента политической культуры, позволяющего поставить заслон угрозе «охлократии».

«Христианская мысль противопоставляет хрупкому всевластию анонимной массы идеал «соборности», в которой личность, личный выбор и ответственность не должны приноситься в жертву единству». Понятие соборности, которое Мень кладет в основу своего понимания общества, в соответствии с традицией русских религиозных философов, подчеркивает ценность индивидуального элемента для единства целого. Не будет натяжкой определить общественный идеал о. Александра как развитое гражданское общество, базирующееся на достоинстве и правах человека, свободе и любви как основополагающих христианских ценностях. Этот идеал он не экспортировал из зарубежных поездок, которых практически не имел, но вывел из своего христианского идеала. Логично, что политический идеал такого общества он видел в демократии и правовом государстве. Важно подчеркнуть, что комплекс современных либеральных представлений не является «приложением» к богословским воззрениям Александра Менья, но находит в его христианском персонализме свое глубочайшее обоснование²⁹.

Образ общества у Александра Менья нацелен на современность и будущее. Не часто обращаясь к общественной проблематике, он охотно говорит о молодежи и о ее проблемах. Ее неблагополучное духовное состояние, выражающееся, в частности, в криминализации или алкоголизме, должно преодолеваться на путях религиозной, гражданской и культурной активности. Общество должно давать личности возможность для самореализации. Такое общество, которое возникает на руинах традиционного религиозно-центрированного общества, не является продуктом апостазии, но, напротив, — надежды на

²⁸ Как и многие «демократически» мыслящие богословы, светлый момент Святой Руси отец Александр отождествлял с домосковской историей Руси.

²⁹ «Мне кажется, что демократия зиждется на смирении, когда человек способен услышать мнение другого, понять его позицию, быть открытым миру» (11).

воплощение христианского идеала. В секуляризации о. Александр видит ситуацию духовного вакуума, искусственно созданного неживым, умершим духом (традицией или идеологией) на пути стремления личности к духовному поиску и свершению. Он свободно говорит о насущных проблемах современников, о любви, о религиозных исканиях и соблазнах. Замечая многие черты, сближающие его с западным христианством, о. Александра Меня нельзя представлять неким ревностным поклонником Запада и Западной Церкви. Выступая на Западе, он столь же остро, как отечественную патриархальность, критиковал соблазны потребительства и капитализма.

Неудивительно, что о. Александр Меня не только активно поддержал перемены, начавшиеся с перестройкой, но и сам сделал огромный вклад в духовное освобождение общества. «Нам надо взрастить в себе зерно свободного духа и передать его следующим», — говорил он (11). Он не верил, что общество, заряженное тоталитарной психологией, способно построить демократический строй. Но он очень ясно представлял ориентиры перемен, не обольщаясь иллюзиями «советской демократии»³⁰. Об истории России о. Александр никогда не говорил безучастно. Он чувствовал себя россиянином и, хотя по сути являлся диссидентом, никогда не допускал возможности выезда из страны.

Говоря о социально-этических взглядах о. Александра, следует упомянуть о его отношении к русской религиозной философии, под сильным влиянием которой сложилось его мировоззрение. История православия немыслима без русской религиозной философии, которая на рубеже XIX–XX веков разработала комплекс социально-этических представлений эпохи даже более глубоко, чем это имело место в католичестве или протестантизме. Отец Александр рассматривал раскол официального православия с философской мыслью как одно из самых трагичных событий, имеющих для православия далеко идущие последствия. В наибольшей степени его привлекали идеи Вл. Соловьева, у которого он заимствовал тему Богочеловечества и общую оценку исторического процесса. Он написал ряд блестящих очерков об идеях С. Франка, Н. Бердяева, С. Булгакова, Г. Федотова и др. Особенность творчества о. Александра в том, что русскую философскую традицию он соединяет с научно-богословским дискурсом (правда, также чуждым православию), получая ключ к религиозному пониманию современного общества, которым не обладает традиционное православие.

Выдающаяся заслуга о. Александра Меня в том, что ему удалось совместить религию и современность, глубокую религиозную веру с научным знанием. Именно такая вера ведет сегодня за собой общество и открывает ему будущее³¹. Для веры и воцерковления не требуется имитировать средневековое сознание.

³⁰ Поскольку творчество о. Александра всецело приходится на советский период, у него не было возможности высказаться по экономической проблематике, например, в отношении частной собственности.

³¹ Можно лишь отчасти согласиться с диаконом Андреем Кураевым в том, что о. Александр «пришел и ушел вовремя», на промежутке перехода от советского к постсоветскому обществу. Скорее — слишком рано. См. *Диакон Андрей Кураев*. Потевявшийся миссионер // НГ-Религии, № 17 (64), 13 сентября 2000 г.

Но слишком велика цена, которую надо платить за этот синтез. В воззрениях о. Александра православие растворяется в порою абстрактном христианстве, а Россия — в универсальном космополитизме. Для церковного человека в них не содержится удовлетворительного ответа не только на вопрос: «Почему православие?», — но и на провоцирующий вызов митрополита Иоанна.

Вернемся к императиву «христианин в мире». В истолковании о. Александра принадлежность к миру становится бытийным фактом, не менее значимым, чем принадлежность к Церкви. Поэтому задача заключается не только в том, чтобы войти в мир, свидетельствовать о своей вере и реализовывать ее в нем, но и в том, чтобы мир вошел в христианина и встретил там Христа. Христианство становится по существу «мирским», предельно открытым и дружественным миру: «Вы — свет мира... Так да светит свет ваш перед людьми» (Мф 5:14-16). Пожалуй, это и послужило основным пунктом, встревожившим многих верующих. Слишком бескомпромиссная борьба митр. Иоанна заменяется здесь слишком проблемным диалогом. Бог Любви полностью заслоняет собой Бога Саваофа. В результате ключевые проблемы, которые составляют вызов для христианина в мире, — секуляризация, сектизм, упадок Церкви — не воспринимаются как экзистенциальные проблемы, но лишь как эпифеномены. Если митр. Иоанну не удастся мир земной отделить от горнего мира, то о. Александр, в конечном счете, не может провести убедительной границы, отделяющей мир горний от земного. Церковь поглощается миром.

Сливаясь с миром, Церковь рискует потерять всякий интерес для мира. Действительно, аргументация о. Александра часто не отличается от той, которую можно было бы услышать от социолога или психолога. Он оказывается в ловушке, смысл которой формулирует сам: «Одна крайность — стать как все и тем самым потерять всякую свою духовную экспрессивность; другая — противопоставить себя всем и превратиться в секту брызжащих аутсайдеров» (11). Под экспрессивностью следует, конечно, понимать экспрессивность, аутентичную духовной традиции, включающую то особенное, что делает христиан «солью земли».

Неудивительно, что и взгляд на общество теряет у о. Александра свою христианскую конкретность. Подобный образ демократического общества в той же степени близок секулярному либеральному сознанию, что и христианскому. Если митр. Иоанну не удалось постичь универсальности православия, то о. Александр не отразил его уникальности. Корни православия лежат для него в культурном, а не религиозном измерении. Именно это в дальнейшем обусловило огромные трудности интеграции для либерального крыла Православной Церкви.

Митрополит Кирилл (Гундяев)

Десять лет постсоветской эпохи обнаружили исторический формат личности митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, главы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата. Наследник школы митрополита Никодима (Ротова), он возглавил ОВЦС только в 1989 г. и, как никто другой, исключая Патриарха, определял политику, позицию и общественное лицо Церкви в течение десятилетия. Именно по его инициати-

ве и под его руководством была разработана социальная доктрина Русской Православной Церкви, принятие которой можно считать одним из ключевых церковно-политических событий минувшего столетия. В лице митр. Кирилла Церковь получила не только активного и энергичного политика, но и серьезного социального мыслителя.

В отличие от рассмотренных церковных деятелей, которым не удалось удовлетворительным образом обозначить границу, отделяющую Церковь от мира, митр. Кирилл не только обладает ясным пониманием этой границы, но и является мастером «взвешенных формулировок» между «да» и «нет», искусства дипломатического компромисса. Этой стратегией владыке пришлось овладеть уже в силу того, что он оказался в Церкви ответственным за «общение с внешними», за ведение диалога по всем направлениям. В ситуации общественного и внутрицерковного кризиса ему не раз приходилось выдерживать массированные идеологические атаки внутренних и внешних сил³². Это предполагает и объясняет значительное внешнее влияние, которое испытали его взгляды. По сравнению с цельными убеждениями о. Александра Меня или митр. Иоанна, позиция митр. Кирилла претерпела серьезные изменения: из защитника свободы совести он превратился в ее фактического противника.

Удалось ли ему найти формулу консенсуса, способную установить в Церкви мир и адекватно выразить социальную идею православия?

О его взглядах можно узнать не только из многочисленных интервью и выступлений, но и из самой социальной доктрины, которая в значительной мере отражает характерную для него постановку вопросов.

Церковь и общество

Выступления митрополита Кирилла в значительной мере ориентированы на социальную проблематику, поэтому антропологические представления не выступают у него на передний план, хотя, в конечном счете, играют решающую роль при определении политического выбора. Исходным пунктом социально-этических воззрений владыки служит скорее еkkлeзиологическая проблема взаимоотношения Церкви с современным обществом. Именно из еkkлeзиологической перспективы митр. Кирилл обосновывает необходимость определения христианской социальной позиции.

Социальная задача Церкви заложена в самом ее спасительном служении: «Церковь, соединяя в себе временное и вечное, человеческое и божественное, видимое и невидимое, — пишет митр. Кирилл, — этим временным, человеческим и видимым включена в историю. Она разделяет с миром его историческую участь, являясь в то же время закваской, призванной духовно обновлять и преобразовывать человеческую семью» (22). В общественной жизни не должно существовать областей, которые были бы недоступны для христианского служения и свидетельства. Вера будет неполной, если не найдет преломления в

³² Среди наиболее заметных следует назвать перманентную критику изнутри «антиэкуменистов» и «антилибералов», медиа-скандалы с «церковными финансами», имущественные конфликты с Русской зарубежной и другими православными Церквями и др.

социальном измерении жизни³³. Владыка выступает категорически против позиций, которые отводят религии место исключительно в частной жизни. Не говоря уже о том, что не только личности, но и народы окормляются Церковью³⁴, социальные условия, способствуя или препятствуя греху, играют огромную роль для возможности индивидуального спасения. Противостояние греху и утверждение нравственных ценностей входит в пророческое служение Церкви: «Голос Церкви должен быть голосом совести, пробуждающим спящую совесть людей, формирующим систему нравственных ценностей» (22). Не принадлежа политике или экономике и не включаясь в них, Церковь должна иметь возможность выносить о них суждение, руководствуясь христианским идеалом. С другой стороны, в социальном присутствии и нравственной работе Церкви должно быть заинтересовано и общество, развитие которого невозможно без опоры на духовные и нравственные ценности. Поэтому голос Церкви и ее язык должны быть обращены не только к христианам, хотя это должна быть именно христианская весть³⁵.

Подчеркивая социальное измерение служения Церкви, митр. Кирилл озвучен главной проблемой, вызывающей его беспокойство, — секуляризацией общества и ослаблением в нем позиций Церкви. Без энергичной социальной экспансии Церкви грозит потеря всех рычагов воздействия на общество с целью противостояния этой опасности. Атеистический коммунизм представляет собой апогей этой тенденции, когда «общество не только отказалось слушать голос Церкви, но и отказало Церкви в праве возвещать свой голос»; в настоящее же время антихристианское движение олицетворяет либерализм. Если митр. Иоанн перенес борьбу между Церковью и светским миром в свой специфический «горный» мир, то митр. Кирилл сохраняет реализм и не утрачивает надежды выдержать схватку еще «на земле». Это помогает ему схватить суть реальных изменений, происходящих в современном обществе.

«Со времени Возрождения отчетливо обнаружилась главная тенденция общественного развития: политика, экономика, наука, техника окончательно стали автономными сферами, не признающими над собой нравственного закона и духовного начала» (24). Именно в этом заключается суть процесса секуляризации сознания в Новое время. «Секуляризация охватила не только человека и общество, но и природу, которая в сознании людей стала существовать сама по себе, без какой-либо связи с Богом. Отчуждая Бога от природы и секуляризи-

³³ «Невозможно оставаться христианином за дверью собственного дома, в кругу семьи или в уединении своей кельи и переставать быть им, поднимаясь на профессорскую кафедру, усаживаясь перед телевизионной камерой, голосуя в парламенте и даже приступая к научному опыту» (20).

³⁴ «Церковь освящает не только личности, но и нации, она спасает не только души индивидуумов, но и души народов, возвышая национальное самосознание до осознания себя орудием в совершении Божьего промысла» (23, 123).

³⁵ «Пастырский ответ Церковью на проблемы справедливости, мира и целостности творения должен, как кажется, использовать язык, доступный для понимания не только христиан. Вместе с тем по существу это должен быть специфически христианский ответ, ибо именно такого ответа ждут сегодня от Церквей» (22).

руя ее, человечество изменило и условия своего отношения к ней». Митр. Кирилл отмечает стремительность динамики социальных изменений, радикально меняющих социальный ландшафт, существовавший в течение тысячелетий. Индустриализация, урбанизация, развитие транспорта, средств связи и информации способствуют возникновению совершенно новых культурных форм и колоссальных сдвигов в мышлении людей, масштаб которых еще даже не осознан. «Мир сделался открытым, диффузным, взаимопроницаемым... Новая реальность есть реальность, созданная человеком, она как бы не принадлежит к старому космическому порядку» (25). В этом мире доминирует глобализм всеобщего и сохраняется все меньше возможностей для самоидентификации частного, достигавшейся прежде благодаря культурно-национальным традициям. Люди оказываются выбиты из привычных социальных страт и нормативных рамок: «Ассимилированное сознание, лишенное духовной опоры и нравственного ориентира, развернутое в сторону материальных ценностей и полностью секуляризованное, не способное противостоять искушению, сознательно или бессознательно принимает сторону дьявола» (23, 115).

Ускоренное социально-экономическое развитие вызывает у митр. Кирилла обеспокоенность не только таящимися в нем опасностями, но и нарастающим кризисом бездуховности. Если в первой половине 90-х годов он был готов сказать этому обществу «да»³⁶, то со второй половины 90-х он становится все более склонен отвергнуть этот путь, который идентифицируется у него с мировоззренческой позицией либерализма. Задумываясь об основаниях своего негативного ответа, владыка все чаще обращается к исследованию антропологических оснований социального порядка. Именно в этой сфере мы можем отметить разительную динамику изменений его социально-этических воззрений, которую и попытаемся отразить.

Человек и свобода

Формулируя на закате перестройки исходный пункт социально-этической позиции Церкви, митр. Кирилл говорил следующее: «Социальный порядок должен быть обращен к человеку и способствовать раскрытию потенциала личности. Общественное устройство вторично, первична — человеческая личность». «Человек есть центр и цель всей социально-экономической системы», — заостряет свою формулу владыка, практически вплотную приближаясь к антропоцентристской позиции католического социального учения. Полагая в основу своей антропологии учение о богоподобии человека, он естественным образом выводит отсюда существование неотъемлемых прав человека: «Исключительное достоинство человеческой личности, возвышение ее Творцом пред всем творением (Быт 1:28; Пс 8:4-9) требует, чтобы общественные отношения обеспечивали осуществление прав и обязанностей личности, создание условий жизни, соответствующих человеческому достоинству. Общество должно предоставлять каждому возможность иметь дом, пищу, одежду, свободно избирать образ жизни, создавать семью, воспитывать детей в соответствии со своими убежде-

³⁶ «Нужно уважать законную автономию современных форм самоорганизации общества» (21, 135).

ниями, избирать род занятий и иметь работу, получать информацию и обмениваться ею, действовать в личной и общественной жизни на основании нравственных норм, заложенных Богом в природу человека, быть гарантированным от посягательств на жизнь, здоровье или достоинство, ответственно пользоваться гражданскими свободами. Особо следует подчеркнуть важность обладания свободой совести, предполагающей, в частности, выбор между религией и атеизмом, а также религиозной свободой, предоставляющей право свободно исповедовать религию.

Нет никаких оснований не причислять митр. Кирилла к «демократам», которые активно способствовали эрозии и крушению советских ценностей. Движимая борьбой за свободу совести, Церковь добилась принятия первого «религиозного закона» (1990), впервые дающего ей право на общественную деятельность.

Время однако довольно быстро показало, что Церковь в постсоветской России, во-первых, может рассчитывать на большее, чем быть, согласно закону 1990 г., одной из многих религиозных организаций, а во-вторых, способна передвинуть границу в лаицистской (то есть светской, «мирской») модели, отделяющей Церковь от государства, значительно дальше, чем она пролегла первоначально. И вот, готовится «второй» религиозный закон (1997), который должен дать Церкви статус *prima pontifex*. «Нам не нужно никаких действий, нарушающих свободу совести...», — аргументирует владыка в 1995 г. — Принцип свободы совести должен соблюдаться неукоснительно. Именно поэтому православный священник должен иметь возможность приходить туда, где присутствуют православные люди» (21, 139). Эта мысль в будущем может получить такое продолжение: православный священник может появиться везде, поскольку в России везде он встретит православных людей. И напротив, именно по этой причине присутствие в этой же аудитории священнослужителей других вероисповеданий нелогично.

Итак, с помощью принципа свободы совести... ставится под сомнение свобода совести.

Очевидно, что сама вера в человека, освящающая принцип свободы его совести, у владыки уже значительно подорвана. Поэтому не удивительно, что с 1998 г. он начинает выступать перед общественностью с радикально пересмотренной антропологической позицией. Тем не менее эта позиция ссылается на традиционные воззрения отцов Церкви, у которых божественное достоинство человека не заслоняло глубины его настоящего падения, а свобода рассматривалась как онтологическая связь с истиной:

«Истинная свобода обретается человеком по мере освобождения от греха, от тяготеющей над ним темной власти инстинкта и злого начала. Свобода дарована человеку для того, чтобы он имел возможность самостоятельно сделать выбор в пользу осознанного подчинения себя абсолютной и спасительной воле Божией. Таков предложенный человеку путь свободного соединения с Богом через всецелое подчинение Ему и, таким образом, уподобление Ему в святости».

Полностью противоположной такому пониманию свободы является «страшная свобода» эгоизма, не связывающая себя с Божеством и лишенная нравственной ответственности. Именно такое понимание человека и его свободы обнаружил митр. Кирилл в либеральной антропологии: «Либеральная докт-

рина включает в себе идею раскрепощения греховного индивидуума, а значит, высвобождение потенциала греха в человеческой личности. Свободный человек вправе отбросить все, что сковывает его, препятствует ему в утверждении его греховного «Я»» (20).

Здесь — истоки формулы отношения к социуму, пронизавшей впоследствии как свет молнии все содержание социальной доктрины: «испорченный грехом мир» (3, 2), «в котором в центр всего ставится помраченная грехом человеческая личность» (16, 4). Утверждение свободы совести в современных обществах рассматривается как процесс «приватизации» религии, «массовой апостасии», распада системы духовных ценностей (3, 6).

По своей сути — это позиция, полностью перекликающаяся с позицией митр. Иоанна.

Либерализм — традиционализм

Поздний этап творчества владыки Кирилла характеризуется политическим заострением обнаруженной им мировоззренческой альтернативы. Он говорит о потребности в цивилизационном стандарте, который должен служить адекватным ответом на современные вызовы. В доминирующем сегодня неолиберальном стандарте «в ядро антропоцентрической вселенной был помещен богоподобный Человек как мера всех вещей. Причем не просто человек, но именно человек падший, находящийся во грехе» (25). Этот антропоцентристский стандарт восходит к эпохе Реформации, совершившей отказ от церковной традиции как нормы жизни, и к Возрождению, создавшему культ человека. Благодаря западному христианству произошло «освящение союза неоязыческой доктрины с христианской этикой»³⁷, что привело к Французской революции с ее идеалом, сформулированным в «Декларации прав человека и гражданина». Этот либеральный идеал митр. Кирилл однозначно характеризует как антихристианский (20). Заложенные в нем антропоцентризм и отвержение традиции и религии в равной степени перенимают как левые социал-демократические и коммунистические (в крайних формах воинствующего атеизма), так и правые либеральные или фашистские партии (23, 112-113). Границей свободы и источником нормотворчества в современном либерализме является лишь свобода другого индивида, что для владыки совершенно недостаточно. Митр. Кирилл принимает лишь одно достижение либерального идеала — в области международных отношений — выразившееся в делегитимации войны и в принципе культурной толерантности. В целом же либеральный стандарт служит стиранию многообразия культур и разрушению культурной идентичности народов (здесь митр. Кирилл примыкает к К. Леонтьеву).

Противостоять неолиберальному стандарту должен такой, который исходит из духовно-религиозной сущности человека, в котором нормой жизни становится религиозная традиция и нравственный закон, который защищает культурную и политическую независимость наций. В выработке нового цивилиза-

³⁷ Историку правовой мысли будет любопытно узнать, сколь высоко в истории развития понятия прав человека владыка оценил вклад иудейской мысли (Маймонид, Крескас, Ибн Эзра) и Б. Спинозы.

ционного стандарта заключается историческая задача России. «Перед Западом и Востоком стоит труднейшая, но отнюдь не безнадежная задача совместного отыскания баланса между прогрессом в сфере соблюдения прав личности и меньшинств, с одной стороны, и сохранением национально-культурной и религиозной идентичности отдельных народов, с другой» (25). Необходимость такого стандарта вытекает из неприятиемости «приватизации» религии: человек должен иметь перед глазами такую жизненную модель, которая вытекает из его религиозных ценностей и традиций. В христианстве она сформулирована в норме верности Преданию: «Предание является нам как совокупность вероучительных и нравоучительных истин, которые через свидетельство Святых Апостолов приняты Церковью, сохраняются ею и развиваются применительно к обстоятельствам ее исторического существования и вызовам, обращенным к Церкви различными эпохами... Предание — явление нормообразующее, ибо Предание есть не что иное, как норма веры. Это означает, что понятие нормы выступает в качестве важнейшей характеристики веры. Ибо всякий отход от Предания понимается нами прежде всего как нарушение нормы веры, или, говоря кратко, как ересь».

Таким образом, верность Священному Преданию митр. Кирилл трактует предельно широко, трансформируя его в политический традиционализм. Соединяя «вероучительные» истины с «нравоучительными», которые к тому же способны бесконечно развиваться, он, очевидно, готов включить в комплекс Предания (тем самым в компетенцию морального богословия) даже те области, которые являются результатом структурного развития общества, немалого в эпоху отцов Церкви: право, политику и экономику, гражданское и мультикультурное общество в том сложном дифференцированном состоянии, в котором они сегодня находятся. Другими словами, автономия социальных секторов, которая прежде казалась легитимной, преодолевается ныне в модели, которая строится на основе религиозного синтеза. Ключевыми понятиями этой модели становятся «воцерковление», под которым владыка понимает «одухотворение личной и общественной жизни», и «соборность» («церковный глобализм») — полнота, «способная вместить все присущее миру культурное и национальное многообразие» (23, 115).

Тем не менее в области практической политики митр. Кирилл не идет так далеко, а ограничивается принципами культурной самобытности, консерватизма и регионализма, которые должны противостоять неолиберальной глобализации. В отношении к традициям он призывает брать пример у эффективно развивающихся стран Юго-Восточного региона. Разумеется, владыка не принимает крайние варианты позиции традиционализма, такие, как изоляционизм, интегризм, национализм, антиэкуменизм. Их разоблачению, как противных природе христианства и Церкви, он посвящает немало сил. Как показывает анализ социальной доктрины, именно указанное конструктивное противопоставление либерализма и традиционализма становится методологической базой, позволяющей достигнуть эффекта тонко проведенной «золотой середины»³⁸.

³⁸ См. Костюк К. «... Человек в своих таинственных глубинах свободен»: к возникновению социального учения православия. // Церковь: шаг в новый век. М., 2000.

Попробуем непредвзято взглянуть на это противопоставление. Очевидно, что представленный митр. Кириллом образ либерализма — достаточно самостоятельная философская конструкция, ибо никакой либерал не призывал и не призывает к раскрепощению «греха» (это были скорее антилибералы), а смешивать под именем либерализма в одну кучу все нерелигиозные направления в политике едва ли будет корректным (куда же войдут христианские демократы?). Как справедливо отметил Я. Головин, либерализм не выступает ни против, ни в пользу греха, потому что он говорит о других проблемах — о социально-экономическом развитии общества и способной осуществлять его личности³⁹. Тезис о моральной несостоятельности либерализма тоже не проходит проверки: в странах «победившего либерального стандарта» ниже преступность, бытовая безнравственность, выше законопослушность. Напротив, этого, как правило, не наблюдается в бедных странах, ориентированных на традицию. Приверженность традиции вовсе не означает ориентации на веру как норму жизни: советское общество было в высшей степени традиционалистским, даже если традиционализм соседствовал с «идеологией прогресса» и радикальностью социальных экспериментов⁴⁰. Вызывает недоумение и тезис о том, что Россия не участвовала в выработке цивилизационного стандарта: до революции она считалась если не «жандармом Европы», то оплотом традиционализма, а в советскую эпоху с успехом экспортировала по всему миру антилиберальный цивилизационный стандарт. Распространение либерализма митр. Кирилл объясняет тем, что мир не извлек урока из трагичного XX в., в то время как «победа» либерализма была скорее «уроком» из эпохи губительного идеологического противостояния.

Антилибералистская риторика не должна заслонять суть синтеза, о котором говорит владыка: универсальное и частное, глобальное и региональное, прогресс и традиция являются не абстрактными, а диалектическими противоположностями, каждая из которых немыслима без другой. Игнорирование этого обстоятельства может вести к тяжелым богословским ошибкам, которые, как мы могли убедиться, имеют место у предыдущих авторов. В концепции митр. Кирилла это противостояние скорее является «мирным существованием» и диалогом. Не проблематика, которая мало чем отличается от таковой у митр. Иоанна, а принцип толерантности внедряется в дискурс владыки, взрывая железную логику голого антилиберализма. На принципе толерантности он обосновывает не только международный порядок, но и дружественное сосуществование религий и межкультурный диалог. В этой связи становится почти невозможным определить позицию митр. Кирилла политически корректно. В литературе она нередко обозначается как либерально-консервативная (консервативно-либеральная), но, как было сказано, антилиберальный пафос является ведущим мотивом многих выступлений иерарха. Антикоммунистическая риторика в них почти не присутствует. В то же время понятно, что именно либерализм, а не

³⁹ Головин Я. О соотношении между православными и либеральными ценностями (Мой ответ митр. Кириллу) // «День за днем» на www.kulichki.ramble.ru, 2000.

⁴⁰ См. Вишневский А. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. М., 1998, с. 5-6.

коммунизм является сегодня политически актуальным оппонентом христианства.

Мы окажемся ближе к истине, если вспомним об основной интенции, руководящей построениями владыки — *антисекуляризме*. В свете антисекуляризма все секулярные политические концепты оказываются равными. Позитивная программа, которая может быть выведена из этой, в принципе, негативной установки — аморфная *теократия*, которая способна синтезировать элементы любых концепций. Именно этот логический шаг, разъясненный в одном из интервью⁴¹, мы и встречаем в социальной доктрине при изложении вопроса о предпочтительных для христианства формах государственной власти. Характерным для позиции митр. Кирилла является то, что он никогда не был сторонником православной монархии. Он является одним из немногих иерархов, которые видят кульминационное для Церкви событие в Поместном Соборе 1917–1918 гг. и, соответственно, в Февральской революции 1917 г. Монархия, как это объясняется в «Основах социальной концепции», имеет перед демократией лишь то преимущество, что формально ссылается на божественную санкцию власти. Согласно Библии, она уже является ступенью отпадения от прямого Божественного управления, как оно представлено в Книге Судей. Судейство, то есть архаичная (родовая) и аполитичная форма теократии, становится — в силу абстрактности и своей абсолютной нерелевантности современной проблематике — чудотворной находкой, позволяющей равно устраниваться от всех политических форм и сохранить при этом теократический масштаб суждений. Этот негативный теократический идеал позволяет свободно манипулировать богословской риторикой, привлекая как «христианско-патриотическую», так и, в случае необходимости, «христианско-демократическую» аргументацию. Такая позиция позволяет митр. Кириллу как спокойно дрейфовать, гибко реагируя на изменения внутрицерковных или политических настроений, так и настойчиво доносить до слушателей и читателей свою экклезиологическую обеспокоенность, как «парить» над схваткой, так и «спускаться на землю», нанося сильные политические удары⁴². Политический прагматизм становится естественным дополнением безупречно обоснованной «теократии».

Таким образом, не некий непоследовательный консервативный либерализм, но «негативная теократия» ложится в основу общесоциальной программы, которую можно найти как в выступлениях митр. Кирилла, так и в социальной доктрине РПЦ. Теряет свое принципиальное значение и эволюция взглядов владыки. Попробуем очертить ее основные пункты.

1. *Отделение Церкви от государства*. Митр. Кирилл высоко оценивает обретение Церковью независимости от государства. Эта независимость открывает

⁴¹ Интервью митр. Кирилла телевизионной передаче «Канон». См. Недумов О. Теократия как высшая форма государственности // НГ-Религии, 9 августа 2000 г.

⁴² В отличие от других официальных представителей Московской Патриархии, митр. Кирилл не чурается конкретной политической критики. В частности, после кризиса 1998 г., он решительно обвинил в неудачах либеральное правительство последних 7 лет и нелестно отзывался о Б.Ельцине. «Невозможно отделаться от чувства, — говорил он в 1995 г. перед политиками, — что мы имеем дело не с плохой политикой, а с плохими людьми» (21, 131).

Церкви каналы прямого воздействия на общество: «Русская Православная Церковь приемлет отделение Церкви от государства, но выступает против отделения веры от жизни, а Церкви от общества» (22). Взаимодействие с обществом подразумевает одновременно широкую программу церковно-государственного сотрудничества.

2. *Социально ориентированная экономика.* Негативная теократия позволяет полностью устранить от необходимости выбирать не только форму власти, но и форму собственности: все оказываются хороши, если соответствуют нравственным критериям хозяйствования. Вместе с тем эти критерии не столь неопределенны, чтобы не увидеть за ними образ социальной рыночной экономики⁴³. Тем не менее нам не известно, чтобы владыка высказывал позитивное суждение в отношении частной собственности, восстановление которой является сутью произошедших в России изменений.

3. *Право и нравственность.* Общественная жизнь невозможна, если «не соблюдаются законы и если граждане игнорируют свои обязательства перед обществом» (22). Условием же законопослушности граждан является нравственность, чувство долга.

4. *Социальная справедливость.* Это один из основных императивов политики, в особенности в том, что касается незащищенных слоев населения. Вместе с тем, «равенство не должно быть уравниванием».

5. *Общественное благо.* Общее благо — понятие, формулирующее естественную цель политической жизни. «В созидании общего блага, то есть совокупности условий, которые обеспечивают совершенствование личности и общества, смыкаются такие понятия, как нравственность, демократия и экономика» (22).

⁴³ «Экономика, как и все иные «горизонтальные» измерения жизни, должна способствовать духовному развитию человеческой личности, уважать ее достоинство и помогать ей реализовывать свое призвание... Важно, чтобы экономическая деятельность развивалась в границах нравственной ответственности, чтобы она духовно не уродовала, не порабощала, не изматывала человека, не способствовала концентрации власти в руках отдельных лиц или групп, не влекла за собой бездумную эксплуатацию природных ресурсов и загрязнение среды человеческого обитания, не порождала социального напряжения и конфликтов. Одновременно экономическая система должна быть достаточно гибкой, чтобы предоставлять возможность каждому проявлять разумную инициативу, раскрывать свои таланты, трудиться свободно и творчески, эффективно создавая необходимые для себя и для общества ценности. Экономическая система должна сочетать в себе два основных измерения: эффективность и справедливость. В нахождении баланса между ними — ключ к построению жизнеспособной и гуманной экономики. Совершенно очевидно, что было бы бесчеловечно, забыв о справедливости, любыми способами наращивать экономическую эффективность. На пути такой экономики — явная или скрытая эксплуатация, потеря права на труд, успех одного за счет ущерба другого, попрание достоинства человека. Но бессмысленна и справедливость без экономической эффективности. Такая справедливость оборачивается равенством всех в условиях нищеты, потерей инициативы, общественным застоєм и, наконец, вопиющим нарушением справедливости в более широком, чем только экономический, в социальном контексте» (22).

6. *Мир*. Мир и согласие — важное условие выживания общества, за которое большую ответственность несет Церковь: «Нам, проповедникам Евангелия Христова, вверено благовестие мира» (26).

7. *Демократия*. Митр. Кирилл, критикуя либерализм, никогда не выступает против демократии, подчеркивая, что в ходе развития гражданской культуры формируется и нравственная ответственность гражданина⁴⁴. Вместе с тем, исходя из «непредпочтительности» для Церкви какого-либо политического строя, он никогда не обсуждает проблемы демократии, исключая вопросы участия Церкви в политической борьбе.

8. *Культурный и религиозный плюрализм*. «На протяжении двух тысячелетий, живя в различных условиях, Церковь использовала и освящала различные культуры многих народов» (22). В России никогда не существовало и проблемы сосуществования различных религий. Плюрализм культур, как и свобода совести, имеют однако границы, как только «перестают служить возвышению человека». Митр. Кирилл не отвергает существование разных культурных идеалов, но и не обещает им «мирной жизни». Во внешней политике это представление естественно переходит в отрицание моноцентричности и требование многополярности мира.

9. *Национальное и государственное возрождение* — важная тема выступлений. «Примирение и единение ради созидания достойного будущего страны, ее духовного и материального благоденствия — вот что, на мой взгляд, должно сегодня стать императивом для всех ответственных государственных мужей и общественных деятелей» (26). Национальная идентичность и самобытность являются необходимым условием развития нации. Критикуя национализм, владыка говорит об универсальном призвании России. Особенно подчеркивается роль Церкви в национально-патриотическом воспитании. «Церковь — за патриотизм, замещанный на евангельской закваске, а вовсе не на чувстве национальной исключительности и враждебности» (26).

10. *Кризис*. «Ключевым понятием нашего времени становится кризис... Мир, сползающий в пропасть, возникшую в результате греха и дехристианизации, судится судом Божиим» (26). Проблемы духовного, экономического, политического, культурного, экологического кризиса — как в России, так и в мире — занимают важное место в выступлениях митр. Кирилла. Выход из всеобъемлющего кризиса — на пути духовно-нравственного обновления общества: «От того, насколько гармоничны отношения человека с Творцом, зависит все многообразие его отношений с тварным миром, зависит само выживание человеческой цивилизации» (26).

11. *Экуменизм*. Эта проблема — основной предмет внутрицерковной борьбы и критики митр. Кирилла со стороны православных фундаменталистов. Если последние видят здесь «измену православию», то владыка считает межрелигиозный диалог неотъемлемой задачей Церкви, вытекающей из ее миссии сви-

⁴⁴ «Не следует упускать также из виду, что чувство ответственности укрепляется в человеке тогда, когда условия жизни не подрывают его достоинства и отвечают его призванию, когда общественные структуры обеспечивают доступ каждого к процессу принятия решений» (22).

детельства православия. Он обращает внимание на кризисное состояние этого диалога, спровоцированное во многом прозелитической деятельностью или модернизационными устремлениями западных церквей.

Характеристика социально-этических воззрений митр. Кирилла будет неполной, если не указать на особенности его видения мировой и отечественной истории. Как уже было сказано, развитие западной цивилизации воспринимается им под знаком апостасии и секуляризации. Глобализация — очередной этап цивилизационного кризиса, которым охвачен мир. Тем не менее владыка далек от того, чтобы повсюду видеть знаки пришествия Антихриста.

Характерны и акценты, которые он расставляет при оценке отечественной истории. Не только Святую Русь, но и Московское царство он трактует как социальный идеал, который не обязательно необходимо измерять масштабом реальной политики. И все же в вопросах суверенитета Церкви или государства — в оценке роли патриарха Никона, Петербургского периода — митр. Кирилл неизменно высказывается за суверенитет Церкви. Он весьма критически оценивает положение Церкви в Российской Империи и неоднократно говорит о бедственном положении Церкви в советское время. Несмотря на первоначальную поддержку идей перестройки, он не без сожаления воспринимает падение Советского Союза и реформаторскую политику, в которой «вместе с водой выбросили нечто большее, чем ребенка». Чеченская проблематика не стала для него предметом этической рефлексии, зато событиям в Югославии было уделено самое пристальное внимание⁴⁵.

Таким образом, в воззрениях митр. Кирилла нельзя не увидеть попытки найти некоторую прагматичную компромиссную позицию, которая могла бы содействовать внутрицерковному консенсусу и созданию позитивного для общечеловеческого образа конструктивно и реалистично мыслящей иерархии. Вместе с тем, очевидно, что если в его ранних выступлениях можно найти созвучие позиции о. Александра Меня, то его поздние взгляды отличаются от взглядов митр. Иоанна лишь мягкостью постановки акцентов. Эволюция социально-этических воззрений митр. Кирилла действительно отразила общую эволюцию самосознания Церкви в 1990-е годы, характеризующуюся поиском самоидентичности в условиях глубокого кризиса общественного сознания. Важно подчеркнуть, что все направления поиска этой самоидентичности — даже если они получили неудачную крайнюю и одностороннюю форму — легитимны: по слову апостола, в Церкви должны быть разномыслия. Логично, что в названной эволюции победили скорее тенденции новообретения традиции, мировоззренческой и корпоративной замкнутости, а не диалога и открытости. Поэтому способность адекватно отразить чаяния и самочувствие верующих и в то же время возвысить голос в пользу открытости, активной социальной роли

⁴⁵ Отдельной страницей анализа могла бы послужить активная церковно-политическая деятельность владыки, широкий спектр направлений которой — от заботы о финансовом обеспечении Церкви или развитии социальной диаконии до международных контактов и разрешения сложных межправославных конфликтов — в значительной мере отражает принципы общего подхода к социальным проблемам. Но это бы выходило за рамки настоящей статьи.

Церкви не может не свидетельствовать о выдающихся политических и лидерских способностях главы Отдела внешних церковных связей. Достаточно ли это для того, чтобы вывести Церковь из исторического гетто и сделать ее конструктивной и ведущей общественной силой — другой вопрос⁴⁶.

* * *

С начала 90-х гг. от священноначалия Русской Православной Церкви можно нередко слышать, что нравственное обновление, без которого невозможно возрождение России, немыслимо без опоры на Церковь. Церковь является совестью народа и носителем его нравственных ценностей. Эти дары она хранит в преизобилии и рада передавать народу.

В апелляции к нравственности подразумевается, что то, что исходит от Церкви, *имеет нравственную основу*, а вовсе не то, что нравственностью является то, что исходит от Церкви. Церковь способна познавать, но не «творить» нравственный закон. Сравнение взглядов трех ведущих православных деятелей позволяет оценить серьезность этих заявлений. Вносят ли они мир в общество? Дают ли ценностные ориентиры для строительства нового общества? Может ли Церковь претендовать на то, чтобы быть «совестью нации»? Ближайшее рассмотрение не позволяет дать однозначные ответы.

Религиозное обоснование антисемитизма, авторитаризма, империализма, милитаризма, национальной автаркии едва ли сегодня может претендовать на высокое этическое достоинство. Даже если критика потребительства является высоко моральной темой проповеди, нельзя забывать, что эта проповедь ведется в стране, в десятки раз отстающей по качеству потребления от развитых стран мира, и что проблема преодоления нищеты должна приобретать в слове Церкви хотя бы равное значение с проблемой преодоления пороков, связанных с богатством.

Оставляя оценку этических вкусов в стороне, мы готовы удовлетвориться тем, что получили из трех примеров достаточно ясное представление об общем характере социально-экономических воззрений Церкви. Тот факт, что позиция о. Александра Меня не получила развития и встретила активное неприятие большей части церковной общественности, а либеральные воззрения митр. Кирилла дали сильный крен в сторону традиционализма, говорит о том, что общая позиция Церкви окончательно определилась и стабилизировалась и едва ли следует ожидать ее изменения в ближайшие десятилетия. Однако *именно это обозначает пункт, с которого можно ожидать начало движения*. Показательно, что после организационного разгрома реформаторских сил в Церкви наступила эпоха примирения с ними, а вместе с внутренней консолидацией Церкви возросла ее общая готовность как к внутреннему диалогу, так и к диалогу с миром — уже не на языке последнего, а на собственном языке.

В этой «исходной позиции» Церковь выдвигает в качестве своего кредо опору на дореволюционную традицию, выводя на передний план такие эле-

⁴⁶ Показательно, что социальная доктрина не вызвала сопротивления со стороны фундаменталистов и получила позитивную оценку представителей либерального крыла в Церкви.

менты, как религиозно ориентированный характер политики (выражающийся в «защите православия»), национально-патриотическое сознание, предпочтение, которое отдается восстановлению сильного государства по сравнению с идеей построения гражданского общества, критика либерализма и западной культуры, негативное отношение к глобализации и секуляризации современного мира. Это кредо находит подтверждение и в политических акциях последних лет⁴⁷. Другими словами, Церковь позиционируется как вполне определенный политический сегмент консервативной ориентации⁴⁸.

Нельзя не обратить внимания на богословские корни этой установки. Как видно из сказанного выше, аутентично православной является позиция, полагающая в свое основание теократические и теонормные представления. Попытки разведения религии и политики или ее «опосредованного» христианского обоснования (например, посредством концепции естественного права, как в католичестве, или учения о достоинстве человека, как в протестантизме) едва ли находят здесь признание. Теократия, какую бы форму она ни принимала, с необходимостью влечет за собой целый шлейф представлений политической метафизики, таких, как монархизм и авторитаризм (державность, антидемократизм), холизм (антиплюрализм), традиционализм (антимодернизм), интегризм (антитолерантность), коллективизм (антиперсонализм). Кроме того, если исходить из такой позиции, крайне сложно выйти за пределы морального богословия.

Вместе с тем, нет ничего невозможного в том, что в Церкви найдет место позитивное видение современности — то есть такое видение современности, которое бы сопрягалось с пророческой вестью о «новом граде» и с теоцентрическим характером богословских представлений⁴⁹.

Крайний консерватизм в Церкви до сих пор остается отражением ее маргинального положения в обществе, о котором мы говорили в начале. Причину того, что Церковь не использовала сполна шанс демаргинализации, следует видеть, среди прочего, в том, что постсоветское общество ей этот шанс так и не предоставило. Церковь не была реально, на правах конструктивной силы,

⁴⁷ Среди наиболее заметных событий такого рода: принятие закона о религиях (1997), горячее соучастие в судьбе Югославии (1999), протесты против антихристианских акций (фильм Скорцезе, 1998), против принятия «налоговых индексов» ИНН (с «антихристовой» символикой, 2000).

⁴⁸ Речь идет, разумеется, не о всех верующих, а об активистах, которые стремятся определять свое социальное поведение религиозными основаниями.

⁴⁹ Вероучительные и нравоучительные убеждения православия вполне могут способствовать процессу изменения авторитаристского мышления: на место «христианского государства» может быть поставлено «христианское гражданское общество», на место «самодержавия нравственного закона» (Л. Тихомиров) — нравственно озабоченная демократия, на место приоритета коллектива — соборно понятая свобода личности, соответствующая ее богоподобному достоинству и сопрягающаяся со смирением и чувством долга перед обществом. Причем христианский образ современности не будет либеральным, а напротив, может успешно противостоять либеральной концепции человека. Пока же те, кто призваны открыть и донести до верующих это видение, все еще не «отмечтали» средневековья и не освободились от пут досовременных представлений.

привлечена к строительству «новой России». Ей «не было оказано доверие», что очевидно хотя бы из ее нищенского состояния и отсутствия (за некоторыми исключениями) серьезных социальных или политических проектов⁵⁰. Более того, динамика «православной консолидации» во многом оказалась в русле общей динамики российского политического сознания, разочарованного неудачами реформ и не готового к демократической «культурной революции». В наглядно проявившемся с начала путинского периода стремлении к консолидации общества, к «собираанию государства» и ограничению свободы, «которую мы не сумели переварить», Церковь стала силой, в значительной мере определившей этот поворот. В этом смысле она оказалась вовсе не инертной массой, а институтом, тонко чувствующим и даже направляющим общественные веяния.

Пора отказаться от наивного социологического взгляда, идентифицирующего с Церковью какое-либо мировоззрение — традиционалистское или прогрессистское. Самосознание Церкви — неотъемлемая часть самосознания общества, какое оно есть, хотя Церковь и «не от мира сего» и имеет собственную мировоззренческую идентичность. Как было показано в статье, с помощью богословских аргументов может в равной степени быть обоснована как монархия, так и демократия, даже если этим обоснованием будет такой необычный интеллектуальный «продукт», как «негативная теократия». Корни расцвета традиционализма или антисемитизма, монархизма или фундаментализма, в конечном счете, нужно искать не в Церкви, а в обществе.

Важно и другое. Отказывая Церкви в признании и сотрудничестве, общество обрекает ее на консервацию. Сделав ставку на «социальную нейтрализацию» Церкви как силы, неспособной к движению, российская политическая элита, начиная с Петра Великого, сама способствовала тому, чтобы многократно усилить ее тормозящий эффект, которого она рассчитывала избежать. Анализ социально-этических взглядов трех современных православных деятелей и мыслителей показывает, насколько интенсивно, впервые после многих поколений полу-молчания, Церковь начала разрабатывать свои социальные представления. Можно быть уверенным, что активная общественная интеграция поможет открыть Церкви путь для действительного исполнения своей высокой этической миссии.

Цитируемая литература

1. Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) Русский узел // Он же. Одоление смуты. СПб., 1996.
2. Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) Державное строительство // Он же. Одоление смуты. СПб., 1996.
3. Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) Быть русским // Он же. Одоление смуты. СПб., 1996.

⁵⁰ К наиболее заметным политическим проектам принадлежат как раз те, которые организованы митр. Кириллом («Национальный Собор», ряд международных конференций).

4. Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) Путь ко спасению // Он же. Одоление смуты. СПб., 1996.
5. Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) «Смотрите, не ужасайтесь...» // Выбор судьбы. Проблемы современной России глазами русских архиереев. СПб., 1996.
6. Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) Голос вечности. СПб., 1995.
7. Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) Русь Соборная. Очерки христианской государственности. СПб., 1995.
8. Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) На острие меча // Православие. Армия. Держава. СПб., 1993.
9. Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1995.
10. Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) Стояние в вере. СПб., 1997.
11. Прот. Александр Мень Социальная позиция христианина, НГ-Религии, 2000-09-13.
12. Прот. Александр Мень Демократия и толпа // Он же. Трудный путь к диалогу. М., 1992.
13. Прот. Александр Мень Церковь в истории. // Он же. Мировая духовная культура. Христианство, Церковь. М., 1995.
14. Прот. Александр Мень Христианство. // Он же. Культура и духовное возрождение. М., 1992.
15. Прот. Александр Мень Религия, «культ личности» и секулярное государство. // Он же. Культура и духовное возрождение. М., 1992.
16. Прот. Александр Мень Молодежь и идеалы // Он же. Трудный путь к диалогу. М., 1992.
17. Прот. Александр Мень Надлежит быть разномыслию // Он же. Мировая духовная культура. М., 1995.
18. Прот. Александр Мень Роль Церкви в современном мире // Он же. Мировая духовная культура. М., 1995.
19. Отец Александр Мень отвечает на вопросы слушателей. М., 1999.
20. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев) Норма веры как норма жизни. Проблема соотношения между традиционными и либеральными ценностями в выборе личности и общества. // Служба коммуникации ОВЦС МП. www.russian-orthodox-church.org.ru
21. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев) Через духовное обновление России — к ее национальному возрождению! Доклад на II Всемирном Русском Соборе. // Выбор судьбы. Проблемы современной России глазами русских архиереев. СПб., 1996.
22. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев) Церковь в отношении к обществу в условиях перестройки. // Журнал Московской Патриархии, 1990, № 6
23. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев) Возрождение православия и обновление России. Доклад на I Всемирном Русском Соборе. // Выбор судьбы. Проблемы современной России глазами русских архиереев. СПб., 1996.

24. *Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев)* К экологии духа. Доклад, прочитанный на Европейской экуменической ассамблее «Мир и справедливость» (Базель, 15-21 мая 1989 года). Журнал Московской Патриархии 1991, № 5-6.
25. *Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев)* Обстоятельства Нового времени. Либерализм, традиционализм и моральные ценности объединяющейся Европы // НГ-религии, 26.05.99.
26. *Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев)* «К миру призвал нас Господь» (1 Кор. 7, 15). Доклад на Международной межконфессиональной юбилейной конференции, посвященной 2000-летию христианства. Служба коммуникации ОВЦС МП. www.russian-orthodox-church.org.ru.
27. Церковь и мир. Основы социальной концепции Русской православной Церкви. М., 2000.
28. Пастырь добрый. Венок на могилу митрополита Иоанна. СПб., 1996.

«МОЖНО ЛИ НА ОДНОЙ ПОЛКЕ ДЕРЖАТЬ И ПУШКИНА И МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО?»

(Вопрос С.Н. Дурылина — С.И. Фуделью)

Заметки на полях книги С.И. Фуделя

С.И. Фудель. Собрание сочинений: в 3 т.

Сост. и коммент. прот. Н.В.Балашова, Л.И.Сараскиной. Предисл. прот. В.Н.Воробьева. Т.1: Воспоминания. У стен Церкви. Воспоминания об отце Николае Голубиове. Моим детям и друзьям. Письма. М.: Русский путь, 2001. 648 с., ил.

Сергей Иосифович Фудель (1900-1977) — замечательный духовный писатель, автор работ о святоотеческом наследии и о Достоевском, наследие которого только сейчас в полной мере и во всей своей значительности предстает перед читателем. Он — сын известного в Москве рубежа веков пастыря и церковного публициста Иосифа Ивановича Фуделя (1864-1918), дружившего с Константином Леонтьевым и о. Павлом Флоренским. Отец Иосиф пятнадцать лет своей недолгой жизни отдал окормлению Бутырской тюрьмы и стал настоящим учителем, утешителем и помощником сотен и тысяч заключенных. Он нес им слово Божие, вступался за них перед администрацией, помогал выжить их семьям. Как пишет С.И.Фудель, «при жизни отца все правые ящики его стола были заполнены арестантскими письмами, живыми знаками благодарности из тюрем, с пересылочных этапов, из поселений» — от Урала до Сахалина.

Сильнейшими впечатлениями детства Сережи были поездки в Оптину и Зосимову пустыни — соприкосновение с монастырской жизнью, напоеание духом изначального, молитвенного христианства. Он застал последних оптинских старцев о. Нектария и о. Анатолия, замечательного старца иеросхимонаха Алексия Зосимовского. Образ сосредоточенной духовной жизни, подвиг смире-

**Алексей
ГРОМОВ-КОЛЛИ**

— родился в 1952 г. в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Сфера интересов — история русской литературы и философской мысли. Автор статей в специальных филологических научных изданиях. Публиковался в журналах «В мире книг», «Звезда», «Новый мир», в газете «Русская мысль». Преподаватель историко-филологического факультета Свято-Тихоновского православного богословского института. Живет в Москве.

ния и милосердия, явленные в монашестве, стали для него образцом на всю жизнь, наполовину прошедшую в лагерях и ссылках. Сергей Фудель усвоит когда-то сказанное отцом о том, что «русская религиозная личность корни свои имеет в монашестве».

Жизнь в местах, отдаленных от домашнего очага, свела его со многими служителями Церкви, претерпевавшей нещадные гонения, среди которых были новопрославленные архипастыри Афанасий (Сахаров) и Кирилл (Смирнов), архимандрит Фаддей (Успенский) и старец архимандрит Серафим (Битюгов), о. Валентин Свенцицкий и о. Сергей Сидоров, неизвестные монахи и монахини, чудаки и юродивые... Живые черты встреченных им людей автор передает выпукло и убедительно. Ему удаются не только развернутые портреты, но и лапидарные штрихи, в которых запомнившаяся фраза или жест персонажа передала интонацию и абрис человека.

Заметки «У стен Церкви» и «Моим детям и друзьям» содержат цитаты из сокровищницы богословской и святоотеческой мысли и размышления над ними. Сергея Фуделя не оставляет стремление осмыслить это духовное наследие в контексте современного состояния христианства, найти решение «вечных» проблем церковной жизни — таких, как обрядоверие, уставничество, ксенофобия. «Иногда удивляешься, — пишет он, — сколько холода в мире, такой в нем холодный сквозняк, а мы еще этого холода от себя добавляем». Возвращение к первохристианству, к апостольским векам, к видению людей только через Христа — таков лейтмотив его раздумий.

Его воспоминания и размышления есть свидетельство христианина в эпоху разрушения Церкви и гонения на христиан, эпоху духовного кризиса, оскудения любви в мире. Борис Пастернак, один из наиболее часто цитируемых Фуделем поэтов, как-то сказал: «Нарушитель любви к ближнему первым из людей предаёт самого себя». В тесных и жестких тюремных условиях эта любовь проходила самую суровую проверку — «школу общения с людьми», по выражению мемуариста. И вывод из этой науки оказывается для него непреложным: «Смысл жизни страшно прост: стараться всегда и везде сохранять тепло сердца, зная, что оно будет нужно кому-то еще, что мы всегда нужны кому-то еще».

Отдельную главу занимают воспоминания о московском пастыре о. Николае Голубцове († 1963) — удивительно отзывчивом и неутомимом служителе Церкви Христовой, явившем в годы возвращения Сергея Фуделя к родным пенатам (годы хрущевских гонений на Церковь) образец беззаветной любви к Богу и ближнему. «Даже в Великий четверг, — вспоминает Фудель, — после долгой обедни, за которой у него было около 800 причастников, он мог ехать через всю Москву, чтобы кого-то причастить или кого-то в чем-то убедить, а потом, не заезжая домой, возвращаться в церковь на Двенадцать Евангелий».

Духовный опыт, аккумулированный в воспоминаниях и записках С.И. Фуделя, думается, будет востребован сегодняшними читателями — как проходящими путь воцерковления (кстати, к таковым смиренно относил себя мемуарист), так, может быть, и находящимися в «стилистических разногласиях» с Церковью. Возможно, для последних окажутся важными и даже решающими

некоторые рассуждения Фуделя об искусстве — их особенно много в эпистолярном корпусе тома (большая часть писем адресована сыну Николаю — филологу).

Каждому, кто посещает церковь, понятна, думаю, разница между красотой, явленной в храме — и пения, и чина богослужения, и иконных ликов — в ее единстве, и тем «прекрасным», что называют искусством. И чем глубжеходишь в постоянно совершаемое храмовое действо, где ты не зритель, а соучастник, тем сильнее осознаешь роковую пропасть между миром и Церковью. Эта пропасть действительно роковая, потому что многие перешедшие через нее уже не возвращаются, а стоящие перед нею могут и отойти.

Есть ли мост между миром и Церковью?

Для художника (писателя, поэта, живописца, музыканта) стать церковным — это, как ему часто представляется, значит замолчать, потерять себя (ветхого человека), в каком-то смысле умертвить себя (стать мертвым для греха, по апостолу); но тем самым — лишиться и творческих стимулов. А для ценителя «прекрасного» — провести решительный раздел и ликвидацию накопленного чтением и созерцанием, — что тоже далеко не безболезненно, ведь этим жил годы и годы...

Так как же быть с искусством?

Вопрос наиболее острый для гуманитариев. У «технарей» своя проблема — своего рода гностицизм, органический или приобретенный, стремление умом докопаться до всего.

Относиться к искусству как к сатанинскому пародированию Творения или как к одному из путей обретения Творца (ведь коль искусство попущено Им, значит, говорят священники, оно для чего-то нужно)?

Но ведь и «Дух дышит, где хочет». «Границы искусства и веры неуловимы, — пишет Сергей Иосифович Фудель, — как постепенный переход из долины в горы. В горах ли слышится «Колыбельная песнь» Лермонтова и «Выхожу один я на дорогу» или еще в долине?»

В связи с этим можно задаться вопросом: правы ли мы, когда прилагаем мерки исторического масонства к державинской оде «Бог», если в ней поэтически мощно звучит Никео-Цареградский символ веры?

С.И. Фудель пишет, что в известном смысле искусство стало новой религией человечества, а свобода художника своего рода непреложным догматом. Понятно, что «узкий путь спасения», на который зовет христианство, совершенно неприемлем и враждебен такому свободному творческому самоизлиянию. «Христианство, — продолжая цитировать Фуделя, — открывает человеку любовь к божественной вечности и одновременно понимание, что для достижения ее ему надо быть духовно здоровым».

Мы знаем, что в наше время свобода, как никогда, стала «поводом к угрождению плоти» (Гал 5:13), чему свидетельством вся реклама и массовая печатная и видеопродукция. Общество и десятилетия спустя после сказанного писателем продолжает рабствовать греху, утрачивая всякий иммунитет добра. Такое впечатление порой, что живем мы не в постхристианской, а в дохристианской эре — атмосфере язычества самого темного, но нередко самого себя полагающего изощренно просвещенным. Однако остается надежда, что отвер-

нувшиеся от христианства то ли по предубеждению, то ли по недомыслию, часто просто не знают его (но, может быть, и не хотят знать).

«Клавиатура зла, — пишет Фудель, — очень широка. Если ее более низкие регистры еще вызывают у людей негодование (я не говорю о степени его искренности), то его более тонкие или прикрытые ноты чаще всего не только отталкивают, но и привлекают».

Слова эти призывают нас к тому, чтобы научиться различать духов, что возможно лишь в церковном опыте. Конечно, опыт С.И. Фуделя в значительной степени уникален как опыт человека, с рождения вошедшего в Церковь и всегда в самых трудных обстоятельствах — и в тюрьме, и на поселении — внутренне находившимся в ее ограде. Это и опыт его общения с великими светильниками веры и подвижниками, опыт прохождения вместе с Русской Церковью ее Голгофы. И вместе с тем это жизнь, связывающая нас с духовными и эстетическими исканиями Серебряного века, с проблемой оцерковления культуры, которую стремилась решать Божиим промыслом спасенная русская интеллигенция на Западе. Так или иначе, это передача нам непрерывной традиции Церкви и духовных устремлений лучшей части русской интеллигенции.

Но вернемся к теме наших размышлений на полях книги.

Если искусство, как пишет Фудель, «может быть в лучшем случае только папертью Храма» и содержать «только отсветы и отзвуки того, что совершается в Храме», то значит, что и искусство может быть преображено, если оно пронизано религиозной идеей. Но относиться к нему надо не как к священнодействию, жертвоприношению с помощью мастерства (технического умения), а как к подобию религии, которое тем совершеннее, «чем нравственно здоровее искусство». Состояние искусства напрямую зависит, как мы знаем, от духовной чистоты его творцов.

«Искусство решило заменить христианство, — повторяет и развивает свою мысль автор. — В христианстве есть три стороны: догматическая, нравственная и обрядовая. Догматом или истиной в новой религии стало убеждение, что в общем нет никакой абсолютной истины, нравственностью — что в общем все более или менее позволено, а обрядом — художественное мастерство». Причем (выпад против эстетизма) «обряд прикрывает в искусстве и догмат и нравственность».

Но ведь христианство — это не столько учение или мировоззрение, это жизнь. Это преображение жизни, которое не в силах совершить никакое самое возвышенное искусство. И поэтому жить по-христиански — это и значит быть художником и творцом. Писатель удивительно и глубоко выражает мысли о творчестве как высшем даре: «Дело не в том, чтобы написать или не написать стихи или рассказы, а в том, чтобы зародить в себе и сохранить в себе некую творческую тайну, божественное семя созидания и бытия, которое так же, как семя человеческое, зарождается в теплоте утробы, — зарождается только в теплоте и милосердии духа... Важен не способ обнаружения для людей в тебе воссиявшего чуда, а самый факт его воссияния, который и в совсем неграмотном человеке будет излучаться и просвещать и *врачевать* мир Богу угодными путями».

Так разоблачается ореол самовлюбленных жрецов искусства, так по-христиански решается задача ответственности искусства перед жизнью.

Писатель говорит о том, что церковная жизнь собирает человеческую личность, давая ей реальное представление о добре и зле, о подлинных и мнимых ценностях и о своем месте и назначении в этом мире. Напротив, те, кто отстоят от Церкви, дезориентированы и склонны принять за искусство его суррогат, который тем привлекает, что приятен на вкус и безболезненно переваривается.

Но есть и в церкви, и в церковной литературе свой эстетический соблазн — соблазн услаждения пусть самыми утонченными, якобы духовными вещами. И Фудель говорит об этом неоднократно. И о богословском гурманстве, и о упоении акафистами (думаю, грешны этим и люди с поэтическим слухом), и о несовместимости церковного и консерваторского пения в церкви, напоминая о том, что богослужение — это зывание к Богу. «Всякое оперное пение в церкви, — замечает он, — отнимает у людей соборную молитву и дает вместо нее развлечение, то есть лишает их последнего духовного руководства».

Не сомневаюсь, что столь ригористическое высказывание может у иных вызвать протест. Есть ведь и любители консерваторского пения в церкви. К тому же, скажет кто-нибудь, это хороший способ привлечения в церковь интеллигенции; а кто-то добавит, что, мол, на любом инструменте и любым образом можно славить Господа. Так считается у католиков, широким шагом пошедшим навстречу миру. Но путь комфорта и конформизма — это неверный путь, ибо «Господу угодны святые». В эпоху стремительного возвращения к язычеству и оскудения тепла в мире христианам необходимо создавать скорее «монастырь в миру», чем мир искусства в монастыре. К этому постоянно призывает С. Фудель. Но это вовсе не значит, что искусство отвергнуто: «Не о «непризнании» искусства может идти речь, а только о тревоге за человека, не чувствующего его границ и его немощи. Сумеет ли он не забиться и не забыть: ни своей меры, ни меры искусства?»

РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ В РОССИЙСКОЙ ПЕРИОДИКЕ

(Первый квартал 2002 г.)

Ф. Сухейль («Религиозный феномен и современная наука» — «Вопросы философии», № 2) считает, что современному человеку нужна религия, нужен Бог, воплощающий общее космическое начало. Признание Его ставит перед нашим разумом фундаментальные проблемы сознания, материи, жизни и космоса, объединяя их в общий вопрос — о сущности космической истины, ибо, по мнению профессора из Ливанского университета, именно из нее родилась религия. Все культы, верования и прозрения, все откровения пророков и учения мудрецов — это разновидности единого прозрения космической истины. Нельзя уместить понятие науки в тесные границы материи, а понятие религии — в наивно-популистские представления о духовности. Существует цель, выходящая за пределы науки и за рамки религии, и это — космическая цель. Достижения физических, биологических, философских и теологических наук приводят профессора к выводу, что все подчинено разумному космическому началу, которое ориентирует научную и религиозную волю. Сотворение человека из земных элементов понятно и оправдано. Он создан во имя космической цели и сохранится как вид, являющий себя центром мира. Науке и религии следует озаботиться познанием умысла, которым руководствовалась космическая сила, творя человека. Научному разуму необходимо сделать нравственность основой своей философии, а религии — не чураться рационализма, укрепляясь в глубинах сознания.

М. Штеренберг («Наука и религия о теории эволюции: конфликт или синтез?» — «Полигнозис», № 1) предлагает синтетическую версию научно-религиозной теории биологической эволюции. Эта теория предполагает прежде всего программу не только биологической, но и космической эволюции. Разработать такую программу и реализовать ее под силу только тому, кого мы называем Богом. Осуществление программы, т.е. сотворение материального плана жизни, — это проекция Духа через план души на материю. Структура и развитие материального плана бытия отражена в идее «древа жизни», воплощающего не только рост Вселенной, но и рост разнообразия объектов, ее наполняющих. В этом символе наглядно разворачивается не только количественная сторона мощи Промысла Божьего, но и Его качественная сторона, проявляющаяся в постепенном раскрытии бесконечного разнообразия Его творчества. Теория позволяет автору описать путь эволюции человечества: История идет в направлении образования все больших и больших объединений — от семейных кланов до государств и далее до ассоциаций типа Объединенной Европы. Чем крупнее объединение, тем уже специализация его членов и тем более высокие уровни иерархии этой специализации. Автору очевидно, что после объединения человечества оно выйдет на уровень космической цивилизации первого уровня (возможно, Солнечной Системы). Затем в

составе цивилизации этого уровня мы перейдем на следующий, более высокий, этап и т.д. Так как человеческая душа является началом целого вида (существование души не оспаривается), она, специализируясь, будет подниматься вверх по иерархическим ступеням, человеческими средствами достигая богочеловеческих целей.

И в светских, и в религиозных журналах не слабеет интерес к **проблемам религиозной антропологии**. В. Слесарев сравнивает ее с научной («Концепция человека в рамках парадигм научного и вненаучного знания» — «Полигнозис», № 1). Для анализа автор берет две концепции, которые, наверное, кажутся ему наиболее распространенными. Как вариант научной он рассматривает концепцию человека, предложенную советским генетиком и антропологом Н.П.Дубининым: человек является единством двух взаимодействующих, но качественно различных подструктур — надбиологической, обеспечивающей социальную сущность человека, и биологической как итога развития материи и процессов органической эволюции. Биологическое и социальное (надбиологическое) составляют две стороны человека, причем биологическое выступает не в качестве второй сущности, а лишь как предпосылка социального. Социальная сущность в человеке представлена надбиологическими образованиями в виде труда, сознания, мышления, эмоций, воли. Все физиологические механизмы связи человека с внешним миром интегрируются и трансформируются социальными началами.

Вариант вненаучной концепции — теософская версия Е.П. Блаватской (эклектическая интерпретация учений традиционных индуистских школ): основу человека составляет монадическая триада Атма, Будхи и Манас. Это бессмертная индивидуальность, высшее непреходящее «Я». Кроме трех высших начал, человек содержит четыре низших начала: физическое тело, эфирное тело, астральное тело, ментальное тело. Эти тела составляют смертную природу человека. Развитие человека, по теософской концепции, идет параллельно эволюции планеты и отвечает высшему «плану» бытия.

Подробно рассмотрев оба варианта концепции человека, автор указывает на их недостатки. Научная концепция не в состоянии объяснить физиологические аномалии йоги, восточных боевых искусств и мистических практик. Кроме того, она мало пригодна для медицины и удовлетворяет только людей советской генерации. Последние в силу возраста подвержены комплексам хронических заболеваний, лечить которые научная школа не умеет.

Вненаучная концепция хотя и шире научной, однако слишком сложна, степень верификации (доказуемости) ее положений низка, и вообще она в пределах нашей культуры малопонятна, или, по словам автора, который хочет быть понятным, «некогерентна архетипам российской культурно-типической принадлежности».

По мнению автора, параллельное существование этих концепций, не исключающих, но и не дополняющих друг друга, особенно пагубно сказывается во врачебной практике, так как мешает врачу обрести чувство «методологической уверенности», убежденности в адекватности собственных представлений о мире и человеке, из чего и вытекает неопределенность диагностики и малая эффективность лечения.

Появление на свет «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви», естественно, вызвало обращение православных богословов к *антропологии*. Синодальная Богословская комиссия РПЦ провела в ноябре 2001 г. в Москве конференцию «Учение о человеке». (Богословская конференция «Учение о человеке» — «Альфа и Омега», №1). Открыл ее Патриарх Алексий II, который отметил, что учение Церкви о человеке не всегда ясно и доступно миру, что это необходимо изменить и на основе Писания и Предания удостоверить истину церковной веры о человеке.

Председатель Богословской комиссии РПЦ Митрополит Минский и Слуцкий Филарет сформулировал необходимые для построения православной антропологии положения: смысл существования человека в том, чтобы превзойти свое человечество через общение с Богом; грехопадение не лишило человека богообразности и не упразднило его свободы; важнейшее основание церковной антропологии — догмат о вочеловечении Бога во Христе, полностью разделившем судьбу человека; Церковь, как тело Христово и образ грядущего Царства, указывает пути спасения человека.

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), толкуя антропологические понятия апостола Павла (тело, дух, плоть), отметил ложность современной экзегезы, которая основывается на эллинистическом дуализме, утвердившемся в европейской культуре. Для апостола было важно рассмотрение целостного человека в его отношении к Богу.

Ю. Шичалин, памятуя об античных влияниях в христианской антропологии, отметил, что западная мысль поствозрожденческой эпохи подчеркнуто нецерковна, и поэтому ее философские построения часто бывают плодом воображения, в то время как богословская церковная мысль должна пребывать в поле подлинного бытия и истины. Основой христианской антропологии, по его мнению, должно быть отношение к миру как к училищу, где получают образование души людей.

Епископ Сергиевский Василий (Осборн) на современном языке излагает антропологию Дионисия Ареопагита. Все основные положения его учения (мир как иерархия бытия двух уровней — божественного и тварного; иерархичность тварного бытия и взаимоотношение уровней этой иерархии; природа и иерархия ангельских чинов; природа материального мира; место личности в мире) вполне могут быть сопоставимы с современной картиной мира. По убеждению докладчика, взгляд на мир Отцов Церкви содержит ответы, которые ищет современная наука.

В. Никитин отмечает основополагающую роль антропологии блаженного Августина в развитии европейской персонологии. Для Августина ключом к пониманию человека стало обращение ко Христу, обретение Бога, и посему его антропология не только имеет четко выраженный теоцентрический характер, но и обогащена личным опытом обращения.

Игумен Иларион (Алфеев) (ныне епископ Подольский) анализирует учение преподобного Симеона Нового Богослова о двойной природе человека как посредника между Богом и тварным миром; о человеке как образе и подобии Божию; о призвании человека к обожению.

Протоиерей Александр Геронимус в антропологии преподобного Максима Исповедника вычленяет два типа познания, два пути человечества: путь соответствия своему логосу и следование ему во благо-бытие и путь против своего логоса — в небытие, во зло-бытие. Второй путь — это путь гордой самодостаточности, которая уходит от осуществления божественного призвания, хотя и имеет силы обратиться вспять.

Профессор Ричард Суинберн из Оксфорда предлагает собственную версию антропологии, называя свою позицию средним дуализмом. Согласно ей, душа не может существовать без тела, в нем она нуждается для своего полного выражения. Докладчик убежден, что именно такая позиция позволяет уразуметь обретение всеми умершими тел после Воскресения, ибо это необходимо для подлинной манифестации их индивидуального бытия.

Священник Андрей Лоргус рассматривает, как Церковь представляет бытие в человеке духа и души. Понятие души не аналогично научному понятию психики; оно охватывает как собственно психическую реальность, так и телесно-физиологическую и мистическую. Душа — как жизнь; душа — синоним человека как единицы общества; душа — как душевная жизнь в сущностном тварном смысле; душа — как всякая животная жизнь вообще; душа — как дыхание и, наконец, как кровь. Совокупность определений духа докладчик выразил словами св. Симеона Нового Богослова: «Дух — это как бы душа души».

А. Шишков обратился к средневековой антропологии, находя актуальной проблему соединения души с телом. В ту пору ее решали, исходя из того, что душа и тело не полностью противоположны, а имеют нечто общее, и в соответствии с этим развивали два ряда мыслей: либо о множественности тел с разной степенью душевности, либо о множественности душ с разной степенью телесности. В связи с этим сложилось учение о некоей тончайшей субстанции (свете или эфире), которая обеспечивает соединение души и тела. И поскольку человек (микрокосм) как единство души и тела имеет в мировой иерархии особый статус посредника между чисто телесным и чисто духовным мирами, то уместно предположить, что и во всем тварном мире (макрокосме) именно свет образует пограничную область между умопостигаемым и чувственно воспринимаемым.

В. Петров трактует учение Иоанна Скота Эриугены о духовном истинном теле, которое тот противопоставлял земному телу, данному человеку в наказание за грех.

Священник Владимир Шмалый рассматривает проблему пола в свете христианской антропологии. Важнейший постулат учения о личности — утверждение о несводимости личности к природе, однако это не означает, что личность может быть оторвана от природы, в которой она манифестирована. Парадигмой личностного существования человека является бытие Пресвятой Троицы. Три божественные Ипостаси пребывают в неизменном общении и тем самым — в единстве общей природной жизни. Таким же образом и пол в человеке хотя и не может быть возведен до божественного единосущия, но все же является содержанием гомогенного бытия человека.

Протоиерей Николай Балашов обратил внимание на отношение к женщине в церковной практике. Он счел возможным церковное благословение жен-

щин на совершение служения диаконисс и поминание за богослужением беременных и матерей.

И. Неганова толковала определение брачных отношений в Писании. Помощница первозданному человеку нужна, дескать, для того, чтобы с ее помощью он обрел некую новую, сверхчеловеческую и сверхличностную, полноту бытия. Любовь супругов в браке она назвала спасительной и в деторождении усмотрела тайну распространения Царства Божия на земле.

Диакон Андрей Кураев предложил для обсуждения несколько цитат. Из св. Феодорита Киррского: «Сперва образуется тело, а потом вдыхается душа... Почтил же Бог тело сим преимуществом по времени, чтобы установить равенство. Поелику душу сотворил бессмертной, а тело смертным, то телу дал старшинство по времени, чтобы душа не величалась перед ним, преимуществуя и по естеству и по времени». Из Библии: «Сказал я в судище своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные». (Экклезиаст).

А. Холодный привел медицинское обоснование того, что развитие онкологических заболеваний у человека связано с общей падшестью человеческой природы. Первородный грех привел к болезни, смерти и тлению. Но в жизни будущего века воскресшие тела не будут подвержены болезни. Поэтому лечение болезней может восприниматься как борьба с последствиями и деятельностью греха и иметь сотериологическое значение. Исцеление болезни имеет аналогию с борьбой со страстями (бдение, пост). Аналогию можно продлить и при рассмотрении генетических технологий, которые совершенствуют человеческий вид. Христианство обязано предложить свое решение этой проблемы.

С. Хоружий полагает, что православная антропология должна хранить верность Откровению и Преданию, т.е. возвращаться к истокам, не допуская привнесения посторонних начал. Конкретная антропологизация богословия должна заключаться в обращении к опыту исихастов в его систематической реконструкции.

Ф. Василюк анализирует делание молитвы с позиции психолога и психотерапевта, акцентируя внимание на ее утешительной функции. Соотношение молитвы и личных переживаний, по мнению психолога, должно соединиться в единую уравновешенную органическую структуру.

Архиепископ Вроцлавский и Щецинский Иеремия, рассуждая о человеческой свободе, заметил, что слова апостола Павла «нет власти не от Бога» переводятся точнее как «нет власти не под Богом», и, следовательно, они, вопреки мировой практике, лишены и тени сакрализации государственной власти.

Протоиерей Владислав Цыпин рассматривает право как необходимый и неизбежный фактор существования человека в обществе. Право в истории создавалось человеческими силами, а потому не лишено изъянов. Следует различать каноническое право и государственное право. Канонические прещения Церкви направлены на врачевание души грешников. Прямое перенесение норм канонического права в область права светского (о чем пекутся некоторые радетели) несостоятельно.

А. Зубов рассматривает право как осознанное людьми проявление божественного закона в социальной и политической сферах. Однако человеческий

закон никогда не содержит божественного закона во всей полноте, но чтобы оставаться законом, он обязательно должен соответствовать божественным принципам Истины и Жизни и не противоречить им.

Протоиерей Всеволод Чаплин задается вопросом: можно ли говорить о тождестве христианской и общечеловеческой этики? Возможно ли единение нравственных учений? Почвой для совместных действий ради общего блага людей разных верований может послужить естественная мораль (в виде, максимально приближенном к ветхозаветной этике), но такое отношение к естественной морали не должно доходить до вероучительного компромисса, до утраты истины Христовой, которая превышает всех земных дел.

Н. Лосский трактует понимание человеческой личности у Владимира Лосского в экклезиологическом плане. Церковь, в его представлении, являет новое единство очищенной Христом человеческой природы. Каждая человеческая ипостась в Церкви обретает полноту благодати, преобразующей человека в сознательного сорботника Бога.

А. Осипов констатирует первичность в человеке духовного начала. Единение с Богом делают возможным полнота новозаветного Откровения и Церковь как богочеловеческий организм Христов. Подлинный член Церкви особым образом причастен Духу Святому. Таинство Крещения полагает начало святости в человеке, а праведная духовная жизнь есть ее свершение.

Митрополит Филарет, подводя итоги конференции, заключил, что тема человека является той областью, где в основном происходит встреча Церкви и секулярного общества. Современному человеку необходимо открыть его богообразность и духовное предназначение. Следовало бы ради этого создать полноценное, максимально полное изложение православной антропологии.

Свою открытость миру и готовность вести с ним диалог демонстрируют **католики**. Доктор политических наук из Германии **К.Г. Баллерстрем** («Церковь и демократическая культура: проблема адаптации и конфликты» — «Вопросы философии», № 1) выступает от имени Католической Церкви, основываясь на папских энцикликах: «Мы готовы к настоящему диалогу с современным миром. Мы тоже можем ошибаться, мы были виноваты в нашем высокомерии, давайте говорить как равный с равным. Мы признаем, что современный мир в существеннейших деталях хороший. Права человека, правильно понятые, есть глубочайшая христианская идея. Свобода вероисповедания есть право всех людей также и в католических странах. Демократия хорошая форма правления, лучшая альтернатива авторитарным и тоталитарным диктатурам. Давайте вместе бороться против бед и несчастий мира и заботиться о всеобщем социальном равноправии».

При такой открытости Церкви можно говорить об оживлении католицизма в целом, но о христианизации общества, по мнению автора, пока не может быть и речи. Вместо этого происходит расцерковление и дехристианизация. Об этом факте свидетельствуют данные о посещении церковных служб и социологические опросы. Церковь превратилась в фирму по предоставлению ритуальных услуг, из святой она сделалась социальной. Вместо того чтобы сделать мир христианским, Церковь становится мирской. Исчезает тайна,

бросающая вызов разуму и воле (таинство Евхаристии превращается в совместную трапезу). Чем больше стачивается углов собственной позиции (прячется богатство веры), тем более плоской становится специфика Церкви, беднее ее учение. А богатство веры заключается именно в «неправдоподобии» таинств. Если сделать их удобопонятными и приемлемыми для обыденного разума, то вера потеряет свой основной смысл. Ее центральное содержание, так же как и нравственное учение, не могут существовать в условиях компромисса.

Какие возможности выбора имеет Церковь при демократии? С одной стороны, ясно, что народ Божий — ни как целое, ни в его избранных представителях — не суверенен. Он получил свое задание — исполнить написанное в Завете, сохранить традицию. Эта «задача свыше» полагает некие границы возможностям Церкви к компромиссам и адаптации, оставляя ее старомодной, но зато дает долгое историческое дыхание и здоровый скепсис по отношению к нынешним изменениям духа времени. С другой стороны, Церковь, по воле своего Основателя, должна быть открыта для всех и стать всемирной. Однозначного решения этой проблемы автор не видит. Но диалог с миром следует продолжать, и в нем Церковь должна, не секуляризируясь, освящать мир.

В западном да и российском общественном мнении **ислам** прочно ассоциируется с экстремизмом и терроризмом. Д. Малышева («Ислам в современном мире» — «Новый мир», № 2) пытается доказать ошибочность этого мнения. Ислам, будучи исключительно «сильной» религией, далеко не сводящейся только к вере в Бога, регламентирует образ жизни, образ мыслей своих приверженцев и представляет собой основу целой цивилизации. Ислам определяет характер экономических отношений, форм государственного управления, социальную структуру. В наши дни ислам представлен более чем в 120 странах, общее число мусульман — 1,2 млрд. В России, по разным оценкам, от 12 до 30 млн. мусульман. С момента зарождения ислама в VII в. и его победоносного распространения быть мусульманином означало принадлежать к цивилизации победителей. В новейшее время мусульманские государства оказались на периферии постиндустриального мира. Осознание этого породило в исламских обществах «синдром неполноценности». Выход из создавшегося положения мусульмане пытаются искать в разных альтернативных проектах. Это секуляризм, который означает выведение шариата как юридической системы из области общественных отношений; модернизм — согласование ислама с достижениями современной науки и новыми общественно-политическими реалиями; наконец, фундаментализм (исламизм) — наиболее радикальный вариант ислама. В большинстве исламских государств секуляризация и модернизация встречают стойкое сопротивление. Политизация ислама как радикальный ответ мусульманского мира на современные вызовы находит более широкую поддержку. Фундаментализм является идеологической базой современного политического ислама. Его цель — укрепить веру в фундаментальные источники ислама, привести нормы общественной и частной жизни мусульман в соответствие с религиозными заповедями, заставить верующих выполнять предписания Корана и шариата, утвердить основы исламской эко-

номики, которая строится на принципах социальной справедливости. Для крайних экстремистских течений характерно агрессивное неприятие европейско-христианских ценностей, повышенная политическая активность, допускающая терроризм. В России и других государствах СНГ лицо постсоветского ислама определяют не религиозные экстремисты, а умеренные течения. Россия заинтересована в поддержании в мусульманских регионах политической стабильности, так как религиозный экстремизм нельзя отделять от общеполитического контекста.

Обзор подготовил Александр Денискин

У книжной полки

**НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ДРЕВНЮЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА**

Великовский И. «Миры в столкновении».

*Перевод с английского, послесловие и примечания Сергея Цебаковского.
М., «Новая планета» и «Крафт +», 2002.*

От редакции

Книгу Иммануила Великовского (1895-1979) новинкой никак не назовешь. Впервые она вышла в США в 1950 году, после чего сразу началась ее шумная, даже скандальная жизнь, что редко случается с книгами по древней истории, к тому же отягченными научным аппаратом с петитом многоязычных сносок, предметно-именным указателем и прочими атрибутами академического издания. Но факт остается фактом: побив все тогдашние рекорды, «Миры в столкновении» надолго оттеснили с первой строки списка бестселлеров привычные ходкие жанры. Лишь за первые пятнадцать лет книга выдержала три десятка дорогих изданий в твердом переплете (в США и Англии), прежде чем появилась в демократичных «карманных» изданиях.

«Миры в столкновении» переведены на многие языки, включая африкаанс и японский. До последнего времени не было переводов на русский. Имя Великовского у нас в стране мало известно. И это позволяет говорить о его книге как о новинке.

Мы обратились к Сергею Яковлевичу Цебаковскому, переводчику и автору пространный послесловия, с просьбой рассказать, чем в свое время так удивила мир эта книга и что за человек был ее автор.

Уже после того, как материал был представлен, нам захотелось уточнить кое-какие детали. Однако разговор с переводчиком при встрече в редакции получился интересным, и мы решили опубликовать его полную запись — сразу после представленного материала.

Сергей ЦЕБАКОВСКИЙ

АВТОР ПЯТОЙ ПОПРАВКИ ДЛЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

Первую поправку внес Коперник, развенчав геоцентрическую доктрину, по которой Солнце и звезды водили хороводы вокруг неподвижной Земли. С той поры Солнце стало центром мира.

Позже выяснилось, и Солнце — всего лишь песчинка на задворках нашего большого дома — Галактики, который мы называем Млечным Путем.

Потом новое откровение: сама Галактика оказалась частицей необозримо огромной Вселенной.

Вслед напрашивалась и четвертая поправка, или четвертая концепция мира: солнц во Вселенной должно быть так много, что тому числу и название еще не придумано. Описательно оно выглядит так: сто тысяч миллионов миллиардов! Но если во Вселенной столько звезд, то и планет, вокруг них обращающихся, должно быть не меньше. А значит...

Но при всех холодающих душу поправках, лишавших человека статуса венца творения Божьего, а Землю — центра мироздания, мы могли тешить себя мыслью, что живем в спокойном, надежном мире, именуемом Солнечной системой, живем без космических катастроф и серьезных потрясений, которые в далеком прошлом происходили на Земле. Да, наше Солнце — звезда-карлик спектрального класса G2, которую не увидеть и с расстояния в несколько световых лет. Зато оно — отлаженный механизм с едва ли не вечным заводом, исправно вращающий планеты, дающий людям свет и тепло. Миллиарды лет Земля вращается вокруг своей материнской звезды, и так будет, если не всегда, то очень-очень долго, до окончания времен...

И вот приходит Великовский со своей книгой и говорит: увы, нет у нас, космических провинциалов галактической глубинки, и этого слабого утешения. На исторической памяти человечества, а не в далекие геологические эпохи, происходили на Земле грандиозные природные катастрофы. Они перекраивали моря и континенты, обращая в руины царства и цивилизации. В последний раз такое случилось недавно, можно сказать, вчера — по большим часам вечности.

На эту, еще в древности заявленную тему глобальных катастроф — потопов, землетрясений, вселенских пожаров, гибели рода человеческого, — Великовский вышел совершенно случайно. И причину тех катастроф он разглядел в небесах, но безо всякого на то вмешательства богов.

Тридцать пять веков тому назад огромная комета, отброшенная Юпитером, прошла в опасной близости от Земли, творя страшные разрушения. Впоследствии комета возвращалась с периодичностью в 50-52 года. Так продолжалось до седьмого или восьмого века до новой эры, пока в один из ее пролетов Солнце не перехватило ее, запустив вокруг себя по второй орбите.

С тех пор она стала планетой Венерой.

Но и после пленения новая планета долго не желала придерживаться отведенной ей круговой орбиты, порывалась уйти в эллипс, что становилось причиной страшных «звездных войн», очевидцем которых стал весь подлунный мир. В те небесные войны оказались вовлеченными Земля, Луна и Марс. Особенно тяжело пришлось последнему. Более массивная Венера сдвинула его с привычной орбиты. Оказавшись ближе к Земле, Марс пошел на нее войной, пытаясь отобрать Луну. Земле тогда досталось основательно. Ей не раз приходилось менять орбиты, местоположение полюсов, при этом менялись продолжительность года и климат. И все сопровождалось страшными катастрофами...

Так говорил Великовский.

Образованный человек, ознакомившись с кратким изложением гипотезы Великовского, должен утратить интерес к его книге, ибо она заключает в себе набор вопиющих нарушений общепринятых положений и законов, прежде всего закона гравитации Ньютона. Неудивительно, что известные американские уче-

ные, объявив все это вздором, наперебой заверяли друг друга, что никогда не станут читать такой чепухи.

Но те, кто книгу все же прочитал, помимо воли подпадали под ее обаяние. Великовский не так уж много говорил от себя. Он лишь собрал, обобщил и в логической последовательности выстроил цитаты из священных книг Востока и Запада, фольклора, преданий и верований первобытных племен. Все это разбавил древними астрономическими записями и не столь давними отчетами археологов, геологов, палеонтологов, ненароком подтверждавшими сцены катастроф. Главным же свидетелем стало Священное Писание. То, что не удалось богословам и священнослужителям разного толка, сделал Великовский, доказав, что Библия — правдивая книга, что изложенное в ней — сушая правда.

Фантазмагория «египетских казней», надвое разделившееся море, манна небесная, сорок лет кормившая евреев в пустыне, невероятные происшествия у горы Синай, даже остановка в небе солнца и луны в пылу битвы с царями ханаанскими, — все это под пером Великовского получало логическое и даже изящное объяснение. В подтверждение правдивости Ветхого завета, реальности космических катастроф, автор привел столько свидетельств из священных текстов, мифов, преданий народов мира, что и предвзято настроенный читатель должен будет призадуматься.

Поначалу у Великовского было много противников и мало сторонников. Быть может, все бы и улеглось, успокоилось, но академисты открыли столь яростную кампанию не только против Великовского, но и против своих коллег-профессоров, посмеявшихся высказаться в его защиту или написать одобрительную рецензию. Такие люди безжалостно изгонялись со своих постов. Борьба с «великовщиной» в Америке напоминала нашу «лысенковщину» — в ее зеркальном отражении: тут уж не чиновники, а сами ученые выступали в роли судей и гонителей.

Можно было бы сколько угодно долго восхищаться стройностью логических доводов Великовского или заодно с его противниками твердить о невежестве автора, а положение, в общем, было патовое. Ни одна из сторон не могла опровергнуть другую. Партия должна была закончиться вничью.

Но Великовский сделал рискованный ход. Его первоначальной целью было всего лишь воссоздать картину того, что и как происходило при вселенской катастрофе. Затем он попытался себе представить, какой след должна была оставить та давняя катастрофа на ее главных участниках — Венере, Марсе, Луне и даже Юпитере. Это касалось состояния их атмосферы, температурного режима, магнитных полей и проч. Выводы его были чисто умозрительные, тем более, что никаких особых познаний в астрофизике, химии у него не было. Все это приходилось добирать в походных условиях.

В 1950 году Великовский дерзнул нарисовать картину того, что человек увидит на соседних планетах, — когда доберется до них. Его предсказания вызывали усмешку ученых, возможно, даже жалость. Лежачих не бьют, и споры вокруг книги поутихли, о ней стали забывать. Но тут один за другим в космос полетели космические зонды, американские и советские. К удивлению учено-

го мира, они приносили подтверждения немислимым предсказаниям «шарлатана» Великовского.

«Венера — очень горячая планета», заявлял Великовский, хотя специалисты считали ее тогда и будут считать вплоть до начала 60-х годов достаточно умеренной планетой со среднегодовой температурой чуть выше земной, т. е. около от +17 до 23 градусов по Цельсию. Уже первые зонды прислали из окрестностей Венеры поразительные данные: +420 градусов, повторные замеры подняли планку до 750 градусов по Кельвину.

В октябре 1953 года Великовский высказал еще одно позабавившее многих предположение. «Юпитер — холодная планета, но ее газы находятся в движении. Мне представляется вероятным, что эта планета, подобно Солнцу и звездам, излучает радиощумы». Заявление было сделано на публичной лекции, текст ее был разослан видным ученым. Одним из них был Альберт Эйнштейн. Великовский познакомился с Эйнштейном еще в 20-е годы. Нобелевский лауреат питал добрые чувства к Великовскому, но к его теориям относился сдержанно. Великовский же просил Эйнштейна побудить ученых «прослушать» Юпитер. Эйнштейн стеснялся отвлекать коллег ради таких глупостей. С какой стати Юпитер должен излучать радиощумы?

Не прошло двух лет, как сотрудники Института Карнеги *случайно* обнаружили исходящие от Юпитера радиосигналы. Поначалу не могли тому даже поверить. Понятно, это стало мировой сенсацией.

В декабре 1956 года Великовский направил в комитет по подготовке Международного геофизического года меморандум, в котором предсказывал существование мощной, простирающейся до Луны магнитосферы. Меморандум оставили без внимания, ибо всем было известно, что по мере удаления от Земли магнитосфера уменьшается. Магнитосфера, объемлющая Луну опять-таки *случайно* была открыта Дж. Ван Алленом в 1958 году.

Незадолго до полета корабля «Аполлон 11» на Луну Великовский выступил с новым «нелепым» утверждением: в лунных породах астронавты обнаружат остаточный магнетизм, несмотря на то, что сама Луна практически не имеет магнитного поля. «Значительные дозы остаточного магнетизма — результат мощного облучения посторонними магнитными полями», заявил тогда Великовский. Слово *посторонними* для ученых было, как красная тряпка для быка, ибо за ним стояла все та же безумная тема «звездных войн», обсуждать которую ни один уважающий себя ученый просто не мог.

Но прав опять оказался Великовский. Астронавты представили неопровержимые доказательства того, что в какой-то момент Луна подвергалась чрезвычайно сильному нагреву (камни плавятся при 1200 градусах по Цельсию), одновременно находясь под воздействием мощных магнитных полей постороннего тела.

Каждое из этих предсказаний Великовского (были и другие) находилось в кричащем противоречии с общепринятыми взглядами. И все же прав оказывался он, а не высокий синедрион ученого содружества с его изошренной аппаратурой, лабораториями, обсерваториями, ассистентами, грантами. И в том не было никакой магии, колдовства, как кое-кому казалось. Великовский ози-

рал воссозданную из мифов и легенд картину былых катастроф и делал логические выводы: если действительно все происходило так, должно быть то-то и так-то...

Великовскому стоило больших трудов обнародовать свои взгляды. Раз в году ему позволяли выступить перед аспирантами геологического факультета в Принстоне (симпатизировал декан). Те редкие выступления он использовал для важных сообщений. Он писал статьи в научные журналы и меморандумы в различные комитеты. Рукописи нередко возвращались нераспечатанными. Все, о чем он говорил, принималось в штыки или высмеивалось, но по прошествии какого-то времени запускалось в научное обращение другими, как важные научные открытия, разумеется, без упоминания имени действительного автора.

Каких только приговоров и оценок себе и своему труду не наслушался Великовский за долгие годы. *Чепуха, шарлатан, невежда, выскочка, самый эрудированный шарлатан, случайные догадки, авторитет для профанов, интересный писатель, читать его забавно, писатель-фантаст...* Но капля точит камень. С годами представители академического мира уже не могли скрыть интереса, симпатий, сочувствия к Великовскому.

«Хотя мы не согласны с теорией Великовского, считаем своим долгом сделать это заявление, чтобы подтвердить приоритет Великовского в названных вопросах и с учетом этих предсказаний объективно проверить и другие его утверждения» (из письма в журнал «Сайенс» докторов В. Баргмана и Л. Мотца, Принстонский и Колумбийский университеты).

«Я не знаю ни одного из ваших предсказаний, которое бы позже не подтвердилось» (доктор Г. Гесс, Принстон).

Самое трогательное признание сделал Роберт Пфейфер из Гарварда, общепризнанный знаток Ветхого завета. Впервые познакомившись с версией древней истории по Великовскому, он никак не мог поверить, что это написал дилетант. При встрече с автором Пфейфер с обезоруживающей откровенностью сказал: «Это все, конечно, прекрасно, но что прикажете делать с тем, чему учили когда-то нас и чему теперь мы учим других?»

После двух десятилетий бойкот отчасти был прорван. Великовский до конца своей жизни так и не получил доступа в научные журналы, но в какой-то момент люди в университетах и научных центрах захотели послушать самого Великовского, вместо того, чтобы читать о нем статьи. И вот ученый, в свои семьдесят пять лет с юношеской энергией летает из конца в конец Америки, чтобы напоследок насладиться тем, чего всю жизнь его лишали, — встречей с аудиторией заинтересованных слушателей.

Остается рассказать, что за человек был Великовский и как пришел он к своей книге.

Иммануил Великовский — в известной мере наш, отечественный автор. Он знал много языков, но русский до конца жизни оставался для него родным. Родился он в семье еврейского торговца-оптовика, сумевшего пробиться в купцы первой гильдии. Семья была одержима страстью к образованию. Второй страстью отца и сына Великовских был сионизм. Шимон Великовский,

глава московских сионистов, собирал с единомышленников золото на покупку земель в Палестине, намереваясь перебраться туда вместе с сыном.

Иммануил с золотой медалью окончил гимназию в Москве, мечтал стать врачом (подготовка к исходу в Палестину). В Московский университет его не приняли, тогда он уехал в Англию и поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета. Закончил только первый курс, началась первая мировая война.

С осени 1914 Великовский, студент Вольного университета в Москве, одновременно слушает курсы юриспруденции, истории, экономики. Через год его принимают на медицинский факультет Московского университета, к тому же сразу на второй курс. Трудно сказать, как это ему удавалось, но и занятий в Вольном университете он не прерывал. Правда, и не приходилось ломать голову о средствах к существованию.

Октябрьская революция все изменила. Напуганные слухами об арестах сионистов, отец и сын пускаются в бег. Их дом в Москве был известен как центр сионизма. Иммануил успел выпустить брошюру во славу сионизма. Цель у них теперь одна — отыскать брешь на границе, чтобы выбраться из России. Дальнейший маршрут ясен — Палестина, где в пустыне Негев уже вступила в строй сельскохозяйственная станция «Рухама», созданная в том числе и на пожертвования Шимона Великовского.

Непросто оказалось пересечь взбаламученную гражданской войной Россию. Чудом избежав расстрела на территории, занятой казацкими сотнями генерала Шкуро, Иммануил возвращается в Москву. К тому времени о сионистах там успели забыть. Можно продолжить учебу в университете.

1921-ый — знаменательный год. Иммануил получает диплом. Отныне он доктор Великовский. В суровой послереволюционной эпохе то был год и недолгой оттепели. Советское правительство позволило неуживчивым интеллигентам и буржуям покинуть страну. Великовские уезжают в Берлин, откуда родители сразу же отбывают в Палестину. Через два года, прослушав курс биологии в Берлинском университете, за ними следует Иммануил — с молодой женой.

Шестнадцать лет проведет он в Палестине, занимаясь врачебной практикой и меняя города. Тогда же начнется увлечение психоанализом. Чтобы пополнить знания, Великовский наезжает в Австрию, Швейцарию, где знакомится с Фрейдом и Юнгом. Первые статьи Великовского в солидных журналах не остаются незамеченными. Окончательно же упрочить его имя среди светил психоанализа должна была задуманная книга с условным названием «Сны, которые снились Фрейду». Проникнуть в тот потаенный мир могли помочь вечные спутники «отца психоанализа» — Эдип, Эхнатон, Моисей и шестнадцать снов самого Фрейда из его книги «Толкование сновидений». В Палестине для такой работы не было подходящей библиотеки, и Великовский решает с семьей отправиться на год в Нью-Йорк.

В июле 1939 года, отплывая от берегов Палестины, он не знал, что навсегда уплывает от своей прежней жизни, врачебной практики и психоанализа.

Работа в библиотеках Нью-Йорка продвигалась успешно. К намеченному сроку были закончены очерки об Эдипе, Эхнатоне. Как ни странно, трудности

возникли с Моисеем — о нем вроде бы нечего было сказать, кроме того, что много раз уже было сказано и затем повторено. Но билеты на пароход куплены, идут последние сборы. И вот в прощальных разговорах с зашедшим проститься знакомым у Великовского вырывается фраза: *Мертвое море, да откуда оно взялось?* Без мнимой многозначительности, как бы невзначай.

В самом деле, когда в Ханаан со своими стадами пришел Авраам, на том месте, «как сад Господень», простиралась цветущая долина с пятью городами, в их числе Содом и Гоморра, позже уничтоженных в какой-то катастрофе...

Это было словно озарение. Все дотоле неясное о Моисее прояснилось. Не остывшая после библейских штудий память высветила новые грани в рассказах о «египетских казнях», расступившемся море, световых эффектах у Синая и других чудесах поры Исхода. Объяснить он пока ничего не мог, но всеми порами почувствовал, что за этим стоит какая-то гигантская космическая катастрофа.

Отъезд откладывается. Давно уже полночь, Великовский листает библейские книги, перечитывая их другими глазами и находя в них подтверждения своим догадкам.

Потрясаясь и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор...

И явились источники вод, и открылись основания вселенной...

Он ждет-не дожидается утра, чтобы отправиться в библиотеку проверить свои предположения. Если действительно была грандиозная космическая катастрофа, как рассказывает Библия, не могли о ней умолчать и священные книги других народов.

Все десять последующих лет Великовский будет писать «Миры в столкновении». Остаток жизни (умер в 1979 г.) посвятит защите своей книги — полемизируя с академистами, создавая новые книги, которые станут боевым охранением его флагмана («Века в хаосе», 1952; «Земля на изломе», 1955; «Эдип и Эхнатон», 1960; «Рамзес II и его время», 1978; «Человечество в амнезии» — вышла в 1982).

В одном, пожалуй, я не прав. От психоанализа, занятого душевными проблемами отдельных личностей, он действительно отошел. Но его книги, прежде всего «Миры в столкновении», следует рассматривать как психоанализ документированных симптомов и синдромов, как выявление скрытого смысла мифов, легенд, преданий. Иначе говоря, книги Великовского — психологическое исследование истории Земли и человечества.

Интервью с Сергеем Цебаковским

— *А каково состояние спора вокруг Великовского сейчас? Есть ли новые подтверждения?*

— У меня такое ощущение, что вот уж четверть века, как споры улеглись. Последняя буря пронеслась в 1974 году, на заседании Ассоциации содействия развития науки (английская аббревиатура — AAAS). В память о том заседании остались два сборника с диаметрально противоположными оценками. В одном выступают ученые, не приемлющие теорию Великовского; сборник так и называется: «Великовский и ученые: конфронтация». В другом — «Вели-

ковский: новый взгляд» — статьи ученых, поддерживающих его теорию. Кстати, обе книги время от времени переиздаются, чтобы держать в курсе дел новое поколение.

Споры утихли отчасти и потому, что большинства изначальных участников давно уже нет в живых. А труд Великовского обрел статус литературного памятника. О памятниках не принято говорить на повышенных тонах.

Приток свежей литературы в наши соборные библиотеки давно и резко сократился, мне самому интересно было узнать, как сейчас обстоит дело с Великовским на Западе. Недавно узнал о существовании научного общества «Подиум академической свободы» (Podium Akademische Freiheit), центр его в Базеле, Швейцария. Это одно из обществ, пропагандирующих идеи Великовского. Я связался с его руководителем, г-ном Кристофом Марксом.

По его мнению, «официальные» споры никогда не поднимались выше той планки, на которой велись изначально. Как тогда, так и сейчас научный истеблишмент не склонен всерьез прислушиваться к доводам Великовского, пытается породнить его с Эрихом фон Дёникенем. В Америке и Англии существуют группы последователей Великовского со своими периодическими изданиями и сайтами, однако они, по мнению Маркса, перемалывают старые, много раз проговоренные темы, подновляя их проблемами, присущими эпохе глобализма.

Между тем на «Подиуме академической Свободы» считают, что наследие Великовского сегодня следует оценивать не столько по «Мирам в столкновении» и «Векам в хаосе» (книга, где обосновывается новая хронология Древнего Мира), сколько по его психоаналитическому подходу к истории человечества в целом. Такой подход требует в первую очередь ответа на вопрос: что вызывало в прошлом и вызывает сейчас всплески иррационального поведения коллективного бессознательного, ибо именно это приводит нас к войнам, терроризму, деструктивному поведению людей.

Как я понимаю, эта группа последователей Великовского во главу угла ставит его последнюю, посмертно изданную книгу — «Человечество в амнезии», в которой Великовский успел предупредить, насколько опасна утрата человечеством памяти — особенно сегодня, когда мир напичкан сверхразрушительным оружием. Это лишнее свидетельство многогранности творчества Великовского.

— *Какова реакция на книги Великовского в России?*

— До недавнего времени никакой реакции не было и быть не могло: имени Великовского не знали, книг его не читали. Раз-другой я встречал упоминания о нем в статьях советских ученых. Те упоминания были столь же мимолетны, сколь уничтожительны. Очевидно, информация черпалась из статей его противников.

Одним из немногих советских ученых, кто действительно знал и поддерживал теорию Великовского, был киевский профессор Всехсвятский. Это был астроном, более того, специалист по кометам, так что о теории Великовского он судил вполне профессионально. Где-то я встречал упоминание, что Всехсвятский обменялся с Великовским письмами. А 1962 году в двух номерах жур-

нала «Наука и жизнь» стараниями Всехсвятского было опубликовано изложение теории Великовского. Правда, имя его не было упомянуто — по цензурным соображениям.

Лет пять тому назад в Ростове-на-Дону вышла книга Иона Дегена «Великовский». Книг о теории Великовского, за и против, вышло немало, а биография — это первая. Киевлянин Ион Деген уехал в Израиль, и там по воле случая познакомился с учением Великовского. Это учение настолько его увлекло, что бывший киевский врач отважился взяться за непривычное дело — написать книгу. Дегена подвигло на это поразительное открытие: не только выходцы из СССР, но и «ивритоязычные интеллигенты», оказалось, ничего не знают или отзываются пренебрежительно о «великом сыне еврейского народа». В Еврейской энциклопедии для него не нашлось ни строчки.

О реакции на «Миры» русского читателя могу судить по себе. Книга попала ко мне случайно и стала откровением. Ощущение было такое, будто после путанных рассказов о чем-то важном, я наконец получил правдивую и точную информацию. В перенасыщенные чудесами библейские эпизоды Исхода я, признаться, и в детстве до конца не верил, хотя меня очень впечатляла препоясанная веревкой коричневая ряса моего учителя закона божьего, монаха-капуцина отца Петера и цветные картоны с изображением чудес, которые он приносил с собой в класс. А уж потом и подавно в них разуверился. И вдруг все поместилось в фокус, изображение обрело четкость. Лишенные статуса божественных деяний, баснословные происшествия превратились в причинно-следственные связи природных явлений. События в Синайской пустыне стали той клеточкой, по которой воссоздавалась картина глобальной катастрофы. В унисон с библейскими мотивами зазвучала музыка папирусов, глиняных табличек, рукописей майя, китайских хроник, греческие гексаметры. То, что при Исходе видели евреи, оказывается, видели, пережили и другие народы. Все проецировалось тогда на небесном экране, где плыла страшная рогатая комета, то слепя, то покрывая мир тенью смертной (задымленной атмосферой).

Уже по первому чтению книга произвела сильное впечатление, хотя мысли перевести ее не возникло. Очевидны были огромные трудности. Автор призвал в свидетели все науки мира, все отрасли знаний технического спектра, о которых я имел смутное представление. Но я часто возвращался к «Мирам», когда по поводу тех же событий приходилось выслушивать лепет людей, не посвященных в таинство катастроф.

К тому времени я узнал о Великовском все, что мог. Не все в нем нравилось. Тот же сионизм, которым он «доставал» всех окружающих — свою невесту, Альберта Эйнштейна, сокурсников в университете Монпелье (где проучился год до Эдинбурга). А в общем, почему бы нет? Странно, если бы такой идеей загорелся, скажем, Пуришкевич. Великовский как никак был потомком Ездры, священника, книжника и, можно сказать, первого сиониста, еще в V века до н. э. приведшего из Вавилонского плена на развалины Иерусалима десятки тысяч иудеев.

Прошел не один год, прежде чем я решился засесть за перевод. Ни одна из переводимых книг не доставляла мне столько трудов и хлопот. И столько ра-

дости! Чтобы прояснить какой-то термин, разобраться в каком-то событии, уточнить написание имени приходилось листать разноязычные энциклопедии, выписывать десятки редких монографий. Получая в Ленинке свежую стопку книг, в которых надеялся отыскать нужные факты, реалии, — поверите? — я ощущал волнение и трепет, сродни тем, что ощущал в далекой юности, расстегивая пуговицы бюстгальтера любимой.

О волнениях и трепете, пережитых им в библиотеках, Великовский рассказывал в своих мемуарах «Звездочеты и гробокопатели». Думаю, похожие чувства испытают многие читатели, жаждущие ясной и четкой картины мира вообще и Древнего Мира, в частности. Считайте это лирическим отступлением.

А вот пример реакции на книгу Великовского в России. Я веду рубрику *Английский язык* в журнале «Наша школа», тираж 30 тысяч, читатели, понятно, школьники. Как-то задержал сдачу материала, ссылаясь на занятость другой работой. Редактор поинтересовался: что за работа? Вкратце изложил суть гипотезы Великовского. Реакция была мгновенной. Напрасно я пытался их уверить, что книга не для школьников, что она опрокидывает представления многих дисциплин, что текст пестрит сносками, труден для восприятия. Редактор не желал слышать никаких отговорок, убеждал меня, что я недооцениваю их читателей. Не все из них смотрят «Зазеркалье», слушают рок-группы. Словом, приехали и забрали рукопись.

Я был потрясен, узнав, что этот «тонкий» школьный журнал решил печатать не изложение книги Великовского, не подборку глав, а целиком первую часть с постраничными иконостасами сносок, которые когда-то так смущали американских издателей! Первая часть книги, «Венера» прошла в 10-12 номерах журнала за 2001 год. Не знаю, сумел ли этот ученейший труд отвлечь школьников от попсы и «ужасиков», но после публикации мне звонили взрослые люди, спрашивали, когда выйдет книга, где ее можно будет купить. В редакцию журнала тоже был звонок. Те люди представились как разработчики школьных программ, их интересовало то же самое — когда выйдет книга?

И вот совсем недавно опять звонят: редактор, уже другого журнала просит разрешения на публикацию «Миров». Да ведь книга вышла, в журнале напечатана! Не имеет значения, материал настолько интересен, можно и повторить. Ну-ну...

— *Что, на Ваш взгляд, у Великовского недостаточно обосновано? Чего не удалось доказать?*

— Возможно, удивлю вас после всего сказанного. Но я до сих сомневаюсь, а прав ли Великовский, действительно ли все происходило именно так, как он нам представил? И я дорожу своими сомнениями. Они позволяют мне оставаться открытым для любых возражений, контрдоводов. Более того, я ищу возражений, доводов. Но чаще они сводятся к знакомому «этого не может быть, потому что не может быть никогда».

Любая дерзкая гипотеза помимо всего прочего должна обладать изяществом. Под изяществом я разумею стройную, глубоко эшелонированную систему аргументов, взаимоподдерживающих друг друга, взаимопроникающих. Без

этого гипотеза оказывается мертворожденной. У Великовского все сделано прочно, весомо и в то же время филигранно. К примеру, он выдвигает одно из немыслимых утверждений, о том, что Земля не раз меняла наклон своей оси, а значит, и географическое положение полюсов. После вводной авторской фразы нередко безо всяких вступлений следует текст в кавычках, развивающий ту же мысль. Кавычки закрываются, циферка сноски отсылает нас к примечаниям. Скользя глазами в подвал страницы, вы обнаружите авторитетное имя наших дней или мудреца древнего мира, солидную монографию или священный текст. И получается, что Великовский говорит, в общем-то, о том, что было давно известно.

Для подтверждения крамольной мысли об изменении наклона земной оси автор не гнушается никакими свидетельствами. Обильно цитирует «Метаморфозы» Овидия, где дана впечатляющая картина вселенской катастрофы на просторах Евразии. В результате тех катастроф, замечает Овидий, «Земля... чуть-чуть осела сама и пониж стала, чем раньше». Иначе говоря, земная ось изменила наклон! Но Овидий, Сенека, Гомер никогда для нас не перестанут быть *художеством*. Никакими красивыми стихами не заставят нас поверить, будто Земля действительно когда-то *осела*. Но далее Великовский убеждает нас в том цепью строго логических доводов.

Вот в Фаюмском оазисе, в Египте, раскопали древние солнечные часы, которые почему-то не желали показывать точное время на своей широте, зато исправно выполняли свои обязанности за несколько сот километров от места находки.

Известно, что порталы древних храмов ориентированы точно на восток. Однако при раскопках фундаментов *наидревнейших* из них выясняется, что их двери смотрят на восток с небольшими отклонениями. Неужели древние зодчие не умели точно определить местонахождение востока? Такие и тому подобные недоуменные вопросы задавали себе археологи, этнографы, историки, антропологи. Эти *недоумения* Великовский старательно выуживал из пожелтевших малотиражных журнальчиков, ученых записок. В свете его теории они получали изящное объяснение.

И в какой-то момент читатель, доверяющий здравому смыслу и своей способности логически мыслить, под напором фактов и свидетельств был готов принять жуткую картину апокалипсиса Иммануила. Громада земного шара, словно театральные кулисы, с горными кряжами, морями, континентами начинала вдруг крениться, и Северный полюс — бывший Северный полюс! — *оседал*, сдвигался к нынешней Баффиновой Земле (север Канады). А это значит, что просторы по ту сторону земного шара, известные ныне как Сибирь, из умеренной зоны поднимались к высоким широтам со всем на них сущим — стадами мамонтов, не дожевавшими листья кустарника (кустарник тот растет по сей день в Китае), с домами и юртами, не догоревшими кострами и людьми. Все это — мамонты, люди, селения — вскоре окажется в зоне мертвящего холода и погибнет...

Про мамонтов мы наслышаны. Но Великовский приводит такой факт: на Аляске, за Полярным кругом археологи раскопали не просто большое селение, а город с самобытной, неэскимосской культурой, родственной культуре айнов

острова Хоккайдо. Как он оказался в Заполярье? Приплыл туда вместе с монетами, когда *оседала* Земля.

— Так что же все-таки у Великовского, на Ваш взгляд, недостаточно обосновано, доказано?

— Что считать доказательством? Альфа и омега теории Великовского — Венера, комета, ставшая затем планетой. Его противники говорят, ничего подобного произойти с ней не могло, поскольку и тридцать пять веков тому назад Венера сияла на небосклоне, как сияет сейчас. Великовский утверждает, что первые упоминания о Венере в ассирийских, халдейских, индийских источниках появляются не ранее VII века до н. э. До этого звездочетам было известно лишь четыре «подвижных» звезды — Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн.

В древнейших астрономических таблицах Венеры нет! С этим ученые согласны. Ее отсутствие объясняли тем, что Венера, по представлениям древних, входила в триаду вместе с Луной и Солнцем. За что такая честь звезде, которая месяцами не появляется на небосклоне? Если кто-то сумеет обосновать подобную странность, ему придется ответить на другой неудобный вопрос: почему после VII века до н.э. те же звездочеты изъяли Венеру из священной триады, присоединив ее к списку «подвижных» звезд? Не доказывает ли это, что до указанного срока планеты Венера попросту не было на небосводе?

При раскопках во дворце ассирийского царя Ашшурбанипала (тот самый седьмой век!) нашли уйму глиняных табличек с астрономическими текстами и среди них — записи восходов и заходов Венеры на протяжении 21 года. Они известны под названием табличек царя Амми-цадуки. Скандальность записей в том, что в некий период древней истории Венера вела себя совсем не так, как ведет себя сегодня. Венера табличек Амми-цадуки не признавала урочных восходов и заходов. Вместо положенных семидесяти дней отсутствовала в небе порой до пяти месяцев или являлась на месяц раньше урочного срока. Иначе говоря, перед нами портрет той Венеры, которая, перестав быть кометой, еще не стала в полной мере планетой.

Какой была реакция на те документальные записи? Один из вердиктов ученого комментатора: «Все эти записи совершенно недостоверны». Как понимать — *недостоверны*? Двадцать один год астрологи еженощно вели записи, чтобы потом на их основании делать свои предсказания. Таблички аккуратно переписывались (сохранилось несколько комплектов). К чему было размножать *недостоверное*?

За Венерой следили не только ассирийцы и халдеи. Великовский разыскал подобные записи древнеиндийских астрономов, и в них разительное несоответствие восходов и заходов древней Венеры в сравнении с нашей. И там уже другие комментаторы выносят точно такой же приговор: «При наблюдениях совсем не обращалось внимания на действительно происходившие движения на небе».

Но я увлекся, я опять на стороне Великовского. Теперь о том, что мне кажется недостаточно обоснованным. Лучше скажем так: недостаточно четко прописано.

Он выстроил убедительную картину происшедших катастроф. Каждый эпизод (потопы, пожары, землетрясения, пришествие кометы) документально подтвержден, если древние тексты, мифы и предания можно считать документом. А вот очередность, последовательность событий, иначе говоря, их синхронизация, подчас достаточно смутны. Но можно ли в том винить автора? Хорошо, что он не пытался все уложить в прокрустово ложе хронологии. Точные даты называл лишь в тех случаях, когда был абсолютно в них уверен.

Картина глобальных катастроф во многом зиждется на библейских текстах (книг пророков, Исхода, Псалтыри). Великовский умело пользуется этим материалом, мозаика цитат не оставляет сомнения, что в мире происходила грандиозная катастрофа, и Библия рассказывает именно об этом. Но если вы, не довольствуясь цитатой, поинтересуетесь, что следует далее, то иногда обнаружите, что речь там идет о вещах вполне житейских, а шум катастроф остался где-то позади. Сейчас навскидку не вспомню подходящий пример. Но это не раз заставляло меня призадуматься. Впрочем, библейские тексты претерпели по крайней мере пять редактур, начиная с V в. до н.э. (редактура Ездрой Пятикнижия) и кончая VII-IX веками уже новой эры, когда масореты из Тивериады окончательно утвердили канон Ветхого завета. Катастрофы к тому времени были далеким прошлым, и многое из того, что казалось непонятным, упрощалось, приземлялось.

— *Говоря о Великовском, можно ли провести какие-то параллели со школой А. Фоменко? Если да, то в чем их отличие?*

— Безусловно, какие-то параллели возможны, но со многими оговорками и уточнениями.

Великовский считал, что египетской истории по недоразумению приписаны пять-семь лишних веков, а потому в ней немало фантомных царств, царей, одни и те же битвы подчас прокручиваются дважды. А поскольку история соседних народов накрепко «привязана» к истории Египта, получается, что ровно столько же веков из жизни этих народов вычеркнуты. Приступая к «Мирам», он решил сначала разобраться с хронологией. Ей посвящена книга «Века в хаосе», и писал он ее одновременно с первой. В «Мирах» — физическая история Земли. В «Веках» — политический и культурный аспект того же времени. Для историков эта книга столь же сенсационна, как «Миры» для астрономов и физиков. Всего лишь один пример. По традиционной хронологии египетская царица Хатшепсут правила в 1505 — 1483 гг. до н.э. По хронологии Великовского, она современница царя Соломона, иначе говоря, жила пятью-шестью веками позже. Более того, в почти детективном расследовании Великовский убеждает нас, что Хатшепсут была той самой царицей Савской, что некогда нанесла визит Соломону.

Таким образом, поправки к хронологии у Великовского ограничены историческим ландшафтом Передней Азии, простираясь не далее седьмого века до новой эры. Всякие другие параллели со школой Фоменко могут показаться натяжкой.

Вы читали те дорогие, толстые тома, что дружно выходят под патронажем школы Фоменко? Я тоже их не читал, а потому любое наше суждение следует

воспринимать как предварительное. Однако я проштудировал реферат Анатолия Тимофеевича «Критика традиционной хронологии» с подзаголовком «Какой сейчас век?». Об астрономической и математической части работы, на основании которой делаются столь смелые сокращения веков, судить не берусь. Но когда дело доходит до анализа исторического материала, тут мы можем позволить себе высказать мнение.

Мне кажется, сейчас люди даже своим будущим не очень дорожат, а уж с прошлым готовы расстаться шутя. Хотите произвести сдвиг во времени на 1054 года и доказать, что Гильдебранд, будущий папа Григорий VII, в действительности был Иисусом Христом? Вам слово, доказывайте! И вот уважаемый академик выстраивает таблицу в две колонки: слева — данные биографии Гильдебранда, справа — Иисуса Христа, якобы совпадающие. Там столько несуразностей, натяжек. Мать Иисуса звали Мария. Как звали мать Гильдебранда, неизвестно. Зато он жил в монастыре Святой Марии. Считается, что сходство найдено. Гильдебранд родился в Италии, а там есть (заметьте — просто есть!) Пелестрина, а Иисус жил в Палестине. Пелестрина, Палестина... Да, похоже, но что это доказывает? У Гильдебранда была подруга, графиня Матильда, ей принадлежала чуть не половина Италии. А спутницей Иисуса Христа была Магдалина, у той, правда, за душой, кроме грехов, ничего не было. Похоже? Нисколько! В огороде бузина, а в Киеве дядя, вот как это называется. И самое главное: Иисус умер на кресте (или на столбе, *ставоросе* в греческом написании), а Гильдебранд почил в монашеской келье... Одного уж этого достаточно, чтобы прекратить любые экзерсисы сравнительного жизнеописания тех двух исторических лиц.

Но если б даже параллелей в биографиях Гильдебранда и Христа оказалось больше, все равно этого оказалось бы недостаточно. И пестрый палестинский антураж для вящей убедительности пришлось бы перенести на итальянскую почву — со всеми селеньями, холмами, оврагами, речками, садами. Это кажется, что только математика и физика имеют дело с формулами, а литературный текст — просто собрание слов. Но тут тоже все вершится по своим формулам и законам. Библейский текст не спутаешь со средневековым, даже повествующим о делах библейских. Ауэрбах в своем «Мимесисе» это, можно сказать, доказал. Словом, фигура Гильдебранда здесь нелепа, для этой цели можно было бы подобрать что-то получше. Взять того же Михаила Горбачева...

— *Причем тут Горбачев?*

— Абсолютно не причем. Как и Гильдебранд. Но любой человек, пришедший с благой или мнимой благой вестью оказывается в путах тех же коллизий, в окружении тех же хрестоматийных персонажей. Все это льнет к нему, словно к магниту. Горбачев ведь тоже явился со своим посланием. «Так жить нельзя!» «Процесс пошел» и т. п. И у него был свой предтеча, Иоанн Креститель или Кресцентий. На эту роль, согласитесь, вполне подойдет Андропов. Были у него свои апостолы, члены Политбюро. И был свой Иуда. Это, конечно же, Ельцин. Помнится по телесюжетам, было между ними и целование. Во всяком случае, объятия перед предательством были точно. И суд синедриона был. Споры с

фарисеями и саддукеями? Сколько угодно. Вспомните фильм (кажется, по НТВ): Горбачев в Кремле, всеми покинутый, с отключенными телефонами, без апостолов, без охраны... Это разве не Голгофа, не распятие? Для пушего сходства, можно добавить другие детали. Роль спутницы Иисуса, грешницы Марии Магдалины, прекрасно исполнит Маргарет Тетчер. наших ортодоксов сильно смущали странные симпатии Горбачева к этой капиталистической грешнице. А уж графиню Матильду, соратницу Гильдебранда, Маргарет Тетчер покроет сполна: она особа и титулованная, и всей Англией «владела»...

Пройдет несколько веков, и при желании можно будет вычерчивать сравнительную таблицу в две колонки: в одной факты биографии Христа, в другой — Горбачева.

— *Не лучше ли нам все-таки вернуться к Великовскому?*

— Хорошо. Всего несколько слов, чтобы закончить мысль. Еще молодой Гете, погружаясь в историю, обратил внимание, что в образах различных деятелей прошлых эпох, в их биографиях навязчиво повторяются похожие мотивы и ситуации. Однако ему в голову не пришло считать те или иные из них фантазмами, перепевами старого. Он здраво рассудил, что в жизни многое происходит по привычным схемам, в рамках определенного сходства. Что было, то и будет, говорил Екклесиаст. У древних было все то же, что у нас, — это из Марка Аврелия (цитирую по памяти).

А теперь в продолжение вашего вопроса о реакции на книгу Великовского... После выхода ее в свет мне позвонили из проекта «Цивилизация»: им понравились «Миры», хотели бы узнать кое-какие подробности. Я толком не понял, что за проект, но при слове «цивилизация» у меня начинает учащенно биться пульс. Получилось так, что Великовский свел меня с интересными людьми. Профессора, доктора наук, кандидаты, аспиранты, люди разных специальностей. Собираются по средам в просторном офисе, после того как, все оставив на попечение охранников, оттуда разъезжаются деловые люди. С «Цивилизацией» я провел несколько вечеров и, должен признаться, не скучал ни минуты.

Поразил меня доклад Ярослава Кеслера, профессора-химика из МГУ. Речь шла о катастрофе, не столь масштабной, как в «Мирах» Великовского, но весьма чувствительной для Европы. Предположительно все началось с падения астероида близ Фарерских островов. Гигантская трансгрессионная волна тогда прокатилась и по территории России, от Ледовитого океана до Черного и Каспийского морей, сметая все на своем пути. О таких катастрофах (потопы Огига, Девкалиона) много толков, этим не удивишь. Смutilо меня предполагаемое время катастрофы: четырнадцатый век нашей эры! Но там не просто досужие домыслы, для доказательства были задействованы труды многих специалистов. Прокатившаяся с севера волна после себя оставила многие улики: типично северные породы рыб в Черном море, нерпу — в Каспийском, солеварни в средней полосе, ракушки, стволы мореного дуба в степной зоне, валуны на высотах... Все это требует тщательного осмысления. Только надо разобраться, подходит ли для такой катастрофы не столь отдаленный век.

Запомнились интересные выступления доктора геологических наук Игоря Давиденко. Главный его тезис: человек может делать только то, что он может делать в данный момент. Стало быть, всему свое время — для стального меча и для пилы, для колесниц и стеклянных сосудов, монет с тонкой гравировкой и для изящных камней. Прежде, чем ответить на вопрос, *когда* это сделано, следует объяснить, *как, при помощи какой техники* это сделано? И тогда может оказаться, что многие музейные экспонаты — *новоделы*, а их датировку придется пересмотреть.

— *Иначе говоря, опять же речь идет о пересмотре традиционной хронологии в сторону ее сокращения.*

— Совершенно верно. Но такой подход — технический, мне кажется логичным, допустимым. Пусть кто-то попытается по методу Гильдебранд = Иисус Христос доказать, что этрусская ваза — это изделие работы Фаберже. В конце концов, не академик Фоменко, даже не академик Морозов, революционер и узник Шлиссельбургской крепости, первыми ощутили приблизительность и растянутость традиционной хронологии. Задолго до них об этом задумался сэр Исаак Ньютон, пытавшийся по разным библейским версиям уточнить ход времени. И Теодор Моммзен отмечал неоправданные сдвиги, разрывы времен. Процесс, как говорится, давно пошел.

И что еще удивляет: энтузиазм участников проекта! Каждая среда начинаются у них с обмена освоенными за неделю материалами. На стол ложатся новые книги, распечатки, древние карты, графики, комочки бронзы в малахитовой патине, осколки стекла, черепки... Артефакты! Разгораются жаркие споры. Все о том же: поиски *утраченного* и *добавленного* времени. Даже в последнем поезде метро, уже разъезжаясь, стараемся перекричать железный лязг и толкуем о Великой Орде, Византии, войнах Екатерины... До следующей среды!

— *Ваше личное отношение к пересмотру традиционной хронологии?*

— Если коротко: готов участвовать в любом шабаше по пересмотру традиционной хронологии. Только ни одного века, ни одного деятеля без боя в *фантомы* не отдам. Пожалуйста доказательства! А то, что выдается как доказательства, кажется неубедительным (вновь оговорюсь: плотно познакомился только с вышеназванным рефератом Фоменко).

Ваша озабоченность мне понятна. За упразднение прожитых человечеством веков по-настоящему взялись только сейчас. К чему бы это? А ведь школы, подобные фоменковской, существуют не только у нас. Как утверждают немецкие ученые Х. Иллиг и Г. Хайнсон, история Древнего Египта насчитывает не 3000 лет и уж тем более не 6000, а всего-то 800 лет.

А знаете, что произойдет, когда эти разработчики, образно говоря, дойдут до «скальной породы»? Когда на всю историю с Шумером и Египтом отбросят тысячу лет, да еще тысячу на современную, от Иисуса Христа до рок-оперы «Иисус Христос — Суперзвезда»? Для многих тогда станет очевидным, что не мог род людской в столь короткие сроки самостоятельно пройти путь от примитивной мотыги до космического корабля. Что все это сделал кто-то за

нас, надоумил в сновидениях или подсказал открытым текстом. И планета Земля предстанет тогда лабораторией, где пришельцы ваяли и продолжают ваять цивилизации, а мы, как и те, что были до нас, всего лишь подопытные кролики.

— *И какие в пользу этого будут доводы?*

— Доводов отыщется предостаточно. Живет в Америке писатель Захария Ситчин. Издал полдюжины томов (четыре переведены на русский), в них рассказано, как в давние времена прилетели к нам обитатели двенадцатой, неизвестной пока планеты Солнечной системы. Будто бы они и заложили основы цивилизации в Междуречье Тигра и Евфрата, распространившейся затем по земле. Среди них были мужчины, женщины, их имена в пантеоне богов Шумера — Ану, Энлиль, Эа, Нинлиль, Инанна и др. Кроме двенадцати великих богов, были и рангом пониже — ануннаки. Разумеется, богами они были только для землян. Среди самих небожителей иерархия выстраивалась по родственной табели о рангах. Автору пришлось изрядно напрячь фантазию, описывая, как они поделили территорию, как обживали земные просторы, обучая дикарей земледелию, ремеслам, искусствам, богочитанию.

Пока это кажется фантастикой, но там есть некое документальное ядро. В III в. до н. э. на остров Кос (Средиземное море) переселился жрец Мардука из Вавилонии по имени Берос. Этот образованный халдей владел греческим языком, в его распоряжении были копии хроник из храма Мардука. По ним была написана история Вавилонии. Правда, книга сохранилась только в цитатах и пересказах. Многое в них перекликается с библейскими сюжетами (например, легенда о Вавилонской башне). Позже историки кое-что приняли из предложенной Беросом хронологии. Так вот, Берос рассказывает о прилетевших к нам с какой-то звезды астронавтах. Для него они, конечно, были богами. Однако это не помешало ему описать их неприглядную внешность. Одного звали Оаннес, он вышел из моря и был похож на рыбу — рыбий хвост, рыба голова, хотя под этой личиной имел вполне человеческий облик («Голос и язык его были человеческие»). Оаннес обучал людей ремеслам, строительству, земледелию, затем опять, как рыба, погружался в море.

Очевидно, речь идет о скафандрах астронавтов или аквалангистов. Пришельцы предпочитали жить в море, должно быть, там у них был свой «Наутилус», где они, пока не освоились на земле, чувствовали себя как дома. Это и послужило документальным ядром, из которого со взрывом фантазии стала расширяться вселенная Захарии Ситчина. Его шеститомная эпопея, можно сказать, целиком вышла из свитка Бероса.

— *Согласитесь, эти рассказы совсем в ином ключе, чем то, что мы прочли у Великовского.*

— Разумеется. Я только пытаюсь предвосхитить аргументы, к которым рано или поздно придет школа Фоменко, когда суммарно прожитое человечеством время ее сторонникам покажется с овчинку. Берос станет первым козырем в колоде доводов, что земляне в своем развитии не были самостоятельны. Что им кто-то помог. А вот, если угодно, довод второй.

Середина XVIII века. Попыхивают первые паровые машины. Франклин при помощи воздушного змея пытается разгадать тайну электричества. Громоотвод — великое открытие! Химики тешатся флогистоном.

А в Англии живет престранный тип — Генри Кавендиш (родился в 1731 г.). В двадцать два года бросил Кембридж, уединился в поместье. Семь лет спустя студент-недоучка становится членом Лондонского Королевского общества (равнозначно званию академика).

Кавендиш определил удельный вес водорода и углекислого газа, вывел формулу воздуха и воды. Раньше Кулона установил законы взаимодействия электрических зарядов. За много лет до Фарадея рассчитал влияние среды на емкость конденсатора. С помощью изобретенных им крутильных весов подтвердил закон всемирного тяготения. Вычислил отклонение света под действием притяжения Солнца. С поразительной точностью назвал массу Земли. Современная наука сумела его поправить всего на четыре сотых! И все это сделано в домашней лаборатории, где подручным материалом, по слову современника, служили «сургуч и веревка»!

После смерти Кавендиша (1810) обнаружили множество рукописей, испещренных алхимическими значками. Без малого век бумаги пылились в библиотеке Кембриджа, пока не попались на глаза Максвеллу, издавшему их 1879 году. И тогда стало ясно, что Кавендишу были вверены ключи от электричества, теории относительности, атомной энергии!

Вверены кем? Жак Бержье, французский физик, писатель и генератор завиральных идей, считал, что в середине XVIII века в Европе появился некий источник информации. Откуда появился — этого Бержье не знал, но полагал, источник тот был внеземного происхождения. Этот некто (скорее всего, он был не один) передал землянам важную информацию по физике и химии, тем областям знаний, где наметились наибольшие пробелы. Сокровенные сведения доверялись особо избранным. Бержье их называет «вестниками», различая по степеням. Кавендиша он считал вестником высшей категории.

Столь же высокого ранга был и Роджер Боскович (родился в 1711 г.), хорват по национальности, монах-иезуит, совмещавший в себе многие профессии, — математик, физик, астроном, поэт и философ. В отличие от затворника Кавендиша, вдоль и поперек исколесил Европу, представляя при дворах Дубровницкую республику. Заведовал кафедрами во многих университетах. В его библиографическом списке около сотни научных работ. Не количество, однако, удивляет, а то, что идеи Босковича далеко определили науки. Основателем современных представлений назвал его Менделеев. И современные физики считают его предтечей.

В своем труде «Теория естественной философии» (само название длиннее) Боскович затронул не только проблемы теории относительности, квантовой механики, биолокации, но рассуждал о вещах, для нас по сей день темных — о путешествии во времени, о «параллельных мирах»...

— Ну что ж, гениальные люди, творцы, они всегда опережают время.

Хорошо, тогда еще один сюжет... Не могу забыть пространное интервью с доктором Жан-Пьером Пети, уважаемым французским физиком из Националь-

ного центра научных исследований. Опубликовано давно — в одном из декабрьских номеров журнала «Пари-матч» за 1991 год. Помню и фотографию ученого: крепкая фигура, пытливый взгляд, ни одного седого волоса — мужчина во цвете лет. А говорит немыслимые вещи!

По словам Пети, на протяжении многих лет он получал от некоего источника информацию — по общей теории относительности, физике твердого тела, информатике, биологии. Это позволило ему всего за полгода написать и опубликовать несколько капитальных работ, что без подобных подсказок было бы невозможно. Редакция проверила: солидные статьи, солидные журналы, восторженные отзывы.

В отличие от Бержье, Пети точно знает, кто распространяет информацию. Пришельцы с планеты Юммо, находящейся от нас на расстоянии четырнадцати световых лет. После того как юммиты совершили посадку (Пети называет дату, место приземления), их резиденты, расселившись по континентам, приступили к выполнению задания: собирая сведения о нас, они в то же время сообщают землянам кое-какие сведения. Пети описывает внешность пришельцев (от людей почти неотличимы), рассказывает, чем питаются, как размножаются, как у них обстоят дела с юмором. Откуда он все это знает? От самих же юммитов.

И как, вы думаете, он получал информацию? Весьма прозаически — по почте. Земная бумага, машинописный текст. Пети известно до двух тысяч страниц таких писем. В конце каждого пометка — в скольких копиях, на каких языках распространяется.

Не розыгрыш ли это, спрашивает журналистка. Стольких контактеров дурачили трескучими посланиями от имени инопланетных цивилизаций! Но в отличие от набора трюизмов, возражает Пети, которыми потчуют контактеров или которыми те потчуют нас, тут свежая информация, фундаментальная, практичная. И выносится она на суд не толпы, а специалистов высокого класса.

Тогда, может, какой-нибудь гениальный чудак дурачит ученых? Маловероятно, говорит Пети. Чтобы поддерживать постоянный поток информации, пришлось бы создать тайный клуб гениальных шизофреников, в течение десятилетий безвозмездно раздающих посторонним бесценные подсказки и научные прозрения. Ради чего?

Такую же научную подпитку, по словам Пети, от пришельцев получают и другие ученые, но предпочитают об этом помалкивать. Однако пришло время с этим разобраться. Даже если это розыгрыш, его можно распознать. Нужно только побудить ученых, получающих такую информацию, собрать ее воедино, обобщить, проанализировать, а затем решить, насколько ее можно считать земной. Или неземной.

Вы полагаете, интервью с доктором Пети явилось полным откровением? Но десятью годами раньше, как сообщил тот же журнал, испанский ученый Антонио Рибера опубликовал книгу «Тайна Юммо» о своих связях с юммитами.

— *Вы рассказываете невероятные вещи.*

— Свят, свят, свят! Не хочу пугать ни вас, ни себя. Тот материал из «Пари-матч», помню, назывался «Чудовищный розыгрыш или трепетная реальность?».

Не знаю, как дальше развивались события. Я склоняюсь к тому, что это все-таки была какая-то мистификация, наконец, рождественская сказка самого журнала (помню, номер журнала был точно декабрьский). Но все равно, если удастся *сплющить* время, эта история вместе со многими другими послужит доказательством того, что человечество не могло прийти самостоятельно к тому, к чему пришло, плохому и хорошему.

— *Почему вы настаиваете, что школы или группы, которые стремятся, как вы говорите, «сплющить время», непременно разыграют карту пришельцев?*

— Другого просто не дано. Вспомним популярную притчу швейцарца Эйхельберга, осязаемо и зримо изобразившего путь, пройденный человечеством. На всю историю он отводил 600.000 лет, о чем, конечно, можно и поспорить. Но если историю человечества представить в виде марафонского бега на 60 километров, то лишь за два километра до финиша (наше время) появляются первые примитивные орудия и настенные рисунки в пещерах. Лишь на последнем километре — приручение животных и первые пробы земледелия. Всего за двести метров до финиша поднимаются строения Римского форума. Еще сто метров — Средневековье. И лишь на последних пяти метрах бегун увидит чудо. Асфальтовые, железные дороги, по ним мчатся машины, поезда. Ночные города залиты светом. В небесах проносятся сверхзвуковые самолеты, плывут космические корабли, на дне океанов подводные лодки... Все на последних пяти метрах дистанции! Разве не удивительно?

А теперь представьте себе: человечество лишили львиной доли прожитых тысячелетий. Их попросту списали, как никогда не бывшие. Дистанция сократилась в десятки, сотни раз, уменьшились и промежуточные этапы. Получается, что под вспышками фото— и телекамер наш бегун окажется не на последних метрах, а на последних сантиметрах, а то и миллиметрах пути. Кто же поверит, что человек сам сумел сотворить чудо современности за такой срок? Вот тогда и вспомнят о человеке-рыбе Оаннесе, о «вестниках», открывавших сокровенные законы с помощью «сургуча и веревки», вспомнят доктора Пети... Вспомнят странные сны Нильса Бора, Менделеева... Одному во сне приснился атом в виде Солнечной системы, другому — периодическая таблица элементов. Информация не всегда приходит в почтовых конвертах.

— *Каково Ваше отношение к этому? В чем Вы видите альтернативу?*

— Мое отношение отрицательное. Пришельцев может и не быть. Но представьте себе: появляется некто, и он говорит, что получает *от них* предписания, необходимо сделать то-то и то-то! И это приказ. А сам посредник, понятно, становится диктатором. Пока это, конечно, невозможно. Но когда наблюдаешь, как стремительно рынок оглушает людей... Тошнотворность рекламы, гороскопы, отгадывание слов, кроссвордов, фильмы, которые можно смотреть, переключаясь с канала на канал, и вроде бы все о том же...

Что касается альтернативы... Бержье, о котором я упоминал, совместно с Луи Повелем написал книгу «Вечный человек». В ней утверждается, что классическую теорию эволюции следует признать банкротом. Если *человек мысля-*

щий существовал 100 тысяч лет назад, рассуждают авторы, мы обязаны спросить себя: неужели в столь долгом походе homo sapiens имеется всего лишь единственный проблеск, а именно заключительный отрезок, равный 0,05 от его суммарного пребывания на Земле? Иными словами, не мог человек мыслящий 95 тысяч лет празднично присидеть у первобытного костра!

В самом деле, как объяснить эти затяжные *праздники* века? Относительную молодость нашей цивилизации объясняет теория катастроф: после сокрушительных природных катаклизмов человеку не раз приходилось начинать все сначала. В этом суть хрестоматийной беседы Солона с египетским жрецом. После глобальных катастроф род человеческий, низведенный до небольшого числа разобренных существ, долгие века ни о чем ином не помышлял, кроме как о выживании. Ни о каких искусствах, науке не могло быть и речи. О том же в свое время размышлял Лаплас. Но зримую панораму одного из таких моментов в истории человечества представил Великовский.

Не дай, как говорится, Бог... Но 20 июня с. г. мировые агентства новостей передали сообщение, что Земля разминувшись с очередным астероидом. Прошел всего в 120 тысячах километров — можно сказать, на волосок от Земли по космическим меркам. Астероид был невелик, с футбольное поле. Тревожным было то, что обсерватории его обнаружили только при отлете. Будь астероид побольше (скажем, 10х10 км), пролети чуть поближе... Вы обратили внимание, в последние годы подобных сообщений становится все больше?

— *Давайте все же вернемся к Великовскому. Как он соотносил свою концепцию с мистической версией событий религиозной истории?*

— Вопрос деликатный. Сам об этом много думал. Ни в одной из книг, а уж тем более в «Мирах», он не пытался напрямую вступить в спор с общепринятой версией событий, излагаемых в Библии. Вернее, с истолкованием ее. По разным поводам он повторял, что Библия — правдивая книга, надо только суметь прочитать ее правильно. Можете себе представить, какой длинный и скандальный список получился бы, решишь он перечислить тех, кто толкует ее неправильно. Великовский выбрал всего двух комментаторов, чтобы на их примере дать обобщенный взгляд о других. Это хорошо известный раввин Маймонид и всемирно известный философ Спиноза. Говоря о них, Великовский, обычно такой сдержанный, явно теряет терпение. В самом названии той главы, «Маймонид и Спиноза, экзегеты», чувствуется раздражение.

Что не устраивает Великовского в их толковании Библии? То, что эти авторы воспринимали описание действительно происходивших событий как метафоры, художественные преувеличения, «склонность к чрезмерным оборотам». Что не желали признавать правдивость граничащих с чудом библейских рассказов. Толковали их как излишне эмоциональное восприятие сугубо локальных катаклизмов, которые пророки-де проецировали на всю вселенную. Великовский же считал, что там, где пророки говорят про падающие с неба камни, серу и смолу, всепожирающее пламя и вихри, они имеют в виду именно это, а не поэтические иносказания.

Раввины Амстердама подвергли Спинозу «великому отлучению». Маймонид сам был раввином, очень влиятельным, но это не спасло его от преследо-

вания ортодоксов, его книги сжигались. За что? За умаление чуда, за низведение библейских чудес до метафор. Парадокс, но Великовский критикует их за то же самое! Кстати, Спиноза считал, что чудеса — это происшествия, причина которых не поддается объяснению. Спиноза не нашел объяснения библейским чудесам и объявил их метафорами. Великовский отыскал причину, и чудеса, перестав быть чудесами, стали следствием природной катастрофы.

Почему бы ортодоксам не принять его версию о катастрофе? Что меняет-ся? А меняется решительно все! Ветхий завет покоится на рассказе об интимных отношениях израильтян с Иеговой. Стоит признать, что великая катастрофа была, — и сокровенные эпизоды с богоявлением, передачей завета низводятся до «субъективного восприятия», на чем настаивали Спиноза, Маймонид. Опять парадокс! Будь на дворе иные времена, Великовский также подвергся бы «великому отлучению».

Как-то дочь Великовского сказала с ноткой осуждения: папа, но ведь ты не ортодоксальный еврей. Да, отвечал он, я просто еврей, верующий. Но если ты верующий, продолжала дочь, почему пишешь, что чудеса, происшедшие с нашим народом, вовсе не чудеса, а явления природы? Я ученый, доченька, отвечал он, я описываю объективные явления, не давая им теологической оценки.

Но чудес Великовский не отрицает. «Разве это не чудо, что описываемые мною катаклизмы произошли именно в нужный момент? Я знаю, *что* произошло. Но, увы, мне не дано знать, *почему* это произошло». Тут что-то вроде восточной шкатулки с секретом: вам удалось открыть одну, а в ней другая, тоже с секретом, и, скорее всего, не последняя. Великовский нашел секрет первой шкатулки. Чудес в ней не оказалось, — сплошные экстремальные явления природы. И с чувством благоговения склонился перед второй закрытой шкатулкой: *почему* те явления происходили в сокровенно-важные для израильтян мгновения?

Это, на мой взгляд, и позволило Великовскому остаться *верующим*. Однако слова его «я просто еврей» значительно весомее, чем смотрятся в контексте. Прежде всего, он был сионистом. Едва ли не с гимназической скамьи, написал (под псевдонимом) брошюру «Третий исход», в которой звал евреев переселяться в Палестину. Сионизм проповедовал всем и вся. Не любил евреев, отвернувшихся от своей веры. Даже Зигмунду Фрейду, к которому питал уважение, вынес порицание за то, что тот ради преуспевания порвал с иудейством и принял крещение. Карла Маркса обозвал человеком никчемным (*Luftmensch*), не потому, что тот боролся за права «обездоленных». То же самое, с его-то внешностью ветхозаветного пророка, Маркс мог бы делать, не отрекаясь от своего происхождения, ибо все иудейские пророки выступали против царей, богачей, эксплуататоров. Но Маркс отринул не только свое происхождение, одна из его первых работ была направлена против еврейства.

А уж таких евреев, как Иосиф Флавий, Великовский просто на дух не выносил. Не столько даже за то, что Иосиф при отягчающих обстоятельствах предал народ, перешел на сторону римлян, сколько за то, что в те далекие времена (первый век новой эры) не дал достойную отповедь Манефону и Апиону, сумевшим убедить мир, что гиксосы, совершившие кровавые зверства

в завоеванном Египте, были евреями. Это, по мнению Великовского, и дало зеленый свет антисемитизму в мировом масштабе.

Правда, все эти темы остались за пределами «Миров». О них Великовский коснулся в других книгах, где он, по словам его биографа, предстает «как верный сын еврейского народа». Однако и там о иудействе как религии я не встретил ни одного елейного с благоговейным придыханием сказанного слова. Великовский — исследователь, не богослов. *Просто еврей.*

— *Что будет еще переведено из Великовского?*

— Мне очень хочется перевести его вторую книгу — «Века в хаосе». Недавно я излишне много говорил о поисках утраченного и добавленного времени в истории человечества. Эта книга как раз об этом.

**ФИЛОСОФСКАЯ, ПОЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ,
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ**

в русской периодике первого-второго кварталов 2002 г.

Постмодернизм как устоявшийся бренд современности не теряет своей разрушительной силы. Скептики добрались до святынь: подорвана вера в абсолютную неизблемость теории относительности. Об этом в статье **«Немецкие ученые утверждают: теория относительности Эйнштейна лжива!»** («Знание — сила», № 1) пишет А. Голяндин. Автор анализирует книгу Г.Галецки и П.Марквардта «Реквием по частной теории относительности: прощай, относительность». Ученые собрали все возражения против теории Эйнштейна. В первую очередь несостоятельными объявлены фундаментальный принцип постоянства скорости света и так называемые преобразования Лоренца. И то и другое существует только в теории, а экспериментально — вопреки утверждениям учебников — не только не доказано, но даже и опровергнуто.

Итак, с математической точки зрения теория относительности выстроена безупречно, но к реальной действительности она не имеет никакого отношения. Эйнштейн игнорировал факты, жонглируя абстрактными цифрами и математическими формулами. Формулы не соответствуют фактам — «тем хуже для фактов».

Оправдать досадное *несоответствие мыслимого и действительного* в теории Эйнштейна могли бы соображения Р.Аронова и В.Шемакинского, высказанные в статье **«Логико-гносеологические патологии и амбивалентность физического познания»** («Вопросы философии», № 1). Когда математические понятия отождествляются с объективной действительностью, а логически выведенное — с реально существующим, возникают логико-гносеологические патологии. Крайний случай такой патологии — это логико-гносеологический аутизм, т.е. весьма распространенное в научном сообществе представление о самодостаточности научных теорий, их замкнутости и активном отстранении от внешнего мира. Наиболее остро эту ситуацию выявляют попытки понять и объяснить, что такое пространство и время. Классическая физика сводит материю к веществу, для нее пространство и время — физические реальности. Кант рассматривает их как априорные формы чувственности, свойственные не объекту, а субъекту познания. Современная физика видит пространство как геометрическую структуру, логически не зависимую от опыта; поэтому познание пространства осуществляет не экспериментально, а путем математических исчислений. Таким образом, хотя физика и изучает материальные процессы, пространство интерпретируется как абстрактное многообразие, доступное только математическому анализу. Современная физика невозможна без геометрии, а геометрическая интерпретация отнимает у пространства и времени всякую физическую предметность. Но даже не реализуясь, идеальная теория имеет право на существование потому, что является регулятивной идеей, определяющей стратегию познания.

Несоответствие теории и реальности не редкость. **Н. Решер** в статье «Озадачивающие явления» («Вопросы философии», № 1) попробовал дать этому утешительное объяснение. Термин «озадачивающие явления» употребляется, когда нам приходится сталкиваться с тем, что расходится с нашими знаниями о мире и, следовательно, ставит нас в тупик. Индивидуум или сообщество реагируют на озадачивающие явления разными способами. Это может быть игнорирование (отказ признать подлинность явления), принижение (признание несущественным и неважным), приспособление (отрицание чрезвычайности явления), примирение (признание реальности явления в надежде на объяснение его в будущем) и, наконец, мистифицирование (признание явления находящимся по ту сторону человеческого понимания).

В наши дни господствует, в сущности, разумная идея о том, что наблюдение неизбежно проникнуто теорией, т.е. наши описания наблюдаемого всегда сформулированы в терминах некоторых теоретических постулатов, впитанных нами с молоком матери. Озадачивающие же явления находятся за чертой преобладающего способа теоретизирования. Если разделить характеристику явления и объяснительную теорию, можно занять совершенно непредвзятую позицию и принять озадачивающее явление само по себе. Такое разрешение противоречия теории и реальности может быть целительно для умозрительной патологии.

Однако противоречивость заключена в самой природе нашего мышления. **И. Ефимов**, автор статьи «Краткое перемирие в вечной войне» («Новый мир», № 4), демонстрирует пример продуктивного разрешения и этого противоречия. Поводом для этого послужила книга А. Наймана об Исае Берлине «Сэр». Эта книга — плод бесед писателя местного значения со всемирно известным мыслителем, но Найман вовсе не склонен почтительно внимать собеседнику. Писатель и философ, по мысли автора статьи, в ходе диалога демонстрируют сочетание обоюдно противоречивых, но одинаково убедительных высказываний об одном и том же предмете — то есть антиномию. Автор статьи придал этому спору трагическое звучание и назвал его вечной войной, в которой Найман и Берлин вестники (соответственно) тезиса и антитезиса. Выглядит получившаяся антиномия так: тезис — причинность по законам природы недостаточна для объяснения всех явлений, существует свободная спонтанная причинность; антитезис — нет никакой свободы, все совершается в мире только по законам природы.

Берлин (антитезис) в представленной книге явил собой живой пример того, что в умозрительной сфере можно отказаться от понятий добра и зла, можно не верить в Бога и оставаться при этом душевно богатым и глубоко порядочным человеком. Найман (тезис) показал, что можно все знать о победах естественных наук, о бескрайних злодействах мировой истории и все же верить в Бога и чуда.

Несколько статей обозреваемого периода так или иначе затрагивают **вопрос свободы**.

В № 5(19) журнала «Неприкосновенный запас» опубликован материал «Почему я не консерватор». Его автор **Ф. Хайек**, политический философ, творец современного либерализма, почитаемый одновременно неоконсерватора-

ми и реформаторами, нобелевский лауреат. Климат в современной ему действительности (Хайек умер в 1992 г.) был таков, что ущемление свобод личности считалось политическим прогрессом. Защитникам свобод, либералам, приходилось становиться в оппозицию такому прогрессу, и они оказывались в одном лагере с консерваторами, противниками всякого прогресса. Хайек объясняет свою *либеральную позицию*, подчеркивая ее *отличие от консервативной*. Консерватизм, по его мнению, прежде всего характеризуется боязнью перемен и недоверием к новизне как таковой. Либерализм же зиждется на мужестве, уверенности в себе и готовности к переменам. Консерваторы не доверяют ни абстрактным теориям, ни спонтанно действующим факторам. Либералы в них верят, не зная, к каким это приведет результатам в каждом конкретном случае. Так, одной из важных составляющих либерального мировоззрения является тезис о саморегулирующихся силах рынка. В представлении же консерваторов, порядок — это результат постоянного внимания властей. Консерваторы не возражают против принуждения или произвола власти, пока это служит справедливости. Консервативная позиция основана на представлении, что в любом обществе есть люди более высокого разряда, носители унаследованных принципов и ценностей, и именно они должны иметь наибольший вес в обществе. Консерваторы надеются, что править будут мудрые и праведные, имеющие право навязывать свои ценности другим людям. Либералы, не отрицая роль культурной и интеллектуальной элиты, полагают, что она должна на деле доказать свою ценность и уметь сохранить свое положение, подчиняясь общим для всех правилам. Консерваторы винят за все ужасы нашей эпохи возлагают на демократию. Либералы же полагают, что демократия наименее дурная из всех форм правления. Консерваторы не произвели на свет никакой социальной концепции и за теорией всегда обращались к либералам. Либералы признают необходимость сосуществования разных систем ценностей. Главным злом либерал Хайек считает неограниченную власть правительства. Основополагающая проблема власти не в том, кто правит, а в том, что правительство вправе делать.

Обоснованность главного принципа либерализма — *права на свободу* — оспаривается в статье «**На что мы имеем право?**» («Неприкосновенный запас», № 6(20)). Ее автор **Р. Дворкин** — современный американский мыслитель, специализирующийся в области философии права и моральной философии. Критика Дворкина исходит из традиционного определения свободы как отсутствия ограничений, накладываемых властью на возможность человека действовать в соответствии со своими желаниями. Такое всеобъемлющее понимание свободы как вседозволенности ставит под сомнение притязания права. Ведь именно право посредством Закона ставит пределы безграничной свободе одних, неизбежно нарушающих свободу и безопасность других, ибо закон всегда есть нарушение свободы. Автор хочет выяснить, возможно ли свободу, в ее обобщенном толковании, уместить в рамках права, т.е. имеем ли мы право на свободу вообще. Причем это правопритязание автор толкует так: «Если некто имеет право на что-то, то власть не должна отказывать ему в этом праве, даже если такой отказ отвечает интересам общества». При таком толковании получается, что право на свободу вступает в противоречие с правом на равенство (другой фундаментальный принцип либерализма). Итак, автор не находит возможным обосновать право на не-

что, обобщенно называемое свободой. Несостоятельна сама обобщенная идея свободы, и не существует обобщенного права на нее. Чтобы разрешить эту проблему, Дворкин требует в рассуждениях о праве на свободу конкретно обосновывать право на каждую конкретную свободу.

Мы живем в обществе, где уже почти ничего не запрещено, утверждает Д. Тарасов в статье «Эпоха обнаженного. Горький взгляд на современность» («Полигнозис», № 1). Автор находит веские основания называть наше время эпохой обнаженного. Обнажение — это приоткрывание чего-то, в том числе запретного. Обнажение — это снятие запретов и нарушение табу. Обнажение — это размытие и уничтожение границ и одновременно попытка понимания другого, шаг к слиянию, соитию с ним, превращению в единое целое. Обнажение — это вовне, это возврат к своим истокам, к началу, к самому моменту появления. Обнажение несет в себе парадоксальные смыслы. Чем занимаются люди в эпоху обнаженного? Они играют. Играют в литературу, в музыку, в политику, наконец, в войну. Настоящие политики не те, кого мы видим ежедневно не телеэкранах или в газетах в ролях президентов, госсекретарей или депутатов парламента, а их имиджмейкеры, создающие преподносимые нам образы. Современных общественно-политических деятелей автор уподобляет персонажам Кафки — настолько они ненастоящи, театральны и даже абсурдны. Место, где они существуют — не повседневная реальность, а, пользуясь выражением Борхеса, деформированное время, пространство и образы. Частица «пост» в названии современности (постмодернизм) грозит превратится в «анти». Угрожающе звучит высказывание теоретика постмодернизма Ж. Бодрийяра: «Главные основные права — право на несчастный случай, право на преступление, право на ошибку, право на зло ... в гораздо большей степени, чем право на счастье, делают вас человеком».

Итак, продвижение по пути гуманизации мира и реализации прав человека приводит к уничтожению границ на всех уровнях человеческой деятельности и в конце концов дает «право на зло». Гипотетически вероятна ситуация, когда терроризм получит оправдание у правозащитных организаций. Автор с сожалением констатирует, что «запретного плода» в наших пределах нет. Оно и верно: мы не в раю.

Разговор о человеческой свободе достойно завершают размышления на тему *смертной казни*. Как обстоят дела с радикальным ограничением свобод при общем поветрии либерализма, сообщает А. Мезяев в статье «Смертная казнь в современном мире. Смертная казнь в государствах Азии и Америки» («Право и политика», № 1). Из 34 государств обоих американских континентов 18 отменили смертную казнь *de jure*, 2 — *de facto* и 14 стран (в основном небольшие государства Карибского бассейна) сохранили ее. США — фактически единственное крупное государство Америки, которое не только сохранило смертную казнь в законодательстве, но и самым активным образом применяет ее (37 штатов). Федеральное законодательство США предусматривает более шестидесяти составов преступлений, караемых смертной казнью, включая преступления несовершеннолетних.

Из 42 государств Азии смертную казнь отменили лишь Камбоджа и Непал. Среди применяющих смертную казнь особое место занимают мусульманские

страны, правовая система которых базируется на исламском праве (шариат). Они находятся в постоянной и жесткой оппозиции по вопросу об отмене смертной казни в международном праве. В общем, в настоящее время большинство государств мира смертной казни не применяют. Из 195 стран мира (на декабрь 2000 г.) 108 отменили ее (88 de jure, 20 de facto). Продолжают применять смертную казнь 87 государств.

Впечатляет открытие **В.Самохваловой**, автора статьи «**Информационные войны: культура против человека**» («Полигнозис», № 1). Автор утверждает, что в результате бурного и неконтролируемого научно-технического развития сложилась ситуация, в которой оказалось возможным использовать средства культуры как инструмент разложения общества и хаотизации сознания. Иными словами, человек изобрел **информационные войны**. Тактика такой войны — продуманная и организованная серия ударов по общественному сознанию, средство поражения — информация. Современное информационное оружие — это оперирование системами представлений о мире и человеке, о характере цивилизации и путях ее развития, о главных системообразующих и человечески значимых ценностях. Информационные технологии влияют на общественные настроения, направляют их в нужное русло, меняя расстановку сил, векторы движения общественной энергии. Информационная война — всегда война программ, не только в узком специальном смысле, но и в широком общекультурном. В арсенал используемых приемов входят и простая ложь, и специально подготовленная дезинформация; это могут быть сложно организованные приемы в виде дозированной информации или систем хитроумно структурированных мифов и блефов.

Цель современной информационной войны — так называемое объединение, т.е. глобализация, включающая в себя пропаганду американского образа жизни, массовой культуры, либерально-демократической модели государства как мирового стандарта и экспорт идеологии открытого общества (Поппер — Сорес). Информационная война — в сущности, та же война, и вести ее честно значит проиграть. Итак, открытие автора: главная цель информационной войны — глобализация, оружие — обман.

В поисках спасения от мрачных дум иные не прочь все обратить в шутку. Остроумие вообще замечательное свойство человека, и о нем серьезно, без тени юмора пишет **Т. Иванова** («Остроумие и креативность» — «Вопросы психологии», № 1). Остроумие описывается как свойство психики. Остроумие может быть комическим (с целью вызвать смех) и некомическим (с целью найти нестандартные решения и испытать интеллектуальное удовлетворение). Некомическое остроумие и научное мышление имеют много общего. Однако научное мышление потенциально комично, так как призвано разрушать привычные контексты и находить новые связи между процессами и явлениями. Удачная шутка (острота) может быть названа разновидностью творческого продукта, а смех, оценивающий качество такого продукта, — признаком творчества. Приемы комического и некомического остроумия одинаковы и могут быть использованы в научном творчестве. Приемы остроумия автор классифицирует, исходя из сложности применения. Первая группа доступна всем: нарочитая нелепость, повторение, преувеличение (преуменьшение). Вторая группа вклю-

чает в себя сложные приемы: многозначное истолкование (синектика), противоречие, контраст (брейнсторминг), доведение до абсурда, искусство словообразования. Автором установлена достоверная связь между остроумием и таким творческим показателем, как оригинальность. В узком смысле слова оригинальность и есть остроумие, а последнее есть разновидность творческого мышления. Вполне реально разработка теста для проверки остроумия. Отрадно, что автор полагает, будто остроумию можно научиться, хотя и не оспаривает, что это все-таки врожденная способность.

XV Международному эстетическому конгрессу, проходившему в Японии в августе 2001 г., посвящена статья **К. Долгова «Диалог Востока и Запада: эстетика в XXI веке»** («Полигнозис», № 1). Конгресс подвел итоги эстетической мысли XX века и обнаружил возрастающую **роль прекрасного в современном мире**. Конгресс показал, что восточные ученые гораздо лучше знают западную эстетику, чем западные восточную. В западной урбанизированной культуре искусство окончательно заменило природу. «Подражание природе» означает здесь воссоздание утраченного, потому на Западе и господствует принцип гомоцентризма: человек стремится подчинить себе природу и стать ее господином. На Востоке город не исключает природу. Здесь «подражание природе» означает мудрость, позволяющую человеку вернуться к первозданности, гармонически раствориться в бесконечной Вселенной. Эстетика Востока «натуроцентрична» и требует уединения, молчания, ухода из мира человеческой культуры. Корейская эстетика озабочена восстановлением своей подлинной традиции, в которой символом национальной идентичности является белый цвет. Его метафорический смысл выражает эстетику «недуализма», нирванического «ничто» и «пустоты». Традиционная китайская эстетика представляет собой нечто, лежащее между понятиями объективности и субъективности. Это как бы слияние чувства и ландшафта. Мир — живое существо. Человек становится самим собой, отождествляя себя с окружающим миром.

Современное экологическое направление — эстетика окружающей среды — отголосок традиционной эстетики. Здесь Восток и Запад объединяются, признавая необходимость гармонии с природой. Роднит их и культивация изящества духа. Но на конгрессе речь шла не только о духе. Специальная секция была посвящена также проблеме тела, которое рассматривалось как источник эстетического начала, как своеобразный язык искусства и генератор различных форм и смыслов. Несколько заседаний было посвящено и эстетике безобразного, страшного и отвратительного, но должного внимания этой теме не уделили. Зато категория красоты обсуждалась в самых разнообразных аспектах, и все согласились с тем, что Гегель был прав, говоря, что «нельзя быть духовно развитым, не обладая эстетическим чувством», а XXI век обязательно вырабатывает и воплотит в жизнь **трансчеловеческий потенциал красоты**.

Обзор подготовил Александр Денискин

ГЕНЕЗИС «СТИЛЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ГЕНИАЛЬНОСТИ», ИЛИ МИФ О ВЕЛИКОМ БРОДСКОМ

Эпизод из истории современной культуры

Что, собственно, произошло? Один человек — пусть даже Александр Исавич Солженицын — внимательно прочел сборник избранных стихотворений Иосифа Бродского и подробно изложил свои впечатления. И всё. Правда, при этом, к удивлению столпов нынешней литературной просвещенности, выяснилось, что Бродский ему нравится только местами.

Неудивительно, что это огорчило тех поклонников Бродского, которые чтят и Солженицына (например, Игорь Ефимов и Лев Лосев). Но ведь если не огорчились, то рассердились и те, кто изначально исходил из сознания превосходства своей эстетической позиции над солженицынской, — например, как мне кажется, Наталья Иванова. Хотя, казалось бы, чего сердиться? Даже поговорка существует — «о вкусах не спорят» — многим нравится.

Я, правда, с этой поговоркой не согласен. Мне больше по вкусу другая формула: «Да будут ваши слова «да» — «да», «нет» — «нет», а остальное — от лукавого», но речь сейчас не обо мне. Кстати, это изречение Христа никак не означает, что своего мнения не следует менять ни за что и никогда. Апостол Павел свою ориентацию изменил полностью, и христианская традиция его за это нисколько не осуждает. Это изречение содержит в себе только требование определенности и ответственности. «Не знаю», «не понимаю», «ошибся», «каюсь», даже «сомневаюсь» — ответы вполне определенные. А вот фраза: «мне поэт NN не близок, но я понимаю, что он гениален» (а именно это очень часто слышишь, когда речь заходит о Бродском) — от лукавого. Ибо если он не заставил тебя стать себе близким, ты не можешь знать, что он гениален. Может, он и впрямь таков, но только все равно ты этого не знаешь.

Но меня занимает не само возмущение, не сам факт переполоха, а только его причина. Видимо, дело не в конкретных замечаниях Солженицына, а в том

**Наум
КОРЖАВИН**

— родился в 1925 в Киеве. В 1945 г. поступил в Литературный институт им. Горького, в 47-м был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. Отбывая ссылку в Караганде, окончил Горный техникум. В 54-м амнистирован, в 56-м реабилитирован. В 1959 г. окончил Литинститут. Автор многих поэтических книг, вышедших в нашей стране и за рубежом, пьес и статей о литературе. Член редколлегии журнала «Континент» с 1974 г. В 1973 г. вынужден был эмигрировать. Живет в Бостоне.

впечатлении, которое они оставляют в целом. Впечатление, которое кратко можно было бы передать удивленным восклицанием «тещи из Иванова» (из песни Галича): «Это ж надо!.. А трезвону подняли!...». Имеется в виду тот трезвон, который по поводу «гениальности» Бродского не только подняли, но и столько лет всемерно поддерживают его почитатели и пропагандисты. Не могу ручаться, что Солженицын именно так к этому относится, но так я это воспринял. И, судя по реакции его оппонентов, они это восприняли так же.

Когда-то тому же Солженицыну не понравился Галич. То, что это мнение не было опубликовано, роли не играет — тогда такие вещи распространялись и без публикации. Галича, высоко ценившего Солженицына, это, конечно, очень огорчило, но страшного ничего не произошло. Он не возненавидел Солженицына, не стал его «разоблачать», а мы продолжали любить обоих. Если кто кого любит, ему не так уж важно, что говорят о предмете его любви другие, даже очень уважаемые люди. А этих — как взорвало... Такое впечатление, что подавляют бунт на корабле. Хотя никаких оснований ощущать Солженицына членом своей команды у них не было. Вряд ли кто-либо из них и раньше полагал, что Солженицын поклонник Бродского. Другими словами, обнаружение «его истинной точки зрения» не могло быть для них оглушительной неожиданностью.

Не в том ли дело, что он проявил свое отношение публично — пусть и не формулируя в общем виде? Оказался, так сказать, *aesthetically incorrect*, что в некоторых наших кругах столь же непозволительно, как в американской прогрессивной среде оказаться *politically incorrect*. Вспоминаю, как в 1948 году следователи МГБ внушали моим сокамерникам: «Мы арестовываем не за антисоветские мысли, а за то, что их высказывают». Я не сравниваю моих оппонентов с этими следователями, не говоря уже о том, что те, мягко говоря, себя идеализировали — их деятельность вообще игнорировала понятие вины. Мои оппоненты никого не арестовывали, не стремились и не стремятся арестовать. Но общее есть. Мои оппоненты тоже защищают — выговорим, наконец, это слово — культ. И опять-таки культы, о защите которых идет речь, ни в чем меж собой не схожи. Однако любой культ требует всеобщей зачарованности, а следовательно, цельности и непротиворечивости. Самое легкое прикосновение реальности — такое, как открытие мальчика, что «король гол», — наносит ему непоправимый ущерб. Жрецы любого культа следят за сохранением культовой атмосферы, духа коленопреклонности и ополчаются на всех, кого удивляют ее несуразности, — только защитники культа политического стремятся устранить их и физически, а эстетического — только морально. Путем, так сказать, *эластичного* исключения из числа «понимающих», объявления их, например, устарелыми. Иногда даже продлевая это уважительно и «научно».

Лев Лосев даже теорию выдвинул, согласно которой поколения литературных «отцов» обычно плохо понимают своих «детей», в то время как «дети» своих «отцов» обычно понимают прекрасно. Собственно, это не «открытие» вовсе, а только повторение старинного, давно обросшего бородой утверждения модернистской и особенно авангардистской пропаганды. Не учитывающее специфики этого века, благодаря которой нынешние «дети» понимают не отцов, а делов, теперь уже прадедов. Конечно, «дедов» чисто литературных, а не революционно-романтических, но литературе от этого не легче.

Это утверждение Л. Лосева не подтверждается и фактами моей биографии. Действительно, мою «слепоту» в отношении Иосифа Бродского можно с грехом пополам объяснить тем, что я старше его на целых семнадцать лет. Но ведь возрастная разница между мной и Олегом Чухонцевым немногим меньше — всего на два года. Со стихами обоих я познакомился примерно в одно и то же время. Между тем, стихи Чухонцева меня с самого начала обрадовали, а тогдашние стихи Бродского оставили равнодушным. Иногда мне нравятся и стихи более молодых людей...

А ведь Солженицын в своих заметках вовсе не борется с культом Бродского. Но он — может, вовсе и не намеренно — поступает с этим культом гораздо страшней для его поклонников — просто не принимает его во внимание. Он читает стихи их кумира, как читал бы любые другие. На такое испытание стихи Бродского, по моему глубокому убеждению, не рассчитаны. Ибо большинство написано стилем, который я называю «стиль опережающей гениальности» — по аналогии с термином «опережающая грамматика». Правда, заниматься домысливанием в случае Бродского почти не приходится — не поручусь за то, что это всегда интересно, но понятно почти всегда. Заниматься чаще приходится «дочувствованием» и особенно «довоспарением». А часто — пусть простят его поклонники — просто и как бы не замечая этого, преодолевать скуку.

При всей примитивности этот пропагандистский прием действенен — кому охота быть отсталым и несовременным? А тут еще громкий процесс, когда преследуют «не за политику, а за свободное творчество», признание — вплоть до Нобелевской — «свободным и культурным Западом»... Чье сердце устоит! Тут не то что скуку, тут любое сопротивление преодолеешь.

Я знаю, что покушаюсь сейчас на подлинные или внушенные представления многих людей о поэзии, искусстве и личности художника, за которые они будут держаться как за главное свое духовное и культурное достояние. Но я знаю также, что есть немало людей, которые о том, что я сейчас выскажу, будут думать. И если они укрепятся в доверии к собственному восприятию, я буду считать свою задачу выполненной.

Выражаться я часто буду довольно резко. Что делать, разговор о подлинности вкуса — дело жесткое. Мои оппоненты уж точно мягкостью не отличаются. Прибегают к внушению — в сущности, к духовному насилию. Робкие пугаются, спешно начинают дорастать до объявленной нормы понимания. Я на такое носорожество не способен. А сопротивление духовному насилию, сопротивление внушению доводами полностью выдержать в мягких тонах вряд ли удастся. Но буду стараться.

Это нелегко. На страже этого культа стоят многие. Например, такая активная и влиятельная группа поддержки, как выдающиеся актеры — те, что время от времени выступают с чтением стихов (но не профессиональные чтецы). Вообще у людей этой профессии исторически сложились непростые отношения с поэзией — начиная с Качалова, который предлагал читать стихи как прозу. За редким исключением, они просто не знают, как при чтении стихов вести себя на сцене. Качаловское заблуждение давно преодолено, все знают, что стихи надо читать не как прозу, а как стихи, но плохо представляют, с чем это сопряжено.

На торжественном вечере, посвященном столетию со дня рождения Пастернака, с чтением его стихов выступило много актеров. Но хорошо прочитали его стихи только двое — Алла Демидова и Николай Губенко. Дело не в таланте — талантливы были все. Дело в том, что только Демидова и Губенко не были в этот момент актерами (или хорошо сумели это скрыть), не играли, а читали стихи так, как читали их в кругу друзей — а только так и можно читать стихи. К сожалению, остальные отнеслись более «ответственно» — как ко всякой роли. И превратили лирические стихи в театральные монологи. Но ведь каждый монолог подкреплен действием — тем, что было до него и будет после, а в стихотворении все, что имеет к нему отношение, заключено только в нем самом, втиснуто в пространство между первой и последней строкой. Их можно только читать — и так, чтобы чувствовалось твое понимание, но ни твоей творческой личности, ни твоего особого замысла, ни позы просто не было. А актеры привыкли, чтобы все это было и чувствовалось. В этой связи понятно их тяготение к модернистским (тогда поневоле только заграничным) стихам — их можно играть (вспомните талантливого Сомова). Ввиду формальной незамкнутости этих стихов актеру есть куда себя вложить и где развернуться. Не заграничный, а «свой» Бродский для них просто находка.

Сергей Юрский, на мой взгляд, хорошо читает Пушкина — но только не всякого, а так сказать, игрового. То есть всё, что можно читать, как бы играя самого Пушкина. Не думаю, что, не изменив манеру чтения, он смог бы хорошо прочесть, например, «Безумных лет угасшее веселье...». Тут надо не преобразиться, а просто читать. Лирическое стихотворение — как песня — абстрагируется даже от живущего в нем создателя.

Я видел не раз по НТВ, как Юрский читает Бродского. Читает его, как Пушкина, играя Пушкина. А что — тоже гений и тоже море иронии. Непонятно только, над чем («Служенье муз чего-то там не терпит») и с каких высот иронизируется. Но это непонимание зритель-слушатель вполне может объяснить себе тем, что недослушал, недопонял, а вообще замечательно. Кто спорит — Юрский замечательный актер. И уверовав (выгравшись?), вполне способен создать своим актерским обаянием впечатление пира мысли и духа там, где его нет. Да только актерское обаяние здесь, по-моему, ни к чему. Не театр.

Михаил Козаков тоже очень хороший актер и тоже обладает актерским обаянием. После его вечера в Нью-Йорке, где он читал и Бродского, один мой знакомый сказал:

— Я раньше никак не воспринимал Бродского. Но Козаков мне его вчера открыл. Я понял, что это замечательно!

Кстати, не так уж хорошо это говорит о стихах — они должны открываться без помощи актеров. Тем более, что человек этот был не так уж чужд искусству. Но заинтересовало меня другое.

— А что именно он открыл, чем он так вас поразил? — полюбопытствовал я.

Знакомый мой задумался, а потом рассмеялся. Впечатление было, но он не помнил, чем его впечатлили. Помнил, что Бродский велик, потому что Козаков, пропагандировавший его (а он это делает, и довольно агрессивно), был великолепен. Так работает внушение. Конечно, не злостное, а основанное на самовнушении. Но истиной оно от этого не становится.

Но, как говорится, вернемся к истории вопроса. С тем, что мои оппоненты считают достигнутым именно ими уровнем (говорю не о конкретных оценках чьего бы то ни было творчества, а об общих представлениях о поэзии), я соприкоснулся еще до войны, в отрочестве. Другого вокруг меня и не было, если не считать официоза сталинщины. Литературность — единственное, чем защищался тогда от духовного и интеллектуального небытия молодая и тогда еще советская (и потому вдвойне беззащитная) интеллигенция. Используя, конечно, *достижения Серебряного века* — «важно не что, а как». Некоторые приспосабливали это «к делу» — всерьез верили, что если применить «мастерство» к воспеванию великого вождя и расцветающей советской жизни, то есть «инструментировать» это свежими эпитетами и сложными рифмами, — и будет желанный творческий акт.

Так аукалось то, чему обучали своих питомцев на курсах поэзии настоящие русские поэты — Н. Гумилев, Г. Иванов и Г. Адамович. Но они были поэтами, и проблемы «что» для них не существовало, это «что» переполняло их, важно было найти ему адекватное воплощение. А у молодых интеллигентных людей и барышень, которых они учили, это создавало иллюзию, что такой проблемы нет и для них. Ведь чувства, переживания и прочее есть у каждого — остается только научиться это грамотно выражать. В сущности, все сводилось к сакрализации любых переживаний и проблемы know-how. Такая сакрализация в условиях большевистского вытеснения ценностей привлекала еще и тем, что создавала иллюзию особого духовного мира, в котором можно безопасно существовать. Ведь речь шла о технике, а технику большевики уважали. Но плодотворным для поэзии этот культ техники и самовыражения быть не мог. «Я научила женщин говорить. / Но Боже! Как их замолчать заставить», — шутливо и не совсем шутливо сокрушалась в конце жизни Ахматова. Она преуменьшала — она научила говорить о своих чувствах и многих мужчин. Не научила их только быть, при этом поэтами. Но она, в отличие от ее товарищей, специально этим и не занималась. Они занимались, но все равно не научили. Только способствовали укреплению в сознании многих пишущих умонастроения, в котором поэтическое творчество рассматривается исключительно как явление внутрилитературное. Как внесение вклада в некое развитие литературы. Каким-то образом — больше механически — все это увязывалось с культом самовыражения, превращавшим самовыражение из необходимого условия творчества в его суть и цель. Впрочем, виртуозностью техники действительно можно передавать тонкости эмоций, особенно своеобразной и удивительной личности.

О том, что эмоции не всегда выражают чувства, а эмоции вне чувств безличны, и уж точно безличностны — не ведали и не думали. А о том, что своеобразие личности еще не залог ее значительности и прикосновенности к поэзии — тем более. Главное — **вклад** в движение поэзии. Собственно, согласно этой системе ценностей, поэзия и существует для этих «вкладов», благодаря которым имена «вкладчиков» остаются жить в веках. Ибо, по-видимому, вашим «вкладом» в это вечное движение на другом этапе того же движения, как платформой, благодарно воспользуются будущие вкладчики для обеспечения и своего бессмертия. Perpetuum mobile, вечная погоня за бессмертием своих имен — и только!

Ирония моя относится не вообще к вкладам. Каждое подлинное художественное произведение — вклад в литературу. Любые настоящие стихи, где подлинности самовыражения сопутствует подлинность причастности (катарсис), являются вкладом в поэзию. Естественно, все подлинно хорошие стихи — «новые»: подражание не может быть подлинностью. Конечно, это требует таланта — сие глубочайшее замечание я делаю исключительно для сужения возможностей демагогической находчивости наиболее рьяных моих оппонентов. Фикцией является не вклад в литературу, а только вклад в движение литературы и особенно стремление к этому «вкладу в движение» (чаще всего предполагаемое). Достижение вечной славы в этой системе представлений начинает восприниматься делом не таинственным, не кустарным, а почти индустриальным — как всякому делу, ему можно научиться. Не то, чтобы эта слава была легко достижима — не каждый ведь может быть и чемпионом по плаванию, но ясно, что для этого делать и к чему стремиться. Именно эта определенность задачи (часто состоящая в достижении неопределенности) и создала клондайк честолюбий. «Найти себя» — стало значить «научиться говорить» (по Ахматовой) — то есть одарять людей своими переживаниями в «современной» упаковке. А еще лучше сделать «шаг вперед в развитии формы».

Такое понимание литературного процесса открывает широкие возможности самоутверждения — писательского и даже «продвинутого» читательского. Вообще-то читатель в этой системе ценностей остается где-то сбоку, в стороне от внимания, но ему все-таки предоставляется удовольствие общаться с пониманию тонкостей чужого самовыражения. Многим это льстит, и эту польщенность они принимают за эстетическое наслаждение. Благодаря такой доступности тайн, обрело статус науки литературоведение. И, применяя быстро сменяющие друг друга «новейшие» методики, стало развиваться чрезвычайно бодро. Так, что теперь в этой среде утверждения типа «для существования «критики» (так эта наука себя именует) существование литературы вовсе не обязательно» не встречают здорового смеха, как того требовал бы здравый смысл. Но прогресс зашел далеко. Чуть более чем за сто лет, академическое литературоведение на Западе прошло гигантский путь — от противостояния всему живому с консервативных позиций до глушения всего живого с позиций супер-«современных».

Кстати, о читателе. Обычно, когда в последние годы упоминаешь о читателе, в определенных кругах это воспринимается так, словно ты произнес неприличность. И дело не в том, что этот термин демагогически использовала советская пропаганда. Поэт вообще не должен и не может потакать и угождать читателю — игры с читателем более серьезное прегрешение перед призыванием, чем даже игры с властью! В последних тоже ничего нет хорошего, но если они вынужденные, то могут и не затрагивать творческой сущности художника (вспомним ахматовский цикл о Сталине). Так что, спору нет — по пути заигрывания с читателем можно зайти далеко в сторону от поэзии.

Но так же далеко или еще дальше можно зайти и по пути прямо противоположному, что многие из тех, с кем я сейчас спорю, и сделали — дьявол стережет на всех путях. Сегодня эта вторая опасность более актуальна, чем первая. Она, можно сказать, действует наступательно. А читателя, хотя ему действи-

тельно не стоит потакать, а подчас можно и даже нужно идти наперекор, игнорировать не только нелепо, но и непродуктивно. Он, даже не зная того, участник творческого процесса. И именно как читатель, а не как соавтор или «домысливатель». Воплощение — это воплощение и в его душе, а то, что к читателю вообще не относится, не относится и к искусству.

«Внечитательское» представление о творце и творчестве — бич XX века. Эта схема определила собой и легализацию тщеславия, доходящую до глубокомысленных размышлений о механизме славы — причем, не из научного любопытства, а с целью практического применения. Этим размышлениям отдали дань даже большие поэты, которые ни в какой стимуляции славы не нуждались. Но — размышляли. А «малых сих» это соблазняло.

Все эти болезни — процесс мировой. Но мы были от него отделены и закрытостью общества, и обилием реальных проблем, которые были нам навязаны. Но отделены мы от него были, когда он уже пустил глубокие корни и у нас — так что его ценности сохранялись, передавались и получали романтический ореол. С его возрождением я и соприкоснулся в довоенном Киеве. Но тогда оно только набирало силу. Потом было отодвинуто войной. Тем не менее, до молодежных литературных кружков Ленинграда в 60-е годы оно дошло окрепшим и самоуверенным. У его пафоса был один реальный, но не очень важный резон — оно противостояло господствовавшему тогда послеоттепельному всплеску «концертной поэзии». Но, во-первых, этот всплеск — явление не такое простое и однозначное, во-вторых, подверстывали под него слишком многое, а в-третьих, это противостояние занимало их только отчасти. Главное, чем они были переполнены, — это та литературность, о которой я говорил выше.

И опять приходится баррикадироваться от глупых обвинений. Литература и должна быть литературой — но она не может питаться одной литературой и жить исключительно литературными интересами. Ибо ее главная задача — добывать гармонию из наличной жизненной ситуации. Поэтому распространенная в начале 90-х многоумная фраза, что «теперь, после того как разрешена общественная мысль, литература может вернуться к самой себе, к своим собственным задачам» — не то что не верна, а просто от начала до конца лишена содержания. Звучит гордо, но произносящий ее не смог бы объяснить, что он имеет в виду. Уже несколько тысячелетий человеческая мысль бьется над определением сущности и задач искусства в его взаимосвязи с бытием, а этим все это, оказывается, известно изначально, только одна проблема есть — освободиться от лишнего. Литературность 60-х годов до таких высот, как известно, не поднималась — только двигалась в этом направлении. Но все равно жила и цвела в своем собственном мире. В благоухании его парфюмерных (иногда для «смелости решения» и аммиачных) паров и возрос Бродский. И как мифологическая фигура, и как объект всепобеждающего культа «гения», в котором этот круг очень нуждался.

Впрочем, по-настоящему, возник его культ не в России, а в эмиграции. Конечно, поклонники, и даже горячие, были у Бродского и до отъезда, даже до скандального суда над ним, но одним российским поклонникам создать этот культ было бы не под силу. Хотя его проводниками за границей были именно они — в первую очередь, представители тех ленинградских кругов, о которых я

уже говорил — «ленинградская группа», «ленинградский литкружок». Название неточное — большинство ленинградцев не имело о ней представления, а если перечислять ее членов поименно, отнести к ней пришлось бы не только ленинградцев. Но, безусловно, столицей этого «направления» был Ленинград. Именовало оно себя «второй культурой». Я эту «культуру» тогда же — и отнюдь не отострословия ради — назвал «вторичной». А Ленинград этой культуры (опять прошу прощения у большинства ни в чем неповинных ленинградцев) я назвал «реальной провинцией воображаемого Запада». Эта группа имела и свою периферию. Когда-то, еще в 70-х, одна молодая дама, бывшая ленинградка, не поэтесса даже, просто поклонница всего изысканного и, естественно, Бродского, возражая мне, с неподдельной гордостью выразилась так:

— Ленинград вообще не Россия, Ленинград — Европа!

Безусловно, это крайность, больше я никогда ни от кого ничего подобного не слышал. Интерес тут представляет не гордая непатриотичность этого высказывания — Россию эта дама представляла так же мало, как и Европу, — а стремление к изысканной тонкости. Возникла эта «реальная провинция» не в эмиграции, но зная своей «второй культуры» понесла в эмиграцию («Нас не печатали потому, что мы не политики, а художники») именно она. А ведь это была единственная компактная группа литераторов и претендентов на это звание, которая выехала из СССР. И единственно выехавшая по литературным соображениям — для литературной реализации.

— Да, — сказал мне Галич, когда я поделился с ним недоумением по поводу серьезности таких причин отъезда, — мы ведь выехали против своих литературных соображений.

Должен отметить, что к бесспорным, на мой взгляд, лидерам этой группы, Льву Лосеву и Игорю Ефимову, это последнее соображение не относится. Большинство вышеприведенных глупостей они не говорили, да их и просто еще не было тогда в эмиграции. К тому же они и до выезда были уже не только профессиональными, но и признанными литераторами, и проблема реализации перед ними не стояла. То, что в создании и установлении культа, о котором идет речь, они сыграли весьма заметную роль, этого никак не отменяет.

Установлению этого культа способствовало и то, что имя Бродского после его процесса, точнее после записи этого процесса, сделанной незабвенной Фридой Вигдоровой, было у всех на слуху. Бродский относился к этому факту (особенно к роли этой записи) болезненно, в своих выступлениях всячески старался принизить роль этой записи, а заодно и образ ее автора, то есть, с точки зрения «банальной» морали (для гениев, как я слышал, не обязательной), проявлял черную неблагодарность. Хотел верить, что его мировая известность обошлась без нее. И зря. Если бы он даже полностью соответствовал представлению своих поклонников, если бы на его месте был поэт, соответствующий моим или любым другим самым высоким представлениям, сам собой известным всему миру он все равно бы не стал. Обстановка, в которой поэты, как это было с Байроном, Шиллером, Гете и еще с некоторыми, становились известны всему миру (кстати, главным образом из-за «содержания», соответствовавшего мировым настроениям), давно канула в прошлое. Так что без Фриды Вигдоровой не обошлось бы в любом случае, и это ничуть не компрометирует

Бродского. Вторым фактором, впрочем, связанным с первым, была поддержка Запада, то есть западных русистов.

Русистика — периферия западной культуры, поэтому все болезни этой культуры сказывались в ней более явно. По своим представлениям и психологии русисты были ближе к эйфориям «ленинградского литкружка», чем к каким-либо другим тогдашним российским веяниям. Между тем, на Западе интерес к тому, что происходило в русской литературе и вообще в России (диссиденты, суды над ними и т.п.), был тогда чрезвычайно высок. Особенно интриговал высокий интерес к поэзии — поэтические вечера, собиравшие толпы людей, быстро расходящиеся тиражи поэтических сборников, высокое положение поэтов в общественном сознании... Быть специалистом по всему этому становилось даже престижно. Кроме того, престижно было попадать в высокие интеллектуальные и творческие круги Москвы и Ленинграда, что доставалось им очень легко. Какого-нибудь заштатного русиста мог в Москве принимать сам Окуджава — о выходе в такие круги в собственной стране он и мечтать не мог. Все это поднимало их значение среди коллег. Но сами они оставались теми, кем были, и человек, которого преследовали (преследовали ведь!), но не за политику, а за литературу, им очень импонировал. Импонировал и стиль — «живет в России, а пишет, как у нас» — так сказать, достиг мирового уровня. В поэзии они чаще всего ничего не понимали, в ней не нуждались — ни в своей, ни в нашей — не всегда понимали, зачем она вообще нужна, но про специфику поэзии знали много: по ней и были специалистами. При этом у многих возникал соблазн на эту литературу воздействовать, применить к ней свою «просвещенную» систему ценностей — хотя при этом все, что к ней привлекало и повышало их собственный статус — подавлялось. Нелепо, но по-человечески понятно.

Видевшая тогда в Западе единственный свет в окошке (а другого и не было) советская интеллигентная молодежь клонула на это: «Запад признает!» — чего же больше! Впрочем, были у этой молодежи и свои причины для увлечения. Отчасти я их когда-то описал в статье «Сквозь соблазны безвременья» («Континент», № 42). Только тут не было никаких «сквозь» — была погруженность в эти соблазны.

Их юность совпала с тем, что страна под бравурные марши катилась по наклонной плоскости, когда впереди ничего не было ни видно, ни понятно, и помочь делу они ничем не могли. Их настроение по тональности совпадало с тотальной необязательностью Бродского — необязательностью выбора слов, течения стиха и отношения к жизни. Об ответственности за жизнь я уже не говорю. Они, по свидетельству моего молодого и отнюдь не глупого друга, знали наизусть больше стихов Бродского, чем Пушкина — ему кажется, что это аргумент в пользу Бродского. Правда, популярность эту не стоит преувеличивать, она была литературной или около того. Друг этот сам к литературе отношения не имел, но от литературной тусовки, тем не менее, был не очень далек — да и вообще тогда все проявлялось через литературу. Впрочем, всё, да не везде — в определенных кругах. Для того, чтоб читать Бродского, требовался «допуск» к «самиздату». Этот «допуск» — хотя все они были «вне политики» — тоже приобщал к высотам, на которых хотелось удержаться. В юности многое льстит.

Что в юности можно других поэтов (особенно Лермонтова) ценить гораздо больше, чем Пушкина, меня не удивляет, сам через это прошел. Пушкин вообще становится понятен не сразу — не потому, что он пишет непонятно (наоборот, настолько «понятно», что как раз эта «понятность» обманывает), а потому что для его понимания требуется хотя бы минимум зрелости. А в те времена выросли туго — больше становились молодыми да ранними. Удивляет меня не отношение к Пушкину, а — охота пуще неволи — то, что они запоминали стихи Бродского, построенные так, что в них все противится запоминанию. Удивляет мужество, с которым они преодолевали отсутствие сквозного стихового движения — в кусках оно иногда возникает, но потом почти всегда прерывается, теряется.

Даже сейчас, читая эти стихи наизусть, они начисто обходятся без этого движения, даже не стараются чтением его имитировать — словно его и не надо. Читают, как отчитываются. Теперь они уже в зрелом возрасте, и любовь к этим стихам для них — как воспоминание о светлой юности. Когда тычешь их носом в несурзность того или другого стихотворения, объявляют, что любят не эти стихи, а другие. А когда то же происходит с этими другими, объявляют, что любят третьи. Когда ты вспоминаешь хорошие строки Бродского, у них вспыхивают глаза: значит, не зря с ним носились! — и тускнеют, когда выясняется, что эти строки не имеют стихового продолжения. Они ведь были уверены, что такое продолжение, такая связь существует, но просто они ее не уловили. Поверить в то, что гениальный автор, выплеснув строку или две, дальше «пошел пешком», они бывали не в состоянии. Это напоминает упрямое самоослепление влюбленной женщины, которой страшней всего разочароваться в своем избраннике.

И опять я должен упредить ложное возражение — «пойти пешком» не значит свободно идти путем, который «диктует вдохновенье» (А. Блок), а значит переть вне всех путей и собственного замысла. Возможно, это и есть пресловутое «самовыражение языка», или даже открытое создателями его культа «моцартианское начало», или доверие к своей «харизме» — не знаю. Для меня же это последствие приобретенного Бродским качества, которое я называю «верой в гениальность своей левой ноги». Печально, что это «хождение пешком» принимается за квинтэссенцию «мастерства» и «эмоциональности». И то, и другое у этого автора, конечно, бывает, но только урывками, редко. Это заблуждение тем более прочно, чем хуже то, что культивируется, — в это трудно поверить, и читатель предпочитает винить самого себя, свою неспособность разглядеть великое. Так работает культ. Так работал и другой культ, бывший на моей памяти, которому и я, хоть и не очень долго, но все же отдавал когда-то дань.

Когда я в конце 1973 года уезжал в эмиграцию, рукописи Бродского в моем кругу были уже вполне доступны, за границей в издательстве им. Чехова вышел его первый сборник «Остановка в пустыне» — все это вызывало некоторое любопытство, но, в общем, им мало кто из известных мне любителей поэзии интересовался. А в январе 1989 года, когда я впервые после отъезда приехал в Москву, он был общепризнан. Если не как первый поэт, то как значительное явление. Я говорю не об искренних его поклонниках, их в кругу моих друзей не было, не о молодежи, падкой на новое, а о людях, о которых точно знал, что никакой Бродский им ни при какой погоде не нужен. Они и не говорили, что нужен. Но изошренно поддерживали культ.

— Ну и плевать, что неподлинный, — сказал один. — Большой поэт обязательно должен быть подлинным.

— Он перекинул мост из английской поэтики в русскую, — сказал другой. Можно подумать, он страшно в этом мосте нуждался и точно знал, что эта работа произведена.

И, наконец, третий, публично назвавший Бродского одним из трех лучших современных русских поэтов, на вопрос, действительно ли он так любит стихи Бродского, ответил яростно:

— При чем тут это?! Я и Достоевского не люблю — что из того?

Положим, кое-что из этого все-таки следует. Достоевский писал прозой, а прозой пишутся не только художественные произведения — к написанному прозой можно относиться и просто как к информации. В конце концов все мы в быту говорим прозой. Так что теоретически я вполне допускаю (хоть мне и странно — я люблю Достоевского), что Достоевского можно читать за мысли, за проникновение в характеры, за духовные открытия и при этом не любить как художника.

Стихи — другое дело. Я знаю, бывают и стихи, изначально не претендующие на то, чтобы быть поэзией — например, рекламы, детские дразнилки и т.п., но здесь я имею в виду стихи, как основную форму воплощения поэзии (или претензии на это). Такого рода стихи пишутся для того, чтоб их любили, то есть воспринимали. Все остальное открывается в них попутно. Употреблять их просто для информации неэкономно и противоестественно. Конечно, задача их и воздействие гораздо шире, но — вот беда — о стихах, которые мы не любим, мы не можем знать ничего хорошего. И этот мой товарищ всегда это прекрасно знал и понимал, да вдруг — забыл. Под воздействием культа...

Обратите внимание — все эти мои друзья высказываются о Бродском положительно, но никто не говорит, что любит его стихи. В крайнем случае, находят побочные достоинства. И еще — ради признания Бродского расширятся все нормы — вдруг даже подлинность становится необязательным качеством поэзии...

Носорожество — феномен не только политический. Впрочем, все это последствия политической конфронтации с «партийным руководством литературы и искусством». Приятно было, что оно оскандалилось, что поэт, преследовавшийся как «туняец», получил международное признание. Настолько приятно, что было не до собственных читательских впечатлений и оценок. Это нечто вроде голосования «назло» за КПРФ и ЛДПР...

Но все рекорды нелогичности побил не мой друг, не мой ровесник, а умный и талантливый представитель другого поколения — покойный Юрий Карабчиевский. Подвергнув в своей замечательной, на мой взгляд, книге «Воскрешение Маяковского» поэтику и поэзию Бродского уничтожающей и точной критике, он при этом оговорился, что тот является лучшим поэтом из пишущих по-русски. Только недостаток есть один — своеволие вместо откровения. Но если поэт, обладающий этим, отнюдь не частным недостатком, объявляется лучшим, из этого следует, что русской поэзии вообще уже не существует. Однако этого вывода Карабчиевский не делает.

На что ему тогда вообще понадобилась эта оговорка? От чего он хотел ею обезопаситься? То ли боялся обвинений в зависти, то ли в непросвещенности

(Запад признал, а ты куда со своим неумытым рылом?), то ли испугался столь резкого отрыва от «поколения» (сиречь, литературных сверстников), а то и от самого себя в прошлом — точно не знаю, но воздействие атмосферы культа в любом случае тут ощущается явственно. Таков успех ленинградского литкружка в распространении своего местного культа. Произошло то, что до революции происходило с замечательным Барабинским маслом. Его экспортировали во Францию, а потом оттуда везли в Петербург и продавали в Елисеев как «Парижское» — очень ценилось. Разница в том, что культ, о котором я говорю, товар не столь доброкачественный.

Как уже говорилось (об этом пишет и Игорь Ефимов), в Ленинграде в 60 — 70-е годы литературная или претендующая на то молодежь, исполненная любви исключительно к искусству, увлеклась стихами одного из своих товарищей (наиболее явно приблизившегося к литкружковскому идеалу самовыражения и новаторства), переписывала их по ночам и читала друг другу. Больше всего им импонировало, что он в своем творчестве выше «политики», так сказать, продолжает прерванную традицию. Умонастроение это пижонское и снобистское, ибо, к сожалению, как сказал один из современных мыслителей, тоталитаризм страшен еще и тем, что каждого заставляет решать проблему, принимать его или не принимать. Хорошего тут мало, но игнорированием от этого не спасешься... Они могли сколько угодно презирать то, что называли «политикой», могли ею сколько угодно «не заниматься», но эта «политика» все равно усердно занималась ими и всем вокруг. Игнорирование этого факта никак не могло быть торжеством принципа непосредственности, на роль защитников которого все эти люди тоже претендовали.

Некоторую реальность (все равно мнимую, на мой взгляд) придавала этой группе близость к Ахматовой. Ее высказывания о Бродском много сделали для установления его культа, хотя сами ничего «культового» не содержали и были в основном футурологического плана.

Я очень высоко ценю Ахматову. Мне уже случалось говорить, что у Ахматовой наибольший в русской поэзии XX века «выход продукции» — процент стихов высокого класса (в районе пятидесяти). В этих стихах она великий национальный, народный, поэт, причем не только в гражданских по теме. Однако жила в ней до самого конца и другая Ахматова — королева Серебряного века, «столпница паркета». И иногда говорила ее устами. Что ж, я очень люблю ее стихи, чту ее память, благодарно помню многие ее высказывания — умные и точные. Но прямо скажу, это относится не ко всем ее высказываниям. За ее высказывания о Бродском я ей вовсе не благодарен. Впрочем, мне она ничего ни о нем, ни о его круге не говорила. Только раз — с удовольствием — о каких-то молодых ленинградцах, поэтах, которые отстраняются от Блока — не ругают его, но говорят, что он им не нужен. Интересовалась даже, не согласен ли я с ними. Но этой приятности я ей сделать не мог. К моему несогласию она отнеслась спокойно.

Что ж, Ахматова есть Ахматова, Блок был ее старшим современником, у нее с ним могли быть старые литературные счеты, и ее могли радовать симптомы некоторого умаления влияния Блока на литературную молодежь, могла она даже преувеличивать эти симптомы. Другое дело — «молодые ленинградцы». Должен сказать, что их (надеюсь, только тогдашнее) отстранение от Блока мне

и теперь непонятно. Я отнюдь не считаю Блока неприкасаемым. Я сам написал о нем две статьи, весьма критически рассматривающие некоторые аспекты его личности и творчества. Но я писал это, *несмотря на то*, что я его люблю. «Отстраняться» же от этого великого поэта и человека, к тому же столь близкого и необходимого нашему времени, говорить о том, что он мне не нужен, мне и в голову не приходило. И теперь не приходит.

Им пришло. С каких высот — пусть даже творчески не подтвержденных, но хотя бы внутренне или интеллектуально достигнутых — они так смотрели на Блока? Впрочем, на том надувном Олимпе, где они устраивали свои суперлитературные радения, возникала своя система ценностей. Опирающаяся на аксессуары мировой культуры и на прерванную (на мой взгляд, якобы прерванную — выдохшуюся) традицию Серебряного века. Но употреблять аксессуары еще не значит войти в культуру. Бальмонт тоже любил эти аксессуары.

Надувному Олимпу понадобился свой гений. Есть ли вообще реальное содержание у этого термина? Думаю, что нет. Или — что то же самое — есть какое угодно. Обретает он смысл только в плане пресловутого «вклада» в «движение литературы». Конечно, иной раз и сам, услышав чьи-то особенно впечатляющие стихи, воскликнешь: «Гениально!»... Но когда говорят, что Бродский — гений, это не восклицание, а литературная (на мой взгляд, антилитературная) позиция.

По приезде на Запад, я обнаружил в таком серьезном журнале, как «Вестник РСХД», статью «Бродский и Пушкин». Я не стал ее читать. Я вообще с той поры в этом журнале статей о литературе не читаю... Сближение этих имен оскорбляет мой слух, вкус и здравый смысл. Даже если бы это делалось с целью критики... Бродский плох не потому, что он не Пушкин. Впрочем, Пушкиным дело не ограничилось. Бродского ставили в ряд со многими классиками мировой литературы — от седой античности до наших дней. После появления его имени рядом с Пушкинским это было уже не трудно — народ привык. Особенно тот «народ», который вообще не читает стихов, но любит «быть в курсе». Он легче всего поддается внушению.

Сюда же относится и «моцартианское начало», о котором уже шла речь. Вообще не было такого положительного качества в литературе (если оно вдруг оказывалось в центре общественного внимания), которого бы немедленно не обнаружилось и у Бродского, и такого прославленного имени, которому он не оказался бы родствен.

Что это, экзальтация любви? Не похоже. Но если и любви, то сугубо литературной (на мой взгляд, опять-таки — антилитературной), а не читательской. Я здесь не противопоставляю читателей писателям. Писатель — тоже читатель, он немислим без читательского восприятия. А литературским, так сказать, «профессиональным» пониманием балуются и иные читатели. Между тем, профессиональная оценка сводится к умению анализировать свое *читательское* восприятие, быстрее других схватывать, где, что и почему мешает. А гордость тем, что мы у себя в Ленинграде нашли своего собственного гения, отвечающего всем традиционным представлениям о новаторстве, оригинальности и самовыражении, который, как и положено гению, двинул литературу вперед, — есть радость чисто литературская. Даже если ее испытывает человек, не написав-

ший ни строки. И потом, любя стихи, говорят об этих стихах, а не о некоем вкладе в нечто или близости их автора к мировым классикам. Я убежден в том, что насаждавшие культ делали это от неуверенности в своей любви, в которую, тем не менее, уверовали...

Влияние этой атмосферы привело к тому, что Бродский на всю жизнь остался подростком — во всяком случае, так он выглядит в творчестве. Он привык к незаконченности, незавершенности, к общей необязательности — в выборе слов, ходов и прочего. К полной — воистину «гениальной» — свободе стихотворения от замысла, то есть от импульса, который дает ему жизнь. Иногда этот импульс вообще не проглядывает, его просто нет. Причем это может быть и при наличии мысли, ибо, как хорошо (даже лучше чем надо) знают мои оппоненты, одной мысли для поэзии недостаточно.

И вот пример — стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку...». Оно представляет собой энергичную опись всех перенесенных автором мытарств. Но перечисление это номинально, а не индивидуально, выбор слов крайне неточен. Судите хотя бы по первой, заглавной, строке: «Я входил» — так она начинается. То есть речь как будто идет о некоем решительном и направленном поступке. Между тем, эта строка начинает список мытарств, по поводу которого в конце восклицается: «И пока мой рот не забили глиной / Из него раздаваться будет лишь благодарность». Если «входил», то кого благодарить? Себя самого? В том-то и дело, что здесь должно быть не «я входил», а «меня вталкивали, сажали, запикивали — что угодно... Меня сейчас интересует соответствие этих впечатлений не фактам биографии, а только задаче стихотворения. Дело не в нескромности, а в неточности. Я согласен с Солженицыным, что если речь идет о России XX века, надо очень осторожно говорить о своих страданиях.

Но к нашей теме больше имеет отношение его замечание (с которым я уж точно согласен), что пафос заключительных строк никак не вытекает из предшествующего им нагромождения мытарств. Не только поэтически — вообще художественно. А декларативной ораторской логике этого стихотворения ничто противоречить не может. Могло бы противоречить, если бы в основе стихотворения был замысел, импульс, если бы оно было ему подчинено, а потом вдруг сорвалось, ушло а сторону. Такое у Бродского бывало часто. Но в данном случае нет и этого. Есть намерение — в данном случае, благое — благодарность Творцу за его бесценный, несмотря на любые страдания, подарок — жизнь. Но это открытие — а это всегда открытие — не выражено как переживание. Просто продекларирован результат. Без всякой заботы о цельности замысла, то есть о форме.

Меня очень удивляет, когда Бродского объявляют (иногда для «объективности» даже те, кому он не нравится) «мастером формы». И дело тут не в Бродском, а в упрямой путанице понятий. И от этого — представлений. Форма — это воплощенный замысел, воплощенное проявление личности в момент вдохновения (определение коего см. у Пушкина — в заметке «О вдохновении»). «Мастером формы» вообще быть нельзя, ибо создание каждого художественного произведения — открытие единственной присущей ему формы. В стихотворении, о котором только что шла речь, формы нет. Да ведь при общей подростковой неоформленности личности (с которой все время сталкиваешься,

читая Бродского), чем может быть задана определенность формы? При таких условиях на форму можно наткнуться только случайно, как, впрочем, и на реальное самоощущение, на самого себя. Поэтому-то форма присутствует только в нескольких стихах — в основном же его стихи бесформенны, а гениальность бесформенных произведений искусства — новаторство, до определения которого даже XX век не додумался. Так что потенциальным новаторам XXI века (боюсь, последователи новаторства не кончились с XX веком) нет причин огорчаться — для них еще остаётся достаточный «фронт работ»...

Из сказанного ясно, что к явлению современной культуры, именуемому Бродским (к которому имеет отношение отнюдь не он один, да и не весь он), я отношусь безусловно отрицательно. Я считаю, что поэт Бродский почти полностью погребен под этим явлением, почти полностью заслонен им — прежде всего, от самого себя. Но это не значит, что он иногда — пусть сравнительно редко — не выбирался из-под этого «явления» и не писал хорошие стихи. Такие, которые я, если использовать выражение Натальи Ивановой по поводу Солженицына, «не могу не отметить» как хорошие. Кстати, и стихи других авторов нравятся мне только в этом случае. А разве должно быть иначе? Более того, то немногое у Бродского, что пробивается на свет из-под завалов его «гениальности», я не просто признаю, а люблю — это настоящая и сильная поэзия.

Я не буду здесь опровергать утверждения, что Бродский великий поэт, гений, ровня Пушкину, Шекспиру, Гомеру etc. Дело не в том, что это не так, а в том, что отпущенный ему Богом дар он почти весь разменял на «гениальность». И в этом смысле действительно представляет собой историко-культурное явление, в каком-то смысле крайнее выражение той эпохи, когда за творчество часто принималось голое (лишь бы оно было изощренно оформлено) самовыражение и самоутверждение. Настолько крайнее, что пафос самовыражения часто у него вытеснял и само самовыражение, саму самовыражающуюся личность.

Беда Бродского в том, что он поверил тем, кто его недостатки объяснял гениальностью и новаторством. Поверил в юности, но, к сожалению, в более взрослые годы это его представление о себе утвердилось, окрепло, вошло в состав его личности. К сожалению — ибо беда тут не в отсутствии скромности, а в отсутствии самокритичности. Если хотите — робости. В забвении того простого факта, что поэзия — такая дама, которая не терпит победителей, которой надо овладевать всю жизнь, каждый раз заново.

Имя Бродского я впервые услышал задолго до его громкого процесса. Я знал, что в Ленинграде вокруг этого имени идет какая-то возня. Впрочем, впервые я услышал его в Москве от незнакомой мне тогда Натальи Горбаневской — она по какому-то делу зашла в «Литгазету» и между делом, как нечто само собой разумеющееся, обронила:

— Конечно, самый лучший современный поэт — Иосиф Бродский. Но он вообще гений...

Сказано это было непререкаемым тоном и с еле скрытой иронией по отношению к тем, кто этого еще не понимает — манера и тогда уже в разговорах о поэзии не новая, заимствованная у 10 — 20-х годов XX века. Большого впечатления это на меня произвести не могло — литкружковская манера этого заявления не настраивала на серьезный лад — мало ли кто кого «открывает»...

Через некоторое время мне показали пачку стихов Бродского. Туда входили «Большая элегия Джону Донну», «Пилигримы» и еще несколько. Понравились мне только первые шесть строк из стихотворения «Стансы»:

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду...

Широкий размах, дыхание — все располагает к доверию, к ожиданию. Довере у многих остается до конца, но ожидание не оправдывается. Ибо оказывается, что дальше следует действительно описание умирания:

между выпцветших линий
На асфальт упаду.

Более того, оказывается, что и предшествующие две строки не имеют отношения к размаху и тональности первого четверостишия. Так или иначе дальше стихотворение глохло, уходило от меня — так сказать, в себя. Видимо, дальше мне следовало «входить в его мир» — точнее, заниматься переживаниями автора, связь которых со мной не была им раскрыта. Другими словами, «дорастать» до автора». Причем не для того, чтобы понимать смысл текста — он и так был понятен, — а чтобы заставить себя чувствовать. А я этого не люблю — полагаю, что породить во мне потребность до себя «дорастать» — дело самого стихотворения. Но поскольку читал я этого автора первый раз, а о нем шли толки, я все же тогда дочитал стихотворение до конца. То есть сужу ответственно.

Остальные стихи из этой подборки не заинтересовали меня совсем. «Пилигримы» показались гимназически-расплывчатыми. «Элегия Джону Донну» — непрописанной и лишенной всякого движения стиха. Особенно в первых четверостишиях, целиком отданных статическому перечислению деталей обстановки действия. Солженицыну эта «Элегия» понравилась, поэтому я сейчас ее прочел еще раз — впечатление не изменилось. А все в целом тогда показалось мне давно читаным-перечитанным (вариацией литкружковского стандарта оригинальности, значительности и погруженности в собственную личность — задолго до ее обретения). И главное — неталантливим. Это и было моим первым впечатлением о Бродском — что он просто неталантлив. Потом я это мнение изменил.

Несколько подточил это мнение прочитанный мной еще до эмиграции его талантливый перевод сцены из пьесы в стихах американского поэта Хаима Плутцига «Горацио». Но это был всего только перевод. Я признал, что Бродский может свободно, даже артистически владеть стихом и соблюдать при этом строгость формы, но, видимо, только тогда, когда эта форма задана другим. В каком-то смысле я и теперь так думаю, но все же не столь абсолютно, как тогда.

Но о прочитанных мной первыми стихах я и теперь думаю, что оценил их тогда правильно. В талантливых стихах есть сила, которая движет стих — как бы физически воплощенная в движении стиха сила чувства. А здесь я ее не ощущал, стих не двигался — надо было самому его двигать.

В этой связи вспоминается, как однажды в поезде, в дни, когда травили Пастернака, незнакомый инженер, мало интересующийся поэзией, рассказывал, что к ним в министерство приезжал с докладом редактор «Советской культуры» Данилов и приводил цитаты из стихов поэта. А на вопрос о том, какое впечатление произвели эти цитаты, ответил задумчиво:

— Вы знаете, непонятно... Но как-то музыкально убедительно.

Не знаю, хорошо ли, когда «непонятно» (Пастернак в конце жизни считал, что нехорошо), но что должно быть «музыкально убедительно», для меня несомненно. В связи с Бродским часто упоминают музыку, якобы свойственную его стихам. Я этого почти не замечал. Но если она и есть, то это странная музыка, не связанная с замыслом, работающая сама на себя. Во всяком случае в тех стихах, о которых я говорю, никакой музыкальной убедительности не было.

Ажиотаж вокруг его «гениальности», на который я наткнулся в Париже (куда заехал по пути в Америку), естественно, на меня повлиять не мог — внушения очень давно на меня не действуют. Изменяться мое мнение начало уже в Америке. Приятель однажды показал мне стихотворение Бродского «На смерть Жукова», и, к удивлению моему, оно мне очень понравилось. А вскоре у Профферов в Энн-Арборе я познакомился с его автором. Отнесся он ко мне вполне дружелюбно, острых тем мы как будто избегали. И вдруг в разговоре произошел поворот, в результате которого окончательно решился для меня вопрос о талантливости Бродского.

Начал его Бродский:

— Я знаю, что мои стихи вам не близки, — сказал он.

Я сказал, что мне понравились его стихи о Жукове. Мы немного поговорили о них, и он продолжил:

— Но мне все-таки хочется, чтобы вы прочли вот это, — и протянул мне лист бумаги.

Я взял этот лист, предвкушая неловкость — придется после столь приятной беседы говорить неприятные вещи. Но страхи были напрасны. Стихотворение — это было «Ты забыла деревню, затерянную в болотах...» — к моему удивлению, оказалось очень хорошим. Честно сказать, я не поверил своим глазам и прочел его вторично — впечатление не изменилось, и я сказал ему:

— Это очень хорошие стихи, — я впервые до конца осознал, что он не только не бездарен (это я уже к тому времени понимал), но очень талантлив. Он был доволен.

Об этом стихотворении стоит поговорить подробнее. Оно обладало всеми особенностями Бродского, с той только разницей, что они были на месте и к месту. Даже его переносы окончаний предложений на следующую строку (анжабеманы), обычно столь изощренно-противоестественные, можно сказать, «зверские», — все было задано импульсом, то есть замыслом, и в каждой точке стихотворения соответствовало воплощению импульса (следовательно, этот импульс присутствовал и ощущался). Вот начало:

Ты забыла деревню, затерянную в болотах
Залесённой губернии... Где чучел на огородах
Отродясь не ставят — не те там злаки.
А дороги тоже — лишь гати да буераки.

Тут все переносы естественны, не противоречат дыханию, в том числе и дыханию стихотворения. Первая строка вообще закончена, и набегающая на нее «залесённая губерния» это еще один наплыв воспоминания (и боли). Окончание второй строки — «чучел на огородах», акцентирование на этой детали тоже естественно — это то, что окружало автора и его боль, которую раскрывает стихотворение. Поначалу, правда, кажется — в рамках двух строк, — что это восклицание, мол, в этой деревне чучел на огородах великое множество. И это тоже было бы неплохо, тоже ничего не разрушает и как-то работает на стихотворение. Но завершение этой фразы в следующей строке работает на него точнее и лучше. Я до этого говорил почти только об исполнении, ибо в данном случае оно соответствует определенности поэтического замысла, а не гуляет само по себе. Оно здесь неотделимо от сути, от боли, которая нарастает. Как неотделима от автора скудость деревенской жизни, которую он в себя вобрал, хотя и не стал ее частью (да не заподозрят меня в том, что я от него требую, чтоб стал — это невозможно и ненужно), и с которой связана его личная боль. Ибо (цитирую третью завершающую строфу, минуя вторую — тоже хорошую и цельную):

... зимою там колют дрова и сидят на репе,
И звезда моргает от снега в морозном небе.
И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли.
Да пустое место, где мы любили.

Стихотворение и с самого начала было о любви, хотя речь идет о деревне — впрочем, о деревне, которую «ты забыла». В этой деревне теперь уже, похоже, нет и «меня», хотя «я» ее не забыл. Здесь нет личных местоимений первого лица — никаких «я» или «меня», — как нет и заявлений о том, что я помню, но это само собой разумеется (и, что чрезвычайно обогащает само чувство, внутренний мир стихотворения) — не забыл и потому, что вжился в это, и потому что там остается — к этому вело все стихотворение, но только сейчас вышло наружу — «пустое место, где мы любили». Обычно такие резкие ходы, как «пустое место», для меня чрезмерны, но здесь — нет.

Странная, казалось бы, вещь — стихи о любви, выстроены вокруг любовной боли, а говорится о деревне. Но при этом их ни по теме, ни по сути не отнесешь к «гражданской лирике» — это просто лирика, притом любовная. Автор не ставит и не решает проблем сельской жизни, он просто чувствует людей, которые в этой жизни остались, которые за время его пребывания в ней стали ему со всеми своими будничными заботами более понятны и по-своему даже близки. Все это не имеет отношения к теме стихотворения, но входит в состав лирического переживания, в содержание чувства (выражение Ольги Берггольц). Мы приобщаемся к внутреннему миру человека, способного так чувствовать жизнь и людей, а это внутреннее богатство — одно из условий эстетического наслаждения. И приобщаемся в момент обострения всех его чувств, вобравших в себя весь этот мир вместе с этой деревней, забытой той, которая (по тому, что, как ощущается, в нее вложено) не должна была это забыть. Из-за чего там теперь остается только «пустое место, где мы любили» — полость, которая щемит, но которая этим взрывом — пустым местом там, где была любовь, — напомина-

ет о любви, о том высоком, что редко воплощается в жизни, но все равно в нас живет, существует.

В поэзии ошутимое отсутствие прекрасного, тоска и боль из-за его отсутствия (в том числе и утраты) означает его присутствие. В этом стихотворении поэзии соответствует все — прежде всего, содержание личности автора и его чувства, то есть ценность его переживания для нас. Другими словами, наличие импульса (замысла) и его соответствие сущности поэзии, что бывает не так уж часто. И, конечно же, точность исполнения, точность воплощения замысла, строгое подчинение ему всех элементов, всего течения стихотворения — соответствие своему месту в общем замысле каждой его точки.

Неудивительно, что стихотворение мне сразу понравилось. Трудно представить человека, которому оно бы не понравилось. Положительно сказался на поэте отрыв от дружного коллектива поклонников — он стал слышать себя и мир!

Оно настолько мне понравилось, что я тогда просто поверил в Бродского. Кстати, его книга «Часть речи», которая вышла вскоре в издательстве ARDIS, давала для этого некоторые основания. Там было много хороших кусков и строк, позволявших думать, что он взрослеет и выходит на дорогу. У нас даже стали завязываться теплые отношения. Но по причинам мне неизвестным — я ведь его почти не знал — на дорогу он не вышел, а еще глубже погряз в беспросветной «гениальности». Впрочем, вышедшая чуть ли не одновременно в том же издательстве другая его книга — «Конец прекрасной эпохи» — показывала, что по-настоящему из этого состояния он никогда и не выходил. Этой своей «гениальности» он служил до конца дней, и она, на мой взгляд, задушила его незаурядный талант. В полной мере тогда я этого, конечно, еще не знал. Просто меня раздражали «гениальные» стихи, а пуще всего — высказывания.

Например, что поэт — орган, через который выражается язык, а «биография» (проще говоря, личность — в чем же она проявляется, если не в «биографии»?) не имеет значения. Эта бессмыслица — утрировка банальной истины. Безусловно, вне языка поэта нет, но все же поэт выражается через язык, а не язык через поэта. Спорить мне тут не с чем, ибо само это высказывание больше «самовыражение языка», чем мысль. К сожалению, и его творчество к тому времени было иллюстрацией этого положения. Похоже, это утверждение родилось как обобщение и оправдание собственного творческого поведения. Существование его становилось для меня призрачным и инфантильным. Поддерживать с ним отношения и в без того призрачной (и в духовно-интеллектуальном смысле инфантильной) атмосфере эмиграции, в то время как для меня жизненно необходимым было противостояние этой атмосфере, — было бы противоестественно. После той встречи я один раз позвонил ему — поздравить с благополучным исходом операции. Разговор был вполне теплым, товарищеским. Но потом, когда направление его развития определилось, у меня не было ни повода, ни желания ему звонить. У него, по-видимому, тоже. Отношения, не начавшись, распались. Имел я потом дело уже не с ним, а с его культом, которым меня изрядно донимали в первые годы эмиграции — авторитет молвы и «культурного Запада» был тогда в третьей эмиграции не менее велик, чем в начале перестройки в Москве. Донимали меня вопросами о моем отношении к Бродскому, а в ответ на мои слова иногда удивлялись (дескать,

как можно не восхищаться общепризнанным гением), иногда «понимающе» усмехались, «прозревая» мотивы (низменные, конечно) моего неприятия. Картина для них была ясна — судьба Бродского в эмиграции была феерической, моя — жалкой, тут им даже «догадываться» или «прозревать» не надо было.

Должен их огорчить. Успехи Бродского к моей судьбе никакого отношения не имели — он ничего у меня не отнял. Если бы его просто не было, моя судьба была бы точно такой же. Кстати, мне известно, что он неоднократно говорил разным людям, что хотел бы мне помочь, но не знает, как. И я не сомневаюсь, что это правда — и то, что говорил, и то, что хотел, и то, что помочь не мог. По причинам, о которых здесь не место говорить, помочь мне тогда не мог никто — не монтировался я. Короче, никаких личных претензий у меня к Бродскому нет, только литературные.

Вряд ли можно ему поставить в вину и поощрение собственного культа, тем более, что он сам стал его жертвой. Другое дело, конечно, то, что называлось в старину порчей общественного вкуса, но он об этом не знал, и опять-таки не только, да и не столько он один этому способствовал.

Кстати, первым реальным носителем этого культа, которого я встретил — по существу и по форме, — был Александр Кушнер, которого я считал и считаю настоящим поэтом. Вспоминается мне мой давний, очень давний разговор с ним. Я выразил удивление по поводу ленинградского — тогда еще в основном ленинградского — увлечения Бродским и поделился своими соображениями по поводу его стихов. Саша снисходительно улыбнулся, согласился с моими доводами и заключил разговор тем, что всё так, но стихи все равно гениальны. На мой слух это прозвучало, как «плохо, но гениально». Такой ход мысли был мне знаком — так несчастные советские интеллектуалы 30-х и 40-х годов говорили о Сталине, но с тем, что так говорят о поэзии, я столкнулся впервые. И говорил это не графоман, не претенциозный вьюнош, а настоящий поэт. Такие рассуждения явились обоснованием «стиля опережающей гениальности», о котором я уже здесь говорил.

Реально с этим «стилем» я впервые столкнулся в эмиграции. И даже не в связи с Бродским. Меня поразил (как я тогда же написал) «мутных гениев поток, / Текущий из России». «Гении» эти были очень активны поначалу, прямо-таки заслоняли горизонт, но потом как-то испарились — остался один Бродский. Ничего удивительного, этот стиль — не только стиль культа, но и стиль, невозможный, не работающий без культа. То, что Бродский был талантливей этих гениев, значения не имело. Имело значение то, что он выехал с уже готовым культом и целым кругом людей, заинтересованно его поддерживавших и раздувавших. Эти «гении» и создавали атмосферу, в которой только и мог серьезно восприниматься этот «стиль». Естественно, культа на всех не хватило.

Возникает вопрос, почему я начал писать о своем отношении к поэзии Бродского только теперь. Ведь оно выработалось давно, я ни от кого этого не скрывал и тем не менее не выступал с этим мнением в печати. Считал, что само рассосется. И если бы не заметки Солженицына, точнее, не победная реакция на них Игоря Ефимова, Льва Лосева и, особенно, Натальи Ивановой, поставившей все точки над «і», я и теперь не пытался бы это сделать. В этих статьях для меня важно не столько их религиозное (а то и партийное) от-

ношение к Бродскому, сколько встающая за этим развернутая эстетическая позиция, программа, чуть ли не установленный норматив. И я подумал, что если им не возражать, у многих неангажированных читателей создастся впечатление, что культ этот — истина, что она действительно установлена и никто против нее возразить не может. А если кому-либо это скучно или противно, то просто читать стихи не их ума дело. Некоторые с этим смирятся и отойдут в сторонку, другие из всех сил будут стараться ощутить свою причастность к столь высокому «пониманию». Но читать стихи перестанут и те, и другие. И это логично — если самого гения читать скучно, зачем же нужны просто таланты? Получается, что поэзия существует не для читателя, а для участников какой-то специальной престижной игры. Мое молчание было не капитуляцией (хотя в эмиграции возражать на этот счет было негде, а временами и не для кого), но все же попустительством. Оно бы и дальше продолжалось. Но эти поучения Солженицыну вывели меня из состояния, в котором оно было возможно.

Я должен констатировать, хотя и не всегда согласен с конкретными оценками Солженицына (как я уже отмечал, в ряде случаев, они, на мой взгляд, завышены), в споре со своими оппонентами он абсолютно прав. Прежде всего, в его заметках ощущается непосредственное читательское впечатление от стихов Бродского, а они до этого и в пылу полемики не снисходят — ограничиваются комплиментами и восклицаниями. Во-вторых, в своих замечаниях Солженицын обнаруживает понимание эстетической сущности поэзии, а в их возражениях (по их представлениям, сугубо эстетических) нет даже намека на то, что такие аспекты существуют. То ли то, что эстетика на советских филфаках существовала только под именем «марксистско-ленинской» (правда, и под грифом «теория литературы» тоже), скомпрометировало в их глазах эстетику вообще, то ли просто легче обходится без этого обременительного груза, но следов знакомства с этой областью в их работах не обнаруживается. Разве что кроме ссылки Игоря Ефимова на Платона в подтверждение «актуальной» для нашего времени (да и для самого Игоря Ефимова, насколько я его знаю) мысли, что Прекрасное не обязательно совпадает с Добрым и Высоким.

Поскольку в глазах «высоких ценителей» я уже два раза обнаружил свою примитивно-прагматическую сущность — когда употребил термин «читатель» и когда проявил некоторое уважение к актуальности, — то теперь (семь бед, один ответ) мне не страшно компрометировать себя и в третий раз. А именно — в своей уверенности в органической связи искусства с Высоким и Добрым.

В сущности, с самого начала речь идет о литературшине — упоминавшаяся мной «литературность» — только более тонкая ее форма. Ибо данный культ неотделим от нее, он — самоутверждение литературщины. Резкие выходы Бродского на его вечерах по отношению к поклонникам — тоже литературщина. Они объясняются вовсе не хамством натуры (этого я в нем не заметил), а только следованием стандартам поведения гениальной личности, выработанным в начале века. Но тогда у всякого рода футуристов могла быть иллюзия, что они *éclater les bourgeois*, плюют в лицо сытому самодовольству. А с чего такие эмоции могли возникнуть в конце XX века по отношению к представителям всех трех русских эмиграций, которым жизнь только и делала, что плевала в лицо?

Кульť всегда вещь ложная, всегда подменяет реальность и поэтому требует цельности и непротиворечивости. Дом — то ли хрустальный, то ли надувной, — который себе построил Бродский, держался на поклонении, на согласии окружающих, на их вере, что любое проявление его владельца гениально. Поэтому любое критическое замечание было для него, как падение камня для хрустального сосуда или булавочный укол для надувного шара. Оно разрушало иллюзорную реальность, в которой он жил. В этой связи становится совершенно понятно, почему робкое и почтительное замечание А. Кушнера, что Бродский уж слишком злоупотребляет ненормативной лексикой, вызвало у того такую, мягко выражаясь, бурную реакцию. Вроде пустяк. С одной стороны, всемирное признание, Нобелевская премия, гениальность, а с другой — такое вот дружеское замечание поклонника по, казалось бы, частному вопросу. Но это намекало на то, что «гениальность» постепенно перестает опережать впечатление, что «самовыражение языка» перестает восприниматься даже поклонниками. Это и впрямь должно было быть воспринято как бунт на корабле, который необходимо подавить — Кушнер, в отличие от Солженицына, входил в команду «своих». На страже этого культа — пусть чуть менее нервно, чем его объект, — стоят и его поклонники, что и отразила их реакция на заметки Солженицына. Самой показательной, искренней, да и самой первой из них (хоть и не очень, на мой взгляд, компетентной) была реакция Игоря Ефимова («Новый мир», №2, 2000).

Я ни в коем случае не собираюсь отрицать права Игоря Ефимова возражать кому бы то ни было, в том числе и Солженицыну. Он искренне любит Солженицына и, безусловно, искренне любит Бродского — только я не очень убежден, что любит именно как поэта. Он защищает не стихи, а некий образ. Правда, много говорится о воздействии стихов последнего на него и его товарищей, особенно товарищей юности. Но, как мне кажется, говорить о поэзии Игорь Ефимов вообще не очень умеет. Он не обращает внимания на движение, и поэтому на саму фактуру стиха, прибегает к ораторским приемам и интонациям. Кстати, совершенно неуместно в ответ на чьи-либо впечатления о прочитанном восклицать: «Полноте!.. Как можно!..». Ведь если кто-то что-то воспринял так, а не иначе, это для него вполне было «можно». Мы можем считать, что у него нет слуха и вкуса, что он ничего не понимает, — это наше право (хотя публично делать такие заявления нельзя или их надо доказывать). Правда, и мне не понятно, как можно говорить о стихах, тем более мастера формы, игнорируя столь частое отсутствие стиха, точнее, его движение. Но тут я апеллирую к нормальному непосредственному восприятию, к тому, как стихи читаются и воспринимаются (так же, как и говоря о замечательном «Ты забыла деревню...»). И тоже, конечно, могу ошибиться: восприятие — критерий не очень надежный. Но надежный нет, остальные — искусственны. Однако Игорь Ефимов апеллирует не к восприятию, а только к объявленным им и его единомышленниками мировому значению Бродского и его близости к прославленным именам — с тем и с другим обращаясь то ли как с установленными и общеизвестными фактами, то ли как с постулатами, которые всем надлежит усвоить.

Вот такая беда случилась, по его мнению, с русской культурой в XX веке — на его заре Лев Толстой не понял Шекспира, Владимир Соловьев — Лермонтова, а на его закате Солженицын не понял Бродского. То, что Бродский явля-

ние такого же значения, как остальные пятеро, подается — метод внушения или механизм самовнушения? — как само собой разумеющееся. Впрочем, вокруг имени Бродского создана не только своя локальная система ценностей, но и своя история русской, а то и мировой литературы. Кстати, сокрушение Ефимова о том, как складывается XX век, не совсем корректно. Шекспир, когда его стал ниспровергать Толстой, уже несколько столетий существовал в сознании всего культурного человечества, Лермонтов, когда против него выступил Соловьев, в России уже несколько десятилетий много значил даже для Соленого, а Бродский — факт современной литературной жизни. Его можно принимать или не принимать, но никак не ниспровергать — веков признания за ним еще нет. Конечно, это же можно отнести и к Солженицыну, но я лично против того, что Игорь Ефимов вводит его в столь высокий ряд, нисколько не возражаю, даже уверен, что там ему и место. С риском быть осмеянным потомками, которые могут быть за это осмеяны своими потомками... Каждый, кто что-то утверждает, рискует ошибиться. Ефимов уверен, что прав он, я в своей правоте уверен никак не меньше. Никакого нарушения законов естества тут нет.

Поскольку я сейчас пишу не о статье Солженицына, ряд его блистательных формулировок, даже приводимых Ефимовым, я опускаю. Но одну, не самую яркую, но для меня безусловную, приведу — из-за реакции на нее Ефимова: *«Порой поэт демонстрирует нам высоты эквилибристики, не принося нам музыкальной сердечной или мыслительной радости».*

Кстати, насчет «высот эквилибристики». Бродский, безусловно, был на нее способен, но и этой способностью часто пренебрегал — обходился «моцартианским началом». Но меня сейчас интересуют не сами по себе эти слова, а реакция на них Игоря Ефимова: *«В этой фразе особого внимания заслуживает местоимение «нам». Как велико это «мы», от имени которого выступает здесь Солженицын-читатель? Из кого оно состоит? И где проходит граница между ним и другим «мы» — тем, которое уже в начале 60-х перепечатывало по ночам строчки еще никому не ведомого поэта, заучивало их наизусть, сбегалось на его редкие выступления? Те «мы», которым вызываемые в памяти строчки Бродского служили защитой и убежищем от бессмыслицы обязательных политзанятий, от стыда комсомольских собраний, от стужи долгих переездов в набитом трамвае? Что двигало нами тогда — еще до громкого международного шума, признания и славы? Думаю, только это: «музыкальная сердечная и мыслительная радость», доставляемая его стихами».*

Надо сказать, что повод для этой лирической контратаки притянут за уши. «Мы» в этой солженицынской фразе не более, чем фигура речи, принятая в таких статьях, и требовать количественного и качественного определения этого «мы» — некорректно. В крайнем случае, тут можно ответить: «я и мои друзья», «я и те, кто воспринимает так, как я», и даже «я и те, кто прочтет эти стихи вместе со мной и увидит то, что увидел я». На убежденность в своей правоте имеют право не только поклонники Бродского. Кроме того, Солженицын говорит здесь не обо всем творчестве Бродского, а о том, что сопутствует демонстрируемой им «порой» высокой эквилибристике. Так что все остальное могло обладать перечисленными Ефимовым положительными качествами. С чего тут было взрывать?

И еще хочу напомнить Ефимову, что любое «мы» вокруг Солженицына тоже как-то искало и находило духовное противоядие от всего, им перечисленного (разве только не от трамвайной стужи). И с каких это пор неприятие поэта одними опровергается восторженным отношением других? Какие основания считать ефимовское «мы» выше не только солженицынского, но и, например, моего — даже если бы за ефимовским было большинство голосов? Могу сказать наперед, что именно *против этого «мы»*, а не против Бродского я и пишу эту статью — против Бродского только потому, что он часто сливается с этим «мы». Я всегда помню, что знаю у него два замечательных стихотворения, еще два недоработанных, но тоже хороших (я когда-то видел газетную вырезку с ними, но с тех пор они мне не попадались), конец какого-то длинного стихотворения из сборника «Часть речи», который сам по себе хорошее стихотворение. Может быть, есть и еще какие-то, где автор прорывался к поэзии сквозь душевную завесу своей «гениальности» и восторгов этого «мы». Не так уж мало для писавшего в XX веке. Думаю, что это «мы» в его культе нуждалось и нуждается больше, чем когда-либо он сам.

Эта цитата интересует меня не как возражение Солженицыну, а как автобиографическое самовыражение этого «мы». Поражает оно романтической риторикой, мало подходящей к Бродскому. Защитой от «стыда комсомольских собраний» его стихи быть не могли — от необходимости посещать эти собрания, от раздражения (другими словами, «от стыда»), с этим связанного, не могли защитить даже Пушкин с Шекспиром и Пастернаком, а в остальном — кто тогда принимал эти собрания всерьез, чтоб от них духовно защищаться?

Ефимов вообще склонен аргументировать этим «мы» всё — например, грубость некоторых выражений в «Сонетах к Марии Стюарт»: *«Ну, да, с королевами не принято разговаривать таким тоном и таким языком. Но как еще можно было изобразить то, что случилось с нашим поколением в послевоенном, послеблокадном Ленинграде? «Вчера», «атас», «накнокал» и проч. — да, это был наш язык, язык городской шпаны, для которой главными героями были уголовники с золотой фиксой на переднем зубе, а главным аргументом в споре — кулак или финка. И вдруг в этом мире голодного убожества и повседневного насилия («В конце большой войны не на живот, / Когда что было жарили без сала») тоненьким лучом кинопроектора на экран, натянутый в бывшей церкви, — выносится образ шотландской королевы и пронзает сердце на всю жизнь — да есть ли на свете такие языковые «сдѣрги» и «диссонансы», которыми можно было бы воссоздать подобное чудо?»*

Воспоминание трогательно, но к делу отношения не имеет. Во-первых, соображение о том, что нет подходящих слов для воссоздания чего бы то ни было, — не аргумент. Оно годится для бытового разговора, меньше — для газетной риторики, но никак не для серьезного разговора о литературе. Если у талантливого автора нет подходящих слов, то, значит, замысел еще не созрел. И вообще, для поэтического произведения задача что-либо воссоздать может быть только побочной — воспоминания в поэзии важны не тем, *что*, а тем, *почему* вспоминается. То есть важен момент, когда автор вспоминает, а не когда происходило вспоминаемое. Этим и определяется его лирическая суть. Воссозданием ситуаций, реальных и вымышленных, работает проза. Так что язык шпа-

ны не может быть языком лирического стихотворения (я говорю не об использовании этого языка, а о самовыражении им), ибо исключает самоидентификацию читателя. Или как минимум читателя с иной биографией (а ведь ефимовский Бродский, как я понял, гений всех времен и народов).

Впрочем, цикл «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» неприемлем для меня не только и не столько из-за грубых выражений или неоправданной развязности тона, сколько из-за развязности самого стиха, необязательности выбора слов, порожденных опять-таки отсутствием организующего лирического замысла. Небрежные — «свойские» — намеки на культурные ассоциации делу не помогают. Всякого рода усложненности чаще всего происходят от невыраженности, недоработанности, но угадывание их льстит самолюбию «культурного» читателя, и польщенность этой «причастностью» принимается им за эстетическое наслаждение. Если Бродский сыграл большую роль в истории современной литературы, то именно такими стихами — в них он явился предтечей и создателем нынешней «тусовки».

Так что дело не в шпане, не в ее языке и даже не в этом цикле. Просто отношение Ефимова к этому циклу — одно из проявлений абсолютизации столь дорогого ему «мы». Убежден, что это «мы» — да еще с конкретной привязкой не только ко времени, но и к месту — не может быть решающей референтной группой, когда речь идет о поэзии.

Переписывали, сбегались на выступления и т.п. — все, о чем рассказывает Ефимов, — не только в Ленинграде. Всем тогда хотелось чего-нибудь свежего, живого, настоящего или принимаемого за таковое. Но все это так или иначе вертелось вокруг «политики», то есть вокруг навязанной нам духовной ситуации. Ленинградская группа отличалась даже не тем, что преимущественно «любила искусство», а тем, что этой любовью поднималась «над политикой»...

Это отрицание «политики» тоже лежало где-то рядом с правдой, но правдой не было. Поэзия действительно не может решать политические проблемы. Но «политика» здесь только псевдоним. Политикой, строго говоря, никто в стране, даже диссиденты, не занимался. Речь идет о взаимоотношениях с патологической реальностью, с тем, как мы живем, как до этого дошли, как отсюда выбираться. Дело не в тематике, а в том, что стоит за человеком — о чем бы он ни говорил. Берет ли он это в душу или парит над этим, что люди этого крута называют любовью к искусству.

Это не было конформизмом по отношению к властям, советчину они не любили, презирали, на хорошем счету у нее не числились (суд над Бродским — чего же больше), но все-таки отличались крайним пренебрежением к этой проблематике. За примерами ходить недалеко. Доказывая Солженицыну, что поэзия Бродского патриотична, Игорь Ефимов иллюстрирует это, в частности, тем, что, хотя опощение казенной пропагандой таких слов, как «родина» и «отчизна» у многих вызвало к ним идиосинкразию, а Бродский эти слова употреблял. Это бесспорно. Действительно, вызывало, и действительно, употреблял. Но меня в данный момент интересует не Бродский, а сам Игорь Ефимов, который ничтоже сумняшеся называет эту пропаганду марксизмом. Но ведь известно, что марксизм такие понятия в положительном смысле никогда не употреблял. Он и начал с того, что «пролетарии не имеют отечества». Это унасле-

довал «честный большевизм». Это он и навязывал всем, пока не был к середине 30-х оттиснут от власти. Невозможно, чтобы Игорь Ефимов этого не знал. Это показывает великолепно-верхоглядное отношение к реальной тогдашней духовной ситуации. Она определялась не просто господством ложной идеологии, то есть преступного соблазна, каким был большевизм, а властью ее имитации, идеологической пустоты, протрации, абракадабры, выдаваемых за эту идеологию. Ситуация была такой, что и те, кто по должности обязан был соблазнять, знали, что им следует говорить, но не до конца понимали, что и во имя чего говорят — во что соблазняют. Людей заставляли серьезно относиться к бессмыслице — отсюда и «стыд комсомольских собраний». Отвращение к неприемлемой идеологии описывается иначе.

В марксизме, а тем более в большевизме, ничего хорошего я давно не вижу, но все мы тогда имели дело не с ними, а с их последствиями. Но, видимо, Игорь Ефимов и его «мы» об этом не думали — во всяком случае, в связи с искусством. То, что они игнорировали, было вовсе не политической, а, как я уже говорил, духовной ситуацией, то есть тем, что как раз имеет прямое отношение к искусству. Их «любовь к искусству» поднимала их не над «политикой», как им казалось, а над запутанностью духовного существования, в том числе и их собственного... Кстати, их отношение к «политике» было тоже чистой литературщиной, подражанием отношению Серебряного века к «шестидесятиникам» XIX столетия (на самом деле к их эпигонам 80-х — 90-х годов). Из их собственной ситуации, из наших 60-х оно никак не вытекало. Они были предтечами современной «тусовки» — заслуга, прямо скажем, сомнительная. Это определило ту неопределенность отношения ко всем понятиям и ценностям, которая подняла и задушила поэта Бродского и в которой назвать марксизмом патриотизм — в том числе казенный постсталинский — можно, не испытывая никаких затруднений. К сожалению, такое отношение отразилось не только на литературе.

Не думаю, чтоб Игорь Ефимов, автор многих хороших работ на социальные темы, не знал разницы между марксизмом и сталинской (а также постсталинской) безыдейной «идейностью», но, видимо, ему просто приятно было вспомнить атмосферу своей молодости вместе со всем, что ей сопутствовало. Больше всего соответствует этой атмосфере конец его статьи, в которой он задается большим для себя вопросом: *«ПОЧЕМУ у нас так получается. То есть, почему у нас Толстой отрицает Шекспира, Соловьев Лермонтова, Гоголь — самого себя, а Солженицын не восторгается Бродским?»*

О том, как мимоходом в такой ряд вводится Бродский я уже говорил. Интересно здесь не это, а глубокомысленный ответ Ефимова на это свое ПОЧЕМУ: *«Из внутреннего сходства этих коллизий, из почти буквального совпадения некоторых обвинений (у Соловьева — Лермонтов не развил «тот задаток великодушный и божественный...», у Солженицына Бродский не пошел «естественным и благородным путем развития»), из дружного отрицания независимости прав и законов искусства вырисовывается и имя этой западни: идеализация идеи Добра, вознесение ее над всеми другими духовными ценностями».*

Эта цитата очень важна, ибо представляет собой самораскрытие сути ленинградского литкружка. Собственно, только она во всем этом пассаже (завер-

шении статьи) мне нужна. Но придется обратить внимание читателя и на витиеватое обоснование этого взгляда. И опять исключительно из мелочных соображений — с целью исключить обвинение в том, что я это обошел молчанием. Я знаю, как спорят если не сам Ефимов, то многие его единомышленники, и полагаю, что это не лишне.

Итак, в абзаце, следующим за этой цитатой, Ефимов говорит, что человеческую душу вечно тянут вверх четыре порыва (почему-то порыва, а не стремления): «к Разумному, к Прекрасному, к Доброму, к Высокому». Для меня такое разделение слишком четко (человеческие «порывы» не так легко поддаются систематизации), но в принципе с этим можно согласиться. Однако приведена здесь эта систематизация не сама по себе, а чтобы подчеркнуть, что *«история духовной жизни»* человека показывает, что эти порывы, вопреки нашим надеждам, могут вступать и в единоборство друг с другом: *«Высокое может потребовать от нас недоброго («Оставь отца и мать своих...»)*, а *«культ Разумного приводит к Робеспьеру и Ленину»*.

Христа в этот спор я бы не впутывал, ибо то, что может понимать и делать Он, смертным не дано, а часто и не позволено. И обращены эти слова не ко всем, а только к избранным — к тем, кому было предназначено помочь Ему выполнить Его Божественную миссию на земле. Аналогов этому нет и быть не может. В нашей земной жизни разрешение себе Злом творить Добро потому и приводит к страшным результатам, что люди берут на себя Божественные функции, занимаются творением мира (эта мысль принадлежит не мне, а Н. А. Струве — от него я когда-то впервые ее услышал). Тем не менее и оставаясь в рамках земной жизни, отнюдь не беря на себя Божественные полномочия, людям иногда приходится манипулировать недобрым — допускать меньшее зло, чтоб избежать большего. Например, на войне. Дело это для души рискованное, но обстоятельства иногда требуют, и кому-то приходится брать на себя ответственность, а то и грех. Это проблема прежде всего бытия, а не искусства. Искусство может сочувствовать человеку, совершившему злое, запутавшемуся в злом, но не самому Злу — это противоречит природе восприятия, возможности самоидентификации и катарсиса.

Но общественные настроения — вещь зыбкая. В какие-то периоды где-то вдруг может стать модным поклоняться Злу, и «все вдруг откроют, что оно прекрасно». Но это уже прелесть, соблазн, а не откровение. Что же касается «культа Разумного», приводящего к Робеспьеру и Ленину, то ведь само выражение «культ Разумного» нонсенс. Если культ, то он не разумен, если разумное, то не культ. Любой культ — затмение разума, буйство сорвавшейся с цепи рассудочности, не чувствующей, в отличие от Разума, границ своих возможностей. Времена Робеспьера и Ленина, когда «господствовал Разум», вовсе не были самыми разумными.

Но нас тут больше интересует то, что говорится о Прекрасном: *«Прекрасное сплошь да рядом отказывается подчиниться требованиям разумного, доброго, полезного»*.

Не хотелось бы это говорить, но меня неприятно удивило присутствие в этом контексте термина «полезное». Толстой, может быть, его употреблял, но Солженицын — нет, и к делу оно не относится. Этот термин просто подвер-

стан сюда — причем, пусть и с подсознательным, но умыслом. Требуется убедить себя и других, что творчества Бродского не принимают только узколобые «прагматисты», с которыми традиционно связано представление о примитивности. Между тем, вся эта антитеза выдумана. Прекрасное, т.е. искусство, не должно подчиняться требованию полезности не потому, что это примитивно и стыдно, а потому, что оно и так полезно, если оно на самом деле искусство.

А вот насчет неподчинения требованиям разумного и доброго — разрешите усомниться. Поэзия не движется рассудком и не следует никаким рассудочным схемам. Также она не занимается проповедью добра и морали. Но и не противоречит им. Она не занимается в лоб ни Добрым, ни Разумным, но никогда не выходит за их границы. А уж насчет Высокого и говорить нечего — поэзия и есть высокое, возвышающее. Поэзия порой может быть даже снисходительна к человеческим слабостям, недостаткам, но все равно — с позиций высокого. «Жизнь есть требование от бытия смысла и красоты», — говорил биолог Ухтомский. А поэзия есть живое воплощение этого требования. Требование это может удовлетворяться и не удовлетворяться, поэзия может быть идиллической, трагической, иронической и любой другой, но если в самой плоти произведения, в его движении и развитии не воплощено и не раскрывается это требование гармонии — поэтическим оно быть не может. Подчеркиваю, речь не о строгой нравственности, вообще ни о чем строгом — жизнь и человеческая природа слишком для этого противоречивы, духовное и недуховное в человеке слишком перемешаны, и тут не до нотаций. «Немного шаловливая мысль, которая не прочь поиграть с чертом, но никогда не забывает Бога», — такое есть изречение в «Записных книжках» В. О. Ключевского. К поэзии оно относится в высшей степени. Выделять что-либо из приведенной Ефимовым квадриги невозможно — поэзия до тех пор поэзия, пока способна синтезировать это все в живом восприятии, в конкретном личном переживании.

На этом «глубоком и эрудированном» понимании «независимых прав и законов искусства», состоящем в противостоянии «идеализации идеи Добра» и, по существу, в отрыве от нее «всех других духовных ценностей», и воспитывал себя ленинградский литкружок.

Игорь Ефимов защищает здесь не равнодушие к Добру (он сам к нему не равнодушен), а только некое представление о «широте мышления», заимствованные у эстетики декаданса — видимо, в кругах «второй культуры» это многих возвышало, а у него, хоть сам он человек совсем не декадансный, осталось дорогим воспоминанием молодости. Речь тут не о том, что и художники люди грешные и всякое бывает в их жизни, а именно о зле, воплощенном в искусстве. (Традиция сохранилась. Недавно в том же Питере продолжатели этого дела, противостоя «политизированности», увлеклись пропагандистским нацистским фильмом Ленни Рифеншталь «Триумф воли» — потому, что мастерски сделан.) Я этого не принимаю. И не только из банальных моральных соображений (хоть страшно подумать, что будет, если они перестанут быть банальными), а исходя из логики самого искусства.

Проникнутость произведения духом зла или просто равнодушия к добру опять-таки исключает возможность самоидентификации и катарсиса. Для того, чтобы воспринимать это как прекрасное, нужно растоптать собственную есте-

ственную интуицию. Иногда это и делают — ради растворения в ауре (иногда ее еще называют «современность»), а проще — в эстетике декаданса. От того, что декаданс при советской власти поносили (правда, относя к нему все, что угодно, точнее, неудобно), его эстетика не стала истинной. В ней по-прежнему нет ничего хорошего. Пикантно, что потребность поставить Добро на его скромное место возникла у этих молодых людей отнюдь не в Царстве Добра, а в послесталинском Советском Союзе, когда вся жизнь строилась на наклонной плоскости, а страна организованным порядком катилась в пропасть. Когда естественней было бы искать выхода, то есть беспокоиться о добре. Но естественность была за пределами их если не жизни, то умонастроенности. От некоторых участников этого эстетического движения именно в те дни мне приходилось слышать, что они враги не социализма, а только соцреализма, но ведь соцреализм был только одним из проявлений социализма — фикцией, прикрывающей государственное насилие над литературой и искусством. Все-речь борясь с фикцией — значит придавать ей реальность и терять свою.

Нет, не игнорирование «долга перед народом» меня поражает, а строй чувств тех, кто, живя не просто в СССР, а под прямым руководством тогдашнего наиболее рьяного «покровителя» искусства и мысли товарища Толстого, испытывал потребность противопоставить идеализации Добра идеализацию гениальности. Просто изнывали они под гнетом Добра, и хотелось чего-то свежего, солененького. Полагая, что восстанавливают этим связь со всей заграничной (мировой, в их терминологии) культурой.

Впрочем, следование любой «ауре» опасно для художника и вообще для мыслящего существа. «Я прожил долгую жизнь и наблюдал много модных духовных веяний, но мода приходит и уходит, а истина остается», — сказал выдающийся католический мыслитель Романо Гуардини в день своего восьмидесятилетия. Я никак не ровня этому мыслителю, но со мной происходило то же. Я тоже пережил на своем веку, как минимум, несколько «аур» (пардон, современностей). Они сменяли друг друга довольно быстро, и то, что в одной «ауре» казалось ярким, в другой угасало — так червонцы гоголевского Басаврюка без поддержки нечистой силы превращались в черепки.

Однако «западня», заключающаяся в «идеализации идеи Добра», вообще не имеет отношения к делу. Толстого возмущала в Шекспире отнюдь не только «безнравственность», а весь «противоестественный, ненатуральный», с его точки зрения, строй его драматургии, а Солженицына в Бродском часто удивляет не то или иное «содержание» его стихов, а, так сказать, творческий почерк. Впрочем, как я уже говорил, я занят здесь не защитой статьи Солженицына. Я отнюдь не стеснялся бы защищать эту статью, с большинством положений которой я согласен, а некоторые содержащиеся в ней замечания поражают меня глубиной и точностью понимания предмета, и не только применительно к Бродскому. Просто я думаю, что Солженицын в моей защите не нуждается. И, кроме того, я слишком занят собственным противостоянием тому, что внушает Ефимов.

Общий недостаток его статьи в том, что о строении и воздействии стихов он говорит так, словно это не стихи. В кругах «второй культуры» придавали большое значение спецификам — искусства, литературы и особенно поэзии.

Ее адепты ощущали себя специалистами в этой области, можно сказать, купались в понимании этой специфики, ею возвышались и (наиболее рьяные) ею подавляли. Короче, ее изо всех сил превращали в некий норматив, впрочем, при этом определяемый механически — по признакам. Между тем, в существо этой специфики они и не пытались проникнуть. Оно было более просто, но менее наглядно и менее доступно, чем питающие их arrogance «признаки». И тут было не обойтись без такого отчасти (но только отчасти) субъективного фактора, как вкус. Вкус — дело серьезное, это тотальное чувство соответствия, природа его не биологическая, а общественная, в каком-то смысле он — критерий не только подлинности (в поэзии — подлинности самовыражения и подлинности причастности), но даже истины. Спорить о Вкусе надо, его надо защищать. Потому же, почему надо защищать здравый смысл. Что, полагаю, я сейчас и делаю. Возможно, то же самое думают о себе и мои оппоненты. И хотя я не считаю, что в споре рождается истина, но обнажение позиций, иногда возникающее в споре, может ее обнаружению способствовать. Впрочем, пока проблема вкуса сказывается только на понимании специфики.

Игорь Ефимов пишет, что главное, чем приносили и приносят «нам» радость стихи Бродского, можно назвать старомодным и полузабытым словом «отвага». Оставим в стороне, что слово это не старомодное и не полузабытое — даже медаль есть «За отвагу», отнесем это к риторическим красотам. Впрочем, дальше риторика только набирает силу.

«В своем порыве к высшей свободе поэт отважно бросает вызов страху, усталости, рутине, одиночеству — и тем зажигает в нас радостный огонек надежды. Но чтобы этот вызов был брошен не на словах, не из безопасного далека, мы должны быть уверены, что поэт стоит лицом к лицу со своим противником — то есть, что он не отводит свой взор от ужаса Невытия, что ему знакомы настоящие отчаяние, настоящая тоска, настоящий страх смерти.»

Ничего себе набор добродетелей! И нет Твардовского, чтобы спросить: «Что про что?» Что значит вызов страху, усталости и одиночеству (про рутину не спрашивая — ей в XX веке многие бросали вызов)? Тут требуется мужество, но разве уместен оборот «бросать вызов»? Что значит бросать этот вызов не из безопасного далека (или наоборот — с близкого расстояния)? Такая ли уж это редкость — быть знакомым со страхом смерти? И так ли уж хорошо вперяться глазами в ужас Невытия? Что можно там разглядеть? Люди живут, сознавая конечность своей жизни, но они заняты жизнью — бытием, а не небытием — разве это требует меньше мужества? Ведь есть даже выражение — «подвиг жизни» (имеется ввиду обыкновенная повседневность, а не чрезвычайные обстоятельства) — неужто оно ложно? Но оставим это. Прочтем дальше.

«В статье Солженицына много говорится о душевном холоде Бродского, о сухости его эмоционального мира. Но каким же образом этот холод мог рождать в его читателях такой душевный жар?» — спрашивает Ефимов, аргументируя все тем же «мы». Насчет «жара» сомневаюсь, не встречал. Больше встречался с поклонением, вполне спокойным, очень нестойким и часто надменным. Но этот вопрос, заданный читателю, я бы вернул тем, с кем это происходило. Действительно, почему? И Ефимов на этот вопрос отвечает. Конечно, в своем возвышающем стиле, но отвечает.

«Думается, этот жар сродни тому волнению, с которым мир следил за полетом Линдберга, за походом Амундсена. Человек брел к Южному полюсу во мрак, в диком холоде, и мы точно знали, что ничего полезного он там не найдёт. Никто не собирался последовать за ним в мрак и холод. Мужественный вызов ледяной пустыне — вот что восхищало людей в Амундсене.

Точно так же и великий поэт, посмевший стать лицом к лицу с ужасом и хладом Небытия и сохранивший при этом сердечный жар, не зовет нас в Небытие, но дает пример отваги».

Не удивляет проснувшийся и сюда под сурдинку «великий поэт», но удивляет оборот: «сохранивший при этом сердечный жар». Собственно, ведь на соображение об отсутствии этого жара он и отвечает. Но как! Просто и между делом объявляет само собой разумеющимся как раз то, что надо доказать. Логика поразительная! Но меня здесь как раз интересуют его главные рассуждения, ибо они раскрывают его понимание существа поэзии.

Прежде всего неточны аналогии. Линдберга он сам забывает по дороге — тот был пионером прямого авиационного сообщения между Новым и Старым светом, за ним потом последовали многие. А Амундсен был исследователем Арктики и Антарктики. Человечество вместе с ним открыло Южный полюс и кое-что узнало о том, что его окружает. Так что в обоих случаях люди знали, почему они «с волнением следили». Мужество обоих было осмысленно и навязчивого снобистского «антипрагматизма» не подтверждает. За спортивными восхождениями на Эверест так не следят, хотя и они вызывают уважение. Кстати, и Линдберг, и Амундсен, и спортивные альпинисты могли, имели возможность свои подвиги и не совершать — это было делом их свободного выбора. Потому они и герои, что свободно сделали такой выбор.

Перед холодом и мраком небытия стоит любой человек — независимо от характера, социального положения и меры таланта. И стоит не по собственному выбору, даже не по собственной воле. Людей, которые бы этого не сознавали, практически нет. Так что особой заслуги в том, чтоб быть знакомым с «настоящим страхом смерти» нет. Вся поэзия — ответ гармонии на дисгармонию бытия, в том числе и на обесмысливающую краткость жизни. Можно, конечно, «бесстрашно» смотреть на жизнь сквозь призму этого обесмысливающего начала, но вряд ли это мудро, мужественно или плодотворно. Мужество (необходимое и в поэзии) состоит, как я привык думать (и Игорь Ефимов меня в этом не переубедит), как раз в противоположном — в преодолении всего обесмысливающего, а не в растворении в нем, не в болезненном вглядывании в ужас Небытия, а — несмотря ни на что — в любви и интересе к жизни. Конечно, о смерти нельзя забывать. Мысль о конечности жизни с особой остротой высветляет ценность каждого дня и вообще ответственность за свою жизнь — перед самим собой и, конечно, перед Богом. Коллизии жизни в связи с этим могут быть радостными и трагическими, но *meménto mori* учит вглядываться в жизнь, а не в смерть. «Спешите делать добрые дела», «не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня» — *meménto mori*!

Но честно говоря, и это не имеет отношения к делу. Имеет к нему отношение общее представление автора о поэзии и ее восприятии. Поэт стоит лицом к лицу с мраком и хладом Небытия и дает «нам» тем самым «пример отваги». От

этого «примера», как получается у Ефимова, в «нас» вот уже сорок лет через его стихи «перетекают» тепло и радость. В том, надо думать, и состоит доставляемое поэзией (конечно, не всякой, а гениальной) эстетическое наслаждение.

Таким образом, Бродский по ходу его защиты и незаметно для его защитника из поэта превращается даже не в прозаика, а в героя прозаического произведения, за перипетиями судьбы и переживаниями которого внимательно следит читатель, получая удовольствие от того, что это — «пример отваги». Как уже говорилось, присутствие отваги для меня сомнительно, но сейчас это не важно. Просто поэзия не действует примерами — отваги, благородства или чего угодно. Поэтическое впечатление вообще не выводится из сюжета (наоборот, сюжет, если он есть, движется стихом, то есть самораскрытием поэтического переживания), оно задается первой строкой и раскрывается всем ходом стихотворения, всем его движением к катарсису, заданному первой строкой. «Пример отваги» вообще не отсюда.

Поэзия может иметь дело с мраком, но только если пробивается к свету. Успешно или нет — не так уж важно. Любое искусство это «да», а не «нет» миру, но в поэзии часто «нет» означает «да» — и вовсе не потому, что она якобы работает иносказаниями. Восклицания типа: «Не могу жить!», «Как отвратен этот мир!» и т.п. в поэзии, если она настоящая, означают неудовлетворенность высоких требований к жизни и жажду их удовлетворения, то есть интерес к жизни, а не вглядывание в смерть (религиозные размышления о Царствии Небесном выражением «ужас Небытия» не описываются). То же означают в поэзии отчаяние и ирония. Поэтическая ирония — боль обманутой любви, а не способ уйти от ответственности и боли (на что теперь многие — речь в данном случае не о Бродском — уповают). И — главное: поэтическое произведение не только не «зовет» во мрак» (даже если начинается во мраке), оно противостоит мраку — ставит читателя на место поэта и проводит его путем всего стихотворения к катарсису. Переживание становится как бы частью его личного опыта. Но это имеет для читателя смысл, только если переживающий — поэт. Другими словами, человек, расположенный к тому, чтобы отличать моменты, когда его переживание чревато катарсисом (когда «требуется поэта к священной жертве Аполлон»), от всех прочих. И тогда личный опыт читателя, прошедшего путем стихотворения, становится богаче на это переживание — допустим, на переживание Пушкина, да еще в момент катарсиса. А иначе зачем это все нужно? Любоваться чьим-то подвигом лучше в прозе — даже если этот подвиг состоит не в стоянии перед ужасом Небытия.

К слову сказать, меня вообще изумляет ситуация, возникающая под пером Ефимова. Неужто среди ленинградской молодежи в начале 60-х так был распространён страх смерти, что она была благодарна за примеры отваги по этому поводу (даже если допустить, что это была именно отвага)? Не верю. Такого умонастроения я не припомню — ни в Ленинграде, ни в Москве, ни где-либо в другом месте. Думаю, что ничего этого не было. Было другое — литературность. То есть доведение до абсурда бесспорной (хотя и официально отрицавшейся) мысли, что поэзия рассматривает все, с чем соприкасается, в масштабах жизни и смерти, а не острой злободневности (которая поэзией и сама рассматривается в этих масштабах). Но такой «прозой» не ограничивались —

нуждались в утрированной системе ценностей. В такой, где образ поэта, стоящего прямо-таки непосредственно «лицом к лицу перед ужасом Небытия», вполне уместен и дает искомое — ощущение прикосновенности к Высокому и Вечному. При таком направлении литературского честолюбия это все, что требуется для обманчивого, но лестного для себя чувства превосходства над всей официальной, а также антиофициальной литературой. Наслаждались этим не только (а может, и не столько) пишущие, но вся их среда.

Между тем, это был перебор. Вечное от не вечного отличается не так наглядно. Ибо каждый миг нашей жизни одновременно принадлежит и сиюминутному и вечному. Игнорировать сиюминутное нельзя, можно только раскрыть в нем вечное или, беря шире, — пробиться к вечному сквозь современность. Но во времена, когда я жил, этой «современности» было слишком много (и сейчас, думается, ее не меньше), и обступала она человека активно и плотно — страхом, ложью, идеологией и даже романтикой. Разгрести все это, чтоб просто услышать и почувствовать самого себя, было трудно, требовало направленных усилий. Признаю, что для поэзии это не очень хорошо. Но таким было время, когда мы жили, и другого выхода в нем не было — душевное равнодушие или создание надувного Олимпа, чтоб сигать с него непосредственно в вечность, — для поэзии еще хуже. Это начисто исключает не только непосредственность, но и естественность. Вера в ценность стояния перед ужасом Небытия, спешно выхваченная Игорем Ефимовым из воспоминаний молодости для возражения Солженицыну (и, может быть, на ходу слегка модернизированная), — из того же арсенала.

Но перейдем, так сказать, к «недопониманию» Солженицыным высот поэтики Бродского, а главное, к высотам понимания предмета самим Ефимовым. Ефимов приводит следующую, по его определению, «жалобу» Солженицына: *«Бывают фразы с произносимым порядком слов. Существительное от своего глагола и атрибута порой отодвигается на неосмысляемое, уже неулавливаемое расстояние»*.

Недостаток для изящной словесности существенный. Его можно признать или не признать. Игорь Ефимов вроде бы признает: «Да, бывает у Бродского и такое», — говорит он. Поначалу может показаться, что это огорченное, но мужественное признание: дескать, ничего не поделаешь — и на солнце оказались пятна. Но не тут-то было. Оказывается, это вовсе не недостаток, а особое восприятие.

«Существительное летит в кажущуюся пустоту. Как атлет под куполом цирка — вот-вот разобьется. Но в последний момент невесть откуда вылетает атлет-сказуемое, они сцепляются рифмами, и в ту же секунду в точку их соединения подлетает спасительная трапедия метафоры, тут же всех троих захватывает ослепительным кругом прожектор таившейся до поры стержневой мысли — какое облегчение, какой восторг!»

Увлекательный процесс, не правда ли? Даже странно, что Солженицын этого не заметил и не пришел в восторг. Но это с лихвой возмещает Игорь Ефимов. И неудивительно. Восторг всегда приходит на помощь фанатизму, когда сказать нечего. Кстати, Пушкин, принудительно навязанный Бродскому в сотоварищи по Олимпу, невысоко ценил восторг — считал это состояние противо-

стоящим вдохновению. Думаю, он был прав. Во всяком случае, для серьезного разговора о стихах восторг не годится. Поэтому возражение, несмотря на его пафосность, не состоялось. Прежде всего, восприятие стихов, сопереживание им никак не походит на восприятие цирковых трюков. Трюки для того и существуют, чтобы зритель с замиранием сердца следил за тем, как атлеты ходят над пропастью и не сваливаются в нее. Это тоже «чувства добрые», зритель с волнением следит за ними, переживает за них. Ни о какой самоидентификации тут и речь не заходит.

В поэзии все наоборот. В поэзии читатель — почти автор. Потому что читает только «за автора», становится им. Любые трюки, замирания и облегчения, связанные с самим процессом чтения, — только отвлекающие затруднения. Приходить от них в восторг нелепо. Поэзия — не детектив, где все открывается в конце, замысел, как здесь уже неоднократно отмечалось, присутствует в каждом стихе. Когда теряется нить, весь процесс чтения и восприятия тут же прерывается — никакое «облегчение» в дальнейшем этому помочь не может. Впечатление от стихотворения, сопереживание — разрушается...

Все качества, из-за которых для меня неприемлем Бродский, определены уже давно неким Н.Н., автором вступительной статьи к первому сборнику Бродского «Остановка в пустыне», вышедшему еще в 1970 году в издательстве им. Чехова. Определены они не противником, а поклонником, так что сомнений в их наличии быть не может. А то, что представлены эти качества как сугубо положительные — это, на мой взгляд, характеризует не их, а самого Н.Н. Привлекают они его, как и многих других, своей новизной (впервые в такой концентрации) — поэтому они вклад в развитие современной русской поэзии и ее возведения в сан мировой. Привлекло мое внимание еще в первом издании этой книги глубокое замечание, что Бродский сделал главным элементом стихотворения не строку, как было до него, а целый период. Вопрос о том, «сделалось» ли то, что он «сделал» (то есть работает ли оно), автору в голову не приходил. А ведь именно так относится к делу Игорь Ефимов в своей цирковой аналогии — дескать, куда вы торопитесь судить, когда еще период не кончен! Но в более позднем издании я этого соображения не нашел — видимо, Н.Н. понял, что хватил лишку, но оно только доводило до логического конца его метод понимания поэзии. Он продолжает регистрировать вклады и нацеливает русскую поэзию на достижение мировых стандартов. Впрочем, тезис этот весьма распространен.

В частности, что Бродский это поэт мировой, в отличие от остальных эмигрантских поэтов, заиклившись на России, говорил в Венеции на встрече, посвященной годовщине со дня смерти Бродского, итальянский граф, фамилию которого я, прошу прощения, с одной телепередачи точно не запомнил (кажется, граф Моро, но не уверен). Граф очень чисто говорил по-русски и безразличность по отношению к заиклившимся на России выразил тоже хорошо — прекрасным русским языком, подкрепленным живой итальянской мимикой. Я не знаю, кого он имел в виду — в третьей эмиграции таких, к сожалению, было немного, но это не важно. Кого б ни имел, мировым поэтом, не будучи «заикленным» на своей стране — особенно тогда, когда она стала воплощением мировой трагедии, — стать невозможно. Вот если в твоём «нацио-

нальном» откроется и нечто важное для всех — тогда такая возможность появляется. Но это уже — как Бог даст, от предварительных стараний это не зависит. Кстати, Данте был «зациклен» на маленькой Флоренции, на каких-то там гвельфах и гибеллинах... А все ли из теперешних «всемирных» хотя бы национальные? Но что правда, то правда — есть некий стандарт всемирности, общий для Н.Н., итальянского графа и специалистов-русистов, — только вот стоит ли им руководствоваться?

Однако вернемся к Н.Н. Все его соображения вертятся в некоем виртуальном, как теперь говорят, пространстве, то есть существуют в каком-то особом мире внутрилитературных (проще сказать, «литераторских») процессов, куда поэты должны стараться вносить кому-то зачем-то нужные «вклады», что и мыслится кем-то почему-то главной задачей поэзии. По сравнению с такой уверенной герметичностью представлений, декларация Игоря Ефимова — пир интеллектуального общения. Нового тут ничего, но он был первым, проявившим это печатно.

Вероятно, я должен был сразу же ответить на эту статью, но я тогда не придавал ей значения, как не придавал значения самому Бродскому — оценивал их по себестоимости и слишком верил в значение этого фактора. Не учел, что в эпоху массового индивидуализма и массового самоутверждения, массовых представлений о творчестве и оригинальности (все это реакция на массовую культуру и пропаганду, но также и их оборотная сторона — противоположности иногда сходятся) лучше быть зорче. Ведь это создало климат в литературе, воспитало целое литературное поколение. Тотальная необязательность, свойственная Бродскому, получив статус респектабельности, оказалась прельстительна. И сказалась на поведении интеллигенции — во всяком случае, ее части — и в других областях.

Суммирую сказанное о самом Бродском — большая часть его стихов мне не нравится. Не нравились мне и в первый период его творчества — то юношеской расплывчатостью, то неподвижностью. Есть (я узнал это потом) и стихи этого периода (например, «От окраины к центру»), в которых поэтический замысел был, но не был до конца осознан и выражен, из-за чего стихи растянулись до бесконечности. Впрочем Я. Гордин объявил такие стихи открытием нового жанра — длинного стихотворения. Вообще, многое в Бродском, что мешало восприятию его стихов, его поклонники объявляли открытием...

Но это был первый период. Потом как будто начало развидняться, появились полноценные стихи, которые, несмотря ни на что, делают его и в моих глазах подлинным и сильным поэтом. Может быть, таких стихов больше — охотно признаю любое... Но такие стихи требовали «биографии», то есть сосредоточенности, собранности, ощущения себя самого и других, а его приучили к «моцартианству». И он опять ушел в «гениальность», на этот раз, беспросветную. Стал «по-своему» разрабатывать общее место — распространенное в литературных кругах всего мира представление о гении, от которого мы якобы отстали (последнее теперь неправда, поскольку стали стремительно догонять).

Не думаю, что это достижение, но он, безусловно, утвердил в поэзии прозу. Не пресловутую малограмотную «рифмованную прозу» из «самотека» 30-х и

40-х, а вполне грамотную и часто изысканную в смысле версификации, когда самыми совершенными средствами поэзии решается прозаическая задача. Это «открытие», естественно, породило много последователей и последовательниц. Думаю, что он оказал большое влияние на современную поэзию, но вряд ли оно было благотворно. Он вообще способствовал росту несамостоятельности и недоверия к себе в интеллигентном обществе.

На этом я кончаю свою статью о культе Бродского, представляющем собой эпизод, характерный для понимания истории современной культуры. Считаю сказанное достаточным и больше здесь об этом говорить не буду. Но хочу оставить свидетельство, что не все поддались этому носорожеству или спасовали перед ним. Конечно, такие заботы, когда на кону стоит судьба самой России, может, и всей нашей цивилизации, могут выглядеть смешно, но что поделаешь — каждый должен делать свое дело, и в своем деле то, что он считает важным. Что бы о нем ни говорили.

ВЕДЬ ВЫ ЭТОГО ДОСТОЙНЫ...

Заметки об Александре Проханове, герое нашего времени

Вот спорят — гений Маяковский или прислужник советской власти? А чего спорить — ясно, что гений, у него афоризмов — как у Грибоедова. Просто на любой случай. Тут маешься, маешься, как бы вот эдак начать дозволенные речи про шекотливый предмет, и бах — как обухом по голове — вспоминаешь: *если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно...*

Вот кому было нужно, чтобы на Владимира Сорокина подали в суд ни много ни мало, как за распространение порнографии и прочее оскорбление общественной нравственности? Да еще тогда, когда интерес к нему угас практически у всех, даже у самых истых симпатизантов — то есть именно в тот момент, когда общественная нравственность по поводу Сорокина могла спать максимально спокойно?

«Идущим вместе» — чтобы после первой глупости с обменом Ерофеева и Пелевина на Бориса Васильева немедленно украсить свой неведомый путь еще и второй?..

Ну, если и нужно, то не в первую очередь. В том смысле, что в *первую очередь* это было нужно не им. У кого, если верить новостным программам, тут же пошли вверх продажи залежавшихся тиражей? Так кому же это выгодно? Уж не авторам ли? Или издателям? Или какой-нибудь этакой еще более завуалированной стороне со сходными идейно-эстетическими и даже, боязно вымолвить, идейно-политическими воззрениями на окружающую действительность... Не может быть?..

Но вот это и называется PR — паблик рилейшнз. По-русски — пиар. Даже вот так: ПИАР. А еще точнее, вот так: **П И А Р**. А совсем точно просто не получится — места не хватит.

И все это **ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ И ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ИНТЕРЕСЫ**. Поэтому за одни (даже очень!) красивые глаза никто никого и никогда пиарить не станет. Как сказано в одном старом, но вечно юном анекдоте — понять ничего нельзя, надо просто запомнить: если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно. Короче, кто дэвушку ужинает, тот ее и танцует...

**Мария
РЕМИЗОВА**

— родилась в 1960 г. в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Литературный критик, автор многих статей о современной литературе. Публиковалась в «Независимой газете», журналах «Дружба народов», «Континент», «Новый мир», «Октябрь» и др. изданиях. Живет в Москве.

Прелюбопытный факт: пока Александр Проханов печатал свои прозаические сочинения в журнале «Наш современник», либеральная (название условно) критика не только их не замечала — в том смысле, что не отзывалась, — но, кажется, и вовсе не читала. Не было на литературном горизонте такого прозаика. А напечатал он немало: «Чеченский блюз», «Сон о Кабуле», «Идущие в ночи», «Красно-коричневый» — не рассказы какие-нибудь, повести да романы. Его всячески превозносили в своем кругу. На шумном вечере в ЦДЛ пару лет назад Владимир Бондаренко причислил его (впрочем, в ряду еще нескольких духовно близких, вроде Тимура Зульф리카рова или Владимира Личутина) к лику «классиков XX века» — не фигурально как-нибудь, Боже упаси, а натурально. Вечер так и назывался «Классики XX века» (зал был полон, ажиотаж страшный, и что там творилось — уму непостижимо).

А для противоположного лагеря такой прозаик просто не существовал. И тут вдруг в небесных сферах что-то сдвинулось. Александр Проханов создал еще один роман — «Господин Гексоген». «Наш современник» печатать его отчего-то испугался, хотя уж, кажется, печатал такое, что пугаться было поздно. Проханов опубликовал роман спецвыпусками аж в двух газетах — «Советской России» и «Завтра». Дальше — больше. Как, где, при каких обстоятельствах скрестились пути Александра Проханова и главы издательства «Ad Marginem» Александра Иванова, история умалчивает. Знает только рожь высокая, как поладили они...

И пошло. Критика очнулась и бросилась читать Проханова. «Ex libris», лидер по связям с издательствами, подсуетился первым. Потом эстафету перехватил «Русский журнал», где о Проханове гаддели уже наперебой. Дальше — пошла лавина. Наконец вышел адмаргиновский «Гексоген» — изрядно ошиппанный (чуть не на треть), но сияющий во всем блеске славы и с невероятно гадостным ленинским черепом на обложке (известен случай, когда *профессиональный критик* вырвал внутренность из переплета и оставил его в редакции — «чтобы не нести в дом эту мерзость»). А профессиональные критики вообще-то многого насмотрелись, и нервы у них в этом смысле, почитай, железные).

Страсти накалялись. Подошел веселый месяц май. В мае у нас раздают «Нацбест», в смысле — премию «Национальный бестселлер». Говорят, что в поезде, который вез в Петербург цвет московских литераторов, произошла драка — на *идейной почве* (в связи с прохановским «Гексогеном»). Впрочем, литераторы пьют не хуже всяких других. Говорят опять-таки, что Проханова сразу же усадили в первом ряду, а остальных претендентов сзади. Но это уже не имело никакого значения — премия была ему просто предreshена. Насквозь либеральное жюри выдало «Господину Гексогену» звание «Национального бестселлера» и 25 штук пошатнувшихся американских денег. От каковых Проханов немедленно отказался, передав их томящемуся в застенках режима Эдуарду Лимонову. Которого, кстати, всю издаст «Лимбус», который и «держит» премию «Нацбест». А у Лимонова как раз начинался судебный процесс — так что бесплатная допреклама обеспечена всем. И, как писал в свое время недолго проживший писатель Хармс, — *все довольны...*

Но интерес к прохановскому роману, конечно же, гораздо шире чисто издательского. Этот интерес прежде всего, как ни странно, *политический*. И здесь

мы имеем в виду даже не тот утилитарный интерес, который может испытывать то или иное *значительное* (или незначительное) *лицо* в конкретный исторический момент (пик бума вокруг «Гексогена» — видимо, совершенно случайно — пришлось аккурат на истерические угрозы Бориса Абрамовича Березовского показать из английского далека разоблачительное кино про ФСБ, где, в частности, обещались и те самые взрывы, после которых само слово «гексоген» пошло гулять по всей Руси великой. Гора, увы, опять родила мышь, но прохановская ложка дегтя оказалась как никогда к обеду).

Нет, в гораздо большей степени мы имеем в виду *общественно-политический* интерес, отражающий некие умонастроения, поразившие (в данный исторический момент) умы отечественной интеллектуальной элиты. Более того. Очень возможно — и даже скорее всего — «политическая» составляющая выступает здесь чем-то вроде ширмы, скрывающей (прежде всего от самих интеллектуальных эстетов) глубинную подоплеку этого (как выражается современная философия) *события наслаждения*. Сама же по себе политическая составляющая проста, как правда, — российская интеллектуальная элита вошла в очередной вираж своих непростых и все время меняющихся отношений с властью. (В качестве одной из составляющих на сегодняшний день в эти отношения входит и конфликт — но, подчеркиваем, лишь на паях с другими тайными и явными устремлениями. Впрочем, об этом позже.) Как и отчего это произошло — не нашего ума дело. Мы лишь констатируем факт. Проханов, десять лет без всякого толка копавший под Кремль, наконец взял планку. И не за просто так. Ему пришлось проложить совершенно новый, так сказать, незапланированный боковой ход. От Кремля до Лубянки, вообще-то говоря, рукой подать, Проханов догадался, куда копать, и выиграл. Приз в студию...

* * *

Но чтобы разобраться с *невротическими реакциями* (а это именно они, и это, надеемся, нам удастся показать ниже) наших интеллектуалов и эстетов, обеспечившими грандиозный успех прохановскому роману, придется поглубже копнуть сам текст. Заглянуть, так сказать, в творческую лабораторию автора.

Краткое содержание. Генерал разведки в отставке Белосельцев, многие годы отдавший борьбе на невидимом фронте — то в Африке, то в Афганистане, то на Кавказе, скучает среди коллекционных бабочек в центре Москвы. Вспоминает славное прошлое (среди которого ночь страсти с африканкой). Вдруг чу! — звонок. Его зовут на похороны бывшего начальника. В храме он сталкивается с юродивым, который, точно оракул на треножнике, изъясняет мистическую суть происходящего: дескать, метро — змей, обвивший Москву и Кремль, лишь Ленин в Мавзолее не дает ему до конца ухватить хвост, тем и держится еще Россия... Тут бывшие сослуживцы увлекают Белосельцева на очень закрытые поминки и там в свою очередь раскрывают ему глаза: покойный организовал тайный «орден КГБ-ФСБ», который действует в полную мощь, вся политика и экономика у него под контролем, все ключевые посты или захвачены, или контролируются им. Осталось последнее — посадить своего человека в кресло президента. И тогда будет восстановлено былое величие СССР, и даже не исключено почти мировое господство.

Такой человек есть. Осталось последнее усилие. И здесь предстоит сыграть свою роль Белосельцеву. Белосельцев поражен и растроган. Он согласен служить, он согласен на все ради великой цели. Ему показывают Избранника. Для чего Белосельцева (незванного и никому не известного!) приводят в Кремль на самое закрытое празднование дня рождения дочери Истукана (так обозначается Ельцин; Избранник, соответственно, Путин, остальных назовем в свое время. Прото-типы столь прозрачны, что автор мог бы и не трудиться давать им новые имена).

В Кремле Белосельцев наблюдает нравы кремлевских сидельцев — подлецов, не просто высасывающих соки из народа и страны, но и цинично обсуждающих проекты полного уничтожения русского быдла. Характерно, что самые кощунственные речи ведет некто Зарецкий, маска Березовского. (Очевидно, на эту сцену автора вдохновила передача «Куклы», которую, судя по всему, он долго и вдумчиво смотрел).

В общем, выясняется, что на пути Избранника стоит Прокурор. Белосельцев, пользуясь своим знакомством с беднягой, заманивает его якобы в свою квартиру, под видом собственной секретарши подсовывает валютную проститутку, а сам удаляется будто бы по срочному делу. Финал истории можно было как минимум дважды посмотреть по телевизору. Теперь надо убирать Премьера. Для этого Белосельцев готовит для него лживую реляцию о миролюбии ваххабитов, а чеченцев подстрекают похитить генерала Шептуна (эту маску узнает любой). Для его выкупа все тот же Белосельцев везет полученный от Зарецкого миллион долларов, но его обводят вокруг пальца — доллары оказываются фальшивыми, а голову Шептуна подсовывают Премьеру (Степашину), когда тот выступает перед ветеранами спецслужб, — вместо подарочной вазы Премьер, точно Саломея в дешевом спектакле, достает неоспоримое свидетельство своей полной профнепригодности.

Чтобы у Премьера не оставалось уже никаких зацепок, «тайный орден» проворачивает еще одну операцию — вторжение чеченцев в Дагестан. Избранник наконец садится в премьерское кресло. До президентства всего один шаг — но имидж требуется упрочить. Нужно сделать популярной вторую чеченскую войну. Для этого ФСБ («орден») и организует взрывы домов — впрочем, все-таки руками самих чеченцев.

Вот тут-то Белосельцев наконец прозревает: ему открывается истинный лик «ордена ФСБ». Он мечется по Москве в тщетной попытке остановить террористов (глаза ему открывает еще один старый друг — из ГРУ, объяснивший, что КГБ уже давно заключило пакт с ЦРУ и служит теперь целям «строительства нового миропорядка, где Америке отводится верховное место», зато существует истинно русский «орден ГРУ» («который ведет свое начало от Сталина» и может похвастаться тем, что «создавал идеологию «Русской Победы», остановил разгром православия, вернул в атрибутику царские эполеты, имена Пушкина, Дмитрия Донского, Кутузова и Льва Толстого»). Такой вот бредок.

Но есть еще и финал. Белосельцев с истерзанной душой должен лететь на «стратегическое совещание», куда соберется вся верхушка «тайного ордена ФСБ» — вместе с Избранником. В последний момент все тот же дружок из ГРУ, выдав накладные усы, развернет его чуть не у самого трапа. И Белосельцев увидит, как в небе взорвется машина, которая несет будущего президента.

Но все же усомнится — а там ли он? И Проханов, идя навстречу инсайту своего героя, допишет эпилог, в котором отправит Избранника в кабину пилота, откуда Избранник, выставив предварительно под каким-то глупым предлогом экипаж, таинственно исчезнет — видимо, накануне запланированного взрыва, — чтобы мы точно удостоверились, какая хитрая и сложная тут идет игра.

Вот, кстати, Закавыка. Какую силу представляет Избранник (напомним, в контексте романа — Путин), или, ежели угодно, какая сила представлена в нем? Наверх его вело ФСБ, расчищая дорогу ценой буквально десятков поименованных и тысячами безымянных трупов. Астрос и Зарецкий (маски Гусинского и Березовского) — главные соперники Избранника — к финалу раздавлены и уничтожены, первый уже даже успел повеситься, второй томится в узилище. Кто же взорвал самолет и спас будущего президента? Союз русских патриотов под названием ГРУ? (Весь цвет тайных магистров ФСБ взрывается вместе с самолетом.) Значит, один тайный орден переиграл другой. Теория заговоров и все такое. Закавыка же вот в чем. Следует ли принимать версию о *положительной* роли разведки (учитывая совпадение ее «патриотической» декларации с политическими пристрастиями автора) и тем паче о *положительной* оценке Прохановым шахматной фигуры под условным названием Избранник?

Если последнее верно (а на протяжении всего текста Избранник ни разу не получает не только никакой негативной оценки, но даже тени намека на какую бы то ни было связь с неблагоприятными кознями ФСБ — и даже на то, что ему хоть что-нибудь *напрямую* о них известно, — не бросает на своего персонажа бурнокипящий трибун Проханов), налицо трогательная и робкая по первости попытка объяснения в любви. Проханов застенчиво предлагает Кремлю руку и сердце. И Кремль, точно засидевшись в девках, кажется, не торопится сказать ухажеру «нет».

Однако чисто литературным побудительным мотивом к столь туманному завершению текста может служить сам избранный Прохановым жанр. Одним из типичных приемов современного блокбастера (а «Гексоген», вне всяких сомнений, блокбастер) является «открытый» финал, позволяющий при хороших коммерческих показателях выпускать продолжения (типичный пример — «Чужие», «Чужие 2», «Чужие 3»...). Так что же это за штука с «тайным орденом ГРУ» — подкуп под Лубянку и «обеление одежды» действующего президента, или просто «фигура речи», дань законам жанра? У меня, например, ответа нет. Чужая душа потемки. И с кем — при таких раскладах — наша *двушка* танцует, страшно даже помыслить...

* * *

Но что же это мы все отвлекаемся и отвлекаемся от текста? Вот светлым умам из «Ex libris» было все прозрачно ясно — они изволили выразиться в том смысле, что, если исключить идейную составляющую, за художественные достоинства роман «Господин Гексоген» заслуживает всяческих литературных лавров. Как им удалось вычленивать эту идейную составляющую, диву даемся. Ибо господин Проханов в своей идеологии истовый парадоксалист, и в этой области — уж во всяком случае, в данном конкретном романе — царит у него, мало сказать, хаос.

Когда «красный юродивый» провозглашает *тело* Ленина метафизическим оплотом русской идеи, это более чем понятно. Но ближе к концу автор это тело, так сказать, эксгумирует и предлагает своему герою убедиться собственными глазами, что перед ним лишь взывающий к жалости *труп*, лишенный погребения, в котором не отказано и самому последнему грешнику (пользуясь своими бесчисленными связями, Белосельцев посещает секретную лабораторию, где *тело* проходит регулярную профилактику и где сумасшедший ученый ищет средств для того, чтобы *воскресение из мертвых* состоялось).

Получается — Проханов отказался от «красной идеи»?

Отнюдь. Незыблемым остается авторитет Сталина и идея восстановления былой мощи СССР — причем в прежних территориальных границах. На эту же версию вроде, работает и жертвенный «полет» на Красную площадь того самого юродивого на «Москвиче», закамуфлированном под истребитель («полет» совершается в мистических целях, машина заминирована, чтобы взорвать «сердце змея»). Вид этого «культового самолета» чрезвычайно показателен как иллюстрация смешения, казалось бы, несовместимых понятий в голове сочинившего картинку автора: «Двигаясь, как автомобиль, на четырех колесах, с выхлопной струей гари, он был оснащен самолетным килем (? — *М.Р.*) с нарисованной красной звездой <...> Когда аппарат проносился мимо окон вдоль Лобного места, на его борту отчетливо просматривалась икона Богородицы золотых и алых тонов. Проскочив Лобное место, машина круто повернула, направляя ход к Спасским воротам, и на другом борту возник портрет Сталина, золотистый и алый <...> радиатор украшала бриллиантовая «Звезда Победы»...».

И не стоит томиться вопросом, как в одной человеческой голове сочетаются Сталин и Православие — будь то голова персонажа или самого автора. Загадки тут нет: Сталину тут самое место, а из Православия Проханов извлекает одну лишь внешнюю, сугубо декоративную сторону, замечает лишь бороды да оклады, обоняет ладан, слышит церковное пение, но собственно религиозная, этическая *суть* остается ему в принципе *не внятна*. Православие интересуется Проханова исключительно как форма, как *национальная религия великороссов*. Именно это позволяет ему с легкостью ставить в заслугу своему кумиру «возрождение православия» (характерно, что он всюду пишет это слово с маленькой буквы). Кстати, в романе «Красно-коричневый» он вкладывает в уста некоему священнику, погибшему впоследствии на баррикадах при штурме мятежного парламента в 93-м году, сентенцию о Царствии Небесном, куда войдут 144 тысячи только *русских* праведников — такой вот эксклюзив.

И именно это позволяет Проханову безболезненно сочетать религию и чистой воды магию. В том же «Красно-коричневом» герой-визионер почти непрерывно наблюдал в небе — как на экране — всевозможные кривляния политиков и олигархов, принимавших там собственные обличия — бесов с птичьими клювами и свиными рылами. На него, да и на всю доступную часть мира, воздействовали лучами магического кристалла, которые лишали воли и заставляли действовать как под гипнозом. И в «Красно-коричневом» и в «Гексогене» есть сцены натуральных магических процедур, когда разыгрываемое действие по принципу симпатической магии почти тут же осуществляется в реальности. Очень характерна сцена в телестудии («Господин Гексоген»), где

некий карлик, изготовитель фигур для передачи «Куклы», разыгрывает целую мистерию битвы между Ангелом Заступником «с лицом Избранника» и Ангелом Мстителем, прямо пазванным Басаевым. А стоит этому таинственному карлику пронзить шпажкой «матерчатое чучело» Астроса (Гусинского), как тут же раздается звонок и на том конце провода сообщают, что посаженный наконец-то за все свои проделки Астрос повесился в камере...

Отметим одну интересную деталь. Такие штуки описывал Виктор Пелевин в ранних рассказах об «Академии Родового Наследия». И действовали там все больше соплеменники Мюллера и Шелленберга. Что логично. И даже исторически точно — пристрастие национал-социализма к магии и всяческой мистике широко известно. А вот что означает «литературное свидетельство» Александра Проханова — его личный, частный, так сказать, интерес, или же он описывает некую скрытую от посторонних глаз действительность? Вероятнее второе — ходят какие-то смутные слухи о языческих камланиях в среде национал-патриотов и прочих подразделениях бритоголовых молодых людей. Прямо сказать, не чужд мистики главный идеолог «традиционализма» — евразиец и кореш Проханова Александр Дугин. Так что Проханов не столько, может быть, создает «художественный образ», сколько действительно мыслит в таких категориях. Мир для него — конгломерат влияющих друг на друга фантомов. Интересно, совершал ли он сам какие-нибудь магические процедуры, чтобы усилить воздействие своего романа?..

* * *

Неведомо, есть ли в прохановском мире эллины, но вот иудеи точно есть. Возможно, Ленин и погорел в конце концов в системе «мировоззрений» Проханова (если этот хаос допустимо называть системой) в связи с нездоровой позицией в национальном вопросе. А Сталин как раз попал в точку, начав под занавес борьбу с космополитизмом.

«Ненавижу жида!.. Я, казак, не забыл, как они Дон рассказывали!.. Это им, трощикам проклятым, за Тихий Дон, за Государя Императора, за Святую Русь!.. Мой дедка, которого они застрелили, смотрит на меня с небес: «Так их, внучек!.. Бей жидовское отродье!.. А мы за тебя всей станицей помолимся!» — потеряв свое иезуитское спокойствие, кричит при разгроме резиденции Зарецкого генерал Копейко. Какой пафос! И опять неувязка: жиды жидами, но разве не приложил к рассказыванию руку все тот же кумир?

«Залезли во все поры, во все щели. Русскому человеку податься некуда. Куда ни заглянешь, везде жид сидит. В правительстве — жид. На телевидении — жид, в банке — жид, в разведке — жид. Недавно в церковь на Ордынке зашел, деду свечку хотел поставить, а на меня дьякон, черный, как Карл Маркс, гривастый, горбоносый, уставился и красный жидовский язык показывает... Ненавижу!.. Огнеметом их, как клопов, чтобы знали место в России, сидели по своим синагогам!..»

Вот так, даже Карл Маркс не угодил! Но как же опять-таки было вскарабкаться на трон любимому Сталину, когда бы не Марксова черная борода?.. Уж эту историю мы, кажется, проходили досконально: бабка за дедку, кошка за жучку — вытянули репку... Да что Карл Маркс — ненависть к Америке дер-

жится не на одном только оскорбленном и ущемленном национальном достоинстве. Во многом Америка у Проханова — лишь эвфемизм для обозначения другой географической точки. «Зараженных СПИДом, туберкулезом и сифилисом, пьяниц и наркоманов мы отправим за Полярный круг, где они тихо уснут от переохлаждения <...> А у здоровых мы станем брать кровь и органы и продавать в медицинские центры Израиля, утоляя ностальгические чувства евреев — выходцев из России, чтобы у них не прерывалась связь с их второй Родиной», — так рисует недалековидный Зарецкий будущее русского народа.

* * *

Что до художественных достоинств романа, то на вкус и цвет товарищей нет. Проханов пишет крайне небрежно, аляповато, захлебывается в метафорах, даже близко не претендующих на точность. Его письмо напоминает густоцветный натюрморт в духе 50-х годов с обязательным арбузом и кистями сочного красного винограда (такие картинки до недавнего времени любили вешать в провинциальных гостиницах). Множество эпитетов, сравнений, невероятное обилие деталей, тут же получающих метонимическое продолжение, создают скорее ощущение рыхлости и перегруженности текста, чем накал страстей, к которому, по всей вероятности, стремился автор.

«Среди белесых туманов и бегущих голубых теней тонко сияла останкинская игла, отточенная, как завершение шприца. Уже влита ядовитая ампула. Бьет в небо крохотный фонтанчик пузырьков. Подставлена исколотая, в перекрученных венах рука. Красный резиновый шланг врзался в дряблую кожу. В черносинюю вену вонзается острое, медленно втекает желтоватый раствор. На измученном, изможденном лице наркомана, в голубых белках, как луна, восходит безумие. Огромное, волосатое, с красными губами, розовыми влажными клыками хохочет лицо Сванидзе.»

Наиболее детально прописаны застолья. Бесконечное перечисление снеди, закусок и напитков, крахмальных салфеток, белоснежных скатертей, хрусталия и серебра... Кто, что и как съел и выпил. Вкусовые ощущения. Внутренние переживания по поводу выпитого и съеденного. В этих сценах чувствуется не только рука знатока, но и настоящее *личное* авторское переживание. Эта тема перебивает даже национальный вопрос. Благородная ярость отступает. Умиротворение и чистое наслаждение. Здесь автор, вообще-то склонный скорее к умозрительным и отвлеченным «мудрствованиям» (и часто делающий смешные ошибки в хорошо известных рядовому человеку деталях), точен, как химик. Здесь не встретишь желтый осиновый лист «с капелькой бледной лазури» (человеку с обычным зрением он представляется бурым, багровым, *красно-коричневым*, наконец, — но голубым?). Здесь и краски подобраны точно, и подано все аккуратно, культурно, по порциям.

Это тебе не полевой госпиталь, где идет ампутация. «Волосатая голая нога была согнута дважды — в выпуклом, голубоватом колене, и ниже, там, где на сухожилиях и обрывках кожи висела раздробленная голень. Эту голень со скрипом и хрустом, как водопроводную трубу, перепиливал ножовкой хирург, скаля от напряжения зубы». Что же он *перепиливал*, оскалась от напряжения, — *раздробленную* кость, которая уже висела на «сухожилиях и обрывках кожи»?

Понятно, хотелось, как у Льва Николаевича — Анатолий Курагин и Андрей Болконский... Не получилось. С кем не бывает. А уж «смачивали рану спиртом и йодом»... В общем, не покатило чуваку с лепилами, на лекциях, небось, в преферанс дулись или барышням записки строчили...

А вот описание эротических упражнений на спущенном с вертолета канате. «Вертолет приблизил ее (танцовщицу. — *М.Р.*) к галерее, так что отчетливо видны были молодая сильная грудь, темные соски, черная ленточка лобка. Она обернулась к восхищенным зрителям смеющимся лицом и стала танцевать в воздухе эротический танец. Отжималась от стальной нити напряженным торсом, круглыми блестящими бедрами, резко поворачивалась сияющим животом и выпуклой плечушей грудью. Кружилась вокруг сверкающей вертикали, делала длинный пластичный шпагат, сворачивалась в живое колесо. Она превращалась в гибкую змею, складывалась в крест, свивалась в вензель под пламенную музыку. Послав воздушный поцелуй ликующей толпе, стала удаляться в лучах прожектора, как небесный ангел, пролетающий над ночным городом».

Особенно трогает это прошальное сравнение с ангелом, кстати, совершенно нелогичное в этом контексте и по причине общего разоблачительного пафоса: Проханов описывает вакханалию и разврат, *Вавилонскую блудницу* во всем блеске ее мерзости — это праздник, устроенный Мэром по поводу очередного градостроительного шедевра. Но весь пассаж столь беззащитно наивен, что рука не поднимается подробно его разбирать...

И так весь роман — в том же духе. По существу, Проханов пишет лубок — *симулякр* натурального русского лубка, без психологии, без глубокой внутренней подоплеку. Назидательные картинки, тем более наивные, чем более сочные краски выбирает для всех своих «бесов» и «медведей» художник, не обремененный знакомством с большим искусством.

* * *

Добавить остается немного. Лишь пару слов о восприятии романа.

То, что большинство эстетов прочли роман как постмодернистский симулякр — очевидно (в этом смысле симптоматично признание Льва Данилкина, что «Господин Гексоген» напоминает «неизвестный текст Пелевина»). Однако и куда более показательны, и не менее симптоматичны признания Дмитрия Ольшанского в статье «Как я стал черносотенцем», где он кается в «модернистском» прошлом и расписывается кровью в верности заявленным в романе *идеалам*. Ольшанский, конечно, крайний вариант, но, видимо, что-то такое назрело в образованном сословии, что позволяет предполагать известную отзывчивость на задетые прохановским текстом струны и в более широкой аудитории — пусть и на бессознательном уровне.

Российская *интеллектуальная элита* в глубине своей коллективной души переживает растерянность и, может быть, нечто похожее на страх. Коллективная душа стремительно уходит в коллективные пятки. Ей становится все более очевидным, что иллюзии, которыми она тешила себя много десятков лет, лопаются, как мыльные пузыри. Звезда, которую ждали с Запада с распростертыми объятиями, так и не пригряла. Россия с разворванной экономикой и почти совсем не страшная оказалась просто неинтересна Западу. Ощущать себя

этой заштатной территорией — неприятно. Но в то же время неприятно признавать свои ошибки и молчаливо соглашаться на усиление государственности — в особенности через усиление силовых структур. Душа российского «интеллигента» — будь он даже самым утонченным эстетом — органически тянется к противоречию и хаосу. И потому она всегда будет против власти — пусть даже самой полезной и разумной. Потому-то Гоголь так гениально и угадал бессмысленно мчашуюся тройку, которая и ныне — в трансформированном, конечно, виде — скачет по голубому экрану в заставке государственной программы «Вести».

Но одновременно в этой бесконечно широкой и бесконечно загадочной душе живет и обратное стремление, ничуть, кстати, не менее горячее, — быть при хозяине, свободно и вдохновенно выполнять команды «к ноге!», «голос!», «фас!», а при случае подавать лапу и даже танцевать на задних ногах. Но, конечно, нужно, чтобы хозяин был респектабельный, не алкаш какой-нибудь, который и покормить забудет, а при случае еще и прибьет, чтобы хозяин был такой, которому служить не стыдно — сильный хозяин. Ну и относительно гуманный, конечно, — впрочем, в разумных пределах.

Нашу интеллектуальную элиту раздражают противоречивые чувства. Классическая любовная схема взаимоотношений с властью: ненавижу — люблю. Очень помогает в таком «контексте» известная сакрализация власти и ее некоторая «мистическая» загадочность. России не нужна демократия — России позарез нужен «помазанник Божий» (в терминологии Проханова — Избранник. Нигде, между прочим, в тексте «Гексогена» не указывается, кем конкретно он *избран*. Как бы подразумевается — почти до финала, — что ФСБ, но финал, как мы помним, задает для этой фигуры несколько иной «вектор». Запутанность и нарочитое затуманивание интриги вокруг Избранника исподволь намекает на возможность некоей «высшей» избранности. Не забудем, кстати, и про его «кукольную» ипостась — Ангела Заступника.)

Вот потому-то Проханов и оказался наконец востребован. И именно эстетами и интеллектуалами. Он связал в своем тексте главные российские фобии в один болевой узел, он, не хотя того, обозначил главный российский невроз — страх оказаться маленьким. И, как следствие, никому не нужным. Свою значимость российский гражданин привык измерять по двум параметрам — по накалу антагонизма к власти и по полноте слияния с ней. И если в первом случае понятие в пределе тяготеет к абстракции (российский интеллигент привык противостоять власти *вообще*), то во втором — понятие сугубо конкретно (попробуй прислониться к абстракции!). В любом случае, быть свободным он практически не умеет.

Проханов может гордиться — он очень точно все угадал. «Гексоген» — это даже не зеркало. Это заир. Хотите смотреться? Смотритесь. Ведь вы этого достойны...

Каких-нибудь десять лет назад литературное сообщество повсюду обсуждало грядущую кончину толстых журналов. Прогнозы не оправдались. Теперь решили забрать круче — поговаривают о «сумерках», сгустившихся над всей отечественной литературой. Впрочем, полная тьма, кажется, еще не наступила. Пока суд да дело, мы решили дать слово Андрею Дмитриеву и Олегу Павлову — писателям, представляющим разные направления российской словесности. Мнение людей, которые непосредственно сегодня создают эту литературу, кажется нам показательным.

Андрей ДМИТРИЕВ

ПАМЯТИ ГАННО БУДДЕНБРОКА

В начале-середине девяностых годов русская литература столкнулась с необычным вызовом. Ей было отказано в самом праве на существование. Утверждение, что литературы у нас нет, звучало во все времена. Это стойкая литературная традиция, банальность, это, скажем так, перманентная и дряхлая сенсация. Достаточно вспомнить «Литературные мечтания» молодого Белинского. Но Белинский, отрицая литературу своего времени, мечтал о том, чтобы она когда-нибудь была. В начале девяностых статусные, то есть реализующие себя в СМИ, представители культурного сообщества и пишущие о культуре журналисты вслух и наперебой мечтали о том, чтобы литературы не было вовсе. Тут можно вспомнить много всего. И настоятельные требования, чтобы толстые журналы поскорее сдохли. И опровержение классики, как зануды-училки, повинной в революции и в ужасах тоталитаризма (а значит — *недостойной попытки продолжения*, а значит — *обреченной на то, чтобы быть и лишеной преемственности*). И дивное открытие, что никакой поэзии нет — есть просто буковки. И бесконечные публичные гадания, когда, наконец, интернет покончит с литературой. И рассуждения о смерти автора. И утверждение, что все — равно всему, Пушкин равен промокáшке, и *это демократично*. (Честное слово! Это Парамонов по радио однажды сказал, я сам слышал.) И повторяемое как заклинание, как аксиома, как символ веры утверждение: Россия — не Москва, где хотя бы мы по обязанности читаем; Россия больше не читает, читать не желает и читать не будет (теперь уверенно скажу: все было как раз наоборот, то есть все сказанное было ложью!)... Я, помню, всякий раз задавался вопро-

**Андрей
ДМИТРИЕВ**

— родился в 1956 г. в Ленинграде. Учился на филфаке МГУ, закончил сценарное отделение ВГИКА. Автор книг «Поворот реки» и «Закрытая книга». Дважды лауреат премии журнала «Знамя», лауреат премии им. Аполлона Григорьева. Живет в Москве.

сом: ну, добьетесь вы своего, убедите издателей и хозяев СМИ, что литературы больше нет и не будет и что она вдобавок никому не нужна, ну, прикроют они ваши рубрики — и что? Литература останется, пусть и вне рубрик, она и без издательств, как известно из истории, может прожить и даже без читателей — но вы-то, вы с чего будете кормиться? О чем писать? О фигурном катании? Но там, во-первых, есть кому писать. А во-вторых: про заячий тулупчик вы что-то, может, и знаете, а вот про двойной тулуп — навряд ли...

Атмосфера в столицах была препакостная. Сценка, когда почти всякий встречный (почти всегда — профессиональный интеллектual и в большинстве случаев — кормящийся от литературы словесник) при самой робкой попытке заговорить о поэзии или прозе, отвечал тебе с печальной гордостью: я нынче вообще не читаю, потому что, извини, очень, очень занят, — повторялась почти ежедневно. Почти всякий уважающий себя деятель культуры, на обычный вопрос в любом интервью: «Что почитываете?», с той же гордой грустью заявлял граду и миру, что читать теперь некогда — в лучшем случае сознавался в чтении мемуаров или Бердяева. Иные доверительно сообщали о недавнем своем открытии: на свете есть только одна книга — Библия, вот ее одну они теперь и читают. Иные жаловались на чудовищную усталость с тем, чтобы признаться в пристрастии к детективам и дамским романам. Почти всякий член жюри буковской, то есть самой престижной литературной премии, кто публично (с гордым сожалением), кто приватно (с гордостью и без сожаления) заявлял, что до приглашения в жюри он, по ужасной своей занятости, современную русскую литературу вообще не читал, но вот теперь, наконец, узнает, что это такое.

Литературный процесс в СМИ преподносился почти исключительно как процесс соревновательно-премиальный. Причем выдвинутые на ту или иную премию тексты рассматривались по схеме: как литература — это заведомое говно, потому что литература — это заведомое говно, а вот как претензия на социальный успех, выраженный в деньгах и в количестве интервью — это очень, очень интересно... Время от времени попадая в премиальные списки, я давал интервью для телеканалов. Все эти интервью строились одиноково. Сперва тебе заявляют, что тебя не читали, потому что не читают вообще из-за ужасающей занятости. Затем — вопрос: «На что вы потратите деньги, если получите премию?» В последнее, совершенно иное время, вопросу о деньгах все же предшествует просьба пересказать содержание романа или повести, а то, «вы уж извините, не читал, но прочту обязательно»... Да что тут говорить, если многие прозаики и поэты не стеснялись признаваться в том, что читают только своих друзей. То есть — по дружеской обязанности. А так бы не читали и вовсе...

Надо сказать, что это гонение на литературу в два хлыста, когда одним выстегивали литературу, другим — читателей, доказывая им, что их нет, а если они и есть, то это, знаете, просто неприлично, этим нынче не хвастаются, — не было безрезультатным. Я встретил многих людей, искренне поверивших в то, что ничего больше нет. «Как, толстые журналы еще живы? Быть не может! А где можно на них посмотреть?» «Что, и стихи печатают? Да, где? А то я уже лет пять — без новых стихов, скучно, знаете...» Политика СМИ в отношении современной литературы надолго определила политику издательств и книгопродавцев.

Это сейчас издательства с полным на то правом гордятся своими сериями прозы, а каких-нибудь пять-шесть лет тому назад — сколько было этих серий? Я могу с ходу назвать лишь «Черную» (по цвету обложек) серию «Вагриуса». Проза и поэзия вне серий вообще почти не издавалась, если, конечно, имя автора не было давно известно или не примелькалось на телеэкране.

Были когда-нибудь на московских вернисажах? Поучительное зрелище. На стенах висят картины. Зал забит до отказа людьми, так или иначе причастными живописи. Люди пьют шампанское, усиленно общаются и дают интервью перед телекамерами. Обычная сутолока, толчея, но в этой толчее есть одна закономерность. Все эти люди повернуты спиной к картинам. Они картин не видят. И если время от времени взгляд этих людей все же обращается к тому, что является предметом вернисажа — взгляд этот скользит мимо. И вовсе не потому, что все эти люди равнодушны к живописи. Просто атмосфера вернисажа, стиль вернисажа, не то чтобы не способствуют — не дают возможности спокойно и углубленно живопись созерцать... Но вот вернисаж прошел. Наступают выставочные будни. Зал пуст, разве заглянет какой случайный посетитель. Те, кто был на вернисаже — уже не заглянут. Они ведь уже были на этой выставке, а жизнь вокруг так разнообразна... Спрашивается, зачем художник писал свои картины? Выходит, лишь для того, чтобы организовать вернисаж.

Литературная жизнь Москвы во многом была и остается жизнью в стиле вернисажа. Побывав на презентации, на пресс-конференции, прочтя мнение о книге в любимой газете и мысленно согласившись с ним, прочтя мнение о той же книге в нелюбимой газете и в который раз убедившись в ее глупости, — зачем читать саму книгу? Она как бы прочитана. Тем более, что и любимая и нелюбимая газета дают понять: читать нынче не стоит. А если кто, вроде Немзера, настаивает на том, что читать все-таки стоит, — так ведь у Немзера имидж такой, это у него *ниша* такая. Вот пусть и литература, как ей это все настоятельно советуют, найдет свою нишу — мы в нее, быть может, и заглянем, если, конечно, тому не помешает занятость и чудовищная усталость...

Теперь — все то же, да не то. Инерция разговоров прежняя, но сочинениями современных авторов переполнены полки переполненных людьми магазинов. Книжные магазины — самые популярные магазины в Москве, популярнее дешевых супермаркетов и пивных ларьков. И нечего отбрезхиваться вопросом: а что покупают? Покупают литературу. Мне может не нравиться Мураками, но Мураками — это все же не Доценко. Кто теперь вспомнит Доценко? Даже в «Вагриусе» о нем вспоминают все реже.

Но это — в Москве и в Питере. Магазины в провинции пусты. Сказывается инерция навязанных СМИ и социологами представлений о не читающей России. Я ведь тоже сперва поверил, что никто больше не читает и читать не хочет. Между тем, как только я начал, пусть и не так часто, как хотелось бы, ездить по стране на встречи с читателями, то сразу же убедился, сколь силен читательский голод. Люди готовы часами выслушивать рассказы о том, что происходит в литературе. Они предпочли бы читать, а не слушать, они устали от телевидения, они меньше столичных жителей привязаны к газетам. Но книжные магазины, повторяю, пусты. Книги основных издательств не поступают даже

в библиотеки. (Это в Нью-Йорке или в Чикаго можно купить любую русскую книгу. Поищите-ка ее в Пскове, Таганроге, Ростове... Далее — по карте — везде). Да, с деньгами у людей плохо. Но зато с мозгами все в порядке. И с чувством собственного достоинства гораздо лучше, чем это принято полагать. Мне говорят: тиражи журналов ничтожны, подписка дорога. Но тираж не есть число читателей. Те, кто в состоянии подписаться, — читают журналы семьями и передают по кругу друзьям и знакомым. Номера толстых журналов, поступающие в библиотеки страны в одном-двух экземплярах зачитываются до дыр, люди записываются в длинные очереди, чтобы журнал прочесть. Чтобы представить себе реальное число читателей, увеличьте число подписчиков в пять-десять раз, затем опросите библиотекарей — но не выборочно, как это делают социологи, а всех. Все нужные цифры — у них в формулах.

Читающая Россия отрезана от своей литературы. Я не скрываю: меня это бесит. Не обделенный вниманием критики, не обойденный номинациями и премиями, я чувствую то, что, наверное, должен чувствовать живописец на следующий день после вернисажа. С той лишь разницей, что возможным посетителям моей выставки решили не продавать билетов и двери в галерею заперли на замок, объясняя это тем, что придут все равно немногие, но зато наследят, а стоимость проданных билетов не окупит зарплату уборщицы...

Издатели и книгопродавцы делают серьезную ошибку, отказываясь расширить свое дело за счет огромного и — утверждаю! — голодного российского рынка. Когда-нибудь это войдет в учебники рыночной экономики как уникальный курьез. Это и впрямь смешно. Но сегодня мне не до смеха. Издатели и книгопродавцы понимают, что расширение бизнеса требует вложений (не таких уж больших) и действий (порядочных). Но они не верят в то, что вложения когда-нибудь окупятся и действия не окажутся пустой тратой времени. Они доверились социологам и специалистам по маркетингу. Первым вообще нельзя доверять, а что касается маркетинга — то здесь нужен другой маркетинг. То есть не наработанные (в других странах, в других отраслях, в других условиях) методики, а подзабытый здравый смысл. Надо просто поездить и поговорить с людьми. Надо понимать то, что прекрасно понимали советские агитпроповцы и борцы со свободной литературой, называвшие книгу «миной замедленного действия». Она еще и товар замедленного спроса. Как ювелирное изделие — в отличие от бижутерии. При том, что книга или журнал стоят дешевле коле или диадемы... Надо бы задуматься над тем, почему ювелиры процветают — при том, что потенциальных покупателей у них куда меньше, чем у книгопродавцев, и их изделия ждут своего часа куда дольше, чем книги — своих читателей.

Когда я испишусь и не смогу сочинять прозу, я сошью себе пикейный жилет и напишу трактат о вреде прикладной социологии.

Языком социологов и в их категориях говорят и мыслят нынче журналисты, политики, издатели, книгопродавцы, даже ученые гуманитарии. Этот язык и способ описания реальности стал заразен. Это язык больших чисел и произвольных схем. Он кажется удобным и современным. Вместе с тем, говоря о мире языком социологии, мы этот мир потихоньку покидаем и обнаруживаем (если обнаруживаем) себя в придуманной, вполне виртуальной реальности.

Я никогда не верил социологическим опросам, и у меня есть на это веские основания. Я прожил на свете сорок шесть лет, я читал и слышал о результатах, может быть, сотен социологических опросов, при чем всякий раз речь шла о репрезентативности и о продуманной выборке респондентов. Но никогда в числе респондентов не бы я сам (этого уже достаточно), никто из моих друзей, близких или знакомых, живущих, кстати, в разных городах и весях, принадлежащих к разным слоям населения. Можно сказать, это случайность. Можно. Но будь по иному — это тоже было бы случайностью. Между тем, истина — необходимость, и основывать ее на случае и произволе — дело безнадежное. Кроме того человек не есть файл с готовым набором знаний и продуманных, окончательных оценок и мнений — независимых от погоды, настроения, страха, куража, самочувствия, случая и всего прочего, что является подвижной и трудноуловимой жизнью души. В своих ответах он никогда не бывает равен самому себе. Человек не равен самому себе даже тогда, когда задает вопросы самому себе и наедине с собой, он крайне редко добирается до своей, адекватной вопросу, сути. Любой ответ респондента — абсолютно случаен, каких методик тут ни городи. Основываясь на так называемых объективных факторах, социологи «точно» рассчитали, что в России читают и чего не читают, они точно знают, кто читает Маринину, а кому подавай Достоевского. Затем находят подтверждение своих выкладок в отчетах о продажах. Марининой купили сто экземпляров, Достоевского — один. И так далее... И кто объяснит социологам, что это я купил Маринину и я же купил Достоевского. Просто Достоевского я читаю в одном настроении и в одних обстоятельствах, а Маринину — в других. Маринину я прочту и выброшу (оттого и купил все сто экзмпларов), а Достоевский будет стоять у меня на полке всю жизнь. Кто объяснит социологам, что нет такой категории, группы или страты, называемой «читатели», но есть человек с многообразными, как постоянными, так и меняющимися, настроениями и потребностями.

О заказном характере социологических исследований, и стало быть, о возможности заказного результата я хоть и слышал, но достоверно не знаю — сам не заказывал. Но о «научности» методов и выводов могу судить. Я ведь читаю журнал «Континент». В одном из номеров «Континента» была опубликована стенограмма конференции, посвященной судьбам демократии в России. Конференция состоялась в РГГУ, и выступали там разные люди (слишком разные, если привести в качестве примера Доренко). Там же выступил известный социолог Левада. Он посетовал, что люди разочаровываются в демократии, о чем ясно говорит результат проведенного его институтом опроса. Так, на вопрос, что предпочтительнее, *демократия или порядок*, более 70 процентов респондентов высказались за порядок... А я-то грешным делом всегда считал, что демократия и порядок — это синонимы. Я-то думал, что демократия — это и есть порядок, тогда как произвол — хаос. Впрочем, неважно, что я думал. Со мной, наверное, можно и поспорить. Но вот респонденты (сколько тысяч их было?) теперь точно знают, что демократия и порядок — это антонимы. И не быв до того врагами демократии, теперь они вынуждены признать, что демократия им ни к чему. Потому что они нормальные люди. И доверчивые (да и как не доверять *специалистам*?).

Но более всего я не могу простить социологам того, что можно назвать *учением о нише*. В самом начале девяностых они пустили в оборот это словечко, они убедили почти всех нас, живущих и страждущих, что смысл нашей жизни в том, чтобы найти свою нишу. Когда все рассядутся по своим нишам — все будет довольны и счастливы. Эта идея преподносится как глубоко демократическая. Ниша должна быть личной, институциональная, профессиональная и т.д. И литература тоже должна найти свою нишу — то есть не соваться во все дела мироздания. Мы сетуем на то, что у нас нет общества? Да где ж ему быть — все по разным углам разбрелось, каждый свою нишу ищет. Все сидят по своим нишам и каждый этим счастлив — это мечта любого диктатора-тоталитария. («Тише, в нише, кот на крыше!»)... Пора бы и вспомнить, что нишей свободного человека является весь дольний мир и, надеюсь, мир горний...

Что же касается маркетинга, то я и без маркетинга могу доказать, почему литература во все времена будет востребована человеком.

Потому что она ему соприродна. Потому что человек появился тогда, когда один примат рассказал некую историю другому примату, а тот взял и пересказал ее третьему. И тому, третьему, — эта история очень понравилась. Прежде чем заявлять, что литература перестает быть человеческой потребностью, надо бы задуматься над тем особым, привилегированным статусом, каким в зоне или в тюрьме обладают заключенные, способные рассказывать истории (при том, что телевизоры там есть и кино привозят). Объяснить этот статус просто: в те часы или минуты, когда рассказчик рассказывает, а слушатели его слушают и *воображают* то, что слышат, — в эти минуты или часы они все **свободны**. Человек нуждается не в нише. Человек нуждается в свободе. В том, чтобы по-новому увидеть свой узкий мир с его привычными координатами, познать его заново, углубиться в его суть и одновременно — выйти как можно шире и дальше за его слишком обжитые пределы. Осмысленное чтение — это обретение свободы без унижительного бегства от жизни, предлагаемого всевозможными видами виртуального и иного забытья. Свободный и уважающий себя человек может какое-то время не читать, но потребность в чтении обязательно берет его за горло. Можно курить часами — но все равно потянет на свежий воздух. Всем, кто так или иначе связан с книжным делом, важно понять только одно: нет массового читателя, нет читателя элитарного, нет читателя умного или глупого. Есть просто человек. И он, человек, нуждается в книге, как в воздухе. Вы предоставьте ему возможность купить и прочесть ее тогда, когда это придет *ему* в голову, когда у него вдруг заведется лишняя сотня рублей в кармане, когда ему, человеку свободному, это самому захочется — вот тогда и судите о его глупости или уме, о массовости и элитарности. Вы поставьте книги на полки, — а там посмотрим, дотянется он до них или не дотянется.

Столкнувшись с почти полной обструкцией в начале девяностых, литература устояла и слово не завяло. Потребовалось сверхусилие всех, кто считал и продолжает считать себя писателями. Всем пришлось всякий раз прыгать выше головы. Пусть и не всякий прыжок доставал желаемой планки, но мало кого можно упрекнуть в недостаточной самоотдаче. Я согласен с Немзером, назвавшим литературные девяностые «Замечательным десятилетием». (Литература ус-

тояла и потому, что тот же Немзер, наряду с такими же, как он, упрямыми — твердил поверх и поперек презрительного шума: есть, есть литература, стоит ее читать, не стыдно быть читателем. Благодарности за это не услышал, одни насмешки, но не отступил.) Литература устроила и потому, что устояли толстые журналы. Вернее сказать — те, кто их делал и делает. А там и издательства поспешили...

...Маленький Ганно Будденброк сильно рассердил и напугал своего отца, господина Будденброка, когда в семейной Библии под своим именем поставил жирную черту. На вопрос, зачем он это сделал, мальчик искренне сказал: «Я подумал, что после меня больше ничего не будет».

Синдромом Ганно Будденброка в России переболело немало вполне взрослых людей, так или иначе связанных с литературой. «После нас уже ничего не будет» — а значит, и быть не должно. Я точно знаю: после нас будет все. Как никогда остро и вовсе не умозрительно сознавая себя и современную русскую литературу живым и достойным продолжением великой русской литературы (с обретением свободы историческое время России настолько спрессовалось, что восемнадцатый и девятнадцатый век уже не кажутся такими далекими, как казались прежде: более того, настало время новой актуальности, время воскрешения, реинкарнации, причем не в литературных аллюзиях, а в живой жизни, многих смыслов русской классики), я не менее остро и счастливо сознаю себя в самом начале нового, свободного пути русской литературы. Путь этот нам неведом, но в одном я убежден — это будет путь осмысленный. Это будет путь к живому читателю, а не к мертвому, расчисленному заранее вне пределов собственно литературы виртуальному успеху.

В начале этих заметок я назвал утверждение, что литературы нет, — банальностью. Пора признать, что и мое утверждение: литература есть — тоже банальность... И все же банальность банальности разнь. Первая скучнее — по той самой причине, по какой всякая мысль о смерти скучнее мысли о жизни...

Однако поскольку умному человеку восторги не к лицу, поскольку оптимизм — общепринятый признак глупости (непонятно, однако, для чего столько записных пессимистов в истории положили свои жизни на то, чтобы дать человеку хоть малый шанс стать оптимистом), я смиренно предвижу, что скептиков, полагающих, что современная русская литература не стоит ломаного гроша, не убавится.

Принято огрызаться: «время покажет» или «время всех расставит по своим местам». Такой ответ всегда подразумевает: те, кто придет после нас, припишут нам гениальность. Я на это не надеюсь. Более того, я предпочел бы, чтобы писатели следующих поколений согласились с нынешними скептиками и тоже называли бы нас не стоящими ломаного гроша. Это было бы обидно, но для литературы — не вредно. Потому что в таком случае они, то есть писатели следующих поколений, уже не смогут позволить себе писать хуже нас. Вот если гениями объявят — тогда да, дело дрянь: уже ничто не помешает им расслабиться. Нам ли не помнить, как это бывает?

ОСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ

Русская проза в начале девяностых резко поменяла свое лицо, хотя мало кто соглашался, что авторы дебютных рассказов, во множестве пестревших в журналах, едва-едва отхлынут, как уже вторым дыханием или второй волной придут с повестями, романами. И все ждали *другой* прозы, отчего-то не понимая, что волна эта выбросит лишь непозабываемое старое: с того дня, как кто-то начинает писать, он замыкается в остановленном для себя времени.

Энергия нового опыта — это обратный отсчет. Жизненное время этого поколения было очень коротко, потому что очень скоро действительное, то есть прочувствованное и осознанное на личном опыте, стало историей. В девяностые энергия нового опыта — это «Афганские рассказы» и «Знак зверя» Олега Ермакова, написанные, однако, о том, что уже отошло в советскую историю. Так начиналось это десятилетие, но все так или иначе знаковые произведения девяностых totalmente обращаются если не к истории, то к прошлому.

В романе «Дурочка» Светланы Василенко немая недоразвитая девочка, рожденная в маленьком военном городке в семье офицера, после того, как родители решают от нее избавиться и пускают детскую колыбель по реке навстречу сиротской судьбе, а течение этой реки становится вдруг колдовской «рекой времени» и относит ее вспять на 30 лет, в сталинскую эпоху, — проживает как бы несколько вариантов судьбы. В романе «Хоровод» Антона Уткина действие переносит читателя в XIX век. В трилогии «Персона вне достоверности» Владислава Отрошенко с достоверностью сплетаются вымысел и миф: «краткое исследование издательской деятельности Кутельникова» или же «публичная лекция, читанная лавритистом Игнатом Ставровским в зимней столице Королевства Бутан во время муссонных дождей и посвященная загадке жизни и смерти великого российского тамбурмажора Сальвадора Романо». В метафизическое безвремя помещает героев своих рассказов Дмитрий Бакин в «Стране происхождения», как и Андрей Дмитриев в повести «Поворот реки». Валерий Залотуха в «Великом походе за освобождение Индии» описывает мессианское хождение за три моря красноармейцев, командиров и комиссаров «Первого особого ордена Боевого Красного Знамени революционного кавалерийского корпуса им. В. И. Ленина». Подобно этой мифической «революционной хронике», действие романа Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» тоже происходит в 1919 году, только в дивизии Чапаева, но перемещается уже в совершенно виртуальное пространство, где с главным героем встречаются Кавабата, Шварценеггер, «просто Мария» — как бы фантомы иного

**Олег
ПАВЛОВ**

— родился в 1970 г. в Москве. Закончил заочное отделение Литературного института. Автор книг «Казенная сказка», «Степная книга» и «Повести последних дней». Лауреат премий журналов «Октябрь» и «Новый мир».

сознания, что появляются из галлюцинаций и снов. Павел Крусанов в романе «Укус ангела» свободно распоряжается самой историей: его фантастическая Россия уцелела в пожарах всех революций и обзавелась новой столицей — Константинополем, занятым русской армией еще в 1917 году. В цикле повестей Юрия Петкевича «Возвращение на родину» внешние сюжеты «семейных хроник», время и события которых сопоставлены с историческими реалиями России XX века — свержение самодержавия, войны, Гражданская и Отечественная, годы террора, — лишь маскировали метафизическое и вневременное. Философский роман Дмитрия Галковского «Бесконечный тупик» — это блуждание в лабиринте всех русских эпох. «След в след», роман Владимира Шарова — это ожившая карта русской истории, расходящаяся в стороны, то в один век, то в другой, по которой начинает свое путешествие из советской реальности и своего настоящего дня главный герой. В романе Алексея Варламова «Купол» советская реальность и его уже явно обозначенный автобиографический герой оказываются под утопическим «куполом» — постройкой которого, однако, должна была совершенно остановить ход истории. И в последнем значительном романе этого десятилетия, на котором оно как бы закончилось — это «Взятие Измаила» Михаила Шишкина, — ход времени отсчитывает все тот же фантастический маятник.

Что же сказала проза девяностых о своем времени? О том, что происходит в реальности, будь то чеченская война или умирающие колхозы, бунт или подполье, пишут Маканин и Екимов, Солженицын и Проханов, так что оказываются современной. Социальная тематика вообще уходит из художественной литературы в детективы — это Маринина или Кивинов во всех красках живописуют физиологи современности... Как все понять?

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА — ЭТО НЕ РАССКАЗ О СОВРЕМЕННОСТИ, А РАЗГОВОР С СОВРЕМЕННОСТЯМИ, НОВАЯ ПОСТАНОВКА ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ О ЖИЗНИ. Она возникает как энергия только своего времени, но увиденное и прожитое — это ведь не зрение и не жизнь. Это знание, духовный опыт. Новое самосознание. Новое духовное состояние. Все это **новое** понимает себя в конфликте с реальностью, потому что вытесняется из ее скорлупы. Иначе сказать: жизнь вдруг представляется не такой, какая она есть — или то, что было истиной, ставится под сомнение. Это ситуация по сути экзистенциальная. Новый духовный опыт превращает реальность в экзистенциальное *вещество существования*, выходит за ее пределы, заявляет себя чем-то более подлинным и действительным. Отрицанием движет социальная потребность в правде или философская потребность в истине, то есть глубокое недоверие к реальности. Если сильнее потребность в правде — новая проза и придет, конечно же, с правдивым свидетельством о жизни, как пришли когда-то в русскую литературу «Повести Белкина», «Бедные люди», «Один день Ивана Денисовича». Но изображение Пушкиным, Достоевским или Солженицыным современности, однако, не было **реализмом** — это новая сверхреальность вошла в жизнь, а зазеркалье стало вдруг зеркалом, глядеться в которое современникам было не по себе.

КРИТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕАЛЬНОСТИ — ЭТО СВОЙСТВО НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ВСЕГДА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПО СВОЕЙ СУТИ.

Оно приводится в действие отрицанием, сомнением, недоверием, а уже развитием этого действия, похожим на цепную реакцию, является динамизм переходов от одних духовных состояний к другим, как бы нескончаемый кризис — постановка все новых вопросов, поиск новых и новых идей. Основная черта новейшей прозы — такое же недоверие к реальности. Мы видим, что новейшая проза прошла стороной даже от сюжетов, типажей и реальных событий своего времени, увлеченная, казалось бы, литературной игрой, вымыслом. Можно сказать, что игра и вымысел представляются современным авторам более подлинными, чем реальность и жизнь. Но мы только и видим, что временное предстает более вечным, а явное — тайным: и вот «революционной хроникой» становится исторический миф или «автобиографический герой» путешествует во времени подобно инопланетному пришельцу. Для того, чтобы даже запечатлеть свое время, от него необходимо отстраниться — мы же видим, что собственный жизненный опыт как будто все еще не создает необходимой для этого дистанции. Если в прозе девяностых и происходит обращение к жизненному опыту, то предметом художественного исследования становится не сам этот опыт и нечто сугубо личное, а всеобщая безличная историческая действительность. История на очередном витке оказывается стремительней жизни, но в этой стремительности мелькает, делается все более временным — и, стало быть, менее подлинным — то, что происходит; иначе сказать, скорее что-то происходит с «реальностью», нежели в ней самой. И поэтому развивается своего рода *художественная недостаточность* — фокус художественного зрения на **происходящее** требует увеличения и резкости.

ЛИТЕРАТУРА ОДНОВРЕМЕННО ОТСТРАНЯЕТ И ПРИБЛИЖАЕТ СВОЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ НАИВЫСШЕЙ ПОДЛИННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ. Оно, время, и в искусстве тоже оказывается относительно, подчиняется той же теории, «относительности», и оно же является «веществом существования», заключая в себя все человеческое бытие, весь предметный и беспредметный мир. В одно и то же мгновение оно огромно, вечно — и тут же ничтожно сжимается относительно той или иной «реальности», которых в свой черед столько же, сколько может быть отражений на поверхности пусть даже одного зеркала. То, что изображается, и то, как изображается — предметы и способы изображения, — это степени приближения и отстранения, задаваемые художнику «чувством реальности».

Историческая бутафория и метафизические декорации новых романов как будто отстраняют их действие от реального времени, но фантазмогорическое изображения, нагнетаемый абсурд — увеличивает до трагической сути происходящее именно в наши дни. Для современных авторов исследование собственного жизненного опыта переходит в исследование метафизического и всеобщего опыта истории — уже через осознание его значимости. Родилась потребность не в Правде, на чем росла отечественная литература XX века, а в Истине. В этом смысле проза Пелевина была современной прозы Солженицына, или проза Варламова — современной прозы Маканина. Современной оказывалось ее духовное состояние, ее **кризис**, без которого, однако, не было бы и движения к новому.

Это кризис доверия теперь уже к самой литературе. Кризис большого эпического стиля и литературных традиций. Кризис имперского самосознания.

Кризис гуманизма. Но каждый из новых писателей обретал свою речь, находил свою форму. Рождалась новая художественная реальность — а с нею новые смыслы.

Проза девяностых философствует о жизни, она метафизична и экзистенциальна в своем остановленном времени. Не было реалистов и постмодернистов там, где свое изображение обрели духовные состояния. Главным же в современности всегда становится по сути один и тот же вопрос о Боге, то есть о правде на земле и выше, о причинности происходящих в человеческих судьбах событий, о смысле человеческой жизни — а в конце концов о добре и зле. Иных смыслов нет в нашем бытии, как есть лишь одни и те же ноты, одни и те же буквы, одна и та же палитра красок в музыке, литературе, живописи. Однако и в жизни, и в искусстве происходит непрерывное творчество новых форм этого бытия: и что подлинное в этих звуках, красках, буквах, смыслах, которым вдруг придается тот или иной порядок, — вот в чем суть.

Вопросом о подлинности бытия не задается беллетристика, а стало быть — и ее читатель, который выбрал этот способ времяпрепровождения лишь для того, чтобы как можно приятнее и занимательней заполнить в себе какую-то пустоту. Поэтому время кризиса в художественной прозе — это же всегда и время расцвета для беллетристики. В прозе девяностых куда уж как явно проступает метафизика этого времени — она тяжелая, мучительная; а в беллетристике трагическое низводится до карнавального фарса или криминального анекдота. Там уже «физика» этого времени, тот самый добротный «социальный реализм» нынешних телесериалов, что не задается вопросами о жизни, ее подлинности, а просто еще раз в приятной домашней обстановке прокручивает для обывателя в более «остросюжетном» изложении *ту же самую жизнь*, давно обезболенную его собственным равнодушием.

Беллетристика издается и раскупается почти теми же немислимыми тиражами, которыми славилась книжная продукция «самой читающей страны» — а проза оказалась чуждой своему современнику. Читатель может быть глубоко верующим или глубоко образованным, то есть отнюдь не опустошенным духовно, однако все же отказывается от разговора с писателем в пользу легкого и ни к чему не обязывающего времяпрепровождения с беллетристом.

У прозы девяностых остался лишь образ и подобие читателя — литературный критик. О нем в девяностых можно говорить обобщенно, как об *одном лице*. Критику девяностых прежде всего было важным, какой общественной идее он служит, — а дороже всего был собственный литературный авторитет, то есть сумма оценок, которые он проставил раз и навсегда. Писателя могли не замечать лишь за то, что имел иные убеждения, чем критик. Разговора с таким современником у писателя не могло быть. Имело место лишь *литературное руководство*. Проза девяностых нарушала литературные нормы, создавала свои — а ее измеряли логарифмическими линейками. Уподобление стало чуть ли не главным и единственным способом осмысления. За каждым писателем был поставлен тенью какой-нибудь уже известный, отмерянный литературный эквивалент. Духовное состояние критики вообще стало близким к той феноменальной опустошенности, о которой уже было сказано: в большинстве она послушно следует за читательским спросом. И если русская критика открывала в

русской прозе мучительные для русской жизни вопросы, то сегодня она не оказалась способной, за редким исключением, воспринять даже «серьезность» в литературе, всячески ее осмеивая и вытесняя на «литературные задворки». Предпочтительнее успех премий, тиражей, ну и всего, что привлекает внимание — опять же какое-то опустошенное — и подчиняет, как аморфное волеизъявление «большинства». Это воспроизвело нравы, да и литературную ситуацию советского времени, в которой главным тоже был успех, обеспеченный единением с «большинством».

Но если прежде было ясно, за что вручается, скажем, Ленинская премия в области литературы и искусства, то выслужить так же Букеровскую премию очевидно невозможно. Дельцы, дающие сегодня деньги на содержание литературных премий, вряд ли сами что-нибудь читают. Можно идти на содержание к потребителю. И совершенно ясно, что это — лишь оазис среди горестного безмолвия огромной страны, пропуск в который получает, однако, наше культурное общество, с его большими и малыми театрами, симфоническими оркестрами, целлулоидной державностью оскароносцев, литературным бомондом.

Содержателям этого оазиса наша культура сполна платит как и в советском прошлом: **страхом**. Ведь когда-то с той же целью содержали армию «советских писателей», чтобы в культурном обществе сильным был только страх: чтобы сами вчерашние интеллигенты в страхе за обретенное благополучие (или даже лишь предполагая возможность его обрести) глушили боль людскую циничным смехом, глумились в своей среде над теми, у кого еще осталась совесть, сами же надзирали, травили, лгали... *Страх* перед личной ответственностью за происходящее. *Страх* перед общим взглядом на бедственную жизнь, которой жил и живет наш народ. *Страх* перед серьезными размышлениями о жизни. И тогда уж сумерки литературы — это сгустившейся страх. В девяностых еще не боялись писать — все такие фигуры заметны в литературе сегодня своим одиночеством. Но когда писатель или критик сейчас подчиняется страху, мы этого уже не замечаем.

Главное — нынешнее время отучило сострадать, потому стало презираемо страдание, как и люди страдающие оказались отнесены у нас к отбросам общества, к неприличным для словесности темам. Трагическое звучание в девяностых воспринималось как социальный протест — но неприлично «протестовать» после официально обретенной всем нашим обществом «свободы». Нужно лицемерить, что «жить стало лучше, жить стало веселее», хотя сегодня строят жизнь на угнетении одних людей другими, а в России нового века это мало кого мучает, мало кому за это стыдно и совестно. Но угнетение ли человека вообще жизнью, или угнетение человека человеком всегда было источником страданий. И лучше заткнуть рот, запечатать сургучом, принять обет молчания, чтобы не делаться за это ответственным всем обществом. В литературе происходило то же самое. В девяностых отсылали поучиться морали в газету «Завтра» или выносили вердикт «чернуха». На исходе десятилетия поучали уже с лицемерным благочестием святош и требовали создавать «позитивные» произведения о жизни — а не те, что «очерняют действительность». Все как в легенде о Великом Инквизиторе. Та же подлая ложь: сделать людей счастливыми без страданий, то есть без правды, веры, любви... и без Бога. Христос

есть любовь — но глубина его любви к людям измерялась мерой страданий его и смертью. Не знай правды о страданиях людей — и любовь твоя будет лживой, а счастье подлым, купленным лишь такой безбожной ценой. Говоря о русской литературе, отчего-то мало кто задается вопросом, какой же она всегда была. Что было главное в ней? Вся она была обращенной к человеку страдающему, **БОЛЬЮ ОТКЛИКАЛАСЬ НА БОЛЬ**, потому что главным и был для нее человек...

«ПОПАДАНИЕ В РЕЗОНАНС»

Беседа с Андреем Битовым

Как мы не раз уже говорили, у рубрики «Беседы в редакции», в каком бы разделе журнала она ни появлялась, есть одна общая и главная особенность. Приглашая известных людей, чьи суждения могут быть, на наш взгляд, особенно интересны читателям «Континента», мы всегда просим наших собеседников поделиться своими размышлениями, прежде всего, о тех главных, наиболее значимых сдвигах, переменах и тенденциях, какие видят они сегодня, на рубеже веков, в жизни мира, России и той области культуры, в которой они работают. В прошлом номере «Континента» Президент Русского ПЕН-Центра известный прозаик Андрей Битов рассказал о том, как видится ему сегодняшняя жизнь нашей страны и мира. В этом номере он делится своими мыслями о современной литературе. Беседовал с Андреем Битовым **Владимир Сотников**.

— *Андрей Георгиевич, сегодня нередко можно услышать, что место литературы в современной России стало незначительным — по сравнению, например, с шестидесятыми годами XX века. А Вам задают такие вопросы?*

— Я устал повторять ответ, один и тот же: тогда литература неправильно использовалась, а вовсе не занимала большее место. Сейчас есть гласность, есть медиа, и литература, может быть, как раз возвращается к тому, чем она и является. Раньше у нее была функция по анекдоту: изюма нет, булка с изюмом есть, наковыряйте полкило. Вот и наковыривали из литературы тот изюм, который сейчас распределен другим способом. Раньше время не было столь занято попытками заработать деньги и возможностями развлечься, если у тебя деньги есть. И телевизор не так работал. Вот и получалось, что человеку лучше всего было полежать с книжкой. При чем тут роль литературы? И зачем писателю руководствоваться ее ролью, что за бред? Это вообще не писательское дело.

— *А если посмотреть глазами читателя? Не будем говорить о прогрессе, это понятие к литературе вряд ли приложимо, но хотя бы — непрерывна ли в восприятии читателя литература от девятнадцатого до двадцать первого века?*

— Очень быстрая ведь была у нас литература. От Пушкина до Блока за восемьдесят лет пройден такой мировой путь! И в каждой фигуре она набирала следующий виток, и невероятно развивалась, и дошла до упадка перед революцией. Не было телевизора, другая была цензура и другой чистоты и наивности было, соответственно, общество, которое еще к тому же было поделено на классы. Очень важно, что это все-таки была дворянская литература прежде всего — то есть написанная дворянами. Близость помещика и крепостного до сих пор является нам непонятной. Это не близость члена партии и беспартийного, это совсем другое дело — другая эпоха, другой воздух, другой озон. В результате происходил хороший слог, потом появились претензии, чтобы книжка стала дешевле, чтобы она уходила в народ, медленно росло просвещение, количество грамот-

ных, — этот процесс развивался приблизительно сто лет. Потом начался другой процесс; заслуга большевиков во всеобщей грамотности, безусловно, велика. И классиков, как ни странно, переиздавали, хотя более антикоммунистического занятия, чем правильное чтение классиков, нету. А потом вроде бы сменился век, но вот что изменилось действительно: сменилась эпоха описания. Это моя формула — идеальная, я считаю. Сменилась эпоха описания, то есть все, что было современной литературой, стало литературой прошлого века. А литературы нового века практически нет, потому что очень мало времени прошло. Есть просто какое-то количество выживших и переживших век людей, и даже система писательских смертей, которая очень достает и по отношению к собственному существованию, — она связана с этим. Вот я начал с того, что я поставил себе веху — пятое января: чтобы как-то отметить пятьдесят лет нашей жизни без Платонова. Бог дал силы, и что-то удалось сделать. Век как бы поделился пополам: при Платонове, и потом пятьдесят лет без него. И когда это оказалось сказанным, я почувствовал полное удовлетворение собой. Я говорю: всё, отвяжитесь от меня, я русский писатель второй половины двадцатого века. Этого уже никаким способом не изменить задним числом, сколько бы нового ни открывали.

А в последнее время я столкнулся с открытием достаточно великих неопубликованных рукописей. Вышел роман Бориса Житкова «Виктор Вавич», который мне показывала еще Лидия Корнеевна Чуковская, единственный экземпляр у нее был, издания 1940 года, спасенный от какого-то пожара. А сейчас вышла книжка Геннадия Гора, которую я составлял, и там роман «Корова». «Виктор Вавич» был найден через шестьдесят лет, а «Корова» — вообще через семьдесят лет найденный роман. И вот вопрос: впишется ли это в историю литературы, когда не было у авторов судьбы, соответствующей возникновению произведений? Ведь чем ужасен период советского замалчивания? Задним числом даже Платонова трудно вписывать! Получается, что Пастернаку и надо было торопиться с «Доктором Живаго». А если бы «Виктор Вавич» был известен, не раздвинул ли бы он нишу между «Тихим Доном», на который Пастернак, кстати, достаточно ориентировался, как «Тихий Дон» ориентировался на «Войну и мир», — так вот, воткнулся бы «Вавич» между «Тихим Доном» и «Доктором Живаго» или нет? Темно и неизвестно.

— Неужели все написанное в XX веке настолько укладывается в единую систему?

— Единственный случай самостоятельного развития — вообще вбок: Бунин с великим скрипом дописал «Темные аллеи» и продемонстрировал замечательный уровень письма. Набокова быстро разыграют как карту, замучают, и потом ему придется проходить новую проверку временем. Но тем не менее Набоков — это отсаженная ветвь русской литературы. Литература разделилась на эмигрантскую и советскую, а этот росток пошел в сторону, как будто бы в нем воплощено какое-то маленькое допущение проекции непрерывности развития: вот Серебряный век куда бы пошел.

— А были, по-Вашему, в русской литературе к началу Серебряного века какие-то пустоты, которые могли бы заполниться иначе, чем это произошло после революции?

— В русской литературе, при всем ее величии, много было недоработок в силу скоропалительности. Например, сюжетосложение. Пушкин было поработал над этим, как ему свойственно: раз — и все сделал. А потом... Великие произведения есть, а складных нету, как-то ловко так устроено.

— Толстой же еще заметил, что все великие русские произведения не укладываются в жанровые определения.

— Потому что шло изобретение жанров. «Евгений Онегин» — роман в стихах, «Герой нашего времени» — роман в новеллах, «Мертвые души» — поэма, «Война и мир» — вообще что-то несообразное. А вот Достоевский — тот уже учился, даже у Эжена Сю. Кстати, огромный успех Б. Акунина я объясняю себе еще и очень точным и грамотным расчетом — не в худшем смысле слова, а именно в смысле просвещенности. Детективный сюжет в России рождался и отработывался в деталях с запозданием; в Англии это давно уже было сделано. Вообще, по сюжетосложению Англия значительно впереди; после русской — любимая моя литература. У них сюжет — это мысль, это зрелость, это нечто более широкое, чем просто увлекательная пружина. То есть сюжет точно, вовремя вставлен в развитие литературы. Вот Акунин взял и «посадил» время действия своих детективов в то время, когда должен был бы развиваться русский детектив.

Кстати, очень любопытно сопоставлять, и я это делал, хронологию появления великих произведений в России и в Англии. Когда возникает «Робинзон Крузо», когда возникает «Гулливер», — когда возникают книги, которые давно стали детскими, давно стали частью сознания, а не чтением? Когда возникают эти модели? Я считаю, что европейская цивилизация стоит, как на китах, на «Гамлете», «Гулливере», «Робинзоне Крузо» и, может быть, Сервантесе. У нас Сервантес хоть как-то был подхвачен Федором Михайловичем, с какими-то отражениями, поворотами, а вот все остальное — сложно... И Достоевский оказался мировым писателем в результате этой работы. Однако я не знаю, был ли написан хоть один толковый русский роман. Нет, был — «Капитанская дочка». Вот где все уложено: и маленький объем, и характеры, и судьбы — ну идеально! Я однажды преподавал в Швеции и про Пушкина лекцию читал. Они заинтересовались: Пушкин, плохо знаем... На следующее занятие приходит швед, говорит: да, прочитал я «Капитанскую дочку», чем вы так восторгаетесь, это ведь детская книжка! И я, при всей обидности этих слов, стал думать: а какой еще такой же толковый роман? И вдруг понял, что это у Гайдара — «Судьба барабанщика». Это такой же толковый роман, как «Капитанская дочка», хотя с либеральной точки зрения — подлейшая книга, написанная во время посадок. Кстати, надо отдать дань ревнивому вкусу Набокова: он ценил из всей советской литературы, презирая ее априори, совсем себе не близкие вещи — Ильфа и Петрова и Зощенко. А это действительно советские писатели, их бы не было без семнадцатого года. И я больше всего думаю о тех писателях, которых не было бы без семнадцатого года: их труднее всего прочесть сейчас и оценить сейчас. Был ли бы Заболоцкий? А не было бы Заболоцкого — не было бы Зощенко, не было бы Платонова, не было бы Ильфа и Петрова. Великие ли писатели Ильф и Петров, я не знаю, но романы их великие, они переживут всё и будут жить.

Вообще, что у нас случится с XX веком, никто не знает. Я помню, лет сорок назад, когда нас всех не печатали и все было совершенно советское, ясное до жути, как-то мы с Сашей Кушнером брели — мы жили по соседству — и о чем-то подобном же рассуждали. И он сказал: «Но в девятнадцатом веке же все в порядке, репутации уже не передвигаются». И ведь правда: хотя Тютчев и Фет прозвучали по-настоящему в статье Некрасова «Второстепенные поэты», но сколько их сейчас ни передвигай, что-то не очень они передвигаются. Еще придется раскопаться в соцреализме, и окажется, что соцреализма было очень мало. Я, как только начиналась гласность, предлагал издателям сделать «Золотую библиотеку соцреализма» — не для сатиры и юмора, а потому что там будет мало книг; все остальное будет продажная секретарская литература. А стиль, попытка его наработать, убежденность в том, что вот так правильно... Очень любопытно будет посмотреть, что же останется!

Вот в поэзии может еще быть какая-то, по-видимому, находка — в прозе будет труднее. Кто его знает, что еще будет с «Виктором Вавичем» и Гором, насколько их можно будет читать? Как Зощенко писал в предисловии к одной из «Сентиментальных повестей»: черт его знает, что будет, может, какое-то оледенение будет, и мамонт ковырнет твою книгу и отшвырнет ее как несъедобную дрянь. В общем, не надо заботиться о литературе, благо она сама о себе способна позаботиться какими-то очень таинственными способами.

Но все-таки сейчас меня очень заботит: в следующем году будет столетие Заболоцкого, а он был выпихнут из обоймы. То есть он печатался и признавался, но был стеснен мамонтами по формуле: «Нас мало, нас, может быть, трое». Заболоцкий в эту тройку не помещался. А Заболоцкий — это совершенно живое чтение, и очень влияющее на процесс. Сам он, кстати, сказал, не помню где: надо не быть последовательным, а брать на эпоху раньше, то есть идти в XVIII век. Так же, как Хлебников заглянул в какие-то более древние слои. Я и говорю, что сейчас XVIII век будет ближе XIX-го. А будет ли нам близок XX век, ума не приложу, потому что семнадцатым годом была искусственно разрублена непрерывность, создалась некоторая параллельность, раздвоенность и растроянность литературы, не говоря о делении на плохую и хорошую. Потом запоздалые публикации... При мне набирали имя Цветаева, Мандельштам. Сейчас вышел томик Мандельштама, я имел честь наконец справиться и написать к нему предисловие, которое назвал «Воспоминанием о Мандельштаме». Другого подхода я не имел — это воспоминание о его восприятии, это уже целая история, которая будет утрачена, как она была утрачена в отношении XIX века. Когда я начал заниматься своим доморощенным литературоведением и сталкиваться с учеными, я говорил: вы не занимаетесь контекстом, а, по традиции, занимаетесь преемственностью. Писатели, как члены политбюро, смотрят все в затылок друг другу со светлым взглядом в наше светлое будущее — выстроились, отстоялись в иерархии, выжили и все друг друга продолжают. А ведь пишется не по наследованию, а от противного в огромной степени, даже от очень противного...

— Взгляд на писателей девятнадцатого века кардинально уже не меняется, с двадцатым веком все сложнее, а меняется ли взгляд на современников?

— Вот сейчас как-то меняется хрусталик на моего близкого друга Юза Алешковского. Я хотел ему всякой славы, но, пропев ему все дифирамбы и изобретая ему место в литературе, сам не сразу его понял. Сейчас Алешковский может совершенно иначе сесть в истории литературы, потому что он работал с языком. Вот Даль сохранил нам благо «живаго великорусского языка», которого нету уже, да? Я говорил как-то, что от коня остались только хвост и грива, а ведь каждое сочленение коня имеет русское название, как и каждая деталь ружья, но они все либо ушли в специальность, либо исчезли из речи за ненадобностью. Так вот, была борьба за чистку языка, борьба за ударения — за что угодно, а был «живаго советского языка», который переплавлял в себе канцеляризмы, большевизмы, феню, мат... И мы на этом говорили, а писали на чем-то совершенно другом — на другой фене, как будто бы семнадцатого года не было. И когда Алешковский написал свои первые вещи, это был подвиг: взять и наговорить на таком языке.

— *Он и сейчас остается единственным в своем роде?*

— Недавно встретил молодого писателя в Берлине. Живой человек с очень опасной судьбой: как бы и бандит, как бы и вот-вот его посадят, если не выкрутятся. И он дает мне свои тексты — вдруг он стал писать. Замечательный талант! Писателя еще нету, а талант есть. Он пишет языком, своим этим уголовным языком пишет — увлеченно, поэтично, стремительно и ненарочно — ничего не читавший человек. Сразу начинаю спрашивать: читал ли ты Алешковского, читал ли ты Бабеля, читал ли ты Довлатова? Нет, ничего не читал — само собой у него выходит. Просветиться сможет — получится писатель.

— *Вы писали о литературе не только как о деле писателя, но и как о деле филолога — что для писателя вообще-то нетипично. Иногда даже складывается ощущение, что Вы объединяете задачи писателя и филолога.*

— Обязанность филологии — фиксировать язык. Слои акцентов, месиво — вот то, чем должен заниматься филолог. Писатель пусть хранит, какие он любит, традиции, и развивается индивидуально, и смотрит на жизнь по-своему. Враждовать писателям нечего, каждый занимает свою нишу. А филолог должен зафиксировать... Распалась империя — и пропадают, я уверен, пласты русской национальной речи, жившей внутри чужой речи, то есть внутри ныне самостоятельных государств. Музыка исчезает! Как влиял, допустим, таджикский язык на русский, какой это приобретало акцент? Ничего, оказывается, не изучено, ничего, оказывается, не описано. Как было истинно сказано, что самая большая редкость — это вчерашний номер газеты, вот так же и вчерашний язык. Литература — это прежде всего память, и, как бы это высоко ни было сказано, память народная. Она не может быть осуществлена одним умом или одним великим произведением, победившим в иерархии. Она осуществляется каким-то отрядом живущих людей. Берешь какие-нибудь описательные словари с толкованиями, где приводятся литературные примеры, и видишь, из кого эти примеры берутся. Можно ревновать, можно не ревновать, но оказывается, что берутся они из тех людей, которые каким-то чудесным способом сохраняли сиюминутность речи, а не высокую индивидуальность.

— Останется ли в двадцать первом веке понятие «рукописи не горят»? Вы вспомнили «Виктора Вавича»...

— В этом смысле они горят.

— Но они возвращаются все-таки. Может быть, ниша для них не раздвигается, им нет места, но все-таки они доходят до читателя — они читаемы.

— Случаев воскресения наблюдается не так много. Это как раз случилось с тем человеком, который фразу «рукописи не горят» и сказал. Вымолил он ее у Господа. Но все-таки публикация «Мастера и Маргариты» произошла через тридцать лет — это не шестьдесят и не семьдесят. Да еще роман-то ведь тоже по природе классически детский, то есть из тех, которые могут стать детским чтением, как «Гулливер» и «Робинзон». И на фоне общей пустыни у него с почти тридцатилетним опозданием оказалось современное существование, он попал в резонанс. Так что, несмотря на то, что уже не было в живых Михаила Афанасьевича, он получил какую-то странную историю. Это и в мировой литературе случилось. Вот Стендаль как накаркал: «Меня будут читать в 1929 году». И действительно, в 1929 году, когда был мировой кризис, Стендаль вдруг у нас взмошел — и «Красное и черное», и все остальное; даже Бальзак с Золя куда-то подальше отошли. С Кафкой такая же штука — резонанс послевоенный, когда он вдруг оказался частью мирового сознания. То есть был, как в таблице Менделеева, пропуск, а более сильного кирпича не нашлось. Или вот, скажем, французские экзистенциалисты. Камю попал в точку, в резонанс, а ведь такие же вещи делались и в Италии, и в Югославии: Крлежа написал до Сартра «Тошноту», итальянец Звево тоже писал какие-то вещи раньше других. Но всплыли три кита, то есть Джойс, Пруст, Кафка — и уже хватит.

— Такое попадание в резонанс как-то предопределено, или это происходит совершенно необъяснимым образом?

— Вот Виктор Соснора (он еще, дай ему Бог здоровья, жив, но не определено его место в литературе, это только сейчас происходит) занялся исторической прозой — до того, как пошла на это большая мода. И был у него очерк, в котором он написал: что же это за забытие было с Пушкиным, а потом вдруг произошел взрыв его популярности? Да пятьдесят лет наследования прошло, платить стало некому! И все издатели накинулись на хорошо вылежавшегося задержанного Пушкина. А, скажем, Чехов, который рано помер, успел сказать такую фразу, чисто чеховскую: почитают меня еще лет пятьдесят, а потом забудут. Но он же не учел, какие это будут пятьдесят лет, он же не имел в виду тот год, когда Сталин только что умер! Этот период не мог уместиться в его мозгу, да? Он, при всем его уме, экстраполировал то время, которое имел. А поскольку у него здоровые были мозги, то, может быть, если непрерывное развитие, без катаклизмов, считать по Чехову — минуя Первую мировую, минуя революцию, — то можно предположить, что было бы вялое развитие, конституционная монархия, и может быть, действительно через пятьдесят лет Чехова забыли бы, и не было бы такого великого писателя?

Это все такая ячеистая штука, такие непредсказуемые вещи! А есть критики, которые думают, что они руководят литературным процессом... Мне мама

любила рассказывать, как еще в предвоенное время она повезла моего старшего брата в поезде. Он, конечно, переживал, как положено ребенку. Так вот, он там пепельницу крутил — и поезд шел... То же самое в литературном процессе происходит. Кто-то думает, что поезд идет оттого, что он пепельницу крутит. И многие не о насущном говорят, а о какой-то системе славы, признания... Хотя о пропущенных славах — очень интересно. Я несколько раз пытался поднимать какие-то репутации, когда мне было непонятно, почему тот писатель звучит, а этот не звучит. Вот уж действительно, тайна сия велика есть. Вот этим бы заниматься! Нет, это неприлично, занятие ненаучное. А ведь есть феноменальные случаи. Например, когда мы при всем зажиме медиа и пиара при советской власти имели совершенно неожиданное полное признание Высоцкого, к которому только теперь возвращается признание поэта. Никуда не деться: он, оказывается, был поэт — пока признанные поэты что-то там велеречивовали... А то, что случилось с Венедиктом Ерофеевым? «Москва-Петушки» будет жить, в этом я могу дать гарантию, никуда эта книга не денется — так же, как «Горе от ума». Очень напрашивается такая аналогия! Хотя ближе к «Москве-Петушкам» другая поэма, «Мертвые души», но это по перекличке, а по судьбе — «Горе от ума». Как Пушкин сказал: разойдется на пословицы и поговорки, станет частью речи. Кстати, а Пушкин что, сразу возник? В России ведь не было практики всемирной славы. Крылова все знали, Баркова, а других опор у Пушкина и нет. Пока Карамзин не написал «Историю» — не было предшества. И вдруг получает полную упаковку «Руслан и Людмила», сразу «всесоюзная известность!» А потом — чем он больше развивается, тем лучше пишет, и тем меньше он нужен... Слишком сильно взял. А помирает вообще в полуизвестности. То есть все знают, конечно: Пушкин, Пушкин — он стал словом. Но тем не менее даже Баратынский, который его знал всю жизнь, удивляется на основании посмертного сборника: «Боже мой, это же мыслитель!». Вот эти хитрые люди! Не хитрые, а — судьба, судьба, судьба... При этом у Пушкина — чувство ее. Ведь мы знаем другой корпус Пушкина, чем знали современники. Не был опубликован «Медный всадник», не были опубликованы самые великие стихи — бездна неопубликованных вещей! Геннадий Гор, когда не мог опубликовать «Корову», говорил мне: «Должно же у порядочного писателя остаться что-то в столе». Но вот у Чехова, по-моему, не осталось ни одного произведения. А Лев Николаевич намудрил — посмертный том его вываливается из рук: там впервые напечатан «Хаджи-Мурат», «Живой труп», «Алеша Горшок»... Такое количество настоящих вещей, без которых мы Толстого не видим!

Я сейчас пытаюсь сделать третью книгу по Пушкину. Было «Предположение жить. 1836», было «Вычитание зайца. 1825», хочу сделать «Глаз бури. 1833» — вижу, как это сделать. Надо бы поторопиться, а уже как-то сил не хватает... Когда в 1833 году «Медный всадник» был написан, Пушкин знал, что он написал — знал, что он сделал. Никто не знал, и до сих пор это не совсем понятно. Я вот, например, до сих пор не могу постичь всей бездны, которая возникла в этом, как бы простеньком, произведении. Каким бы прекрасным стихом оно ни было написано, все-таки все достаточно просто: вот вам вступление — знаменитое, гимнообразное, никто лучше не написал про Петербург; потом пропуск — и начинается часть про бедного Евгения, который сошел с ума во

время наводнения, и Параша какая-то... Почему это такая бездна, почему там все сказано вперед и навсегда, и взаимоотношение частей настолько многообразно, что ни в каких более обширных сочинениях не встретишь: государство-личность, стихия-рок — все что угодно в одном водовороте? Вот мы с вами начали говорить об экологии — пожалуйста, вся пропасть там обозначена.

— *А откуда появилось название «Глаз бури»?*

— Был вдруг подарок по телевизору от Би-Би-Си. Вот кому бы дал Нобелевскую премию мира, или науки, или еще не знаю чего — этим ребятам, которые показывают живую природу. Это такие мастера! И что они делают, и как мысль там спрятана!.. Да, наверное, хорошие деньги, наверное, редкая специализация и высокий уровень — но вот это настоящая работа. Кроме пилотов, которые каждый раз вовремя сажают мой самолет, и хирургов, которые вовремя вырезают опухоль, — я других таких людей не знаю. Так вот, показывали стихийные бедствия, и было снято то, что называется «глаз бури» — уже название красивое, да? Я об этом раньше слышал и даже в «Пушкинском доме» нашел у себя написанный тридцать лет назад текст: когда Лева пишет о том, что Пушкин находится в середине смерча, в тихом пространстве. Значит, я откуда-то еще из физики, из географии запомнил, что в центре тайфуна — покой. А тут было снято с самолета-исследователя, как это зарождается: вьющаяся, черная, дымящаяся, расширяющаяся воронка уходит очень далеко. А в ней покой. Смерч прорвал грязную вату — и голубое небо, и тишина, а он летит себе... Вот это и есть гений. Пушкин попытался вылететь из глаза бури — я так хочу написать. В 1833 году он создает модели игры и стихии — и «Пиковую даму», и «Медный всадник». Обе вещи удались, но во что они обошлись? Вопрос в том, чем он заплатил...

— *Есть случаи, когда люди сохраняли жизнь, оказавшись в таком центре бури.*

— Да, те, кого перенесло вместе со смерчем. Существует же старое правило, что при артобстреле надо лечь в свежую воронку, потому что снаряд дважды в воронку не упадет. Правда, теперь, не дай Бог, другая будет артиллерия...

— *Вы говорили о разных скоростях развития литератур, о лакунах в этом развитии, о пропущенных славах. Но все это говорилось по отношению к прошлому. А в будущем все будет происходить по таким же законам? Или время настолько непонятно уплотнилось, что будет что-то совсем другое?*

— Что-то будет непонятное. Я думаю, что литература возвращается к рукописному состоянию. Вот я недавно был в удивительной, совершенно старинной библиотеке — в европейском городочке маленьком. Это сказка, какие там накоплены ценности и какие там лежат книги! Так же, как в Матенадаране, где буква каждая чего стоит. Не знаю, какая амбиция мне подсказывает, что книги надо сейчас делать драгоценными, чтобы они стали хотя бы предметом букинистики. Я такие амбициозные книги хотел делать для других, но получается, что легче их сделать для себя. Если даже я заявлю — букинистически они будут ценны. Был такой, кстати — по-моему, я не вру, — Струйский на границе XVIII и XIX веков. Богатенький графоман, держал у себя дома типографию,

сам делал свои книги. Поэзия его не имеет никакой цены, а книги эти ценятся на «Сотбис».

По-моему, в будущем книга приобретет больший адрес, то есть читатель станет профессионалом. Да он таковым и является — по сути дела, хороший читатель иногда становится писателем, иногда даже хорошим. Вот смотрите: симфоническая музыка — не очень простая штука, требует и уха, и слуха. И залы работают! Разобраться по-настоящему, кто как машет палочкой, — это не так просто. Конечно, многие приходят на славу, на апломб, на амбициоз, но все-таки это уже правильно собранная аудитория.

— Но может ли издатель ориентироваться на такую аудиторию, или он в этом случае быстро разорится?

— Проблема невыгодности хорошей литературы существует, как и необходимость зарабатывать на массовой. И она очень непроста — например, сейчас идут сплошные крахи издательств, которые чем-то зарабатывали и что-то пытались сохранить. Но, с другой стороны, это им было необходимо, потому что хороший лист авторов — это престиж издательства. Авторы невыгодные, а список их создает издателям имидж; это сложная очень механика.

Сейчас, по-видимому, для литературы как раз образуется соответствующая ей ниша. Никуда вы литературу не вынете. Ведь вы не вынете из процесса теоретическую математику: без нее не будет правильно рассчитана прикладная математика. Так же и без литературы не может быть жизни языка и определенного вида совершенно необходимой биологической, видовой памяти — национальной памяти в том числе.

— Андрей Георгиевич, вы, как говорится, будете смеяться, но не могу не спросить о планах. Хотя бы о стахановских задачах, которые вы ставите перед собой теперь, когда переход века уже произошел.

— У нас есть тайна вместе с директором Ясной Поляны Владимиром Ильичем Толстым. Ему очень понравилась идея, и мы ее копим на 2010 год, к столетию смерти Толстого. Но ведь в любой момент я могу уйти, значит, можно её опубликовать, да? Как зайцу памятник есть — памятник выбору, — так в 2010 году мы хотим поставить памятник последнему произведению. Тому, которое осталось у писателя в столе. У меня есть проект, очень красивый, и место есть в Ясной Поляне. Конкретное воплощение будет связано с Толстым, но памятник будет последнему произведению как таковому. В этом должна быть широкая мысль.

ЧЕЛОВЕК-ОВЦА И ГОСПОДЬ БОГ

Харуки Мураками и его русские читатели

Мураками — один из самых читаемых у нас современных зарубежных писателей. Книги его раскупаются, как горячие пирожки: не успевая остынуть. В кругах *продвинутой* «молодежи» от 15 до 45 лет его уже стыдно не знать. И вот уже не Акутагава и не Кобо Абэ, при всех их достоинствах, становятся для нас символом новой японской литературы. А именно Мураками. В поколении 15-30-летних он быстро становится культовым фетишем. В чем причина этого успеха? Думаю, тут не просто заразная мода.

Во-первых, Мураками — *просто хороший писатель*. Он умеет интересно и ярко рассказывать истории. Он умен и изобретателен. У него яркие образы.

Вот один пример. Герой едет с подругой в вагоне поезда. Она дремлет. «Крошечный мотылек прилетел откуда-то и запорхал над нами энергично и бестолково — клочок бумаги на слабом ветру. Покружив так, он сел к ней на грудь, отдохнул там недолго, затем вспорхнул и скрылся из глаз. Мотылек улетел — и мне почудилось, будто она немного, совсем чуть-чуть постарела»...

Но это далеко не все. Мало ли у кого есть красивые метафоры и прочая живописная оснастка! Успех Мураками связан с тем, что он — *писатель актуальный*.

Такое бывает не со всяким. Не каждый к тому и стремится. Но Мураками это удается. Он размышляет о том, что волнует современного человека. Я начал читать Мураками с некоторым недоверием. Ведь успех у читателей — это чаще всего критерий не качества, а доступности и облегченности. Но в итоге он меня, можно сказать, победил.

И, наконец, он делает свое дело всерьез. Без той иронической ухмылки в важном разговоре, которая так портит репутацию иных наших отечественных сочинителей, не позволяя поверить им даже в малом.

Нужно согласиться: Мураками принципиально доступен даже для не слишком-то опытного читателя. Правда и то, что его проза — это своего рода антология тем и мотивов западной литературы XX века, где американские мастера детектива Хэммет и Чандлер сочетаются с Хемингуэем, Сэлинджером,

Евгений
ЕРМОЛИН

— родился в 1959 г. в деревне Хачела Архангельской области. Окончил факультет журналистики МГУ. Доктор искусствоведения, профессор Ярославского университета. Автор ряда литературно-критических статей, нескольких книг по культуре и истории Ярославля. Постоянный автор «Континента». Живет в Ярославле.

Кафкой... Ну да, многое из того, о чем он говорит, «знаешь» и без него. И без особого труда опознаешь темы экзистенциально ориентированной литературы Запада. Когда у Мураками в романе взгляд героя как будто случайно вдруг падает на книжку Конрада, я уже внутренне вздрагиваю и зажигаюсь... Но в какой-то момент понимаешь, что перед тобой не коммерческая подделка, не постмодернистский коллаж, а *проза вполне серьезного и ответственного лирико-экзистенциального посыла*. Она оставляет впечатление не просто старательного переложения, но — духовной переключки, когда *личный опыт автора пересекается с большими темами хорошей прозы Америки и Европы*. (Есть у Мураками и отсылки к русской литературе, хотя по сравнению, например, с Акутагавой их не так много. Да и откуда им взяться в наше-то время, если русская проза XX века уж слишком, пожалуй, специфична?)

Давняя у меня путаница с именами и фамилиями японцев. Сначала я вообще ничего не понимал и верил в то, что если писателя зовут Ихара Сайкаку, то Ихара — это имя, а Сайкаку — фамилия. А потому искал (и находил!) его в каталогах библиотек на букву С. Но потом я пообщался по случаю с японцем — и понял, что все обстоит ровно наоборот. В сочетании из двух именительных слов первое у японцев — фамилия, а второе — имя.

Но с Харуки Мураками снова возникли непонятки. Где тут фамилия? Нельзя же доверять переводчику Дмитрию Коваленину, который местом своего обитания однажды называет Ниигату, в Японии. Коваленин произвел замечательную просветительскую работу, сопроводив своей обширной статьей переведенный им роман «Охота на овец»¹. Едва ли переводчик панибратствует, всюду в статье величая своего героя по имени. Значит, Мураками — фамилия. К тому же Коваленин извещает, что этот японский писатель — в современной национальной словесности чуть ли не самый вестернизированный. Даже живет он то в Европе, то в Америке. Вполне уже мог приспособить свое имя к обычаям Запада...

Этот далеко не самый крупный вопрос связан с ключевой для Мураками проблемой — проблемой, как теперь говорят, *персональной идентичности*.

Что из себя представляет человек? Что в нем своего, сущностного, базисного? Где он начинается, где и чем кончается? И зачем вообще жить? (Не столько «как», сколько — именно — «зачем»). Вот небанального характера вопросы, которые образуют главное содержание этой прозы, определяют нерв творчества Мураками.

Но сначала еще несколько слов о самом писателе для тех читателей, которые еще не успели приобщиться к его харизме. (Тем, кто уже хорошо знаком с прозой Мураками, наверняка известны и основные вехи его биографии. Они могут этот абзац пропустить.) Харуки Мураками родился в 1949 году в древнем Киото, а юность провел в портовом Кобэ. С детства он знал английский (что по тем временам в Японии было, кажется, редкостью) и запоем читал иностранные

¹ Коваленин Д. Лучший способ потратить деньги, или Что делать в период острой джазовой недостаточности // Мураками Х. Охота на овец. Роман СПб., Амфора, 2000.

книги, всё, что находил у букинистов, которые задешево покупали у американских моряков полуслучайный книжный хлам². Упоминают среди прочих кумиров юного японца Чандлера и Хэммета, Макбейна и Хемингуэя... Писателей разных кондиций, но для восточного человека, возможно, гораздо более близких друг ко другу, чем кажется это нам. По обычной логике восприятия Западом Востока и Востоком Запада. (Хотя Восток ли ныне Япония? Не превратились ли в пустую условность ветхие размежевания?) Затем — идейный раздор сына-космополита с отцом-патриотом, учеба в университете Васэда (отделение греческой драмы), джаз-бар в Токио, где ищущий себя юноша разнимал завязтых драчунов... В 30 лет литературный дебют (роман «Слушай песню ветра») — и сразу ошеломительный успех. С тех пор появилось еще несколько книг: романы «Китайский бильярд 1973», «Охота на овец», «Норвежский лес», «Дэнс, дэнс, дэнс»... В среднем по роману в год. Плюс эссе, рассказы и переводы. Мураками стал модным и даже культовым писателем у японской молодежи 90-х годов, его произведения перевели на основные языки мировой литературы.

Слава Мураками достигла и России. Его имя — пароль причастности к серьезным и насущным темам, волнующим тех, кто вошел во взрослый мир «после совка». А еще — знак принадлежности к некоей новой общности. Мне кажется, отличительной чертой этого сообщества русских друзей Мураками является внутренняя свобода, открытость, приятие внешнего мира, способность ощутить себя гражданином глобальной ойкумены. И притом — довольно острое чувство культурной маргинальности, местопребывания на краю народившегося культурного космоса. Ведь и сам Мураками таков.

Его герои, как справедливо замечает Коваленин, «носят джинсы и «сникерсы», смотрят фильмы Хичкока, ездят на «фольксвагенах», пьют «Хайнекен», а образы для диалогов и мыслей черпают из мирового рок-н-ролла и современной западной литературы». Коваленин признается, что такую прозу ему нравится переводить. Кажется, многим русским читателям из урбанистической и космополитической среды по той же причине нравится такую прозу читать. Она не сугубо специфична, не этнична в том узком, специальном смысле, в каком этничен, к примеру, Кэндзабуро Оэ. Или там Алексей Ремизов.

У западных читателей есть с писателем общая база — и бытовая, и культурная. Есть *общее духовное пространство* поверх границ и помимо расстояний.

Могу только предполагать, как способны запасть на его прозу, скажем, поклонники рока! Герой Мураками по этой части подкован на все сто, он снова и снова возвращается воспоминаниями и ассоциациями к этой запад-

² В СССР с этим было и лучше, и хуже. С одной стороны, не так уж мало книг было переведено на русский. И это далеко не всегда была чисто конъюнктурная политизированная словесность. Переводили и тех, кого признавали классиками... С другой — цензура бдительно отсекала слишком многое и тогдашний советский читатель был очень плохо, крайне избирательно знаком именно с новейшей западной литературой. Так что только в 90-е был более-менее восстановлен основной контекст мировой литературы (благодаря и переводам, и возможности получать и читать книги непосредственно на иностранных языках) — и мы в него вошли.

ной музыке. Она — постоянный фон его жизни, источник цитат и средство оформления жизненного опыта. Англоязычный цитатный ряд этого рода (названия групп, солистов, строки из песен) — это в прозе Мураками что-то типа пароля. Мелочь, а приятно.

Но дело не кончается деталями. Есть, судя по всему, в последние десятилетия *много общего в духовном опыте японца и русского*.

Кстати: писатель вполне искренне (он всегда искренен) оценивает русских высоко. Один раз так: «Иногда эти русские говорят очень дельные вещи. Не оттого ли, что зимой вообще лучше думается?» А потом герой признается, что по три раза прочитал «Братьев Карамазовых» и «Тихий Дон». «Немецкую идеологию», кстати, только раз («но от корки до корки»). Спасибо, конечно. Уже и не ожидаешь ничего особенного, а вдруг еще срабатывает старинная слава.

И та, и другая страна однажды в XX веке потерпела поражение. Точнее, потерпели поражение тоталитарные, милитаристические, государственные структуры, системы политической идеологии, глобальные сверхидеи. И в том, и в другом случае есть дом с мертвецом. И что-то с ним нужно делать. Потому как он разлагается и смердит. Или уйти из этого дома. Вот Мураками, кстати, и уходит, со стыдом и с гневом.

В «Охоте на овец» у него появляется такой странный, мрачный дом, туда попадает герой. В доме есть библиотечная комната, забитая книжками, изданными эпоху назад и отражавшими архаический пафос империи, качавшей мускул силы. Герой рассуждает: «Сегодня все это не пригодились бы никому — кроме разве какого-нибудь историка, решившего выяснить, из чего состоял обязательный багаж японского интеллигента конца тридцатых годов (...) Испытание Временем с честью выдержали лишь «Мифы древней Греции», «Героика» Плутарха, да несколько шедевров мировой классики». Остальное превратилось в «никому не нужное чтиво»³.

Это для русского — все равно что ненароком попасть в синекорешковое окружение 54-томного Полного собрания сочинений В.И. Ленина...

Символично, что герой Мураками покидает этот дом, а в финале романа дом и вовсе взрывается.

Разумеется, уходя, писатель выносит с собой и то, что связывает его с национальной культурной традицией. Кое-что японское. Некий специфический поворот ума, формы сознания. Но и их он претворяет в нечто общезначимое. Что это за общезначимость?

Здесь пора кратко дать представление о романе «Охота на овец», с которого у многих начинается знакомство с Мураками, о главном герое нашего автора.

Проза лирическая, лирико-исповедальная. Герою-рассказчику под тридцать. Уже по первым страницам в романе опознается задержанная до конца третьего десятка юношеская неудовлетворенность, смятения анархической души, брожение ума... Писатель изобразил разочарованного 29-летнего горожанина-скептика, своего ровесника, мечтателя, который устремляется к свободе от обязательств и любит, чтобы ему нигде не жало. Герой — примерно из того

³ «Охота на овец». СПб., Амфора, 2000

слоя, что, скажем, персонаж Пелевина из его последнего романа, Татарский. Но книга Мураками гораздо интереснее. Он пошел совсем другим путем. Никакого цинизма, никакой левацкой релятивности, никакой двусмысленности. Что и роднит героев японца и русского, так это та темная тоска, которая есть у Пелевина. Но у Мураками она отчетливее и обоснованнее. Откровеннее и искреннее. С какой внутренней напряженностью звучит у Мураками: «ТЫ НЕ ТАКОЙ! (...) НЕТАКОЙ-НЕТАКОЙ-НЕТАКОЙ!!!!»

Он идет сам по себе. Скептичен ко всему на свете, и к себе тоже. И этот критицизм, распространяющийся на себя, импонирует. Наш герой не выше, чем его читатели. Такой же. И мысли у него и у них — похожие. Разве лишь он додумывает некоторые из своих тем до последнего конца, а мы — не всегда. Он говорит, что думает, а думает по делу, и не пытается казаться другим. Ни лучше, ни хуже. Во всем этом есть здоровое позитивное начало, рождающее и симпатию, и чувство солидарности, легко преодолевающее границы и океаны.

Герой попал в круговорот *модернизации* и в ту специфическую *цивилизацию комфорта и удобства*, которая что в Японии, что в нынешней России не может вызвать больших восторгов у духовно ориентированного человека. Ее прагматический пафос, ее культ комфорта — этого мало для мыслящей личности. С цивилизацией покоя, сна духа нельзя отождествить себя честно ищущему и честно думающему герою нашего времени.

В начале книги рассказчик работает в рекламном агентстве. И остро ощущает пустоту и бессмысленность жизни вообще. Жить бы да жить, но куда? С женой герой расстается, они стали друг другу чужими. Детей у них не было, поскольку непонятно, зачем вообще ими обзаводиться. Дело героя не увлекает. Вообще коммерческая, потребительская цивилизация, общество делового успеха — это не для него. Это ему скучно выносить. Невозможно с этим совпасть. Его фишки — неучастие, отчужденность.

Ему некуда возвращаться. У него не осталось родины. Готовой, ждущей его, как подруга. Любимый город другу не улыбнется. Катюша ушла с берега. И вообще ушла навсегда. Это не просто бытовая некоммуникабельность. *Одиночество — судьба.*

Отсутствие коммуникации — результат потери социальной прописки. А что может быть для нее основанием? Только сентиментальные воспоминания, которые сильно остыли. И какое-то неопределенное взаимное тяготение. Свободные, ни к чему не обязывающие отношения — воспринимаются как наилучшие из возможных. Пронизанные чувством обреченности, чувством, что рано или поздно нить оборвется, пути разойдутся. Герой с подружкой «смаковали оставшееся ... время жизни вдвоем, точно смертники — отсрочку исполнения приговора». Но и это время кончилось. Основное содержание «Данса...» — безуспешные поиски потерянной подружки, безнадежность отношений.

«Жизнь понемногу становилась все проще и проще. Я потерял свой город, потерял юность, потерял друга, потерял жену, а через три месяца потеряю слово «двадцать» в собственном возрасте». Ему уже нечего терять. Так ему кажется. У героя ничего нет. «Я стоял с телефонной трубкой в руке посреди огромного города, десять миллионов человек слонялись вокруг меня — и совершенно не с кем поговорить». Никто не жаждет встречи с ним. Он никому не нужен.

Иногда Мураками говорит об одинокой душе с варварской простотой: «До самого рассвета я просидел в одиночестве, разглядывая луну и гадая: сколько еще это будет твориться со мной? Наступит день — и я снова встречу кого-то. Все будет очень естественно — как движение планет, чьи орбиты пересекались. И мы снова будем надеяться на какое-то чудо, каждый сам по себе, выжидать какое-то время, стирать свои души — и расстанемся, несмотря ни на что...» Иногда о том же сказано более утонченно: «Когда долго живешь один, поневоле начинаешь пристально разглядывать что попало. Разговаривать с собой то и дело. Ужинать в шумных трактирчиках. Тайно любить свой подержанный автомобиль. И понемногу отставать от жизни».

Едва ли ошибается Коваленин, утверждая, что Мураками первым в японской прозе сегодня предложил молодежи «героя своего времени», с прочувствованной и осознанной позицией. Героя имманентно непродажного. Неуютного для окружающих. Непригодного для «приличной жизни», не признающего дутых авторитетов. Он не очень-то заботится о собственном будущем, только хочет оставаться человеком в самых нечеловеческих ситуациях. «Оставаться живыми — пусть даже их поступки некому понять и оценить. А если придется — то и ценою собственной жизни».

Социальный аутсайдер особого рода хочет *жить по-своему*. Джинсы, старые тенниски, туфли со стоптанными подошвами. Пара банок пива и сэндвич с ветчиной. Не любит проблем, громоздящихся на столе в ожидании твоего прихода. Не любит вообще жить по расписанию. Не любит церемониала, формального порядка, официозности, казенной любезности, фальшивой приветливости, не хочет жить по ранжиру и под копирку. Любит садиться в поезд дальнего следования без багажа. Импровизация — стиль его жизни. Джаз. И в таком же стиле разворачивается повествование о герое. В романе много эпизодов без развития и как бы ни о чем. Разговоров просто так. Жизнь течет, как вода. Шелестит, как листва дерева. Она иррациональна и временами загадочна. Герой непонятен сам для себя. Есть момент неопределенности в его жизни, в поступках и решениях.

Герой остро чувствует бег времени. Ускользает молодость. Ускользает жизнь. Старение в отсутствие смысла — потеря себя. Щупаешь — и не можешь нащупать. Бывшая жена героя сделала для себя такое открытие: клетки человеческого тела обновляются каждый месяц. Что же остается от человека? От моего и твоего я?... В ответ на замечание героя: «Но я-то уже столько лет с тобой сплю! Знаю каждый уголок, каждую клеточку твоего тела...» — его партнерша отвечает: «Все, что ты знаешь обо мне — не больше, чем твои же воспоминания!..» Потом у писателя появляется и мотив неопределенности представлений человека о себе. «Что я вообще могу знать о себе? Разве то, каким я себя представляю, — настоящий я?»

Темы Мураками — релятивность телесности, полная неопределенность личного остатка в жизни без событий. *Текущая, постоянная смерть*. «С мелких, поистине микроскопических изменений начинает стареть человек. Чем дальше, тем больше появляется таких вот слабо уловимых, но уже нестираемых мелочей — пока, наконец, не опутают они, точно паутина...» Существование — тупик, кольцо. «Ничто не меняется. Всегда, всегда, всегда — порядок вещей на свете один и тот же. Ну разве что номер у года другой, да новые лица взамен ушедших».

Он ни при чем. То ли он есть, то ли это только кажется: «Этот мир всегда вертелся без моего участия. Без малейшего отношения ко мне люди ходят по улицам, затачивают карандаши, еду с востока на запад со скоростью пятьдесят метров в минуту и заполняют рафинированно-безликой музыкой воздух в кофейных залах больших отелей».

Подчас чудится, что Мураками и его герой остаются отчасти дзен-буддистами. Это бывает, когда вдруг очень спокойно звучит мотив отсутствия себя. *Нулъ личности* — качество японское, дзенское, незападное. Культурная оболочка сброшена, а что осталось? Фантом! «Еще полгода — и канет в Лету третий десяток лет жизни. Ничего, абсолютно ничего после себя не оставившее десятилетие. Во всем, что нажито, ценности — ни на грош; все, чего я добился, не имеет ни малейшего смысла. Если что и осталось со мною в итоге — так лишь эта самая Скука...» *Скука*. Это универсальное метафизическое состояние, однако, едва ли может быть прописано в восточной традиции. Умеют ли буддисты скучать? «Скука Как Она Есть» — знак потери смысла. С какой бы скоростью ни ехал поезд — от этой скуки не убежать. В пути: «Чтобы как-то убить время, я попробовал подсчитать в уме, сколько песен записали «Битлз» на пластинках. Дойдя до семидесяти трех, я застрял. Интересно, сколько насчитал бы сам Пол Маккартни?...»

В прозе Мураками открывается *общезначимость осевого опыта*, который снова оказался предельно актуален в Японии и в России рубежа тысячелетий. Кризис традиции, ее распад, оставили человека один на один с мирозданием. Он перестал совпадать с чем-то, что больше и главнее его. Его снедает глущая неудовлетворенность, томительное чувство смыслоутраты. И человек задумался о самых простых и самых основных вещах. Он задает вопросы. Где жить? Как жить? А главное — зачем жить? Мураками не пытается дать готовые ответы на все вопросы. Многие из них так и остаются открытыми.

«Я сегодня весь день абсолютно свободен». Но это слишком-таки пустая свобода. Ее у героя целые завалы, но куда их девать? Ему остается лишь культивировать самые невинные формы юношеского бунта, вести жизнь внутреннего эмигранта, тайного отщепенца, вращаясь в предельно узком кругу таких же добровольных изгоев.

Герои Мураками — *люди осевого чувства*. Герой до конца сохраняет неприкаянность, внутреннюю тревожность. Чувство победы смешано у него с чувством поражения. Этим он нам и близок. Собственно, мы и он — одна команда. И это трогает что-то в душе, даже если ты успел уже протянуть уйму лет и не склонен впадать в азарт по пустякам.

Поколение Мураками: школьники и студенты, ищущие себя, замотанные конторскими буднями юные клерки, тоскующие по иному. Хай-тек. Поколение неудовлетворенных автоматизмом жизни, личным участием в той большой, настоящей жизни, которая, наверное, где-то все-таки существует. Те, кому эпоха и среда не дают повода и предмета для серьезного участия.

Таких людей не так уж мало. Их становится даже больше. Недавно в Ярославле, где я живу, случился театральный фестиваль и некий провинциальный театр привез на него постановку «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. И случился аншлаги. В огромном зале яблоку было негде упасть. Постановка, кстати,

оказалась довольно посредственной. Но не это сейчас важно. Важно, что еще лет десять назад, я уверен, знали про Сэлинджера и любили его у нас в провинции единицы...

Успех Мураками — из того же ряда. Меня он радует. Я думаю так: если вообще существует сегодня безусловная, непропагандистская, небандитская и нечехистская Россия, если вообще возможна Россия будущая (та, в которой хотелось бы жить), то составляют ее, условно и, безусловно говоря, читатели Мураками.

Россия — это честный и бескорыстный поиск читателями Мураками себя в чуждом, даже враждебном мире.

Возможно, только выбор, определяющий судьбу, делает в жизни зарубку, которая что-то значит. Герою предоставляется возможность дела. Хотя возможность отчасти фиктивная, сопряженная с фантазмагорией. Незамысловатые будни аутсайдера пресекаются неожиданными осложнениями. В романе появляются фантастические допущения. В соответствии с ними и развивается сюжет. Начинается прорыв из рутины в загадочный, романтический мир. Возникает *возможность поступка*.

Суть дела в следующем. Есть некая непонятная, целеустремленная сила (Овца). «ОЧЕНЬ — ОСОБЕННАЯ — ОВЦА». (Сразу сказать: западная, христианская ассоциация «овца — Агнец» тут не работает.) Воплощенная Воля. В стремлении к своим целям Овца меняет человеческие оболочки. Она завладевает человеком и дает ему небывалые возможности (силу, власть, успех, богатство) в обмен на сухую малость — на его личное начало. Человек, проще сказать, в итоге сам становится Овцой. Вселение Овцы — потеря себя. Окончательная и бесповоротная. И уже в этом качестве приобщается к первоначалам мироздания, к некоему первозданному безличному Хаосу — помимо личного сознания, помимо слов.

Однажды, когда Овца вдруг уходит из изношенной оболочки некоего теневого дельца огромного размаха и влияния, Сэнсея, создавшего могущественную «Империю» влияния и силы, именно нашему герою стечением довольно странных обстоятельств дается то ли поручение, то ли приказание. Время. Ему нужно за месяц найти пропавшую Овцу.

Дальнейшее — почти детективная история этих поисков, которые приводят героя к его старинному другу, имеющему странновато звучащее для русского уха прозвище Крыса. Крыса какое-то время назад покинул города и жил в страшной глуши. Здесь-то в него и вселилась Овца. Но это его не обрадовало. И вот Крыса, в которого вселилась Овца, покончил с собой, когда та заснула.

В пересказе история выглядит глуповато. Собственно, примерно так она воспринимается и героем. Он говорит, впервые услышав об Овце: «В целом вся эта история — какой-то дурацкий бред, в который просто невозможно поверить». Но тут же добавляет: «Но странно: именно из ваших уст она звучит чуть ли не как чистейшая правда». То же можно сказать про Мураками. Звучит, как чистейшая правда.

Нужно сказать, что и в самом романе нет чрезмерных сложностей. Мураками умеет заинтриговать читателя, и переводчик имеет, вероятно, основания говорить о «музыкализации текстового потока», о некоей джазовой компоненте

прозы Мураками. Но суть его рассказа проста. Даже при том, что в романе, кажется, не все концы с концами сходятся. Есть какие-то болтающиеся нитки. Есть как будто лишние подробности, детали, которые не стреляют или стреляют не в цель. Фантастический элемент, однако, введен очень деликатно. Все (или почти все) странности получают вполне здравое объяснение. А то, что объяснить нельзя, преподнесено в переживании, на грани сна и бреда, реальности и воображения. И та же Овца — персонаж, который ни разу не появляется «в кадре», она существует только на фотографии, в рассказах и размышлениях о ней. Даже возникающий однажды перед главным героем Человек-Овца оказывается только неким слегка свихнувшимся дезертиром, который ушел от людей, чтобы не служить в армии и не убивать людей, сшил себе одежду из овечьих шкур и живет в лесу.

Ну, по крайней мере герой и его друг не захотели власти ценой потери себя. Так это можно понять. Прошли через это искушение. Чудесное появляется для того, чтобы испытать человека. Коваленин говорит о «конflikте доктора Фауста» в романе. И тут же добавляет, что дьявола в романе нет, Овца — это не столь определенная сила, Восток вообще не знает «Зла как такового». «Есть лишь Непонятное — или Пока Непонятное нами в самих себе...» «Монстры эти не положительные и не отрицательны, не добры и не злы. Их космическое Предназначение и цели, как правило, остаются вообще за пределами человеческого воображения».

Так ли это? Трудный вопрос. Кажется, все-таки персонифицированное зло («Зло») в сознании писателя и в романе присутствует. Вот разговор героя с профессором об «Идее Овцы».

— А эта Идея... Она, вообще говоря, гуманная?

— Гуманная. В понимании Овцы.

— А в вашем понимании?

— Не знаю...»

И еще так говорит профессор, который также однажды оказался вместилищем Овцы, но потом был ею брошен и остался на всю жизнь раскоординированным. («Овца уходит, оставляя в голове человека голую Идею. Однако выразить эту Идею без самой овцы нет никакой возможности! В этом и состоит весь ужас «обезовеченности»): «Никого на свете овца еще не сделала счастливым. А все потому, что перед Овцой добро и зло в жизни человека утрачивают всякий смысл...» Но добавляет: «Впрочем, у тебя, надо думать, своя ситуация».

Мураками не директивен. У каждого из его читателей своя ситуация. Но есть общий вектор. Коваленин связывает этот вопрос с индетерминированностью человека в представлениях восточного писателя. Человек непознаваем до конца. Но это ведь вовсе не чисто восточная истина. Это вполне западное знание о человеке, его сущности и пределах, свободное от позитивистской и от рассудочной ограниченности. «В сравнении с тем, что являет собой Овца, наши проблемы Личной Совести (...в контексте социетизма западного типа — Е.Е.) оказываются безнадежно размыты — и перекрываются вопросами о выживаемости человека». Так говорит Коваленин — и говорит не слишком-то определенно. Сие в принципе сомнительно.

Важны в романе две итоговых темы. Одна — *отдаться или сохранить себя*. И как себя сохранить. А если невозможно — то что? Фатализм и свобода. Выбор. Его человек вправе сделать сам. Раз и навсегда, однако. И подчас оказывается не готов. А тут-то его врасплох и застает рок. Но герой упрям и упорен. Он — главное препятствие.

Вторая — *одиночество и некуда вообще пойти*. «Ведь по крайней мере я выжил... Конечно, лучший индеец — это мертвый индеец. Но мне во что бы то ни стало понадобилось жить дальше.

Зачем?

Рассказывать байки каменным стенам?

Чушь собачья».

В финале «Охоты...» герой сидит на берегу моря и плачет. Так проходят два часа. Но потом он встает и делает первый шаг из бездны поражения и жизненной неудачи. «Совершенно не представляя, куда идти, я все-таки встал и отряхнул налипший на джинсы песок».

«Когда солнце совсем зашло, я сделал свой первый шаг — и услышал, как за спиной еле слышно плеснулись волны». Так кончается этот роман.

Шаг — куда?

Следующий роман, «Dance, dance, dance...»⁴, — и сюжетное, и логическое продолжение предыдущего. Там действия куда меньше, во всяком случае в первой, освоенной мною части. Почти ничего не происходит. Это роман напомнил мне прозу Керуака. Герой в пути, в движении. И только. Без судьбоносных событий и радикальных выборов. Но у Мураками совсем другая логика причин. Ничего не может произойти, потому как жизнь опустела. Герой принципиально отошел от социального и остался сам с собой. Но что такое он сам — это ему непонятно. И зачем он нужен. «...я прозябал один-одинешенек в какой-то *пожизненной отсрочке*».

Рассказчик не желает вступать с социумом в любые отношения. Работает он лишь затем, чтобы на что-то жить: «покрыть расходы на жизнь». Журналист-внештатник, разовые заказы рекламного свойства. (Но при все при этом герой — профессионал вполне высокого уровня. Потому он пользуется спросом и начинает много зарабатывать. Тут вдруг начинает звучать конфуцианский мотив.)

«Очень похоже на разгребание снега лопатой.

Снег все сыплет и сыплет — а я методично разгребаю его и раскидываю по обочинам.

Ни жажды славы, ни желания как-то отличаться на трудовом фронте. Просто: снег падает — я разгребаю. Старательно и аккуратно. Признаюсь, не раз я ловил себя на мысли, что перевожу свою жизнь на дерьмо».

И тут же предлагается вывод: в современном Обществе Развитого Капитализма основной закон всякой деятельности — *перевод-на-дерьмо*. (оптимизация потребления, как говорят политики). Мировой порядок. Есть, есть у писателя и социальная критика: «Люди стали поклоняться динамизму Капитала.

⁴ Dance, dance, dance... Ч. 1. СПб, Амфора, 2001. Дэнс, дэнс, дэнс. Ч.2 СПб., 2002.

Молиться мифу о Капитале (...) Ибо никаких других мифов для них в этом мире уже не осталось.

Вот он, Развитой Капитализм. Мы живем в нем — нравится это нам или нет (...) Никуда не убежишь. А бульжник кинешь — отскочит да назад прилетит».

Мураками создает развилку. Бывший напарник героя пошел путем коммерции, отдался делу. Преуспевает. Герой его понимает, но идти следом — от этого нас увольте. О том же напарнике сказано и так: «он просто стал соответствовать своему возрасту» А наш герой вообще ничему не соответствует. Как критически мыслящая свободная личность.

Еще один повод для сравнения — встреча с бывшим одноклассником, ныне популярным киноактером Готандой. Тот вроде бы процветает — но вдруг признается, что он утратил грань между собой и своим «сценическим имиджем», пребывает в постоянном раздвоении. И еще: он знает, что никогда ничего не выбирал сам. «Где она, моя жизнь? Куда запропастилась? Куда подевался тот настоящий «я», каким я когда-то был? Всю дорогу — сплошные чужие роли...»

Вот и у нашего героя-рассказчика нарастает *чувство отсутствия жизни*. Он блюдет личный суверенитет. Он этому самому учит девочку Юки: «Моя жизнь — это моя жизнь, а твоя жизнь — твоя и больше ничья. Если ты четко знаешь, чего хочешь, — живи как тебе нравится, и не важно, что там о тебе подумают остальные. Да пускай их всех сожрут крокодилы!..» Беда только, что сам-то герой не очень-то ясно представляет, чего он хочет. Ничего ему не понятно.

Герой сидит дома, шатается по улицам, ни с кем не общается. Спит. Раз он читает про Джека Лондона и сравнивает себя с ним. У того была жизнь, биография, а у него нет ее вовсе. У одного судьба полная трагедий и триумфов — у другого ничего не случается. Ни черта.

И все же нашего героя тянет к другому. Он пускается в поиск коммуникации. Собственно, и остаток смысла связан оказывается именно с коммуникацией. Девушка из гостиницы в Саппоро. Полуброшенная девочка, дочь дамы-фотомастера и писателя, которого Мураками назовет почему-то очень похоже на то, как звучит его собственное имя: Хираку Макимура.

Здесь выбор — это возможность общаться. Желание общаться. Это этос: «...я не делаю ничего, за что бы меня потом ненавидели. И пользоваться чужими слабостями я не люблю».

Отвлекаясь от романых перипетий, думаешь о Мураками так.

Тонкая натура. Боль внутри. Но кому ее покажешь? И зачем? Царапины на душе. Не вполне определенная религиозность. Меланхолическая сурдина. Вязковатое многословие. Что-то, напоминающее бормотание в полусне. Театр марионеток. Плоскостные фигуры и несколько обесцвеченная реальность. Эмоциональная пригашенность. Но и слабая интенсивность, ослабленность жизни как таковой. Неверие в возможность Совершенства. Человек — ужасно несовершенная система. И контакты его таковы же. «То линия перегружена. То нужные цифры не вспоминаются. То какой-нибудь осел ошибся номером. Но так уж устроено, я не виноват».

Умерла кошка, герой зарыл ее в бумажном пакете. «Прости, сказал я ей напоследок, но на большее нам с тобой рассчитывать не приходится (...) Что

делать, подруга. Такой финал — самый подходящий для нас. И для тебя, и для меня».

Однажды возникает тема *Последней инстанции*. Водитель авто дает герою телефон Бога. Богу можно позвонить. Сам этот Водитель каждый вечер общается с Богом, и стал в душе христианином. Собственно, речь идет об исповеди и молитве — но с твердой уверенностью, что она услышана, и с тем, что на нее дан ответ. Но герой так и не поговорил с Богом. Даже в голову не пришло. Почему? Коваленин отвечает на этот вопрос так: «Возможен ли разговор человека с Богом, когда сам человек не знает, что представляет из себя? О чем спрашивать Его, когда наши главные проблемы — лишь в нас самих?» Может, он и прав. Надо б подумать.

Впрочем, *Бог* ли это был? Сэнсей умер — и *там* никто больше не берет трубку. Так признается Водитель в финале.

Еще один интригующий аспект — *мистика встречи*. Трудно в современном мире ввести сакральное. Мураками пытается это сделать. Не совсем понятно, вполне ли он осознает, что делает. Возникает ощущение, что он сам идет наошупь.

Мистическое средоточие — отель «Дельфин» в Саппоро. Писатель дает неопределенные намеки на участие Человека-Овцы в судьбе героя, на присутствие провиденциальности в мире. Герой долго к этому идет, причем упорно, хотя не слишком понимая, куда идти и почему. Чудом он попадает в комнату, предназначенную для него одного, где его поджидает в вечности — Человек-Овца. *Мистический посредник*. Встреча с ним — повод для исповеди. Тут начинает работать механизм коммуникации с чем-то высшим. «Медленно и осторожно, словно растапливая глыбу льда, я каплю за каплей выцеживал перед ним свою душу». Признавался в душевном столбняке, в том, что разучился любить...

Взамен он получает не весьма определенное утешение. Суть его, в частности, в том, что все в жизни как-то взаимосвязано — но общая связь будет понятна лишь по итогу, когда-то потом. Или даже и тогда не будет ясна, но по крайней мере в это нужно верить. Человек-Овца — оракул, выговаривающий туманные, непонятные пророчества. «Танцуй, — сказал Человек-Овца. — Пока звучит музыка — продолжай танцевать. Понимаешь, нет? *Танцуй и не останавливайся*. Зачем танцуешь — не рассуждай. Какой в этом смысл — не задумывайся. Смысла все равно нет и не было никогда». Не слишком-то внятный рецепт жизни. Он выдает растерянность автора. Танцуй — то есть живи? Живи полнее? Танцуй веселее? Очень классно, чтобы все на тебя смотрели? Создай свой имидж?.. эх-хе-хе. В словах теряется смысловое зерно.

Неудивительно, что герой после судьбоносной встречи остается с чем был: «Я не знаю, чего в жизни хочу. Даже в каком направлении двигаться — не понимаю. Я ржавею. Ржавею и застываю». Он снова и снова возвращается к словам Человека-Овцы, но без особого успеха в их истолковании и применении.

И становится понятно, что Мураками не столько врач, сколько боль. Но боль-то настоящая. Вот в чем штука.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА

(Второй квартал 2002 г.)

1. Художественная литература

А. «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Новый мир»

Бывает так, что наиболее заметные тексты сезона выстраиваются в ряд не по теме и не по какому-то качеству их поэтики, а в связи со **СМЫСЛОЖИЗНЕННОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ЗАНИМАЮЩЕЙ АВТОРА И ЕГО ПЕРСОНАЖЕЙ**. На сей раз вышло именно так.

Чем определяется человеческая активность, каковы смысловые мотивации деятельности? Этот вопрос доводит почти до степени парадокса **Григорий Померанц** в мемуарном очерке **«Государственная тайна пенсионерки»** («Новый мир», № 5) — об **Ольге Григорьевне Шатуновской**. Шатуновская в принципе всем известна, о ней писали в перестроечные годы. Известно об ее самоотверженной деятельности в конце 50-х — начале 60-х гг. «по разоблачению культа личности». Масштабы Большого террора. Связи Сталина с царской охранкой. Убийство Кирова. Судьба Орджоникидзе. Это все расследовательские темы Шатуновской и темы перестроечной публицистики. Но вовсе не это главное в прозе Померанца, хорошо знавшего Шатуновскую. Его занимает феномен идейной коммунистки, проваренной в чистках и лагере. Чем она жила в своей старости? Как утопия, обернувшаяся к ней жестоким лицом, соотносилась в ее сознании с верой в Бога? Наконец, что давало ей силы снова и снова выходить на поле брани за реабилитацию невинных жертв тоталитарного сталинского режима и расследование его преступлений? Освобождение Шатуновской от идейных иллюзий не завершилось, констатирует Померанц. Ей, захваченной борьбой, не хватало тишины. Она не простила своих врагов. Но очеркист добавляет, что история вообще-то не может обойтись без страстной односторонности. А без этой односторонней страсти не было бы и феномена Шатуновской, посвятившей все свои силы борьбе против мертвого Сталина как личного врага. А стала бы богомолкой — было бы ей не до разоблачений культа.

Как почти всегда не находит мотива жизненной активности героя, сколько-то далеко выходящего за пределы борьбы за выживание, **Анатолий Азольский**. Он дает своему произведению **«Диверсант»** («Новый мир», № 3, 4) жанровое определение **«назидательный роман для юношей и девушек»**. Традиционный для этого автора период: 40-е, начало 50-х. Традиционный герой: молодой одинокий волк. Сначала в годы войны он в составе небольшой команды выполняет особые поручения в тылу врага. Мужает. Убивает, взрывает. Учитесь делать это наиболее совершенно и становится настоящим юберменшем. Но в какой-то момент герой этот начинает догадываться, что его, личным, врагом являются не наци, а любые казенно-бюрократические, античеловечные структуры, которые решают свои сверхзадачи и готовы пожертвовать ради успеха

чьей угодно жизнью. Флаг уже не важен, когда выясняется враждебность человеку любой и всякой власти. И тогда главной целью становится умение выскользнуть из липких объятий организованной смерти. «Россия — центр каких-то ураганов, смерчей, штормов <...> в тихую солнечную погоду русский человек жить не может <...> Спасения нет, надо лишь изловчиться и оседлать тучу, на которой можно продержаться какое-то время»...

Такой вот «антисоветский» и «антифашистский» роман воспитания, переходящий в приключенческое повествование и венчающийся выводами, которые сближают прозу Азольского с литературой экзистенциально-абсурдистского толка. Снова враг писателя и его героя — государство, снова отчетлива в романе анархическая нота. В этом состоит первый урок, первое «назидание». Но государство — только представитель мирового зла, агент неназванного князя мира сего. У писателя острое мистическое чувство присутствия зла в мире — и острее всего неприятие этого бытийного факта. Отсюда духовное напряжение в его прозе, которое меня лично редко когда оставляет равнодушным, с каким бы настроением я ни брался за прозу этого автора.

«Диверсант» — произведение для Азольского, можно сказать, этапное. Писатель пытается придать повествованию новое качество, представляя своего героя не состоявшимся, но не бездарным писателем и доверяя ему рассказывать историю своей жизни от первого лица. Благодаря этому в романе по-новому аккумулируются традиционные мотивы. И острее начинает звучать один немаловажный для писателя мотив. Это поражение героя злом. Убегая от смерти, он в свою очередь убивает. Он становится профессионалом убийства и уже не умеет жить без риска, становящегося самодостаточным. Конечно, кое-какие навыки он умеет применить в мирной жизни. Но жизнь эта для него тошнотавата.

Задачи, которые решает Азольский, подчас ставят в тупик. Как, например, понять рваную логику повествования, сбитую хронологию, скороговорку, умолчания?.. Можно подумать, что, дав своему герою возможность поведать о себе, опытейший беллетрист Азольский увлекся чисто формальной задачей, имитируя способ рассказа, который характерен для дилетанта. Однако видится в этом и другой смысл. Писатель привлекает новые средства, чтобы еще раз удостовериться в том, что является лейттемой его прозы: в хаотичности бытия, в бессвязности и случайности линий судьбы, в бредовости социальной ткани, в принципиальном одиночестве человека, которого не спасут ни любовь, ни дружба. Любовь в романе (как это обычно бывает у Азольского) не удалась, удаются только интрижки. (Впрочем, в порядке исключения на полстраницы рассказано и об удачном опыте супружества.) Надежные друзья гибнут. Будущего у героя нет, он обречен остаться вечным скитальцем, за которым охотятся все на свете спецслужбы...

Роман нужно отнести к числу самых удачных у этого плодовитого писателя-пессимиста, спасающегося от отчаяния творчеством. Это серьезное, глубокое произведение, однако, совершенно выпадает из современного литературного контекста. Оно как будто лишено актуальности — уже или пока. Критики новой, газетно-сетевой генерации просто не в силах понять глубинных тем Азольского и потому в худшем случае лишь похлопывают его по плечу: хорошую, де,

настроил очередную стрелялку-убегалку. В лучшем же — ругают писателя за отсутствие сюжетной динамики (то есть что-то чувствуют, но не знают, в чем подвох).

Жить чтобы любить. Любить-жить. Этого достаточно для героя новейшей прозы **Владимира Маканина**. В «Новом мире» (№ 5) напечатаны два его **рассказа** из книги «Высокая-высокая луна»: **«Неадекватен»** и **«За кого проголосует маленький человек»** (попутно оказалось, что и прошлогодний новомирский рассказ «Однодневная война» входит в нее же). В обоих рассказах один главный герой: старик Алабин, который хочет от жизни остроты и яркости и не устает с невероятной, удивляющей молодняк силой любить женщин. Даже в психиатрической клинике. Это очевидный родственник героя маканинского романа «Андеграунд», но притом смысловые узлы завязаны в новой малой прозе писателя иначе, чем в романе. В странноватом герое с его житейским опытом, зоркостью и юмором, с его маниями и пафосом есть дистанция по отношению к происходящей вокруг жизни. Эта дистанция позволяет увидеть ее в каком-то необычайно пронзительном свете. Маканин, как никто, пожалуй, в нашей текущей словесности умеет нащупать и обнажить нерв современной жизни. Его интерес к обиходу психушки, к пограничному типу героя (то ли норма, то ли патология) связан, кажется, именно со стремлением к анализу психического устройства (или расстройств) современного человека и современного общества. Маканин не берет на себя полную диагностику, но само свидетельство оказывается столь красноречивым, что уже не требует дополнительных аргументов. Причем писателю удается обобщить свои впечатления так, что в малейшей детали его лаконичной прозы сквозит большая суть переживаемого нами исторического момента (оцениваемого писателем крайне низко). Главная, пожалуй, печаль заключена в том, что мир покидает красота. И почти уже ничего от нее не осталось. Эта тема роднит новые рассказы с давним уже «Кавказским пленным». Писателя угнетают пустота, мелкость и озлобленность среднего человека наших дней. Рассказ «Неадекватен» — замечательно сильная и глубокая вещь.

Воля к жизни специфически претворилась в самой на текущий момент значительной **повести** 22-летнего студента МГУ, лауреата премии «Дебют» **Сергея Шаргунова «Ура!»**, опубликованной в «Новом мире» (№ 6). Как-то забавно эта бодрая, написанная с сильным напором повесть рифмуется с новомирской прозой Азольского и Маканина. Есть сходство в волевом посыле персонажа. Герою лирической прозы Шаргунова тоже хочется, чтобы жизнь его была яркой, насыщенной, умопомрачительной. И он идет на риск такой жизни. Любит, страдает, падает и поднимается. Впридачу (чем дальше, тем больше) он хочет быть хорошим. Статьи, герой носит имя автора. Контурно даны набросок колоритной физиологии божьего московского разгула, любви и греха, обжигающий опыт смерти... Чего только С.Ш. ни видел (ни черта, вообще-то, не видел, скажем мы с кочки прожитых лет). Чего только ни знает (ничего, по сути, не знает). Но берется обо всем судить. Но говорит обо всем без недомолвок, с полной искренностью. Современным, непричесанным, ничего не таящим слогом. Подставляет. Ну и нечего тогда пенять, если тебя погладят против шерсти.

Вдосталь, врасхлест покуролесив, герой приходит к положительным убеждениям, каковые излагает наступательно. Всей повестью идет в атаку (в этом

смысл ее названия). Он декларирует необходимость жизни без наркотиков и табака. Солженицынское самоограничение как девиз эпохи рифмуется у Шаргунова также и с проповедью умеренности при употреблении пива. И еще: хочется жить просто, любить красивую девчонку, нарожать детей и погибнуть на будущей войне с узкоглазой китайзой. Так в начале нового века воскресает стародавний футуризм, чуть ли не весь его махровый букет ароматов.

Что значит сей рецидив? Ведь нельзя заподозрить умненького московского мальчика в полной культурной неотягощенности. Может быть, его немножко перекормили в детстве, протекавшем на Фрунзенской набережной Москвы, правилами хорошего тона, вон он и впал на третьем десятке в тинейджеровский задор?

При желании можно прочитать повесть и как пролегомены к какому-нибудь фашизму. Новый Юнгер явился. Или там юный прозаик Геббельс (о котором так вовремя рассказал Б. Хазанов в «Октябре», № 5).

Но не будем спешить. Может быть, речь идет только (!) об очищении души для добра. Ведь «чувство локтя» бывает не только в армейской шеренге. Оно может возникнуть и в солидарном усилии свободных людей. И, быть может, автор это понимает. Смушает другое. Себе наш наивный герой многое, если не все, готов простить. Другим — не прощает ничего. Точнее, автор-рассказчик бичует в повести не конкретных людей, а пороки. Типы и нравы. Людей же он пока в упор не видит, они — лишь картонки, представители того или иного гнусного извращения (изображенные, однако, сочно и ярко, с гротескным заострением бросающихся в глаза черт). Оно и неудивительно. Если стремишься к простоте уже на входе, то на выходе получаешь не просто сильные упрощения, а фальстон. В голове героя сумбур вместо музыки. Буквально: визг и скрежет. Душа автора полна хаоса и мусора.

Но и добрые намерения там есть. Их много! И есть обаяние безоглядно сжигаемой юности. Много тонизирующего, занимательного и тревожного. Такие повести пишутся раз в жизни. Любопытно посмотреть, каково-то Шаргунов будет сочинительствовать дальше, после этого пассионарного выброса.

Чем и как жить, если на старости лет традиционные мотивации существования опадают, как осенью листья? В романе жителя Израиля (с 91-го года) **Арнольда Каштанова «Каньон-а-Шарон»** («Знамя», № 5) хроникально-бытовой материал организуется, кроме прочего, спецификой ситуации, в которой находятся основные персонажи. Выходцы из СССР, они осуществили личный выбор и теперь ищут себя в новом для них обществе, в новой стране, портретируемой трезво и жестко, со всеми ее причудами и подвохами. Многим иммигрантам приходится менять свой статус, расставаясь с русским интеллигентским прошлым, ломая через колено прежнюю иерархию целей и ценностей. Рассказчик, бывший советский писатель, становится мастером на все руки. Другая черта ситуации — постоянная угроза существованию человека. Изображенный Каштановым мир перманентно находится под угрозой. Слепой и бессмысленный бич палестинского террора может обрушиться на человека чуть ли не в любой момент. Тревога за близких и себя, затаенный страх создают особое качество жизни. У Каштанова выходит так, что люди в Израиле живут вопреки угрозам, каждый по-своему находит себя, осваивает новый способ бытия. И никуда от этого не деться. Это — судьба.

Нина Горланова в романе-монологе **«Нельзя. Можно. Нельзя»** («Знамя», № 6) передает опыт своей жизни, доходя на сей раз до такой откровенности в деталях, какой, кажется, еще не было у нее. Притом это попытка как-то обобщить хаос случаев, сцен и реплик. Много жизни, полной треволнений. Резюме авторского опыта дается в последнем абзаце; в ответ на вопрос о национальной идее Горланова отвечает: «чтоб каждый делал свое дело». Дело нашего автора — литература. «Разве это не чудо, что на белой странице вчерашний день встает, как живой, без прикрас, но и без лишнего нытья!» Жизнь у Горлановой переливается в литературу почти целиком. Какие-нибудь две капли только мимо.

Новый этюд **Марины Вишневецкой** из книги «Опыты» **«О.Ф.Н.»** («Знамя», № 5) — вроде бы действительно герметичный психологический опыт. Персонаж рассказа комментирует, пересказывает содержание своих картин, которые сами по себе оказываются комментарием к жизни героя. Ощущаются культурная «отсталость» персонажа и некоторый его сдвиг по фазе. Постепенно повествование вырывается на латентную гомосексуальность героя, каковая самим им не признается, но в описании Вишневецкой выглядит убедительнее, чем записи в истории болезни. Отталкиваясь от истины, сопротивляясь самоидентификации, герой волей-неволей ломает жизнь себе и другим, жертвует порядочностью. И опять же не понимает, не умеет морально оценить свое поведение. Тем более лишен чувства вины и способности к раскаянию. Единственное, на что он способен, — это снова и снова взвешивать жизнь и сожалеть об упущенных, может статься, возможностях. Да еще любоваться своей необычностью. Вот это написано весьма убедительно и имеет значимость, далеко выходящую за пределы стилистических упражнений. Очень современный персонаж. Вишневецкая раскрывает героя; поняв его, а Шаргунов — представим — обозвал бы его «пидором», и только. Почувствуйте разницу. Писательница — великий мастер на малые дела, но иногда она видит жизнь так зорко, как мало кто из наших литераторов.

Примыкает к моей выборке рассказ **Ларисы Шульман «Национально-нежный террор»** («Знамя», № 4). Его главный герой — суетливый, даже заполосный знакомый рассказчицы Николай, «человек смутной национальности» и бурнодейтельный предприниматель. Однако конечные цели его активности непонятны и ему самому. Спорт такой.

А теперь — обзор той прозы, которая любопытна как **ОТРАЖЕНИЕ МОДНЫХ ТЕМ, ИДЕЙ, НАСТРОЕНИЙ**. Как выражение журнальной политики.

Современность в поле зрения писателя.

Роман **Алексея Позина «Журналистская рулетка»** («Москва», № 6) любопытен как наблюдения автора над судьбой государственного пиара. Книга отразила опыт работы автора в Агентстве печати «Новости». Вероятны прототипы. Это занимательная, хотя поверхностная беллетристика, сага о том, как работалось в агентстве в советские годы, как менялись времена и страдали от перемен хорошие, в общем-то, люди. Тенденция в романе сведена к минимуму. Главный герой — талантливый приспособленец Куликов. Он умеет устроиться в жизни, но бывают и у него потери. Злые демократы в начале 90-х сживали со света про-

фессионалов государственной рекламы. А в финале героя снова зовут на Старую площадь уже в конце 90-х годов. Снова, как 20 лет назад, нужно создавать положительный образ России и ее правительства. Вот и понадобились Старой площади старые кадры. Российская история подпрыгала и вернулась на круги своя. Там ей, судя по всему, и место. Так можно понять автора.

Сергей Грачев в приметном на общем фоне **рассказе «Абулия»** («Москва», № 4) изобразил таможенницу Валу на фоне тоскливых и бессмысленных канцелярских буден. С замиранием сердца вспоминает Валя далекую провинциальную родину, но не дано ей вырваться из порочного круга казенной суеты. Российская таможня выведена как нечто кафкоподобное: ловушка, где безысходно мыкаются клиенты. С одним из них у лейтенантши Вали случился роман. Не роман, интрижка. На большее ее казенной души не хватает. Очерковый сюр.

Борис Екимов в цикле полуочерковых **рассказов «На хуторе»** («Новый мир», № 5) в который уж раз возвращает нас к колоритным подробностям современной сельской жизни на юге России. Дела, случаи, конфликты. Хороших людей на хуторе немало, но жизнь тут не заладилась. Буксует. Да и народ начинает портиться. Дрянной появился народишко.

«Рассказ опустившегося человека» Александра Суворова («Наш современник», № 4) — нервно-истерический монолог бомжа. В прошлом у него было и хорошее, а теперь — только плохое. «Верните мне мой потерянный рай!»

Несколько **рассказов-миниатюр священника Ярослава Шипова** напечатаны в «Нашем современнике» (№ 5). Сюжеты разные. Но неизменно Шипов приглашает читателя разделить его простые, честные чувства. Американцы берут власть в Белграде, а автору это не по нраву. Православный священник не хочет ехать служить в Америку, ибо это дом сатаны; автор всецело «за». Евреи-музыканты притесняют русского мальчика-самородка; автор возмущен. И тому подобное.

Цикл небольших **рассказов Лидии Шевяковой** «Все в этом мире не напрасно» («Москва», № 4) составлен из цветастых женских житейских историй. Многоопытная рассказчица то об очередном приятеле расскажет, то просто к месту припомнит житейский анекдот. Вчерашний ловелас женится — и вскоре становится соломенным вдовцом, отцом-одиночкой. Его сыночек подрастает и верит в то, что бросившая его мать — страшное чудовище, питающееся морковью... Дама преуспела и от душевных щедрот ищет, кого бы чуть-чуть облагодетельствовать. Но бедняки пошли какие-то неприятные, наглые, требовательные... Математический гений становится мясоторговцем...

В **рассказе Елены Долголят «Литература»** («Знамя», № 6) работающий проводником пассажирского поезда Федор встретил свою бывшую учительницу, которая на старости лет потеряла грань между явью и фантазиями. Федор свозил ее прогуляться в Москву. Попутно он, кажется, кое-что узнал, понял о себе самом. В **рассказе «Бедная Лиза (Любовный роман)»** (там же) уличный мальчишка влюбился в домашнюю барышню Лизу. Что он только ни делает, чтобы преодолеть культурную дистанцию и стать достойным избранницы. А она все равно не хочет его полюбить и выходит замуж по расчету. По логике автора, Лиза бедная, потому что не умеет любить.

Поэтесса **Олеся Николаева** в очерке **«Всякое дыхание»** («Знамя», № 6) рассказывает, какие с ней случались чудеса, иногда смешные. Иногда жутко-

ватые. То ли это бесовские искушения? Но ничего: если веришь, то и бес не страшен.

Дмитрий Шеваров в блоке из двух небольших рассказов «Течет река Волга» («Новый мир», № 4) поведал о впечатлениях от праздной жизни в Плесе, об интересных тамошних людях. Есть, есть еще красивая заповедная жизнь...

«По ивдельской дорожке» **Александра Арцибашева** («Москва», № 5) — очерковые записки о делах-случаях на родине автора, северном Урале.

Повесть Петра Краснова «Звезда моя, вечерница» («Москва», № 5) — путаная женская история из провинциальной жизни. Давненько не публиковался этот автор, когда-то считавшийся подававшим немалые надежды. Его фирменная манера — многословная, мелочная детализация жизни и витиеватый синтаксис — осталась прежней. Как прежде, так и теперь — чтение на любителя.

Дела минувших дней. Случаи и характеры.

Здесь трудно бывает отделить художественный вымысел от добросовестной передачи того, что на самом деле было.

Начнем с сочинений мемуарно-эссеистического и беллетристического свойства, так или иначе связанных с деятелями культуры.

«Гибельный восторг» **Виктора Мануйлова** («Наш современник», № 4) — эффектная садистская юдофобская страшилка. Главный герой — Исаак Бабель. Этот писатель выведен как бесконечно растленный, уродливо-жалкий, похотливый, бессмысленно жестокий персонаж. Он любит смотреть на смерть и пытки. «Глядя, как следовательно измывается над жертвой, слыша стоны ее и крики, Исаак Эммануилович сам был не прочь вонзить кому-нибудь под ногти иглу, ломать пальцы, прижигать крайнюю плоть...» Автор дает намек на укорененность этой патологии в национальной принадлежности персонажа. Чекисты-палачи у него сплошь евреи. А Бабель воображает себя воином царя Давида, вершащим суд и расправу над побежденными голиафскими народами. Мануйлов изображает эпизод времен коллективизации. Восстали крестьяне в украинской деревне. Бунт подавлен. И Бабель приехал просмаковать пытки и казни. Он обещает хозяйке-хохлушке спасти ее мужа, лишь затем чтобы ночью безобразно взять ее. Потом собирается заполучить на ночь и дочку-шестилетку... Словом, налицо редкостный образчик разгулявшегося творческого воображения. Вот каковы только его первопричины? Мануйлов смакует описываемые ужасы не хуже вашего Бабеля, живописует происходящее, так сказать, с причмоком, так что у читателя, уловившего тенденцию рассказа, невольно zakрадываются подозрения относительно собственной национальной прописки его автора. Даже если они бесосновательны, правильное всего будет интерпретировать рассказ Мануйлова в психоаналитическом ключе.

Дебютный рассказ молодого кишиневца **Михаила Лорченкова «Дом с двумя куполами»** («Новый мир», № 4) — о жизни молдавских цыган. Среди персонажей — знаменитая Лени Рифеншталь. В изображении Лорченкова это фрукт не лучше мануйловского Бабеля. Когда пришли немцы, Рифеншталь приехала в Молдавию и завербовала здешних цыган, находившихся под угрозой уничтожения, на съемки фильма из испанской жизни, пообещав им жизнь, но не выполнив впоследствии этого своего обещания.

В одном из **рассказов** белгородца **Виктора Белова** («Наш современник», № 6) фигурируют Рахманинов и Лелечка Скалон, а в другом — дед, бабка и дорожная подружка героя. Там и тут любовь, там и тут она далеко не завела. Как и в **очерке** **Михаила Кралина** «Двух голосов перекличка» («Наш современник», № 6). Версия. Ахматова посвящала свои стихи на самом деле не Пунину и не Исаяе Берлину, а Ивану Бунину. А вот роман у Бунина с Ахматовой не случился, отчего осталось у обоих чувство взаимной досады. Невстреча.

Странно прожитая и враспloch оборвавшаяся жизнь **Иннокентия Анненского** — предмет **очерка** **Самуила Лурье** «Русалка в сюртуке» («Знамя», № 5).

«**Книга о Шостаковиче**» **протоиерея** **Михаила Ардова** («Новый мир», № 5, 6) создана на основе воспоминаний детей **Дмитрия Шостаковича**, которые были записаны автором. Ардов задался целью показать, каков он, «подлинный русский интеллигент, интеллигент до мозга костей». И притом «абсолютно гениальный человек».

«**Дневник военных лет**» литературоведа **Л. И. Тимофеева** («Знамя», № 6) на самом деле содержит только записи 1941 года. Необычно трезв и отчужден от идеологии и массовых настроений взгляд автора на происходящее.

Актер **МХАТа Николай Пеньков** вспоминает («**Была пора**»: «Наш современник», № 6) о своих студенческих годах. Время — рубеж 50-х и 60-х годов. Пестрая, занятая чепуха. Среди эпизодов — встреча студентов театральной школы с Солженицыным, который еще тогда раскрыл юным глаза на то, сколь хлипкая интеллигенция сравнительно с простым человеком **Иваном Денисовичем**.

Станислав Куняев посвящает новую порцию своих мемуарно-публицистических записок «**Поэзия. Судьба. Россия**» («Наш современник», № 5; начало см. № 2 — 4, 6 за 2001 г.) взаимоотношениям поляков («шляхты») и «нас». Плохой народ поляки, но евреи еще хуже и гаже. Такова у Куняева табель о рангах. Вдосталь обличив полячишек, он берется комментировать случай в Едвабне, где во время войны поляки убили евреев. И тут вдруг у нашего сочинителя возникает нотка сочувствия к «шляхте». Зачем она только недавно так унижалась, зачем признавала свою вину? Непорядок это. И далее Куняев перебрасывает мосток к делам российским. Это шум вокруг Катюши эхом отозвался в едвабнском деле. Зря гомозили, аукали. Вот им, «шляхте», и отозвалось, злорадствует автор. Нет у Куняева веры и в то, что славные, честные энкавэдисты могли вдруг взять и расстрелять польских офицеров. Не верит он цифрам репрессированных и расстрелянных при советской власти (слишком цифры велики).

Нужно констатировать: еврейский вопрос по-прежнему приковывает внимание авторов «Нашего современника». Томит, мает, ломает. Критик **Михаил Лобанов** продолжает свои воспоминания «**На передовой (Опыт духовной автобиографии)**» («Наш современник», № 4). Описан период 1977 — 1983 гг. Автор любит русское и не любит нерусского. При этом русское с советским он часто путает. А нерусское — отождествляет с еврейским. Лобанов неустанно борется с евреями и либералами. Однажды его напугала победа Израиля в войне 1967 года. Ему примерещилось, что потерпеть поражение может и Россия. Тем более, что окружали нашего воителя «морды, мардохеи, есфири, мардохеи, морды, есфири, мардохеи». Совсем они мемуариста замордовали и заесфирили. Даром, что когда-то помогли ему войти в литературу. Зато потом... Потом не выбрали

в бюро объединения критиков и литературоведов — незаживающая рана! Шрам на всю оставшуюся жизнь. В мемуарах Лобанова есть несколько интересных подробностей к истории русского... скажем мягко, национализма. Отчего только так беден дух этих персонажей? Воистину, только на таком фоне покойный Вадим Кожин и мог почитаться гением и всеведом.

К этой мемуарной линии «Нашего современника» примыкают и **записки Татьяны Земсковой «Останкинская старуха»** (№ 4), лишенные, однако, юдофобского колорита. Автор долгие годы работала на Центральном телевидении, готовила литературные передачи. Трудилась, как умела. Несла культуру в массы. Но где-то в середине 90-х новому начальству ее темы показались ненужными. Теперь стали нужны рейтинг, всякая желтая дешевизна. Пришлось рассказчице с телевидения уйти. Грустная история. Дальнейшее можно толковать двояко. То ли магические суеверия, овладевшие героиней, есть только художественный прием — то ли Земскова и на самом деле глубоко погрузилась в эту зыбкую трясику, верит в то, что ТВ ее зомбирует и т.п. Воспоминания Земсковой богаты подробностями, но уж больно они путанные. Автор не разобралась в себе самой, такое возникает впечатление. Ну а журналу они пригодились для разоблачения сидящих на ТВ врагов России.

Другие аспекты минувшего в зеркале прозы.

«**Прежние слова**» Александра Морозова («Знамя», № 4) определены автором как «элегия». Это тщательная стилизация избранных любовных писем петербургского студента начала XX века к невесте, а потом жене. Умелое и бесцельное рукоделье. Впрочем, при желании можно придать студенту значимость типичного представителя самовлюбленно-недалекой интеллигенции. В таком случае текст читается как изощренно сервированная, хотя и запоздалая сатира на давно канувший в Лету класс.

Еще одна стилизация, ничуть не хуже качеством, — дебютный текст молодого автора из Казани **Дениса Осокина «Ангелы и революция. Вятка. 1923»** («Знамя», № 4). Правда, задачи Осокина двояки. С одной стороны, перед нами тщательно изготовленные миниатюрные записи юного чекиста. С другой, Осокин, кажется, стилизует манеру повествования, характерную для Леонида Добычина, отчуждавшего ею материал жизни. Остроумная и бессмысленная вещица, паровозом к которой является восторженный отзыв Игоря Иртеньева.

Ушедшая из жизни писательница из Белгорода **Елизавета Романова** посвятила свою хроникальную повесть «**Крайняя хата**» («Наш современник», № 6) трудной судьбе западноукраинской крестьянки. Сороковые годы. Тщательно выписанный социально-исторический фон сочетается с мелодраматическими поворотами сюжета.

Военный эпизод описал костромич **Владимир Корнилов («Батальон. Из фронтовых будней»**: «Наш современник», № 5). Это рассказ с моралью. Суть ее в том, что в батальоне герой чувствовал себя надежно, а вне этого фронтового братства страдал. Вот вам и ваша хваленая свобода, ваше феуевое одиночество.

Недавно умерший **Евгений Носов** в рассказе «**Фагот**» («Москва», № 5) поведал о мальчишке, который в момент раскулачивания затерялся, а потом подрос и нашел мать и брата. Играл на фаготе и был славным пареньком.

Чувствуется грусть автора при воспоминаниях о молодости, которая хоть и пришла на страшные годы, но ведь была. Была.

Злоключения мальчишки в военные годы передал и **Владимир Ситников** в рассказе «Скитания Лаперузы» («Наш современник», № 6). Эта проза тянет скорей на анекдот. О военных временах вспоминает **Николай Рыжих** («Из книги «Печальное море»: «Наш современник», № 6). Фронтовому эпизоду посвящен рассказ иркутянина **Федора Боровских** «Слава героям!» («Знамя», № 5).

Виктория Ионова в рассказе «Водовозка» («Москва», № 4) подробно описала работающую, гулящую, пьющую Шуру — поселковую достопримечательность. Была она фронтовой подругой генерала Сапегина, ну а после войны генерал отобрал у нее сына, а ее бросил. «И Шура повесилась в своей барачной каморке на печной вьюшке». Мелодрама, вброшенная в жестокий быт.

Белгородец **Алексей Кривцов** в рассказе «Дядька Павло» («Наш современник», № 6) пересказал историю, услышанную однажды в дороге о силаче, который как-то поднял и унес к своему дому казенную рельсу. Экий, прямо.

Андрей Воронцов в повести «Победители «сверхчеловеков»» («Наш современник», № 5) рассказал о двух своих дедах. Дед-поляк сапожничал, охотился, служил на железной дороге... Дед-русский воевал (а как он жил после войны — сказано мельком). Достойные личности. Затеян рассказ неспроста. Он сопровождается публицистическими соображениями автора. Деды, считает Воронцов, были настоящими русскими, это «единый гражданский тип». Они оба боролись за Россию, как могли, хотя мало хорошего получали взамен. Победили «сверхчеловеков»-немцев. Этим примером и вдохновляется автор.

«Примус» **Вячеслава Киктенко** («Москва», № 4) — рассказ о старой коммунальной жизни. «Точуножиножницы». Цыганский десант. Старьевщик. Ассенизаторская машина. Ну и примус, конечно. Все уходит, все пропадает. Это настроение роднит рассказ Киктенко с прозой **Игоря Штокмана**. Он вспоминает («Наш современник», № 4), как игрывал в футбол, как крутил любовь в дни армейской службы, как студентом ездил к морю и наблюдал за неладами в семье приятелей. Мера вымысла не обозначена.

Дети.

Вера Галактионова в сентиментально-бытовой повести «Со всеми последующими остановками» («Наш современник», № 4) ставит в центр повествования прелестного мальчика Никиту. События увидены в основном его глазами. Родители Никиты — разболтанные интеллигенты — решили начать новую жизнь и уехали из Ленинграда в Сибирь. Но новая жизнь получается плохо. Бестолковость — всегда бестолковость, какой политический режим на дворе ни стоит. Пытается улучшить жизнь семейства мамина подружка, устраивает ему переезд в Алма-Ату. Логика в повести мало, идеологии нет вовсе, но много живописных деталей, хорош язык. Трогательная история о незадачливости человеческой.

Несколько более осмысленную вещь подобного рода написал **Алексей Варламов**. В повести «Звездочка» («Москва», № 6) московская девочка Лиза воспитывается бабушками, одна из которых богомолка, а вторая — антисоветчица. Воспитание получилось несоветское. И это проявило себя, когда — вся тонкая и звонкая — Лиза пошла в школу. Упорные бабушки настояли, чтобы Лиза вышла

из октябрат. Учителя в этой ситуации ведут себя по-разному, но директриса, которой не нужен такой геморрой, планомерно выживает Лизу из школы. Девочка оказалась в изоляции, заболела и чуть не умерла. Пришлось бабушкам увезти ее куда-то из Москвы. Вот так калечила людей советская система.

Кавказские сюжеты.

«**Маленькая повесть**» москвича **Игоря Булкаты «Самтредиа»** («Новый мир», № 5) ближе всего к воспоминаниям автора о собственном детстве в Грузии. Оттуда нить повествования перебрасывается в современность, где кровоточат раны последней кавказской войны. А красноярский казак **Валерий Латынин** в прозе «**Подколзин и Иса**», жанрово определенной как «**невыведанный сюжет**» («Наш современник», № 6), изобразил героя, похожего на себя. Тоже активиста казачьего движения. Герой (или сам автор?) получил в начале 90-х из Чечено-Ингушетии известие: убит казацкий атаман Подколзин. Со всей страны съезжаются в село казаки, чтобы разобраться в ситуации. Местные власти, однако, чинят им препятствия. Кругом ложь. И только чеченский мальчик Иса честно рассказал, как было дело. Правдивый чеченский мальчик, мечтавший стать офицером.

Другое.

Семь рассказов **Андрея Кучаева** имеют объединяющее их название «**Филофиолы**» («Знамя», № 4). Это невнятные по смыслу импресии. Стилистические упражнения.

Что нужно, чтобы в толстом журнале появилась пьеса? Ответ: нужно, чтобы ее написал **Б. Акунин**. «**Гамлет. Версия**» («Новый мир», № 6). Названо сие трагедией, хотя является скорее детективом в драматургической форме. Читать нескучно. Развязка же довольно банальна.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

Как ни странно, основной объем текстов в прошедшем квартале составили **НЕМУДРЕННЫЕ ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ**, часто в основе своей тяготеющие просто к *ситуации*, к случаю, в широком смысле — к *анекдоту* — и по большому счету, вероятно, не претендующие на сколько-нибудь широкое осмысление окружающего бытия. Определенным «символом» такого рода текстов может служить подборка **рассказов Петра Образцова** под обезоруживающе-характерным названием **«Так бывает»** («Октябрь», № 4). Рассказы объединены одним героем, но даже из всей подборки нельзя составить сколько-нибудь целостное представление ни о его личности, ни о способе жизни. Сначала идет «эпизод» из детства: мать обманом отправляет мальчика домой в Ленинград, обещав приехать через несколько дней, сама же и не думает возвращаться и остается в Эстонии с новым мужем. Через некоторое время его забирает отец в Москву, но потом отселяет в специально снятую комнату. Все это без какого бы то ни было трагизма (**«Женя-Женюра»**). Далее, уже взрослым Женя совершает квартирный обмен с парой, которая умудряется отлично поладить с соседкой, с которой у него хороших отношений не сложилось (**«Сын»**). Следующий этап — вечеринка, где неожиданно встречаются знакомые героя: оказывается, пригласивший их когда-то взломал принадлежавшую Жениной семье дачу, где среди прочего поживился его записной книжкой, благодаря чему и устроил свою судьбу. (**«Бомж»**). Последний рассказ представляет неудавшиеся отношения с молодой женщиной, с которой Женя, как он полагал, познакомился случайно — однако, как случайно же выяснилось впоследствии, знакомство подстроила она сама (**«Обои»**). «Мораль» вытекает из названия — бывает всяко...

Анна Матвеева в рассказе **«Ларимороза»** («Дружба народов», № 4) последовательно сталкивает приехавшую из глухой провинции первокурсницу с несколькими сумасшедшими, отчего та в конце концов подпадает под влияние навязчивого бреда самой настырной из них и начинает против воли произносить «мороз» вместо «с» в любом слове, где встречается злосчастная буква. От кошмара ее избавляет внезапно налетевшая взаимная и счастливая влюбленность. В рассказе **«Стерженьки»** герой, изнывающий в очереди к ларьку, где продается номер журнала с его стихами, покупает впавшей в маразм старухе новую ручку — та же требует у продавщицы стержни, которые больше не производят. В журнале он своих стихов не обнаруживает.

Александр Хургин в **«четырёхчастном триптихе»** под названием **«И они разошлись»** («Дружба народов», № 5) сначала поочередно экспонирует незнакомые между собой группы персонажей — компанию не чурającychся выпивки сомнительных интеллигентов, компанию сильно выпивших складских грузчиков и парочку любовников, ограничившихся одним кофе, — а затем сталкивает их всех на одном оптовом складе, где в голову одному из грузчиков приходит шальная мысль пошутить про заложенную здесь бомбу. Склад мигом пустеет, прибывшая милиция успокаивает публику и забирает шутника, а жизнь склада вновь идет своим чередом...

В **рассказах Романа Сенчина** («Дружба народов», № 5) персонажи испытывают внезапный диссонанс с жизнью. Благополучный гражданин начинает ловить

себя на все более неукротимом желании совершить агрессивно-антиобщественный поступок. В конце концов, не справившись с собой в вагоне метро, он крадет часы у старика, завязывается драка, старик валится замертво, преступника хватают, волокут в милицию... К счастью, это была лишь очень реалистичная галлюцинация (**«Приближаются сумерки»**). Гораздо осмысленней выглядит рассказ **«Иджим»**. Вдруг поняв, что не в состоянии жить прежней жизнью, пожилой шофер тайно от семьи оборудует себе землянку в заброшенной деревне, постепенно перевозит туда все необходимое и, никому не сказавшись, однажды перебирается туда насовсем. Здесь, во всяком случае, довольно точно уловлено настроение «разошедшегося» с судьбой человека, так что «случай» обретает несколько отвлеченный, крайне желательный для литературы смысл.

А вот **Мария Рыбакова** в повести **«Глаз»** («Дружба народов», № 5) пытается искусственно наполнить житейскую ситуацию каким-то эффектным смыслом. Полупарализованная и умирающая старуха просит молодого человека, который ухаживает за ней из гуманитарных побуждений, осуществить в ее комнате любовное свидание с девушкой, а она будет подглядывать за происходящим из шкафа. Поскольку собственной подруги у юноши нет, он подкупает для этих целей барышню — разумеется, в православном храме. Старуха удовлетворена — теперь ей ясно, почему много лет назад ее бросил возлюбленный... От текста остается непреодолимое ощущение *грязи*.

Рассказы Олега Захарова («Урал», № 4) помимо того, что бессмысленны, так еще и написаны запредельно скверным языком. «Не доверяя себе, твоей супругой была предпринята поездка всей семьей в деревню». Сюжеты — пожилой человек приходит к врачу, тот обманом заставляет его влезть на стоящую на столе шаткую табуретку, так что бедняга может вывалиться в окно, и тут выкладывает, что это — месть за то, что тот в детстве ворвался в ванную к его матери и там... «Душ, отрегулированный на кипятик, был тот рычаг в руках маленького негодяя...» (**«Другая жизнь над тополями»**). А вот благополучный семьянин и бригадир монтажников решил подработать сторожем в театре, и все пошло наперекосяк... Работа по боку, семья голодает, его интересует лишь то, что на сцене (**«Где пусто, там шумно»**). В пустынной сторожке лютой зимой сумасшедший преступник и хороший гражданин разыгрывают на спичках, кто пойдет погибать на мороз. Добродетельный обманывает порочного. Следует пространный разговор спичек (!) (**«Воспоминания о повелителе спичек»**). Еврей в немецком концлагере однажды среди обнаженных узниц увидел одну... После войны женился на другой бывшей узнице. После ее смерти стал ярым поклонником порнофильмов. Но вдруг увидел по телевизору ленту о преступлениях нацистов с кадрами тех обнаженных и стал изо дня в день смотреть лишь это кино. Впоследствии умер и сам (**«Второй по важности рассказ о войне»**). Иной раз пожелаешь, что отменили цензуру...

Любовь Задко от имени мужского персонажа в рассказе **«Марафон. Записки дилетанта»** («Урал», № 5) запутанно излагает в общем-то мало чем примечательную историю взаимоотношений рассказчика, его жены и четы их соседей (с дополнительными вкраплениями родственников и членов трудового коллектива). В качестве обстоятельств действия фигурируют особые музыкальные дарования супругов, то, что они работают учителями (ненавидя и прези-

рая как учеников, так и остальных педагогов), а также всячески поощряемое автором пристрастие рассказчика к известному напитку. Невооруженному взгляду заметна профессиональная *продвинутость* автора.

«**Морские рассказы**» Марка Кабакова («Дружба народов», № 5) помещают персонажей в экзотические декорации. Но принцип повествования от этого не меняется — в его основе все те же *мелочи жизни*. В далеком иностранном порту рассказчик неожиданно встречает человека, которого знал еще мальчишкой — тот был сыном испанки из той партии детей, которую привезли когда-то в СССР. Взрослым он репатрировался и теперь зарабатывает на хлеб, обслуживая на своей машине сходящих на берег российских моряков. Рассказчик становится невольным свидетелем драматической сцены его объяснения с возлюбленной — та не соглашается связать с ним свою жизнь, поскольку в России у нее остались ребенок, мать-инвалид и старая бабушка. Испанец же не хочет возвращаться туда, откуда так счастливо ускользнул («Испанец»). Симпатичная женщина, «морской волк», вдруг оказывается беременной неизвестно от кого. Впоследствии выясняется, что ее избранником стал самый неприятный член команды, к тому же женатый. За что она его полюбила, никому не понятно («Валюха»).

Неудачно выстроен не лишенный отдельных достоинств рассказ «Гроза. 1987 г.» Леонида Юзефовича («Дружба народов», № 6). Попытки описать патологически несовпадающие ощущений происходящего у разных персонажей (пятиклассников, учительницы и лектора, внедряющего в юные головы правила дорожного движения) выливаются в довольно бессмысленный фарс, который в последний миг автор вдруг решается переделать в драму. В результате — опять собрание мелочей, ни за чем и ни для чего.

В рассказе «Сумерки» Андрея Попкова («Урал», № 4) описана вечеринка случайно собравшихся людей. Герой знакомится с красивой, но печальной барышней и узнает, что ту обманул и бросил возлюбленный. Воспользовавшись ее нервическим состоянием, герой проделывает с ней то же самое.

Константин Аникин в рассказе «Чуждое нам» («Урал», № 4) повествует о странных отношениях между барышней и молодым человеком. Живут вместе, спят рядом, друг другу помогают — но как бы *просто друзья*. Герой обучил героиню боевым приемам, и теперь чуть что не так, она бьет его кулаком в лицо. Ему это нравится. Он спасает ее из неприятной истории (она отправилась с малознакомыми мужчинами в ресторан)... И вот она, спасенная, в ванне (обнаженная), герой рядом (одетый). Интеллектуальный разговор:

— Сука ты, — говорит Майя, кажется с большой нежностью.

— Да, я сука, — соглашаюсь я, — а вот ты — нет».

Господи, ЗАЧЕМ?!!

Но еще более удивительно тяготение к **ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ СТРУКТУРИРУЕМОЙ, «ХАОТИЧЕСКОЙ» ПРОЗЕ**, как правило, значительного объема. Ориентация здесь прежняя — на *частный случай*, на *собрание мелочей*, хотя сама форма — повести, а уж тем более романа — казалось бы, всячески противится подобным экспериментам и требует какой-то более внятной «формулировки» сверхзадачи. Примечательно, что авторы, рискующие делать объемную

прозу по названному образцу, избегают традиционных жанровых определений, выдумывая *однообразные* — как правило, довольно пространные — «определения» для своих текстов.

Так, (роман?) Евгения Попова **«Мастер Хаос»** обозначен автором как **«Открытая мультимедийная литературная система с послесловием ученого человека»** («Октябрь», № 4). В принципе, название дает почти исчерпывающий «портрет» предложенной прозы, уже почти традиционной для позднего Попова. Это действительно абсолютно хаотичный набор анекдотов из жизни автора, его знакомых (или незнакомых), перемежающихся то со списками каких-нибудь «сущностей», расположенных в алфавитном порядке, то с мало связанными между собой предложениями — от глубокомысленных до нарочито вульгарных. Уловить мысль автора крайне трудно, хотя он и прибегает к множеству разных шрифтов, кеглей и прочих визуальных приемов.

Крайне утомительны **«Письма в другую комнату»** (главы из книги) **Раиля Бухараева** («Дружба народов», № 10, 2001, № 6, 2002). Предельно субъективизированное и довольно манерное повествование о разнообразных внутренних переживаниях и впечатлениях, с пространными экскурсами в ботанику, географию и прочие занимательные материи. Вот уж действительно — в другую комнату...

В значительной степени по принципу «по амбару помету, по сусекам поскребу» строится и **«роман воспоминаний» Евгения Пинаева «Похвальное слово Бахусу, или Верстовые столбы бродячего живописца»** («Урал», № 2 — 5) — единственно, что приятно, так это отсутствие того навязчивого выпендрежа, которым насковозь пропитан текст предыдущего автора. Многоликий масштабный опус Пинаева строится вокруг одной фигуры — автора-рассказчика. Здесь и морские будни юного матроса, бывшего студента художественного училища, и пьянки-гулянки с друзьями тех лет, и огородно-деревенский нынешний быт, и описание создающихся параллельно с текстом живописных картин, и разнообразные житейские наблюдения... Все это могло бы иметь право на существование, решился автор отобрать что-то из всей массы накопленного материала и пожертвовать он хоть частью однотипных эпизодов, дорогих сердцу лишь непосредственного участника...

«Монастырский дневник» Ларисы Ванеевой («Урал», № 3 — 5) — все то же собрание разрозненных впечатлений, разве что тема другая: автор проживает при Пюхтицком монастыре. При видимых усилиях — на словах — скрыть гордыню, порой поражающее, скрытое, кажется, от самого автора ощущение превосходства над окружающими. Больше всего запоминается сцена, где «рассказчица» с плохо скрытым злорадством описывает капризного мальчика, не желавшего отстоять Пасхальную службу, на следующий же день наказанного конъюнктивитом. Существенный порок всего разряда текстов — отсутствие внутреннего развития: повествователь никуда не движется — ни «вверх», ни «вниз», в любой точке текста он равен самому себе, следовательно, никуда не ведет и читающего...

Елена Холмогорова в том, что она сама определила как **«сюиту»** (**«Картинки с выставки»**: «Дружба народов», № 6), использовала названия частей известного произведения Мусоргского, которое слушают на концерте мать и дочь, в качестве «каркаса» для маленькой коллекции не лишенных наблюдательно-

сти зарисовок. Полноценной жизни этих мини-рассказов больше всего мешает искусственно навязанная им форма «целого» — довольно манерная и мало что добавляющая по существу — разве только намекающая на литературную искусственность автора.

Оказывается, впрочем, что и «сор жизни» может превращаться в полноценную, осмысленную прозу, если автор пытается увидеть за всем этим какой-то обобщающий смысл. Это можно, пожалуй, сформулировать, как **ПРЕОДОЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОСТИ НАТУРАЛИЗМА В СТОРОНУ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ТИПИЗАЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.**

В рассказах ныне, увы, покойного **Бориса Крячко** («Дружба народов», № 5) даже явно анекдотический сюжет, вроде незапланированной поездки Никсона в Узбекистан (в бытность его вице-президентом), когда визит столь высокого гостя проморгали все местные службы и ему не дали даже номера в гостинице, предложив переночевать на скамейке («**Во саду ли, в огороде**»), может выйти за пределы чистого анекдота. Самый лучший из подборки — «**Корни**» — содержит реконструированную по рассказам родственников историю семьи автора и шире — казачьего уклада жизни. Написанное не без юмора, повествование дает повод поразмышлять, что есть традиционное общество, чем оно хорошо и чем — ужасно. Яркий и дающий пищу уму документ. Рассказ «**Призвание**» рисует фигуру гения-фотографа, зашибающего деньги на изготовлении снимков фальшивых похорон: их впоследствии отсылают бывшим женам вместо алиментов. Оказывается, впрочем, что дело тут не в деньгах: так этот странный человек реализует талант несостоявшегося режиссера...

Внешне «расхлябанное» повествование **Славы Сергеева** («Русский бизнес. Начало. В воспоминаниях и жалобах постороннего»). Повесть — «Дружба народов», № 6) обладает двумя видимыми достоинствами — присущим автору чувством юмора и адекватностью поэтики, так сказать, духу самого материала. Шизофреничность экономических предприятий начала 90-х гг., некоторое безумие вообще образа жизни тех лет, где прекраснодушные иллюзии уживались с самой откровенной этической нечистоплотностью, создают впечатление необходимой подлинности текста. «Разорванность» эпизодов работает на общее ощущение хаоса. Жизнь на этом историческом отрезке видимо потеряла вертикаль. Характерно, что заявленная позиция «постороннего» автором тоже заведомо не соблюдена: он и сам участник, пусть и не главный, ведущих в тупики предпринимательских затей. Впрочем, со стороны все это было забавно...

Совершенно в ином ракурсе предстает частнопредпринимательская инициатива в рассказе **Анатолия Новикова** «**Олигарх Колыванов**» («Урал», № 4). Место действия — Сибирь. Оглохший от тяжелого гриппа и разругавшийся с женой и взрослым сыном горожанин уезжает в глубинку фермерствовать. Разводит коней, дела идут в гору. Местные пьяницы-бичи намекают, что если не будет подбрасывать им алкогольную дань, лишится хозяйства. Так и случилось — конюшню взломали, свели полтабуна. Когда похитителей нагнали, лошади оказались мертвыми — их держали в закрытой фуре. Но «олигарх Колыванов» не склонен сдаваться под ударами судьбы...

Михаил Рошин в рассказах «Елка сорок первого года» и «Таня Боборыкина и парад победы» («Октябрь», № 5) дает повествователю возможность взглянуть на время с двух разных точек зрения. В обоих случаях это детские воспоминания. В первом — кульминация сюжета заключена в падении наряженной елки прямо под бой часов. После первой оторопи, гости «с еще большим азартом стали пить, наливать, обниматься, кричать...». Финал строится как краткая, но мощная антитеза — автор напоминает, какой наступил год, так что пожелания «нового счастья» выглядят в этом контексте злой гримасой судьбы. Во втором — детская влюбленность, переплетенная со сложными взаимоотношениями окружающих взрослых, перерастает в неизбежную взрослую тоску. Заносчивого подростка выгнали из лагеря, когда он не успел еще наладить отношений с понравившейся девочкой. Ее имя стало символом недостижимой любви и преследует рассказчика всю оставшуюся жизнь.

В рассказе **Дмитрия Плохова** «Привет из Подмосковья» («Урал», № 4) повествователь описывает свою попытку самоубийства во время военной службы — разумеется, неудачную. Рассказ был бы лучше, сумей автор чуточку отойти от предельного субъективизма — возможно, тогда случай из личной жизни автора стал бы фактом человеческой жизни вообще...

Самое стоящее из всей рассмотренной прозы — это повесть **Андрея Геласимова** «Жажда» («Октябрь», № 5). Главный герой (опять рассказчик) изуродован на войне — у него полностью обгорело лицо. Зарабатывает на жизнь ремонтом квартир. В перерывах между заказами пьет до умопомрачения — чтобы ни о чем не думать и ничего не вспоминать. «Движитель» сюжета — поиски друга, опустившегося алкоголика, который продал квартиру и исчез. В результате последовательно разворачивающихся событий, герой постепенно возвращается к жизни — знакомится с новой семьей отца и своими новыми сестрой и братом, мирит рассорившихся друзей, снова начинает рисовать (до армии он учился на художника), в финале дан даже намек на возможность любви... Несомненное достоинство текста — отличный разговорный язык, которым, благодаря автору, пользуются персонажи, и эмоциональная составляющая: редкий, по нынешним временам, позитивный пафос подан в несколько замаскированном виде. Все это, плюс острая наблюдательность к деталям и известный лаконизм изложения — выводит текст в разряд *экспериментальных образцов* — как сделать литературу «читательной», оставив одновременно серьезной.

На этот уровень выходят, пожалуй, еще только рассказы **Ивана Плужникова** «Горка» и «Мертвое зерно» («Урал», № 4). Персонажи — люди дна: в первом — алкоголик, во втором — компания наркоманов. Ничего особенного не происходит ни в первом, ни втором случае (во втором, правда, от передоза гибнет брат главного героя, но в этой среде это как бы норма). Главное достоинство текстов опять же в удивительно тонком «слухе» автора — прежде всего к языку описываемой среды, — а также в «затекстовом» ощущении какого-то непреодолимого диссонанса с действительностью.

Окончилась неудачей *единственная* среди рассмотренной прозы попытка написать **ПРОБЛЕМНЫЙ** и одновременно **ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ РОМАН**. «Полураспад» Романа Солнцева («Октябрь», № 6) повествует о положении рос-

сийской науки. Стереотипы смешаны с откровенным бредом. Гениальный физик (одновременно биолог) в сибирском Академгородке страдает от непонимания в семье, от черствости нелюбимой жены, которая третирует его престарелую мать. Денег на науку, естественно, нет. Он, тем не менее, затевает разные привлекательные для коммерсантов проекты, но злые силы все разворачивают и разрушают. Бывший коллега, ныне гражданин США, пытается переманить его и других перспективных сотрудников за океан. Тем временем ФСБ затевает козни против гения, используя зависть неталантливых или страх тех, у кого рыльце в пушку. Гений в тюрьме, его обвиняют в шпионаже, физически и морально истязают. Но справедливость торжествует, друзья и коллеги поднимают шум в прессе, дело разваливается. В финале герой торжественно отказывается ехать в Америку, где ему предлагают зарплату аж тысячу баксов, и дарит желающим тетрадь со своими заветными идеями. Коллеги и журналисты потрясены его благородством, будущее рисуется в радужном свете... На всякий случай сообщим, что в США \$1000 — это стипендия постградуэйта, аспиранта, по-нашему. Остальные детали комментировать не станем.

Обзор подготовила Мария Ремизова

Новость приятная: с обновлением редколлегии журнал «Нева» ощутило повернул в сторону интеллигентности и стал выходить за провинциальные рамки.

Анатолий Курчаткин в романе «Амазонка» («Нева», № 3) прослеживает судьбу молоденькой красотки Маргариты Т. — по авантюристности характера действительно «амазонки»: она из тех, кто многого хочет от жизни, но скоро обжигает крылышки. Маргарита — «потомственная интеллигентка», закончившая филфак МГУ, но, естественно, не востребованная. Идти учителем в школу — заведомо обрекать себя на нищенскую жизнь, а жить хочется красиво. Что ж — будем искать «спонсора». Первый из них попросту продает ее, чтобы откупиться от грозившего ему «крутого». Недолгая работа в администрации президента, неудача — и новый «спонсор», бросивший ее, едва ему потребовалось ехать в Германию. Кажется, ей везет с третьим — тот увозит ее в Париж, но выясняется, что он связан с мафиозным кланом. Убежать от него в Россию Маргарите не удастся, и несчастная любительница шикарной жизни убивает своего мучителя. Курчаткин в этом романе скорее скользит по поверхности, нежели углубляется в характеры (особенно разочаровывает «потомственная интеллигентка», занятая исключительно поисками толстосумов), хотя порой касается чего-то действительно болевого.

Среди произведений, затрагивающих тему интеллигенции, выделяется и роман **В. и Е. Фроловых** «Вечная Кара» («Нева», № 6). Некогда известный книгами для подростков Вадим Фролов, скончавшийся почти десятилетие назад, оставил роман незаконченным, и его завершила вдова. Повествуется в нем не только об эсерах, чью жизнь и чей быт писатель хорошо знал, поскольку сам был сыном политкаторжанки-эсерки и пасынком эсера. Главный герой романа — русский интеллигент, врач Орест Веймар. Его жизненный путь — это дорога интеллигента, без лишних слов работающего всегда и везде на благо народа. Веймар побывал и в Петропавловской крепости, и на русско-турецкой войне, и на каторге; сталкивала его жизнь и с Петром Кропоткиным. Это крепкая журнальная беллетристика среднего уровня. Роман включен в очередной тематический номер «Невы» — «Петербург бунтарский», и хорошо, что эта тема начата с рассказа об интеллигенте, утверждающем достоинство личности.

В том же ключе выдержана документальная повесть **Виталия Антонова** «Молчат минареты» («Нева», № 1 — 2), посвященная событиям в Афганистане 25-летней давности. Написана она врачом, служившим в афганском госпитале. И не просто врачом, а главным терапевтом Центрального госпиталя Афганистана, человеком, видевшим самую страшную изнанку войны. О политике автор говорит только в той мере, в которой она касается лечения раненых и больных. Ниточка тут тянется не к политической документалистике, а к прозе русских писателей-врачей.

Отметим и повесть **Павла Мейлахса** «Отступник» («Звезда», № 3) — о человеке талантливом, но, увы, тяжело больном. Человек этот, не нашедший себя в жизни неудачник, несет в себе очевидные признаки психического расстройства и «оживает», лишь когда удастся добыть деньги на выпивку. Тогда он —

вдохновенный пророк, изрекающий прекрасные слова о Моцарте и Бетховене, об искусстве и жизни вообще. Зато в дни, когда ни денег, ни друзей, — это опустившаяся и раздраженная личность, хотя и необыкновенно остро чувствующая пошлость даже в самых привычных вещах. Каким чудом Мейлахсу удалось на таком материале сделать пронзительную, страстную повесть — загадка. Движения души героя словно диагностированы чутким психологом (так и кажется, что за этой диагностикой стоит личный опыт автора). Правда, финал повести несколько смазан: погибающего от непомерной дозы алкоголя героя благополучно спасают. Это снижет доведенный было до предела накал повествования.

О психически больном человеке рассказывает и «**роман в шести тетрадах**» **Геннадия Николаева «Вещие сны тихого психа»** («Звезда», № 5). Но тут, увы, — ни психологической достоверности, ни тонких деталей. Текст отменно тягуч и невероятно длинен. В психиатрическую больницу где-то в Германии попадает русский эмигрант — скорее всего сошедший с ума на почве расставания с родиной (хотя истинная природа его безумия в романе замутнена). Лежа на больничной койке, он, как водится в заурядной беллетристике, ведет пространственный дневник, вспоминая (в отдельных «секретных записях») давнюю работу в Спецлаборатории института биофизики на Байкале. Эта работа якобы была прикрытием для сугубо специальных исследований, причем за исследователем кто-то постоянно следил. Многомудрые ученые монтируют искусственный муравейник с супермуравьями. Бред и галлюцинации героя перемежаются с реальными картинками. Добравшийся до финала читатель узнает, что приключения героя — не более чем фантазии, его любовь к разным женщинам сильно им преувеличена, а герой — просто слишком мягкий человек, не выдержавший обступившей его жестокой бессмыслицы.

Напротив, **повесть С. Иванова «Марш авиаторов»** («Звезда», № 3) исключительно бедна вымыслом. Тут голая и малосимпатичная правда. Это — быт и служба летчиков, некогда славных и уважаемых героев. Сегодня бывшие герои — бедняки, еле сводящие концы с концами. Кто-то на содержании работающей жены, кто-то бережно несет домой для детей котлеты из служебной столовой. Рушатся семьи. Один из них, рискнувший от отчаяния рвануть в горячую точку, гибнет, в Питер вместо мужа и сына возвращается запаянный гроб...

Герой романа **Михаила Чулаки «Примус»** («Звезда», № 1) — невостребованный ученый-физик, ищущий прокорма. Так что проблема ненужности обладателей дипломов и степеней вроде бы заявлена как одна из животрепещущих. Однако объемистый роман Чулаки и неловко скроен, и некрепко шит. Герой (его так и зовут — Герой Братеев), давным-давно не получающий зарплату в своем институте, знакомится с энергичной, бесцеремонной и богатой дамой по имени Джулия, но на содержание идти не хочет. И открывает собственный бизнес: изобретает мифическую «Академию опережающих Наук» и собирает сотни долларов с ученых, якобы туда избранных. Наивные простофили шлют денежки, Герой только и успевает пересчитывать. К тому же он умудряется и здание под свою Академию найти: ни больше ни меньше как на набережной Невы. Так ли это натурально — весьма сомнительно. Едва ли ученые будут слать деньги куда попало, да и откуда они у них возьмутся? В

свой роман автор натолкал немало всевозможных и самых разноплановых событий. Но непонятно, зачем они роману нужны — не для одного же объема? Вот Герой внезапно заболевает раком почек, но благополучно излечивается. Потом его обвиняют в вымышленном убийстве девушки и зверски избивают злодеи-милиционеры, больше похожие на бандитов. За гигантскую взятку его выпускают. И т. д. Но все кончается развеселой свадьбой, молодые становятся обладателями особняка в престижном Комарове. На память приходит оптимистичный финал «Мухи-Цокотухи»...

Вряд ли читатель предпочтет этому неважно написанному роману **рассказ Сергея Коковкина «Кольцо»** («Звезда», № 2), соответствующий всем канонам постмодернистской литературы — с ее сюжетной и идейной размытостью. Но кажется, автор про читателя и вообще забывает. Границы игры и жизни в романе стерты, так что переживания (любящих?) Кати и Влада не имеют особого значения. Недаром Влад «сломал канон, превратив театр в жизнь». Жизнь героев словно расслаивается: отсюда постоянный мотив зеркал. Читателю остается только недоумевать, кто же такие эти герои, какие между ними отношения и почему, едва они отъезжают от дома, откуда-то сверху в их машину ударяет выстрел. Кто в кого стрелял и зачем — загадка, но ее разрешение автора не занимает. «Было зверски хорошо», — заканчивает он свою историю. Кому хорошо и отчего, тоже неясно, но точно — не читателю.

Повесть **Елены Скульской «Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны»** («Звезда», № 6) — текст тоже странный, абсурдистский и тоже явно рассчитанный на особый круг читателей. Разумеется, крематорий, где происходит действие, — не обычное мрачное учреждение. Но что же он такое — сказать трудно. В повести действуют поэтесса, сочиняющая стихи «для нужд крематория» и впоследствии накладывающая на себя руки, ее сын, умерший от скарлатины, «красавица-цесарка» — ведущая драматическая актриса города и прочие персонажи, о которых трудно сказать что-то определенное. Перед нами театр масок, который невозможно воспринимать всерьез. Маскарадное действо прорезают мелькающие на мгновение реальные картинки. Однако узнать, почему же мамы худых, «как доски», послевоенных детей «покупали вещи, чтобы не было войны», не удастся.

Полны ностальгии — не по советским, разумеется, временам, а по выпавшей на них молодости — главы из книги **Владимира Арро «Дом прибежшица»** («Звезда», № 4). Ностальгию усугубляет то, что известный питерский драматург ныне живет в Германии. Арро вспоминает давно сгоревший Дом писателя с его веселыми сходками в ресторане, хотя множество писателей может вспомнить массу несимпатичных дел, именно там происходивших. Но — что пройдет, будет мило... Вспоминается автору создание в 1963 году журнала «Аврора», ныне выродившегося во что-то малопрстойное, а тогда живого и читаемого. Отдадим писателю должное: многое он вспоминает правдиво и рассказывает интересно. И кто бы знал, что тогдашнюю жизнь будет вспоминать с тоской и нежностью руководивший Союзом писателей в перестроечное время бунтарь Арро...

Ностальгическую тему советских времен затрагивает **И.Смирнов-Охтин** в рассказе **«Любители»** («Нева», № 6). Он повествует об эпохе, «когда все читали», о 60 — 70-х, времени дешевого коньяка, действующего общества книго-

любов и пыльного подвала на Фурштадской. Писатели встречались там с читающей публикой, мелькают имена Вити Кривулина, Оли Бешенковской, Олега Григорьева. Тяжкие были времена, вздыхает автор, но слушатели после обязательной части рысью рвались к книжным прилавкам. Пока не наступила пора, когда в зал никто не пришел...

Рассказ И. Бонч-Осмоловской «День из жизни старика на Бёр-кендел, 42» («Звезда», № 2) открывает эпиграф: «Всем старикам посвящается...» Автор — тоже эмигрант, только живет не в Германии, а в Англии. Но жизнь человека одинокого и старого, наверное, всюду почти одинакова. Душу гложет тоска по сыну, живущему в немыслимо далекой Австралии. Описание стариковских, почти стертых, чувств, его немощей, его быта, состоящего из массы физических трудностей, и составляет содержание рассказа. Но читается он не только с интересом, но и с сочувствием, не ослабевающим до конца.

Повесть Е. Салмановой «Танго для одного» («Нева», № 2) наполнена тоской по прошедшей юности — навсегда растаявшей «полуболи», «полумечты», которая для героини связана с далекой экспедицией в горы где-то на китайской границе и с тогдашней любовью. В ощущении погони за ушедшим героиня и живет все последние годы. Она вспоминает и ту экспедицию, и чуть не погубивший ее случайный выстрел из ружья, и множество последующих своих романов, но понимает, что остается не с ними, а лишь с мечтой о любви, что мечта и была единственным реальным содержанием ее жизни.

Рассказ М. Гиршина «Эне, бене, труакатор...» («Нева», № 2) типичен для этого автора, всегда как бы рисующего свои сюжеты. В название взяты слова из считалки, которые рассказчик помнит с детских лет, пришедшихся на войну. Действие в основном разворачивается в годы хрущевской оттепели. Рассказчик — одинокий человек, учитель на грани суда и увольнения — с тоской думает о своей детской подруге Люське, которая наверняка поняла бы его лучше всех остальных. В поисках своей убитой матери она пришла в самое логово румынских фашистов, где и угодила в гестапо. Гиршина упрекнуть можно только в том, что живописные картины для него всегда важнее события, часто непроясненного. Читатель едва ли постигает, за что герою грозит суд, с трудом догадывается о судьбе Люськи...

Историческая повесть А. Евдокимова «Петербургская рапсодия» («Нева», № 2) посвящена петровскому времени и рассказывает о краткой и страстной любви царя к юной красавице-немке Марлин Кохшельман. Любовь эта, вполне плотская и грешная, окутана в повести мистическим туманом. Что не мешает автору рассказать о рождении у царя не признанного им наследника Павла Петровича (не путать с будущим императором Павлом I), а юную красавицу заставить принять постриг под именем Марии Ладогской. Текст изобилует высокопарными словами и намеками на то, что именно Марии Ладогской обязан Петербург своим спасением. Интересно, что вся эта мистика соседствует с вполне современным пристрастием автора к откровенной эротике. Эротико-мистический винегрет посвящен предстоящему юбилею города.

Рассказ Светланы Шенбрун «Трое» («Нева», № 4; тематический номер «Петербург — Иерусалим») тоже несколько мистичен. Но мистика здесь не выморочная, не абсурдная, а как бы акварельная, нежная, позволяющая загля-

нуть в глубины человеческого существа. Живет в некоем городе, в коммунальной квартире одинокая и никому не нужная старуха, раздражающая соседей самым своим существованием. Однажды она падает на улице — и, видимо, памятью попадает в свои немыслимо далекие молодые годы, когда она была юной прелестной девушкой, балериной, от которой невозможно отвести глаз. Постепенно эта картина начинает словно сливаться с сегодняшним бытом колченогой старухи, но все это не раздражает: рассказ написан уверенной талантливой рукой.

Обширная повесть М. Хейфеца «Страсти по Меншикову» («Нева», № 4) написана тридцать лет назад. Но по сперва непонятным для автора причинам упорно не печаталась, хотя почти все им написанное кем-то оплачивалось. В дальнейшем автора арестовали за предисловие к самиздатскому сборнику Бродского. Нынешний сотрудник Иерусалимского университета представил «Хронику любви и власти» знаменитого сподвижника Петра. Пружина действия — любовь Меншикова к невесте, княжне Долгорукой, и счастливая и несчастная одновременно. Сюжет несколько напоминает шекспировский: вражда двух знатных семейств, изгнание любовника, гибель героев. Но сюда примешана российская соль: тюрьма, ссылка, Сибирь. Собственно, в повести говорится не о возвышении безродного человека, а о падении его. Следует отдать автору должное — при всем интересе к личности Меншикова героя своего он не идеализирует, помня о том, что рассказывает об одном из крупнейших российских казнокрадов. Однако повесть носит несколько романтический характер, ибо любовь в ней затмевает прозаическую сторону жизни. Не очень понятно, почему эта повесть (точнее ее было бы назвать романом), написанная на сугубо отечественном материале, входит в тематический номер «Петербург — Иерусалим».

Обзор подготовила Евгения Щеглова

2. Литературная критика

(«Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Москва»,
«Наш современник», «Нева», «Новый мир», «Октябрь», «Урал»;
«Ex libris», «Завтра», «Литературная газета»,
«Московские новости»; Интернет)

Критика нынче очень пестра: есть журнальная, есть газетная, есть и сетевая. Подробный обзор последней, становящейся все интересней и реактивней, — дело будущего, но с чего-то ведь нужно начинать. В этом номере «Континента» мы попробуем добавить к обзору публикаций в бумажной прессе и наблюдения над тем, что привлекло внимание в Сети. Точнее, пока лишь в «Русском журнале» и на личном сайте А. Немзера.

О ПРОЗЕ

В темах и тональности литературных разговоров проступают некие ощущения, которые критик **Александр Вознесенский** («За «нашу» империю!»: «Ex libris», 18 апреля) по поводу очередного опуса Ника Перумова «Череп на рукаве» охарактеризовал так: «в воздухе настоящего витает предчувствие нового тоталитарного проекта — и, как диалогический полюс, необходимости <...> подполя, состоящего из вдохновенных одиночек».

Критики вдруг начали говорить не столько о литературе, сколько об ее *социокультурном и политическом контекстах*.

Большая статья **Марка Липовецкого** «ПМС (постмодернизм сегодня)» («Знамя», № 5) полна тревоги и заботы о судьбах отечественного постмодернизма — направления в литературе, с которым этот критик давно себя связал неразрывно. С одной стороны, постмодернизм растет и колосится, «им (т. е. постмодернизмом) пишет всякий». Внешние приметы постмодернистского письма (цитатность, монтаж различных дискурсов, расширение категории текстуальности, разного рода трансгрессии) сегодня не пользуются только ленивым. Достучался он и до масс: критика радуется «неслыханный, ошеломительный успех у широкого читателя романов Пелевина и Сорокина, а затем и «Кыси Толстой». «Книги русских постмодернистов стали бестселлерами», «все рекорды популярности побил явно постмодернистский по своей природе проект Б. Акунина», «постмодернизм перестал быть альтернативной эстетикой, а стал самым что ни на есть мейнстримом». Два постмодернистских «типа письма» переживают расцвет в России 90-х годов. Это исторические фантазии (историографическая метапроза) и новый автобиографизм. Там происходит «ревизия традиционной (модернистской) концепции личности как некоей целостности». «Мемуаристы» 90-х анализируют свой личный опыт как конгломерат влияний, «чужих слов», осколков чужих сознаний, отражений в глазах других людей. Парадоксальным образом присутствие «Я» выражено через его отсутствие — через систему отражений и рефлексий на «чужое»...

Но не ради отчета о достижениях пишет Липовецкий. Удаает его мутация постмодернистской литературы в сторону идеологической спекуляции. Используя постмодернистскую деконструкцию в качестве метода отторжения «чужо-

го», она кроит «свое» из стереотипов разнообразных «великих нарративов», скрывая швы иронией. Деконструируется *чужое*, которому противопоставляется заабсолютизированное *свое*. А как же политкорректность? Нехорошо, братцы, — пеняет проживающий в США Липовецкий. Уж деконструировать — так до конца. А не создавать и не навязывать наивным читателям и зрителям новые политические мифы, как делают патентованные постмодерноги Пелевин, Крусанов, Балабанов, Дугин, Лимонов и голкомпания. С помощью постмодернистских технологий они выдают на гора новые мифологии, состоящие из старых стереотипов. Надежды Липовецкий возлагает разве лишь на отъявленных либералов-постмодернистов Акунина, Рубинштейна, Левкина, Королева. Уж они-то не потянутся к власти, не поддадутся «тенденции к *тоталитаризации* русского постмодернизма». Но что до остальных — обманулся Липовецкий в ожиданиях. Посмотрим, не обманется ли он и в нынешних надеждах.

Казался русский постмодернизм белым и пушистым, а оказался черным и ершистым. Неприятным каким-то... А нечего было с ним флиртовать. Таков злорадный пафос отклика Александра Агеева на статью Липовецкого в «Го-лоде 74» (30 мая) («Русский журнал»). Агееву как бы жалко Липовецкого. Как бы вот было у него «дело жизни», которому отданы лучшие годы молодости, в которое вложены немалые надежды, и вдруг само это «дело» начинает своему энтузиасту изменять, да еще со злейшими его врагами — тоталитарными мифами! Но «аутентичный» постмодернизм, то есть западный, — теория очень «левая», гораздо более враждебная либерализму, чем коммунизму. Первое поколение русских постмодернистов отличала некоторая «шизофрения»: в «жизни» они самоопределялись как либералы, чуть ли не буржуа (Слава Курицын этак не раз высказывался), и лишь в «эстетике» гнобили «модернистские утопии» и «деконструировали» свод либеральных ценностей. Но времечко шло, и стали появляться очень «целостные» и последовательные, вплоть до воинствующей антибуржуазности, постмодернисты, и куда ж им было деваться в России, как не примкнуть к пестрой антилиберальной коалиции? Вот и имеем мы «Господина Гексогена» в издательстве «Ad Marginem», и «жыдоборца» Пирогова в «Экслибрисе». В России, продолжает Агеев, «тоталитарные мифы», может быть, и развенчаны, но обычаи и образ жизни большинства населения вполне себе тоталитарны. И ежели рассчитывать здесь на коммерческий успех, то у наших постмодернистов иного выхода нет, как только играть с этими «стереотипами». А потом удивляться, что «жизнь» на эти игры как-то уж очень живо откликается, постмодернистской «иронии» не понимая. Теоретики (типа Липовецкого) и идеологи («идеологом» Липовецкий назвал Курицына) постмодернизма должны были эти и подобные «мутации» своего «дела жизни» предвидеть.

Тема актуальная. Ее значимость проявили в этом году скандальные изгибы литературной жизни. Взять хоть самозапись видного столичного критика-тусовщика Дмитрия Ольшанского в черносотенцы («Как я стал черносотенцем»: «Ex libris», 11 апреля), вызвавшую живую реакцию (неофита заклеили Ст. Львовский, А. Агеев, В. Курицын и др.). Вчерашний либертин публикуется теперь в газете «Завтра». В газетной заметке «Речь не о себе» (№25) Ольшанский делится своим свежим открытием: Иосиф Бродский — русский писатель, с русским взглядом на вещи. Таких открытий юноше-патриоту предстоит сделать еще немало.

Удивительное читиво попало на зубок **Марии Ремизовой**, автору ехидной статьи «**Вагинетика, или Женские стратегии в получении грантов**» («Новый мир», № 4). Критик прохаживается по поводу книги **Ирины Жеребкиной** «**Страсть. Женское тело и женская сексуальность в России**». Судя по всему, книга — истинный подарок язвительному читателю. Более удачный повод для критической резвости, кажется, и придумать трудно, хотя вроде бы ничего особенно смешного в этом уникальном произведении нет. «Мужчина привлекает ее внимание различными активными действиями и перформативными постановками <...> в виде справедливого и добропорядочного тела А. Ф. Кони». Или: «фаллическое — это такой элемент в структуре, который маркирует чистое различие; другими словами, такое присутствие, которое маркирует чистое отсутствие». Жуть ведь просто берет! А вот смеяться... Тем не менее Ремизова высмеивает сей шедевр мысли и стиля совершенно блистательно. Редкий случай, когда наслаждаешься критической статьей и совсем не жаждешь насладиться ее предметом. Суть же проблемы в том, что рецензируемый труд претендует на звание глобального культурологического исследования. Это-то и есть самое грустное...

Но особенно красноречивым событием стало присуждение премии «Национальный бестселлер» роману **Александра Проханова** «**Господин Гексоген**». Ситуация активно обсуждалась в сетевых и бумажных СМИ.

Член жюри премии **Владимир Бондаренко** («Так значит нам нужна победа!»: «Завтра», №24) расценил случившееся как «прорыв из искусственно созданной власти, магнатами, репрессивными органами резервации для непослушных русских национальных писателей». «Победа Проханова — это победа рязанских полей, мурманских фьордов, сибирских лесов. Победа всех традиционных русских сил».

Другой член жюри, **Михаил Трофименков** («Роман меняет читательское зрение»: там же), заявляет, что **Проханов** идет вопреки всем существующим правилам литературной игры, вытаптывая критерии «хорошего литературного вкуса» и «политической корректности». Оказывается, Трофименков только того и ждал. Для него книга Проханова есть грандиозное апокалиптическое видение. Критик смело уравнивает ее с «Петербургом» Андрея Белого.

Свои радость и одобрение по поводу присуждения премии **Проханову** в газете «Завтра» (№25) выразили также писатели **Бондарев**, **Мамлеев**, **Крусанов** и примкнувший к ним **Игорь Шафаревич**.

Много сделавший для того, чтобы **Проханов** получил награду, заслуженный отечественный постмодернист **Вячеслав Курицын** представлял дело так («Курицын-weekly от 28 марта»): главное — смычка левоинтеллектуального издательства «Ad Marginem» и красно-коричневого писателя «в деле сопротивления». В наше время, «сама по себе воля к сопротивлению оказывается величайшей ценностью. Мы никогда не узнаём, взрывал ли Путин дома в Москве, но версия такая должна существовать, муслироваться, обсуждаться. Путин должен знать: мы верим, что он мог взорвать дома. Потому что он хоть и симпатичный, но гэбэшник. Мы этого ему еще не простили: от таких вещей отмываться нужно долго... А книга-то и «сама по себе» хороша: прекрасный сюрреализм, которым Проханов еженедельно лупит врагов в передовицах «Завтра», наконец-то конвертировался в большой стиль».

Лев Пирогов («Предчувствие»: «Ex libris», 23 мая) едва ли не с радостью фиксирует сдвиг вправо в планетарном масштабе, частным выражением коего считает и случай с Прохановым. Да и то, либерализм себя исчерпал. Пора задуматься о национальной идентичности. Таков пафос автора.

Не все, однако, разделили эти восторги.

Владимиру Березину («Просто «Г.Г.»»: «Ex libris», 18 апреля) не понравились ни роман (он сводит трагедию к фарсу, гремят внутри него какие-то фельетонные погремушки, и нет там смерти, а только прокисший клюквенный сок), ни его безответственные рекламисты, которым он адресует предостережение: «начнешь говорить об эстетической ценности расстрелов — оп-паньки, чур не возражать, когда тебя выведут к оврагу».

Сразу после известия о присуждении премии **Проханову** **Андрей Немзер** (3 июня; «Приехали») в не очень свойственной ему резкой манере писал: «Терпкий запах туберозы в очередной раз смешался с запахом портков. Дело знакомое: победе большевиков в России и нацистов в Германии спешествовали не только жадные до власти и харча люмпены, но и «утомленные культурой», манерные умники. А также представители крупного капитала, самоуверенно полагающие, что всегда сумеют загнать джина в бутылку. Эту роль отменно исполнил Почетный председатель Малого жюри, он же просто Председатель Наблюдательного совета Промстройбанка (СПб.) **Владимир Коган** <...> обеспечивший чудовищному финалу вождьленную респектабельность. Вы скажете, что опус Проханова — глумливый и истеричный антигосударственный пасквиль, а вам с восторгом сообщат: за него голосовал энергичный и успешливый банкир, один из негласных хозяев северной столицы, человек, близкий сегодняшней верховной власти. Вы скажете, что «Господин Гексоген» напитан животным антисемитизмом, а вас ликующе ткнут в фамилию Председателя. А на случай «литературного» разговора <...> припасены не токмо пламенный **Бондаренко** (как же, «критик завтрашнего дня»!), но и артистичный обозреватель «Коммерсанта» **Трофименков**. Не говоря уж о «молодых интеллектуалах», пиаривших «Гексоген» на всех перекрестках, сноровисто сжигавших, чему поклонялись («либеральные ценности», что в их контексте гляделись на удивление пошло и глупо) и истово кланяющихся всему, что сжигали («ценности патристические», опять-таки изгаженные новоявленными адептами) <...> Каких открытий чудных можно ждать от литератора, чье косноязычие давным-давно вошло в пословицу и сопоставимо лишь с его же честолюбием, куражливым бесстыдством и идеологической нетерпимостью? <...> Не пахнет здесь словесностью. Пахнет опасной политикой и смердящим бытом заигравшегося «культурного сообщества» <...> Против человечности, национального самосознания, свободы, личного достоинства, культуры все средства и все союзы сгодятся. Господотаварищи, как видим, отменно поладили. С нашей помощью».

Александр Агеев согласился с **Немзером** («Голод 75. Практическая гастроэнтерология чтения», 5 июня) и удовлетворенно добавил, что «наконец-то» (как будто бы Агеев того ждал много лет) десятки от души презираемых им литературных и околослитературных людей обнаружили свою нравственную невменяемость, человеческую и профессиональную ничтожность. Искупались в дерьме, с которым хотели только «поиграть», по полной программе, и никогда им от

этого дерьма не отстирать свои белые парадные фраки. Наслаждайтесь теперь тем фактом, что «национальный бестселлер» в «этой стране», которую вам никогда не было жалко, — убогое сочинение редактора грязного антисемитского листка.

Столкнувшись с такой критикой, **Курицын** мотивировал свой поступок следующим образом («**Курицын-weekly от 10 июня**»; «**Гексоген без ссылок**»; для не читавших Курицына в Сети укажем, что мы сохраняем простецкую манеру выражаться и претенциозную орфографию автора). У него существует вопрос — что делать с хорошей литературой, написанной плохими людьми. Ну, антисемитами или каннибалами. **Агеев** и **Немзер**, считает Курицын, не задаются этим вопросом по причинам отчетливо страусиным: они объявляют **Проханова** плохим писателем. А Проханов писатель отличный. Животный, дикий, путаный, идеологически сомнительный, такой кусок раскаленной души, такой поток инкрустированного поноса, такая сила в клетке, бес в ребре, одуван на челе, Путин в радугу превращается — настоящий, короче, писатель. Вставляет. И так что нам делать с талантливыми злодеями? Расставаться с мифологией Искусства (в которой непременно креативные выродки и пердуны, личности принципиально безответственные, живущие не по понятиям, а по ветру), укореняясь в мифологии Культуры, предполагающей ответственность как абсолютную ценность? Здравый смысл предполагает — ищите пространства диалога. Проханов — человек, прободавший много лет в культурном пространстве, где муссируется категория антисемитизма. Сей опыт способствовал тому, что внутри у него расцвел антисемитский цветок. Ну так и давайте рассасывать этот цветок в российском гражданине Проханове, а не раздувать костер ссоры. «ГГ» не является антисемитским романом. И вообще злодейским романом ни на секунду не является. В «ГГ» автор защищает, в общем, жизнь. Он на стороне людей, погибших на потребу засевших во Власти негодяев. Российский гражданин Проханов написал энергичный роман, в котором утверждает, что власть должна быть добрее, чем она есть. Что эфэсбэшники не должны людей убивать. При сочинении, размножении и чтении романа не пострадал ни одного еврея. **Левак Иванов**, м.. картонная, заручившись таинственным **Коганом**, сделал вполне буржуазную вещь: интегрировал опасного Проханова в светский контекст. «Я хочу жыть в одном обществе с Немзером, Агеевым, Прохановым и **Бондаренко**. Всех этих людей я, что ли, люблю. Я верю, что Проханов мог бы остановить автомобиль, чтобы убрать нехорошую табличку» (речь идет о плакате «Смерть жидам» на обочине шоссе. — БСК).

Нешуточные страсти разгорелись в «Русском журнале». Через день **Агеев** («Голод 76. Практическая гастроэнтерология чтения», 13 июня) отвечал **Курицыну**. Сначала он подчеркнул, что и он, и **Немзер** имеют хорошее образование и благодаря этому кое-что в литературе понимают. А вот у Курицына вкус непоправимо испорчен. Далее Агеев дает оценку прозе **Проханова** (тем самым отвечая и на упрек **Кирилла Куталова-Постолля**, обращенный к критике, которая, де, не смогла отрефлексировать новое художественное явление, «опозорилась». — «Палата №7»: «Ex libris», 23 мая). **Проханов**, по Агееву, ярко выраженный эпигон, смесь позднего Боборыкина (роман «на злобу дня» и с «тенденцией») и раннего, «романтического» Горького. Не согласен Агеев и с тем,

что Проханова можно интегрировать. Никогда и нигде «буржуазии» не удавалось «интегрировать в светский контекст» ультраправых и расистов. Потому что они не «младше», а «старше» культуры и цивилизации, они — из иррационального мира «натуры» («животные» и «дикие»). Проханов сам кого хошь проинтегрирует. Да и в романе он вовсе не «жизнь» защищает. Книга прямо-таки сочится ненавистью.

Максим Соколов («Бессмысленная и беспощадная»: «Русский журнал», 13 июня) выразился в присущем ему духе, как просвещенный, но ядовитый консерватор. Казус высветил непримиримое различие между двумя пониманиями культуры. Есть обывательское (немзоро-агеевское тож) понимание. Культура — это система табу, начиная с табу на кровосмешение и антропофагию и кончая каким-нибудь вариантом «Юности честного зеркала» — «И то есть немалая гнусность, яко кто с жидоморами публичную симпатию имеет». Господствующее в божемом сообществе понимание культуры диаметрально противоположно. Для богемы и ориентирующейся на нее публики культура есть процесс снятия запретов. Творчество как беспрестанное растабуирование, как последовательное, одно за другим отключение защитных механизмов. Соколов заключает оргпредложением: «На всякое безобразие должна быть прополка и опрыскивание».

Бахыт Кенжеев в заметке «**Лобстеры с Борнео, или Хороший писатель Проханов**» (14 июня) берется показать, что Проханов — плохой писатель. «Господин Гексоген» отчаянно напоминает советские романы 50-х годов с описанием западной жизни, психологии всех этих Рокфеллеров и прочих агентов мирового империализма. Ясно, что на приемах у богатых мироедов господина Проханова вряд ли пустили бы дальше лакейской. Вот он и фантазирует, онагнирует перед зеркалом. Говнюки, морды жидовские, которых при советской власти в сраную Болгарию не выпускали, покупают виллы на Багамах, жируют, посещая «пиршества элитных приемов». Нечестно! — вопит наш писатель... Кенжеев восклицает: «Что за смердяковщина, Господи помилуй!». Отвратителен романчик не только потому, что не имеет никаких литературных (стилевых) достоинств. А еще и потому, что построен на ненависти. Деление на «своих» (объект умиления) и «чужих» (объект ненависти) проведено с оскаленным перекосом в сторону «чужих», так что «своих» в романе почти не остается. стыдно за образованных, начитанных тусовщиков, которые из дерьма хотят конфетку сделать — гибель постмодернизма, фуе-мое. То ли провокация, то ли глупость.

Со своей колокольни смотрит на события **Дмитрий Быков («Быков-quickly: взгляд-34»; 12 апреля)**. Он использует повод для производства презрительных обобщений. Быков считает, что превращение «Господина Гексогена» в литературное событие осуществляется по причине литературного безрыбья. Только на безрыбье возможны споры о Борисе Акунине, и только при отсутствии политической жизни возможен скандал вокруг появления романа Проханова в издательстве «Ad Marginem». И романы Сорокина, и романы Проханова не могут рассматриваться как собственно художественные тексты: красота их — в последовательности. Противно, но цельно — следовательно, эстетично. Имморализм модной (стильной) культуры, ее скромное садо-мазо — все это от-

лично сочетается с иммортизмом и брутальным садо-мазо нашей почвенной культуры. Плохие люди всегда договаряются. Но и патриоту уже нечего предложить: конечно, у Акунина никакой энергетики, а у Проханова ее в избытке, но проза его остается бездарной, не выдерживающей критики.

Он же в **«Быков-quickly: взгляд-38»** (10 июня) договаривает: награждение Проханова — это нормальная литературная жизнь. Ибо литература — вещь живая, органическая и регулированию не поддающаяся. Лучше быть Лимоновым, чем его либеральными критиками, Павловым — чем Агеевым; Прохановым, чем Курицыным. Потому что Проханов — художник, а Курицын — нет. Нужны не запреты, а идейные, принципиальные споры. Нельзя спорить только с рыночником или постмодернистом: с ними возможен разговор о гонорах и литературных стратегиях, о новых электронных СМИ и о пиаровских технологиях, но спор по существу невозможен, ибо убеждений нет. Со всеми остальными — включая антисемитов, евразийцев и оголтелых врагов государственности — спорить можно и должно: в споре приобретаются друзья. (См. о самом Быкове ниже соображения А. Агеева.)

Спустя некоторое время поделился своими мыслями и Сергей Чупринин. В статье **«Урок прикладной конспирологии»** («Русский журнал», 22 июля) он пишет, что ему все нравится в этой истории. Она свидетельствует о том, что чудеса — дело в наши дни рукотворное. Теперь-то и маловеры будут знать, что из грязи в князи, при грамотном подходе, можно произвести кого угодно — хотя бы и Проханова. Недаром же никто из писавших о «Господине Гексогене» не потрудился внятно объяснить, чем уж этот роман так хорош. Зачем? Ведь на каждый аргумент может найтись свой контраргумент, и только против лома нет приема. Вот и твердили, как заведенные, про «энергетику» (Лев Пирогов, «Независимая газета»), «масштабную яростную энергию» (Дмитрий Олышанский, «Время МН»), «пассионарность» и «энергетическую мощь» (Игорь Зотов, «Независимая газета»), «совершенно невероятную для российской литературы энергетическую мощь текста» (Леонид Юзефович), его «демоническое обаяние» (Галина Юзефович, «Еженедельный журнал») и «политический темперамент» (Надежда Павлова, «Культура»), «героико русского вызова» (Владимир Бондаренко, «Завтра»), «бес в ребро... фуе-мое» (Вячеслав Курицын, «Русский журнал») да еще, когда слов уж вовсе нет, про «невероятное впечатление» (Михаил Трофименков) и «неотступное чувство события» (В. Курбатов). Простится вопрос о заказчике сотворенного нашей «золотой молодежью» и ее старшими товарищами. Имя Бориса Абрамовича Березовского подразумевается. Однако Чупринин видит в происшедшем не пропагандистское поражение нынешней власти, но, напротив, ее победу. Стране не только подарили еще одного модного беллетриста. У страны еще и отняли — самого, может быть, темпераментного и литературно одаренного обличителя «преступного режима». Еще недавно Проханов рисовался публике в облике имперского ястреба, воителя, непримиримого тираноборца, который скорее умрет, чем хотя бы крошку возьмет как у власти, так и у презируемого им литературного истеблишмента. Его не удалось сломать, зато удалось купить — тиражами, славою, чечевичной похлебкой. А то, что претендовало на роль компромата и было, по крайней мере, провокацией, прочтено как чистой воды вымысел — столь же пряный и столь

же пропагандистски безвредный, выхолощенный, как и предположение Владимира Сорокина о гомосексуальной близости Сталина с Хрущевым.

Замечательную затею осуществил журнал «Октябрь» (№ 6): в тот момент, когда не был еще известен лауреат премии «Национальный бестселлер», опубликовать подборку мнений Большого жюри о нескольких произведениях-президентах. На наш взгляд, удовольствие получили все: и те, кто читал обсуждаемую прозу, и те, кто ее не читал, зато хотел бы поближе познакомиться с членами жюри. На примере «Карагандинских девятын», скажем, отчетливее видна разница мировоззрений Владислава Отрошенко и Николая Переяслова; две три реплики Алексея Мокроусова изобличают его тоску по «уровню трифоновского взгляда», а Вячеслав Курицын потрясает непривычного читателя тем, что слово «ЖЫЗНЬ» и все его производные так и пишет через «ы», — правда, новаторство несколько обесценивается на фоне остальных опечаток. Попадают и настоящие шедевры критической мысли. Их хочется цитировать безотносительно к поводу и даже автору высказывания. «...Немного похоже на «Бесов», но совсем чуть-чуть, как Путин на Джоконду»... Что тут добавить?..

На глазах выдыхается *дискуссия в «Литгазете» о сумерках литературы*, начатая в свое время статьей А. Латыниной (см. предыдущие выпуски БСК). Существенного интереса новые реплики в споре не представляют. Мария Галина («Мнимый больной», № 15) уверена: критика не все замечает, особенно из того, что пишут на Украине. Александр Яковлев («Местное бремя», № 20—21) тоже катит бочку на критику, пеняет на клановость, мешающую быть объективной. Утешается он тем, что жители провинции и ее сочинители ничего не читают и о столичных дискуссиях не ведают. Живут себе. Таковы, например, владимирские литераторы, молодые духом. Лидия Григорьева («В поисках утраченного», № 16) очертила «портрет мужчины в интерьере современной женской поэзии». Все хорошо, но фамилия Михаила Кузмина пишется без мягкого знака. Юрий Архипов («Гибель богов по-русски и по-немецки», № 22) подробно отчитался о современном состоянии русско-немецких литературных связей. У нас плохо издают немцев, у них издают не тех русских (а именно: Ч. Айтматова, В. Токареву, Г. Айги, Д. Пригова и т.п.). Лев Аннинский («Больной скорее полужив, чем полумертв», № 13) отделяется тривиальными парадоксами. Была литература — «наше все». Теперь она — наше ничего. Каковы мы, такова и она. Так считает маститый автор, давно уже утративший интерес к текущему литературному процессу. Наконец, Алексей Шорохов («На пороге дурной бесконечности», № 26) пространно рассуждает об утрате веры в письменное слово, о внелитературности современной ситуации. Литературе он дает такой заказ: написать «о роте псковских десантников, polegшей в Аргунском ущелье, но не пропустившей рвущуюся из окружения бандитскую свору».

Уже самой дискуссии о «сумерках» отечественной словесности посвящена статья Марии Ремизовой «Кризис жанра», («Октябрь», № 5). О содержании многое говорит уже подзаголовок — «Литературные прения как способ уйти от ответственности». Однако при всей бесспорности позиции автора это выступление на морально-критическую тему «непродвинутого» читателя разочаровывает. (Основная мысль — прошедшее литературное десятилетие ничем не хуже пре-

дыдущих, а всему литературному сообществу имеет смысл перестать рассматривать литературу как делянку для удовлетворения своих личных потребностей и научиться относиться к ней прежде всего бескорыстно). Если, по невежеству своему, читатель не следит из года в год за творчеством наших литературных критиков, ему будет непонятна добрая половина текста.

В статье «**Свежая кровь**» («Новый мир», № 6) разговор, начатый в «Октябре», как бы продолжается. Не соглашаясь с тем, что «отечественная литература, согласно прогнозу профессиональных плакальщиков (их список см. в «Октябре». — *Ред.*), переживает последние конвульсии», **Ремизова** анализирует работы целого соцветия молодых прозаиков, дебютировавших в конце 2001 года. Ее похвальное слово Наташе Оленцовой, Леониду Саксону, Андрею Геласимову и Алексю Лукьянову звучит веско и убедительно. А внимательный пересказ-разбор произведений этих авторов наверняка послужит рекомендацией для читателя.

Напротив, весьма пессимистично смотрит на современную словесность **Михаил Золотоносов**. В «Московских новостях» («Литературочка», № 27) он в который уж раз диагностирует деградацию литературы. Его прогноз — угасание и разложение литературы «старого типа». Сборная России по литературе уже проиграла. Симптомы того — присуждение «Нацбеста» роману Проханова; скучные словесные массы Азольского, Пророкова, Шишкина, Славниковой; роман Рагозина... Маканин и Вишневская размещают героя не в культурно-историческом, а в бытовом пространстве. Ну а чемпион в игре на понижение — Валерий Попов. Если Шорохов требует, чтоб литераторы увековечили подвиг десантников, то Золотоносов формулирует две общие проблемы, художественное осмысление которых могло бы поднять уровень литературы. Это разочарование целого поколения в «корыстной демократии», утрата надежд — и исчезновение прежних ценностей.

Отповедь критикам, которые отпевают литературу (упомянуты Аннинский и Аксенов), дает апологет реализма и защитник духовных ценностей **Карен Степанян**. В статье «**Завороженные смертью**» («Знамя», №6) он заметил, что, на его взгляд, эстетическая функция литературы сейчас ослабла, но на первый план выходит функция познания мира. В доказательство он заводит речь о четырех романах, «относящихся к нормальному движению нашей современной литературной жизни»: «После запятой» А. Нуне, «Анна Гром и ее призраки» М. Рыбаковой, «Радость смерти» А. Курчаткина, «Близнец» А. Кима. Объединяет эти произведения то, что все они посвящены проблеме смерти и того, что ждет душу после этого рубежа.

9 апреля в Интернете появилось соное по счету *обозрение Сергея Костырко*. Этот критик в числе немногих сосредоточился в основном на работе в Сети. И там, в Сети, весьма заметен. В качестве опыта попытаемся обозреть проблематику некоторых последних его публикаций.

№ 100. Заметки о литературной ситуации, главная мысль коих состоит в том, что современный писатель освободился от гнета социальности и может напрямик торить тропу в бытийное. Этот спорный тезис раскрывается так. В 98–99 гг. появились три романа, темой которых стало понятие свободы, поня-

тие достоинства человека. «Андеграунд, или Герой нашего времени» Маканина, «Закрытая книга» Дмитриева и «Свобода» Бутова. Романы обозначили границу между вчерашней и сегодняшней литературой. Маканин, сложившийся в советские времена, формулирует понятие свободы исключительно в координатах социально-бытовой и исторической конкретики тотального советского общества. У Дмитриева же и Бутова оно формулируется уже в категориях экзистенциальных, во взаимодействии его с понятиями Жизнь, Смерть, Время, Женщина, Друг, Страх, Сила. Вот когда следовало бы писать о завершении «советской эпохи» в русской литературе. У сегодняшних писателей прямой выход на бытийное, тогда как писатели советских времен были вынуждены разбираться в самих себе с выпавшей на их долю социально-психологической, идеологической и прочей историко-бытовой конкретикой. Каждый из нынешних писателей остается один на один с бытийной проблематикой — Любовь, Страх, Смерть, Время. И работать надо на уровне этой проблематики.

№ 107. В жанре «записок простодушного читателя» — про пенные образования в литературе (28 мая). «Господин Гексоген» Проханова критик отнес к сочинениям, писавшимся исключительно для поддержания накала литературно-критических и идеологических прений. Молодые интеллигентные как бы люди объявляют себя черносотенцами и признаются, что роман этот их, можно сказать, перепахал. Опасное дело — влезать в вопросы художественной состоятельности и интеллектуального наполнения этого текста. Вполне может оказаться, что все его содержание укладывается в несколько слогов левой оппозиции плюс идеологический драйв. И бессилие критиков, их неспособность войти в художественный мир романа объясняется просто — входить особенно некуда. В затылок Проханову дышит проект следующего премиального года: роман Сорокина «Лед». «Пафос романа прочитывается вполне однозначно — как фашистский». Байками про постмодернистское преобразование реальностей можно себя не утруждать — появление этого романа вслед за «Гексогеном» в «Ad Marginem» обставлено как знаковое. Как попытка расширить потенциальную аудиторию наших продвинутых за счет единомышленников из военно-патриотических клубов. А там ребята вполне серьезные, там про нравственность «арийской расы», томящейся в условиях плюрализма, понимают свое и выводы делают соответственные. Наши «крутые интеллектуалы» почему-то обижаются, удивляется Костырко, когда кто-то пытается назвать вещи своими именами. «Это я <...> про ведущего обозревателя сайта ЛЕНИН Михаила Вербицкого, утверждающего в Интернете свое право на употребление вместо слова «еврей» слова «жид»». Идеологические сюжеты развиваются по собственным законам, и им дела нет до инфантильных юношей, играющих на их поле в «постмодернизм». Далее Костырко излагает запредельную историю. Критик Лев Пирогов скандализировал публику публично выраженными юдофобией и желанием «расстреливать» «таких, как я (т. е. Костырко. — БСК), слабоумных одышливых гуманистов-либералов, не способных понять прелестей Грядущей Силы». А потом в Интернете рассказал о Татьяне Толстой, выразившей (якобы) в телефонном с ним разговоре одобрение его идей и настроений. «Оказалось, что запачкаться рискует не только приятельствующий (или неприятельствующий) с Пироговым человек, но кто

угодно. Вас обгадят, даже если вам нет никакого дела до Пирогова и всей его компании».

В обозрениях №№ 111 и 112 (25 июня; 2 июля) **Костырко** размышляет о повести Сергея Шаргунова «Ура!». Совсем еще молодой писатель, полгода назад выкрикнувший свой эстетический манифест, демонстрирует художественное воплощение его тезисов. Образ героя-повествователя персонафицирует мироощущение и идеологию нового поколения; так сказать, представляет от неумолимо надвигающегося на нас будущего. Действительность отвратна, патологична — состоит из пидоров, наркоманов, сексуально озабоченных девиц, похотливых теток; стелется под потолком ОГИшных заведений табачный дым, пахнет развратом, марихуаной, сидящие за столиками патлатые гуманитарии-разночинцы безостановочно пьют пиво, «несвежие волосы свисают в кружки», и никто не подозревает, как замечательно быть здоровым, трудолюбивым, патристичным, есть простую еду, носить простую одежду, сливаться с природой и тосковать по «юной любви». Автор-повествователь послан в мир — открыть глаза людям на «красоту положительного». Автор темпераментно перечисляет, что он любит и что не любит. Не любит «тупорылых богачей», «жующие морды», задастую Алину, наркоманов, гомосексуалистов, курильщиков, любителей пива, гуманитариев (отдельно — гуманитариев-разночинцев), средний класс, ментов (хотя иногда любит), московских диджеев, жвачку. Любит бег и морозный воздух, здоровье, белую рассыпчатую картошку с соленьями, «юную любовь», чернику-малину, простого мужика, понятные «народу» попсовые песенки, рукавицы, шерстяные носки, небывателеский секс, людей в униформе. Любит кричать «ура!». Герой кого угодно «раздавит своим быстрым взглядом, размажет по потолку». Он призван принести в этот мир Силу и Простоту, которые не снились «ущербным, неэстетичным, мелкорасчетливым распадцам». Жутковатое, считает Костырко, чтение. Но, успокаивает нас критик, не надо пугаться мальчика с его раскидистыми декларациями про дубинушку, про сладострастность зрелища мертвых азиатов, про кипение крови и гнусность гуманитариев. Это все — «прикид». Носят сейчас такое. Простое. Парируя упрек тех, кто говорит: «Как ты мог пройти мимо очевидного — боли, а может, и внутреннего надлома талантливого молодого человека?», — Костырко замечает, что он писал не об авторе с его частными обстоятельствами, а о тексте. И он считает идеологию, в сторону которой дрейфует Шаргунов, злом; считает опасным культ физического Здоровья и культ Силы в противовес гуманитарным «заморочкам» «патлатых распадцев», предельное упрощение душевных движений, предпочтение биологического родства человеческому, ксенофобию, согласие с лозунгом «цель оправдывает средство», примат идеологии над философией, романтизацию фашизма (в случае с Шаргуновым — это романтизация «языческого» с криками «Ура! (Бей!)», с копиями, мечами, смердящими трупами азиатов в противовес «христианскому»). Костырко кажется, что плохие люди пишут хорошие книги не благодаря, а вопреки своим порокам. И он вспоминает «конфуз, случившийся с Вячеславом Курицыным, взявшимся защитить Проханова от нападок Агеева»: «начав с пронзительной ноты — что делать с действительно хорошими книгами плохих людей? — он вдруг свернул на полдороге, взявшись доказывать прямо

противоположное: Проханов, на самом деле, человек хороший <...> Самое пафосное Слава приберег для финальной фразы: «Я верю, что Проханов мог бы остановить автомобиль, чтобы убрать нехорошую табличку» <...> И не успел текст Курицына появиться в «Круте чтения» РЖ, как на экранах телевизоров появился сам Проханов и на вопрос интервьюера об этом плакате, сказал, как будто специально для Славы, что в данном случае мы имели дело с обыкновенной провокацией, то есть с происками все тех же евреев.

Сергей Шаргунов в том же «Русском журнале» («Круг чтения») дал ответ на критику Костырко (а также И. Булкиной и А. Немзера) 25 июля («Я тучи разведу руками»). Признания Шаргунова, его рефлексия небезынтересны. Литератора обидела критика художественных достоинств «Ура!» и задела политические обвинения. Шаргунов хочет просто писать и служить свободомыслию. «Ура!» — повесть о любви. О страданиях. О реальном личном опыте. Я писал искренне, вскрикивал, натыкаясь на острые углы жизни». И еще «Ура!» — о положительном герое. «Найти авангардизм в консерватизме» <...> — творческая задача, эстетическая скорее, нежели идеологическая. Я попытался заполнить некий пробел в современной литературе». «Мы живем в 2002-м, а Стогов выдает нам очередной роман о травке и пивке. И я попробовал, быть может, в игровом, нарочито китчевом ключе, не уныло и дидактически, а наступательно, отчасти примитивистски, выдать лозунги наперекор («Выплюнь пиво, сломай сигарету!» и т.д.)».

Из иных откликов на *творчество отдельных современных прозаиков* отметим появившуюся в «Русском журнале» («Круг чтения») статью **Андрея Ашкерова** «Татьяна Толстая и власть интеллигенции» (11 марта). У Ашкерова модный подход к литературе и литераторам — циничного прагматика. В первую очередь его интересует не качество литературного продукта, не обретенная и выраженная писателем истина (в возможность этого он, кажется, вообще не верит), а позиционирование сочинителя в культурно-идеологическом пространстве. Поэтому Ашкерovu важно прежде всего то, что после большой паузы Толстая (у Ашкерова — ТТ) триумфально вернулась в русскую словесность. Ее секрет в том, что она превратила интеллигентские комплексы в коммерческий литературный продукт. Так завершился процесс прославления и узаконения рыночных отношений «мыслящей прослойкой» нашего общества. У Толстой есть возможность стать восприимчиком духовных традиций, правомочным распорядителем главного достояния — монополии на право быть совестью нации. Она годится на эту роль как никто из женщин современной русской литературы. Почему? А потому, указывает Ашкерov, что она не верит во всю эту чушь; народ, дух, воздушные замки — для нее не более чем литературные условности. Достаточно просто удобно угнездиться, занять царственное место Первого Литератора, которое эти фантомы красочно обрамляют и бережно хранят в неприкосновенности. Это ныне и называется технологией литературного успеха. Нормально. Грех Толстой в другом. Борьба с советским прошлым влезла в плоть и кровь ТТ. Она не поняла, что тем самым отвергла возможность иной эстетики, той, где «совковые символы» ее детства не кажутся воплощением отвратительного. Чужд ей авангардный эксперимент а-ля Малевич.

вич, чужда и надежность зрелого советского мироуклада... Эти смешные претензии Ашкеров венчает банальностью: «если вы решите все-таки ответить на вопрос о том, кем является Татьяна Толстая, возможно, вам, в конечном счете, не останется больше ничего, кроме как развести руками и произнести: Толстая в России по-прежнему больше, чем Толстая».

Вопросы позиционирования волнуют и **Дмитрия Бавильского**. А также вопросы психоанализа и границ литературы. Разрешить их он пытался на материале мемуарной книжки **Войновича «Портрет на фоне мифа»**, посвященной демифологизации Солженицына. В статье **«Как нам обустроить Солженицына. Катахреза # 14: Войнович на фоне Солженицына: «Вам, из другого поколения...»** («Русский журнал», 14 июня) он объявляет, что Войнович теперь потерял самодостаточность. Он не выглядит самостоятельной фигурой, воспринимается как скол с биографии Солженицына. Творчество Войновича, с помощью сатирических произведений боровшегося с советской властью, — пример снижения той же борьбы, которую на своем уровне вел Солженицын. Солженицын борется (боролся) за наше «общее дело», Войнович тоже боролся, но лишь за себя, за право быть самостоятельным, приватным, частным. Поэтому все и выливается в книгу разборок с психоаналитическим патроном, от которого трикстер Войнович, всю жизнь неосознанно подражавший величию отцовского замысла, хочет отказаться. То есть убить. Бавильский снисходительно ухмыляется: эта частная драма, вынесенная на всеобщее обозрение, не имеет отношения к жизни сегодняшнего дня, из которой титаны давно ушли, оставив простор для беспаспортных профессионалов. Далее критик декларирует несовместимость литературного творчества и социальной борьбы. «Солженицын — пророк и трибун, важнейший общественный деятель и даже политическая фигура, и произведения его (особенно в последнее время) оказываются столь далеки от решения художественных задач, что относить то, что он делает, по ведомству литературы — мне представляется вряд ли возможным». «Другими словами, изящная словесность и общественный пафос теперь должны существовать и существуют отдельно. И смешивать их не следует».

О книге **Войновича** нелегитимно отозвался и **Андрей Немзер** («Не тем интересны»; 2 июля). Войнович оказался среди тех, кто не раз «сообщал городу и миру о том, что автор «Архипелага...» монархист, антисемит, шовинист, тоталитарий, клерикал и враг «открытого общества», что произведения его архаичны, многословны, лишены подлинной художественности, безвкусны и трудны для чтения, что мировая слава Солженицына раздута недобросовестной клаской, а потомки, дивясь нашему ослеплению, отведут тенденциозному сочинителю скромный уголок в истории русской литературы и общественной мысли». Это не новость для читателей давнего романа Войновича «Москва 2042», где двойник Солженицына — Сым Сымч Карнавалов — задействован в качестве комического антигероя. Но и Сымч гляделся обаятельнее, «достовернее». Ибо того персонажа писал художник. Каковым в «Портрете...» не пахнет. Ушел хулиганский (но живой) вымысел, игровые ходы, фантазмагоричность — картинка стала тривиальной. «Автор по-настоящему смешного романа о солдате Иване Чонкине, мужественный человек, достойно и с немалым риском противостоящий советской лживой и безжалостной системе, Владимир Войнович

не равен создателю пошлого «Портрета на фоне мифа». Заурядная неудача, поводы и причины которой лучше оставить без обсуждения. Душевного здоровья ради».

Примечательна статья **А. Черняка «Еврейский вопрос в России: глазами Александра Солженицына (по страницам книги «Двести лет вместе»)»**, опубликованная в № 4 «Невы». Покуда прогрессисты, как в добрые перестроечные времена, насмерть бились с ретроградами или националистами, у отличного специалиста по национальной проблематике созрела весомая и доказательная статья о том, насколько автор разрекламированного труда избирателен в источниках: он не принял во внимание ни книгу **М. Зайончковского «Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880 годов»** (1964), ни труд **И. Блюха «Сравнение материального и нравственного благосостояния губерний западных, великороссийских и польских»** — основополагающий научный труд историка XIX века, ни статью **А. Субботина «Еврейский вопрос в его правильном освещении»** (1903), ни **«Записки генерала-еврея» М. Грулева** (1929). То ли автор книги «Двести лет вместе» преследовал определенные цели, то ли он об этих книгах не знал. Ни к чему смягчать националистические грехи царских властей. Так что статья А. Черняка восполняет пробел, образовавшийся в результате темпераментных, но не всегда компетентных суждений.

Размышления же прозаика **Александра Мелихова** об этой книге («Нева», № 5), увы, разочаровывают. Писатель оправдывает рассуждения **Солженицына** о том, что погромы происходили лишь в юго-западных областях России. Не хотелось бы оказаться на месте жителей этих областей, о которых изыщно сказано «лишь»...

Солженицынская тема была продолжена обсуждением мотивов и причин вручения весной 2002 года премий Александра Солженицына. Жюри, как известно, решило разделить награду между прозаиком **Леонидом Бородиным** («за творчество, в котором испытания российской жизни переданы с редкой нравственной чистотой и чувством трагизма; за последовательное мужество в поисках правды») и политологом **Александром Панариным** (за книги **«Реванш истории»** и **«Искушение глобализмом»** — с их глубоким осмыслением нового мирового порядка, места в нем России и ее ценностного самостояния»). Кстати, Панарин является постоянным автором журнала «Москва», который редактирует Бородин. Член жюри премии **Павел Басинский** в «Литгазете» (№17) назвал Бородина одним из самых выдающихся русских прозаиков второй половины минувшего века и начала века нынешнего, он разыскал в прозе Бородина, помимо его «третьей правды», еще и «четвертую»: правду доверия к Божьему миру. Горький романтизм Бородина питается переживанием чуда и печали. Другой член жюри, **Валентин Непомнящий**, там же писал о Панарине. Тот, по Непомнящему, обдумывает и предлагает пути, на которых Россия способна встать на ноги, «помочь совести человечества в ее эсхатологическом поединке с корыстью». Тут требуется расшифровка. Панарин — законченный антизападник, антиатлантист; очевидно, именно современная цивилизация Запада соотносится с принципом «корысти». С другой стороны, в формуле Непомнящего отчетливо просматривается утопическая составляющая идей Панарина, вменяющего России особую миссию совести. Панарин — мечтатель-интеллектуал. Редкая птица. Идеалы его столь высоки, что он не видит

вопиющего несовпадения их с реальным положением вещей. Впрочем, такая слепота может, наверное, способствовать вдохновению.

Выбор жюри премии отзывается у **Андрея Немзера** («Где кончается идеология?»: 18 апреля) сложным чувством. Четыре предшествующих решения смотрелись безукоризненно: авторитет лауреатов оспорить было нельзя — они и до награждения заняли неотъемлемые позиции в русской культуре. В каждом из решений был еще и особый смысл: признание достоинства филологии (**Топоров**), защита «традиционной» поэзии (**Лиснянская**), утверждение приоритета художественности и нравственного чувства над «партийными» ориентирами (**Распутин**), поклон ветеранам, выдержавшим Великую Отечественную и сказавшим о ней правду (**Воробьев** и **Носов**). Немзеру кажется, что **Панарин** не вписывается в этот ряд. Он — идеолог по преимуществу. Солженицын повторял, что культура служит не размежеванию, а объединению. А идеология призвана именно что отделять «своих» от «чужих»: «Тень идеологии» невольно падает и на **Бородин**. Но все-таки он премирован за другое (см. выше). Досадно, что наша либеральная критика годами почти не замечала одного из лучших — так полагает Немзер — современных прозаиков. А если б заметила, добавим, то уяснилось бы, что **Бородин** пишет весьма-таки неровно и в 90-е годы «лучшим» может считаться разве лишь в сравнении с другими авторами его журнала.

А вот что еще писал о литературе в течение этого квартала **Андрей Немзер**.

В статье «**Хаос и космос**» (7 мая) критик делился не весьма восторженными впечатлениями от прозы **Евгения Попова** «**Мастер Хаос**». Этот прозаик постоянно сталкивал лоб в лоб два «хаоса». Один хаос (злойный) прикидывался «порядком» и навязывал свои «правила» всем и вся; воплощался он в клише газетных статей, начальственном рыке и прочей идеологической шелухе. Другой же (наша бесшабашная и безбашенная житуха) почитался добрым, домашним и спасительным. Да, приятно и ныне услышать знакомый голос, теплые интонации, излюбленные словечки. Приятно, когда к тебе обращаются по-людски — без «моралей», жлобского нытья и наглого самолюбования. Не разговор, а райское наслаждение. Вот и приедается, как «Баунти». Ни раздражения, ни досады — просто вдруг понимаешь, что все сказанное ты уже слышал. Не раз. И даже дослушать готов. Но совсем не обязательно, чтобы прямо сейчас. Ведь если неожиданно всё (а в Хаосе только так), то откуда взяться реальной неожиданности — смелости художника? Той, что отличает «искусство слова» от самого лучшего в мире кухонного перетрепа. Эта смелость строила лучшие книги Попова, когда он вспоминал, что помимо мутно-уютного хаоса существуют история страны («**Душа патриота...**») и судьба литературы («Подлинная история «Зеленых музыкантов»).

В статье «**Прежние слова**» (23 апреля) Немзер сухо вато пишет о стилизациях. В частности — о феномене **Александра Морозова**, Букеровского лауреата 98-го года. Появилась третья часть его тетралогии «**Прежние слова**». Вновь «чужие письма», вновь «бедные люди», вновь «прежние слова». Все очень культурно и «с чувством». Если есть у Морозова верные читатели, то им понравится. 24-летний лауреат конкурса «Дебют» по номинации «короткая проза» **Денис Осокин** публикует цикл миниатюр «**Ангелы и революция. Вятка. 1923**». И

чекисты любить умеют... Временами потягивает Добычиным, но его лучше читать в оригинале. Тут же Немзер по аналогии дает заключение о «Диверсантах» Азольского. У позднего Азольского сюжет дает умопомрачительно лихие вены, озверелый мир играет с крепчающим на глазах супергероем в зловещие кошки-мышки, детали пригнаны одна к одной так, что комар носа не подточит, а слог сверкает то изысканной цитатной иронией, то заскорузлой солдатской грубостью, то выверенной сентиментальностью. Победительный диверсант-колобок и от дедушки ушел, и от бабушки ушел, но не дожидаясь тому, кто слишком много знает, покоя и добропорядочной семейной жизни. «И сколько еще можно так бегать? Я не о диверсантах — о писателе, четко и грамотно раз за разом отрабатывающем один и тот же набор «аттракционов». Да, саспенс. Да, драйв. Да, «сделано» и «читается». Но уже не так, как «Клетка». Прежние слова, славные, но прежние». Это, последнее, рассуждение Немзера можно прокомментировать. «Диверсант» во всяком случае не хуже «Клетки» и, конечно, на голову выше искусственной прозы Морозова и Осокина.

Начались разговоры о кандидатах на получение премии за лучший роман года «Букер — Открытая Россия». Немзер в статье «Как минимум — пятнадцать» (4 июля) лучшими вещами в лонг-листе назвал романы: «Диверсант» Анатолия Азольского, «<НРЗБ>» Сергея Гандлевского (критику кажется, что Гандлевский и обретет лавры), «Суд да дело. Лолита и Холден двадцать лет спустя» Игоря Ефимова, памфлет Леонида Зорина «Кнут», «Легкий привкус измены» Валерия Исакова, остроумно игровую «Великую страну» Леонида Костюкова, «Б. Б. и др.» Анатолия Наймана, «Карагандинские девятины» Олега Павлова, обаятельнейшего «Чижики-пыжики» Феликса Светова. Немзер заключает: «На бедность грех жаловаться»... В принципе, критик назвал действительно все, что заслуживало внимания в лонг-листе.

В статье «Скованные одной цепью» (28 июня) Немзер отозвался на скандал вокруг Владимира Сорокина, который был раздут «Идущими вместе». Сорокиноборцы требуют введения в России «карательной цензуры», наказания автора (и издателя) за опубликованное сочинение. Дикость почина комментариев не требует. Инициаторов скандала волнует не «практический результат», а шум в СМИ. Возмущенные крики о посягновениях на «права художника», о недопустимом смешении «этики» и «эстетики», об угрозе тоталитаризма работают на формирование имиджа вполне пустого «движения». А заодно и на раскрутку Сорокина, литератора, прошедшего тривиальный путь от элитарности к туповатой попсе. Трогательно было слышать из уст Сорокина заклинания об опасности фашизма, эстетизации которого он отдал так много сил. Как Сорокину нужны «Идущие...», так «Идущим...» нужен Сорокин. И не только им, но и всем, кто, радея за культуру (нравственность, традицию, духовность, здоровый образ жизни и т. п.), борется исключительно за место под солнцем (в информационном поле).

Еще до кульминации скандала о новом романе Сорокина «Лед» отозвался Глеб Шульпяков («Сердце не камень»: «Ех libris», 16 мая). Он считает этот роман самым теплым, самым человечным у писателя. Концепция в нем спорит с любовью к душе Москвы. Даже секс как-то неагрессивен.

Проблема порнографического качества литературы взволновала и **Кирилла Куталова-Постоля** («Вавилон: порнотрафик»: «Ex libris», 23 мая), писавшего о рассказах **Олега Дарка** на сервере «Вавилона». Весь мир сделался порнографичен (или постпорнографичен). Кругом царит интенция обнажения. Порнография тотальна и неизбежна. Так считает юный критик.

А вот что писал о прозе **Александра Агеева** в своем сетевом обозрении «Голод». В «Голоде 71» (11 апреля) Агеева неприятно поражает все подряд. Он ругает роман **Дмитрия Рагозина** «Дочь гипнотизера» и ехидно прохаживается по поводу опубликовавшего его журнала «Знамя», в редакции коего еще недавно трудился; расстраивается в связи с присуждением премии имени Белкина не «блестящей вещи» «Бессмертный» **Ольги Славниковой**, а «ординарной повести **Сергея Бабаяна**». Обидели Славникову, в чем Агеев видит злой умысел. «Я очень даже хорошо представляю себе, как сильно может раздражать столичный литературный истеблишмент, несколько заживший и разленившийся, целеустремленная провинциалка, берущаяся за любую литературную работу и делающая ее <...> почти всегда хорошо». Вот и обернулся дебют премии «малопрстойным фарсом». Агееву не по душе и «совершенно бесстыдная пиар-кампания по поддержанию интереса просвещенной публики к изделиям **Дж.К.Роулинг** о Гарри Поттере» — «дебильной жвачке». Себе в союзники Агеев берет **Томаса Манна** и **Йохана Хейзингу**. Порадовали же его «совершенно магическая» «Берлинская флейта» **Анатолия Гаврилова**, книжка **А.Гольдштейна** «Аспекты духовного брака» и критик **Анна Кузнецова**.

Несколько иначе оценивает фигуру **Ольги Славниковой** (привлекая к разбору суждения о литературе, взятые из ее собственных критических статей) **Сергей Беляков** в статье «Оптические эффекты» («Урал» № 4). Автор весьма наблюдательно анализирует ее творчество, основные приметы выглядят таким образом: «все авторские ассоциации с удивительным постоянством тянутся к болезни, к угасанию, к смерти». У Славниковой — очень специфическое «зрение», вольно или невольно она глядит на мир через некие «оптические приборы», изменяющие реальность почти до неузнаваемости (хотя в основе она — реалист). Она действует как холодный ученый в лаборатории, ставящий опыты над живой и неживой природой. Автор констатирует «бестрепетное и кошунственное отношение к жизни и смерти человека», природа ей неприятна, питье и пища отвратительны, люди — несимпатичны, сексуальные сцены, а их немало, удивительным образом лишены эротики. У Славниковой, впрочем, попадают герои, «почти не тронутые искажающей оптикой», но в мире ее прозы они кажутся чем-то «то ли архаичным, то ли экзотическим, во всяком случае, чем-то совершенно чужеродным». Здесь органичны только герои «с деформацией души и тела, с поступками странными, подчас совершенно неправдоподобными». Автор статьи делает любопытное умозаключение: Славникова ориентирована исключительно на узкий круг профессиональных читателей, способных оценить профессионально изготовленный «продукт». В этом просматривается угроза творчеству как таковому.

Елена Иванецкая в статье «После дебюта» («Дружба народов», № 6) проводит лабораторное исследование «второй попытки» трех удачно дебютировавших, с ее точки зрения, прозаиков — **Дмитрия Рагозина**, **Максима Павлова**

и Елены Долгопят. Роман первого из них — «Дочь гипнотизера» — оставляет критика в недоумении: не ясно, не только то, зачем он сочинил «эту несостоявшуюся книгу бессвязных записей», но и зачем журнал «Знамя» потворствовал публикации, способной лишь оттолкнуть читателя. Рассказ второго «Огород», напротив, оказался критику удачным — «Очень красивый, концентрированный, искусный текст, соединивший в цельное впечатление для читателя и напрямую рассказа «о жизни», и артистические okolichnosti постмодернистских приемов». С одной стороны, даме (Долгопят) повезло больше всех — ее книга «Тонкие стекла» вызвала высший эмоциональный подъем, однако, с другой — и меньше: восторг запечатал критику уста, и аналитического разбора не получилось, на бумаге запечатлены лишь личные чувственные переживания критика.

Прозу Елены Долгопят несколько более **внятно** анализирует Елена Гродская в статье «Пластмассовые жители» («Знамя», № 5). Автор открывает в ее лице абсурдиста нового типа. Любимые жанры Долгопят — детектив, мелодрама и фантастика. Но сюжетные ходы и повороты — только амальгама зеркала, а не отражение, реклама товара, а не его реальная стоимость. Самая главная и самая страшная тайна осталась неразгаданной и неразрешенной, потому что априори не поддается разумному объяснению. Главная тайна прозы Долгопят — это отсутствие настоящей реальности и желание к ней приблизиться (став алкоголиком, убийцей — все равно). Герои живут призрачной жизнью, у них бледный цвет лица, они странные, полубольные. Долгопят творит реальность, в которой реальности нет или есть иллюзия реальности, как в виртуальном пространстве. Это мир пластмассовых кубиков и их «пластмассовых» жителей.

Иваницкая поразмыслила и над прозой молодого питерца Павла Мейлахса («Знамя», № 6: **«Бездарный гений и трусливый герой»**) и подвергла ее персонажа уничтожающей критике. Герои Мейлахса своими судьбами утверждают крах любых воспитательных усилий и трагизм существования, выпадающий на долю того единственного, кто *не такой, как все*. Это гневный вызов не то что педагогической мысли, но всякой учительной мудрости, любым философским конструкциям, позволяющим устроиться в этом мире. Экзистенциальный «замах» автора грандиозен: четыре истории, четыре судьбы, четыре «клинических случая» — обвинение мирозданию в целом и каждому читателю в частности. Им-то, читателям и мирозданию, хорошо, они *как все*, а героям «хреново и паршиво», они единственны, они «подышают». Герои повестей, делает вывод критик, малоинтересны, потому что никого кроме себя в мире не видят и заняты только двумя нудными «делами» — бездельем и оправданием безделья. Старательно герои мотивируют свое право на паразитизм, праздность, трусость, свинство, ложь (и т.д.) с помощью понятийного аппарата, настроенного на долг, героизм, правду, ответственность, бескомпромиссность.

В пятом номере «Нового мира» трилогии Олега Павлова «Повести последних дней» (**«Казенная сказка»** — **«Дело Матюшина»** — **«Карагандинские де-вятины»**) посвящены сразу две статьи. Первая — **«Манихейский вариант»** — принадлежит перу Кирилла Анкудинова, пытающегося разобраться, почему лично у него проза Павлова вызывает очевидное отторжение. Выводы неутешительны: «Олег Павлов — самый мрачный и безысходный из современных литера-

торов». Персонажи этого автора «как бы и не люди», писатель мастерски живописует нечеловеческое, создает гимн смерти, во всяком случае «жизнь у Павлова любят одни подлецы». Положительный же герой Алеша Холмогоров — просто-напросто идеальная жертва, которую по ходу сюжета истязают всеми возможными способами. Понятно, что литературную родословную этого героя следует возвести к Алеше Карамазову и князю Мышкину — только, язвительно замечает критик, «Павлов слишком буквально понял название романа «Идиот». В целом же это весьма добросовестная и доказательная статья, хотя и здесь не обходится и без своего рода курьезов. Автор нет-нет да выходит за рамки хорошего критического тона и принимается развлекать читателя эпизодами из собственной биографии, а то и, вновь обращаясь к сокровищнице личного опыта, попросту указывает прозаика Павлову, какого мировоззрения следует придерживаться.

Следом за Анкудиновым слово берет **Евгений Ермолин**. Его положение, разумеется, более выгодно: Ермолин пишет, будучи ознакомлен с текстом оппонента. Таким образом, помимо удовольствия читать диаметрально противоположные мнения об одном и том же, читатель может следить за своеобразным поединком двух критиков, точнее за попыткой ученого мужа из Ярославля положить на лопатки «младенца» (судя по биографической справке, Анкудинов на десять лет моложе), а заодно походя припечатать и «поборника либерализма без берегов» Александра Агеева или «мстительного инфанта» Виктора Пелевина. И если читатель не из робких и не почувствует себя посторонним при этой внутрилитературной разборке, чужому малопонятной, он не пожалеет о потраченном времени.

Статья Ермолина называется «**Истанция взгляда**». Читая ее, инстинктивно понимаешь, что на сей раз Павлова в общем-то хвалят, хотя не так просто уразуметь, за что. Послушаем: в прозе Павлова «доминирующий пафос вообще не моральный. И не аморальный». Эта проза «по-своему научна», т.к. ее отличает «некая более объективная инстанция взгляда» (объективная в том смысле, что не авторская). Чья? Вот на этом месте пытающийся что-нибудь понять читатель может потеряться. «Смотреть на мир глазами Бога» — написано на страничке слева, а на страничке справа уже так: «...на житейское копошение писатель смотрит взглядом смерти... взглядом зла (глазами дьявола?)», ибо «... такой подход позволяет сообщить много правды о мире, в котором мы живем».

Но не стоит пугаться. В целом пафос статьи сводится к простой вещи. Соглашаясь с предыдущим автором в том, что читать Павлова — сушая мука, что проза его мрачна, а герои «не вполне в себе», ярославский критик приходит к совершенно обратным выводам, нежели оппонент. Да, Россия Павлова — это заколдованное, проклятое место, слепоглухонемой угол мироздания, это богоставленный мир, прозябающий во зле и грехе — «Куда ни кинь, везде Караганда»... Но пока существуют такие герои, как павловские Алеша Холмогоров или капитан Хабаров, мир все-таки не отдан во власть зла.

Михаил Конелиевич сравнивает две повести Ирины Васюченко, напечатанные в «Континенте», — «Автопортрет со зерем» и «Искусство однобокого плача» («Странноприимный дом»: «Дружба народов» № 5). Повести составляют

дилогию, объединяет их образ повествовательницы, рассказавшей в первой историю семьи и детства, во второй — продолжившей семейный портрет на фоне личной душевной драмы. Изменилась интонация — в «автопортрете» рассказчица беспощадна прежде всего к себе, «а уж потом — и потому! — к другим». В «Плаче» эта беспощадность оборачивается тягостным самоедством. И причина тому есть. Изменилась эпоха. Время переломило восприятие. Жизнь на глазах измельчала. «Где прежде был пафос, часто гневный и неуступчивый, там нынче горькие сарказмы...» И хоть речь в обеих повестях идет о сугубо личном, «камерном» опыте, он отражает происходящее вокруг: измельчали как бы в резонанс с эпохой и сами «гадости». В первой части дилогии «способ существования изображаемой среды — преимущественно центробежный», во второй — центростремительный: «люди утратили самостоятельность и самоценность». Однако, несмотря на очевидный пессимизм, рецензент находит в текстах Васюченко и жизнеутверждающее начало — это качество самой прозы, которое говорит само за себя.

Анна Фрумкина выступает с рецензией на три «взрослых» романа Марины Москвиной («Мы так хохотали»: «Новый мир», № 5). Автор находит у Москвиной множество огрехов — чуть ли не пороков. Но, заканчивая свой труд, Фрумкина признается, что подобная придирчивость объясняется любовью: «Марина Москвина — изобретатель эксклюзивного, неповторимого слога... блестящий, неисчерпаемый юмористический и, естественно, печальный писатель и выдумщик... ее нельзя не полюбить как автора: эта затейливая сказительница обладает перспективным, великолепным талантом».

Статья **Павла Басинского** «Писатель нашего времени» («Нева», № 2) посвящена трем авторам: **Б. Пелевину**, **А. Кабакову** и **Б. Акунину**. Они, по мнению автора, умеют быть современными, но частенько раздражают искушенного читателя и аморальностью, и безвкусицей. Басинский традиционно не жалуется злейшего своего врага Пелевина, не принимая во внимание, что тот, при всех своих грехах, — писатель, а это много чего стоит. Вот с Акуниным дело иное. А уж как сюда примешался вышедший из моды Кабаков (хотя Басинский диагностирует особенность его прозы точно: тяготение к бурной событийности в сочетании с усталостью интонации), сказать трудно. Словом, объединить писателей автору, кажется, не удалось. Галерея распалась на три составляющих.

Статья **Виктора Мясникова** «Историческая беллетристика: спрос и предложение» («Новый мир», № 4) начинается с утверждения: читательскую любовь к исторической тематике питают две полярные причины — желание убедиться в величии нашего прошлого и потребность в унижении, которое паче всякой гордости. А поскольку спрос рождает предложение, то первыми на книжный рынок врываются коммерческие историки. И первым среди первых назван В. Суворов. Успех его «Ледокола», независимо от идеологического посыла (а в вопросе о том, каков этот посыл, Мясников коренным образом расходится с главным редактором «Нового мира», о чем главный редактор в обширнейшей сноске своевременно и сообщает), объясняется тем, что Суворов использует приемы масскульта. К таким приемам, в частности, относится и принцип: «Если какие-то <...> документы противоречат авторской концепции, они объявляются подделкой. Если какие-то документальные подтверждения концепции отсут-

ствуют, следует заявить, что они были, но их коварно уничтожили». Другой прием — сенсационность — широко использует Б. Соколов, чьи труды Мясников называет замечательным образцом кухонной полемики. Сегодня время требует преимущественно славного прошлого. А такое прошлое читателю гарантируют *хронобеллетристы*, к которым Мясников относит авторов различных хронологических теорий — А. Фоменко, Г. Носовского, С. Валянского и Д. Калюжного. Для них характерно глубокое презрение к археологии, геральдике, нумизматике и прочим лженаукам. Они легко объявляют подделкой общеизвестные источники, но способны всерьез ссылаться на романы Александра Дюма.

К сожалению, замечает Мясников, всемирная история одна на всех, так что хронобеллетристы вынуждены то и дело опровергать и разоблачать друг друга. Впрочем, кажется, выход найден. Теперь эти исследователи пишут «Другую историю литературы» и «Другую историю искусства».

Основоположением русской *фольк-истории*, рассчитанной на жаждущего развлечений читателя, автор статьи называет Валентина Пикуня. И пусть ему не удалось стать «русским Дюма» в полной мере, зато удалось создать жанр, где все читательские ожидания удовлетворены, финал предсказуем, а нагрузка на мозги минимальна. Читатель (читательница!) салонного фольк-истории ищет сплетен и роковых страстей. И здесь самый популярный автор — сладкоголосый Эдвард Радзинский. Откровенно же бульварное фольк-истории обращено к грубому мужскому восприятию, кровь здесь свержобильна, а блуд неистов. Таков, к примеру, роман Е. Сухова «Жестокая любовь государя». В период ельцинского правления буйным цветом расцветает житийно-монархический роман, где императоров или великих полководцев отличает моральный облик — безупречный, как у строителей коммунизма. Таковы, к примеру, книги А. Кудри «Правитель Аляски» или Е. Иванова «Божию милостью Мы, Николай Второй...». К тому же направлению можно отнести и жития генеральных секретарей ЦК КПСС, например, «Число зверя» П. Проскурина, где душевно выписан образ Брежнева.

Что же до *ретро-детектива*, он может быть любым — и салонным, и монархическим, и бульварным, и патриотическим. Здесь звучат такие имена, как Б. Акунин и Л. Юзефович. Есть и другие, не столь знаменитые авторы — скажем, Хруцкий и Лавров. В конце статьи Мясников делится простеньким рецептом написания ретро-детектива, на всякий случай предостерегая тех, кто решится последовать его советам, от ошибок типа «Свердловская губерния».

Борис Дубин — автор большой статьи «Риторика преданности и жертвы: вождь и слуга, предатель и враг в современной историко-патриотической прозе» («Знамя», № 4) — обращает внимание на то, как много появилось исторических романов на отечественном материале. Дубин рассматривает данное явление как социологический феномен. Расцвет жанра связан с наступлением реставрационного периода в культуре 2-й половины 90-х годов. Процесс политической изоляции России в мире привел внутри страны к парадоксальному результату. Власть, население и большинство СМК сконцентрировались на значении, символах и символическом престиже национального целого и его «особого» пути. Эта фантомная целостность, как и воображаемый престиж, спроецированы в прошлое. Лучшим временем в массовом сознании стала эпоха

Брежнев, а излюбленным предметом интеллигентской идеализации в литературе и кино — последние цари из династии Романовых. На этой волне и оказался возможным взлет историко-патриотической романистики — нередко с элементами костюмированной мелодрамы, авантюрно-криминального романа о мафии, злостного боевика о мировом заговоре, международном шпионаже и терроризме. Вот как выглядит романная идеология. Единица существования — народ: отдельные действующие лица суть его аллегорические персонализации либо столь же аллегорические воплощения неприемлемых для него человеческих стремлений и качеств (враги, изменники). «Путь» народа предопределен. Целое народа воплощено в его вожде. Мир такой романистики столь же однозначен, сколь авторитарно ее письмо. Любое разнообразие, индивидуальное несходство, сложность общественного устройства предстает чем-то избыточным, неоправданным. Идеалом, который противостоит погибельной расколотости и распре, выступает соединение таких качеств, как внутренняя цельность, равенство себе, неуступность для внешних воздействий. Герой переживает свою общность с другими и причастность к целому в моменты подчинения судьбе и согласия на любые потери. Характерная фигура — воин, полководец. Он подчинен высшим ценностям национальной целостности, мощи и славы. В образе полководца воплощены массовые представления о социальном порядке: он понимается по военному образцу. В 90-х годах книги этого жанра предъявляются читателю как коммерческий продукт, а не как элемент государственной пропагандистской машины. Причем доминантное положение историко-патриотических романов консервативного образца на рынке и в круге массового чтения никем не оспаривается. У данной версии национального прошлого впервые в российской культурной истории XIX — XX вв. нет ни идейного, ни художественного конкурента: «борьба за историю» стихла.

Сам Дубин тоже стал героем аналитического разбора. Ольга Лебедушкина в статье «О ручной утопии, двойном агенте и посильном извлечении опыта» («Дружба народов», № 6) рецензирует его книгу «Слово — письмо — литература: Очерки по социологии современной культуры». И находит, что Дубин сделал великое дело: взявшись за тему, которую можно сформулировать как «интеллигенция и массовая культура», он показал редкий пример «трезвого самоанализа», посредством которого ему удалось выявить опасную утрату самоидентификации «интеллигенции» и, как следствие, размывание самого понятия внутри образованного слоя российского общества. Критик полагает, что начатый труд требует долгого и обстоятельного продолжения.

Литкритические опыты иногда появляются в журнале «Москва». Сергей Куняев (№ 4) в статье «Беззаконная комета» делает идейно выдержанные комплименты Вере Галактионовой. Это диковинный, если верить критику, «прозаик, полностью самоустранившийся от авторского «я», от навязывания его читателю даже в завуалированной форме». «Напряженная тишина сгущается от повести к повести, от рассказа к рассказу и достигает подчас той концентрации, когда она готова разрешиться трагической развязкой, взорваться криком, после которого ни о каком человеческом благоразумии уже не может быть и речи». По нраву критику и то, что Галактионова борется за «православие» против «антихристианства» (сиречь католичества и масонства).

А в № 5 того же журнала **Виктор Никитин** в статье «**Тени вымысла и пельмени действительности**» пишет сразу о трех повестях: «**Паннонии**» **Марии Рыбаковой**, «**Источнике увечий**» **Николая Кононова** и «**Один плюс один**» **Романа Сенчина**. Выводы таковы. Повесть Рыбаковой напоминает изящно сделанную шкатулку, заполненную символами недавнего ушедшего времени. Зрелище, впрочем, любопытное. В тексте Кононова не тени действуют, а какие-то тени теней. «Однако это тенденция: устроить абсолютные трансцендентные похороны, живое обратить в неживое, мертвое, вырастить в тавтологии поденного человеческого времени новую специфическую целокупность, облагороженную философическими ризиньяциями» (так! — БСК). Доверия у критика к таким эманациям не возникает. Он считает: желание самовыразиться и проложить «новые пути» в литературе завело Кононова в тупик. Рассказ же Сенчина далек от метафизических розысков и тайн, в нем не содержится напрасных умствований самовлюбленного автора. Почти хирургический минимализм. Диагноз, течение болезни. *Anamnes vitae* и *anamnes morbi*. Всех авторов объединяет то, что они говорят об одиночестве героев, о полном отсутствии любви.

Олег Павлов (№ 6) в статье «**Новые лица русской прозы**» отозвался о **Михаиле Тарковском**, **Александре Вяльцеве** и **Викторе Никитине**. Высоко оценил он повесть Вяльцева «**Blue Valentine**», опубликованную в «Континенте». Это, по Павлову, первое серьезное литературное произведение о любви в сегодняшнем времени.

А Капитолина Кокшенева («**Россия — навсегда**»: «Москва», № 6) высоко оценивает творческие достижения писателя из Мордовии **Юрия Самарина**.

Мало литературно-критических публикаций и в «Нашем современнике». Отчасти их отсутствие компенсируется своего рода актуализированным литературоведением. К таковому можно отнести огромную статью **Феликса Кузнецова** (жив курилка) «**Неразгаданная тайна «Тихого Дона»**». «**За семью замками**» (№ 4). Резюме автора: по убеждению Шолохова, исток трагедии казачества, личной судьбы Григория Мелехова не в революции как таковой, но в ее антигуманной троцкистской практике. Роман звал народ «к национальному единству».

Огромная статья-исследование **Бориса Агеева** «**Человек уходит...**» («Наш современник», № 5) посвящена мотиву конца света в повести **Евгения Носова** «**Усвятские шлемоносцы**». Критик оговаривается, что сам-то Носов едва ли имел в виду что-то подобное. Но нечто сказалось в его прозе само. Агеев предлагает прочитать повесть как глобальную метафору, притчу, чуть ли не как аналог мистическому откровению. «Соучастник в скорби» святого Иоанна, художник редкостного и тонкого дара Евгений Носов обнял героев своей повести всем сердцем, никого из них не оскорбил нарочитым словом, всех понял и всех простил — в мире виноватого нет — и со всеми простился. Человек уходит, Человек удаляется и взглядом на ходу назад на дом свой «прозрело улавливает в крайнем оконце тусклый прожелтень каганца»; оставленный на припечке в родном доме «фитилек зажжен был караулить и освещать его возвращение»... Из пропасти времен, из черноты небытия огонек этот отныне будет служить как бы напоминанием о том, что в прекрасном Свете жив был Человек». На трезвый вкус, такой подход не обходится без откровенных натяжек.

Алексей Кожевников в памфлетного тона статье «**Главный режиссер и его «ангелы-хранители»**» («Наш современник», № 6) отозвался о мемуарах театрального режиссера **Марка Захарова**. Цель критика — разоблачить в глазах читателя «представителя «творческой» интеллигенции «демократического» призыва», который, по Кожевникову, демонстрирует в книге «полное собственное приспособленчество, воинствующее мешанство, невежество и пошлость». Критик не устоял перед соблазном покопаться в национальных корнях Захарова, а также привлек для полноты разоблачения эпизод из воспоминаний **Т. Егоровой** «**Андрей Миронов и я**». А вот суждение по поводу телевизионных работ Захарова: «Фильмам Захарова нельзя отказать в мастерстве, но в каждом (кроме, пожалуй, «Обыкновенного чуда») заметна русофобия (в особенности в «Стульях» и «Формуле любви»)». О критериях, с которыми подходит Кожевников к искусству Захарова, свидетельствует и такой его пассаж: «...надеемся, что в памяти народной он останется лишь поджигателем собственного партбилета перед телекамерой». В целом статья рассчитана на «внутреннее употребление», на хорошо подготовленного читателя, который без раздумий принимает логику критика. Со стороны же бросается в глаза бездоказательность суждений Кожевникова.

ПОЭЗИЯ

Отличная статья **Ольги Лебедушкиной** «**Часть пространства, которая занята Богом**» («Дружба народов», № 5) исследует одну из серьезных тенденций современной поэзии — «перестав быть трансляторами божественной воли, поэты превратились в вопрошателей о ней и свидетелей ее исполнения». Отчаяния, незнания и сомнения перестали стыдиться. Автор подмечает важнейшую для всей современной словесности вещь: «в литературу возвращается личность пишущего, его реальная биография — сокращается дистанция между автором и «лирическим героем», жизнью и словесной реальностью, поэзия в качестве одного из путей все чаще выбирает то, что принято называть *non fiction*».

Далее автор подробно останавливается на разборе творчества (в том числе, и хронологическом, рассматривая диалектику развития философского мировоззрения каждого фигуранта) **Геннадия Русакова**, **Светланы Кековой** и **Виктора Кривулина**. Все трое поражены трагическим ощущением бытия. Только исходит оно из разных причин и потому ищет разные пути выражения. Для Русакова — это прежде всего безысходный и мужественный бунт, порожденный личной утратой (его многолетние «разговоры с богом» маркируют бунтарство даже в написании слова «Бог» с маленькой буквы). Лирический герой Русакова — это взбунтовавшийся Иов, готовый вернуть свой «билет» (поэтический дар); обесцененный несовершенством мира, откуда смерть уносит самое дорогое...

У Кековой автор обнаруживает метаморфозы центрального для нее образа времени. В более ранних стихах время не движется, отрицая само себя, в более поздних — «вместо времени, которого нет, появилось время, которое движется — тяжело, мучительно, но с некоторым отчетливым правом на отсрочку». «Реабилитация» времени означает и «реабилитацию» плоти. Дистанцию между этими двумя точками поэтического мира автор сравнивает с «расстоянием между отчаянием и надеждой».

В поэзии Кривулина критик выделяет непривычную для нынешнего уха категорию «гражданственности»: он «в 90-е годы следовал старомодному призыванию отечественного литератора — быть ходатаем и представителем за «униженных и оскорбленных», в то время как вся высокая словесность сделала виртуозный поворот куда-то в сторону...». Кривулин — летописец «постапикалipsisа». Но из своего *de profundis*, из глубины своего отчаяния поэт поднимается до самых высот: в его стихе возникает «воскресший Лазарь, вызванный к жизни вопреки земной логике вещей, законам природы и здравого смысла. Так свобода превращается в освобождение от пут и «пелен» смерти, а «распеленность» — в воскресение»...

В статье «Усилие смысла» («Дружба народов», № 4) Владимир Губайловский, пользуясь как материалом стихотворными трудами Максима Амелина, Глеба Шульпякова и Дмитрия Быкова, пробует выяснить характеристики современной поэмы. (Творчество их оценивается сугубо положительно.) Вывод: сущность разобранных поэм — «это попытка схватить ускользающее бытие <...> отыскать не слова, а исчезающие малые обертона, которые возникают между слов и которые можно удержать только поэмой. Это попытка преодолеть распад». Автор считает, что каждая из этих поэм — это «победа частного человека над хаосом при невозможности глобальной победы человечества».

Автор статьи «Свобода стиха и свободный стих» («Новый мир», № 5) Георгий Циплаков пытается нащупать «демаркационную линию» между прозой и поэзией и обращается к пограничным феноменам — *свободному стиху* и *стихотворению в прозе*. Статья изобилует остроумными наблюдениями и свидетельствами авторской эрудиции. Несколько обедняет ее только одно обстоятельство: в тексте не находится ни места, ни повода для цитат. Так что сущность поэзии (а «вопрос о праве верлибра на существование можно смело рассматривать как вопрос о существе поэзии») читателю приходится постигать как бы всухомятку. Исключение сделано только для одного человека. И этим единственным более или менее процитированным поэтом стал... Михаил Жванецкий.

«Новый мир» любит печатать два материала на одну тему. И не жалко: в последнее время критику читать намного приятней, чем прозу — статьи во всяком случае гораздо короче романов. Но когда автор берется говорить о поэзии, он нередко лишает себя прекрасного преимущества сравнительной краткости. № 6 две публикации посвящает творчеству Инны Лиснянской. Дмитрий Полищук, автор статьи «Как дева юная, темна для невнимательного света» рассказывает сразу и о сборнике «При свете снега», и о трех поэтических подборках (в «Знамени» и «Новом мире»). В этой чрезвычайно положительной рецензии новые публикации Лиснянской объявляются главным поэтическим событием наступившего века. Критик отмечает, что замечательная поэтесса, пребывающая в довольно уже солидном возрасте (возраст, разумеется, назван), обнародовала нечто, ставшее «полной неожиданностью и сенсацией». Бог с ним, с возрастом! Что его скрывать-то. Но сами стихи Лиснянской, действительно замечательные, так плотно задавлены хорошими, благожелательными, добрыми и аналитическими рассуждениями, объяснениями, истолкованиями и положительными оценками, что от самой поэзии мало что остается. Хотя, конеч-

но, самим стихам от дотошных критических разборов — по форме, по содержанию и по возрасту — не холодно и не горячо, ведь, по словам того же Полищука, «новые стихи Лиснянской — знаменитый пример выживаемости поэзии «высокой» при полном сохранении всех ее формальных атрибутов ...».

Следующая статья «**В моей глубокой любви**» зато короче: **Владимир Цивунин** посвящает ее всего одной подборке («Знамя», №9, 2001). Автор не только предельно краток — собственный его текст по метражу почти не превышает процитированные стихи, — но еще и невероятно скромнен, когда рассуждает о красоте и ухоженности «храма души» Инны Лиснянской, о собственной суете и о чувствах, «на фоне которых я (Цивунин. — *Ред.*) исчезаю со всей своей прежней суетой». Цивунин снова (вслед за Полищуком) цитирует — где приводит полностью, где сверхподробно комментирует, а где близко к тексту пересказывает — стихи Лиснянской, давая читателю еще раз убедиться, что стихи, выбранные обоими авторами для упражнений в словословии, и в самом деле хороши. А потом огорошивает нас следующим литературоведческим открытием: оказывается, для этого критика не тайна не только возраст поэтессы, пишущей о любви, он, Цивунин, вдобавок знает и *кому* посвящены стихи. Ей-Богу, «МК-бульвар» какой-то! Так что остается только посочувствовать поэтам, вопреки очевидной пользе хранящим в своих произведениях верность простоте и искренности. На таких всегда найдется ушлый критик, который выскочит вдруг на встречную полосу с воплем: «Ой, а что я про этого поэта знаю!».

Ирина Ковалева отзывалась на двухтомник **Ольги Седаковой** («Переход к читателю»: «Ex libris», 18 апреля). Она считает его литературным событием минувшего года, а Седакову — самым значительным поэтом своего поколения. Ее стихи учили словарю и форме. А главный их урок в том, что есть нечто бесконечно более важное, чем ты. Седакова требует от своего читателя «слушающего сердца».

О стихах самой **Ирины Ковалевой** (если только это не совпадение имени и фамилии) на той же странице газеты пишет **Мария Галина** («О настоящем»), находя в них изысканную сдержанность и внутреннее достоинство.

А по мнению **Леонида Костюкова**, «самая сильная русская поэзия на сегодняшний день» это поэзия **Михаила Гроноса**, книгу стихов которого «**Дорогие сироты**» автор статьи рецензирует в свойственной ему манере *aut bene aut nihil* («То, чего мы ждали» — «Дружба народов», № 6). Звучало бы еще убедительней, если бы автор хоть раз в жизни хоть кого-нибудь отругал.

Алексей же Кожевников в статье «**Каждый выберет дом и очаг**» («Наш современник», № 5), разбирая стихи эмигранта из Караганды в Петербург **Владимира Шемшученко**, уверенно утверждает, что «именно поэзия В. Шемшученко наиболее полно и точно отобразила внутренний мир нашего современника за последнее десятилетие». Аргументы таковы: «...поэт не пытается объяснить происходящее, он просто рисует его таким, как есть, как снег или грозу, как явление природы. Гражданское и личное в стихах Шемшученко тоже единое целое, как все в природе. Поэт не встает над происходящим «мудрым судьей», а живет с ним единой жизнью. В этом и состоит отличительная черта русских Идеи и Веры — соборность, в этом и заключается квинтэссенция настоящего искусства — явление природы». Впрочем, некоторые цитаты свидетельствуют о безусловной одаренности Шемшученки.

О новой книге Владимира Салимона пишет **Владимир Губайловский** («Жизнь и речь»: «Новый мир», № 5). Почти три сотни стихов — меньше чем за два года. Такая результативность дала критику повод *взглянуть на поэтический сборник как на жанр*, где каждое стихотворение, будучи включенным в общее движение, остается все же собой. И обнаружилось, что, в отличие от абсолютного большинства поэтов, Салимон заботится не столько об отдельном стихотворении, сколько о стиховом потоке, о книге в целом. А книга эта, по словам Губайловского, очень печальна. Едва ли не беспросветна. Горек фирменный салимоновский юмор, а каждое стихотворение — это повод замолчать. Но пока длятся стихи, остается надежда.

Весьма критично к предмету своего внимания настроен **Николай Востриков**. В статье «**Pigeon**» («Знамя», № 4) он отзываясь о поэте Глебе Шульпякове и его сборнике «Шелчок». Пустота вместо глубины — его философия. Его герой почти равен вещам, он вещь среди вещей. У него нет воли. Отсюда и необязательность всего, что происходит в стихах. Пишет он так же, как путешественник: перелетает с места на место, как голубь. А что? Сытая, красивая, спокойная птица; символ мира, между прочим; по-английски — *pigeon*. Книжный мальчик бежит из мира, где его обманули, где утверждали дух, смысл, идеал — то, во что он не верит. В этом побеге он цепляется за «бытийные основы» любой величины. Те, что у него есть. Что он ест, что пьет, что носит, сообщается на каждом шагу; вещи все богатые и вкусные — а впечатление остается ужасающей бедноты. Поэт очень маленький, *камерный* — даже не то слово. Еще меньше. Комнатный. Купейный. Такого маленького поэта, кажется, еще не было.

Елена Гродская рецензирует книгу Александра Анашевича «Неприятное кино + бонус-трек» («Знамя», № 6: «Осколочная роза»). Приятного в его стихах мало. Это, может быть, не «жесткое порно» и не фильм ужасов, но «одурманивающие пары» чувствуются. Декадентства своего Анашевич не скрывает. Сюжетов разрушения, угасания, распада в его стихах достаточно. Собака Павлова лежит на операционном столе *«вся в зеленке»*, девушка пишет из сумасшедшего дома. Интонация стихов горячечна, болезненна, многочисленные повторы, неравные по длине строчки. Стихи жесткие, мужские, хотя и какие-то жалобные и жалостливые. Гродская сравнивает Анашевича с Еленой Фанайловой: их относят к одной, воронежской, школе. У Фанайловой ее «особый цинизм» слишком открыто декларирован, чтобы ему верить. Фанайлова по-женски надрывна, впрочем, хорошо отрефлектированной истерикой. У Анашевича никакого надрыва нет. Фанайлова восхитительно старомодна, Анашевич абсолютно современен. Фанайлова говорит от себя с чертами стилизации, Анашевич стилизует, оставаясь собой. Его маски не обманывают. Он мучается не вместе с собакой Павлова, а самим фактом ее существования. Поэт, которому родствен Анашевич, это Сологуб «Чертовых качелей».

Олег Юрьев делится воспоминаниями и мыслями о петербургском поэте Сергее Вольфе, воспетом Довлатовым блестящем и смешном красавце, барине, скупердяе и выпивохе («Знамя», № 5: «Призрак Сергея Вольфа»). Парадокс в том, что, оставаясь таковым как человек, Вольф как поэт сложился иначе. Поэт принадлежит не своему «физическому» поколению, а поколению, начинавшие-

му сочинять в 70-х, когда стал переходить от застольных прибауток к сочинению трагических стихотворений, имеющих мало общего как с творчеством «ахматовских сирот», так и с замкнутой метафизикой ереминского или разомкнутой метафизикой аронзоновского плана. Единственной возможностью в 70 — 80-х годах не жрать «разрешенный воздух» был не правильный выбор между «за» и «против», между «здесь» и «там», а полный отказ от этого выбора. Это требовало отторжения зараженного недоброкачественным временем материала. Большие поэты позднесоветской эпохи произвели такое отторжение, и все расплатились за него призрачным, прозрачным существованием в сверхплотной материи советской медленной жизни. Вольф оставил от этой жизни только три слоя. Маленьких, никак не идеологизируемых животных — оптически приближенных, крупно-подробных, с мучительно прижатыми хвостиками, сучащими и семенящими лапками, угрюмыми лицами. Себя, «старика», со своей неимоверной, почти до физической дурноты интенсивной любовью. Ну, и еще Господа Бога. В 90-х годах координаты вольфовского мира принципиально не изменились, добавилось выплесков открытой ярости и взрывов неудержимой тошноты, дыхание же стиха сделалось еще глубже, еще свободнее, еще естественнее. Иногда даже слишком.

О стихах Евгения Бунимовича пишет Галина Ермошина («Знамя», № 6: «Многоточие»). Их автор старается быть незаметным, он как бы немножко стесняется сам себя. В нем присутствует и школьный учитель, и житель Чертаново, и политический деятель, и поэт. Центр мира находится здесь, расходясь concentрическими кругами возраста, города, времени, пространства. Жизнь вписана в город, выросла в него, и нет необходимости разрывать эти годовые круги, потому что здесь есть все, что нужно. Поэт исповедует понимание и приятие: другого времени не будет, и нужно научиться жить, не испытывая к нему ни ненависти, ни нежности, принимая его как данность и не пытаясь ни избежать, ни убежать; ни ожесточиться, ни примирить в нем всех. Поэт отвечает только за себя и не собирается учить других правильной жизни. Бунимовича привлекает незавершенность, длительность мысли, фразы, строчки. Он приглашает к соучастию. Наверное, поэтому многие стихи не заканчиваются, а остаются в состоянии недоумения, неуверенности — многоточия.

Вячеслав Курицын провел интернет-опрос: 110 литераторов-«экспертов» назвали ему лучших русских поэтов современности. Итоги представлены в Сети в «Курицын-weekly от 18 марта». Всего названо 274 поэта. Вот первые 10 с указанием числа голосов: Сергей Гандлевский 38, Тимур Кибиров 35, Лев Лосев 31, Дмитрий А. Пригов 28, Елена Шварц 27, Лев Рубинштейн 26, Вера Павлова 25, Дмитрий Воденников 24, Елена Фанайлова 23, Шиш Брянский 22. Курицын: «верхнюю часть списка (1-6) представляют авторы среднего и старшего возраста с репутацией живых классиков». Первые шестеро кажутся Курицыну сегодня менее актуальными для русской поэзии, нежели господа с номеров 7-10. «Удивительна густота бульона: трех лидеров назвали треть или больше трети опрошенных!» Был составлен и рейтинг экспертов: кто из них ближе подкрался к среднестатистической десятке. Впереди — Марк Липовецкий, Дмитрий Бак, Владимир Кукушкин, Инна Булкина, Мария Левченко, Сергей Соколовский, Катя Метелица, Александр Агеев.

По итогам курицынского опроса о поэзии рассуждал в «Русском журнале» (11 апреля) **Владимир Губайловский** («Промежуток»). Он отталкивается от даваемого с оглядкой на Тынянова определения современного состояния поэзии как промежутка. Промежуток, по Губайловскому, — время, когда никто не понимает, как надо писать. Критик провел параллель между литературной ситуацией 1924 года и 2002, между «Промежутком» Тынянова как мгновенным снимком поэтического пространства — и опросом Курицына. У Губайловского (тоже, между прочим, недурного поэта) этот утвержденный открытым и прямым голосованием список вызывает активное неприятие. Главный его вывод: иерархия есть. Она — реальность. А значит, нужно отодвинуть ее в сторону, как стоящий на пороге шкаф. Если и есть сегодня ощущение «промежутка», то именно как «вакаций», отдыха перед подъемом.

КРИТИКА О КРИТИКЕ

Критик **Александр Агеев** неустанно сражается с коллегами по цеху. Отчасти мы этой борьбы в нашем обзоре уже касались.

Так, в «Голоде 72» (17 апреля) **Агеев** ядовито прохаживается насчет «юмористических фигур — Проханова, Ольшанского, Пирогова» и малость посерьезнее дискутирует с Дмитрием Быковым. Тот, встав на защиту от либерального террора обернувшегося черносотенцем Ольшанского, определил либерализм как «уютное существование под сению закона». Агеев вопрошает: а почему в состав понятия не входит даже краешком ключевое для него слово «свобода»? ««Счастливей» как раз делает человека сытое рабство, а область свободы — место тревожное, конфликтное и никакого комфорта не обещающее. Потому и 90-е годы, несмотря на их тяжесть, были для нормальных либералов (а не «художников» вроде Быкова) все-таки по преимуществу счастливыми, несмотря на нищету и отвратность моральной атмосферы. А какая должна была быть атмосфера, если только что сдохла нежно любимая Быковым (читайте его роман) Совдепия и труп ее «величия» (это то, к чему, по Быкову, должна стремиться страна) невыносимо смердел?». Это только Быков в неосторожном сознании своего великолепия может так роскошно саморазоблачиться, увязывая «свободу» со «счастьем» в смысле «достатка» и «процветания».

В «Голоде 73» (23 мая) **Агеев** продолжает рефлексии о случае Ольшанского-Проханова, основываясь на прокатившейся на форуме «Русского журнала» дискуссии. Однако на сей раз сильнее всего он желает обидеть других лиц. И потому начинает с признания, что «даже немножко напоминать Басинского или, как это выражаются, “перекликаться” с ним литератору моих привычек и взглядов “западло”». Хороши, заметим, стало быть привычки и взгляды, столь органично выражающие себя через феню. Впрочем, «постыднее этого, — продолжает Агеев, — только докатиться до уровня Быкова или там Ермолина какого-нибудь, которые всегда лучше всех знают, как надо жить и писать в России». (Что ж, спасибо, как говорится, хоть и на таком добром слове.) Дальше Агеев, однако, в столь же бодром духе разбирается с теми, кто жаждет комфорта и чужд «идей» и «проблем», обнаруживая тем самым непреодоленную раздвоенность, которую пытается всячески микшировать агрессивными адресными атаками. Он ощущает неизбежность «идей», но не умеет понять, отчего

это так. Стоит горой за «свободу», не зная ее онтологического смысла. Агеев — либерал, но либерал чувства; вовсе не мыслитель. Оттого так взбалмошна, так неровна его порою занятная критика. Прибавьте к этому тягу к скандалу и мизантропию... Под конец в обзоре Агеев признается в том, что ему понравился роман Левкина «Голем, русская версия» — и не понравился «Лед» Сорокина. Мотивация вкусовых предпочтений сведена к минимуму: «мне неинтересны писатели, которые занимаются «веществами» <...> писатели, озабоченные судьбой «сущест»в, мне как-то ближе».

60-летию со дня рождения С. Лурье посвящена статья Андрея Арьева «Не теряя отчаяния» («Звезда», № 5). Правда, автор, по своему обычаю, преимущественно философствует, открывая рассказ о юбиляре рассуждениями о том, что с годами телесные раны затягиваются дольше, а душевные — быстрее (что довольно сомнительно). Однако подкупает теплый рассказ об одном из самых талантливых петербургских литературоведов.

Владимир Бушин («Прозрачность», № 24) в памфлетном тоне рассуждает о взглядах Фазиля Искандера на пути России. Невпопад упоминает он и о «Континенте», «кажется, почившем в Бозе». Ответим так: *не дожидетесь*.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Арлен Блюм — специалист по истории русской литературы и цензуры — посвящает статью «Рукописи не горят?...» 80-летию со дня основания Главлита и десятилетию его кончины («Звезда», № 6). История нашей цензуры — особая страница истории страны. За одну стихотворную строчку, например, был конфискован сборник стихов Э. Багрицкого, ибо там упоминался расстрелянный комкор В. Примаков.

Нельзя не упомянуть замечательную подборку материалов, посвященную столетию со дня рождения Лидии Гинзбург («Звезда», № 3). «Записные книжки» самой Гинзбург, относящиеся к 1925 — 34 гг., — крошечные наброски, поражающие не только интенсивностью работы мысли исследовательницы, но и ее проникновением в сущность и быт эпохи. Это живые детали разговоров с Ю. Тыняновым, Б. Эйхенбаумом, В. Шкловским, В. Жирмунским, О. Форш, Г. Гукловским, ее заметки об этих людях, а также приходящие ей на ум исторические наблюдения. «Ужас в том, что в 30-х годах прав был не Пушкин, а Булгакин», — замечает она.

Сердечно и тепло вспоминают Лидию Яковлевну поэтесса Е. Кумпан, близкий ее друг в 70 — 80-е, начинающий тогда поэт Алексей Машевский, литературовед Е. Невзглодова (у нее сохранились почти дословные записи разговоров с Л. Гинзбург).

Почти день в день со столетием Гинзбург отмечалось и 60-летие со дня рождения Ю. М. Лотмана и 70-летие З. Г. Минц. Б. Ф. Егоров, давний коллега и друг по Тартускому университету, публикует во 2-м номере «Звезды» статью «Юрмих и Зара». Он напоминает не только об их известных всему культурному миру трудах, но и о терниях, через которые проходила их жизнь, чему он сам был свидетелем. «Юрмиху» был присущ настоящий, глубинный, а не барабанный патриотизм, пишет автор. Вот почему он когда-то отказался от эмиграции и от заведования престижной кафедрой в Нидерландах.

«Грустный человек. Незаконченные разговоры с Александром Володиным» **Н. Крыжука** («Звезда», № 3) — это почти дневниковые записи, перемежающиеся с непосредственными впечатлениями петербургского писателя от общения с одним из лучших современных драматургов. «Христианское растворение в другом» **Володину** было несвойственно, отмечает автор: в личности драматурга соединялись благорасположенность к человеку и истовое отстаивание своей «отдельности». Вообще, сложнейший он был человек — нежный, жесткий, одинокий.

О «воительнице **Лидии Чуковской**», вспоминает **А. Морозов** («Нева», № 4). Автор, осужденный некогда по 58-й и отсидевший в лагере 10 лет, отдает дань благодарной памяти мужественной, жесткой и бескомпромиссной женщине, вспоминая свою с ней переписку.

О романе **Б. Житкова «Виктор Вавич»** пишет прозаик **Андей Волос** («Нева», № 5). Текст, увидевший свет спустя чуть ли не 70 лет со времени написания, один из лучших, по словам Пастернака, романов о революции 1905 года, так и прошел мимо современной критики. Меж тем, множество авторов сегодняшних бестселлеров уйдут на задний план, в то время как «Виктора Вавича» только начнут изучать. Судьба романа напоминает детектив: напечатанный в 1941 г., он был пушен под нож, а один из оставшихся экземпляров выкрала из типографии Лидия Чуковская. Жаль только, что Волос пишет о замечательном романе так кратко, будто отдает ему дань. Роман, право, заслуживает большего. Тем паче, что сам автор называет Житкова, традиционно детского писателя, — писателем великим.

Впервые печатается в «Неве» (там же) и известный критик **Владимир Новиков**, вспоминающий, разумеется, своего любимого **В. Каверина**, а также **Ю. Тынянова** и **В. Шкловского** — писателей, близких друг другу и в то же время удивительно несхожих. Автор заостряет внимание на эгоцентризме Шкловского — и, напротив, на всегдашней обращенности Тынянова к собеседнику, на его готовности вникнуть в логику другого человека.

Игорь Золотусский («Звезда», № 1) вспоминает свои давние статьи о прозе **К. Симонова** и свою переписку с ним. Наблюдения Золотусского над тем, как писатель, типичный советский «барин», продвигался вперед исключительно в направлении наращивания фактов (он был от природы фактографом, а не мыслителем, замечает автор) — мало того что точны, они пошли бы на пользу немалому числу современных критиков. В дальнейшем Симонов избавил себя от тяжести изображения конца войны, и, не зная в каком направлении развить своего Серпилина, решил пойти туда, куда несла его идеологическая схема.

Игорь Сухих продолжает свою рубрику (которая уже успела стать настоящей книгой, вышедшей в 2001 г.) «**Книги XX века**» (там же). На сей раз пристальный взгляд ученого обращен к «**Пушкинскому дому**» **А. Битова**.

Ольга Канунникова рассказывает о книге **Мирона Петровского «Мастер и Город» («Художник и окрестности»**: «Новый мир», № 4). Канунникова остроумно сопоставляет булгаковский Киев Петровского с булгаковской же Москвой **Б. Мягкова** (автора книги именно с таким названием — «**Булгаковская Москва**»). Любопытно, что одни и те же тексты оба краеве... то есть литературоведа интерпретируют совершенно по-разному. Так, в описании Патриарших

прудов Мягков законно видит «свой» город, Петровский же по всем приметам узнает родной Киев. Будучи мастером «филологической интриги», последний идет еще дальше: приметы любимого города открываются ему повсюду — от «нехорошей квартиры» на Садовом кольце до дворцовых залов в Ершалаиме. Его Булгаков «если можно так выразиться, мыслил Киевом». По всем приметам новая книга Петровского весьма интересна, как, впрочем, все работы этого автора, но и далеко не бесспорна. Однако рецензентка, кажется, полностью подпадает под обаяние киевского патриота и заканчивает статью бодрым утверждением, что Петровский «можно сказать, выделил и описал «геном Булгакова». Сказать, разумеется, можно все. Но стоит ли?

*Обзор подготовили
Ирина Дугина, Евгений Ермолин,
Мария Ремизова, Евгения Щеглова*

СЕРЬЕЗНОЕ ИСКУССТВО — ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ ВЕЩЬ

Интервью художника Анатолия Слепышева журналу «Континент»

В нашей традиционной рубрике «Беседы в редакции» мы продолжаем знакомить читателей с тем, как видят сложившуюся на рубеже тысячелетий ситуацию в русской и мировой культуре деятели театра, кино и телевидения, композиторы, дирижеры, мастера изобразительного искусства. Сегодня в гостях у «Континента» художник Анатолий Слепышев, известный в России и за ее пределами как один из самых крупных современных русских живописцев. Анатолий Слепышев родился в 1932 году в Пензенской области. В 1967 году окончил Суриковский институт. В 1989 году удостоен Золотой медали на Всемирном фестивале искусств в Багдаде. С 1990 по 1996 год жил и работал в Париже, за этот период состоялось около тридцати персональных выставок во Франции. С 1992 года член Maison des artistes, Париж. С 1996 по 2002 год состоялось более сотни персональных выставок в престижных выставочных залах России и за рубежом. Работы Слепышева представлены во всех ведущих художественных музеях мира. Член-корреспондент Академии художеств РФ, заслуженный художник Российской Федерации. В настоящее время живет в Москве.

Суждения Анатолия Слепышева об искусстве, как увидит читатель, весьма своеобразны и часто неожиданны. Но тем интереснее, как нам кажется, выслушать его мнение о том, какие кардинальные перемены в изобразительном искусстве произошли в XX веке и что происходит сейчас — мнение одного из тех, кто, собственно, и создает современное искусство. С этих вопросов и началась беседа в редакции, которую вели Ирина Дугина и Игорь Виноградов.

А.С. Думаю, что судить о том, что произошло в искусстве за последние 80–100 лет, в какую сторону движется процесс, мы еще не можем: слишком близко к этому всему стоим. Тем более что исторические события, происходившие во всем мире на протяжении этого века, заслоняют события в мире искусства. Нельзя же вычленив искусство из всей остальной жизни и отдельно определять, что такое Малевич, что такое Репин, Пластов или Лактионов. Художники — это не грибы в осеннем лесу: в урожайный год хоть косой коси. У некоторых народностей рождается один художник в сто — двести лет. Вот по этому одному и судят.

Но если все-таки попробовать ответить, я думаю, перспективно любое направление искусства, перспективно всё, что связано с большим мастерством и точностью... Вот бывает же гениальный рок — например, «Иисус Христос — Суперзвезда» Уэббера. Или гениальная абстракция. Мне приходилось видеть работы абстракционистов, где присутствуют и жизнь, и красота, и очень глубокие мысли и чувства. По-моему, перспективно всё, что талантливо.

И.Д. И все-таки у Вас как художника и очень чуткого ценителя изобразительного искусства наверняка сложился какой-то образ века — если и не оформленный в законченную картинку, то хотя бы фрагментарный. Да и представление о художественной практике последнего десятилетия Вы получаете не со стороны, а как непосредственный участник процесса, к тому же, постоянно «важась» в общем котле со своими коллегами, Вы видите их произведения и неизбежно составляете о них собственное мнение.

А.С. Если попытаться говорить о целом веке, то я считаю, что во многом искусство этого века определил импрессионизм — точнее противостояние ему. Когда-то академисты Пуссен или там Лоррен писали картины для дворцов и особняков. Но исчез солидный покупатель — исчезли и пуссены. После всех французских революций к концу XIX века появился новый потребитель живописи — обыватель. В Париже понастроили «клоповников», где поселились мелкие чиновники, лавочники. Все эти «новые французы» занимали уже не особняки. И для них нужны были недорогие картины — яркое пятно, которое украсит стену. Я, конечно, утрирую, но импрессионисты возникли примерно так. Это были разные люди, разной культуры, разного образования, разного уровня мастерства, но все они знали одно: надо писать небольшие картины, и картины эти должны быть красивыми. Художники ведь, как собаки, чувствуют, что нужно делать, чтобы их покупали. А как сделать картину красивой? С помощью красок. Вот импрессионист пишет небо — синее, много синего. Дерево — масса зеленого. Это не дерево — это красиво положенная краска. Вода — то же самое. Они утратили классические традиции, умение передать фактуру предмета, плотность ствола, пушистость листвы и так далее. Но это красивое описание для стены в конце концов понравилось всем. Импрессионисты не сильно разбогатели на своем искусстве, но им многие наследовали. Например, Кандинский — это, с моей точки зрения, целиком импрессионист: пятно красное — много-много оттенков красного цвета; пятно синее — много-много синих оттенков... Красиво и красиво. Но дальше идти импрессионизму было некуда. Не было в нем ни мысли, ни философии, ни традиции. К началу XX века художники нового поколения подсознательно поняли, что все это ведет в тупик.

Именно тогда появились Пабло Пикассо, Жан Дюбюффе... Кто-то посыпал свои картины землей, кто-то писал в тонах асфальта, кто-то искал потеки на заборах — лишь бы не быть похожим на импрессионистов. У этих художников были свои задачи. Они хотели создать образ. Образ, который выражает эмоции: страсть, любовь, ненависть. Импрессионистам было плевать на все это. У них просто пухленькие бабенки, которых можно пощупать за толстые мяса, — и не больше того. А новые художники создавали свой новый мир. Через картину пытались передать, что мир сложен из неохватного числа бесконечно больших и бесконечно малых величин. Пытались отразить развитие человеческой мысли, человеческой культуры. Но и этот путь привел в тупик.

И.В. В чем же этот тупик заключался?

А.С. Искусство этого направления двинулось в сторону от живописи и в конечном итоге пришло к инсталляции, к перформансу. Все это происходило

на наших глазах. В шестидесятые годы возникло концептуальное искусство. Это было интересно всем. Концепция захватила все умы. Я сам переживал это. Мне казалось, что во всем, что не похоже на реализм, на традиционные классические образцы, есть какая-то таинственность, неопределенность. Как будто бы сама жизнь проявляет себя какими-то новыми формами. А лет за десять до этого всех пленял поп-арт. Тогда Роберт Раушенберг сказал, что любой предмет, любое творение рук человеческих, если смотреть на него не как на утилитарную вещь, само по себе является произведением искусства. Раушенберг говорил о бутылке: если воспринимать ее не как сосуд для хранения жидкостей, а как явление искусства, как идею, как мысль, то это уже становится гениальным творением — художника, скульптора, архитектора. Раушенберг первым как художественное произведение выставил дверь — обыкновенную дверь, только поменьше — и произвел в головах и критики, и философов, и публики полный переворот.

В свое время американцы построили в Нью-Йорке музей Гуттенхайма, где собирали все эти новейшие проявления поп-искусства. Говорят, сейчас его стали посещать плохо. Уже народу надоедает, уже не ново. Я сам это видел в парижском Музее современного искусства. На первый этаж, где выставлены импрессионисты, символисты, публика еще идет. А выше — залы концептуального искусства, и вот туда уже никто не сует и носа.

И.В. Как я понял, Вы считаете, что конец поп-арту и концептуализму приходит не случайно, что искусство это существует на каком-то маргинальном, даже ложном направлении — в стороне от того пути, где применимы достаточно высокие критерии. И лично Вы по каким-то критериям, вероятно, отличаете настоящее искусство от ненастоящего?

А.С. Попса — это, конечно, искусство массовое, для простого обывателя — как мыльные оперы. Но я не говорю, что это ложное искусство. Я считаю, что любое искусство призвано служить — народу, правительству, разным слоям населения. Оно служит, а, значит, и должно нравиться народу. И окончательную оценку дает именно народ. Вот Тициан — потрясающий художник, его уже почти шестьсот лет любят во всем мире. Карл V лично поднимал ему кисть: из уважения к таланту. Или Майкл Джексон — как он зажигает всех энергией! А чтобы вложить столько энергии и чтобы она доходила до зрителя, нужно иметь недожизненный талант, умения, знания.

И.Д. Если я правильно поняла, для Вас примерно равнозначно искусство Джексона и искусство Тициана?

А.С. Я ведь сказал уже, что перспективно все, что связано с настоящим мастерством. Хотя, пожалуй, на чаше весов Тициана гири будут потяжелее.

И.В. Знаете, мне тоже так кажется. Но если подходить с точки зрения внешнего успеха, то самой популярной всегда будет попса. Так как же с окончательной оценкой, которую дает народ?

А.С. Не надо понимать все слишком буквально. Конечно, существует реклама, существует раскрутка. Сейчас вообще такое время, когда легко процветает

любая бездарность — надо только суметь ее правильно подать, вложить деньги, сделать имя.

Конечно, то что бесперспективно когда-то все равно умрет. Ведь жизнь продолжается, развивается. И всем хочется правды жизни, но каждый ее понимает по-своему. Все пытаются вывести свою концепцию, свою формулу смысла и правды жизни.

И.В. Жизнь продолжается, и каждый новый художник опирается на предыдущее. Но ведь если он талантлив, он не будет повторять сделанное до него. Он будет искать чего-то нового. А что он ищет? Только новую форму выражения?

А.С. В том вся и соль, что он без конца повторяет те шедевры, которые были созданы до него. Художник вообще учится не у природы, а у мастеров. Но повторить в точности нельзя ничего — нельзя подобрать такой же точно состав красок, нельзя угадать такое же время суток, нельзя сделать так, чтобы твое сердце билось так же, как у мастера, которому ты наследуешь. Обязательно произойдет куда-то сдвиг. И иногда вдруг случается, что этот сдвиг бывает даже чем-то лучше, чем у того — пусть не всем, пусть хоть одним хвостиком. И тогда художник вцепляется в этот «хвостик» и пытается его развивать. Так художники и самовоспитываются. Но самовоспитываются обязательно на образцах высокого.

И.В. Значит, искусство все-таки развивается. И развитие идет в каком-то направлении

А.С. Я не знаю, есть ли в искусстве развитие или нет. Я вообще считаю, что не было ничего выше первобытного искусства, потому что человек верил в его магическую силу, потому что он и творил и воспринимал, как творят и воспринимают дети, — с искренней верой.

А что до развития... Настоящие художники, писатели или актеры своим творчеством пытаются поднять культуру людей. Просто есть люди, которые придерживаются той позиции, что массового зрителя надо учить понимать красоту и величие искусства, надо воспитывать его, поднимать до Моцарта, до Бетховена, до Тициана. Конечно, чаще бывает наоборот: художники изучают массовые вкусы, приспосабливаются к ним, угождают. Я считаю, что такое искусство вредно, оно разрушает человека.

И.В. А какие критерии позволяют распознать: вот этот художник настоящий — поднимает, а этот не поднимает?

А.С. Это дело специалистов.

И.В. Но почему только специалистов? Вы же назвали Моцарта, Тициана. А наши передвижники? Уж они-то точно воспитывали публику.

А.С. Воспитывали. Но уж слишком большую ставку делали на политику, на идею. У них же всё социальное — даже пейзажи. Демократическая такая живопись, для бедных: избушки, опушки, дорожки. Передвижники на дух не выносили ничего декоративного, эффектного, красочного. Терпеть не могли пейзажи Семирадского, Богаевского, даже Айвазовского. Да чего мы их вдруг вспомнили?! Это все равно, что беседовать о поэзии и вдруг заговорить о

журналистике. Передвижники — вообще не художники. Публицистика и искусство — вещи несоразмерные.

И.В. Вы смело говорите «художники» — «не художники». Как все же Вы отличаете искусство от неискусства? Чем руководствуетесь?

А.С. Чем руководствуюсь? Откуда я знаю. Ну, разумеется, талант, искренность, любовь к своему делу... Только и это не всё. Как-то в Париже я видел выставку Тициана — картины, которые свезли со всего мира. Ну потрясающий мастер — такие сгустки цвета, такие сочетания... Да что говорить, искусствоведы об этом тома написали... Но были на этой выставке (откуда, из каких запасников их вытащили?!) совсем поздние его вещи, эскизы для церковных росписей, — какие-то серые фигуры на сером фоне... Вы спрашиваете о критериях. Какие уж тут критерии... Я как художник понимаю — нутром чувствую, что эти эскизы — не просто гениально, это супергениально, только мой ум не в состоянии это воспринять. Смотрю и понимаю, что это за гранью моего понимания! Разумеется, обыватель не видит этого. Серьезное искусство это серьезная вещь.

И.Д. Может быть, дело в том, что, даже не умея объяснить, чем он восхищен, талантливый зритель все равно распознает талантливое произведение?

А.С. Все это не так просто. Да и вообще что такое талант? Как определить, талантливая картина или нет? Кстати, чем больше талант, тем он труднее в себя выпускает. Это уже доказано. Если картина интересная, ее нужно долго-долго видеть, думать о ней, и тогда она вдруг может разверзнуться и энергия, которую заключил в нее автор, включит зрителя, начнет взаимодействовать с ним. С одной стороны, нечего притворяться: что ты вложил, что закодировал на холсте или там ватмане, то зритель и получает. Ничего вроде бы потустороннего... А с другой стороны, талант — он, может быть, с Богом немножко и связан. Вот греки. Не знаю, как они делали свои росписи, но видно, что рукой художника водит Бог. Я, кстати, ни в Бога, ни в черта не верю. Но как вот это случается? Мажешь-мажешь, ничего не выходит — и вдруг... Может, правда Бог? Кто там у нас под землей ретиску красит? Вот он красил-красил, а потом о тебе вспомнил и помог... Хотя я не могу адекватно это оценить, я свои работы не вижу. Ко мне приходят и говорят: «Это талантливая картина», а я думаю: вот тут у лошади хвоста нет, а тут копыто кривое. Я вижу только это: вот тут маху дал, тут не тот цвет положил... Поэтому я и раздариваю их с удовольствием. А вообще я думаю, изобрети кто-нибудь такой барометр, который позволял бы определить, талантливо или не талантливо произведение, искусство тут и кончилось бы.

И.Д. Ну как же?! Вы же только что сами говорили об эскизах Тициана. То, чего не понимает толпа, чувствует художник. Разве не барометр собственная душа, когда ты отзываешься на чью-то работу, «слышишь» ее и она вызывает зависть, восторг или даже неприятие?

А.С. Нет, все это очень обманчиво. Бывает, загорись, увлечешься, тебе покажется, что ты видишь что-то талантливое, гениальное, а потом вдруг понимаешь: ерунда. Просто чисто случайная эмоция... Мутационная эмоция, я бы сказал.

С другой стороны, настоящий талант, конечно, виден. Вот случай. Прихожу в Париже на какой-то очередной ФИАК, ярмарку искусства. Огромные помещения отведены последователям Пикассо. Каких только картин нет: качественные, на любой вкус — копии Пикассо, подражания Пикассо, картинки всех размеров, хуже Пикассо, лучше Пикассо... И всё — говно! И вдруг... В самом центре, как на пьедестале, — маленький такой настоящий Пикассо. И — всё... Сразу понимаешь: это — искусство. На это можно молиться, от этого с ума можно сойти! Это Пикассо! Это гений...

И.В. И снова мы приходим к вопросу о критериях. Как бы Вы определили разницу между подлинным Пикассо и подделками?

А.С. Чтоб ответить на этот вопрос, надо целый том написать.

И.Д. Но Вы-то поняли мгновенно. Значит, сработал барометр! Вы ведь сразу почувствовали настоящего Пикассо, а не определили по тому, что под картиной была подпись?

А.С. Почувствовал, конечно, почувствовал, я же всю жизнь обожаю Пикассо... Но, главное: под картиной была подпись...

А что до объективности моего барометра, послушайте еще одну историю. Я безумно люблю рублевскую «Троицу». Так вот прихожу как-то в Третьяковскую галерею и вижу: нет моей иконы. Где? А ее поставили посередине зала — рядом, хоть руками трогай, хоть носом води. Я так обрадовался, рассматриваю ее, люблюсь. И вдруг поднимаю глаза: батюшки, «Троица»-то на стене висит! А я полчаса люблюсь копией! Но потрясающая копия: все точно — до трещинки, до гвоздика... Что тут со мной стало! Вот моментально во мне закипело презрение, желчь: какая гадость! Но я же полчаса вокруг ходил, видел, что это Рублев — живой, подлинный. Я же переживал! Как я переживал около этой иконы — и мороз у меня по коже, и мурашки... И вдруг... Всё провалилось, в одно мгновение. Я своими руками готов был бы уничтожить эту копию.

Вот Вам и ответ на Ваш вопрос. Просто есть вещи, которые определить нельзя.

Как определить, хорошая картина или нет? Нельзя. Нет, конечно, если ты настроен, ты еще можешь что-то понять. А если не настроен, пройдешь мимо миллиона шедевров и ничего не увидишь. Если тебе, конечно, не скажут.

И.В. Скажут. Но разве общепризнанная оценка всегда соответствует истине?

А.С. Разумеется, надо видеть самому. Вообще видеть прекрасное — этому надо учиться. А энергия искусственно созданного мнения очень велика. Она опасна, порой даже убийственна. Я с этой энергией очень часто сталкивался в жизни. Вот еще одна история. О Зурабе Церетели. О нем есть устойчивое мнение, пресса его совершенно затопкала, все искусствоведы говорят, что это ерунда, неинтересно, совсем плохо. И я, не видя, не зная и не вдумываясь, был согласен с этим. Тут вдруг Церетели предлагает мне сделать совместную выставку в Академии Художеств (мне как раз дали звание членкора). Я согласился, но пошел в Манеж посмотреть его работы. И настолько все мне не понравилось сначала! А потом прошло какое-то время, я осмотрелся и понял: у него очень много хороших работ. Только надо смотреть на них без предвзятости.

Художник он, конечно, значительный, а энергии у него — как у Пикассо или Дали, самых легендарных мастеров взрывной эпохи (была же эпоха, когда художники были на уровне самых гениальных авантюристов, недаром Гитлер пришел к власти — он ведь тоже художник). Особых идей у Церетели нет, но он мастер и делает то, что нужно потребителю. Работ у него море. Живопись, скульптура, декоративные мозаики — при советской власти он украсил мозаикой, кажется, все санатории Крыма и Кавказа. Его работы отличаются большой декоративностью, яркостью, экспрессией, ритмами. А чем его Петр I хуже того, что вообще в Москве наставлено?

И.Д. Размерами. Мне нравятся многие работы Церетели, но, по-моему, монументальное искусство — не его стихия.

А.С. А что размеры?! Этот Петр весь прозрачный, как решетка, декоративно-легкий. Не зря его сравнивают с Эйфелевой башней. Стоит прекрасно, а у другого бы тут же завалился. Попробуйте поставить вещь такого размера, чтоб она не упала! Но, конечно, Церетели мне не близок. То есть я там не вижу того, что сам бы хотел сделать в искусстве. Ну и что? Это ведь ни о чем не говорит:

И.В. Замечательные истории. И все-таки, сколько бы Вы ни пытались уйти от ответа, Вы же как-то, хотя бы для себя, определяете, где искусство, а где подделка, где талант, а где трюк.

А.С. Если честно, я считаю: главный критерий, хочешь ты вот эту картинку принести домой и на стенку повесить или нет. А вот когда принес, повесил, она понемножку начинает открывать то, что закодировал художник — не сразу, недели через две. Дома от нее совершенно другое впечатление. Так самая прекрасная женщина совершенно иначе воспринимается, когда она где-то вдалеке или когда приходит к тебе и снимает вечернее платье и бриллианты, когда она — твоя. Дома картина открывается уже полностью. Или не открывается. Значит, картина такая или ты сам таков, что ничего понять не можешь.

И.Д. А что, с Вашей точки зрения, вкладывает художник в свое произведение, что «кодирует» в нем?

А.С. Художник пытается проникнуть в то, что человеку не понять никогда, пытается приоткрыть эту тайну. Через свои ходы он пропускает и зрителя. И бывает так, что зритель вдруг осознает: батюшки, я в этой области и не пытался даже думать, и вдруг художник показал мне кусочек истины. Конечно, как правило, зритель не формулирует так и не отдает себе в этом отчета, но художник все же хоть немножко проталкивает его вперед. И остаются какие-то заметные фигуры на фоне текущей жизни — художников, поэтов, мыслителей, — тех, кто обобщает все, что открыто.

Чем весь мир покорила Сезанн? Он, кто его знает, сознательно, подсознательно, программно, вдруг взял и разложил живопись на отдельные участки. Не знаю, как это было: наверное, сначала просто написал грубые мазки, потом увидел, что в этом есть какой-то смысл. И вот впервые появился кубизм — у Сезанна ведь видны эти условные грани, условно разложенная реальность. И все увидели. Тот же мир, что воссоздавал, допустим, Пуссен, Сезанн уклады-

ваает в размеры картины — первый там план, второй, условно заключает его в такую небольшую коробочку — пространственную, даже может быть, архитектурно-перспективную. У него все логично. Первый мазок должен быть чуть пошире и по цвету ярче, а к горизонту мазок становится более смягченным, менее плотным и по размеру маленьким. Это уж потом появились такие, как Сера, — писавшие одними точками. Я объясняю очень условно, на самом деле там множество всяких проблем, но все они связаны вот с логическим осознанием и построением его ритмов, его пространства и взаимоотношений, которые можно перевести на язык математики. Он первый выразил это программно, и весь мир рванулся в его сторону. Посмотрите, в двадцатые годы в России — ну все сезаннисты. Все¹ кубисты. Даже Пикассо начинал с утверждения, что мир построен кубически. Все они хотели логически, математически, геометрически... Все они шли за Сезанном. Даже наш Врубель. Он-то откуда знал Сезанна?

И.Д. Но Врубель, если верить специалистам, никому не подражал. Просто он видел так. К тому же его мазки математически не опишешь. Они напоминают смальту: словно подсвечены из глубины, словно цвет в них постоянно пульсирует.

А.С. Может быть, Врубель и видел именно так. Но у него же во всем — от розы в стакане до Демона — четко чувствуются грани. Это очень большой талант, когда эти грани между объемами, пространствами, на тончайшем уровне, и человек может осмыслить это. Он именно осмысляет. Когда я смотрю на живую розу, я этих граней не вижу. Эти объемы — не какие-то законные построения, правильности, это осмыслил и сделал художник. И эта упрощенная природа как бы немножко приближена, чтобы любой человек мог осознать, как это. Он может на цветок смотреть, он чувствует, что это прекрасно, но вдаваться в эти сложности он не может, а художник, музыкант, поэт пытаются вдаваться в эту жизнь природы. Стремятся расшифровать эту красоту и соединить всех, кто видит ее.

И.В. Да, но ведь именно в XX веке происходит и обратная вещь: художник начинает показывать что-то, совершенно непонятное массе.

А.С. Да, конечно. Но ведь это то же самое, что я уже говорил. Хочет или не хочет, но художник идет в ногу со временем, пытаясь осознать то, что осознать, может быть, и невозможно. Он сам это не очень четко понимает, но ему интересно изображать прежде неведомое. И любая картина — это исследование, работа над ней — процесс открытия, увлекательный и мучительный одновременно. А еще это непрерывный процесс самообучения. Так что совершенно естественно, что работы гениальных художников всегда на грани того, что простому народу не понять. И народу, конечно, интереснее не гении, а рядовые художники — те, кто занимается популяризацией искусства. Так всегда было. Вот, допустим, тот же Верещагин. В свое время он был не менее популярен, чем сегодня Шилов. На него толпы шли. Чем же он привлекал? Да тем, что первым начал писать убитых, падаль, воронов, расклеивающих трупы, — какие-то ужасы, страшилки — все то, что люди любят: неприятно, жутковато, но ведь интересно-то как!

И.Д. А ведь «Апофеоз войны» до сих пор оказывает на зрителя сильное эмоциональное воздействие. Хотя, вроде бы, современному человеку досталось видеть вещи и посерьезнее этой пирамиды из человеческих черепов

А.С. Конечно, Верещагин это очень выразительно. Он вообще очень интересный художник, но я говорю о самом простом, о том, что сразу бросается в глаза. Все художники разные, у всех разная ритмика. Как говорит сверхпопулярный Кастанеда, чтобы что-нибудь постичь, нужно наркотиков наесться. В этом отношении я с ним согласен: «наркотиков» нужно много. Вот все художники-виртуозы, все, кто популярен, питали всех вокруг себя большим количеством сильно действующих средств. И даже на это больше, может быть, энергии затрачивали, чем на свои картины.

И.Д. О каких «наркотиках» речь?

А.С. У каждого художника есть определенные приемы — «наркотики», «крючки» — зацепки, с помощью которых он пытается привлечь зрителя к себе, оторвать от конкурентов. Но настоящее понимание, связанное с чем-то мистическим или высоко эстетическим, — оно за этими «крючками». И вот зритель, который эти «крючки» проходит и видит уже какую-то сложную ритмику жизни, музыку, вот эту красоту, он уже этих «крючков» не замечает. Он уже дальше прошел.

И.Д. А что относится к таким «крючкам»?

А.С. Это может быть нарушение пропорций, могут быть особенности перспективных построений. У меня такой крючок — то, что сюжет моих картин совершенно не отвечает их содержанию. Вообще, мастерство — это такое состояние, когда художнику уже не надо думать, как что-то сделать, а довольно решить, что именно сделать, и все эти «крючки» приложатся автоматически. Они у каждого свои, мастерство добывается личным опытом. Но у каждого должен быть элементарный набор: школа, знание законов, владение определенными приемами.

Вот, скажем, человеческий глаз для художника — это сочетание больших и маленьких пятен, линии, цветовые взаимоотношения, объем, светотень. И художник все время за ними следит, он старается, как дети мозаику собирают из маленьких частичек, собрать все мазки в единое изображение. Но художник, пишущий икону, и художник, пишущий светский портрет с натуры, ставят перед собой абсолютно разные задачи. Портретист думает только о том, чтобы глаз у него вышел живой. Хочет он этого или нет, он оставляет только те сочетания пятен, те кусочки мозаики, которые выражают физическое ощущение живого, зрячего, реагирующего глаза. И пока он не добьется, чтобы глаз этот жил, до тех пор он не успокоится. Вот тогда только получится художественное произведение. Вот какое-то условное. Это не жизнь, конечно, но как бы сам сгусток жизни. А когда художник пишет икону, он тоже работает с линиями, пятнами, тоже держит в руке кисть или пальцем растирает пятно, но он никогда не думает о том, чтобы возник живой глаз. Это глаз, который создан из условных пятен, передающих только идею или сумму идей. Основа мастерства у всех одна и та же. Живописец и иконописец действуют вроде бы одними и теми же сред-

ствами, создают равно сложные миры идей и чувств, но даже технически задачи ставят перед собой совершенно разные.

И.В. Есть ли какие-то особенности у сегодняшних приемов воздействия на публику, современные «крючки» и «наркотики», наверное, не таковы, как сто лет назад?

А.С. По-моему, смысл сегодняшнего искусства вообще — поражать воображение: показывать то, чего просто не может быть. В самом деле, посмотрите, что творится в жизни: у нас на глазах погибают люди — в мирных городах, в Москве, в Нью-Йорке... Три дня народ поахает — и всё, надоело переживать, успокоились, привыкли. Так что поразить современного человека непросто, тут надо очень и очень потрудиться.

И.В. И чем же, например, поражают?

А.С. Ну вот недавно видел в Манеже: голого мужика на цепь посадили. Бегает мужик бородатый на цепи — это ли не диво?! А если ближе к искусству в традиционном смысле, прекрасный пример тот же Сергей Андрияка. Он пишет исключительно акварели, притом акварели огромного размера — вот как стенка в моей мастерской. Но это акварель, всё аж светится! Все выложено, как мозаика; он нигде, кажется, даже второй раз кистью не проводит. Производит впечатление просто необыкновенно эффектное. Это что-то из области чуда. А обыватель чуда и ждет. И пожалуйста, вот оно! Я не знаю, какой тут применен трюк, как это сделано. Но только все это сделано совершенно механически, и мне это неинтересно.

И.Д. Понятно, всем хочется есть — и художникам в том числе. Но все-таки кто-то ставит перед собой задачи более художественные, кто-то — менее художественные. А чего добиваетесь лично Вы?

А.С. Я ставлю перед собой очень серьезные задачи. Только как их выразить словами? Вот я сейчас книжку пишу о том, как надо писать картины. Как надо рисовать, потом выскребать, перетирать, замазывать, опять рисовать. Без конца, пока не уберется все то, что не нужно. И глядишь, вдруг вылезет то, что нужно. Само вылезет — но при помощи моих усилий, конечно. Иногда мазнешь случайно, а это то самое и есть, что ты все время искал, именно туда и попало. Главное ни на чем не настаивать. Моя тут роль — вроде роли режиссера, который наблюдает за репетицией и просит: а вот так попробуй, а теперь вот так. Я знаю, как написать ту или иную вещь, какой технический прием применить. Применяю — не получилось. Тогда я стираю, соскабливаю, делаю снова.

И.Д. Значит, по-Вашему, все дело в приеме, а душа здесь вообще ни при чем?

А.С. Да не верю я ни в какую душу: все одна химия... А с другой стороны, я вот ишу прием, работаю над ним всю жизнь, где-то чуть-чуть его применил и думаю: какой я гениальный! Тут прихожу в Манеж: выставка, 500 — 600 художников. И половина пользуется этим «моим» приемом! Оказывается, теперь все так пишут — и ничего не получается. Выходит, не в приеме дело... Хотя я говорил уже, что определенный набор приемов — это то, чем должен

владеть любой художник. Художника не надо учить. Он должен сам родиться, но ему надо показать набор приемов.

И.Д. Вы получили этот набор в институте?

А.С. Ничего я не получил. В наше время в Суриковском институте почти не осталось приличных преподавателей, зато сидела куча бездарностей. Руководил всем этим академик Ф. Модоров — самодеятельный художник, бывший председатель колхоза и бывший партизан, автор бессмертного портрета какого-то деда Шишко. Наши преподаватели сами никаких приемов не знали и знать не хотели. Вот поставят модель — и сиди копируй, как видишь. И мы, как коровы, жующие тряпку, бесконечно копировали. Корпели часами — пока лист не протирался до дырки, а рисунок не становился черным, как головешка.

И.Д. И Дейнека?! Ведь Вы учились у него...

А.С. Так только считается. Дейнека стал появляться у нас только на предпоследнем курсе, заходил в институт редко и говорил примерно так: «Да ну, ребята, вы уже испорченные. Если бы мне вас сначала дали...» Так что никто ничему нас не учил.

И.Д. Может, оно и к лучшему. Кстати, кого-то из художников Вы все же считаете своим учителем?

А.С. Я считаю себя последователем Пикассо, Бэкона, Йозефа Бойса. Я, может, их и не знал. Но это веяние времени. Я как родился, сразу стал не любить импрессионизм. Я другой художник, другого направления. Может быть, оно называется постабстракционизм. Потому что у меня очень много абстрактного. Вот мой пейзаж. Что для меня тут важно? Важно, что небо — это дыра. Тут не синенькое, голубенькое, зелененькое. Это синий цвет, который я пытаюсь преобразить пластическими средствами, чтобы он передал бесконечность пространства. А вот лес, кусты — это серая масса, которая должна шевелиться, двигаться... А вот дорожка — просто дорожка, освещенная вот таким неопределенным светом. Я вот мучаюсь, мучаюсь, пытаюсь этого добиться, чтобы кусты шевелились, а вода светилась.

И.В. И ведь получается. Кстати, Вы один из немногих художников, кто постоянно пишет одни и те же сюжеты. Я и вообще почти не знаю сегодня людей, которые работают с сюжетами. Разумеется, я имею в виду серьезных живописцев. Не кажется ли Вам, что живопись постепенно уходит от сюжетики, устраняет из себя, так сказать, литературный элемент. Значит, сам по себе сюжет сегодня не так существен?

А.С. Скажу больше. Он не был особенно существен и во времена Тициана или Рембрандта. Сюжет — не более чем повод написать картину. Не более чем повод создать то, для чего собственно и существует живопись, — внутренний мир, мир гармоний, энергию столкновения, проявления эмоций. Кстати, куда сюжет не делся, потому что это один из тех «крючков», на которые заманивают обывателя. А что до меня самого, то все мои сюжеты взяты «напрокат», все заимствованы у кого-то другого.

И.В. Но ведь для исторической, религиозной, жанровой живописи сюжет всегда был очень важен.

А.С. Да ничего подобного. Произведение живописи — не книжная иллюстрация. Возьмите хотя бы «Явление Христа народу». Александр Иванов хотел показать здесь те новые средства, которых до него в России не знали. И плевать ему было на Христа! Иванов тем и славится, что умеет передать обнаженную фигуру в воздухе, воздушную среду, итальянский пейзаж, плотную глянцевою листву оливковых деревьев. Его интересовали портреты, которые он писал с Гоголя, с кого-то там еще. Он даже не ставил себе задачу написать толпу, как, допустим, Делакруа. Его интересовало строение каждого отдельного живого организма. Ему было важно, чтобы зритель увидел красоту работающих мышц, игру света на коже, блеск камешков на Аппиевой дороге. Живописец тут занимался, можно сказать, чисто научной работой. А сюжет так — постольку поскольку. К тому же сюжеты то и дело повторяются, но каждый художник вкладывает в них что-то свое, ставит собственные задачи. Все, например, любят писать обнаженное женское тело. Но для одного художника — это кусок похотливой плоти, для другого — прекрасное произведение природы, для третьего — святыня... Вот у Курбе я видел: бабища, огромная самка, видно, что она неделю не мылась — от нее разит грязью и потом. Но пахнет женщиной! И как он это сделал?! Не постигаю... А сюжет один — обнаженная женщина.

И.В. Хорошо, не будем спорить, хотя и согласиться с Вами не могу. А что Вы скажете о портрете? Почему-то когда я смотрю на портреты эпохи Возрождения, я вижу Человечество, а когда смотрю на современные портреты, вижу просто красочные пятна.

А.С. Думаю, что Вы правы. Утеряна культура писания портрета. Это вещь очень непростая. Это мало кто умел. Я люблю портреты эпохи Возрождения — Гольбейн, Дюрер, Кранх. А эти... Репин — ну как фотографию какую-то изображает. Кстати, Тициан портретов не писал. Вернее, не писал их с натуры. У него был набор античных медалей, он смотрел, на кого похож человек, выбирал тип лица и писал с медальона. Я считаю, что не было портретов и у Леонардо. Как можно назвать портретом то, что писалось десять-пятнадцать лет — любой натурщик за это время состарится. Это не портреты — это обобщенные образы, недаром существует версия, что Мону Лизу он писал с себя.

И.В. Это индивидуальные характеры, которые не могла бы передать никакая фотография. Та же «Дама с горностаем». Когда я смотрю на нее, я погружаюсь в уникальный человеческий мир, женский мир — одновременно хрупкий, агрессивный, настороженный, гордый.

А.С. Но это же Леонардо да Винчи. Это явление. Он учился во Флоренции у Верроккьо. Там была очень жесткая система образования, да и сам учитель был гениальным художником. Посмотрите на картины Верроккьо, на его скульптуры! Это как будто взяли того же Микеланджело и каждый кусочек еще и оживили, набили живой сутью. Там кровь пульсирует. Так вот из этой школы сколько великих художников вышло? Один. Вот именно.

И.В. А сейчас в мире есть крупные настоящие живописцы?

А.С. Я мало знаю. Но, по-моему, художником очень высокого уровня был Бернар Буфе, а из наших — ныне здравствующий гениальный офортист Вячеслав Павлов. Он работает на очень высоком уровне культуры, мастерства, традиций. Я знаю еще одного гениального художника. Это Слава Ратнер, с которым мы дружим уже много лет, но он абсолютно никому не известен. А вообще это прописная истина: высокое искусство требует солидных вложений. Талантов всегда хватает. Но чтобы талантливый человек проявился, его нужно затребовать. И если бы государство вложило деньги в изобразительное искусство, оно махнуло бы так, что все тицианы от нас отстали бы. Но у нас нет школы, потому что нет денег. Целые десятилетия страна не тем занята. Да и не только наша. Войны, революции. Германия вон тоже пережила революцию, Америка там. А искусство должно мирно расцветать, должны накапливаться эмоции, когда что-то постепенно набухает и распускается, как роза... А у нас набухает, набухает — и вдруг: раз, взрыв, всем башки поотрывали!

А искусство людям нравится, этого не отнимешь. Человек тем и отличается от животного, что стремится к красоте...

Художник В. Лаврентьева
Компьютерная верстка С. Опариной

ЛР № 066469

Подписано в печать 22.09.2002. Формат 60х84/16. Бумага типографская.

Гарнитура «Таймс». Печ. л. 30,00. Усл. печ. л. 27,3. Тираж 3500 экз.

Заказ № 6789

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в ППП «Типография «Наука» 121099, Москва, Шубинский пер., 6

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

THE NEW REVIEW

литературно-художественный журнал русского Зарубежья.

Первый год издания — 1942

Выходит 4 раза в год.

Издается в Нью-Йорке.

Главный редактор — В. Крейд.

Издатель — Корпорация «Нового Журнала»

Старейшему в Зарубежье **«НОВОМУ ЖУРНАЛУ»** шестьдесят лет. Нашими авторами были И. Бунин, Г. Иванов, Г. Адамович, А. Ремизов, В. Набоков, А. Керенский, С. Лосский, Б. Зайцев, С. Франк, А. Солженицын, Н. Берберова; на страницах журнала были опубликованы работы Л. Шестова, М. Замятина, З. Гиппиус, Н. Бердяева, В. Ходасевича, А. Белого, П. Флоренского, М. Цветаевой и др. Смысл существования «Нового Журнала» — свободное русское творчество, свободная мысль. Десятилетиями «Новый Журнал» формировал литературный процесс зарубежья, публикуя лучшее, что было создано в русском рассеянии. Сегодня в «Новом Журнале» печатаются эмигранты всех «волн» из разных стран мира и многие российские авторы. Наши читатели живут на пяти континентах в 32 странах.

Основные разделы журнала: Проза, Поэтическая тетрадь, Воспоминания и Документы, История, Литература, Культура, Библиография.

Вы можете подписаться на **«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»**

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review

611 Broadway, #842, New York, NY 10012

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478

E-mail: newreview@home.com

Условия подписки на 2003 (4 номера):

для университетов и организаций в США — \$ 64.00;

индивидуальная подписка — \$40.00

(пересылка по США — \$ 8.00, за границу — \$ 16.00);

цена отдельного номера — \$ 12.50

(пересылка по США — \$ 2.00, за границу — \$ 5.00)

Плата от подписчиков в России принимается в международных чеках или банковским переводом на счет **«Нового Журнала»:**

The New Review, account no. 058-02465-4

HSBC Bank, 743 Amsterdam Ave., New York, New York 10025, USA

Редакция располагает номерами «Нового Журнала» прошлых лет издания

www.lgz.ru

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

Лучшая
Газета

для мыслящих людей



"ЛГ" представляет широкий спектр российской и мировой литературы, дает слово писателям всех направлений, регулярно публикует стихи и прозу (новая тематическая вкладка "Читальный зал"), вступает в диалог с читателями, рассказывает о новых книгах и издательских проектах ("Книжный развал").



"ЛГ" следит за современным состоянием родного языка, отстаивает его право звучать по-русски, учитывая традиции и неизбежность обновления; знакомит с самыми неожиданными гипотезами и новейшими открытиями в разных областях науки ("Научная среда").



"ЛГ" уделяет особое внимание проблемам преподавания в средней и высшей школе, предоставляя слово ученым и педагогам, обсуждает проекты реформы образования и новых учебников XXI века.



"ЛГ" изучает историю и современность, проводит журналистские расследования, прогнозирует главные направления развития общества.



"ЛГ" анализирует политическую ситуацию в стране и мире, заботится о судьбе соотечественников в ближнем и дальнем зарубежье, оказывает консультационную помощь читателям в разрешении юридических проблем.



"ЛГ" сохраняет лучшие традиции легендарной 16-й полосы: в "Клубе" 12 стульев читателя ждут встречи с известными и любимыми юмористами страны.

Отдел распространения тел.: 208-98-55 / факс: 208-97-00. lgzraspr@mail.ru

**В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»
РЕДАКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

Новые стихи

Елены Благиной
Виталия Дмитриева
Владимира Лапина

Игоря Петрова
Виталия Пуханова
Ольги Седаковой

Новые романы, повести и рассказы

Сергея Бабаяна
Нины Горлановой
Алексея Домбровского
Юрия Екишева
Алексея Иванникова
Юлия Кима

Александра Кузнецова
Валерия Мухарьямова
Евгения Попова
Вячеслава Пьецуха
Марии Ремизовой
Евгения Федорова

В разделах

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ, РЕЛИГИЯ, ГНОЗИС

- ♦ Статьи и очерки Сергея Аверинцева, Игоря Виноградова, Николая Злобина, Андрея Зубова, Марка Пераха, Ларисы Пищевой, Ольги Седаковой, Виктора Тополянского, Владимира Торчилина

В разделах

ПРОЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, ИСКУССТВО

- ♦ Статьи и очерки Игоря Виноградова, Евгения Ермолина, Михаила Копелиовича, Наума Коржавина, Марии Ремизовой, Натальи Сиривли, Геннадия Трифонова, Ирины Уваровой
- ♦ Беседы о современном искусстве с Сергеем Арцыбашевым, Аллой Демидовой, Валерием Евдокимовым, Сергеем Женовачем, Эрнстом Неизвестным, Дмитрием Сарабьяновым, Петром Фоменко, Кареном Шахназаровым, Сергеем Юрским, Генриеттой Яновской

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.

Спрашивайте красно-бело-синий каталог «Роспечати».

Наши подписные индексы

73218

и

71682

(годовая подписка)

Каталожная цена подписки на «Континент», самый «толстый» журнал России, намного ниже, чем на любой другой «толстый» журнал. В 2003 году она составит всего

160 руб. – годовая подписка;

80 руб. – первое полугодие.

В помещении редакции «Континента» (ул. Мясницкая, 22, 3-й этаж, офис 114) ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 14.00 до 16.00 можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых выпусков.

В Москве журнал «Континент» продается в книжных магазинах:

“AD MARGINEM” – 1-й Новокузнецкий пер., 5/7; тел. 951.93.60

“БИБЛИО-ГЛОБУС” – Мясницкая ул., 6; тел. 921.63.40

“ГИЛЕЯ-ГАЛАРТ” – Черняховского ул., 4а; тел. 151.89.01

“ГРАФОМАН” – 1-й Крутицкий пер., 3; тел. 276.31.18

“КНИГА” – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.27.97

“ЛЕТНИЙ САД” – Б.Никитская ул., 46; тел. 203.77.83

“ПИРОГИ” – Пятницкая ул., 29/8; тел. 927.55.22

“ПРОЕКТ ОГИ” – Потаповский пер., 8/12 стр. 2; 951.75.96

“У КЕНТАВРА” книжная лавка РГГУ – Чайнова ул., 15; тел. 250.65.46

ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА – Столешников пер., 2; тел. 229.52.62

В Санкт-Петербурге

Магазины “ЛЕТНИЙ САД”:

Большой Проспект ПС, 82
Невский проспект, 3

ВО, Менделеевская линия, 5
Фонтанка, 15

